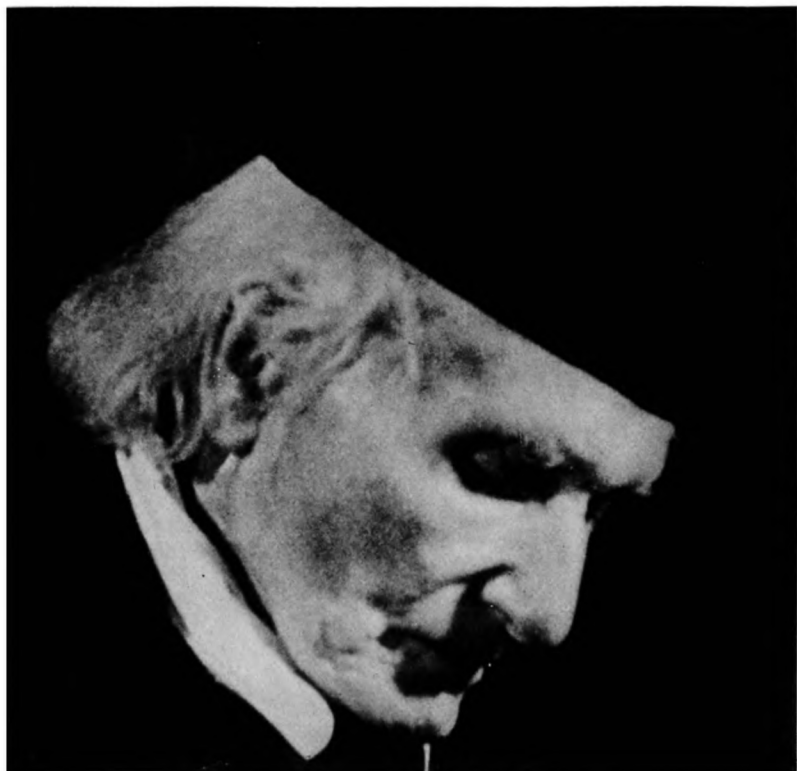


ВЯЧЕСЛАВ
ИВАНОВ

U noamr keng-jo yrumk,
Ho ne mydroffo chod:
Eco our bene cropo
Tede, cengjup u bitem naryrup.
Majut ceadra u na layex, wopm u
Cant ma doqepam painyual,
A abou y bide neryca:
Grap me - bonowmraft.

11. 5. '94.



Armande Ubanoff

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

I

Брюссель 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
МЛАДЕНЧЕСТВО	229
ПОВЕСТЬ О СВЕТОМИРЕ ЦАРЕВИЧЕ	255
КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ	513
ПОЭТ И ЧЕРНЬ	709
НИЦШЕ И ДИОНИС	715
КОПЬЕ АФИНЫ	727
ПРОЗРАЧНОСТЬ	735
СИМВОЛИКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАЧАЛ	823
КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА	831
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	841
ОГЛАВЛЕНИЕ СТИХОВ	867

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

под редакцией
Д. В. ИВАНОВА И О. ДЕШАРТ
с введением и примечаниями
О. ДЕШАРТ

FOYER ORIENTAL CHRÉTIEN
Avenue de la Couronne, 206 — 1050 Bruxelles

© 1971 Воспроизведения и переводы текстов, а также переложения их для театра, кино, радио и телевидения, даже частичные, без особого разрешения Издательства «Foyer Oriental Chrétien» и наследников Вячеслава Иванова воспрещаются.

ВВЕДЕНИЕ

**Солгать и в малом не хочу;
Мудрей иное умолчу.
Вячеслав Иванов.**

Наступал 1872-ой год. Встречая Новолетие, Александра Дмитриевна Иванова, согласно семейному обычаю, гадала по Псалтири; гадала о сыне: велела пятилетнему Вячеславу, не глядя, раскрыть книгу и пальцем указать строчки. Вышли слова: «Я был младшим в доме отца моего, мои пальцы настроили Псалтирь». *

«Так оно есть. Так буди! — сказала мать обрадованная, — станешь поэтом».

Вячеслав был младшим в доме отца своего. Иван Тихонович Иванов, человек пожилой, под пятьдесят, овдовев после неудачного брака, стал часто бывать у подруги своей покойной жены — Александры Дмитриевны Преображенской, девушки одинокой, давно осиротевшей, уже не молодой. Она сочувственно слушала его печальные признания. Как-то под вечер привел он к ней двух своих малолетних сыновей: «На колени, дети, просите за нас». Мальчики стали на колени: «Будь нам мамой!» Александра такого предложения никак не ждала, но согласилась.

Через год у Ивановых родился сын — Вячеслав. Родился 16/28 февраля 1866 г. в собственном домике родителей, почти на окраине тогдашней Москвы, «напротив Зоологического Сада». Места эти запечатлелись в памяти Вячеслава в каком-то «волшебном озарении».

Отца своего Вячеслав почти не знал. Сперва землемер, потом служащий Контрольной Палаты, человек нелюдимый, упрямый, русский «интеллигент шестидесятых годов», И.Т. Иванов, разумеется, был материалистом и безбожником. Он долго, тяжело болел. Перед смертью обратился к вере «с пламенностью чрезвычайной». Умер он в начале марта 1871 г.

Мальчика воспитывала мать. Александра Дмитриевна была внучкою сельского священника, дочерью сенатского чиновника. Она была подлинно, по-народному религиозна и свою любовь ко Христу передала сыну. Ежедневно (Вячеславу было тогда семь лет) они прочитывали по главе из Евангелия. Ни толкований, ни наставлений, свободный обмен мнений между равными. В глубоком и тихом умилении отрок читал, перечитывал и наизусть твердил свой любимый стих из Матфея: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф. 11, 29-30). — «А не кажется ли тебе, что вот эти

слова в следующей главе еще красивее?», возражала мать: «Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Матф. 12, 20).

Эстетическое наивно переплеталось с религиозным в их маленьких паломничествах по обету пешком к часовне Иверской Богоматери или в Кремль, где они «предавались сладкому и жуткому очарованию полутемных старинных соборов с их таинственными гробницами». *

Девяти лет Вячеслава отдали в гимназию, помещенную в красивом, старом здании. Поступление его в школу совпало с приездом в нее императора Александра II, которого боготворила Александра Дмитриевна. Она гордилась, что носила его имя и родилась 19 февраля: когда ей исполнилось 37 лет — день этот стал днем освобождения крестьян. Воспитанный в культе царя-освободителя Вячеслав замер от восторга при приближении императора, и память мальчика капризно запечатлела «тень от сабли идущего царя на залитой солнцем коридорной стене, возвестившей за миг его появление». *

В 1877 г. шла русско-турецкая война. Одиннадцатилетний Вячеслав и мать его были «охвачены славянским энтузиазмом». Спустя много лет Вячеслав Иванов в своей автобиографии вспоминает: «... оба мои брата, артиллерийские офицеры, были на войне, и один из них, ординарец при самом Скобелеве, приезжал на короткое время, по военному поручению в Москву. Я посылал братьям в окопы письма, полные воинственно-патриотических стихов, которые признал через год детским лепетом.» *

Другое переживание той поры осталось незабвенным. Вячеслав был взят на открытие памятника Пушкину и на торжественное заседание в университет. Он «стоял с замиранием сердца перед закутанною статуей»; и падение покровов, появление Пушкинского образа ударило его по сердцу как откровение волшебной тайны. Вячеслав, еще в семилетнем возрасте обнаружил над своей постелью «случайно приклеенным к обоям, верхом вниз, лоскуток печатной бумаги»; то была ода «Пока не требует поэта». Отроку было сладостно ее постоянно перечитывать, не понимая, понимать.

К двенадцати годам религиозность Вячеслава достигла своего апогея: по ночам он тихо, мимо спальни матери, пробирался в маленькую гостиную-столовую, где в углу из-под серебряной ризы на него глядел таинственный до ужаса, темный как земля лик старинной иконы Знаменья Богородицы. Мерцающий свет лампы загадочно скользил по ней, восходил и падал, восходил и падал, и, то пропадало черное среди теней, то, слабо озаряясь, едва проступало благодатное Лицо. Вячеславу было страшно; казалось, что «бес пугал» его «голосами тьмы». Он часами молился Ей, Деве Пресветлой, и засыпал от усталости на

коленях. Мать была встревожена этими крайностями, но с сыном не спорила и ему не возбраняла.

Преподавательская деятельность Вячеслава началась в его тринадцать лет: как ни сэкономила Александра Дмитриевна, но к тому времени от небольшой суммы денег, оставшейся после длительной болезни и смерти Ивана Тихоновича, ничего не сохранилось. Вячеславу пришлось зарабатывать на свою с матерью жизнь. Он так много давал платных уроков, что читать и думать мог только в ночные часы.

На пятнадцатом году случился кризис: «... внезапно и безболезненно я сознал себя крайним атеистом и революционером». * Так Вячеславу тогда казалось. На самом деле кризис был болезненным и противоречивым. Произошел он незадолго до убийства Александра II; катастрофа 1-го марта 1881 г. расколола русское общество непримиримо: консерваторы проклинали цареубийц, старались уничтожить крамолу. Революционная интеллигенция, напротив, почитала террористов героями и мучениками; возмущенная репрессиями, считала слова «порядочный человек» и «революционер» — синонимами, измеряла доброкачественность гражданина количеством в тюрьме отбывших лет. Вячеслав уверял себя, что вполне разделяет убеждения революционеров, но в сердце его еще жива была прежняя романтическая влюбленность в Александра и он, вопреки всем громким фразам никак не мог понять, почему освободителя крестьян принято называть врагом народа. Его социализм был лишь уступкою общественному мнению. Но он не позволял себе сомневаться. Главным вопросом, его мучившим, был вопрос об оправдании террора как средства социальной революции. Тайно поглощал он груды подпольной литературы. К концу школьного курса ответ назрел: терроризм был Вячеславом решительно осужден. Происшедшая в сыне перемена огорчала и омрачала мать; и в их «тесной дружбе стала обоими мучительно ощущаться глубокая трещина». *

Что касается религии, то Вячеслав бунтовал против Бога, совращал в «чистый атеизм» друзей, и сам страдал от своего безбожия. «Вольнодумство, — вспоминает он, — обошлось мне не дешево: его последствиями были тяготевшее надо мною пессимистическое уныние, страстное вожделение смерти и, наконец, попытка отравления в семнадцатилетнем возрасте». * Обрести или потерять Бога становится для Вячеслава альтернативою быть или не быть, быть ли личности, добру, человечеству, миру — или всему этому не быть. *

* * *

В последние гимназические годы Вячеслав близко сошелся со своим одноклассником Алексеем Дмитриевским, вместе с которым переводил

русскими триметрами отрывок из «Эдипа-Царя», вместе с которым поступил на историко-филологический факультет Московского Университета, где на первых порах жизнь аудиторий ему показалась «каким-то священным пиршеством.» Там друзья вместе мечтали через историю самостоятельно овладеть проблемами общественности и найти путь к общественному действию: они добросовестно вместе читали толстые томы на разных языках и прилежно вместе готовились к различным экзаменам. Профессора сразу заметили и оценили Вячеслава и в первом же году присудили ему премию за работу по древним языкам.

Вячеслав и Алексей походили друг на друга строгой чистотой и целомудренностью нравов; во всех устремлениях своих они были различны, полярны друг другу. Для Вячеслава то была пора «смелого до чрезвычайной самонадеянности подъема душевных сил»; он хотел большой, пусть трагической, жизни и значительного творческого дела. Алексей, напротив, стремился прожить скромно, с пользой для других, пусть безрадостно, но жертвенно и тихо. — «Ведь в нашей жизни не случится ничего экстренного», сказал он как-то. Вячеслав вспыхнул, возмутился: «Как?! В ней все будет экстренным, иначе и жить не стоит!»

Вячеслав восхищался последовательным, методическим мышлением и легкой, упругой походкой Алексея. Вопреки революционным антицерковным убеждениям и внешне небрежным, нарочито грубоватым манерам передовой русской молодежи конца восьмидесятых годов — произвольные движения Алексея, изгиб его плеч и спины, наклон головы, разрез глаз являли формы и черты старых русских икон. Сам Алексей об этой иконности своего облика, конечно, ничего не знал и, наверное, смутился бы, и обиделся, если бы ему о ней сказали. А Вячеслава образ друга пленял именно своей духовной подлинностью, поэтически волновал своей непосредственной, нечаянной верностью отечественной святыне.

Занятия юношей происходили чаще всего в уютном доме Дмитриевских. В часы отдыха мать Алексея (отец его, Михаил, давно умер) играла им своего любимого Бетховена; сестра Дарья Михайловна, ученица консерватории, старательно исполняла разученную ею классическую пьесу или пела песни Шуберта и Шумана. Незаметно пролетели два первые года студенчества.

Позднею весною на лето Дмитриевские ежегодно уезжали на дачу. Вячеслав часто к ним ездил... Розово-лиловые зазывные дали, пряный аромат деревьев и цветов. Вячеслав и Дарья гуляли по аллеям заросшего сада и объяснялись в любви Бетховену, Пушкину, Шуберту и друг другу. Гермесом их романа был Алексей.

Мать Вячеслава всему этому не сочувствовала: «Она тебе не пара; ничего в ней нет особенного; да и пение ее не настоящее, так себе

барышня поет». Но правила в ту пору в «порядочных семьях» были строгие: «Ты компрометируешь девушку, ты должен жениться», решила Александра Дмитриевна. Был ли он влюблен? Ну, разумеется; но в нее, пожалуй, не больше чем в ее брата, в Шуберта и в возрождающиеся, дышащие деревья. Жениться? — это ему казалось стыдным; образ женатого студента был ему ненавистен, шокировал его своею неэстетичностью. Да и связывать себя так рано на всю жизнь вовсе не хотелось.

А мать Дарьи вторила его матери. Была она женщиной странной, безумной и ясновидящей. Она настойчиво твердила: «Знаю, Дашенька Вам не пара; Ваш брак кончится драмой, но все равно, берите ее; так надо». Хотя Вячеславу непонятно было — почему в сущности «так надо», но ее уверенность как-то убеждала.

И главное: они с Дарьей сговорились вместе уехать учиться за границу; ехать вместе было весело; он жаждал уехать: «На родине мне не сиделось; было душно и жутко. Дальнейшее политическое бездействие в случае, еслиб я остался в России — представлялось мне нравственно невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность; но ей уже не верил». * Вячеслав женился и уехал.

За границу московские профессора охотно отпускали многообещавшего студента, сопровождали его наставлениями и рекомендательными письмами. Павел Виноградов направил его к Моммзену и выработал для него целую программу последовательных занятий, за которыми потом перепискою из Москвы и личными беседами при своих частых наездах в Германию прилежно следил.

* * *

Когда Вячеслав кончал гимназию, директор предложил лучшему ученику устроить его стипендиатом в лейпцигский филологический семинарий. Но этот классический семинарий, руководимый знаменитым Риббеком, представлялся учреждением зловердным тогдашней русской передовой интеллигенции; зловердным уже потому, что он был превосходным классическим семинарием.

Передовая интеллигенция в ту пору полагала, что насаждение классического образования есть ничто иное как попытка правительства бросить живые силы в книжный педантизм, отвлечь их от общественной работы, есть хитрость власти, ее орудие против революции. Русский революционизм и нигилизм был связан с естественным факультетом, и анатомирование животных предписывалось как обязательное, священное занятие всякому общественно порядочному студенту; только «враги

народа» могли позволить себе роскошь заниматься бесполезной историей и филологией. Даже Владимир Соловьев отдал дань этому повальному странному предрассудку и свой первый университетский год (он в этом сам, смеясь, признавался) начал с того, что усердно «резал лягушек».

Вячеслав питал органическое отвращение к анатомическому театру и ко всему с ним связанному. Он рано убедился в том, что слова «естественник» и «общественник» отнюдь не синонимы и что путь к нужному для народа действию идет через историю. Но семинарий тот был еще и потому предосудителен, что для участия в нем надо было стать премированным стипендиатом. Выбрать классическую филологию как предмет изучения, хотя бы и наперекор общественному мнению, — это одно, а учиться и жить на счет правительства — совсем другое дело. Стать стипендиатом значило бы для Вячеслава провиниться в предательской уступке реакции, и он решительно отказался. В глубине души он был, конечно, огорчен: его страсть к античной литературе естественно влекла его к тому блестящему классическому семинарию; но столь позорную склонность он скрывал даже от самого себя.

За границу он уезжал, сгорая «какою-то лихорадкою дерзновения и счастья», в уверенности, что на западе «в стране чудес» ему откроется новая большая жизнь. Вскоре Вячеслав увидел «и прирейнские замки, и готические соборы, и Сикстинскую Мадонну, и трирскую Porta Nigra». В Берлин молодые приехали осенью 1886 г. Вячеслав с упоением и трепетом отправился к Моммзену и погрузился в университетскую работу; она не тормозилась тем, что часть времени уходила на занятия для заработка. Сперва он литературно обрабатывал материал по международной политике для одного корреспондентского бюро, потом сделался частным секретарем у агента русского министерства финансов, камергера Куманина, который вскоре стал его старшим другом.

Первый семестр ушел на усвоение языка. А к концу 2-го семестра Вячеслав представил Моммзену по-немецки написанное исследование о податном устройстве древнего Египта. Моммзен одобрил работу:

В тот день счастливый Моммзен едкий
Меня с улыбкой похвалил.

За ужином в своей «тесненькой» вилле, куда были приглашены все участники семинария, Моммзен обратился к своему новому ученику: «Чувствуется, что Вы боролись с языком. Почему Вы не написали по латыни?» * и спросил собирается ли он пробыть в Берлине «долгое время». Вячеслав ответил, что хотел бы остаться на долгое время, но боится, что вспыхнет война. «Мы не так злы (Wir sind nicht so böse)», возразил Моммзен.

От учителя Вячеслав был в восторге. «Я восхищался каждым, всегда внезапным и нетерпеливым, движением этого тщедушного старика, в котором мысль и воля сливались в одну горячую энергию, каждую вспышку его гениального и холерического ума... Нередко и на лекциях (по эпиграфике и государственному праву), и в беседе с участниками семинария обращался он к своей постоянной мысли о том, что вскоре должен наступить период варварства, что надлежит спешить с завершением огромных работ, предпринятых гуманизмом девятнадцатого века; о причинах же предстоящего одичания Европы ничего не говорил.» * Вячеслав с недоумением наблюдал, что гегельянское обожествление государства может увлекать даже такого свободолюбивого человека как Моммзен, и увлечение это способно доводить порою даже и его до грубых националистических выхонок. Но очарование учителя этим не умаялось: Моммзен был Моммзен — политически непримиримый враг Трейчке, едва терпимый Бисмарком либерал (Freisinniger), которому угрожала — и не раз — тюрьма, революционер и изгнанник 48 г., а главное — проникновенный, гениально зоркий свидетель прошлого. Но самодовольный и ненасытный национализм последнего чекана с его шовинистической фальсификацией истории был Вячеславу ненавистен. В 1888 году, когда Вильгельм II, едва вступив на престол, прогнал Бисмарка и начал орудовать по-своему, Вячеслав написал сонет, где, разгадывая судьбу молодого императора, предсказал, что самонадеянная и бездарная дерзость Вильгельма должна неизбежно повлечь за собою мировой пожар и гибель его виновника. Это и произошло через тридцать лет.

Среда, в которой научно рос и креп Вячеслав была благотворна: многие из тогдашних талантливых и блестящих учеников Теодора Моммзена стали впоследствии значительными учеными. Особенно выделялся уже тогда обратившийся к изучению религии Митры знаменитый Франц Кюмон. Вячеслав усердно занимался равенским экзархатом, византийскими учреждениями в южной Италии, специально разрабатывал вопрос о государственных откупах как в римской республике, так и во время империи. К концу второго года он закончил первый набросок своей будущей диссертации (De societatis vectigalium). Проект его был признан «солидной работою». Вячеслав считал своим нравственным долгом заниматься историей. («Начались мои блуждания в области исторических проблем»). Но как ни старался он далеко обегать «суженую свою и избранницу сердца — античную филологию», он был не в силах ее покинуть и с рвением предавался ей, слушая лекции больших филологов, которыми богат был тогда Берлинский университет, серьезно изучая латинскую и греческую палеографию; для упражнения в классических языках и литературных стилях переводил

с греческого на латынь авторов Эллады. Наконец, в один из своих приездов в Берлин Павел Виноградов его «разрешил от послушания исторической науке» и стал настойчиво советовать ему серьезно заняться филологией, продолжая, конечно, работать у Моммзена. Виноградов надеялся, что Вячеслав в Москве сможет совместить филологическую доцентуру с преподаванием римской истории. Весною 1891 г., отбыв в Берлине девять семестров, Вячеслав с женою и трехлетней дочкой Сашенькой отправился в Париж, где он собирался тщательно передумать, дополнить новыми материалами и по-латыни изложить свою диссертацию. В Париже он пробыл около года, в течение которого на короткий срок съездил в Англию.

* * *

Во внутренней жизни Вячеслава, едва он очутился за рубежом, произошел перелом, давно подготавливавшийся: его революционные и безбожнические «убеждения», еще на родине истлевшие, но им внешне поддерживаемые, сами собою упали с его души, и в ней забродили искания мистические. Знаменательно, что в Москве, за долгий период «чистого атеизма», любовь непосредственная ко Христу не угасала, а скорее разгоралась в сердце Вячеслава. Волевым усилием подавить эту стихийную любовь в угоду надуманному, навязанному себе долгу могло бы вызвать опасный внутренний затор (*refoulement*), еслиб юноша не прибегал к надежному для людей его духовной структуры средству исцеления (*medicina animae*) — к поэзии. В последнем классе гимназии Вячеслав пишет поэму «Иисус», где пытается примирить теоретическое отрицание религии со своим внутренним пламенением посредством обращения любви к Христу в любовь к совершенной личности Назарянина, требующего от людей героического свободного действия. «Да будет горд и волен человек» — такими словами начинает Иисус свою проповедь после победного спора с искусителем в пустыне.

Нарастает доктринерский атеизм, нарастает религиозный экстаз. Через год на первом курсе Университета Вячеслав пишет другую поэму в испанских трохеических диметрах. Еврейский мальчик — музыкант из Толедо — зашел в готический собор; там в видении ему явился Христос со светлым взором, полным любви; мальчик почувствовал к Нему неодолимое влечение —

Зашумели крылья духов,
Поднялася Божья сила,
И рука Господня мощно
На плече моем почила.

О, куда меня влечешь Ты?
О, зачем Ты, полн укора.
Полн любви передо мною,
Свет таинственного взора?

Три ночи подряд маленький музыкант украдкой пробирается в собор, играет на органе и блаженно чувствует близость Христа. Отец мальчика и старый раввин выслеживают его, слышат чудесную, подозрительную музыку и понимают, что он изменил своей вере и своему народу. Отец берет на руки ненаглядного сына и с отчаянием решает принести дитя свое в жертву своему Богу. Но Христос во исполнение горячей молитвы отрока нежно уводит к себе его душу. При выходе из собора отец видит, что на руках у него лежит бездыханное тело.

Эту поэму родители одного из учеников Вячеслава, похитив ее у автора, отнесли в «Русский Вестник», важный, издаваемый Катковым ежемесячник, где в год рождения Вячеслава появилось «Преступление и Наказание» Достоевского, где впервые печатались потом лучшие творения русской словесности и философии: «Бесы» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Анна Каренина» Толстого, стихи Фета, «Критика Отвлеченных Начал» Владимира Соловьева и т. д., и т. д... Редактор решил поместить произведение неизвестного юноши-поэта на страницах своего важного журнала (что делает честь его проницательности), и Вячеслав был естественно польщен и в восторге. Но во главе журнала стояли «правые»; русская революционная интеллигенция считала его орудием реакции и бойкотировала. Дмитриевские возмутились, стали упрекать Вячеслава в чрезмерном честолюбии и недопустимом опортунизме, настойчиво уговаривали его отказаться от участия в таком предосудительном органе. Вячеслав сконфузился, признал их правоту и отказался.

* * *

Свидетельством совершившегося внутреннего перелома, приведшего к коренному отрицанию всех материалистических учений явилось длинное, в строгих александрийцах написанное послание к Алексею Михайловичу Дмитриевскому под заглавием — «Ars Mystica». Шел 1889 г., год столетнего юбилея Французской Революции, год парижской всемирной выставки. Вячеслав решительно утверждал, что все произведения большого искусства: Парфенон и Пантеон, храмы Пестума, романские, готические церкви, Данте и Микель Анджело — (Вячеслав дает множество характеристик и портретов), — что все большое в искусстве имело религиозную основу и теургическую задачу. А мы?

Мы справляем «юбилей секиры» и строим железную башню, самую высокую — Эйфелеву? Вавилонскую?...

В те дни, как племена, готовя смерть и брани,
Стоят, ополчены, в необоримом стане,
И точат нищие на богача топор,
И всяк — соперник всем, и делит всех раздор,
Когда, как торгоши, тому хотим лишь верить,
Что можем мерою ходячею измерить —
Христово царствие теперь ли призывать?

В таком обездушенном, безлюбом мире, «где делит всех раздор» можно существовать, но *жить* невозможно. Материалистической революцией ничего не разрешишь и не спасешь. Выход?

Да прозвучит в ушах и радостно и ново —
Вселенской Общины спасительное слово.

Вселенская Община... Страстно, как все, что он делал, Вячеслав пытается прежде всего в самом себе разбить стены той одиночной тюрьмы, каковой он стал ощущать гордое, уединенное сознание отдельного лица. С ранних лет Вячеслав узнал искушение и горечь мнительного самодовления. Он вспоминает: «Мать ревниво ограждала меня от частых сношений с детьми соседей, находя их дурно воспитанными и приучала меня стыдиться детских игр. Она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот «индивидуализм», с которым я должен был долго бороться в себе в гимназические годы, и тайные яды которого остались во мне действенными и в зрелую пору моей жизни». * В борьбе с «целюлярностью» Вячеславу неожиданно помог Ницше.

Ницше, о котором тогда, около 1890 г., начинали говорить, поражал умы своим учением о сверхчеловеке и о «воле к могуществу». Но это Вячеслава ничуть не увлекало: ведь именно претензию на самодовлеющую гордыню индивидуума он стремился преодолеть, он не только хотел отказаться от «воли к могуществу», но и от невольного насильственного действия единичной, оторвавшейся от целого личности. Нет, в Ницше его поразило другое: прочитав «Рождение Трагедии из духа Музыки», он сразу понял, что своей дихотомией — Аполлон и Дионис — Ницше не только определил дух Эллады, но и ознаменовал живые, реальные сущности.

Что аполлинийская «вечная сонная греза» есть предпосылка всех изобразительных искусств, что Аполлон является «чудесным, божественным носителем принципа индивидуации» — это Вячеслав Иванов знал и прежде, — но автор «Рождения Трагедии» открыл ему Диониса как вневременное начало духа, как стихию музыки и священного безу-

мия, как силу, «разрешающую от уз индивидуации». Вячеслав Иванов начинает наряду с римской историей заниматься эллинской религией, олимпийскими богами, эзотерическими культурами и мифами. Аполлона и Диониса он узнал как свои две души.

* * *

Вячеслав Иванов работал в библиотеках Парижа и Лондона, но все не решался поехать в Рим, считая себя неподготовленным, недостойным увидеть Вечный Город. Наконец, в 1892 г. он с женою и дочкой отправился в Италию и поселился в Риме. Здесь он усердно посещал германский Археологический Институт, участвовал вместе с его питомцами (*ragazzi Capitolini*) в обходах древностей, отделявал для Моммзена свою латинскую диссертацию и думал только об истории и филологии. Тихо прошел год. И вдруг налетела буря: на пути Вячеслава Иванова летом 1893 г. стала Лидия Зиновьева.

Он, обладатель эрудиции по вопросам античных религий, превосходившей его тогдашний непосредственный опыт, естественно искал дионисийское начало в своей душе и жизни. Она, ничего не слышавшая ни о Ницше, ни о древнем оргиазме, страстная дионисийская натура, бессознательно жаждала раскрыть, понять то, что в ней тайно жило. В классическую римскую ночь, «в пещерах Колизея» он рассказывал ей о Дионисе, который был скрытым морфологическим принципом ее существа, и от слов Вячеслава в ней просыпалась Мэнада

С сердцем яростным, как солнце
Поутру,
Поутру, —
С сердцем жертвенным, как солнце
Вечеру,
Вечеру...

(Cor Ardens)

А он глядел на это чудо, на живое явление его вожделенной мечты, которое ему показывало Диониса интимнее и подлиннее, чем он его ранее знал. И эта новая встреча с эллинским богом стала для него освободительным открытием нового отношения к миру, нового способа воспринимать личную и вселенскую жизнь, нахождением неожиданных возможностей проникать во внутреннюю сущность вещей, стала, значит, обретением нового принципа бытия. Такое снятие граней между собою и другими было головокружительно, счастливо и страшно. Позднее В.И. рассказал в стихах о той встрече:

Бог кивнул мне, смуглоликий
Змеекудрой головой,
Взор обжег и разум вынул,
Ночью света ослепил
И с души-рабыни скинул
Все, чем мир ее купил.
И в обличи безусловном
Обнажая бытие
Слил с отторгнутым и кровным
Сердце смертное мое.

(Нежная Тайна) *

Приверженцам учения о перевоплощениях Лидия Зиновьева могла бы служить блестящим доказательством его: греческая атмосфера вокруг нее ощущалась как-то физически. В литературных кругах Петербурга ее впоследствии прозвали Диотимой. Но внешний облик ее отнюдь не походил на насельниц древней Эллады.

Лидия была дочерью Дмитрия Зиновьева, который вел свой род от Зиновичей, сербских князей. Избалованный, беззаботный барин — он неожиданно проявил деловую изобретательность (так он впервые индустриально использовал Нарвский водопад), что весьма способствовало благосостоянию семьи; но фантастический человек этот отличался безудержной, безумной щедростью, переходящей в расточительность, что постоянно угрожало подорвать это благосостояние. Мать Лидии, урожденная баронесса Веймарн, шведка по отцу, принадлежала по женской линии к семье того самого Ганнибала, о котором, как о предке своем, рассказал Пушкин в «Арапе Петра Великого».

Лидия росла ребенком трудным, своенравным. Было в ней что-то преизбыточное, безудержное, безусловное. Воображение она имела огромное, искавшее проявления в играх, порою диких. Ее, конечно, пытались уgomонить: из нее нужно было сделать благовоспитанную барышню. Ведь дом был великосветский, даже придворный: брат ее отца состоял воспитателем цесаревича, будущего Александра III. Приглашали для Лидочки образованнейших учительниц и добродетельнейших гувернанток. Девочку воспитывали очень хорошо, т.е. очень плохо, потому что наперекор ее природе. Справедливые наказания и поучительные сентенции вызывали в ее душе ноющую тоску и дерзкий вызов. Роскошный, большой дом в Петербурге ощущался ею как тесная клетка. Счастливой она себя чувствовала только летом в деревне. Любимым занятием ее было обуздывать диких лошадей и строптивых ослов. Читать она не любила. Жить, жить, жить! А жизнь — это деревня, звери и зеленая радость...

Да, в деревне было чудесно. Зато тем противнее были городские зимы: «опостылый город, где и грязь была не настоящая, не земляная, и трава, и деревья — все нарочно». Каменная тюрьма среди других каменных тюрем — это на зло сделали люди, чтобы мучить.

Но вот: неожиданная деревенская история с медведями заставила Лидию серьезно призадуматься над проблемой зла. Братья ее на охоте убили медведицу и привезли с собою за пазухой трех сосунцов. Лидия с ними целыми днями возилась и играла. Звери росли добрые, их кормили овсянкой. Но уже на следующее лето они, выросшие, начали внушать опасение крестьянам. Приходит старшина жаловаться, просит убрать медведей.

— «Не ровен час, и насыдет на кого, сломает. Или скотину тоже... Все ж зверь-то лесной, хоть и на соске воспитывали».

Что делать? Он прав: к осени медвежата станут вполне медведями; их придется кормить мясом. Решили отвезти в лес и выпустить на волю. Грустно было Лидии разлучиться с друзьями. Но — «воля, как хорошо!»

Прошло два дня, и вдруг узналась — злая весть: мужики и бабы косили среди леса на поляне. Увидели, — бегут прямо на них из леса два медведя. Медвежата, привыкшие к ласке, доверчиво бежали к людям, слышав милье голоса. Мужики испугались и встретили медвежат косами... Изрубили.

«Помню — уже темно. Уже я в детской, в постели, и не сплю, и все слез нет. На сердце упала непосильная тяжесть. Зло совершилось. Великая несправедливость. Были обмануты доверие и любовь. Предательство было совершено. И... никто не виноват. Никто не виноват. Страшно придавил несказанный вопрос мое сердце. Не по силам придавил... Зачем Бог позволил?» А через несколько дней сомнение нашло на Лидию: «Божьи звери, может быть, вовсе и не Божьи? Они злые, друг друга поедают». *

Потом ее поразил ужасом вопрос: «Может и Бога вовсе нет?» И точно гонимый этой мыслью, Бог стал для нее уходить из природы. В обезбоженном мире жить стало скучно, одиноко. Лидия вдруг чего-то сильно испугалась в себе.

Тогда она стала несносна. Никто не мог с нею справиться. Напрасно сменялись ее воспитательницы — немки, француженки, англичанки, русские. Родители приходили в отчаяние. Из петербургской гимназии Лидию исключили за бунт. Собрали семейный совет и решили отправить ее за границу, отдать в школу германских диаконисс. Там внутренняя тоска перекликнулась с внешней и подтвердилась ею. «В школе было скучно, нудно, мрачно». Бога своего Лидия окончательно потеряла среди стен, которые со всех сторон упрекали и наставляли надписями из Священного Писания. «И становилось ужасно, — так было

одинок». Лидия занималась тем, что изводила «герров пасторов», которые преподавали, и сестер, которые следили за поведением. Ее наказывали. Это ее только бесило. Единственным утешением были восторг и поклонение, которые она, такая непокорная, бесстрашная, ни на кого непохожая, вызывала среди своих аккуратных, дисциплинированных подруг.

Но это ее не удовлетворяло: надо было либо найти центр, который осмысливал бы все, либо стать таким центром. После какой-то особенно дерзкой выходки несносной девчонки, величественная начальница воскликнула: «Какой злой дух вселился в тебя?» — И «как не своя, в одном несправедном ударе гнева,» она крикнула, она, далекая изгнанница, одинокая и дурная: — «Русский».

Ее прозвали «русским чортом» (*der russische Teufel*). Это было фатально: дали имя чему-то, чего она боялась в себе — оформили, воплотили. Томление и скука стали невыносимыми, и от скуки чорт все звал убиться. Зашла глубоко в засасывающий пруд, пыталась броситься под воющий поезд, — оба раза ее спасли испуганные руки и крики девочек и диаконисс. А ночью вдруг скребет железными когтями по стеклу; она знает кто, она к нему на подоконник: «Броситься...» Ее схватила сестра, неизменно бдящая. От скуки Лидия соблазняла, «портила» своих одноклассниц. Начальница ей заявила, что прогонит из школы ее подружку, если их еще раз увидит вместе. «Как! Ты, невинную, не ее, виновную!» До тех пор Лидия знала, что она дурная; теперь она поняла, что вся жизнь дурная и что нет справедливости. В диком исступлении она крикнула на лестнице: «Сегодня я их всех взбешу, свиней!» Ее исключили.

Наконец стало легче. Когда Лидии исполнилось лет 17, ей пригласили в учителя молодого, оставленного при Университете, подающего надежды историка Константина Семеновича Шварсалона, который ей увлекательно рассказывал про героев древнего Рима и про Александра Македонского. На ее вопрос об его отношении к миру он ей объяснил, что у него мировоззрение «альтруистическое». Слово альтруизм он употреблял эвфемистически взамен опасного слова «социализм», которое могло бы его скомпрометировать в аристократической среде, связями с которой он весьма дорожил и принадлежностью к которой он весьма гордился; он не упускал случая помянуть каких-то своих именитых французских предков. А социализм служил ему удобным плащом, который он нарядно набрасывал на себя в кругах передовой интеллигенции. Своей юной ученице он с жаром и красноречием сообщал что-то высокое и весьма благородное о «лучших людях», жертвовавших всем народу, о каком-то великом героическом деле, которое уже началось. И сердце девушки трепетало, радостно рвалось на-

встречу жертве, подвигу, тому «делу», про которое он говорил и которому она решила отдаться.

Рассерженным родителям Лидия поставила ультиматум: «Либо стану его женой, либо пойду на курсы». Перспектива увидеть дочь «стриженной нигилисткой» представилась семье Зиновьевых такой чудовищной, что они поспешили согласиться на ее замужество, утешаясь: «Конечно, мезальянс, но все-же человек из приличной семьи, будущий профессор Университета». Сразу после свадьбы Лидия, во исполнение поучений мужа в прошлом, и к его ужасу в настоящем, примкнула к социал-революционерам и завела у себя конспиративную квартиру. Пока она занималась революцией, супруг ее, получив деньги и досуг, стал развлекаться с другими женщинами. Она доверчиво родила ему трех детей (двух мальчиков и девочку) раньше, чем заметила, что он ее во всем обманывает. Тогда она возмутилась, забрала детей и уехала за границу.

Она надеялась, что путешествие по знакомым любимым местам Швейцарии и Италии придаст ей новые силы, а там-то с новой силой на нее набросилась ее старая мучительная тоска. Лидия начала смутно соображать, что «дело», которому она жертвенно предалась, не то, о котором она мечтала, что делать его надо иначе, что вся ее опасная, лихорадочная работа была лишь дурманом, заглушавшим мучительное переживание бессмыслицы земного существования. Дурман прошел. Много позднее Лидия в письме к В.И., вспоминает то тяжелое время: «Жить стало страшно, страшно до ужаса. Красота природы величавая, подавляющая, холодная и надменная едва окончательно не задавила меня. Самоубийство обратилось в *idée fixe* и томило меня до головокружения. О, эти чудные, чарующие синие воды итальянских озер, как манила меня их глубина!...» *

Лето 1893 г. Лидия с детьми проводила во Флоренции. Туда, по дороге в Рим, заехал ее петербургский приятель — Иван Михайлович Гревс. Увидев Лидию Димитриевну печальной и унылой, он решил ее развлечь и чуть не насильно увез ее с собою, чтобы познакомить ее с «замечательным человеком». А ехал он в Рим «специально» для научных бесед с Вячеславом Ивановым. Они встретились впервые в 1891 г. в Парижской Национальной Библиотеке. «За сближением на почве общих занятий римской историей последовала и душевная дружба». Именно Гревс в свое время боролся с благоговейным ужасом В.И. перед «Вечным Городом» и настоял на его поездке в Рим.

Первое свидание состоялось в полдень жаркого июльского дня. Они все трое решили позавтракать вместе. Вячеслав и Лидия выбрали почему-то ресторан на другом конце города и почему-то пошли туда пешком под палящими лучами солнца по расплавленным тротуарам

воспаленного Рима. Было радостно. С первых же незначительных слов — какое-то особое проникновенное понимание, небывалое для обоих. Лишь только Вячеслав и Лидия приблизились друг ко другу, между ними пробежала искра, и вспыхнул пожар...

Мы — два грозой зажженные ствола.

Потом другие прогулки — Палатин, Колизей. А Гревс, глядя на Лидию, улыбался, довольный, что она повеселела. Если бы он догадался и предвидел, чего он стал невольною причиной, он был бы испуган и смущен. Гревс вскоре уехал.

Вскоре уехала и Лидия. Она с детьми вернулась в Россию. А В.И. с женою переселился во Флоренцию, когда Лидии там уже не было. В Петербурге Лидия Димитриевна сразу затосковала в своем сером, заваленном пыльной, нелегальной литературой жилище. После душевных событий в Риме все это было «без божества и вдохновенья». Тогда там В.И. советовал ей прекратить политическую деятельность, которую она занялась из стремления помогать «униженным и оскорбленным». А для этого вовсе не обязательно состоять членом какой-то партии. В свое время она была права, вырвавшись на свободу, хотя бы такой ценой как опрометчивый брак и дарованию ее чуждая деятельность. Наш главный долг это — найти себя, узнать «какого мы духа». Сделает ли она кому-нибудь добро своей подпольной типографией — это еще большой вопрос, а что несомненно, это то, что она забрасывает детей, забывает притчу о талантах и губит свой прекрасный голос. Неужели она всерьез думает, что красота меньше, чем политические заговоры, способна перевоспитывать, «жечь сердца людей» и тем самым переделывать общество. Занялась бы она лучше музыкой!

Лидия Димитриевна в виде робкого послушания таким советам повесила у себя в комнате рядом с портретами революционных вождей большую фотографию Венеры Милосской. Фанатические подпольщики, с нею работавшие, сочли такой поступок неприличным вызовом, революцией против революции. Отношения охладели. Через год Л.Д. продала свой одноэтажный домик, который она купила после замужества и где собирались члены партии и хранились их бумаги. Затем она покинула Петербург, и со своими тремя детьми и тремя полуслужанками-полувоспитанницами (просто прислуг она себе держать не позволяла) поехала во Флоренцию учиться пению.

Было позднее лето. Ровно год прошел с тех пор как она по дороге из Рима на родину послала Вяч. Иванову большое исповедальное письмо, на которое он, боясь самого себя, после долгого молчания ответил вежливой, почтительной отпиской. Она к нему через несколько месяцев обратилась с маленькими поручениями и просьбами, которые

он исполнил. На этом переписка их прекратилась. Но о приезде своем во Флоренцию Л.Д. известила Вячеслава Ивановича телеграммой; и он отправился встречать ее на вокзал.

На мгновение мелькнуло лицо Лидии в освещенном окне вагона, — и она вышла на площадку, ведя за собой девочку лет четырех с огромными карими глазами. Обе они остановились перед высокими ступеньками. В.И. обнял девочку, поднял ее, играючи продержал несколько секунд налету и опустил на землю. Потом он помог Лидии Дмитриевне сойти. Из вагона повалили мальчики, молодые девушки, «факино» — все нагруженные чемоданами, саквояжами, шляпными картонками; молодежь толкалась, смеялась и, наконец, все отправились к выходу нанимать «веттурино» (извозчика). В.И. шел рядом с Лидией и нес уставшую от дороги, сладко уснувшую на его руках ее дочь.

Все семеро поселились во Флоренции, и Л.Д. стала часто посещать Ивановых. Дарья Михайловна, как это часто бывает, сама немало способствовала сближению мужа своего с его новым другом. Прошла осень, прошла часть зимы. Пожар разгорался. Когда они собрались тушить его, было уже поздно. В.И. попытался спастись бегством. Он один уехал в Рим в январе «для археологических работ». Но разлуки не выдержал. Через два месяца он Лидию позвал.

Опять Вечный Город, опять Колизей. Об этом новом, бурном свидании поэт через много лет рассказал:

Наш первый хмель, преступный хмель свободы

Могильный Колизей

Благословил: там хищной и мятежной

Рекой смешались бешеные воды

Двух рухнувших страстей.

(Cor Ardens)

Лидия пробыла в Риме от 12 до 15 марта. Они не расставались ни на один час. Гуляли по любимым, сразу становившимся памятными местам; жили в какой-то случайной гостинице. Когда она уехала, он почувствовал себя изгнанным из чудесной страны. Куда идти? Медленно, нехотя побрел он к себе домой, т.е. в нанимаемую им комнату. Его встретила улыбающаяся хозяйка квартиры, нисколько не удивленная его долгим отсутствием, обычным для него, часто уезжавшего на раскопки; по итальянскому обычаю, из простой вежливости она спросила, хорошо ли он провел эти дни. Но В.И., смущенный, нашел нужным что-то объяснять: «Да, было очень интересно; мы изучали древние памятники Витербо».

Повидимому боги древнего Витербо обиделись на него за такую ложь и в наказание не пустили его в свой град. В самом деле: ему,

объездившему вдоль и поперек всю Италию, прожившему десятки лет в Риме, так и не суждено было посетить этот соседний Риму город Лациума.

Он остался один в Риме, но он не был один: сквозь щемящую тоску разлуки он во всем и всюду чувствовал ее живое, вызывающее его творческие силы, присутствие. По-иному зазеленели и запахи деревьев, забили фонтаны, по-иному затрепетала душа.

Горячо и горделиво
В сердце блещет солнце счастья.

Все оказалось простым и легким. Сами собою получились решения научных недоумений, и В.И. быстро заканчивает свою затянувшуюся диссертацию; сами собою пришли радостные ритмы, звуки, — и полились песни, полные эфирной красоты:

Мы были дети —
Я как она.
Улыбок сети
Плела Весна
По влажным лонам
И по затонам
Ручьев в тиши,
И по притонам
Лесной глуши.
Мы были рыбки
Сребристо-зыбки
В сетях Весны.
Нам снились сны.

Стихи эти, как и весь цикл, — «Песни Дафниса» и пьеса «Золотое счастье», вошедшие в книгу лирики «Прозрачность» (1904 г.), были написаны в марте 1895 г., непосредственно после отъезда Лидии из Рима.

«Нам снились сны...» От радостных, пьянящих снов тягостно было пробуждение к будням действительности, преследовавшей неверного мужа безвыходными, терзавшими совесть, вопросами: А Дарья? А Саша?... В.И. считал поступок свой недопустимым. Он приходил в ужас от вовлечения в измену, и приходил в отчаянье от мысли, что вовлечение это может прекратиться. Однажды, ярким солнечным днем забрел он на римское кладбище — Campo Verano. В душе «и боль, и смута, и вопрос». Гордый разум беспомощно молчал. Строгими, стройными стражами стояли кипарисы. От земли подымались пряные запахи иссушенных солнцем трав, в цветах играли мотыльки, как окрыленные цветки» и стрекотали цикады. Земля обдавала пришедшего своим

горячим дыханьем. Он медленно шел меж могил. И вдруг он не то, чтобы понял, а всем существом своим ощутил: те, которых земля покоит, и те, которых ей предстоит произвести, и он сам, от нее рожденный — все это в ней, в Матери, нераздельно и едино. Он благоговейно, со слезами стал целовать Землю.

Я пал сражен души недугом...
Но к праху прах был щедр и добр:
Пчела вилась над жарким лугом,
И сох, благоухая, чобр...

Укор уж сердца не терзал:
Мой умер грех с моей гордыней, —
И вновь родним с родной святыней,
Я Землю, Землю лобызал!

Она ждала, она прощала —
И сладок кроткий был залог;
И все, что дух сдержать не мог,
Она смиренно обещала.

(Кормчие Звезды)

Летом 1895 г. В.И. возвратился во Флоренцию. Прошло два года после первой его встречи с Лидией. Он решил побороть «преступную страсть», но уже понимал, что прежнюю жизнь вернуть невозможно: ее нет, она — не жизнь больше. Он во всем покаялся жене, сказал, что в Лидию влюблен безумно, оторваться сразу от нее не в его силах, но он надеется, что со временем «наваждение пройдет». Он попросил Дарью Михайловну не разъезжаться, жить вместе как брат с сестрою. В ответ на такое предложение он получил решительный отказ и заверение от Дарьи Михайловны, что она готова дать ему немедленно развод. Он ее уговаривал повременить: «Ведь вовсе еще и неизвестно, чем кончится это демоническое увлечение».

Но Дарья Михайловна настаивала на своем: женским чутьем своим она безошибочно угадала, что Лидия — это навсегда. Но было и другое: развод в подобных случаях вполне соответствовал установившемуся в кругах передовой русской интеллигенции понятию о правилах любви и, значит, представлялся обязательным для прямолинейной, строго принципиальной Дарьи Михайловны. Она протелеграфировала о случившемся в Москву, откуда мать ее телеграммой же потребовала ее немедленного возвращения на родину, и, назначив свидание в Берлине, выехала к ней навстречу.

В.И. заявил, что исполнит все желания жены, но в Россию отвезет ее сам. Вслед за нею он поехал в Берлин, потом с нею вместе в Москву.

В Москве он пробыл недолго: сделал все нужное для процесса о разводе и повидался со своею матерью. Они с Дарьей Михайловной решили ничего не говорить старой, больной женщине о перемене в жизни ее сына.

А мать Дарьи, признававшая только крайности, распорядилась, чтобы бывшие супруги никогда больше не встречались и жили в разных губерниях. Она заявила Вячеславу, что он должен навещать свою мать и, значит, должен бывать в Москве и что, поэтому она перевезет Алексея и Дарью с Сашенькой в другой город. После отъезда В.И. она продала свой домик в Москве и, почти не спросив согласия у своих, более чем взрослых детей, она увезла их вместе с маленькой внучкою в Харьков.

Лишь только об этом узнал старый поклонник Дарьи Михайловны, в нее неизменно и безнадежно влюбленный, не перестававший за нею, — верною женой В.И. — скромно и безобидно ухаживать даже и в Риме, он немедленно приехал в Харьков и сделал Дарье предложение. То был молодой филолог, приятель В.И., будущий профессор Юрьевского Университета. Разлучаясь с Дарьей Михайловной, В.И. надеялся, что она выйдет за него замуж и не будет чувствовать себя покинутой. Но Дарья отказала — потому ли, что боялась за маленькую Сашу, потому ли, что не хотела изменить своей первой любви... Вячеслав и Дарья расстались друзьями. В его сердце горьким упреком сохранилось воспоминание об ее синих глазах, полных слез, в которые он смотрел, жену навек покидая.

* * *

Когда, вернувшись в Италию, В.И. оказался беспрепятственно вдвоем с Лидией, он понял, что запретное, «манящее за порог» влечение к этой женщине есть нечто совсем иное, чем просто «преступная» связь; он начал догадываться, что «страсть», которая «носит лики гнева», может, молнии подобно, освещать дотоле неведомые дали духа, подымать человека «высоко над маревом жизни», становиться поводом к «восторгам вершин», что Эросом возмущаемые «душные вихри» и «истомные бури» не только погружают сознание «в дремучие сны, где бродят заросли лома, желаний темных табуны», но и освобождают встрепенувшуюся душу от всех заносных песков, обнажают ее глубинные пласты, через которые пробиваются «родники — струи живые». Изничтожить нежное, священное, ищущее родиться — не значит ли это совершить преступление (Вячеслав это вдруг ясно увидел) — преступление большее, чем то, которого он прежде боялся. Есть страшный лабиринт, «лабиринт гробниц», где похоронено все,

Что зачалось, и быть могло,
Но стать не возмгло.

Выбор, ему представший, оказался не выбором между старым, правым благоразумием и новым греховным безумием, между добродетелью и соблазном, но выбором между двумя правдами, из которых каждая ведет неизбежно к убиению другой и каждая неизбежно превращается в грех и преступление. В.И. не рассудочной мыслию, а каким-то внутренним содроганием понял подлинный смысл той философии действия, которую заключают в себе слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: «Что здесь не грех? Все — грех».

«В религиозном миросозерцании эллинов обоснование трагической вины есть роковое предпочтение одного божества другому. Так целомудренный Ипполит, верный девственной Артемиде, гибнет за отвержение сладостных чар Афродиты».* В переводе на язык Эллады трагический выбор, долженствовавший определить дальнейшую судьбу Вячеслава Иванова, означал вопрос, кому дать предпочтение — семейственной Гере или страдающему Дионису. В.И. сознательно и ответственно выбрал Диониса; выбирая, знал, что «вина и обреченность — одно».

Но сердце имеет свои законы и ни о какой вине в ту пору ничего знать не хотело; ему было просто стихийно весело. Вячеслав и Лидия, глядя друг на друга, как дети, чему-то безудержно, бессмысленно, беззаботно смеялись. Они были счастливы.

Дух, как на царство, на счастье венчается,
В счастье, как в солнце, навек облачается:
Счастье — победа любви.

Отнюдь непохожим на такую беспечность и радость было тогда душевное состояние Ивана Михайловича Гревса, вновь, как за два года до того, приехавшего для научных бесед с Вячеславом Ивановым в Италию и попавшего во Флоренцию в самый разгар семейной драмы. Ему первому Дарья Михайловна сказала о своем горе. Он чувствовал себя виноватым и приходил в беспомощное отчаяние, не зная что предпринять.

Гревс, строжайший пуританин, целомудренный и застенчивый до того, что о рождении собственной дочери от собственной законнейшей жены, сообщал знакомым стесняясь, смущенно краснея, точно девушка, — Гревс должен был бы возмутиться происшедшими переменами и уж никак их не поощрять. Однако после отъезда Дарьи Михайловны он остался с Вячеславом и Лидией, покорно сопровождая их повсюду,

куда им угодно было его брать. Однажды, «порою тризн вакхальных», Вячеслав, Лидия и Иван Михайлович отправились во Фьезоле, чтобы осмотреть хорошо сохранившийся древний римский театр.

«На высотах, где Мельпомены давно умолкнул страшный глас», несмотря на летнюю пору еще лежал остаточный снег. Там, «меж развалин древней сцены»

В благоговеньи и печали
Воззвав к тому, чей был сей дом,
Мэнаду новую венчали
Мы Дионисовым венцом.

Голос Лидии окреп и поумнел за последнее время. Он стал задушевным и вакхическим зараз.

Тогда пленительно-мятежной
Ты песнью огласила вдруг
Покрытый пеленою снежной
Священный Вакхов полукруг.
— «Увейте гроздьем тирсы, чаши!
Властней богов, сильней Судьбы,
Несите упоенья ваши!
Восстаньте — боги, не рабы!
«Земных обетов и законов
Дерзните преступить порог, —
И в муке нег, и в пире стонов
Воскреснет иступленный бог...»

(Кормчие Звезды)

А Гревс, опустив голову, сидел, печальный, на ступеньках античного театра и приговаривал: «Вот до чего доводит Ницше, вот до чего доводит Дионис.»

* * *

«Встреча с Лидией, — свидетельствует В.И. в своей краткой автобиографии, — была подобна весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело, зазеленело». * Встреча эта не только научила «исступлению из граней эмпирического я», сознанию безликой и безвольной стихийности, ужасу и восторгу потери себя, она дала еще направление и цель бурным дионисийским порывам, создала *центр* их кристаллизации, т.е. чувство личности сверхчувственной, безмерной, первозданной.

Любовь вызвала в В.И. живое чувство реальности своего объекта, а именно чувства реальности ему тогда и не хватало; она вернула ему непоколебимую веру в трансцендентное бытие. Подлинная любовь полагает любимое существо ценностью первичной по отношению к любящему, который ощущает себя явлением как бы производным. «Ты» предваряет «я». *Transcende te ipsum* требовал блаженный Августин. Это «исступление», «выхождение из себя» субъекта есть такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое *я* не как объект, а как субъект. «Это — не периферическое распространение границ индивидуального сознания, но некое передвижение в самих определяющих центрах его обычной координации.» При условии полноты утверждения чужого бытия всею волею и всем разумением, полноты, как бы исчерпывающей все содержание моего собственного бытия, чужое бытие перестает быть для меня чужим «ты», становится для меня другим обозначением моего субъекта. «Ты еси» не значит: «ты познаешь *мною* как сущий», а значит: *твоим* бытием я познаю себя сущим». «Его проникновение в чужое *я*, его переживание чужого *я*, как самобытного, беспредельного и полновластного мира, содержало в себе постулат Бога как реальности реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей, из коих каждой он говорил всею волею и всем разумением — ты еси.» * Слова эти, сказанные Вячеславом Ивановым о Достоевском, относятся и к нему самому. Посвящение в «высшую реальность» Достоевский получил на эшафоте, В.И. в опыте большой любви. Непосредственный опыт примата *«ты»* приводит к узрению начала объединяющего, содержащего все *я* и все *ты* — к узрению Бога как Вседержителя.

Я, затворник немоты
Слову «ты»
Научился — поцелуем.
В поцелуе — дверь двух воль,
Рай и боль:
«Ты» родилось, — у порога
Третий тихо отвечал
И помчал
Эхом «ты» к престолу Бога.
(Человек)

Чувство, ощущение, признание личности живой, безусловной, перво-данной предохранило В.И. от опасности пантеистического истолкования дионисийства: ведь пантеизм допускает лишь мнимое возрождение; новый внутренний опыт естественно вел к христианству, которое

и есть тончайшее и глубочайшее явление «прежде всех век» неповторимой Личности и ее победы над смертью.

В.И. вспоминает: «Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне — жестоко и ответственно, но по совести правильно — решить представший мне в 1895 г. выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью... Друг через друга нашли мы — каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога». *

Итак: дерзкий проповедник воли к могуществу побудил Вячеслава к безвольной самоотдаче в любви; пресловутый враг христианства привел его к осуществлению Августинова завета — *transcende te ipsum*; Ницше толкнул его на путь к Христу. — *ENANTIODROMIA* — (бег в противоположное) сказал бы Гераклит. Поистине о хитрости веры можно говорить с неменьшим основанием, чем Гегель говорил о «хитрости разума». Вера порою ведет души хитрыми путями.

* * *

В конце лета того же 1895 г. В.И. представил Берлинскому Университету свою диссертацию о государственных откупах в Риме (*De societatis vectigalium*), которую Моммзен щедро расхвалил, хотя теория В.И. противоречила его теории о *societas publicanorum*. Профессора уговаривали В.И. остаться в Германии, суля ему блестящую университетскую карьеру. Но он отнюдь не собирался начинать «университетскую карьеру» вне России. А главное: «Не тем в то время сердце полно было». * В.И. покидает римскую историю и обращается к своей «суженой и избраннице сердца» — античной филологии. Все же Риму для эллинизма В.И. не вполне изменил: он провел почти весь 1899 г. в Англии, где в лондонском Reading-Room при Британском Музее усердно собирал материалы для исследования религиозно-исторических корней римской веры во вселенскую миссию Рима.

Не одни внутренние, но и внешние причины лишали В.И. возможности спокойно работать при Берлинском или Московском Университете: его разрыв с Дарьей Михайловной, душевно трудный, практически разрешился легко и быстро несколькими нудными формальностями. Но муж Лидии отказал ей в разводе, и юридическое расторжение брака, в дей-

ствительности давно не существовавшего, потребовало многих лет и сложнейших процедур. В ожидании возможности венчаться Вячеслав и Лидия должны были скрываться и прятать детей Лидии, которых отец их угрожал и пытался похитить. Началась пора скитаний. Странствовали они по Италии, Франции, Англии, Швейцарии; заезжали и на родину для свидания с родными, но на родину приезжали врозь и без детей. От матери В.И. разрыв его с первой женою старательно скрывали, но она обо всем догадывалась и грустила. На необходимость убеганий, укрываний В.И. и Л.Д. могли бы досадовать, если бы они не были, вопреки всему неприятному, светло, беспечно счастливы.

* * *

«Во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно поэт», пишет В.И. после встречи с Лидией. Стихи Вячеслав писал с детства. И уже в отрочестве «познал одновременно и гордость литературного успеха и обиду критических инсинуаций» *. По девятому году Вячеслав посещал частную школу, «устроенную не без притязаний на изысканность семьею известного экономиста М.И. Туган-Барановского»; там Вячеслав, братья Туганы и их двоюродный брат «соревновались в писании романов»; туда принес Вячеслав стихотворение свое «Взятие Иерихона».

Вот, расстилаясь, лежит горы склон,
Виден на нем гордый град Иерихон

«Законоучитель прочел его всем детям... глупенькая учительница заявила, что видела где-то нечто подобное.» *

Первое признание: «Ты — поэт» — Вячеслав услышал еще в гимназии. Когда он перешел в шестой класс, там оказался ученик, оставленный на второй год, юноша высокий, стройный брюнет, державшийся в стороне ото всех, рассеянный, плохо учившийся, но исполненный напряженной духовной жизни, почти ясновидящий. Однажды, как раз во время своего увлечения и омрачения атеизмом, Вячеслав на парте своей нашел записку: «Я Вас угадал. Вас никто не знает. Вы — поэт.» * С той поры они сблизились, и Владимир Калабин — таково было имя юноши — без устали нараспев читал своему другу Иванову произведения Пушкина и Лермонтова, а также и свои стихи, нежные и певучие. От него Вячеслав впервые услышал серьезную, плодотворную критику, ибо его первый поклонник беспощадно указывал ему на «жесткие» строки в его поэмах. Калабин из гимназии ушел, ее не кончив, но с другом своим отношений не прервал; он был свидетелем на свадьбе Вячеслава; после его отъезда за границу они уже больше

не встречались. Калабин затерялся в жизни. В 1882 г. Вячеслав ему писал:

...

Двигутся хоры пленительных грез;
Нет своей радости, нет своих слез.

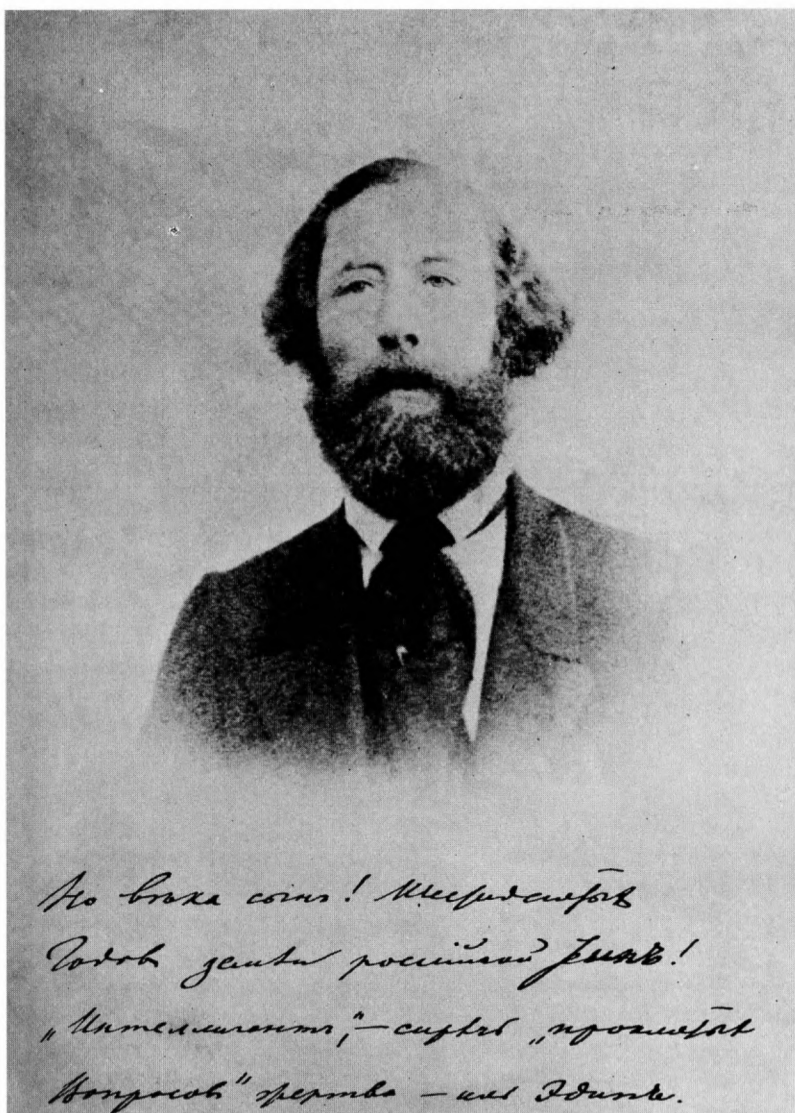
Радости чуждой, чуждой печали
Сердце послушно. Ясны
Взорам доверчивым въяве предстали
Воображенья волшебные дали,
Сердце манящие сны.

(Кормчие Звезды)

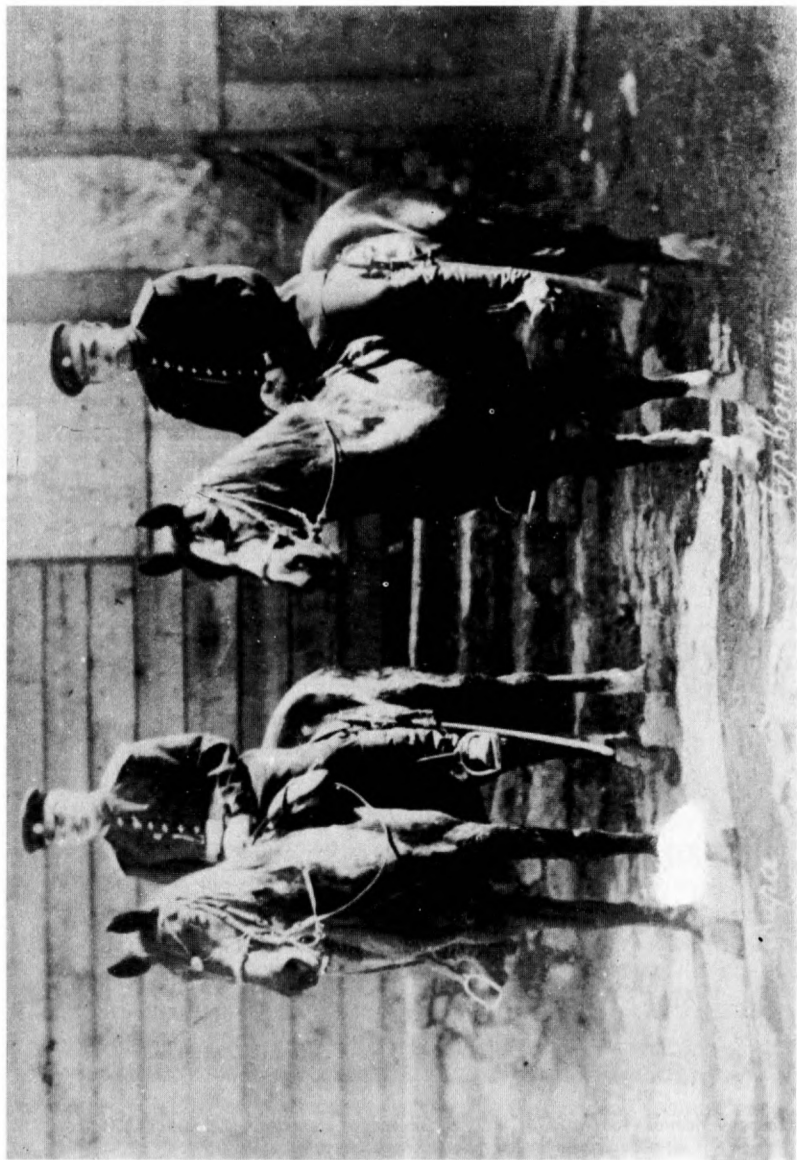
Свое последнее лето в России студентом второкурсником В.И. проводил в имении братьев Головиных, где готовил к лицу младшего брата Павла и занимался по-гречески с другим братом, лицеистом старшего класса, Федором Александровичем (впоследствии председателем второй Государственной Думы). «Головины, — рассказывает В.И., — похитили мои рукописи, и во мне был разоблачен не только поэт, но поэт-символист, хотя слово «символизм», в смысле литературного направления, никто из нас не знал. А именно один молодой человек из нашей компании (дело было лунною ночью, мы лежали на стогу сена), разбирая мои стихи, сделал открытие, что я изображаю природу не так, как другие, и не так, как ему лично нравится, но влагаю в изображение какой-то особый, тайный смысл». * В период своей брачной жизни с Дарьей Михайловной В.И. не переставал писать стихи. Но...

В.И. — лирический поэт. А лирический поэт сам себе задан как миф. Лирика, даже самая интимная, (если и поскольку она — подлинная лирика) всегда есть точное описание объективной, высшей реальности, но описание в аспекте особого, своеобразного опыта и неповторимого личного переживания. Лирический поэт будто-бы капризно и своевольно утверждает единственность каждого своего чувства и поступка, и в то же время явленной тайной своей поэзии он «в едином и через единственное открывает всеобщее и вселенское». Запечатлевая свою личность обращением ее в миф, он тем самым и постигает и знаменует истинное, высшее бытие.

Своеобразности и интенсивности переживания не хватало Вячеславу до встречи с Лидией. Были лишь «предчувствия и предвестия». Его внутренний голос ему самому был едва внятн и вовсе не проникал вовне. «Персона», * которую он внешне сам из себя сделал, на долгие годы непроницаемой маской сокрыла его лицо и душу не только от окружающих, но и от него самого. Когда маска спала, ему стало



Иван Тихонович Иванов (1816 - 1871). Отец Вячеслава Иванова. Автограф В.И. из автобиографической поэмы «Младенчество».



Анатолий и Евгений Ивановичи Ивановы, полубратья Вячеслава Иванова. С константинопольской фотографии 1877 г. Оба брата, артиллерийские офицеры, были тогда на русско-турецкой войне; Вячеслав посылал им в окопы письма, полные его военно-патриотических стихов.

казаться, что прежняя жизнь его была не жизнь вовсе. Спустя много лет он пишет другу:

..... Я начал, помню, жить
В ночь лунную, в пещерах Колизея.
И долго жил той жизнью, — живой
Впервые...

(Нежная Тайна)

Дарье Михайловне льстило, что сперва ее жених, потом ее супруг писал ей стихи, и стихи эти ей нравились, но суждения своего о них она не имела и искала внешнего авторитета для их оценки. Требовала же она от мужа практических, серьезных достижений: звания профессора и университетской карьеры. Ради этого она готова была идти и на материальные жертвы, чтобы освободить В.И. от отнимающих много времени и сил работ для заработка и таким образом приблизить срок возвращения на родину, где мужу ее обещали кафедру. Все это, несомненно, было весьма благородно, благоразумно и справедливо, но для поэта отнюдь не вдохновительно.

Лидию при первых свиданиях в Риме и во Флоренции юношеские стихи Вячеслава вовсе не пленяли. Они ей по большей части даже и не нравились. Но в своем новом знакомом она ясно видела исключительный диапазон личности и зарытый в недрах духа клад творческих возможностей и даров; в его глубине она слышала глухие раскаты «святых гроз» и тихий плач младенца. Этому младенца она принялась вызывать к жизни. О таких вызовах поэт потом сказал:

Люблю тебя, любовью требуя;
И верой требую, любя.
Клялся и поручился небу я
За нерожденного тебя.

(Cor Ardens)

Ему, об нем самом, настоящем, «нерожденном», она все старалась рассказать, не находила подходящих выражений, волновалась, зная, что говорит не так как надо, и не то. А в нем от ее беспомощных слов все, что до тех пор под спудом спало, — пробуждалось, оживало, расцветало, загоралось; он ясно слышал, понимал то, что она не умела сказать.

«А знаешь, спрашивал он, кто первый открыл в нашей глубине того младенца, крик которого ты слышишь в моей душе? Тот тайновидец недр человеческого духа одобрил бы тебя вполне.» И Вячеслав рассказывал ей и читал «Федона», где Платон говорит о плачущем внутри нас, испуганном младенце, к которому следует направить повивальную

бабку — философию. «Маэвтикой» владел Сократ по отношению к дремлющим в нас понятиям разума; но не одними ясными понятиями жив дух: иррациональная часть нашей души есть подлинный родник духовной жизни. Младенцу — опасному безумию в нас — надо помочь родиться, чтобы потом воспитывать его, очаровывать идеями. Тогда, и только тогда мы сможем не разрушительно, а «право безумствовать» (*δρθώς μανῆναι*), т.е. мыслить и творить.

А в другой раз Вячеслав сказал: «Вот и Ницше тоже знает о Платоновом «младенце»; когда он говорит: «Из верблюда культуры родился лев, а ото льва родился младенец», он думает о нем. Это несомненно одно из лучших изречений Ницше, но здесь он спорит сам с собою.» Вячеслав улыбнулся: «Впрочем, лучшие изречения всех больших мыслителей имеют ту особенность, что они обыкновенно противоречат собственным теориям их авторов».

Свою первую книгу философских и эстетических опытов «По Звездам» В.И. посвящает «раскрывшей во мне мое нерожденное слово». В душе В.И. «гаданья двоих по тем же звездам» воскресили детские воспоминания об его новогоднем гаданье с матерью по Псалтирю... «Дар песен вещицы листы тебе пророчат», — радовалась тогда Александра Димитриевна. — «Ты поэт!» — требовала от него Лидия, и поэт в нем «впервые раскрылся и осознал себя вольно и уверенно».

Между тем Дарья Михайловна, с которой В.И. не прекращал дружеской переписки, без его ведома принесла его стихи на суд к Владимиру Соловьеву; Соловьев нашел в них «главное» (как он говорил) — «безусловную самобытность». В.И. был обрадован телеграммой, извещавшей об его сочувствии, и предложением отдать с согласия автора стихи в журналы. В печати появились несколько сонетов, «Тризна Диониса», «Первая пифийская ода Пиндара», переведенная размером подлинника. *

Со времени той телеграммы, всякий раз, как он приезжал в Россию, В.И. имел важные для него свидания с тем, кого он считал величайшим философом своей родины, глубоким, проникновенным критиком, значительным поэтом. «Он был покровителем моей музыки и исповедником моего сердца». *

В первую свою встречу с Владимиром Соловьевым В.И. из дерзкой честности заявил известному ученому, что ни с одной мыслию его он не согласен. Соловьев ласково улыбнулся, встал, молча обнял и поцеловал своего гостя. И, глядя на него своими сивиллинскими глазами, сказал: «На ницшеанстве Вы не остановитесь». Однажды, во время душевной беседы с ним В.И. (то был самый разгар его счастья с Лидией) воскликнул: «Знаете, Владимир Сергеевич, несмотря на все,

что со мною было и есть, я Вам завидую: девственность, как Ваша, — это выше всего». Соловьев (как это всегда бывало, когда разговор заходил о чем-нибудь, его лично касавшемся, особенно, когда его хвалили) ужасно смутился, застыдился, покраснел, стал отмахиваться и быстро забормотал: «Нет, нет, что Вы, что Вы, у меня это не то, не так хорошо, как Вам кажется...»

Мелькали города и страны. Хотя необходимость прятать детей и опасность быть застигнутыми врасплох и придавала отношениям Вячеслава и Лидии романтическую прелесть тайны, сладость запретного плода, задор авантюры, но все-же постоянная напряженность, настороженность, страх потерять детей утомляли, раздражали, и они с нетерпением ждали развода. Наконец, в начале 1899 г. пришла телеграмма от брата Л.Д. из Петербурга, возвещавшая благополучное завершение процесса. Радостное известие застало их в Аренцано, очаровательном приморском городке близ «амфитеатра порфирного», как звал В.И. Геную. Свадьбу справили в маленькой греческой церкви Ливорно, куда В.И. и Л.Д. поехали одни, вдвоем и где по греческому обычаю им, вместо русских брачных венцов, надели на головы обручи из виноградных лоз, обмотанных белоснежной шерстью ягненка. Эта особенность обряда, о которой они ранее не знали, их взволновала и обрадовала своей для них знаменательностью: именно в то время В.И. начинал приходить к убеждению, что не только еврейская, но и эллинская религия (эллинская религия бога страдающего, жертвенного, растерзанного) является предтечей христианства, — «ветхим заветом язычников». А виноградная лоза и белое руно пришли из культа Диониса.

И Вакха сев для вечера Христа.

В.И. настаивал, чтобы Л.Д. дала своим сыновьям хорошее, особенно полезное после скитальческих лет, английское воспитание. И, следуя его совету, они со всеми детьми пароходом двинулись через Неаполь, где задержались на лето, в Англию.

В Лондоне Вячеслав и Лидия пережили первое общее горе. В светлый воскресный день у них родилась девочка — Еленушка. Л.Д. была в упоении, видела в ней что-то особенное, печать духовности на лобике. Через два месяца Еленушка, вопреки усилиям лучших врачей, как-то непонятно умерла. Лидия была в отчаянии. Через несколько дней недалеко от дома, в котором жили Ивановы, был найден подкидыш мужского пола. В.И. и Л.Д. решили, что ребенок послан им в утешение и приступили к хлопотам по его усыновлению. Но английские власти поблагодарили их за доброе намеренье и отказали: английский гражданин не может быть отдан иностранцам.

Одновременно переболев воспалением легких, они, по совету врачей, должны были провести несколько месяцев на берегу моря. Выбрали Северный Корнуоль, — суровый и таинственный. Во время отлива они заходили в пещеры среди скал, едва освободившиеся от воды, и там

... на отмели зыбучей
Где начертал отлив немые письма

прислушивались к далекому «словно гул колоколов» голосу океана, думали, писали. И (известно ведь: «счастливые часов не наблюдают») они не замечали как вдруг начинался прилив

Гряда идет, а ей чрез плечи,
Нетерпеливы и седые,
Растут вспененные ряды.

Испуганные и веселые они, взявшись за руки, убегали вверх по кручам от бешенных валов настигавших, грозивших их захлестнуть, поглотить, от валов пучины, что шла на свидание с берегом.

Пьяный плющ и терен дикий,
И под чащей — скал отвес.
Стремь — и океан великий
До безбрежности небес...

(Кормчие Звезды)

* * *

В середине лета 1900 г. В.И. и Л.Д. посетили Владимира Соловьева в С. Петербурге и, в исполнение его невысказанной воли, прямо от него отправились в Киев, паломниками в Печерскую Лавру.

«Труднейшее постижение для русской интеллигенции есть ясное уразумение идеи Церкви» сказал В.И. через десять с половиною лет после того посещения в речи своей на торжественном заседании Религиозно-Философского Общества, посвященном памяти Владимира Соловьева. * Трудность эту В.И. знал по собственному опыту: при его стихийной религиозности, связь его с Церковью, — вернее, история его отношений с нею — была сложна и порою противоречива.

В пору своего юношеского безбожия он естественно отошел от Церкви, но, наперекор общественному мнению кругов, к которым он тогда примкнул, он к Церкви никогда не относился враждебно, никогда не соглашался признать ее вредным и опасным орудием правитель-

ственной реакции и вопреки своим тогдашним «убеждениям» продолжал любить ее быт —

Я благолепие люблю
И православную кутью...

Лидия Дмитриевна, у которой потеря веры принимала зачастую болезненные формы, доходила до одержания, дико взбунтовалась против Церкви, и бунт этот глубокий и долгий продолжался и в пору ее начавшегося душевного выздоравливания после первой встречи с В.И. в Риме. Вскоре после той встречи Лидия вернулась в Россию; с дороги она 15 июля (ст. ст.) послала В.И. письмо *: «... Когда я встретила Вас, я достигла уже апогея своего отчаянья, и вдруг эта прогулка в Колизей. Вы, быть может, уже забыли о ней, но для меня она останется навек лучшим воспоминанием моей жизни. Сначала Вы говорили о своей вере, и я почувствовала, что у Вас есть «слово», которое может спасти меня, затем Вы говорили о сцене, о широкой, сильной жизни, и мне казалось, что Вы говорите моими словами, то, что давно хотела и мечтала сказать я. Ваша вера скорее поэтическая, неопределенная мечта. И пусть она останется таковою... Вдруг мне стало страшно, чтобы Вы когда-нибудь не перешли ту грань, за которою царит узкая доктрина, грубо материальная концепция Божества и ненавистное мне учение о награждении добродетели и наказании порока. Моя душа просит веры и все существо мое трепещет, когда я решаюсь открыто высказать другому и выслушать его верованье, но никогда не подам я руку патентованным «христианам», никогда не помирюсь с пошлюю и неблагородною церковью». *

В Москве, накануне своего бракосочетания с Дарьей Михайловной, Вячеславу пришлось исповедоваться и причаститься. Эти оказания благочестия представлялись ему тогда, в период его вольнодумства, досадными формальностями. Он покорно и нехотя исполнил все, что от него требовали. Впрочем, все, относящееся к венчанию с Д.М. он исполнял покорно и нехотя.

Прошло десять лет. В апреле 1896 г., находясь с Лидией Дмитриевной в Париже, В.И. неожиданно получил телеграмму о кончине матери. Не успели его оповестить об ее краткой болезни. Из уважения к памяти глубоко религиозной Александры Дмитриевны он на следующее утро заказал обедню и панихиду в православной церкви Парижа. В ту пору он уже вернулся не только к вере, но и к вере в личного Бога, но от церкви он был еще весьма далек.

В то весеннее утро он стоял перед алтарем, к которому привела его умершая мать и слушал чудесный по красоте литургический язык, неизменно его волновавший своим художественным совершенством.

Слушал и глядел памятью вдаль: исчезли все долгие, его с матерью по его вине разделявшие годы, исчезли тягостные (при его наездах в Москву) свидания без внутренней встречи, когда ему противовольно приходилось ей лгать, скрывая от нее самое важное событие своей жизни. И он увидел, почувствовал ее такой, какой она была для него в младенчестве и отрочестве: страстно любимой, единственной. Его охватил ужас, тот самый, который напал на него, отрока, в школе от безумной, больно ударявшей по сердцу мысли: «что-то страшное случилось, матери нет больше, ее никогда не будет»... Он через силу дожидался конца уроков и опрометью бросался домой. И вдруг: «если я выберу вот эту, длинную дорогу, то она жива». И он устремлялся волнуясь, торопясь, подолгу ненужно обегая какие-то улицы и переулки. И вот, наконец, она перед ним на пороге дома — долгожданная, неожиданная, вышедшая к нему, запоздавшему, на встречу... «Господи, какая красивая!» Сердце его срывалось так, что он задыхался; ему казалось, что он умирает — от счастья.

Церковь была для него связана с образом матери и неизменно присутствовала в душе его и в период его религиозного бунта тем тихим светом лампы, что озарял в детстве его и матери общую спальню, той трепещущей мглой, которая в кремлевских соборах очаровывала их и пугала, тем «медноязычным гулом» пасхальных колоколов, который им обоим говорил о Боге жертвенном, мертвом и воскресшем и от которого одинаково дышали и горели их сердца. Он стоял без нее в «Божьем доме» на чужбине. Чувствовал ее живое присутствие полнее, глубже чем раньше.

* * *

Раннею осенью 1899 г. В.И. был обрадован приглашением Владимира Соловьева посетить его «пустыньку» — редкая привилегия духовно ближайших друзей философа. Владимир Сергеевич долго, обстоятельно объяснял как добраться до «пустыньки», отдаленного от Москвы места его одиноких медитаций. А Вячеслав Иванович внимательно слушал и усваивал. Но в назначенный день он, хоть и старался все точно исполнить, но взял не тот поезд, слез не на той станции, пошел не по тем дорогам, которые ему были указаны. Проискал пустыньку много часов безуспешно; наконец, к ночи прибред на какой-то вокзал, взял первый попавшийся поезд и вернулся в город. А Соловьев терпеливо прождал его целый день напрасно. Назначенное *свидание не состоялось*.

Блуждая по лугам и лесам подмосковья, В.И. обдумывал свой предстоящий разговор с Вл. Соловьевым: «Ницше неправ. Учение о Сверх-

человеке он основывает на предпосылке о «смерти старого Бога» («Der alte Gott ist tot») и о богоприемстве человеческого «я». То, что с босяцким самодовольством выговаривал Штирнер, исходя из тождественных посылок, Ницше колеблется изречь: мы встречаем в текстах его точки там, где связь мысли подсказывает — «я — бог». Но Ницше гипостазировывает сверхчеловеческое как в некоторое *что*, придает фикции своей произвольно определенные черты и, впадая в тон и стиль мессианства, возвещает пришествие Сверхчеловека. Ницше идет еще дальше и снижает экстатическое и вдохновенное видение до признания некоего идеального подбора, долженствующего увенчать человеческую расу последним завершительным звеном биологической эволюции... Биологический подбор, биологический императив — Дарвин. Вот чей голос звучит в конце концов из-под таинственной маски «дионисийского Заратустры Ницше»...

И чудилось В.И., что слышит он раскатистое «Ха, Ха, Ха, Ха!» — громкий, неудержимый, стихийный смех Владимира Соловьева. «Да, Соловьев прав: проблема сверхчеловечества есть проблема грядущего богочеловечества. Критерием истинного сверхчеловечества является для него победа над смертью. Индивидуальный страх смерти есть малодушие и безумие, но непримиримость с фактом смерти отцов и любимых современников, и грядущих в мир потомков наших есть благородный и нравственно обязательный стимул всего нашего жизненного деланья. «Смерть зови на смертный бой» — вот призыв к высшему из подвигов. Знамя, на котором было начертано «Сим победиши», и оно одно, обеспечивает победу в неравном бою. С вопросом о победе человека над смертью сопряжен, как другая сторона единой тайны, вопрос о смысле любви. Быть может, после Платона, один лишь Соловьев говорил столь глубоко и живительно о любви и поле, увенчивая первую и восстанавливая человеческое достоинство и богочеловеческое назначение второго, славя «розы, возносящиеся над черною глыбой», и благословляя их «корни, вонзающиеся в темное лоно». И для любви — о, для нее прежде всего — последняя задача и таинственный, величавый подвиг есть преодоление смерти.»

«Церковь есть таинство вселенской любви и свободного единения во Христе». Церковное сознание столь живо и полнодейственно в Соловьеве, что определяет и содержание его философии, и характер его диалектики. Оно служит для него и принципом гносеологическим. Гносеологии он еще не написал: обещает. А открытие важное. Человек в тварном сознании естественно признает зависимость познания своего от некоей данности; он сам себе кажется живым зеркалом. Так называемая «беспредпосылочная» философия упирается неизбежно в тупик солипсизма или софизмов Горгия. Все, что человек познает,

являясь зеркальным отражением, не соответствует отражаемому: правое превращается в левое, левое в правое, части переместились. Как восстановить правоту отражения? Через вторичное отражение в зеркало. Этим другим зеркалом — *speculum speculi* —, исправляющим первое, является для человека, как познающего, другой человек. Истина оправдывается только будучи созерцаема в другом. «Ты еси» — акт любви обеспечивает познание. Связь «ты» и «я» образуется силою вселенского Логоса. Где двое или трое во имя Христово, там среди них Сам Христос. Невидимый союз душ составляет образующееся богочеловеческое тело. Церковное сознание — гносеологическая предпосылка. Это ли хочет сказать Соловьев? Он, такой ясный, четкий — об этом говорит сивиллински, бормоча. Знает, наверное, больше. Спрошу».

Ничего не удалось спросить ему в тот светлый осенний день, когда он безуспешно искал «пустыньку». А на следующий день и Соловьев, и он уехали из Москвы, не успев повидаться. Но, обращаясь мыслию к Соловьеву под «перезвон и переклик» колосьев, елей и берез, В.И. ощущал как что-то прорастает, зреет, расцветает в его душе. То, что жило в нем темно и кровно, становилось новым постижением, облакалось словом. Он по новому понял, чего хотел его учитель и совопросник, говоря, что надо «оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания». И чудилось Вячеславу, что Соловьев перед ним «с его углубленным взором, впальми щеками и преждевременно седеющими прядями пышных кудрей, нависших над высоким, ясным лбом», ласково на него смотрит и его одобряет... *Несостоявшееся свидание состоялось.* *

Лидия, наученная своим внутренним опытом и беседами с Вячеславом, давно перестала считать Церковь вредной и пошлой организацией, но она была далека от пониманья, что «Церковь не имеет тела, иначе как в таинстве».

И вот: не прошло и года после вячеславова «солилоковия» в поисках пустыньки, как Вячеслав и Лидия очутились в Киево-Печерской Лавре, приведенные туда Соловьевым, волею его, без его ведома. Из Киева, после причастия (первого подлинного после детских лет) они послали ему в Петербург телеграмму; не знали они, что в то время он умирал у Трубецких, в их имении, Узком; и никогда не узнали, дошла ли до него их весть.

В то памятное посещение Соловьева, незадолго до его неожиданной, безвременной смерти В.И. сообщил «покровителю своей Музы», что у него готов к печати сборник стихов и спросил правильно ли он собирается поступить, выступая впервые не в группе, а особняком — один.

— «Очень хорошо, очень хорошо», решительно сказал Соловьев, «они-то, новаторы, Вас с радостью приняли бы. Но так лучше. Печатайте скорее. А я статью напишу. Вас не поймут, надо объяснить».

Тогда спросил В.И.: «Владимир Сергеевич, я думаю назвать эту книгу лирики — «Кормчие Звезды». Как Вы относитесь к такому заглавию, одобряете его?»

«Номоканон», — последовал немедленный ответ, — скажут, что автор филолог, но это ничего. Очень хорошо, очень хорошо».

Номоканон, византийское собрание непреложных соборных постановлений, было в славянском переводе названо «Кормчей Книгою». Соловьев сразу понял: «Кормчие Звезды», неподвижные светила; это — непреложные истины, вечные идеи, по которым человеческий дух направляет свой путь.

* * *

И опять замелькали Париж, Женева, Рим, Лондон, Каир, Александрия. Но путешествия эти были уже не вынужденными скитаниями, а вольными вылетами из постоянного жилья, из виллы Java, которую Ивановы наняли в местечке Chatelaine близ Жeneвы. Вдохновительная жизнь веселых странников, которую В.И. и Л.Д. вели без детей, была возможна благодаря появлению в их семье доброго, домашнего гения.

У Лидии была подруга юности — Мария Замятнина, женщина незаурядная. Самостоятельно мыслящая, энергичная, с высшим образованием (что тогда для девушки из аристократической среды было редкостью, считалось неблагоприятным, даже неприличным), Марья Михайловна обладала врожденным организаторским талантом. Не даром была она внучкой того Замятнина, который при Александре II-м проводил судебную реформу. Незаметно, среди светской болтовни и разговоров на «умные» темы, она быстро и ловко устраивала не только студенческие издания профессорских диспенсов; она организовала «Общество помощи учащейся молодежи», находила и оплачивала квартиры, зорко следила за ею основанной бесплатной столовой — все это в тогдашней России, при ужасающей бедности студентов, было делом сложным и важным. Замятнина, о том не стараясь и не думая, всюду занимала руководящее положение: ее начальники (видные общественные деятели и профессора) оказывались ее покорными помощниками. Лейбницианка, оптимистка, крепкая и бодрая Марья Михайловна отказывалась заниматься проблемами своей совести. «Вы бы, Маруся, о грехах своих подумали» — шутя дразнил ее В.И. — «Какие

это такие у меня грехи?» Совести своей она не чувствовала, как мы не ощущаем наших здоровых, нормально работающих органов. Она вся, до конца отдавалась делу, которое делала, и ей совершенно некогда было думать о себе.

Когда, еще в пору их скитальчества, Лидия и Вячеслав тайком в Петербурге свиделись с Замятниной, Марья М. была обрадована, увидев подругу свою до неузнаваемости духовно расцветшей, творчески вдохновенной, и она была потрясена, восхищена явлением блестящего, чарующего, многообещающего молодого ученого и поэта. Со свойственной ей страстностью и прямолинейностью она сразу решила, что совершенно недопустимо топить этих «олимпийцев» в мелочных семейных заботах, решила взять на себя всю прозу жизни, а их освободить.

Из России тогда В.И. и Л.Д. уехали вместе с Замятниной, и она сопровождала их всюду, куда они ездили со всей семьей, а в их отсутствие вела весь дом и воспитывала детей. Помощь ее была существенна еще и потому, что семья увеличилась: в один из приездов в Париж Лидия родила девочку, которую, по настоянию Вячеслава, назвали Лидией.

Пасху 1902 г. В.И. и Л.Д. проводили в Иерусалиме у гроба Господня. На возвратном пути, в Афинах В.И. схватил тяжелейшую форму тифа и врачами был приговорен к смерти. Он знал, что умирает и радовался, что оставляет по себе *«Кормчие Звезды»*, которые тогда печатались в России.

* * *

«Кормчие Звезды» * — это песни, из которых только немногие сплетаются между собою реальным единством времени, действия и места; все прочие оторваны друг от друга событиями и годами. Большую и лучшую часть книги составляют стихи, написанные после встречи с Лидией, но в нее входят произведения и ранне-римской, и парижской, и даже берлинской поры. И все-же *«Кормчие Звезды»* — единое о себе *признание* в обоих смыслах этого слова: как покаяние-исповедь в нарушениях и грехах и как провозглашение-исповеданье обретаемой и обретенной веры. Вся книга есть правдивая и точная запись того, как томимый духовным голодом человек «ходит по мукам» в туманном пределе бездорожья. «Но лишь бы не утолился этот голод недостойною пищею и не утомилось постоянство ищущих и стучащихся. Будет искание — будет и обретение».

И посох ваш к очистительной купели
В терпении несите на восток:
Се, кормчих звезд горят над вами цели.

Но не всегда горят они видимо: чаще притягивают нас незрими-
ми для простого глаза, таинственными магнитными лучами. И мы тянемся
к ним навстречу, покорные «стихийно-творческому началу жизни» в
нас, вере, про которую так безусловно и неподражаемо сказал ап.
Павел, что она есть «вещей обличение невидимых» (Посл. к Евр., 11, 1);
«ее движения, ее тяготения безошибочны, как инстинкт».

Святые вейте дуновения
Гори невставшая звезда.

Пасомы целями незрими-
ми, К ним с трепетом влечемся мы —
И как под солнцами незрими-
ми, Навстречу им цветом из тьмы.

Мы погибнем только если они нам изменят, но они неизменны, пока
мы им верны.

И был я подобен
Уснувшему розовым вечером
На палубе шаткой

.....
Проснулся — глядит
Гость корабельный:
Висит огнезрящая
И дышит над ним
Живая бездна...
Глухая бездна
Ропщет под ним...

.....
Глядит — не дышит
Верного берега сын,
Потерян в безднах...
А с ним плывут,
Вернее берега,
Кормчие звезды!

В «Кормчих Звездах» мало психологии, душевности в обычном
смысле этого слова. Не проникнуть в сферу духа, именно ту, которую
книга отображает, значит ничего в ней не понять. Она не психична,
она пневматична. В этом ее трудность, а не в языке, который вовсе не
«мудрен» как сетовали многие, но лишь *мудр*, т.е. гибок, адекватен
своему предмету, как то, впрочем, и подобает всякому хорошему языку,
особенно поэтическому:

Впивая вселенских гармоний
Все звуки, отзвучия все,

он играет, и плещется, и вьется по изгибам, по обличьям внешне-внутренних вещей высшей реальности. Их трудно выразить, за словесным выражением их трудно следовать. Но доверия к слову В.И. никогда не терял. Тут он всегда и всецело с Пушкиным, который сказал: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит и ищет как во сне излиться, наконец, свободным проявленьем». Вздох Фета о том как «душе без слов» сказаться было б сладко, вздох, который сочувственно повторяет Блок, жалоба Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь» — все это Вячеславу Иванову органически чуждо. Он знает, конечно, по опыту:

Сердце, чувств таинственный ревнитель,
Уст пленных страж стыдливый

но он слышит призыв:

Дай кровь Небытию, дай голос Немоте»

и он покорствует:

Зане дух пел во мне; и что глаголом
Не изъяснить, глаголами уста.

Так в «Кормчих Звездах». А через двадцать лет В.И. настаивает в письме к другу, усомнившемуся в возможности «сердцу высказать себя»: «Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголют уста. Ничем лучшим не могут одарять друг друга люди, чем уверяющим исповеданием своих хотя бы только предчувствий или начатков высшего духовнейшего сознания». *

В стихотворении, которым начинаются «Кормчие Звезды» и которое посвящено Вл. Соловьеву, поэт поведал о начале своего «духовнейшего сознания»: он рассказывает как явилась ему, путнику, Красота сном, представшим въяве, и сообщила: «Я служу с улыбкой Адрастее» и обещала:

«Путник, зреть отныне будешь мной,
Кто мой лик узрел,
Тот навек прозрел —
Дольний мир навек пред ним иной».

У древних «читать Адрастею» означало «блюсти уста», «благоглагольствовать», т.е. глаголать лишь от избытка сердца, пребывая верным некому священному обету:

«Я ношу кольцо,
И мое лицо —
Кроткий луч таинственного Да».

Есть поэты от *Да* и поэты от *Нет*. В поэзии В.И. *Да* есть основной звук и первый двигатель. Не даром само имя его — Вячеслав — значит славословие. Поэту, как Адаму в Раю, поручается наименовать «всякую душу живую»: «И ликам реющим их имя нареки»; и он, если он поэт воистину, то «полн смятенья, полн отваги», «объятый звучной бурей» делает это так, что старые слова, оставаясь верными своей сущности, звучат новыми откровениями. В.И. не боится наименовывать; напротив, он спрашивает себя при виде каждой былинки, не забыл ли он воспеть и ее, воздал ли он Богу славу и за это творенье. Любовь к «мысли изреченной» в нем никогда не оскудевала. Он пишет в «Нежной Тайне» от 1912 г.

Дан устам твоим зари румяный цвет,
Чтоб уста твои родили слово — свет.
Их завесой заревою затвори:
Только золотом и медом говори.

В «Римском Дневнике 1944 г.» он пишет 27 января:

И небылица былью станет,
Коли певец ее помянет,
Коль имя ей умел наречь.
(Свет Вечерний)

А за несколько дней до этой записи — 8-ого января:

За каждый лучик и дыханье
Хвалу я Богу воздаю
(Свет Вечерний)

Безусловная вера в силу слова придает собственному языку поэта словотворную силу. Известный филолог, знаток и тонкий исследователь литературных стилей, Фаддей Зелинский пишет о Вяч. Иванове: «Что случилось с русским языком, застывшим, казалось, в богатстве своих слов и форм, что случилось с ним в руках этого кудесника! Мы опять возвращены к изначальности, к периоду творческой молодости языка. В горниле дионисизма плавятся острые грани и отверделые поверхности слов, язык вновь становится гибким и способным к новым образованиям и слияниям. В то же время воскресает и то, что казалось полузабытым и даже совсем забытым. Малейшая извилина мысли, тончайшая тень представления ищет своего, именно ей нужного выражения и гнет,

растягивает, спаивает до тех пор, пока не найдет того, что ей нужно. Если бы было принято составлять для наших поэтов, как для древних, «специальные словари», вряд ли кто-либо оказался бы по запасу своих слов богаче нашего поэта. И при таком переизбытке вечное алкание — то и дело тонкость ощущения, музыка стиха, игра аллитерации потребует новых образований, — и поэт берет свой молот и кует, кует до тех пор, пока из элементов существующего не выкует того нового, которое ему нужно.

«Но при всей своей смелости В. Иванов всегда строго национален; его переизбыток состоит либо из древних церковно-славянских или русско-народных слов или из им же образованных с помощью русских же элементов. Отсюда строгое единство, строгая цельность его поэтического стиля». *

Лира имеет силу зиждительную в руках Аполлона и его служителей с чистыми сердцами. Под звуки лиры Амфиона слагались стены Фив и под торжественный мелос изобретателя семиструнной кифары смирялся междоусобный в Лакедемонии бой. И В.И. воспевает Терпандра, о котором читал в византийских книгах пересказ из утерянной истории Диодора:

Он поет — и в чинном ходе
Старцы, светлые, идут;
Руки в братском хороводе
Вои воям подают.

И припевы соглашает
С вражьим станом вражий стан,
И раздолье оглашает
Очистительный пэан.

Но устрояющее мир и миротворческое начало Аполлона потому плодотворно, что сопряжено с трагическим началом Диониса. Чтоб укрощать, надо иметь *что* укрощать. Великолепные аполлинийские сны только потому и зиждительны, что под ними «хаос шевелится»; идет на приступ, хочет все разрушить, все смести дикая стихия. Там, в ней, с ней Дионис. Дионису в «Кормчих Звездах» посвящен целый цикл стихов; но нет там Диониса как бога античных философов и теологов. В.И. пытается схватить и запечатлеть его как внутренний опыт экстаза, как вечную, в глубинах человеческого духа тайно действующую, все предопределяющую, преизбыточную, ясному дневному сознанию недоступную силу. «Дионисийское начало, антиномическое по своей природе, может быть многообразно описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается оно только в переживании». *

В.И. держится в стороне от большой дороги известных мифов. Ведь немое переживание он ищет словесно обнаружить. Об знаменитых мифах так много громко говорили, — как же ими говорить о немоте? Разными интерпретациями они превращены в проблемы или штампы; невозможно ими сигнализировать то внутреннее, интимное, что поэт узнал в себе как встречу с Дионисом. Поэтому В.И. берет ради точности того, что хочет выразить, а не из эрудитного кокетства, мало известные намеки позднейших мистиков. Так он находит у Гимерия замечание, что Диониса «виноградник был угрюм, и мрачен виноград, и как бы плакало гроздие». И В.И. рассказывает как обходит Дионис свой первоизбранный виноградник и говорит двум виноградарям, двум женщинам в темных одеждах:

«Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградарь, острый нож:
Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный виноград!
Кровь сберите гроздий рдяных, слезы кистей моих золотых —
Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило нег;
Напоите влагой рьяной алых восторгов мой алый Граль!»

В этом соединении противоположностей, соединении смертельной боли и остро-жизненных нег — пафос Диониса: антиномическое двуединство. Другой существенной чертой дионисийского переживания является способность и восторг ощущать биение мирового сердца, не искаженного содроганиями сердца одиночного. В «Кормчих Звездах» опыт вакхического богоприятия и боговмещения раскрывается именно как приобщение к единству вселенскому. В.И. заметил у Прокла-Неоплатоника указание: «Гиппа, душа вселенская, колыбель возложив на голову и змеями увенчав колыбель-кошницу, принимает Диониса».

Я колыбель, Гиппа — Душа дыханий,
Я колыбель богу несу.
Ты в колыбель бог, низойди, рожденный!
И на главе моей почий!
Бог, пощади! Бог, ты нисходишь тяжкий
Я ли снесу, я ли вмещу
Бремя твое, твой золотой избыток?...
Но низойди! Эвой! Эвой!

И хор миротворит:

Он низошел, Гиппа — Душа дыханий,
И на тебе, легкий, почил!
Стебель застыл, светлый цветок лелея...
Тих пред тобой прозрачный мир.

Вольный зефир с нежным цветком играет...
О, как легко, Гиппа, легко...
Ты ли несешь? Он ли несет?... Вместила ль
Бога душа? Душа ли — бог?...

Заклинательным дифирамбом призывает В.И. бога Дифирамба —
Диониса.

Встань, бог Дифирамб, дохни
По тучам вешним!
Воскресни, Земли Восторг,
В отпавшем сердце!

Верные античным метрам четыре строфы и четыре антистрофы этого дифирамба отнюдь не были стилистической забавой большого мастера писать в манере эллинских дионисийских песнопений: встреча с Дионисом была для В.И. переживанием подлинным, большим, из тех, что «отмечают собою остальную жизнь как неизгладимое и решительное событие». Художник знает: приблизительными словами здесь ничего не передашь; с предельной точностью о духовном горении говорят лишь классические строгие формы. К ним и прибегает В.И.

Пережив Диониса как Начало новой жизни, В.И. считал духовно полезным и возможным возрождение бога Экстаза на унылой земле, среди скептических, пресыщенных людей рубежа XIX и XX веков. Если воплотится вновь Дионис в сердце человеческом, дрогнут «глухие чары навождения душного — колдовской полон душ потусклых», «в пафосе боговмещения полярности живых сил разрешатся в освободительных грозах», «бог, взыгравший во чреве раздельного небытия, своим ростом в нем разбивает его грани».

А вы, в узилище
Граней томимые,
Полною грудию
Бога вдохнете вы —
Им гореть!
Кто дышит тобой, бог,
В алтаре многокрылом творения
Он — крыло!

Но В.И. знает и другое: «Святыни древний порог узрев», поэт благоговейно входит в Пестумский храм

Святей молитва в храмах оставленных,
И глас твой громче, царь Посидон, звучит
Из-за пустыни травянистой
В гордом безлюдьи твоих святилищ.

Старая вечная истина не навязывается и не спорит; блажен, кто слышит ее звук и в сердце своем слышит ее отзвук. Если вместит, воплотит в себе современный человек Диониса, то «ярче, глубже, изобильнее, проникновеннее глянет в душу жизнь». Если воплотит, а если нет?... И сомнение находит на В.И.

Дул ветер; осыпались розы;
Склонялся скорбный кипарис...
Обнажены роптали лозы:
«Почил великий Дионис!»

И с тризны мертвенно-вакхальной
Мы шли туманны и грустны;
И был далек земле печальной
Возврат языческой весны.

Не тот настал час мира:

Тихо спят кумиров наших храмы
Древних грез в пурпуровых морях;
Мы вотще сжигаем фимиамы
На забытых алтарях.

Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может, —
И воззвать их не сильна!

Незабвенно, невозвратно... Для греков Дионис был богом, для нас он — жизненно и творчески плодотворный способ, лишь способ вызывать состояния восторга и иступления.

И приходят воспоминания нежные, детские: ночная комната, крылатые светлы и тени лампы, важный лик Невесты Невестной и, среди терзающих душу страхов и тоски смертной, ощущение блаженной укрытости — покой, присутствие Рая. Воспоминания эти — точно залог от небес, радость Надежды, которую древний эллин не знал.

Родина заговорила с поэтом своими трезво-мистическими голосами, и он запел как поют калики перехожие, Божьи странники по русским дорогам «без конца в длину». В «Кормчих Звездах» целый отдел посвящен «Райской Матери». Есть народное сказанье: «Они строят церковь из камня невидимого». В.И. пишет «Стих о Святой Горе»:

.....
Стоит гора до поднебесья.
Уж и к той ли горе дороги неезжены,
И тропы к горе неторены.

Как на той горе световой
Труждаются святые угодники,
Подвизаются верные подвижники,
Строят церковь соборную, богомольную;
И строячи ту церковь нагорную,
Те ли угодники Божии, подвижники,
Что сами творят, не видят, не ведут,
Незримое зиждут благолепие.
Как приходит на гору Царица Небесная,
Ей возропщутся угодники все, восплачутся:
«Гой еси, Мать Пречистая!
Мы почто труждаемся-подвизаемся
Зодчеством красным художеством
В терпении и в уповании,
А что творим — не видим, не ведаем,
Незримое зиждем благолепие.
Ты яви миру церковь невиданную,
Ты яви миру церковь заповеданную!»
Им возговорит Царица Небесная:
— «Уж вы Богу присные угодники,
А миру вы славные светильники,
Вы труждайтесь, подвизайтесь,
В терпении верном, во уповании!
А времен Божиих не пытайте,
Ни сроков оных не искушайте,
Не искушайте — не выведывайте.
Как сама Я, той годиною пресветлою,
Как сама Я, мати, во храм сойду:
Просветится гора поднебесная,
И явится на ней церковь созданная,
Вам в обрадование и во оправдание,
И Руси великой во освящение,
И всему миру Божьему во осияние».
Тут ей Божии угодники поклонилися:
«Слава Тебе, Мать Пречистая!
Ии по слову Твоему святому да сбудется!»

Богородица ходит по Земле, и с Нею, вокруг Нее, в Ней первобытный Рай. Он для всех открыт; блажен, кто его видит и молит. «Бог создал мир, чтобы создать Божию Матерь», говорил В.И., «через Нее Земля дала свое свободное согласие на великое приятие и страдание». Пещера Вифлеема и вершина Голгофы — Земля участвует в мистерии

богочеловеческого искупления; человек, сын ее и наследник, может ее спасти, может и загубить. «Тварь с надеждою ожидает откровение сынов Божиих», знает ап. Павел (Рим. 8, 19).

Когда В.И. «язвим раскаянем и сердцем сокрушен», припал к земле на кладбище Верано, он почувствовал ее живой, любящей матерью: «она ждала, она прощала», он впервые проник в ее мистирию и по новому ощутил жизнь ее и жизнь свою. Этот непосредственный опыт помог ему понять, изнутри понять все, что у Достоевского говорят о земле Соня, Хромоножка и Алеша. На стене Киевского Собора, в то памятное посещение его во время смерти Вл. Соловьева, В.И. вдруг заметил изображение Земли в виде Голгофы, горы остроконечной, и это видение его пронзило. Он и раньше много раз видел это обычное иконное начертание, но: вещи и большие и малые говорят с нашей душой лишь тогда, когда она готова их услышать.

Матерь зовет в сени дремучей дуба:
Вещий зашепчет древний дуб —

«Руки мои руки Его прияли:

В древе Его объяла я

Язвы Его руки мои язвили.

Лоно рождений стало гроб.

«И не Земля, — дети, вам мать — Голгофа

С одного дня, как распят Он, —

С одного дня, как Немезидой неба

Распят по мне великий Пан...»

Братья! тогда лоно Земли лобзайте,

Плачьте над ней: «О, мать, живи!...»

— «Бог твой воскрес!» благовестить дерзайте:

«Бог твой живет — и ты живи!...»

Приникновение к Матери-Земле было проникновением в ее внутреннюю жизнь, в тайну ее устремления ко Христу и соединения с Ним — Логосом, а значит (ведь последнее устремление являет сущность устремляющегося), проникновением в Разум Истины ее. Опыт этот был очистителен: «Мой умер грех с моей гордыней»; но снятие граней между собой и ею, и в ней между собой и другими ее сынами, собой и чужими, вскрывало бездны в душе и грозило стать болезненно невыносимым для поэта, если подле него, с ним не было его Диотимы, которая все обращала в улыбку и радость; она его наставляла не словами, а непосредственно своим присутствием, всем существом своим, чувством, которым сама горела и которое в нем зажгла; учила, что *быть* значит *быть вместе* — любить.

Еще в свои студенческие годы В.И. искал внутреннего единения с людьми. В «Кормчих Звездах» есть поэма берлинской поры; в ней звучит какая-то немолодая печальная покорность. Поздним вечером В.И. возвращается домой после интереснейших семинарских занятий, идет через роскошный парк Тиргартена

Иду в вечерней мгле под сводами деревьев,
Звезда, как перл слезы, на бледный лик небес
Явилась и дрожит... Иду, как верный воин, —
Устал и мужествен. Унылый дух спокоен...

Ученик, обласканный Моммзенем, молодой супруг, любимый милой женой и в нее влюбленный — чего-же боле? И однако:

Светило братское, во мне зажгло ты вновь
Неутолимую, напрасную любовь.

Люди как осенние листья несутся, сменяясь без конца

Простертые на миг объединяют руки —
И вновь гонимы в даль забывчивой разлуки...
Сосредоточив жар, объемлющий весь мир,
Мы любим в Женщине его живой кумир:
Но в грани существа безвыходно стесненный,
Наш тайный, лучший пыл, умрет неизъясненный...

Поэма кончается словами:

Дано нам умереть, как нам любить дано;
Гонясь за призраком — и близким и далеким, —
Дано нам быть в любви и в смерти одиноким.

Лидию эти стихи возмущали: «В любви — одиноким? Вот так любовь!» И научила... На страницах тех-же «Кормчих Звезд», в строжайшей форме сонета В.И. рассказывает о преображающем действии соединившей их страсти, о том что значит воистину быть «в плоть едину».

Мы — два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!
Мы — два коня, чьи держит удила
Одна рука, — одна язвит их шпора;
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.

Мы — двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почитет Красота.

Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.
Мы — две руки единого креста.

* * *

Он думал, что умирает, но он не умер. Лидия, как В.И. свидетельствовал потом, уходом и молитвой отняла его у смерти. Когда он выздоровел, она уехала к детям в Женеву; он остался в Афинах один на всю осень и зиму, чтобы в Элладе заниматься историей греческой религии. Жил он с греческой семьей в маленьком домике на склонах Ликобета, поднимающейся желтой пирамидой на окраине Афин с вершиной, увенчанной белым монастырем. В раму небольшого четырехугольного окна его комнаты входила вся Эллада: Парнас показывал свой голубой облик, подобный орлу, раскрывшему крылья; серо-лиловым плоскогорьем возвышался Гимет, знаменитый в древности медом и хороводом мэнад; весь город открывался с его белым Акрополем и заливом цвета темно-синего сафира, а вдали виднелась Эгина и рисовались берега Пелопонеса.

В.И. усердно занимался эпиграфикой в Музее, участвовал в археологических прогулках Дерпфельда и собирал материалы по вопросам греческих мифов и культов, которые легли в основу всех его научных трудов. По вечерам к нему приходил студент-грек для упражнения в живой эллинской речи. Свободные часы он проводил в парке, начинавшемся прямо за домом, гулял среди пиний, уходивших в гору. Пинии те, молодые, с редкой нежной листвой, пропускали, слегка их смягчая, жаркие лучи южного зимнего солнца. Во время этих одиноких прогулок В.И. задумал и написал «*Suspiria*», которые, поспев в Петербург, когда «Кормчие Звезды» были еще в гранках, вошли в сборник последней дополнительной, но органически необходимой частью.

Цикл «*Suspiria*» — это рассказ в стихах о пережитой встрече со смертью. То, что терзало больного в бредовых кошмарах: пугающая утрата реальности, зияющая пустота отрыва, тоска последней оставленности — все это стало перед выздоравливающим при свете вновь подаренного живого дня настойчивым, томительным вопросом. И, наконец, неожиданно это мучительное, непонятное собралось, сгустилось и удивленной, встрепенувшейся душе прозвучало: — *разлука*. Так бывает: слово обычное, разговорное, вокруг нас и нами самими беско-

нечное число раз произнесенное, вдруг, когда назрел час, встает точно впервые рожденное, исполненное таинственных смыслов. Разорванность вещей, оторванность от родимого, разлука всего со всем — *Разлука вселенская*. Беззаботный, безответственный, «веселый ветер» срывает с «покорной дубравы» беззащитные, сплетшиеся, «поздние листья», отрывает их друг от друга и разносит в разные стороны... навсегда? Отовсюду несутся глухие зовы, алчные стоны, «смертный вопль разрыва». В.И. поет «Песнь Разлуки». В строгой античной строфе с перемеживающимися хорееми, кретиками, гликонеями, дактилями он передает непередаваемые шопоты ужаса.

Эта «песнь» — вступление к «*Suspiria*», к единой лирической поэме в шести частях. На всем протяжении поэмы пятистопный ямб чередуется с двухстопным так, что последний звучит точно вздох.

Мать-Ночь устала вечно рожать сына-Солнце и вечно его хоронить. «Мне мира нет», стонет она «в тоске истомной», зная, что он уже идет, чтоб «Темную» ее вновь пронзить. Но, лишь завидит она его вдали «во славе нестерпимой», как все в ней начинает петь: «Гряди!», и, «любовию палима», она об одном только и молит — чтоб он не уходил; но он уйдет.

«Рази же! Грудь отверста копьям ярым!

Ее мертви!

Но сам — дыши божественным пожаром!

Но сам — живи!

«Один — живи!... Увы мне! Лук незримый

Уж напряжен...

Стрела летит... Мой бог необоримый,

Мой бог — сражен!...»

Такова обреченность Матери «бесчисленных дыханий», такова же обреченность единичной человеческой души. В мелькании мгновений она теряет свой единый лик, разбивается на мириады призраков, двойников.

Душа скорбит — с собой, самой, единой

Разлучена.

Не воссоединить, не воцелить ей все эти тени, сменяющие, оспаривающие друг друга в потоке одной ее жизни.

И Ткач все тклет; и Демон от погони

Не опочит.

Как мертвый вихрь несут нас глухо кони —

Нас Время мчит.

И, разлучен, единый молит встречи
Единый лик...
И шепчет вслед непонятые речи
Души двойник.

И поэту снится: Психея прикована к безлистому стволу в мертвой долине, замкнутой мрачными утесами, в «слепой темнице». И люди идут, идут мимо. И каждого она молит: «Изведи!», и в каждом надеется найти долгожданного Суженого.

И каждого я звал из шедших мимо:
«Не ты ли, брат,
Ту изведешь, что здесь в цепях томима,
Из горьких врат?»

Но то были его маски, его двойники —

И с лестью «брат» я говорил притворной:
Зане был я,
Кто мимо шел — и чей был взор укорный
Мой судия.

И все прошли

И я к жене: «Твой друг, твой отчужденный,
Забывтый — я!»
Мне чуждый взор, мне взор непробужденный
Был судия...

Измена душе, которую поручено хранить, и за это страшная кара: в очах возлюбленной «чуждый блеск, безумья весть и дикая болезнь». Вот кошмар, который долгими годами душил В.И. как ощущение неизбывной вины и страшного предчувствия. Немезида. И ему снилось: ззыграл вдруг свет великий:

Мой темный дух, его лучей молящий,
Снести не мог:
То Эрос был, — алтарь любви палящей
И жрец, и бог.

Разгорался «пожар смолы». Безумная Психея-мотылек летит в огонь. Привольно ей гореть. А он?

Как два крыла
Душа в груди забилась... и вдохнула...
И — умерла!...

Огненная смерть бабочки-души отнюдь не гибельна; сгорая, душа, фениксу подобно, обновляется. Свято безумие, влекущее к огненной смерти. По внутреннему опыту своему В.И. знал *обмирание* как «перерождение личности». В течение всей жизни он искал высказать, сообщить это свое постижение; он говорил о нем и в стихах, и в прозе. «Умри и стань». *

В примечаниях, им самим написанных к его песне о Психее, он указывает какими пластическими изображениями древнего искусства были внушены его образы, но толкований никаких не дает.

Трагедия космическая — «Разлука Мира» — как вместить человеческому созерцанию ее — вселенскую, каким охватить познанием ее — безмерную, как выразить страду ее — несказанную? И поэт вслед за Платоном отвечает — мифом...

Вселенская Изиды в тоске скитается, силясь собрать воедино разорванное на части тело Любимого — ее брата, мужа, сына, ее Озириса.

Она ищет

..... растерзанного Бога
Нетленный след.
Ах! разлучен в нецельных светов много
Единый Свет!

А он?

От века Он, безжизненный, — на лоне
Тоски твоей
О, Темная на темном небосклоне!
О, Мать Скорбей!

«Pietà» называется этот стих об Изиде.

О том, что человечество с младенчества своего осознавало *Разрыв* и *Разлуку* свидетельствует не только миф о страдающем растерзанном боге египтян, с которым эллины отождествили своего страдающего, растерзанного бога Диониса, о том свидетельствуют и древнейшие изображения бездыханного мужского тела на коленях у женщины, изваяния, встречающиеся даже в нургах.

По орфическому мифу Зевс испепелил Титанов за растерзание и пожрание Диониса. Из праха их родился человек. Человек двуприроден: в нем жива и буйная кровь титанов и божественное семя поглощенного ими Диониса. «Тенью сна» называл человека Пиндар.

И я, тень сна, Титанов буйных племя,
Их пепл живой —
Несу в груди божественное семя, —
Я, Матерь, твой!

Греческим эпитафией к песне о «Психее» (за нею непосредственно следует «Pietà») служит одна из надписей на так наз. «ламинеттах» — тонких золотых пластинках, сложенных как листок бумаги; ламинетты клались орфиками в гроб покойника, «посвященного в Диониса», около лица или правой руки умершего. То был «напутственный завет, имевший магическое значение загробного пропуска».

— «Я — дочь земли и звездного неба, но иссохла от жажды и погибаю; дайте мне тотчас напиться воды студеной, истекающей из озера Памяти». * Затем — возврат к земной жизни, возрождение. Но главная цель, основное устремление души в том, чтобы прервать заклыйтый «круг рождений» и навсегда соединиться с Дионисом-Загреем.

Услышь (— и здесь Его свершились муки,
И умер Он! —)
Мой страстный вопль разрыва и разлуки,
Мой смертный стон!

Страстный вопль разлуки, призыв к соединению с хтоническим богом — этим кончается «Pietà». Но в этих словах звучит и другое, предваряющее следующую песнь: соединение с Дионисом посредством ряда очищений орфику представлялось блаженной потерей своей личности в нем. Он, Которого «совершилась мука», уже не египетский Озирис и не эллинский Загрей, а Тот, Кто с креста простирал руки для вселенского объятия, в Кого человек хочет и молит облечься. Крест — последнее разделение, разлучение Самого с Собою. Распятый становится добычей Его во все стороны разрывающего пространства; а после окончательного «истощения» (κένωσις) — Воскресенье, торжество вечной Жизни. Крест-пространство и круг-время — таким соединением уже египтяне иероглифически знаменовали жизнь *:

... «Жизнь» вещал, власть круга дивно слив
Со властью двух крестных черт победной,
Египетский святой иероглиф!...

Но человек, коли он хочет «облечься во Христа», должен хотеть с Ним сораспяться. Если совершилось на земле чудо преодоления *разрыва*, то должен человек пожертвовать самым дорогим — самим единением.

Когда двух воль возносят окрыленья
Единый стон,
И снятся двум, в Юдоли Разделенья,
Единый сон —

тогда

... к алтарям горящим отреченья
Зовет вас Дух.

«Вы плачете?...» Не плачьте!... Умерший в вас — Он в вас воскрес!
«Тебе благодарим, Явителю Парадоксов, Тебе, Который, доведя
разрыв до его последних пределов — в Себе, Собою Разлуку и Смерть
попрал — «Знак Противоречивый» (σημείον ἀντιλεγόμενον)

Мы, что из солнц Разлуки совлеченной
Твой крест творим, —
Тебя, с Собою на Древе разлученный,
Благодарим.

Достоинство, величие и спасение Человека в его последней воле
захотеть и стать из твари Сыном: «И я — кричит человек — несу Тебя
в груди».

Зане Тебе, по Ком в разлуке страждем,
Разлукой зрим, —
Бог жаждущих, чьей страстной Чаши жаждем, —
Благодарим.

Мистическое стихотворение «Гость» — последняя песнь той афинской
поры, — написано повествовательным, спокойным пятистопным ямбом.
Рассказывает поэт как пришел к нему Гость в его «вертоград на горе
зеленой», как он Его принял, полюбил.

«Не тебя ль и ждал я, брат прекрасный?
Ах, душа разлукою болеет
И не ведает, по ком тоскует».

Но Гость просит не трапезы, не временного ложа в доме высоком, а
вечного жилища — могилы в золотом вертограде. И человек, послу-
шествовая, похоронил своего Гостя, своего Бога в темной земле, в своей
темной глубине. На холме вырос кипарис. К ночи «в сенях темных
просветились звезды».

Вертоград мой на горе высокой,
В нем сию под звездным кипарисом —
Слез не лью утешенный...

Перерождение совершилось, переменились помыслы:

Звезды гаснут. Край небес светлеет.
Гостя лик сияет пред очами...
Смотрит в очи милостное Солнце...

* * *

Весною В.И. вернулся к семье в Шатлен. Там Ивановы прожили до 1905 г. Впрочем «прожили», пожалуй, не совсем точное слово; — вернее, Вячеслав и Лидия туда по-прежнему наезжали. Побывали в России, целую зиму провели в Париже и часто отлучались в разные города и страны на более или менее долгие сроки. И все же на нанимаемой ими вилле Жавà текла нормальная семейная жизнь. Семья большая, сложная: старший сын Лидии Дмитриевны, Сережа, учился в Лондоне и приезжал на все каникулы; Вера и Костя посещали швейцарскую школу. Маленькая Лидия, дочка Л.Д. и В.И., росла безмятежно, бегала по дому и по саду с птичкой на голове, которой полюбили золотое гнездышко ее мягких волос. В двадцати минутах ходьбы по горной дорожке жил на своей собственной вилле старый отец Лидии Дмитриевны. Он был счастлив, что обожаемая им дочь поселилась близ него, радовался, что сможет умереть у нее на руках. Гений очага — Марья Михайловна Замятнина правила всем домом своими мягкими, крепкими руками.

Возвращаясь из путешествий, В.И. и Л.Д. среди семьи своей появлялись неожиданно празднично. Особенно у Л.Д. был дар превращать то, что зовется жизненными буднями в поэзию и сказку. Маленькая Лидия на всю жизнь запомнила, как однажды, подбегая к дому, не зная, что родители вернулись, она вдруг увидела в открытом окне второго этажа сияющую улыбкой и золотым ореолом волос мать и услышала ее грудной голос: «Бери, лови!» И из окна в руки, визжавшей от восторга девочки, полетел золотой мяч. Когда, спустя несколько лет Лидия услышала от отца рассказ о Гесперидах, тот солнечный образ матери с ними навсегда для нее слился.

В Шатлене В.И. занимался санскритом у Де Соссюра и продолжал серьезно работать над религией Диониса.

* * *

В 1903 г. В.И. поехал в Париж, чтобы прочесть курс лекций об эллинской религии Диониса в «Высшей школе общественных Наук», устроенной М.М. Ковалевским для русских. Лекции имели огромный успех: их посещали не только ученики школы, но и профессора; посещали их и представители русской элиты, наезжавшие в Париж. Слух о выступлениях В.И. донесся до его родины, и Д.С. Мережковский, тогда с ним еще лично не знакомый, писал В.И.-ву из Петербурга, прося дать чтения о Дионисе в его журнал «Новый Путь».

В виде серии статей парижский курс лекций В.И. был напечатан в ежемесячнике «Новый Путь» за 1904 г. и в (его сменившем) ежемесячнике «Вопросы Жизни» за 1905 г. * В первый год он появлялся под

заглавием «Эллинская религия страдающего бога», во второй год — «Религия Диониса». Исследование о Дионисе известный меценат-издатель М.В. Сабашников предлагал сразу выпустить отдельной книгой; но В.И. на многие годы задержал окончательную обработку текста. Наконец книга была готова, лежала отпечатанной в издательстве. Но, то было в октябре 1917 г. Во время бойни «красных» с «белыми» на улицах Москвы, от бомбы в складе занялся пожар; его в течение трех дней некому было тушить. Дом сгорел до тла, и в нем погибло вместе с рукописью все издание книги накануне ее появления на свет. Из корректурных экземпляров «Эллинской религии страдающего бога» один находился у автора, и он поныне цел; другой или другие остались в Москве. Судьба их нам неизвестна.

Приняв и пережив Диониса как принцип новой жизни, запечатлев явления его песнями своих «Кормчих звезд», В.И. понял что для нас Дионис уже есть лишь правое как (*ὀρθὴς μανῆσαι* Платона), а не некоторый *кто* или некоторое *что* (*quid*), почему «дионисийский восторг и не координируется с вероисповеданием и находит свое место не в ряду вер и норм, а в ряду внутренних состояний и внутренних методов». Но *способ* вызывать состояния хотя бы восторга и испуга не может явить Утешителя. *Методу* нельзя сказать «ты еси». Гипостазирование метода, обоготворение его неизбежно вскрывает пустоту, приводит в царство «явлений, в которых не является ничего».

Правда, в Элладе религия Диониса как всякая мистическая религия давала своим верным и «метафизическое утешение», давала его в открываемом верою потустороннем мире, а отнюдь не в автаркии «эстетического феномена». (Это В.И. решительно утверждает против Ницше). Но ведь для греков Дионис был живым богом, а не как ныне для нас только символом или методом. Потому он и не спорит с Христом в наших душах: дионисийство, как метод, есть один из аспектов христианства (св. Августин, напр.) тогда как аполлинийство есть другой его аспект (св. Фома Аквинский).

Но что такое этот метод? Каковы дионисийские состояния духа? В.И. в «Эллинской религии страдающего бога» рассматривает внутренний процесс оргиастического опыта, мистику дионисийской жертвы: чувство своего *я* вне его индивидуальных граней толкает личность к отрицанию себя самой и к переходу в *не я*, что составляет существо дионисийского энтузиазма. «Если человек тем отличается от животных, что он *animal religiosum*, — ибо это определение ранее присуще ему, чем его самоутверждение как животное гражданственное (*πολιτικὸν ζῶον*), — то и самый критерий «религиозности» должен предстать нам, по отношению к первым ступеням его впервые «человеческого» выя-

вления, под аспектом экстаичности: перее всего человек — animal exstacticum.» Экстаз столь же «начало всякой мистики, сколь удивление — начало всякой философии».

Миф о страдающем боге, хотя и восходит до глубокой древности, однако моложе общего представления о боге страдающем, а самый этот образ — моложе культа существенно мистического, из которого он возникает, так что бог древнее своей истории, а жертва древнее бога. «Но есть нечто более древнее чем сама жертва. Это психологическое явление оргийного экстаза в его судорогах полноты, переполняющейся через край, счастья, разрешающегося в восторг страдания, силы ищущей освобождения от своего избытка в муке и смерти, упоения жизнью, переходящего в радость уничтожения.» *

С жуткой яркостью рассказывает В.И. о «темных временах обрядового человекоубиения и человекопожирания», об жертвенном растерзании страдающего бога, об его «зжидительной смерти». Ему узкой представляется концепция Ницше: «Гениальный автор «Рождения Трагедии» возвратил миру Диониса, в этом было его посланничество, но знаменательно, что в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, претерпевающего страдание. По Ницше эллины были «пессимисты» из полноты своей жизненности; их любовь к трагическому (amor fati) была их сила, переливающаяся через край. Дионис — символ этого избытка и чрезмерности, этого исступления от наплыва живых энергий». С этим В.И. согласен: он стихи, посвященные Дионису, посвящал тому, «кто избыток творит упоением»; но он знает и другое: «Трагедия возникла из оргий бога, растерзанного исступленными. Откуда исступление? Оно тесно связано с культом душ и первобытными тризнами. Дионис в глазах древних не был только богом диких свадьб и совокупления, но богом мертвых и сени смертной. Он вносил смерть в ликование живых. И в смерти улыбался улыбкой ликующего возврата, божественный свидетель неистребимой раждающей силы. Бог страдающий, бог ликующий — эти два лика изначала были в нем нераздельно и неслиянно зримы.» *

Не разглядев в растерзываемом Дионисе бога страдающего, Ницше не разглядел связи дионисийства с христианством. Он рассуждал так: Дионис есть вневременное начало духа, животворящее жизнь, и как бы ее первый двигатель. Христианство с его «моралью рабов» умертвило этот дух. Долой христианство! Но, во-первых, христианство вовсе не отвергло, а, наоборот, приняло в себя все, что было подлинно жизненного в дионисийстве, приняло и его «мудрость», и его «правое безумие». А, во-вторых, само умирающее язычество в ту закатную пору, когда «мудрость о Дионисе давно перестала быть дионисийской мудростью» не сумело узнать и вместить Христа Иисуса, Личность Которого

— Знак Противоречивый — требовала для своего понимания и прития именно того утраченного поздними эллинами «правого безумия», которое является подлинно *дионисийским* энтузиазмом.

Исторически «Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбаков. Религия Диониса была нивой, ждавшей оплодотворения христианством», но арийский пантеизм как и семитский монотеизм отвергли пришедшего Мессию, и христианство, победное своей верой в Его Личность, должно было отвергнуть их. «Трагически безучастное осталось оно на перепутье двух гибнущих через него миров, налагая на человеческий дух искус жертвы и иго самоотречения... Человек должен был остаться один-на-один с Христом, чтобы преисполниться созерцанием Его крестной жертвы, должен был сораспяться Христу. Только в этом высшем таинстве слияния дано было человеку снова ощутить всеединство как причастие распятию вселенскому.» Для эллинов Дионис был ипостасью Сына, поскольку он — бог страдающий. Но, когда пришел Сын Божий, они Его не узнали. В «эллинской религии страдающего бога» В.И. увидел «Ветхий Завет язычников». *

* * *

В парижскую аудиторию В.И. на его лекцию о Дионисе пришел однажды человек, трудно определимого возраста, с обликом и манерами не то приказчика, не то изысканного барина. Лицо бледное, почти желтое, тяжелый подбородок, прикрытый черной бородкой, близко, слишком близко, глубоко посаженные глаза, большие агатово-черные, жутко красивые, в себя непроникающие, властные, смотрящие на собеседника чуть-чуть мимо, не то вдохновенно, не то бесновато. Он представился: — «Валерий Брюсов».

Они встретились впервые; но Брюсов в Москве уже сочувственно рецензировал «Кормчие Звезды» неизвестного ему поэта. Они естественно сошлись. Весело было Вяч. Иванову говорить о стихах с мастером слова, а мастером слова Брюсов бесспорно был. В.И. обрел все свои художественные постижения, всю свою просодическую виртуозность на одиноких путях. И вот явился поэт, с которым можно было состязаться в нахождении новых строф, редких метров и скрытых в несметно богатом русском языке еще непробужденных сладких созвучий.

Вскоре после окончания Парижских лекций В.И. и Л.Д. вернулись домой, в Шатлэн, где В.И., среди прежних прилежных занятий санскритом, Римом и Элладой, приготовил «вторую книгу лирики» — «Прозрачность».

* * *

«Прозрачность» в противоположность «Кормчим Звездам» вышла «на брег земного бытия» сразу, под напором одной лирической волны. * Всмотриваясь при свете «Кормчих Звезд» в топографию запредельного, показав себе в «магическом кристалле» своей собственной поэзии Кормчие Звезды, В.И. принимается рассматривать природу той духовной среды, в которой происходят воплощения мистической реальности (Res). Природа эта антиномична: среда должна быть прозрачной, чтобы не препятствовать прохождению солнечного луча, который ею, непрозрачной, будет либо задержан, либо затемнен и невидим; но она не должна быть абсолютно прозрачной, должна преломлять луч — иначе Res не будет видна, ибо невидима она сама по себе.

Когда, сердца пронзив, Прозрачность
Исполнит солнцем темных нас,
Мы возблестим, как угля мрачность,
Преображенная в алмаз.

Нам сладко замереть в белом луче; велико «искушение Прозрачности»:

Когда нас окрылит Прозрачность,
Всех бездн зияющая мрачность
Обнимет радужную кручь —
И, к ним склоняясь Седмизрачность
Возжадет слиться в белый луч.
Но ты удержишь духом сильных,
О высей яркая среда,
Где слепнет власть очей могильных
И в преломлениях умильных
Поет всерадостное Да!

И поэт обращается к милостивым преломлениям, к «аркам эфирным» радуг. «Рокоты лирные» славят вас

Реяний знаменья,
Веяний вестницы,
Райского камня
Легкие лестницы, —
Вас семицветные
Дуги заветные
Радуги мирные
Кольца обетные.

Поэт просит Прозрачность: «улыбчивой сказкой соделай видения жизни» и слышит «всерадостное Да», всматриваясь в «умильные преломления» среди минеральных, растительных, душевных миров. И рубин, «пылающее Да», «прозрачности живая кровь», — и изумруд,

«цвет лугов весны», «земли божественная злачность», рожденное ею «рождающее Да», — и смиренномудрый, чистый аметист, который «Да поет надежде новой и нас преображает тих», — и сафир «вечный синий путь... куда?» — все эти самоцветные камни, но не только они: и «скалы орлиных гнезд», и блеск озер, и раздающиеся «по бору сосен перезвон и переклик», и «души дремные безропотных деревьев», и трепещущие, горящие сердца людей —

Вейся прозрачнее,
Пламень души!

— все это в разных планах бытия является все тем-же жертвенным отказом от блаженного покоя полноты, что составляет первое условие для восхода «божественной нови».

Для человека такая призматичность опасна: разлагая тот плотный, непроницаемый, нерасчлененный сгусток жизненной энергии, который зовется я и «цельная личность», он рискует стать спектром своих двойников

Где я? где я?
По себе я
Возалкал!
Я — на дне своих зеркал.
Я — пред ликом чародея
Ряд встающих двойников,
Бег предлунных облаков.

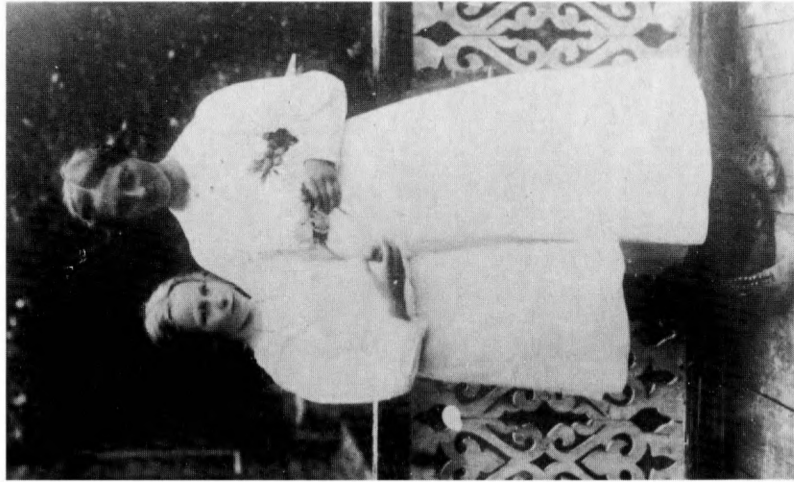
Тонкая черта отделяет спасительное действие от действия гибельного страшной стихии мистических исступлений. Роковая ставка здесь — сам разум. Еще древние противопоставляли «правое безумие» и «неистовство болезненное». «Правое безумие» усиливает изначала заложенную в человеческий дух, спасительную и творческую способность и потребность идеальной *объективации* внутренних переживаний. «Душевные волнения большой напряженности должны находить разрешение, 'очищение' — в изображениях, ритмах и действиях, в обретении и передаче объективных форм... *

«В случаях 'неправого' безумствования, прозрачная среда, обуславливающая возможное излучение, становится непроницаемой: душа не лучится, не истекает наружу, не творит, — но не может и выдержать заключенной, запертой в ней силы. Она разбивается; конечное безумие — ее единственная участь». *

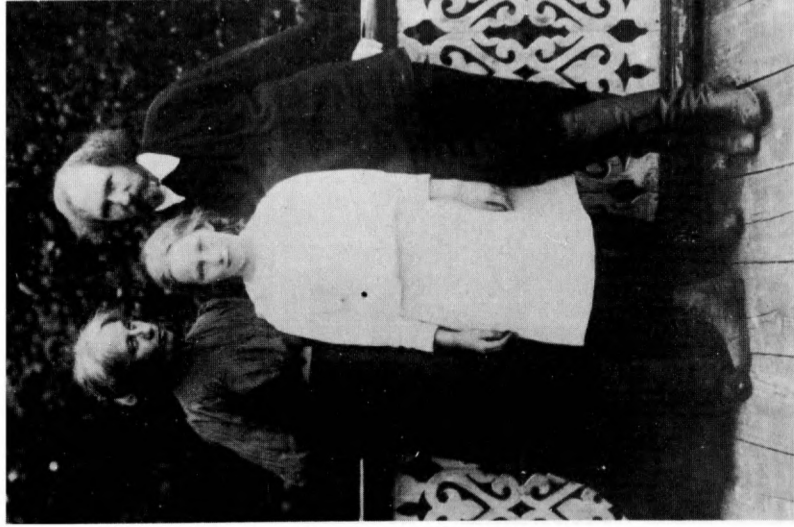
Роковой риск. Но достоинство и гордость человека в том, что он боготворит опасность и отчаянно самым дорогим рискует. Ему введом тоска по погружению в «огненное море религиозных экстазов». «... II



Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал и Вера. С октябрьской фотографии 1907 г. Загорье.



Лидия (дочь В.И. и Л. Зиновьевой), Вера (дочь П.З.
от первого брака) Загорье. 1907.



Мария Михайловна Замятнина, Лидия и Вячеслав
Иванов. Загорье. 1907.

naufragar m'è dolce in questo mare» — любил за Леопарди повторять В.И. * Миропостижение, творчество человеческое «тем живучее и истиннее, чем глубже корни его погружаются в первозданный хаос и древнюю ночь.» В этой «древней ночи» человечества, как и в первоначальном хаосе человеческой души В.И. разглядел поразивший его феномен мистического отождествления бога и жертвы, бога со всеми священнодействующими и причастившимися жертве, бога и богоубийцы, жертвы и жреца. Дионис, как и ипостаси его — Орфей, Актеон — растерзываются мэндами. Именем Вакха звали не только Диониса, но и всех участников оргии. Дионис — бык и козел, и он же пожиратель быков и козлоубийца. Дионис — человек, разорванный как жертва Титанов, но он-же и «разрыватель людей». *

И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий — Любовь; Любовь — убийство.
«Отколе жертва?» — Ты и Я — отколе?
Все — жрец, и жертва. Все горит. Безмолвствуй.

Любовь Диониса убивает, ибо все, доведенное до крайних возможностей напряжения и переполненности, переливается в себе противоположное. Именно смерть обещает человеку бессмертие. «Все вокруг человека обращается в смерть, если Смерть, обличив перед его духовным взором свой светлый облик, не сказала ему: 'взгляни и припомни: я — жизнь'.» * Что бездна зовет, грозящая опасность очаровывает — это издавна известно. Влюбленные в Фазтона Гелиады —

На кургане, на прибрежном
Плач творят — им нет отрады...

И молят:

... «Восхить нас, милый!
Поглоти своей могилой!»

Но они-то его и побуждали: «Дерзай!», хотя заранее знали: «Ах пред темным, Неизбежным дерзновенья — алтари». Они призывали: «Погибни!... Тот бессмертен, кто поник».

Когда Орфей, ипостась Диониса, поет — «Мир полн», Мэнды его растерзывают:

Мы подкрались, улучили полноты верховный миг,
Бога с богом разлучили, растерзали вечный лик,
И гармоний возмущенных вопиет из крови стон:
Вновь из волн поработанных красным солнцем встанет он.
Строя семя, искра бога сердце будет вновь томить,

От порога до порога к невозможному стремить.
И когда чудесной властью исполненье вдруг прильет,
Сердце вновь изменит счастьем, нектар цельный разольет.
Вскрикнут струны искупленья, смолкнут жалобой живой...
Вновь разрыв, и иступленья, и растерзан Вах! Эвой!

Страшней и трепетней всего тайна сплетения жизни и смерти является в Персефоне, дочери и жене царственного Зевса, рождающей от него (по эсотерическому мифу) Диониса-Загрея. Имя Загревс, «великий ловчий», есть имя хтонического божества, бога Смерти. «В весенней радости греки не забывали о смерти. Весна как бы говорила им: 'глядите, смертные: я — цвету, я — Кора Персефона. Недолго быть мне с вами, и вы не увидите меня, и снова увидите меня'. И то же говорил Дионис. В этом его глубочайший пафос. Весна была прозрачна для взора древних: она была цветущая Смерть. Нигде, быть может, не выявляются виднее хтонические корни дионисийской веры. Смерть только обратная сторона жизни: это было создано народной душой прежде, чем мудрецы стали учить, что жизнь представляется смертью умершим, как смерть является смертью только живым». *

Весна,
Я встаю
На пажить твою,
О смертный род, —
Из темного лона!
И светлых дней
Веду хоровод,
И Мною твердь
Сияет ясней, —
Царица теней,
Богиня Сна
Весна —
И Смерть —
Персефона.

Всегда, и всегда по разному В.И. сообщает один и тот-же дионисийский миф. Поет ли он весну или любовь, Персефону или Орфея — он неизменно славит единение страдания и ликования, умирания и возрождения. Но, умирать, чтобы опять ожить, входить в царство теней, чтобы оттуда вновь восстать — не будет ли процесс этот в своем периодическом повторении воспринят разумом как «дурная бесконечность», как бессмысленный вечный возврат. «Вечный возврат» — Ницше стал жертвой этой идеи. Но для В.И. в его непосредственном дионисийском опыте не было никакой опасности какого-то возврата.

Ведь Диониса он узнал в переживании большой любви. А «подлинная любовь есть чудо, которое упраздняет старое и новое, и все в каждое мгновение творит извечным и первоначальным вместе». *

Мотив Диониса-Персефоны в песенке «Две Любви» звучит интимно, лично. Поэт чувствует себя росинкой малой, которую восхитил жадный луч и отдал алому облаку: «И мертв я был в лазури дня». Но грянул гром —

Я слышал зов тоски земной, —
Воскрес — и хладной каплей канул
На дол, отображенный мной.
И миг — я жил, и Мать на лоно
Меня приемлет, где в ночи
Поют мне песнь родного звона
Неотлучимые ключи.

Любовь небесная, любовь земная — где жизнь, где смерть?... Правый отрыв от земли тот, в котором нет измены. Мы должны пребывать «верными Земле».

Не мни: мы в небе тая,
С землей разлучены: —
Ведет тропа святая
В заоблачные сны.

Поразило В.И. евангельское повествование об исцелении слепого (Иоан. 9, 5-6): сокровенно и наглядно там сказано о прикосновении к земле Логоса-Света, делающего землю, приавшую свет, саму светосной.

От персти взятым бреньем
Сгорела слепота:
На дольное прозреньем
Врачует Красота.

«Религия Диониса есть религия богострадальной земли; мир — обличье страждущего бога». Не ту же ли весть принес нам и Христос? Но именно в отношении к земной плоти и проявляется существенное различие Дионисовой вести от вести Христа: эллинское учение о смерти и возрождении всегда докетично. В античном палингенезисе тело было лишь временным носителем, передатчиком божественной энергии; дух его менял как змея свои шкуры. Подлинное возрождение есть возрождение полное, реальное; оно есть новое рождение *и тела* «от воды и Духа», есть преобразование, и после дольной смерти — *воскресение* преобразенного, но не другого, тела.

Дар предполагает согласие одаряемого — вольное приятие. «Не-
тварное убеление» которое земле, своей матери, своей твари обещает
Христос, она, темная, — гроб и колыбель — жаждет не на время, а
навек принять от своего Сына, от своего Бога.

Благословенная Земля,
Пустыня-мать, твои уста —
Стенаньем львов, дыханьем трав
И вещим ропотом дубрав —
Зовут лобзание Христа.

Когда Рай сокрылся, и землю посетили духи-исправители,

..... слуги кар, —
Пила и жернов, млат и горн,

ветер предательский, попутный, гонящий корабли на мель, свет маня-
щий затягивающих болот, рысканье зловещее тихих зверей

И гроботеса стук ночной
У счастья запертых дверей

она, опальная, сохранила надежду; сирая, ждала Того, Кому всем
сердцем, помышлением и волением своим могла бы сказать: «Се раба
Господня». Такого ответа, такого изволения свободного и хотел от
Земли Господь. «Прозрачность» кончается песнопением:

Благословители чудес,
Несите лилии в перстах,
Несите Имя на устах
Сладчайшее лилей небес!

Мария! — «Бог создал мир, чтобы создать Богородицу» твердил и
повторял, повторял до самой смерти Вячеслав Иванов.

* * *

Брюсов предложил В.И. напечатать «Прозрачность» в московском,
им руководимом издательстве «Скорпион». Ивановы решили поехать
в Москву и пробыть там несколько месяцев. Они поселились в малень-
кой наемной комнате, но у себя бывали редко. Они ко всему прислу-
шивались, присматривались, хотели все сообразить, понять. В своем
родном городе В.И. чувствовал себя заезжим странником и, по москов-
скому обычаю, он с женою много ходил в гости и к хорошо, и к мало
знакомым людям. Многие из них жили не в скучных, модных квартирах

с окнами, выходившими на улицу, и не в патриархальных, прекрасных особняках с колонными, двухсветными залами, а в старых, маленьких, окруженных двориками или садиками домиках. Зимой — а тогда была зима — окружения эти заносились снегом, глубоким точно в деревне. Звонков никаких. В ворота или калитку полагалось стучать привешанным кольцом. Потом приходилось с трудом пробираться по скользкой тропинке между высокими сугробами. Деревянная, темная, часто кривая лестница с обмерзшими ступеньками. Крохотные, уютные, жарко натопленные комнаты... И вот, порою из глубины таких темных лестниц дохнет на В.И. что-то небывало-бывшее, сказочное, повеет утраченным Эдемом его младенческого жилия против Зоологического Сада.

Как эхо флейт в притворе гулком
Земной тюрьмы, — не умирай,
Мой детский, первобытный рай.
(Младенчество)

Новые поэты, первые русские символисты, — «декаденты» как их называли, еще не были признаны в литературных кругах: толстые благонамеренные журналы их к себе не пускали. Материально они от этого мало страдали, ибо на помощь им пришли молодые меценаты-эстеты. Но гонение со стороны, тогда еще торжествующей в общественном мнении старой прессы их раздражало, поражало душевно и нередко побуждало к вызывающим словесным жестам. Так Брюсов, собрав в свой первый сборник стихи, осмеянные критикой и публикой, назвал книгу свою — «Chef d'Œuvre».

Меценатской новинкой был «Скорпион». Это модернистическое издательство возникло из недр старозаветной купеческой Москвы в 1901 г. Помещалось оно сперва на углу Ильинки и Юшкова переулка, в самом шумном промышленном центре города. Основатель его, Сергей Александрович Поляков был меценатом своеобразным. Закружившись в вихре новых течений и затей, он однако целыми днями продолжал работать в своей семейственной «Знаменской Мануфактуре», где был главным администратором и кассиром. Человек, многосторонне образованный, тонкий ценитель западных и восточных литератур, фантастический полиглот, переводчик с различных европейских и азиатских языков, он — самоучка — с иностранцами объяснялся в целях понятности больше жестами чем словами, ибо на многочисленных чужих языках всегда говорил по своему, по московски, произнося звучно и протяжно все написанные буквы. Владелец изрядного количества миллионов, избалованный, изысканный эстет, он в делах был точен и бережлив, а на роскошные художественные выдумки денег не жалел.

Редакционный комитет (кроме Полякова) состоял из трех поэтов: то были — Брюсов, Бальмонт и Балтрушайтис.

Валерий Яковлевич Брюсов впервые выступил в 1894 г. в сборнике «Русские символисты». Затем под гром и молнии издаваемой критики он неизменно продолжал забрасывать публику своими «декадентскими» стихами. Огромное честолюбие и упорство не только способствовали успеху предпринятого им дела, но являлись двигателями его собственного поэтического дарования. Как и Поляков, Брюсов происходил из добротного купеческого рода; как Поляков по вкусам своим был европейцем последнего чекана, но, сын разорившегося пробочного фабриканта, денег не имел. Поляков ему был необходим, как он был необходим Полякову. В 1901 г. книгоиздательство «Скорпион» начало выпускать альманахи «Северные Цветы». Такое название «декадент», но и «классик» Брюсов выбрал в память Пушкинских «Северных Цветов». Все молодые поэты пчелообразно налетели на «Северные Цветы».

В 1903 г. произошел сдвиг в общественном сознании. Хотя благонамеренные слои интеллигенции, даже передовой, продолжали враждебно относиться к новым исканиям, хотя в широких кругах читающей публики, смеясь, без всякого понимания как несосвященную чушь цитировали отдельные строки Брюсова — «О, закрой свои бледные ноги!» (никому и в голову не приходило, что это сказано о смерти), хотя во всех гостининых постоянно со вкусом на память повторяли остроумные пародии Владимира Соловьева на ранних декадентов —

На небесах горят паникадила, а снизу — тьма.
Ходила ты к нему, иль не ходила? Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья, мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья острят клыки!
И не зови сову благоразумья ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила; в могиле — тьма.

— все же, вопреки всему, «Скорпион» уже начинал язвить сердца. Среди наиболее изощренных читателей и ценителей изящной речи имя того же Брюсова произносилось с уважением, порою даже с восхищением, и к его суждениям о поэзии стали прислушиваться серьезно и выжидательно.

А Бальмонт после появления «Будем как Солнце» стал идолом страстных поклонников и поклонниц. Стихи его, преизбыточно музыкальные, изобилующие аллитерациями, ассонансами, странными риф-

мами и всеми прочими находками и виртуозностями новейшей «инструментовки» пленяли души и поработали умы. Томные юноши, и чувствительные, бледные девы с повязками на волосах или на лбу, в одеждах ниспадающих и подобранных *à la grecque* с упоением, нараспев, подражая автору, декламировали его последние «пьесы»:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Хочу из гроздий венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать.

Юргиса Казимировича Балтрушайтиса знали лишь по нескольким стихотворениям, появившимся в «Северных Цветах». Совершенно лишенные того махрового эротизма, которым были насыщены все строки Бальмонта и Брюсова, стихи эти не возбуждали и не раздражали, но и они, будто-бы тихие и спокойные, медитативно-космические — волновали наличностью, едва уловимого, нового трепета, в котором что-то надвигающееся, жуткое искало сказаться.

В 1904 г., незадолго до приезда В.И. в Москву, Брюсов с Поляковым принялись издавать роскошный «Ежемесячник искусств и литературы»; они его наименовали «Весы». Редакционное помещение «Весам» устроили в только что построенном и даже не совсем достроенном «Метрополе», в первой вполне «европейской», гигантской гостиницы Москвы, возникшей близ «Большого Театра» в самой нарядной части патриархального города. Туда же переехал «Скорпион». В редакционной комнате «Весов» все соответствовало последнему слову искусства и науки, все — от изысканно красивых вещей, драгоценных рисунков и книг до моднейших электрических чайников, которые составляли предмет гордости в той старой Москве, где на окраинах только начали появляться первые трамваи, а вдоль центральных улиц медленно катились по рельсам, влекомые шестерней, в три пары гуськом, тяжелые «конки»; по праздникам на головы лошадям надевали веночки, в гривы вплетались гирлянды из ярких бумажных роз, фиалок, маргариток, и хвосты украшались длинными, тоже бумажными лентами самых разнообразных окрасок.

Исполнилось предсказание Владимира Соловьева: Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис встретили автора, высоко ими оцененных «Кормчих Звезд», как своего. Вячеслава Иванова чествовали, признали «настоящим», много пили и все побратались. Сближали этих поэтов их общие резкие отталкивания как от последних проявлений позитивизма и утилитаризма в литературной критике, так и от меланхолических lamentаций на народную, социальную и личную судьбу в «изящной литературе».

Объединяла их эллинистическая страсть, «александрийская» жадность к усвоению и вкушению всего разнообразно прекрасного во всех веках, у всех народов. Соединяла их и общая им всем подлинная любовь к новым формам родного языка и к разыскиванию жемчужин в старой отечественной поэзии. Они по-новому вместе слушали и понимали Пушкина, вызывали из забвения Тютчева, упивались соловьиной песнею мало замеченного Фета. В.И. сразу, как само собою разумеющееся, оказался перегруженным делами «Скорпиона». Время его пролетало между докладами, банкетами, чтением и обсуждением статей и стихов для «Северных Цветов» и «Весов», и бесконечными русскими спорами до утра. Вакху, конечно, воздавалось должное. Совсем не так, как того хотел бы В.И., но все-же было весело.

Запомнилось надолго В.И. происшествие неважное, даже просто забавное, но показавшее чуждую ему струю в потоке новой поэзии, который его самого увлекал, уносил. Брюсов, честолюбивый до безумия, до одержания (как это часто случается с большими честолюбцами), до поры до времени, раньше чем запервенствовать, охотно выступал в роли пророка, им же, обязательно *им*, провозглашенного «бога». Он решил собрание сенакля посвятить прославлению Бальмонта. Распорядился, чтобы сперва все молча выслушали стихи поэта, которые сам автор читал, растягивая и подчеркивая каждый ритмически важный слог, вызывая кидая в слушателя свои певучие строки, сильно в нос ударяя последние, рифмующие слова. Потом он провозгласил Бальмонта первым поэтом и увенчал его лавровым венком. Наконец, потребовал, чтобы все стали на колени перед прославленным певцом. В.И. наотрез отказался: «Я глубоко и уважаю и люблю творчество Константина Бальмонта, я даже, пожалуй, готов в данный час признать его первым поэтом, но выражать свои мнения коленопреклонением считаю просто *mauvais goût*».

Много пили. Приближалась минута, когда совершенно пьяный Бальмонт, как это всегда с ним случалось, вдруг вскочит и убежит в холод, в ночь, неизвестно куда. На сей раз поручили приезжему гостю, новичку «Вячеславу», (так все заправили «Скорпиона» стали звать В.И.) догнать лавроносного беглеца и водворить его домой.

Мороз трескучий. В.И. был в длинной шубе, меховой шапке и теплых ботах. Быстро двигаться ему было тяжело. Бальмонт выскочил без пальто и бежал с привычной пьяной легкостью. Все же В.И. ухитрился за ним поспевать. Но вдруг на каком-то перекрестке Бальмонт, увидев городского, со всех ног к нему разлетелся, за него спрятался и вызывая ему бросил: «Избавьте меня, пожалуйста, от этого иностранца; он меня преследует». Городовой обомлел, увидев перед собою важного барина без шубы, с лавровым венком вместо шапки, и только руками

развел; тем он невольно преградил путь поспешавшему В.И. А тут, откуда ни возьмись, оказался извозчик, на которого Бальмонт во мгновение ока вскочил и так повелительно крикнул: «Гони!», что тот помчался во всю мочь. Когда на других санях В.И. прилетел в дом беглеца и вошел через незапертую пьяным хозяином наружную дверь, он увидел Бальмонта в столовой спокойно и деловито подходящего к каким-то бутылкам. Но тот, сразу учуяв погоню, с кошачьей ловкостью выскочил в окно. В.И. бросился за ним через дверь, в ужасе, готовясь к страшному зрелищу, но тут-же и успокоился, ибо вдали разглядел фигуру порученного ему поэта, который как ни в чем не бывало мчался прочь от него вдоль по улице. Убежал. На следующий день его нашли в каком-то притоне крепко спящим. А еще через день он уже заливался новыми песнями.

В.И. пришел в «Весы» пристыженный, что не справился с поручением. Но смущения его никто не понял и не оценил. «Маленький прыжок в мягкий снег. То ли бывало!» И Вячеслава забросали рассказами о менее благополучных подвигах и скандалах Константина. Рассказали как, едва женившись, Бальмонт напился и — чтоб не убежал — был заперт в его комнате неискушенной молодой супругой; а он, провозгласив так, что бы она слышала: «Для поэтов нет дверей!», выбросился с третьего этажа на мостовую и сломал себе ногу. — Как в Лондоне, проходя по улице мимо пустого ящика, из которого только что вынули кому-то привезенный рояль, он остановился, водрузил ящик себе на плечи и куда-то понес. Его арестовали за кражу. — Как в Париже, посаженный в тюрьму за пьяное уличное побоище, он в опросном листе вместо своей фамилии написал: «Нет имени, есть любовь», а на вопрос о профессии, вызываяще, презрительно в нос изрек: «Книги». Ему дали книги переплетать...

В.И. смеялся. А тут пришел и сам Бальмонт с новыми стихами и переводами с самых различных языков. Все весело и деловито засели за чтение рукописей для очередного номера «Весов».

С Бальмонтом у В.И. отношения установились сразу и на всю жизнь: сердечно-приятельские, они не имели ни вспышек, ни разрывов. Вячеслав и Константин были людьми разными, даже до душевной полярности. Но случается со странными песнями Психеи: от их нежно пронзительного удара по сердцу вдруг образуется прорубь в душе — своей, чужой? Нырнешь в эту прорубь, и в глубине недоступной душевной стихии неожиданно встретишь милое, родное, заветное, насущное; вынырнешь духовно обогащенным. Такое бывало с Бальмонтом.

Однажды, вскоре после появления «Прозрачности», он, рыдая, ворвался в комнату Вячеслава. «Что с тобой? Что случилось?», — испугался В.И. В ответ Бальмонт стал читать стихи:

Прислушайся, один, в смарагдной тишине
К пустынным шелестам Дриады!
Открой уста души — и пей, как в смутном сне,
Наитье сумрачной отрады!
Ты, вещей, — не один в безлюдной тишине!

«Вячеслав! ведь ты о том, о самом главном...

Глядятся Жизнь и Смерть очами всех огней
В озера Вечности двуликой;
И корни — свет ветвей, и ветви — сон корней
И все одержит ствол великий, —
Одна душа горит душами всех огней.
(Прозрачность)

Бальмонт тихо плакал: «Одна душа горит...» И впоследствии среди горячих споров вдруг он вспоминал: «А вот «Дриады» твои, Вячеслав, без слез читать не могу, и что это у нас общее — не знаю». В.И. знал: их единило вопреки всему острое у обоих, непосредственное переживание «разлуки вселенской» и «вселенского сочувствия» и благоговейное отношение к слову — «Да». «Мы с тобой славословы», — объяснял Вячеслав Константину. И много лет спустя, когда В.И. уже давно перестал давать пальму первенства Бальмонту, когда его раздражали бальмонтские перепевы самого себя и «бальмонтизированье» всего, он все же продолжал любить и ценить Бальмонта за его волю к славословию.

Дружба В.И. с Балтрушайтисом была глубокой, нежной и верной. Юргис был близок и дорог Вячеславу своей горячей, преданной, народной любовью к Христу. Балтрушайтис был подлинно, всем существом своим религиозен. Друзья далеко не во всем были согласны друг с другом. Юргис, сын Казимира, неимущего литовского крестьянина, бедный пастушок, пасший стада свиней на холмах сказочного Немана, был в отроческом возрасте застигнут настоятелем местного прихода за неподходящим занятием: сидя на каком-то пне, мальчик на грязном листке бумаги сосредоточено чертил и решал математические задачи. «Кто тебя учит?» — «Я сам». Настоятель стал обучать Юргиса арифметике и латыни. Потом послал в город, определил в гимназию. Юргис жил мучительно нищенски. Давал грошовые уроки. В темных, грязных, сырых чуланах он тосковал по своим стадам, хоть и рад был учиться. Потом, уже взрослым, он говорил, что евангельская притча о блудном сыне с ее прагматической стороны ему совершенно непонятна: как можно придти в отчаянье от того, что пасешь стада свиней — ведь это райское занятие.

Природу он любил как старшего брата, вождя. «Учись быть чистым в сердце у цветка.» Мы не умеем указывать путь Божьей твари, как не умеем указывать его себе. Мы ничего не видим, мы можем только верить:

И знаю... мудр порядок Твой
Где пред неведомой тропой
Слепца напутствует слепой...

(Пилия и Серп) *

В.И. остро чувствовал роковую тяжелую ответственность и вину человека перед природой. Мы ее испортили своим смертным грехом. Мы должны ее исцелить. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Слова эти ап. Павла из послания к Римлянам В.И. часто повторял. Но друзья не спорили. Дружба их подымалась из тех недр души, где различие воззрений и оценок уже не тревожит и не мешает. Ни расстояние, ни время не прерывали живой связи.

В.И. написал стихи 3-его января 1944 г. Ему неотвязно вспоминался сон, страшный сон о милых ушедших; сон этот он видел в ночь на 2-ое ноября 1943 — день всех усопших в католической церкви.

..... Сердце слышит
Безмолвный, близкие, привет.
Пусть ваших лиц пред нами нет, —
Душа дыханьем вашим дышит.

(Свет Вечерний) *

С Юргисом В.И. не виделся и не переписывался целых двадцать лет; они ничего друг о друге не знали. Совершенно неожиданно в июле 1948 г. В.И. получил нежное, грустное письмо от жены Балтрушайтиса, где она сообщала о смерти мужа 3-его января 1944 г.; прислала она одновременно и посмертную, ею изданную книгу стихов Балтрушайтиса; на книге — надпись ее рукою: «Привет от Юргиса». В.И. умер ровно через год в июле 1949 г.

Отношения с Валерием Брюсовым были рядом сложнейших перипетий, переходов от острой близости к неприятным столкновениям и обратно. Встреча этих двух поэтов была встречей двух разных направлений в символизме; они соприкоснулись, себя друг через друга осознали и друг от друга оттолкнулись. Владимир Соловьев и тут оказался прав, когда в то последнее, предсмертное свидание с В.И., советовал ему выступить в печати отдельно, независимо, когда предупреждал его, что русские символисты-декаденты его, конечно, признают «своим», но все же он останется им существенно чужд. Действительно, по своему физическому возрасту В.И. должен был бы примкнуть к триумвирату

Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, но по своему духовному возрасту он принадлежал более молодой формации поэтов.

Бальмонт и Брюсов увлеклись французским «декадентством», переняли его изысканный эстетизм, его капризный субъективизм, искавший обогащения в утончении чувственного опыта. Но не имея за собой культурной осложненности французских декадентов, сочетавших в себе «музейный Парнас» и «изящный упадок усталых утонченников», русские декаденты провозгласили «индивидуализм», понятый как «интеллектуальное донжуанство», все охватывали в «мимолетности самодовлеющих 'мигов', в самоценных и своеначальных 'мгновностях'.» * Все это было В.И. органически и идейно чуждо. Он хотел и искал другого. Чего? В ту пору он об этом бормотал стихами:

О вы, чья медом диким
Душа упоена,
Единым и Вселиким —
Без имени — полна!
(Прозрачность)

Кто были его совопросники и сочувственники на творческом пути, если не эти блестящие «новаторы» — этого он тогда не знал.

Знаю только: эти руны я пою не одинок.

Что мне светит — звезды, очи ль — волны, лебеди ль — из тьмы?

Сколько нас певцов полнощных, и куда отплыли мы?

Слышу трепет крыльев мощных за гребцами, у кормы.

(Нежная Тайна)

Вскоре В.И. с ними встретился, и они образовали как бы триумvirат второй: Александр Блок, Андрей Белый и он; но именно их, кого ему впоследствии суждено было назвать братьями

На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе
(Нежная Тайна)

он в тот свой приезд на родину зимою 1903 г. либо вовсе не встретил — как Блока, либо внутренне не встретил — как Белого. Последний вспоминает: «... В. Иванов, не живший в России, был только что — здесь, среди нас; он блеснул, озадачил, очаровал, многим он не понравился; и он уехал; его мы не знали.» *

Однако, вопреки всем идейным расхождениям, психологическим осложнениям, а позднее и литературно-деловым столкновениям между «Вячеславом» и «Валерием» сразу, при первых встречах, возникла не только острая, беспокойная, недоверчивая любовь друг к другу, но и

творчески плодотворная дружба поэтов. В.И. как-то зачаровывал Валерий блеском своих глаз: ему казалось, что они «большие, черные, прекрасные» видят в будущем что-то, чего другие не видят. Брюсов в то время увлекался писаниями астрологов и настойчиво вовлекал В.И. в чтение старинных текстов; поражали предсказания Агриппы Неттесгеймского, который утверждал существование семи «небесных державств», которым «Бог повелел ведать всю громаду вселенной». И вот в 1900 г. должна наступить эра шестого из державств — Офиеля. Страшная эра.

В.И. вспоминает: «Едва ли кто знал в нашем обществе об этих исчислениях старинных чернокнижников; но несомненно, что как раз на меже новой астральной эры были уловлены чуткими душами как бы некие новые содрагания и вибрации в окружающей нас интерпсихической атмосфере и восприняты как предвестия какой-то новой неведомой и грозной эпохи. Вл. Соловьев, внезапно прерывая свой обычный тон логизирующей мистики, заговорил, юродствуя во Христе, о начале мирового конца, о панмонголизме, об Антихристе... Бродили идеи, преломившиеся сквозь призму апокалиптической эсхатологии; весь мир своеобразно окрасился ее радугами, вопросы познания и запросы нравственного сознания, дух и плоть, творчество и общественность». *

Под впечатлением тех чтений и бесед В.И. в 1904 г. «под знаком льва» написал четыре «песни времени и часа», цикл *Carmen Saeculare*. В этих мрачных песнях поэт предвещает наступление рокового века, диких переворотов, когда восторжествует и возвластвует злая *Adaptina Proles*, лишённая человеческой жалости и исторической памяти.

Carmen Saeculare В.И. посвящает «Валерию Брюсову, открывшему мне эру Офиеля, по учению Агриппы».

..... Судьбе
Завет глухой я завещаю,
И музы темной посвящаю
Прозренья — зрящему Тебе.
(Cor Ardens)

В.И. импонировало, что Брюсов бросался на поэзию подобно «черной кошке или пантере на Парнасе», что он импровизировал стихи в любых размерах. В.И. любил Брюсова за его маэстрию, считал подлинным поэтом, и тут-же сердился, ненавидел: Брюсов насилует свою Музу. Это недопустимо для поэта. Аполлон заставлял насильно Сивиллу пророчествовать. Но, когда она ему покорялась, то он к ее пророчествам прислушивался и покорствовал. Брюсов такому завету не следует: он хочет, чтобы Муза говорила не то, что она, а то, что он хочет: «... мой кнут тяжел».

Обижало В.И., что Брюсов, часто повторяя знаменитое изречение Rimbaud: «Le poète se fait voyant par un long dérèglement des sens», старался всеми средствами вызывать в себе раздражающие ощущения, пропитанные тончайшими ядами духовного и морального разложения, добивался яснovidенья в чувственности посредством кокаина, морфия и «провалов в бездны» всяких эротических превратностей вплоть до некрофилии.

Все это было В.И. чуждо и противно: жизнь, не спрашивая его согласия, кинула его в «могучий океан» страсти, в котором и плаванье, и крушение сладко. Где уж тут до искания «сильных ощущений»?

В.И. однако зло в себе чувствовал и его боялся. В поэме «Младенчество» он вспоминает, как мать ему рассказывала (она ему все рассказывала) странный свой сон

Шесть весен... Видит у подножья
Высокой лестницы — во сне —
Мать духа тьмы и духа Божья
В бореньи трудном обо мне...
И два таинственные мира
Я научаюсь различать,
Приемлю от двоих печать.

Два таинственные мира, которые маленький Вячеслав научился различать в себе, В.И. научился позднее различать вообще в человеке:

Но небом был зачат
Наш темный род — Титанов падших племя.
(Прозрачность)

И в Москве, в период своих гаданий с Брюсовым, В.И. пугается:

Нам суд — быть богомольцами могучих змей и Солнц.

«Духа тьмы» В.И. в себе называл по разному: титаническим, змеиным, люцеферианским:

И я был раб в уздах змеи,
И в корчах звал клеймо укуса.
(Cor Ardens)

И странно: когда В.И. чувствовал себя «в уздах змеи», тогда люди, близкие и далекие видели, ощущали вокруг него как-бы темную дымку, демоническую «ауру». В этой борьбе ему неожиданно и уж, конечно, против своей собственной воли, помог Брюсов, который раздражил, раздражил и поднял «из темных омутов» души Вячеслава, там таящиеся, и туда загнанные сумрачные влечения. Они стали для него внешне видимыми, осязательными, охватимыми. Он побеждал их, отра-

живая словом, оформляя художественным разумом, осиливая песню и мифом, а позднее осознанием песни и мифа. Ведь песня — слава, воздаваемая Богу «за каждый цветик и дыханье», — есть щит и меч против зла.

Свыше песнь! Калитку Рая Гавриил приотворил. —

Садом лилий, в непорочной белизне, слова цветут.

(Свет Вечерний)

В торжество зла В.И. никогда не верил. Даже угрозы Carmen Saeculare он кончает славословием. Небесная Милость утаит «сев Утешителя» от «буйных братий», и освобожденный «Дух в небо взглянет как Дитя». Не пробраться бесу через частокол из песенных заклинаний в песенно-лилейный сад. А Брюсов точно злорадно передразнивает: «Да, да, славословие, славословие...

И Господа, и Дьявола

Равно прославлю я... *

В.И. всегда помнил: «Первоначальный стих — заклинание». И он без усталости славословил, заклинал; и — заклял укусы змеи:

И я был раб в уздах змеи,
И в корчах звал клеймо укуса;
Но огонь последнего искусства
Заклял, и солнцем Эммауса
Озолотились дни мои.

(Cor Ardens)

Хоть В.И. и говорил и думал, что Брюсов служит, живет чорту на потребу, он все-же в глубине своего недруга-друга увидел другой светлый образ.

Дуга страдальной Красоты
Тебя ведет чрез преступленье.
Еще, еще преодоление,
И вот — из недр восходишь ты.

В том же Альманахе — «Северные Цветы» за 1904 г. —, где впервые были напечатаны эти, посвященные Брюсову, озаглавленные словами Данте «Mi fur le serpi amiche» стихи В.И., помещен вызов беснующегося Брюсова:

Но последний царь вселенной
Сумрак! Сумрак! — за меня.

Впрочем: хоть Брюсов превратными экспериментами несомненно злоупотреблял, но в какой мере его «бездны» были действительно

биографичны, а не воображаемы, в какой мере его «Mille e tre» были эмпирическими событиями его личной жизни, а не предметами вождельюющего вымысла — это еще подлежит (если подлежит?) исследованию. Несомненно одно: единственная женщина, которую Брюсов всю жизнь несомненно любил, которую он никогда всерьез не покидал и которой он, несмотря на постоянные измены, остался верен до конца, была его «Жанна», его тихая, на вид невзрачная жена. Да и вопреки всем заявлениям о торжестве темного «царя вселенной» Брюсов в победу сумрака, кажется, не верил: Андрей Белый рассказывает, как Валерий Яковлевич перед ним защищал однажды апокалиптического Гада, мировую, гнетущую «гадость»: — «Ах скучно, Борис Николаевич: Вы со Христом против Гада; Вы с сильным, а Гад победится; так сказано в Апокалипсисе; против Гада, слабейшего, выступать, — не по рыцарски; я — буду с Гадом; жаль Гада, ах, бедный Гад!» *

Одна лишь страница отделяет мрачную песнь Брюсова от Вячеслава призыва к Солнцу:

О Солнце! вожатый ангел Божий
С расплавленным сердцем в разверстой груди.
Куда нас влечешь ты, на нас непохожий,
Пути не видящий пред собой впереди?

(«Северные Цветы», 1904)

Лидия Дмитриевна особенно любила эти стихи с их задыхающим ритмом. «Я хотела бы, чтобы мне их читали, когда я буду умирать», говорила она.

* * *

В Петербурге, куда перед возвращением в Швейцарию поехали В.И. и Л.Д., они встретились с Дмитрием Мережковским и его женою, уже тогда известною поэтессой, Зинаидою Гиппиус; их личная связь ранее ограничивалась перепискою по поводу опубликования «Эллинской религии страдающего бога». Познакомились они с участниками и создателями «Мира Искусств». Мелькнули перед ними изысканные художники, изящные эстеты новаторы: Бенуа, Дягелев, Бакст. Заинтересовал неисчерпаемый в «беседах наедине», блестящий, обреченный монологист — Василий Розанов. В Петербурге они пробыли недолго.

В тихом Шатлэне на В.И. неожиданно, навождению подобно, нахлынули навязчивые воспоминания о некоторых недавних встречах. Неотвязно все звучало в ушах признание одного из умнейших людей его

родины. Там шептал ему Розанов: «Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде, что я едва верю, едва допускаю, что мне современничают другие люди...» В.И. сердился: «Не странная, а возмутительная черта!» Но тревога с души не уходила. Почему?

Потому ли, что освободительное воздействие Ницше и Лидии еще не до конца преодолело гордое отщепенство, неправое самодовление, «целюлярность», потому ли, что «укус змеи» заклят был не безостаточно — но из «глубоких омутов души» подымалась изнурительная тоска по утраченной реальности мира. Соблазны Люцифера, «силы замыкающей», которые В.И. много лет спустя описал в своей статье «Лик и личины России», он тогда в Шатлэне пережил как тяжелое событие своего внутреннего опыта. Уныние обернулось физическим заболеванием: В.И. стал ощущать на шее и на груди «узлы змеи», узлы, которые сжимали горло и сердце, прерывали дыхание. Приступы удушья были столь мучительны, что В.И. даже к врачам обращался за помощью. Но доктора отказались его лечить, объяснив, что такие припадки суть «просто нервные явления». Тогда поэт, опять как прежде, прибегает к старой, испытанной, верной для художественно одаренных людей *Medicina animae*, к лечению ритмами, к непосредственному самообнаружению, ко снятию внутренних заторов посредством поэтического творчества: он пишет трагедию. Сперва припадки усилились; порою во время писания В.И. казалось, что он умирает; но, когда трагедия была дописана, припадки удушья прекратились.

Трагедия В.И. называется «Тантал».* Она написана ямбическим триметром. Впервые метр этот появился в русской поэзии. «Написан 'Тантал' удивительно плавно и естественно: теперь у нас есть, что сопоставить с третьим действием — этой драмой в драме, второй части Фауста». Так отозвался Фаддей Зелинский об ямбическом триметре В.И.

От античности дошли лишь отрывочные, несвязные высказывания о Тантале. В.И. согласует и разрабатывает их с вольностью, которая самим эллинам отнюдь не показалась бы предосудительной. Эллины не только допускали свободу в разработке мифа, но возлагали на трагических поэтов задачу живого мифотворчества. «Есть древний стих, служащий прямым подтверждением сказанного:

Так говорят творцы трагедий, им же власть
Все возвещать и в действе все являть — одним.»*

Тантал, сын Зевса и Обилия, преизбыточно одаренный богами, как солнце светлый и как солнце щедрый, восхотел быть до конца свободным и независимым. Он богат, благодаря тому, что он — сын и

наследник, но Тантал не хочет быть только наследником, он хочет творить, рождать, быть как отец. Титан восстает на самый сан сыновства: «Я — один, и все — мое зеркало». Тантал рождает двух сыновей: от Гимеры (мгновения) смертного завистника и бунтовщика Бротаеса, и от звезды Дионы бессмертного, светлого младенца Пелопса, любимца богов. Тантал хочет Бротаеса одарить бессмертием, а Пелопса, лучшую, божественную часть самого себя, хочет от себя отсечь, вернуть богам:

Дар неба — небу!... Платит Тантал. Мзда — он сам.
За все дары собою платит. Чем он был
поднесь, — покрыто. Искуplen отныне я.
Себя иного я раждаю. Встань, выиграй,
из солнца — солнце!... Ты же, сын моей любви,
ты, кто — я сам, каким я был, — вернись в свой лимб!

И решает Тантал не просить, а похитить бессмертие Олимпа, и принести его людям, как Прометей преобразить, обджить дольний мир.

На пир богов, пришедших к нему на гору Сипил, Тантал несет Пелопса в жертву, в дар богам. Боги восторженно, страстно принимают Пелопса. Геба передает ему чашу с амбросией, а Тантал, пользуясь распреем богов, возгоревшейся из-за Пелопса, похищает чашу из рук сына и с нею нисходит на землю.

С высот святых, потироносец, нисхожу
я в мир глубокий, опьянен божественно,
подъев высоко в чаше светлый, страшный дар
рукою дерзновенной... О, мой полный миг!...

Тантал зовет людей:

Я нисхожу, о люди! Пейте все мой дар!
Нет меры в чаше, — нет в бессмертной чаше дна!
Пусть пьет бессмертье, кто дерзнет испить свой суд!
Всех жажд здесь утолень: пусть кто жаждет, пьет!...

Бессмертье — «суд огня, что в нас, праздник вечных встреч с самим собою» — люди не дерзают пить, никто не идет на зов титана. Тогда Тантал призывает двух единомышленников, двух титанов — Сизифа и Иксиона. Они являются и пьют. Напиток их судит: вскрывает их сущность. Чувственность овладевает Иксионом, вожделение к самой миродержице Гере. Он устремляется осквернить небо, но Зевс подводит ему Нефелу; от слепой страсти рождается Кентавр. Сизиф пытается схватить молнии самого Зевса, а Тантал, согласно своему основному убеждению и своей последней воле — («мир есть мое представление,

мой сон») — экстатически пляшет, потом погружается в глубокую дрему.

Ему грезится: рождаются от него солнца, далеко загораются мириады звезд, и он отчаянно зовет их. Но призыв отца им не внятен. «Солнце осветит кто? Отзвук солнцу нет. О дети, о светлы». На зов приходит Бртеас, темное, низшее я Тантала: «Твой сон тебе тюрьма». Бртеас берет чашу. Но что ему с ней делать? Он сам знает: «Бессмертным стать. О, это будет возлюбить». Бртеас любить не способен; он — завистник: обида и зависть по существу своему не онтологичны. Лишь прикоснулся Бртеас к чаше — свершился суд, вскрылась его сущность — смертного ничтожного насильника. Он разбивает чашу и умирает, пронзенный молнией. Божественная влага проливается на землю; капли превращаются в жемчужины. Стая белых голубей, низлетев, собирает в клювы жемчуг и подымается со своею ношею к небу. Сгущается мрак. Пелопса боги низвергают в смертный дол. Трех титанов поглощает Тартар. Появляется видение темного, висящего в воздухе Тантала. Воздетыми руками поддерживает он низший край потухшей сферы: «И рухнуть грозит на тебя твое мертвое солнце»...

Образ эллинского Тантала, вечно тянущегося за близкими и недоступными ему плодами, В.И. истолковал, показал как внутреннюю сущность самого титана. Тантал не умеет и не хочет *брать*. В этом нежелании покорно *принимать* дары проявляется и высокое достоинство человека, его божественная солнечность (творить за свой страх и риск при полной ответственности, «самостоянье человека — залог величия его»), но и его великая вина (бунт против богов). Трагедия «Тантал» раскрывает трагическую антиномию человека, из которой античное сознание выхода не находило. Адрастея шепчет: «Учись не мнить безмерной Человека мощь». Пришло христианство, научило: оно знает как Люцифер в человеке преодолевается Богочеловеческим Ликом.

«Тантал» В. Иванова — это трагедия идеализма, где идеализм вскрывается как эзотизм. В самом деле: если вместо *понятия* идеализма взять его духовную установку, духовный жест, то получится воля и умение полагать, налагать при нежелании, неумении брать. Тантал классическим мифом представлен в позе неумеющего схватывать плоды, которые висят над его головой. В этом его ад.

Идеалистическое неумение брать неизбежно ведет за собою неумение давать, ибо давать надо в любви, а любовь всегда реалистична. Неумение давать искажает благодарение: благодарность превращается в благодарность самому себе. — «Ты полн, владыка, и тебя ль мне одарить?» говорит хор. И Тантал: «Не дань мила, вы дар у одаренного с отрадой благодарности отъемлете». Он готов благодарить участников хора, ибо знает, что они приносят ему лишь его же дары: «Тебе дар утра от даров твоих», — восклицает хор. А Тантал гордо: «Я есмь.

В себе я. Мне — мое». А там, где дар действителен, реален он от него отказывается: «Дарами, девы, волен я бессмертных чтить, но их дары мне неуютны». И Гермес его предостерегает: «Нет дару места в лоне преисполненном, — нет в сердце места доброходству с ласкою».

Этим истолкованием, конечно, далеко не исчерпано богатство Ивановского мифа. Миф его многозначен, как многозначен миф античный. Многозначность — признак его подлинности.

* * *

«Мировые события, идя на землю, бросают вперед свои тени». Эти слова Моммзена все чаще и чаще вспоминались В.И., когда он, размышляя об эре Офиеля, писал «Carmen Saeculare». Россия начала: на нее с наступлением 1904 года стали падать карикатурные тени грядущих чудовищных мировых событий. На востоке с января 1904 г. шла несчастная японская война. В конце того-же года пал Порт-Артур. 17-го мая 1905 г. при Цусимском проливе погибла вся эскадра Рождественского; раненый адмирал был взят в плен. Война, безнадежно проигранная, не могла продолжаться. Не прошло и двух недель после поражения на море, как пришлось начать мирные переговоры; мир позорный (не привыкла к таковым Россия) был заключен в августе 1905 г.

Задумывался В.И. о первых поражениях на войне. Он пишет 12 мая 1904 года:

Русь! на тебя дух мести мечной
Восстал и первенцев сразил;
И скорой казнию конечной
Тебе дрожащей угрозил:
За то, что ты стоишь, немея,
У перепутного креста, —
Ни Зверя скипетр нести не смея,
Ни иго легкое Христа.

(Cor Ardens)

А через год весной 1905 г. В.И. как-бы комментирует эти стихи: «Война — пробный камень народного самосознания и искус духа; не столько испытание внешней мощи внешней культуры, сколько внутренней энергии самоутверждающихся потенций соборной личности. Желтая Азия подвиглась исполнить уготованную ей задачу, — задачу испытать дух Европы: жив ли и действителен ли в ней ее Христос? Желтая Азия спросила нас первых, каково наше самоутверждение. А в нас был только разлад. И в болезненных корчах начался у нас внутренний

процесс, истинный смысл которого заключается в усилиях самоопределения. Свободы возжаждали мы для самоопределения.» *

Страна волновалась. Второго декабря 1904 г. «происходило совещание о мерах, которые надлежит принять, чтобы прекратить смуту последних месяцев» (так определяет это совещание Николай II в своем Дневнике). * 9-го января 1905 г. под предводительством священника Гапона безоружные толпы рабочих мирно шли к Зимнему Дворцу, чтобы без посредников вручить Государю петицию о своих нуждах, шли с иконами и царскими портретами. Их встретили войска залпами винтовок. Сотни людей были ранены и убиты.

Страна содрогнулась. Недовольство нарастало. Брожение переходило в открытое революционное движение. 15-ого июня того-же 1905 г. на пришедшем в Одессу броненосце «Потемкин» взбунтовалась команда и перебила офицеров. Последовали серьезные беспорядки в Черноморском флоте. Начиная с конца лета непрерывно то тут, то там подымались аграрные волнения; в октябре вспыхнула всероссийская железнодорожная забастовка, к которой присоединились промышленные рабочие и представители интеллектуального труда. В тогдашней самодержавной России это было событие неслыханное.

В «годину гнева» В.И. видел, что «дух мести мечной» грозит «скорой конечной казнью», но в конечную казнь он никогда не верил. Он видел и другое: видел, что «из напоенных кровью глыб пророс росток святого древа». В ту-же «годину гнева» 1904 г. он пишет:

Как осенью ненастной тлеет
Святая озимь, — тайно дух
Над черною могилой реет,
И только душ легчайший слух
Незадрожавший трепет ловит
Меж косных глыб, — так Русь моя
Немотной смерти прекословит
Глухим зачатьем бытия...

(Cor Ardens)

Звезды предупреждают, направляют, но они не принуждают. От нас зависит придет ли век «кадамантный», безжалостный, убийственный, или — *aevum aetherium*, призывом которого и кончает В.И. *Carmen Saeculare* в июле 1904 г.:

И ты, Возница Солнц, чьей длани предал Землю,
В преемстве звездных Сил, Столетия канун, —
Чьих пламенных вожжей я дрожи первой внимлю,
Доверься вести мудрых рун, —

Сев Утешителя таи от бурных братий,
Под свод смарагдовый гонимых приютя,
Да, — с глаз стерев бельмо последнее заклятий —
Дух в Небо взглянет как Дитя!

(Cor Ardens)

Выбор, решение — за него ответственны те, которым дано (и, значит, повелено) выговорить, сказать во всеуслышанье народом рождаемое, т.е. узнаваемое, познаваемое, воспоминаемое Слово. «Что познание — воспоминание, как учит Платон, оправдывается на поэте, поскольку он, будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем и тем самым — орган народного воспоминания. Через него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности. Как истинный стих предопределен стихией языка, так истинный поэтический образ предопределен психеей народа... И 'ключи тайн', вверенные художнику, — прежде всего ключи от заповедных тайников души народной». *

Уединение дозволено поэту доколе он себя не опознал. «Для новых откровений (а говорить ему дано только новое) дух влечет его» в пустынную тишину, где «в тайной смене ненужных, непонятных толпе видений и звуков должен он ожидать 'веянья тонкого холода' и 'эпифании' бога». И тогда он найдет свои новые слова, «которые были искони заложены народом в душу его певцов, как некие изначальные формы и категории, в которых единственно могло вместиться всякое новое прозрение». *

За время своего пребывания в России в 1904 г. В.И. стал сомневаться в допустимости, в духовной дозволенности для себя продолжать свою тихую жизнь вдали от родины.

* * *

В.И. писал в самый разгар своего счастья:

Слиянье двух...
Но к алтарям горящим отреченья
Зовет вас Дух.

(Кормчие Звезды)

Лидия, после встречи с Вячеславом, встречи, все в ней обновившей, оживившей, почувствовала непреодолимую потребность высказать «что пало в недра духа» посредством чернила и пера. Она говорит в драме «Кольца», * написанной в Париже в 1903 году: «Жизнь так часто становится страшною. Жизнь других... Счастье должно всем принадле-

жать. Оно правильное состояние для души, любовь — великая, цельная, верная, опорная любовь, что выше отчаянья, выше боли, дальше смерти...» И Лидии стало совестно, что она так счастлива, незаслуженно, исключительно счастлива. Она требует от себя отречения: «Мы любим все. Мы слепы все. Земля и море, заклеванная птичка и стонущий лев ждут нашей любви в прозрении. Мы не можем быть двое, не должны смыкать кольца, мертвым зеркалом отражать мир. Мы — мир... Не надо жалеть тесных, милых колечек. Океану любви наши кольца любви!»

В детстве Лидия остро страдала от зрелища страдания других: «Мне тогда становилось неприятно и жалко, и я почти ненавидела, оттого что не любила жалеть. Это было слишком больно». Она «пугалась сжимающегося несносной болью сердца и вдруг ненавидела». * Ненавидела — такова была ее защита. С годами чувство сострадания нарастало, нарастала и мучительность. Когда в Риме и Париже, в разгаре ее личного счастья, она слушала Вячеслава, говорящего о Ницше, — она воспринимала из учения автора «Воли к могуществу» то, что ей самой давно хотелось выговорить, выкрикнуть, чтоб преодолеть «недуг чрезмерного, безбрежного, беззащитного сострадания», и она принялась вслед за Ницше утверждать полную, безжалостную жизнь. Отголосок ее тогдашних признаний слышится в стихах В.И.

«Где пламень — свет. Кто любит, не жалеет».

(Кормчие Звезды)

Но теоретическое отрицание сострадания не прекратило ноющей «зубной» боли в сердце; оно не помогло Лидии, как не помогло она ранее и самому Ницше. В нем чрез защитную маску жестокости Лидия почувствовала свою, не поддающуюся никаким философским уговорам, боль. И она противовольно полюбила в нем не учителя о сверхчеловеке, не нового «Заратустру», а нежного, болезненно отзывчивого, «без кожи рожденного» человека, того, который, увидев из окна своей Туринской гостиницы замученную лошадь, через силу влачащуюся под ударами кнута, выбежал, рыдая, на улицу, чтобы ее, родную, утешить и обнять. Отрицание не помогло: Лидия перестала отрицать. Ей хотелось «до изнеможения» отдавать силы свои людям. Отдать жизнь это — мало: надо отдать самое священное, самое дорогое; а самое дорогое — это он, ее Вячеслав. Она не смеет далее наслаждаться их уединенною жизнью, по большей части вдали «от шума людского». Она стала требовать: — «Я должна давать тебя людям». А он пел:

Слиянье двух...

Но к алтарям горящим отреченья

Зовет вас Дух.

Дар золотой в Его бросайте море
Своих колец:
Он сохранит в пурпуровом просторе
Залог сердец...

(Кормчие Звезды)

Вячеслав и Лидия решили променять свою двуединую поэтическую жизнь, «ребра скал», «сосен перезвон и переклик» на шумную, тревожную суету мгlistой северной столицы. Таково было начало их «отречения». Ведь в своем единении они были сказочно счастливы.

Долго мы брели по кручам,
Пробирались по лесам, —
Ты да я, — не веря тучам,
Веря синим небесам.

(Прозрачность)

И чем мучительнее представлялся Лидии переезд в Россию, тем настойчивее она требовала: «Уйдем, милый, уедем скорее, я должна давать тебя людям»... Ранней осенью 1905 г. они навсегда покинули виллу Жавд. Пребывание в Шатлэне для Лидии перестало быть оправданным: отца ее уже не было в живых.

Вячеслав и Лидия знали, что в России им будет не легко.

«В разлад мятежных волн мы правили кормила.»

(Cor Ardens)

* * *

Несколько старых, таинственных комнат на шестом этаже большого дома с башней стали жилищем В.И. и Л.Д. в Петербурге по их возвращении на родину. Накануне отъезда из Женевы Л.Д. видела сон: Круглая комната. Посреди урна. Она с Вячеславом кидают в урну свитки. И вдруг пожар. Все горит. Они вынимают свитки из урны (папирусы, ими написанные) и бросают их вниз, на землю, где их подхватывает сбежавшийся народ.

Проходя в поисках жилья мимо Таврического дворца, Лидия вдруг увидела на другой стороне улицы, прямо против своего прежнего домика большое здание и на стене его объявление, что сдается квартира. Поднялась на последний этаж. Вошла. Круглая башенная комната. Та самая... «Вячеслав, эту квартиру мы обязательно должны взять».

Поселившись на «башне» В.И. обращает к Лидии ряд стихотворений под общим заглавием — «Сивилла». Стихи полны мрачных предсказаний:

Пришлец на башне притон я обрел
С моею царицей — Сивиллой.
Над городом-мороком, — смурый орел
С орлицею ширококрылой.

И поэт слышит как, «вскрутя золотой листопад», ветер стучится к ним в окна и их упрекает:

«Зачем променяли вы ребра скал
И шопоты вещей пещеры
На тесную башню над городом мглы?
Со мной, — на родные уступы...

Но они, добровольные изгнанники из земного рая, о нем, потерянном, не жалеют; они знают, что отныне место их именно «над городом мглы» в то время как надвигается Ужас.

И клекчет Сивилла: «Зачем орлы
Садятся, где будут трупы?»

Зловещие знаки становятся все грознее. И «пришлец на башне» зовет свою Сивиллу:

Слышу медного скаканья
Заглушенный тяжкий топот...

И в страхе спрашивает ее:

Ты грозишь ли мне могилой
Или миру смерть пророчишь?

А она отвечает — по-сивиллински:

..... «Чу, как тупо
Ударяет медь о плиты...
То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта...

(Cor Ardens)

В.И. видел страшные тени и знал, что события не замедлят двигаться за ними:

«Гласи народу астролог,
И кинь свой клич с высокой башни:...

И он предсказывает, предупреждает:

«Дохнет Неистовство из бездны темных сил
Туманом ужаса, и помутится разум, —
И вы воспляшете, все обезумев разум,
На свежих рытвинах могил.

«И страсть нас ослепит, и гнева от любви
Не различите вы в их яром искаженье;
Вы будете плясать — и пав в изнеможенье,
Вы захлебнуться вдруг возжаждете в крови.»

(Cor Ardens)

И казалось, что надвигаются большие события, идут за своими теньями: Октябрьская забастовка 1905 г. принимала форму всеобщей стачки. Лозунгом ее был созыв Учредительного Собрания. Царю пришлось уступить: 17 октября был им подписан и на следующий день опубликован знаменитый манифест о созыве Государственной Думы, учреждения законодательного, и о предоставлении гражданам России ряда демократических свобод: неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собраний, союзов. На следующий день после опубликования этого манифеста В.И. со своей «башни» песнею приветствует «белый лик Солнца Вольности» в надежде, что Солнце это озарит «глубины тихие соборности лазурной».

Но все надежды оказались «бессмысленными мечтаниями». Сразу, в том же октябре по всей России покатила мутная волна, правительством тайно поощряемых погромов против евреев и интеллигенции. Конец 1905 г. ознаменовался «вооруженным восстанием» в Москве. Местные власти растерялись, запросили помощи у Петербурга, откуда спешно прибыл целый полк; подавление «восстания» он учинил военное, безжалостное. Интеллигенция глубоко обиделась и горько укоряла правительство. В.И. был потрясен таким крушением надежд: вместо «лазурной соборности» — распри буйные, кровь и могилы. Новый 1906 год он встречает стихами:

Так, — в сраме крови, в смраде пепла,
Изъявлена, истощена, —
Почти на Божий день ослепла
Многострадальная страна.

Московское декабрьское восстание было «началом конца» революции 1905/6 г. Подавив его, правительство вместо реформ занялось снаряжением карательных экспедиций. Во время выборной кампании в Государственную Думу оно спешно приготавлило «новые основные

законы», которые и были опубликованы перед самым созывом «законодательного» собрания. Открытие Думы произошло 27 апреля. Дума, в которую не поступило никаких законопроектов, занялась критикой тронной речи и обсуждениями запросов о незаконных действиях местных и центральных властей. Отношения между Думой и правительством стали враждебными. 7 июля 1906 г. Николай II подписал указ о распуске Думы. Она умерла, не просуществовав и трех месяцев. Думские депутаты собрались в Выборге и обратились к народу с воззванием, приглашая всех граждан отказываться от уплаты налогов и советуя молодым людям не являться на призывы для отбывания воинской повинности. Произошли в разных местах военные бунты. Возобновился революционный террор. Правительство усилило и участило карательные экспедиции и учредило военно-полевые суды, невероятно по *тому* времени жестокие. Вспышки протеста были всюду потушены.

Революция 1905 г. заглохла беспомощно. Не к ней, конечно, относились все предзнаменования и предсказания. В.И. писал: «Наше освободительное движение было ознаменовано бессильной попыткой что-то окончательно выбрать и решить, найти самих себя (...) Мы ничего не решили, и, главное ничего не выбрали окончательно, и попрежнему хаос в нашем душевном теле.» И потому: «Развязка, казавшаяся близкой, была отсрочена». * В.И. верил и знал, что «в сраме крови, в смраде пепла» Россия не погибнет; он видел и знал, что эти корчи и муки — муки родов своей «русской идеи». Какой?

Чей дух над ней незримо веет?
Что за созвездие блестит?

Страна идет к самосознанию. Дойдет ли?

Где ангел, что из яслей вынет
Тебя, душа грядущих дней? —
И скопища убийц раздвинет,
И сонь мстительных теней.

(Cor Ardens)

«Единственная сила, организующая хаос нашего душевного тела, есть свободное и цельное приятие Христа, как единого всеопределяющего начала нашей духовной и внешней жизни...» Надо много трудиться, чтобы приять и вместить такую Силу. «Трудна работа Господня» — все чаще, и чаще вспоминал В.И. эти предсмертные слова Владимира Соловьева, его последний завет.

* * *

Вячеслав Иванов сразу оказался во главе новых литературных и духовных движений. То был период идейного перелома в передовой группе русской интеллигенции: философский позитивизм и художественный натурализм сменялись противоположными течениями. В лице Вячеслава Иванова религиозное движение, вышедшее из Достоевского и Владимира Соловьева соединилось с новыми литературными исканиями.

Ивановская «башня» стала средоточием философской и артистической элиты, которая там собиралась по средам. На «Ивановских средах» впервые обсуждались и определялись нарождающиеся идейные течения, и молодые поэты получали там свое литературное крещение. Николай Бердяев вспоминает: «Скоро журфиксы по средам превратились в «Ивановские среды», о которых слагались целые легенды. Там встречались люди очень разных даров, положения и направлений. Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора-академики, неохристиане и социал-демократы, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные деятели — все мирно сходились на Ивановской «башне» и мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные, о литературной злобе дня и о последних, конечных проблемах бытия... Я кажется не пропустил ни одной «среды» и был несменным председателем на всех происходивших собеседованиях». *

Председатель, колокольчиком упорядоченные прения — но собрания по средам меньше всего походили на обычные академические заседания, хоть на них и выступали порою знаменитые ученые. «Башня» была и ученым, духовным центром мыслящей России, но была она и артистической богемой. В полукруглой комнате, где происходили заседания, к стене придвигался большой стол; делалось это, чтобы освободить место для участников собеседования и для гостей. Но на этот стол зачастую садилась Лидия с кем-нибудь из завсегдатых художников или поэтов, чаще всего то бывали Сомов, Кузмин, Городецкий; они представляли собою галерку и бросали яблоки и апельсины в оратора, когда он позволял себе говорить абстрактно и скучно. Ивановская «башня» освещалась свечами, вставленными во что попало — в канделябры, подсвешники и просто в бутылки. В оранжевом кабинете Лидии на полу лежали большие тьюфяки, скрывавшиеся под пестрыми тканями и, брошенными на них неисчислимыми подушками, самых различных очертаний и окрасок. То была выдумка Лидии, ставшая вскоре всероссийской модой.

«Всегда поражала меня в Вяч. Иванове необычайная способность с каждым говорить на те темы, которые его больше всего интересуют. Но это было не только приспособление к людям, не только гибкость и пластичность, не только светскость, которая в Вяч. Иванове поистине

изумительна, — это был дар незаметно вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих поэтических и мистических переживаний через путь, которым каждый идет в жизни... Душой, психеей «Ивановских сред» была Л.Д. Зиновьева-Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение, все наши разговоры... Политики на «средах» не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Мы собирались в исторический 1905 г. Но и в этой исключительно напряженной революционно-политической атмосфере, когда большинство было исключительно поглощено политикой, на «средах» утверждались и отстаивались ценности духовной творческой жизни, поэзии, искусства, философии, мистики, религии. В этих беседах мы себя не чувствовали оторванными от жизни...» *

На одной из «сред», особенно многолюдной, появился представитель охранного отделения в сопровождении отряда солдат со штыками и ружьями. Они стали у всех дверей. Целую ночь продолжался обыск. Ничего не нашли, ничего не взяли, никого не увели. У Мережковского из передней пропала меховая шапка. На следующий день появилась его газетная статья: «Ваше Превосходительство, верните мне мою шапку». В те годы генерал-губернатором Петербурга был брат Лидии — Александр Димитриевич Зиновьев. Он потом всю жизнь с гордостью говорил, что в столице и в губернии за время его правления не было допущено ни одного расстрела и ни одной жестокой расправы. *

На «башне» Ивановской «образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории... В атмосфере, в которой происходили собеседования по «средам», было что-то молодое, зачинающее, возбуждающее. И «среды» навсегда останутся ярким эпизодом нашего культурного развития». *

* * *

«Мэтр», «вождь», «Вячеслав Великолепный», «король невенчаный», прославленный и ославленный, предмет восхвалений и восторгов, но и мишень сплетен, сказок, нелепых инсинуаций — Вячеслав Иванов поражал, волновал, раздражал, «очаровывал» людей.

Блок вспоминает как «из стран чужих, из стран далеких» явился ему «странный лик» поэта:

Слегка согбен, не стар, не молод,
Весь — излученье тайных сил,

О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил!
И много чар, и много песен,
И древних ликов красоты...
Твой мир, поистине чудесен!
Да, царь самодержавный — ты.

Внешность В.И. была необычайна: высокий стан, сутулые плечи, которые как-будто ждали мантии кардинала или средневекового доктора, тяжеловатый и в то же время модернистически-эластичный, танцующий шаг, просторный, высокий, духовный лоб, небольшие, острые, внимательные, переливающиеся всеми средними цветами спектра (от зеленого до синего) глаза с тревожащими, пронзительными зрачками, и большой, тонкий, умный, слегка извилистый рот, который становился то трагическим, то насмешливо вызывающим, то страстным, то добрым, поощряющим. Длинные, слегка волнистые, мягкие, золотые волосы окаймляли лицо, нижняя часть которого скрывалась под короткой, острой, светлой бородкой. Хороши были руки: тонкие, длинные, с красноречиво и разнообразно говорящими пальцами, они казались протянутыми с полотен Леонардо да Винчи. Впрочем, в облике В.И. ничего леонардовского не было. Он напоминал портреты Дюрера и Квинтена Массейса.

Чего требовал В.И. по отношению к людям, к которым пришел? Чего ждал от людей, которые к нему устремлялись? Андрей Белый вспоминает: «В. Иванов тогда только въехал, ознакомлялся с петербуржцами... очень вежливо обволакивал он собеседника удивительным пониманием всякого, необыкновенной начитанностью, которую он умел мягко стлать собеседнику под ноги; часто казалось, что он заплетал идейную паутину, соединяя несоединимых людей и очаровывая их всех». * Соединять, соединять несоединимое — Белый уловил главное.

Перед В.И. вновь подымается старый его вопрос о преодолении солипсизма, «целлюляризма», индивидуализма, вопрос о возможности возникновения «вселенской общины». В 1905 г. В.И. пишет статью «к трехвековой годовщине Дон-Кихота», озаглавленную — «Кризис индивидуализма». * «Триста лет исполнилось дивному творению Сервантеса... Триста лет тому назад индивидуализм, расцветший уже с начала эпохи Возрождения, нашел в себе внутренние силы, чтобы создать глубокие и вечные типы новой души... С тех пор все, что истинно властвовало над думами людей, было лишь новым раскрытием того же индивидуализма... Он не только не исчерпал своего пафоса, но притязает и в будущем стать последним словом наших исканий». Свобода личности понимается ныне как венец общественности. Этика,

художественное творчество, религия — все стоит под ее знаком. И все же:

«Умер гордый индивидуализм», — утверждает В.И. Умер? «Но никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким воодушевлением как в наши дни, никогда так ревниво не отстаивались права ее на глубочайшее и утонченнейшее самоутверждение... Именно глубина наша и утонченность наша кажутся симптомами истощения индивидуализма.» Индивидуализм предполагает самодовлеющую полноту человеческой личности, а мы возлюбили Сверхчеловека. «Вкус к сверхчеловеческому убил в нас вкус к державному утверждению в себе человека.» Сверхчеловек убил самодовлеющего индивидуума.

Рост и изменение самого сознания личности, «утончение и углубление личного сознания, дифференцируя его, разрушило его единство».

Где я? где я?

По себе я

Возалкал.

Я — на дне своих зеркал.

(Прозрачность)

Этот стих, который не был бы понятен в прежние времена никому, кроме людей исключительной и внутрь устремленной созерцательности, выражает едва ли не общеиспытанный психологический факт в ту эпоху, когда наука не знает более, что такое я как постоянная величина в потоке сознания». Уже к концу прошлого века и психология «без души» с ее интересом к диссоциации личности, и гносеология без реального предмета познания, оказавшаяся способной обосновать лишь релятивистическое «сонное» сознание, и эстетический иллюзионизм, и художественный импрессионизм не оставили нам не только старинного «*cogito ergo sum*», но даже и его элементов: ни «*cogito*», ни «*sum*». *

Не обрел своего я тот, кто его ищет и волит. «Я становлюсь: итак я не есмь. Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умертвляющих один другого... Где я?». Эмпирическое существование — мэон (не-бытие); но необходимая предпосылка, «синтетическое условие становления есть бытие», и для ищущего существует «подобно математическому пределу бесконечно приближающихся величин, некоторое Я во мне, как постулат моего не я, или я-мэона... Кто проникся этим пафосом самоискания, тот уже не знает личного произвола: он погружается в целое и всеобщее». *

«Целое и всеобщее» — но как осуществить «вселенскую общину»? В период «башни» В.И. представлял себе общину эту как «хоровое действо» народа подобное хору античной трагедии. Народ должен

создать «орган хорового слова», чтобы для самого себя стать глашатаем своей сокровенной воли. «Формы всенародного *голосования* внешни и мертвы, если не найдут своего идеального фокуса в соборном *голосе оркестры*». Древняя трагедия была «дионисийской литургией», ее священное действо было видом «очищений». Зритель отождествлялся не с протагонистом, а с хором, с его соборной направляющей волей. В нашей театральной архитектуре мы должны восстановить круглую *оркестру*. Иначе искусство наше никогда не станет монументальным, вселенским, останется капризным, «интимным», оторванным от народа. И общественная жизнь наша никогда не станет подлинно народной, «демократической». Ведь «в Эсхиловой трагедии и в комедии Аристофана оркестра утверждалась и как *мировая сходка*; и ею были живы совет Ареопага и гражданское вече Пникса». *

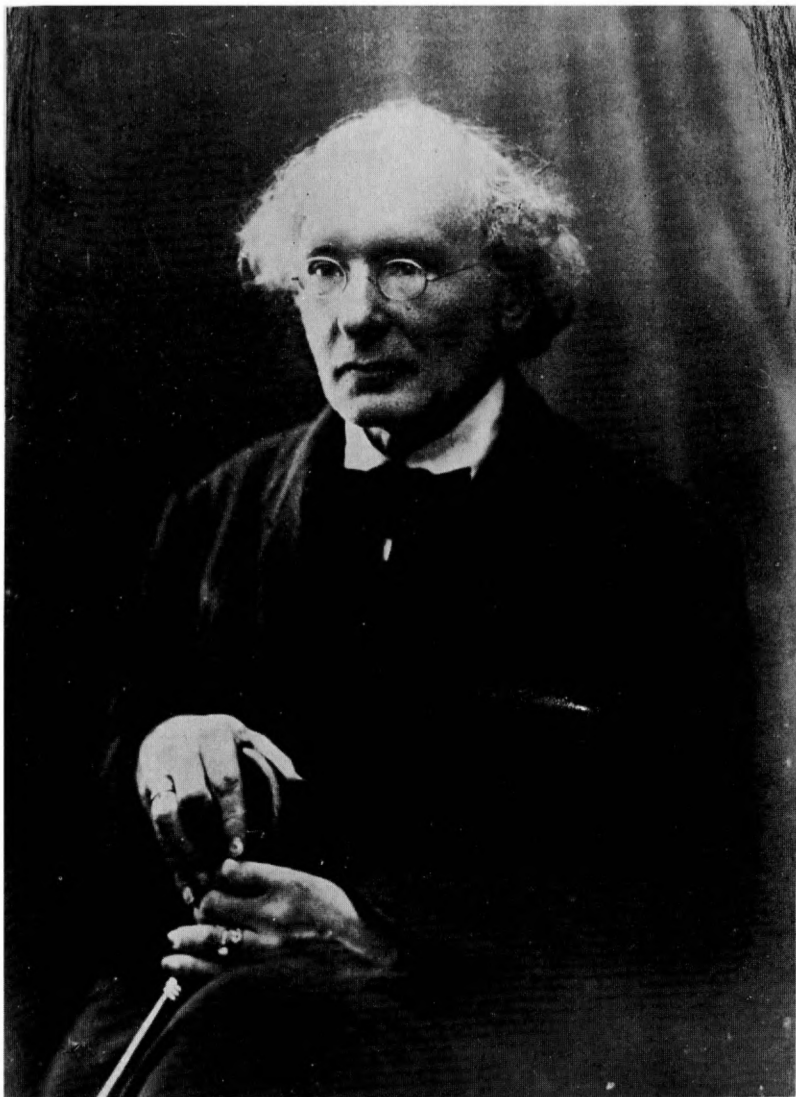
Погружение в «целое и всеобщее» В.И. непосредственно пережил в опыте большой любви; он узнал, что обретение своей души получается путем ее отдачи, что собственное *я* ощущается целостным и подлинным только, будучи утверждено в *другом*. Но этого мало: В.И. пишет в 1904 г: — «Если любящие чудесно обрели друг друга, они уже не принадлежат только друг другу». А Лидия требует: «Не надо жалеть тесных, милых колечек... Океану Любви — наши кольца любви. Что это значит?

«Блаженные Франциск Ассизский и Клара, кажется, любили: и, взглянув один на другого, разошлись, чтобы потонуть в океане Любви божественной». В.И. часто перечитывал ту главу из «Fioretti», где повествуется как трапезничали в окружении монахов и монахинь св. Франциск и св. Клара. Духовное общение воспламенило их сердца; сияние, от них исходившее огненным заревом осветило окрестные леса; жители Ассизи и Беттоны решили, что это пожар, сбежались его тушить и были поражены, увидев откуда тот свет. Трапеза происходила вне крепостных ворот Ассизи, там, где св. Франциск построил крохотный монастырь; стол стоял перед входом в келью, на голом полу которой через несколько лет Франциск умер.

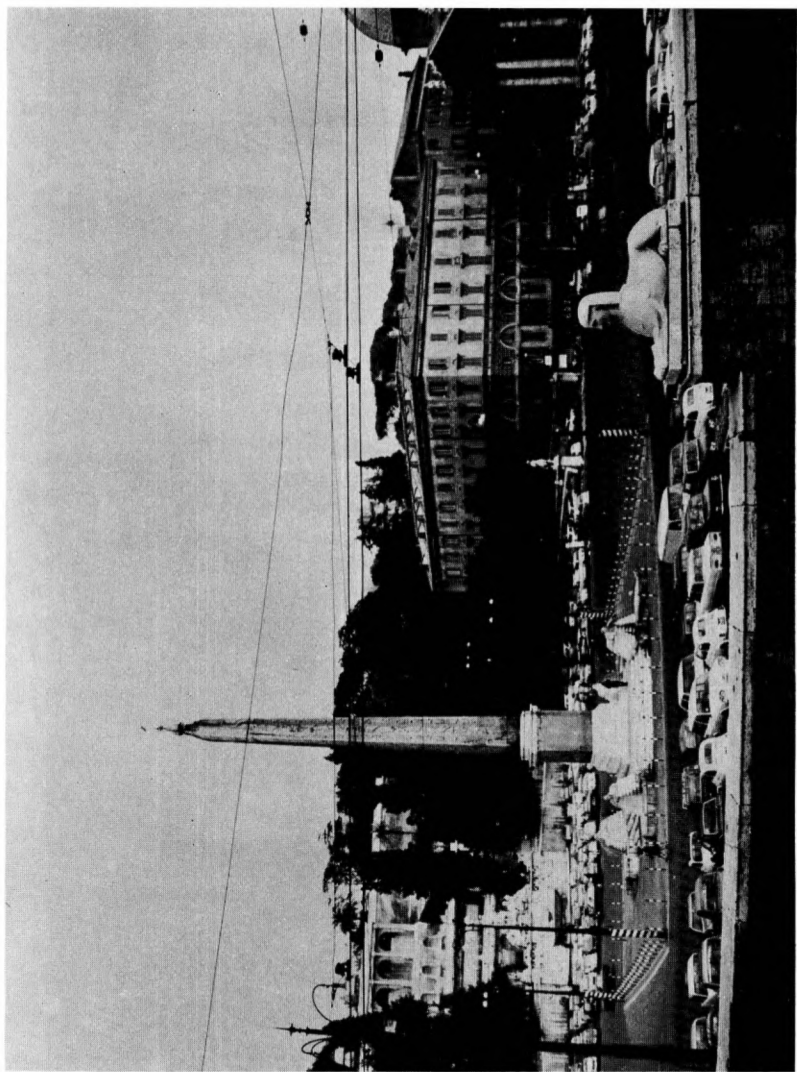
Такая «Кана душ», такая любовь озаряющая, преображающая воздух и деревья есть достояние святых. А мы? Вот — «две души мистически обрели друг друга» и «разрушили заклатье земного разделения» —

Свершилась двух недостижимых встреча
И дольный плен,
Твой плен, любовь — Одной Любви предтеча,
Преодолен!

(Кормчие Звезды)



Вячеслав Иванов. С фотографии 1913 г. Рим.



Piazza del Popolo с видом на дом, где жил В.И. в 1913 г.

Две души стали одной душою. Двуетидной душе этой надлежит преодолеть искушение и прельщение самодовлеющей насладительной уединенности. Вы счастливы?

Но к алтарям горящим отреченья
Зовет вас Дух.

В.И. покорствовал зову, пытался сделать из него практический вывод. Он поселился в Петербурге, превратил дом свой в центр соприкосновения новейших философских и литературных течений, сам стал главным двигателем русского «ренессанса», приобщал людей своей любимой Элладе, венчал молодых поэтов... не то, не то...

Обретшие, вселенского пожара
Вы семена.

(Кормчие Звезды)

Но, семена нового духа могут прорости лишь на почве нового «соборного» сознания. Эрос «всемирный» должен изгладить межи, разделяющие человеческие души друг от друга. «Единая душа бесчисленных дыханий» должна найти свое хоровое тело, стать «в плоть едину». Возможно ли это?

Мы, дети начала XX века, мы воспитавшиеся «на идеях Достоевского о круговой поруке всего живущего, как грешного единым грехом и страдающего единым страданием, на идеях Шопенгауэра о мировой солидарности, — на этих прозрениях в таинство всемирного распятия (по слову Гартмана) и в нравственный закон сострадания вселенского» — мы предчувствуем и предворяем эру «Одной Любви».

Нечто подобное переживало человечество когда-то в «дифирамбическом исступлении из индивидуальных граней», в дионисийских «очищениях», в приобщении к дионисовой «сверхличной Жертве»... «Новойшие искания встречаются с заветами глубокой древности».*

«Свершилась двух недостижимых встреча». Любовь может, должна быть «державшей». Пусть призовет «любовь державшая» чужую, недостижимую душу на сретенье с душою двуликой, двуетидной!

Чаровал я, волховал я,
Бога-Вакха зазывал я

(Эрос)*

Поэт настаивает на вызываниях:

Снова звал я, призывал я,
К богу-Вакху возывал я:
.....

«Я ль в дверях тебя не встречу
И на зов твой не отвечу
Дерзновеньем в ночь и хмель?

Год прошел; тогда, ранней осенью, кто-то на вызов явился:

Облик стройный у порога...
В сердце сладость и тревога...
Нет дыханья... Света нет...

Полу-отрок, полу-птица...
Под бровями туч зарница
Зыблет тусклый пересвет...

«Башню» усердно стал посещать молодой человек, писавший стихи. Он был высок и строен. Тело гибкое, подвижное, «отроческое». Большой с горбинкой нос, большой назад уходящий лоб и небольшой подбородок тоже с уклоном назад придавали лицу его нечто птичье; пышная, дыбком стоящая шевелюра и немного подпрыгивающий, взлетный шаг еще подтверждали впечатление длинноногой птицы. Молодому человеку было 22 года. Его звали Сергей Митрофанович Городецкий. В.И. принялся обучать его греческому языку, эллинской религии, стихосложению, показывал ритмическую роскошь родного языка. Лидия присутствовала на всех беседах, слушала блестящие речи Вячеслава о связи античных языковых форм с русскими и о переключках между эллинским мифом и русским фольклором. Ученик был восприимчив, сметлив и талантлив. Вячеслав был очарован этой «отроческой» душой, которую чувствовал, ощущал себе свыше порученной и которую решил пробудить к страсти и песни как его самого пробудила его Лидия, его Диотима.

Клялся и поручился небу я
За нерожденного тебя.

В.И. надеялся, что вот-вот пробудится, раскроется, вырастет эта юная душа и сможет войти в их с Лидией двуединство, чего они оба хотели.

И в темноогненном кратэре
Где жизни две — одна давно,

Бог-Растворитель, Эрот

Льет третий хмель, и зыблет лжицей
Со дна вскипающий сосуд.

И чудится В.И., что единение трех уже осуществляется:

Я башню безумную зижду
Высоко над мороком жизни,
Где трем нам представится вновь,
Что в древней светилось отчизне,
Где нами прославится трижды
В единственных гимнах любовь.

И «зодчий» призывает бога-Эрота сплавить

..... огнежалым перуном
Три жертвы в алтарь триедин.

И поэт устремляется к непробужденному своей требующей любовью,
чтобы вызвать его к жизни, всего, всего —

Покорствуй мне, кто дивно, властвуя,
Твой пленный расторгает сон.

Не испугается ли полу-отрок такого требованья? И влюбленный как
все влюбленные вдруг становится смущен и робок:

За тобой хожу и ворожу я,
От тебя таясь и убегая;
Неотвратно на тебя гляжу я, —
Опускаю взоры, настигая.

Но боится он спугнуть не столько юного ученика, сколько его песню:

Опускаю взоры, настигая:
Чтобы взгляд мой властно не встревожил,
Не нарушил звончатого гласа...

«Звончатый глас» предваряется «воскрылением». Воскрыление есть фениксово сгорание в духе. И певцу «зиждительной смерти» является Гермес: — «В подземную обитель мой вождь из стран живых». «Воздушные вскрыления» и «роковые схождения» — одно. Персть обручается с миром горним, «умным»... И несется песнь.

Стихи «Эроса» отнюдь не автобиографическая запись, но все-же в них сказалось и реальное переживание. В спокойной, благопорядоченной брачной жизни В.И. с его первую женою отношения до настоящей страсти вообще не доходили. В его стихийной, на «избирательном родстве» основанной страсти к Лидии, возжегшейся в горниле «беса-Диониса», оба любящих были нераздельно спаены, слиты в один «пламенник», то ярко факельный, то жертвенно-алтарный. А в этой новой встрече струйка влюбленности, искусственно питаемая водами поэтического воображения и теоретического умозрения, иссякла рань-

ше чем докатилась до моря любви. Влюбленность в юношу, вызванная желанием осуществить платоново «рождение в красоте», осталось «платоническим» в нашем смысле этого слова; была она мимолетной (два лунных «ущерба») и единственной в жизни В.И. *

Влюбленность тоскует по солнцу, но лучей его не выносит и под их ударом меркнет:

Таинственно осветлена,
На солнце зарится она
Пока слепительною встречей
Не обомрет — помрачена.

Только любовь истинная устремляется к солнцу; утро ее переходит в полный, озаренный день. Но любви настоящей там не было. Остается забыть.

..... . . . Забудь
Что зачалось, и быть могло,
И стать не могло.

Умерло! Похоронный звук преследует всюду, всюду.

Я тихо, тихо притворил
Ночную дверь,
Так падает на дно могил
Горсть праха... О, теперь
Я схоронил
Минувшее в груди своей,
На кладбище потерь.

И он зовет, кричит «на бездорожье», старается разбудить в «глухонемой душе» тот свет, ради которого его Мэнада звала его на жертву; но получается лишь «ропот».

Твоя душа глухонемая
В дремучие поникла сны,
Где бродят, заросли ломая,
Желаний темных табуны.
Принес я светоч неистомный
В мой звездный дом тебя манить,
В глуши пустынной, в пуще дремной
Смолистый сев похоронить.
Свечу, кричу на бездорожьи;
А вокруг немеет, зов глуша,

Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа.

Отклика нет. Призыв улетает в — Ничто. И мнится, что любовь осталась неразделенной —

Всех похорон печальной,
О, други, погребенье
Любви неразделенной

И опять он колдует, вызывает, заклинает... не так как прежде — иначе:

Ты гребнем алым прынул на берег мой,
Лизнул шатер мой, Пламень! Отхлынь, отхлынь...
Я звал, и ты возник. Покорствуй
Ныне вождю роковых становий!

И он жалуется своей Диотиме: «новой весной жизнь омрачилась моя». Желание осуществить «сплав трех» в духе и плоти не исполнилось. Все сорвалось окончательно и бесплодно.

Сорвалось окончательно, но не бесплодно: сердечное горенье, длившееся «от колыбели осенней луны до второго ущерба» вызвало у всех троих творческий подъем. Лидия Зиновьева-Аннибал написала повесть «Тридцать три уroda», * вызвавшую бурю толков и выдержавшую в первый же год ее появления три издания. Сергей Городецкий приготовил сборник стихов «Яр», * высоко оцененный за его ритмическое и мифотворческое богатство; читатели и критики стали возлагать на молодого поэта надежды, впоследствии неоправдавшиеся. В.И. в ту осень написал «книгу лирики 'Эрос'»; книга кончается умиротворенными строками:

Нищ и светел прохожу я и пою, —
Отдаю вам светлость щедрую мою.

* * *

Взгрустит кумиротворец-гений
Все глину мять да мрамор сечь, —
И в облик лучших воплощений
Возмнит свой замысел облечь,
И человека он возглаждет.

«Художник» называется стихотворение это из цикла «Эрос». Оно подымает мучительный вопрос почему «не возмгло стать» то что «быть могло».

Maestro di color che sanno, Микель-Анджело, всегда говорил, что он не выдумывает, не создает героев, а лишь будит и высвобождает тех, которые пленены косными глыбами:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto,
Ch'un marmo solo in sè non circonscriva
Col suo soverchio; e solo a quello arriva
La mano che ubbidisce all'intelletto. *

(Sonetto)

А человек — может ли он, смеет ли он становиться в микельанджеловском смысле художником по отношению к душе другого человека? И, если вызывание души к жизни и возможно, и дозволено, то такой маэвтикой не владеет ли лишь зрячая, да и не только зрячая, а ясновидящая любовь? «Люблю тебя... поручился небу я за нерожденного тебя». *Нерожденного* — значит *зарожденного*; при слепом, несвоевременном, насильственном воздействии можно убить младенца или вызвать вместо него на свет урода. *

Сорвалось! Потому что случилось лжепризнание. Зов был обращен к тому, кто вовсе не был способен стать «третьим хмелем» в «темноогненном кратэре». Не «могло стать» просто потому что и быть то было нечему. Ergo — надо признать ошибку и вновь приняться искать.

А Диотима настаивала: «Большее возлюби, и большего потребуй! Гори сердцем и должно совершиться чудо. Чего *так* хочет душа — сбывается!» *

И поэт трепетно в ужасе и радости знает, что Эрот

..... расточа горючий сноп колчана,
С другим снопом примчаться угрозил.

(Золотые Завесы) *

Лидия опять требует, чтобы их стало трое. Вячеслав опять призывает, вызывает. На вызов явилась женщина. Непохожей на предыдущую была эта новая встреча. Поэту снится:

Сплетясь кружим — из ярых солнц одно —
Я сам и та, чью жизнь с моей давно
Плавильщик душ в единый сплавил слиток.
И, мчась, лучим палящих сил избыток;
И притяженной было суждено
Звезде лететь в горнило страстных пыток.

Снится — вот основной тон этих отношений. Среди сонетов, в которых В.И. рассказывает историю этой новой игры «нагого и смуглого Эрота» нет ни одного, который не был бы описанием сна. «Притя-

женная» была существом особенным: тоненькая, легкая-легкая — она пленяла В.И. именно полусказочностью своей какой-то недоовоплощенности:

И силой девственных и тихих чар
Мне весть поет твой взор золотокарий
О тронах ангельских и новой твари.

На девственности этой замужней женщины поэт настаивает:

Таинственная светится рука
В девических твоих и вещих грезях.

Тибет, «твердыня тайн и пустынь чар индийских» был родиной ее далеких предков, в ее имени (поэт его называет в одном из сонетов) — Маргарита-Жемчужина — слышится ему шум морских глубин.

Нырни в пурпурный вир пучины южной,
Где в раковине дремлет день жемчужный;
Жемчужину схватить рукою смей, —
И пред тобой, светясь, как Амфитрита,
В морях горит — Сирена Маргарита.

Он именно этого и хотел: он пытался схватить и вынести ее на солнечный свет. Она именно этого от него и ждала, но — все их общения происходили в «легкой стране воздушных тел», не умели они отяжелеть и опуститься на землю.

..... в божественной метели
Так мы скитались, вверя дух волне
Бесплотных встреч.

Они впервые встретились в ноябре 1906 г. Известная артистка Вера Коммиссаржевская устроила в своей театральной студии чтение Ивановского «Тантала». Хоры трагедии произносились актерами в унисон. В.И. был в восторге, взволнован, глубоко тронут, блестящ. Среди многих приглашенных на чтении там присутствовали поэт Максимилян Волошин (Макс, как его все называли) и молодая жена его, художница, поэтесса Маргарита Васильевна, сестра мецената-издателя Михаила Сабашникова. Накануне этого вечера у Коммиссаржевской супруги Волошины поселились в доме, где жил В.И., этажом ниже его квартиры. Оба они задолго до личного знакомства были горячими поклонниками В.И., считали стихи его откровением, и так ими зачитывались, что большую часть их знали наизусть.

Волошины стали часто бывать на «башне». В.И. по своему обыкновению предложил Маргарите обучать ее греческому языку, и они

вместе по вечерам читали Евангелие от Иоанна. Увидя, что его талантливая ученица сочиняет стихи, он принялся давать ей уроки стихосложения, на которых неизменно присутствовали Макс и Лидия. Было оживленно и весело. Лидия и Вячеслав весьма скоро решили, что Маргарита, умная, духовно встревоженная, вполне способна быть *«третьей»*. Они стали усердно вводить ее в свою жизнь. Между женщинами установились простые, дружественные отношения: Маргарита написала портрет Лидии. Лидия посвятила Маргарите рассказ в своем *«Трагическом Зверинце»*. * А Вячеслав?

Сонеты — *«Золотые Завесы»* — столь же мало автобиографичны как стихи *«Эроса»* и столь же как они передают действительное переживание. Вполне биографической, подлинно реальной в них является лишь атмосфера мифа и сна. Та, к которой сонеты обращены, была существом мятежным, себя еще не нашедшим. Когда Маргарита кончила гимназию, родители ее потребовали, чтобы она поступила на естественный факультет; а для упражнения в живописи отдали ее в обучение к лучшим мастерам натуралистической школы. Но она, ученица Репина и Коровина, самостоятельно принялась добиваться в своих работах игры света, особых линейных и пространственных отношений. Отказавшись заниматься ненавистным естествознанием она стала бросаться от учения к учению в поисках такого, которое привело бы ее к интуиции потустороннего, но к интуиции не бессознательной. Попав однажды на доклад Рудольфа Штейнера — *«Ясновиденье как продолжение естествознания»*, она, наконец, пришла в восторг. Много позднее она решила, что *«духовная наука»* и есть то, чего она искала, и сделалась антропософкой. * Но в пору своего увлечения В.И., она еще во всем сомневалась.

В.И. страстно влюблялся в души людей, в глубине которых он слышал зов и плач *«платонова младенца»*. Так он влюбился и в ищущую, взбаломученную душу Маргариты, устремился он к ней со всей силой своей *«маэвтики»*, оказавшейся неотразимой. А на самого поэта общение с *«Притяженной»* действовало творчески возбуждительно: много чудных снов навиделся он наяву. Ему доносились из далей далеких то стоны Псалмодий, то весенние песни Лоренцо *«на тосканской лире»*. Ему чудилось, что *«среди нубийских рабынь»* стоит девушка, поднимающая *«навстречу Ра лилеи нильский цвет»*. Он видел *«музыкальские»* пляски... Стихи лились. Но не того хотел он. *«Притяженная»* мелькнула перед ним как тень...

..... ушла. И в сумерках моих, —
Прощальный дар, — томительно белая,
Благоухает бледная лилея.

Среди XVI сонетов, посвященных Маргарите, есть один живой и страстный, но обращен он — Ad Lydiam.

Что в имени твоём пьянит? Игра ль
Лидийских флейт разымчивых, и лики
Плясуний-дев? Веселий жадных клики —
Иль в неге возрыдавшая печаль?

Сонет кончается признанием:

А из окрестной горной тишины
Глядят созвездий беспристрастных очи,
Свидетели и судьи страстной ночи.
(Золотые Завесы)

Соединение в духе, которого они ждали, не получилось. Осталась лишь горечь утраты:

И не знал я: потерял, иль раздарил?
Словно клад свой в мире светлом растворил, —
Растворил свою жемчужину любви...
На меня посмейтесь, дальние мои.

(Cor Ardens)

«Дальние», разумеется, рады были посмеяться, посплетничать, позлословить. А друзья близкие, серьезные огорчились: «Вы были нашими учителями в любви, — что вы с нами сделали!» — вздыхала Поликсена Соловьева.

Растворил свою жемчужину любви...

Но они ведь и хотели растворить жемчужину, растворить, чтобы всем дать пить их счастье. А получился нелепый призрак соблазна. В сущности ничего не случилось, даже и измены никакой не произошло. Какая-то хранительная сила оберегала неприкосновенность чудесного двуединства от покушения на него со стороны — хотя бы их самих во имя высшей жертвы. Не то, не то. Никакой новой духовной общины таким путем не осуществить. Возможно ли вообще осуществление? А если возможно, то при каких условиях, как следует поступать, чтобы к «калтарям горящим отречения» снести «милые кольца» и, чтобы это не разрушило, а исполнило любовь «обретших», чтобы жертва была угодна, соответствовала бы «зову Духа»? Жизнь позднее по своему ответила на этот вопрос.

Зимой 1907 г. Л.Д. заболела воспалением легких и долго пролежала в лечебнице. Домой вернулась слабой, поправлялась медленно.

На все время ее отсутствия «среды» были отменены. Посещали Ивановых только самые близкие друзья: Макс и Маргарита Волошины, Сомов, Кузмин, Городецкий, Петр Струве. Порою приходил Блок показать Вячеславу свои новые стихи. Андрей Белый, приезжавший на день-два из Москвы, обычно останавливался на «башне». Появились и две новые гости: Мать Макса — *mon mère* — («мой мать»), как он ее называл, поселилась на некоторое время в Петербурге близ сына, в том-же доме, где жил В.И. Ходила она в шароварах (что в ту пору отнюдь не было принято) и в сапогах с голенищами, говорила громко, грубовато, низжайшим контральто; в образе том трудно было признать даму. Женщина она была замечательная: душа нежнейшая, наивность детская, великодушие умиленное, духовное горенье непреходящее — все черты, которые она полностью передала своему Максусу. Мать и сын были одинаково очарованы «Вячеславом» и слушали его как оракула.

Другую гостью, Анну Рудольфовну Минцлову, вернувшуюся в Россию после долгого пребывания на западе, привела на «башню» Маргарита; они встречались за границею в антропософических кругах, руководимых Рудольфом Штейнером *. Внешность Минцловой не была привлекательна: полное, плохо сложенное тело, неопределенные черты лица, слегка выпуклые, близорукие глаза — все было некрасиво. Но близорукость ее глаза, ничего не умевшие разглядеть в ближайшем окружении, жадно и упорно всматривались во что-то дальнее. Хороши были ее руки. В Минцловой не было никакого женского обаяния, но она волновала людей наличностью в ней какой-то спиритической, магической силы. Многие ее сторонились. Но В.И. с его игривым любопытством ко всему неизведанному, заинтересовался, распрашивал ее о новых течениях в области тайнознания, о представителях «духовной науки». Острой, с внутренней тревогою воспринимала Лидия сообщения Минцловой; она настаивала: «Вы должны научить меня всему, что можете открыть из Ваших знаний, всему, всему». И Минцлова делала это весьма охотно; она стала часто бывать у Ивановых. Вскоре она горячо, быть может, слишком горячо увлеклась «Вячеславом».

В.И. и Л.Д. решили, что пора переселить всю семью в Петербург. На страстной неделе 1907 г., ликвидировав швейцарскую виллу, в квартиру против Таврического сада, приехала Замятнина с двумя младшими детьми (с «маленькой Лидией» и с Костей). Вера осталась с друзьями в Шатлене, где она сдавала последние экзамены для получения «башо». * Сережа учился в Англии.

Весною, еще до приезда детей, когда Лидия выздоровела, «среды» на некоторое время возобновились.

* * *

Я не знаю, где он рухнет, льдами вскормленный поток.
Рок ли стройно движут струны? Или лирник — темный Рок?
Знаю только: эти руны я пою не одинок.

(Нежная Тайна)

В.И. задолго до написания этих строк знал, и знал не только предчувственно, что он не одинок. Больше того: он знал с кем он «одного духа». Летом 1912 г. Александр Блок направил В.И. послание в стихах; Блок вспоминает 1905 г., когда

..... нам судьбы диктовала
Восстанья страшная душа.
Когда в спящей вьюге,
Не ведаю, в какой стране,
Не ведаю, в котором круге,
Твой странный лик явился мне...
И я, дичившийся доселе
Очей пронзительных твоих,
Взглянул... И наши души спели
В те дни один и тот же стих.

И как-бы комментарием к последним словам — «и наши души спели в те дни один и тот же стих» — звучит доклад, прочитанный Блоком в «Петербургском Обществе Ревнителей Художественного Слова» в 1910 г.* — «Мы находимся как бы в безмерном океане жизни и искусства, уже вдали от берега, где мы взошли на палубу корабля; мы еще не различаем другого берега, к которому влечет нас наша мечта, наша творческая воля; в этот час великого полудня яснее узнаем мы друг друга; обмениваемся взаимно пожатием холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины».

Третьим в их союзе был Андрей Белый. Роднило этих трех, столь непохожих друг на друга людей, их общее духовное отечество: — Владимир Соловьев с его учением о Софии и о теургическом искусстве. На стихи Блока В.И. сразу ответил стихами:

Пусть вновь — не друг, о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.
Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены:
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены.

(Нежная Тайна)

Но для Белого и Блока София являлась «Зарей», «Прекрасною Дамой», которую они встретили «в час утра», к которой устремлялись «тоскуя и любя». В.И. узнал в ней «нетварную Премудрость», сказавшую о себе: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони... Когда Он уготовлял небеса, я была там... когда полагал основание земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Притчи Сол. 8, 22; 27-31). Божественная игра Софии с человеком заключается в том, что она показывает людям Божий замысел, идею вещей и предлагает им осуществлять бытие в бывании, в становлении. «Там, где Логос касается материи, там и София», говорил В.И.

Трем ученикам Соловьева искусство представлялось посвятительным знанием; они чаяли его преображающее воздействие на мир. В стихах, озаглавленных «Творчество», В.И. требует от человека:

Дай кровь Небытию, дай голос Немоте,
В безликий Хаос ввергни краски,
Дерзай, Промефиад: тебе свершить дано
Обетование Природы!
Творящей Матери наследник, воззови
Преображение Вселенной,
И на лице земном напечатлей в любви
Свой Идеал богоявленный!

(Кормчие Звезды)

«Брать и давать — в обмене этих двух энергий состоит жизнь. В духовной жизни и деятельности им соответствует — восхождение и нисхождение.» Восхождение — рост, обусловленный питанием, укрепление, требующее некоего поглощения чужих энергий: оно стоит под знаком «брат». Восхождение нормально; оно есть общий закон духовной жизни. Нисхождение, наоборот, не следует духовной норме, а ищет или разрушить ее и стать хаотическим, или сотворить ее вне личности и стать нормативным. Восхождение есть накопление сил, а нисхождение — их излучение и потому жертва, жертва милостивая, предполагающая предварительное богатство.

Но и восхождение антиномически несет в себе момент жертвы. Подвиг восхождения в том, что для высшего приходится разлучаться с милым и родным. Это — «подвиг отрешения от своего и от себя ради дотоле чуждого и ради себя иного. Во всяком восхождении — 'incipit Tragoedia'. Трагедия же знаменует внешнюю гибель и внутреннее торжество человеческого самоутверждения». * Как начало существенно

трагическое, восхождение, одушевленное волей и алчностью невозможного, по преимуществу героично и человечно.

Если человеку естественно восходить, то нисхождение есть по природе своей акт божественный: оно сказывается в разных религиях как свободное откровение самого божества. Но для мистиков Индии реальность божественных воплощений в мире не превышает реальности самого мира, не преодолевает его иллюзорности. В эллинском понятии Диониса, бог, нисходящий с неба, отдается миру, и мир его растерзывает и поглощает. Дионис рождается вновь, но тела, в которые облачается страдающий бог на время своих повторных земных появлений, являются лишь преходящими жилищами, своего рода проводниками божественной энергии; тела, передав ее миру, сами в миру растворяются. «Палингенезис», обещанный орфиками, их возрождение мертвых — вовсе не воскресение в нашем смысле. Тело не спасается; оно служит лишь временным вместилищем души: маска есть ритуальная идея дионисийства, как метаморфоза есть его мифологическое выражение. Одно лишь христианство славит *нисхождение* Сына Божия и его *ἐξάντησις* (exinanitio) не как акт повторный, недостаточный, а как свершение единственное и окончательное. «Совершилось», произнесенное приносящим Себя в жертву Богочеловеком, возводит людей в сан сынов Божиих и спасает всю Землю от рабства смерти.

Такое действие Божественной Любви предполагает тварь, готовую принять своего Спасителя («се раба Господня»). Явление Жениха Небесного предполагает Суженую, которая Его ждет — («Имяющий Невесту — Жених»).

..... зов подземной Ночи:
«Все венки сложив, усни...»
Помирила Небо с долом
Благодатная глаголом:
Ессе Ancilla Domini.

(Свет Вечерний)

Стихи эти, написанные в 1944 г., вторят «Хорам Мистерий» из «Прозрачности».

А человек? Привел Господь Бог к человеку всех животных полевых и всех птиц небесных, «чтобы видеть как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нареч человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Бытие, 2, 19-20). После такого возвеличения человек изменюю своею и неверием погубил вместе с собою невинную природу. Но орудие поразившее может и исцелить. Природа ожидает спасения через человека. Это знал ап. Павел: «Тварь с надеждою ожидает откровения

сынов Божиих» (Рим. 8, 19). Разумеется: изречение апостола мистика относится к последней духовной победе, к человеку воскресшему и облеченному в нетленное тело, к нисхождению торжествующего Града Божия на преображенную землю. «И показал мне великий Город, святой Иерусалим, который нисходил с неба» (Апок. 21, 10). И все-же эсхатологический идеал одноприроден закону нормальной духовной жизни. Дар, приобретенный при духовном восхождении a *realibus ad realia* должен быть использован для одухотворения мира посредством нисхождения a *realioribus ad realia*. Человек должен стремиться, чтобы деятельность его стала теургической. Он — наследник природы — был ее убийцею в прошлом; ему надлежит стать ее воскресителем в будущем.

Человеку свойственно восходить, ибо нисхождение должно начинаться на больших высотах духа; иначе не будет оно нисхождением благодным, но пагубным падением, опусканием в болотную затягивающую муть. Трудно человеку нисходить. И все-же цельность жизни требует и восхождения и нисхождения: «Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие, 28, 12). Лишь святость является чистой формой человеческого нисхождения. Человеку доступнее осуществлять его в форме творчества. «Творчество есть отдача силы, излучение энергии, ответственность и как бы некий грех воплощения, но в то же время некая искупительная жертва сладостная и страстная». Обогащенный в своем восхождении духовным опытом высших реальностей, человек, нисходя как художник, знает сокрытые для простого глаза, сокровенные черты и органы низшей действительности, какими она связывается с иной действительностью, точки касания ее «мирам иным».

Но «возвышающее», творческое прикосновение не должно быть насильственным. Надо помнить, что природа жива. Недопустимо налагать на нее извне какую бы то ни было форму высшего закона, если таковая не присуща ей искони либо как потенция, стремящаяся к проявлению, либо как полярность, ищущая противоположной, восполняющей ее силы. Художник торжествует, если убедил нас, что мрамор хотел его реза; он естественно живет в единомыслии с веществом, над которым работает; он доверяет ему так, что не колеблется сказать ему самые сокровенные и далекие свои думы; он убежден, что вещество всегда поймет его и на все любовно ответит.

«Но если, спрашивает В.И., искусство есть одна из форм действия высших реальностей на низшие, должно ли признать, что оно в своем правом осуществлении уже теургично, ибо преображает мир?» Блок и Белый отвечают определенным — «да». Для них истинный художник и поэт — «уже изначала теург, т.е. обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие.» В.И. отвечает осторожнее. Действен-

ность искусства, даже и благая, еще не есть «теургия»: «слишком торжественно и свято то, что достойно могло бы назваться этим именем.» И он поясняет: «С древних времен и по сей день грудь Музы волнуема темными воспоминаниями и предчувствиями, о которых она шепчет своим наперсникам непонятные неземные и порой соблазнительные для их человеческого слуха слова. Она напоминает им, что когда-то в золотом веке искусств, звучали лиры, которым повиновались деревья и звери, волны и скалы, а изваяния искусных рук жили и не старелись. Микель-Анджело грезит, что его создания действительно оживлены и только притворяются камнями. В искусстве заложена святыня теургического томления. Желание перейти за грань, где начинается чудо, тревожит и томит художника. И В.И. вспоминает как описывал Владимир Соловьев «заповедный предел искусства».

Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте, —
У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион.
Нужна ей новая победа...

Чтобы переступить чрез заповедный «порог», нам нужна «новая победа». И В.И. настаивает: «Тайнодействие символа не есть тайнодействие жизни». * Что такое символ?

* * *

В истории литературы Вячеслав Иванов известен как основатель и вождь русского «религиозного символизма». Вместе с Александром Блоком и с Андреем Белым В.И. образовал триумvirат, противопоставивший свой новый «реалистический» символизм * «декоративному» * символизму, возглавляемому Брюсовым и Бальмонтом.

Религиозно-реалистическому триумvirату (как ранее «декадентам» — символистам) трудно было пробираться сквозь густую массу благожелательного и неблагожелательного непонимания. «Никто не умел нас ни расслышать, ни разгадать», жаловался Блок. Но победа была одержана ими.

«Во все эпохи искусства, — пишет В.И., — два тяготения, глубоко заложенные в самой природе его, направляли его пути и определяли его развитие. Два равнодействующих и соревнующихся принципа худо-

жественной деятельности суть: с одной стороны принцип *ознаменовательный*, принцип обретения и преображения вещи, с другой — принцип *преобразовательный*, принцип изменения и изобретения вещи. Там — утверждение, обнаружение вещи, имеющей бытие; здесь — утверждение вещи, которая произвольно признается достойной бытия. Там — устремление к объективной правде, здесь — к субъективному вымыслу». * Немногими чертами метко и уверено В.И. рисует яркие и точные духовные портреты отдельных исторических эпох и значительных представителей разных отраслей искусства, наглядно показывая, как два основных принципа проявлялись и оспаривали друг друга на протяжении веков. Переходя к эпохе, ему современной, В.И. останавливается на стихотворении Бодлэра «Correspondances», которое было признано «основоположительным учением и как бы исповеданием веры новой поэтической школы», и обнаруживает в нем наличие обоих принципов: Бодлер начинает сонет с уподобления Природы храму:

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laisent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles,
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les couleurs, les parfums et les sons se répètent.

Символы здесь — отнюдь не человеческая выдумка, не условность. Они разоблачают реальную тайну природы, всецело живой и всецело основанной на сокровенных соответствиях, родствах и созвучиях того, что нашему мертвящему неведению мнится раздельным и несогласным. Здесь — мистическое исследование скрытой правды о вещах, открытие о вещах более вещных, чем сами вещи (*res*)

Но Бодлэр в терцинах изменяет себе:

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Здесь поэт уже не пытается проникнуть в сокровенную жизнь естества, а ограничивается тем, что заставляет нас ощущать в воспоминании ряд благоуханий и сочетать их навязчивыми ассоциациями с рядом зрительных или звуковых восприятий, чем мы достигаем обогащения нашего воспринимающего я. Мы стали утонченными, мы сделали пси-

хологический эксперимент, но понятие такого эксперимента есть уже понятие искусственного переживания. Тайна самой *Res* почти забыта. Это предпочтение искусственного естественному возникло в новом искусстве из преданий Парнасса; декаденство довело заветы Парнасса до последней, крайней черты: оно есть только мнимый бунт против каноники идеалистического псевдо-классического искусства.

Где же критерий различия обеих стихий? Он дан в самом понятии символа. Символ есть знак или означенное. То, что он означает или знаменует, не есть какая-нибудь определенная идея. Иначе символ — просто иероглиф, и сочетание нескольких символов — образное иносказание, шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помощи найденного ключа. В разных сферах сознания один и тот же символ приобретает разное значение. Подобно солнечному лучу, символ пронзывает все планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, исполняет в каждой сфере иное назначение. В каждой точке пересечения символа как луча нисходящего со сферой сознания, он является знаменем, смысл которого образно и полно раскрывается в соответствующем мифе. Так змея имеет означенное отношение одновременно к земле и воплощению, полу и смерти, зрению и познанию, соблазну и освящению. Она в одном мифе представляет одну, в другом другую сущность. Но то, что связывает всю символику змеи, есть великий космогонический миф, в котором каждый аспект змеи-символа находит свое место в иерархии планов божественного всеединства.

Миф есть объективная правда о сущем, есть орудие имажинативного познания сверхчувственных сущностей. Истинный миф не вымысел вовсе и отнюдь не аллегория, а ипостась некоторой сущности или энергии. В те далекие времена, когда мифы творились воистину, они отвечали вопросам испытующего разума тем, что знаменовали *realia in rebus*. Не все мифы коллективны; есть и такие, что переходят от вещего певца в народ. Раскрывая в вещах окружающей действительности символы, т.е. знаменья другой действительности, искусство представляет ее знаменательной.

Реалистический символизм предполагает в поэте ясновиденье вещей и постулирует такое-же ясновиденье в слушателе. Здесь символ есть начало, связующее раздельные сознания, причем их соборное единение достигается общим мистическим лицезрением единой для всех, объективной сущности.

Снятся ль знаменья поэту? Или знаменье — поэт?

Знаю только: новой свету, кроме вещей, песни нет.

(Нежная Тайна)

Идеалистический символизм обращается к впечатлительности. Символы для него суть поэтическое средство взаимного заражения людей одним субъективным переживанием. Пафос его — иллюзионизм. Иллюзионизм насильственен: он налагает свою волю на поверхность вещей.

Но, если художник хочет стать сознательным приемником творческих усилий Мировой Души, «ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим., 8, 19), если он принимает завет:

Творящей Матери наследник, воззови
Преображение вселенной

то он будет художником-теургом, а не художником-тираном, он будет стремиться поступать как Тот, о Ком сказано, что Он «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Исаия, 42, 3). Он утончит слух и будет слышать, что говорят вещи, изодрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений; он устремится прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей. Только такая открытость духа сделает художника носителем божественного откровения. *

Но когда В.И. немногими смелыми ударами своего точного пера зарисовывает духовные портреты представителей «ознаменательного», «реалистического в высшем смысле» символизма (среди них: Фидий, Эсхил, Данте, Чимабуэ, Рафаэль, Микель-Анджело, Кальдерон, Шекспир, Гете, Диккенс, Достоевский и т. д. и т. д.) — он уже выходит из рамок символизма как литературного направления и переходит к общим вопросам психологии творчества, к определению и описанию «Эстетических начал», к установлению «Границ искусства».

Большой мыслитель или художник не умеются в рамках какой-то «школы». Осознав с предельной ясностью характер символизма, В.И. его тем самым преодолевает. В январе 1914 г. в Петербурге на публичном «Диспуте о современной литературе» вождь русского реалистического символизма произносит речь, в которой открыто утверждает такое преодоление:

«... Итак Данте — символист. Что же это значит в смысле самоопределения русской символической школы? Это значит, что мы упраздняем себя как школу. Упраздняем не потому, чтобы от чего либо отрекались и думали ступить на новый путь: напротив, мы остаемся вполне верными себе и раз начатой деятельности. Но секты мы не хотим; исповедание же наше — соборно. В самом деле, прямой символист заботится, конечно, не о судьбе того, что обычно называют школою или направлением, определяя это понятие хронологическими границами и именами деятелей, — он заботится о том, чтобы твердо установить некий общий принцип. Принцип этот — символизм всякого истинного иску-

ства, — хотя бы со временем оказалось, что именно мы, его утвердившие, были вместе с тем наименее достойными его выразителями.» *

Через тридцать лет после своих первых статей о символизме В.И. произносит ему приговор: в самом зародыше современного символизма различаются два начала — с одной стороны, усталость поздних потомков, царственных эпигонов и александрийская красота увяданья, роскошная прелесть последнего цветения, с другой стороны — радостное предчувствие нового откровения о внутренней жизни мира и смысла ее. Оба эти потока влились в жилы символизма, сделали явление его гибридным, двуликим. «По причине этого первородного греха школа, которая гордилась своим почетным, ныне пустым званием символизма, несомненно всюду умерла. Но в ней жила и бессмертная душа, и т.к. большие проблемы, ею поставленные, не нашли в ее пределах своего должного разрешения, надо ждать, что в будущем, далеко или недалеко, появятся иные формы и более совершенные выражения 'вечного символизма'.» *

* * *

Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero,
Chè'l velo è ora ben tanto sottile,
Certo, che'l trapassar dentro è leggero
(Purg. 8)

Эта терцина Данте могла бы стать эпитафией к творчеству тех поэтов, которым поэзия представляется верным путем для непосредственного, непреложного, недренного проникновения в область самой Истины, в «Разум Истины». В.И. из их числа.

Он стремится всесторонне испытать сущность, подлинную реальность, разум, идею самой Res. Она (Res) сперва становится событием его внутреннего опыта, событием как-бы неуловимым, несказуемым, непередаваемым. Затем он схватывает ее (Res) интуитивно, осиливает посредством поэтической метопеи. Подлинный стих для него есть отзвук первоначального заклинания или отголоска древнего мифа. А миф для него всегда — первичная форма «имагинативного постижения сверхчувственных сущностей.» Наконец, согласно обычаю всех поэтов платонической природы, которые показывают невидимый мир сквозь прозрачное, тонкое покрывало (*velo sottile*), он начинает осознавать акты, кристаллизовавшиеся в образах и ритмах, и продолжает, теперь уже диалектически развивать и метафизически построить ту самую Res, которая ему ранее открылась. Поэтому: стихи его всегда — непосредственные свидетели его духовных постижений; его философские статьи

и научные исследования всегда — теоретическая транскрипция его стихов, их интерпретация, всесторонний к ним комментарий.

Благодаря врожденному принципу внутренней конструктивности, независимо от случайных поводов для лирического прославления той или иной вещи, при полном отсутствии заботы о логической связи отдельных песен между собою — весь многообразный рой его поэм и гимнов, его сонетов и канцон, его эпических легенд, его капризных «стихотворений на случай», трагедий его, написанных античными метрами, произвольно и непреложно располагается архитектурно-человечески, и его узрения сами собою слагаются в единую стройную систему.

* * *

«Открыта в песнях жизнь моя», признается В.И. Но «открывать жизнь в песнях» вовсе не значит писать автобиографию в стихах. В.И. — лирический поэт; лирический поэт сам себе не дан, а задан как миф. А подлинный миф всегда знаменует *realia in rebus*. Лирика, будто бы случайная, совершенно интимная, всегда есть объективное свидетельство о *Res*. Лирический поэт как будто капризно утверждает единственность каждого своего поступка и чувства, и в то же время тайно своей поэзией «в едином и через единственное открывает всеобщее и вселенское». Он воспевая, выявляя, обращает в миф свою личность и тем самым постигает и знаменует метафизическое бытие. В песни исповедь есть исповеданье.

Встреча Вячеслава и Лидии стояла под знаком Диониса, а Дионис (это и поразило в нем В.И.) есть начало, где жизнь и смерть — одно.

Всегда и всегда по разному пересказывает он дионисийский миф. Поет ли он весну или любовь, Персефону или Орфея, он неизменно славит единство страдания и ликования, умирания и возрождения. Умирать и восставать, входить в царство теней и вновь воплощаться — не является ли этот процесс при его периодических повторениях «дурной бесконечностью», вечным кружением, лишенным смысла? «Вечный возврат» — Ницше был жертвою этой идеи. Но для В.И. в его живом опыте не было никакой возможности возврата: ведь истинная любовь — «чудо, которое упраздняет старое и новое и все в каждое мгновение творит извечным и первоявленным вместе». *

На признание одного из ближайших своих учеников, что он «еще никогда не любил», В.И. горячо возразил: «Еще... Как будто это со всяким может случиться, как будто чувство любви — не величайшая редкость. 'Я еще никогда не любил', вы могли бы сказать, и это равнозначно: 'я еще никогда не был королем'...» *

Любовь человеческая есть работа непрестанного восхождения; кто перестает восходить — падает, и удар падения убивает любовь. Нисходить естественно лишь божественной любви. Человеку же нисхождение в любви дается как редчайший дивный теургический дар после трудного и радостного восхождения на большие высоты; но тогда любовь преобразует, и возврата ей нет.

В песнях, обращенных к Лидии, В.И. рассказал историю пережитой любви, их «совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, которая для обоих была порою почти непрерывного вдохновения и напряженного духовного горения». *

Делая на пороге новой жизни «жестоко и ответственно» свой первый решительный шаг, принимая учение о тождестве жреца и жертвы, В.И. видел высшую цель осуществленной, счастливейшей любви в искупительной самоотдаче: —

Мы — два грозой зажженные ствола...

Мы — две руки единого креста.

Истинная любовь — таинственная жертва. Истинный брак — соумиранье в духе:

Коль из двух душ исторгся смертной муки
Единый крик,

тогда, и только тогда любящие мистически обрели друг друга, и союз их стал вечным.

О, Кана душ! О, в гробе разлученья
Слиянье двух...

(Кормчие Звезды)

Это В.И. писал в самое счастливое время своей жизни, когда он и Лидия были неразлучно вместе.

* * *

Лето 1907 г. В.И. и Л.Д. проводили в глуши Загорья, дальнего поместья Могилевской губернии. Им хотелось тишины и уединения после петербургских вихрей. И они с радостью приняли приглашение родственников Марьи Михайловны поселиться в их новом доме, который сами хозяева собирались впервые занять зимой, и которого Ивановы должны были стать первыми обитателями.

Поздним июньским вечером, высадившись на какой-то железнодорожной станции, (ближайшей от имения, но весьма далекой от него)

В.И. и Лидия на лошадях без кочца ехали по ухабистой, узкой, неудобной, но благоухающей, милой проселочной дороге, мимо темных деревьев-великанов, и — им было одним в коляске укрыто и весело, по детски весело, как давно уже не было. Когда бубенцы замерли у только что отстроенного помещичьего дома, Лидия первая выпрыгнула из экипажа и поспешно вошла в их будущее жилище. Просторная комната, почти пустая, приятный запах свежего дерева; она остановилась. Вдруг упала на диван и заплакала навзрыд беспомощно, безудержно... Вошедший за нею Вячеслав был поражен: никогда он ее такой не видел: — «Тебе здесь не нравится? Уедем сейчас-же, я велю не отпрягать лошадей». Но она ему уже улыбалась сквозь слезы. — «Нет, нет, тут хорошо; я не знаю чего это я вдруг испугалась».

А хорошо там действительно было: бесконечные густые леса, хмурые ели, серебряные осины, матовая белизна березовых рощ и яркий изумруд полян. А перед самым домом — большой пруд. Тихий и прозрачный, заросший по берегам тиной и белыми кувшинчиками он, отражая густо обступавшие его деревья, сам казался, несмотря на чистые воды свои, таинственно мрачным, темно коричневым.

Здесь дышится легко, и чается спокойно,
И ясно грезится; и все, что в быстрине
Мятущейся мечты нестрого и нестройно,
Трезвится, умирясь в душевной глубине.

(Повечерье) *

Они жили молодо, весело. Катались на лодке, ходили по ягоды и грибы, собирали синие васильки в золотом, ржаном поле. «Детские венки» вязала из них Лидия. «Как Церера», — улыбался на нее Вячеслав. Текли счастливые дни,

Дни, когда в душе проснулось
Все, в чем сердце обманулось,
Что вернулось сердцу вновь...
Все, в чем сердце обманулось,
Небо, нива и любовь.

В Загорье на каникулы приехали дети с Марьей Михайловной. Блестяще окончив женевский лицей, к ним вскоре присоединилась Вера. Поместились все они в отдельном флигеле неподалеку от большого, старого дома, где жили хозяева. Прошло два месяца. Лето уходило. Из старого дома и из флигеля все уехали в Петербург. Вера осталась в Загорье, перебралась в новый дом к матери. Становилось холодно и сыро. Но Лидия любила эту пору года, деревенскую русскую осень, «в багрец и золото одетые леса», осень неторопливую, как она

говорила. Вячеславу тоже не хотелось возвращаться на мятежную «башню», хоть и гнала его настойчиво из Загорья его старая римская малярия, вспыхнувшая с новой силой в сырой деревне, и настойчиво звали в Петербург литературные дела. Отъезд все откладывался. Вячеслав и Лидия были счастливы и неблагоприятны. Жили они уединенно. Только паломники и паломницы по пути к святым местам заходили к ним в усадьбу. Л.Д. принимала их ласково и подробно спрашивала о странствиях. Особенно полюбилась ей странница Катя, которая все звала ее на богомолье в Киев. Лидия подумывала не отправиться ли ей и в самом деле с Катей пешком в Лавру. Однажды — это навек запечатлелось в памяти Вячеслава — стоит Лидия на поляне и вожделенно, отрешенно всматривается в уходящую дорогу, золотую под покровом упавшей листвы: — «А не пойти ли нам с тобою, Вячеслав, вот по этой дороге простыми паломниками в дальний скит, а оттуда дальше, все дальше, в другие...» — «Пойдем, милая». Она спохватилась: — «Нет, нет, тебе нельзя, это мне можно...» Наступил октябрь. Прошли первые десять дней.

Обнищало листья золотое,
Просквозило в сенях осенних
Ясной синью тихое небо.

Наконец они решили уехать. Но вдруг заболела Лидия. Оказалась скарлатина тяжелой формы. В соседней деревушке давно уже бушевала болезнь. Л.Д., верная своей страсти к лошадям, часто объезжала верхом окрестные селенья. Когда в знакомой ей деревне вспыхнула эпидемия, она стала там бывать постоянно, помогая матерям и уча их ухаживать за больными детьми. Она не думала о том, что в детстве у нее не было скарлатины.

Накануне ее заболевания В.И. начал писать сонет, полный мрачного предчувствия:

Моя любовь — осенний небосвод
Над радостью отпразднованной пира

Сонет не дописался, оборвался перед терцинами...*

В.И. был неотлучно при Лидии. Все вспоминались ему слова из ее неоконченного романа — «Пламенники»: Давно, уже в «Кормчих Звездах» он слова те к стихотворению «Имени Твоему» взял эпиграфом: «... безумие прекрасное жизни: вот, Господь мой и Бог мой, душа моя, — пламенник, огнем снедаемая во славу Твою!» Лидия сгорела на седьмой день — 17-ого октября. Он знал, что она уходит. Сердце дышало желанием —

В ней догорай...
С ней умирай, —
Рай...
(Кормчие Звезды)

Пришел священник с дарами. Умиравшую соборовали. В.И. увидел как выступила алая капля причастного вина на ее помертвевшие губы. Он обнял жену, в последний раз поцеловал милый рот и выпил священную каплю.

Затем, что тех, кто на одной постели
Причастия хотели
Креста и Розы алой, — тайно двух
Венчали три: Вода, Огонь и Дух.
(Любовь и Смерть)

Перед самым концом Лидия пришла в себя и в полном сознании, внятно сказала: «Светом светлым повеяло; родился Христос». С этим она ушла...

Понаехало множество друзей и родственников. Что-то убрали, дезинфицировали, жгли. Пылали костры. В.И. казался совершенно спокойным. Он давал другим делать все, что полагалось и сам исполнял все, что от него требовали. Наконец волна гостей отхлынула. А через месяц, когда «саваном белым одели землю снега», В.И. и Вера по первопутку повезли тело Лидии в Петербург, чтобы похоронить в Александро-Невской Лавре.

И мы с оплаканным, сгорелым телом
Пустились в путь зимой.
(Любовь и Смерть)

* * *

«Боль смертная той смерти все жива», — пишет В.И. другу через много лет после смерти Лидии. И боль эта жила до самой его смерти. Он хотел и надеялся умереть с Лидией, и вот он не умер, даже не заболел физически.

Однажды, тому в 1907 г. уж минуло двенадцать лет, во Флоренции, где они остались одни после отъезда Дарьи Михайловны в Москву, стояли Вячеслав и Лидия у открытого окна их гостиничной комнаты. На душе было радостно невероятно — «полнота, какой названья нет». А внизу под ними проходила похоронная процессия, подчеркнута мрачная как то полагалось в прекрасной Тоскане. Именно там, где так

царственно властвует гений человека и природы, люди мучительно наслаждаются обнажая издевательскую гримасу смерти, торжество ее над сиянием ликующего солнца и блеском художественного мастерства: sic transit gloria mundi. Среди узкой мостовой медленно двигались люди, ряд за рядом в черных, точно маскарадных домино с острыми капюшонами, не люди, а черные, неаккуратной формы большие конусы с двумя дырами для глаз; черные фонари; черные покрывала на черном катафалке, и всюду серебром вышитые черепа и перекрещивающиеся скелетные кости; из черных безротых фантомов исходили звуки: монотонные погребальные песни.

Вячеслав и Лидия стояли, смотрели, «не разнимая рук» и — не понимали что там внизу происходит. Смерть... Они ее дерзко вызывали: «Ну, приходи, бери! Что ты можешь взять? Что ты способна уничтожить, раз не можешь разделить! Они чувствовали себя неразрывно слитыми воедино:

Два ока мы единственного взора
Одной судьбы двужалая стрела.

(Кормчие Звезды)

Быть вместе значит быть воистину. Это «вместе» они ощущали как реальность реальнейшую его и ее раздельных существований, как нечто нерушимое, принадлежащее сфере *ὄντος ὄν* и не подлежащее тлению.

Если сон, по причине своей способности ослаблять и переставлять связи нашего привычного трехмерного мира издревле считался подобием смерти, то потрясение всех обычных установок нашего сознания, исступление из граней единичного я, коренное нарушение всех внешних связей является еще более близким и полным подобием смерти чем сон. В.И. и Л.Д. знали эти состояния упоения, ужаса, эти «восторги огневые», восхищения блаженством несказанным, где «безумит постижение», гаснет рассудок, а сердце сладостно и больно замирает, срывается, летит... Миг, — и вновь в душу хлынет жизнь «ярче, глубже, избыточнее, проникновеннее» чем раньше. Долго считали они такие состояния «демоническими», пока не убедились в их «духовной прибыльности» и божественной природе.

Одним огнем дышали мы, сгорая

И возгораясь вновь:

И быть двоим, как мы, одной вселенной,

Воскреснуть вместе, вместе умирая,

Мы нарекли: любовь.

Ее в земном познали мы нетленной...

(Любовь и Смерть) *

Если смерть есть смерть жидительная, обогащение, перерождение личности, рождение ее от воды, огня и духа, то — приходи, приходи!

И вот она пришла: Лидию одну взяла, увела; его оставила: «облик пленный», сирий, «на земле печальной». Зачем? В первое время после ухода жены Вячеслав земное существование свое ощущал не только тяжелым пленом, но и неожиданным оскорблением. Он был не только поражен, но и смущен, сконфужен. Почему ему не дано было умереть вместе с нею? Оказался недостоин. Ведь ему это было обещано, ведь не даром же ее голос ему

..... в пенье погребальном
Звучал псалмом венчальным.
(Любовь и Смерть)

Свою обиду на смерть В.И. рассказал в девяти сонетах поэмы, носящей заглавие — «Спор». *

«Познай меня, — так пела Смерть, — Я — страсть.
В восторгах ласк, чья сладостная власть
Ко мне твое томленье обращала?
И мука нег, пророча, возвещала,
Что умереть — блаженнейшая часть».

— «Да умереть, — возмущается он, — но умереть вместе.» В душе его подымается смута и «с гневом смерти он запрекословил»:

«Злорадный страж, завистник-соглядатай!»
— Воскликнул я — «о Смерть, скупой евнух!
Ты видела сладчайший трепет двух
И слышала, что в нас кричал глашатай

«Последних правд — восторг души, объятай
Огнем любви! Когда б, таясь, как дух,
Не тать была, а добрый ты пастух, —
Твоих овец ты б увела, вожатый,

«Не разлучив, в желанные врата!
И на одной застыли б мы постели,
Она и я, к устам прижав уста;

«И на костре б одном сердца сгорели;
И две руки единого креста
В борении одном закалились».

А Смерть ему отвечает:

..... «Гляди: мой свет — палит.
Я — пламенник любви. Твоя Психея
Вперед, святой купели вожделя,
Порхнула в мой огонь.»

И таинственно обещает:

«Живых мне не дано расторгнуть уз.
Что жить должно, смеется над забвеньем.
В день третий я — вожатый в Эммаус».

Боль смертная той смерти легко могла бы стать орудием искушения, силой, затягивающей в отчаянье и уныние; но отчаянье было бы бунтом, а уныние — умиранием духовным. Только не бунт! В.И. его не допускал: бунт — дело рабов. Он любил свободное послушание, — эту добродетель настоящих царей, ярче всего воссиявшую в самом большом из них, учившем с высоты креста. И ему чудилось — во сне ли, наяву ли —, что подходит к нему Лидия, склоняется над ним, его укоряет:

Вотще ль Христос родился
Во мне пред тем, как ты со мной простился?»
(Любовь и Смерть)

И он твердил: «Твоя да будет воля, Господи! Я покорствую. Помогите моему непокорству».

* * *

На «башне» жизнь текла по-прежнему: литературные, богемно-академические собрания по ночам, обильное вино в простых кувшинах, мятные пряники, мерцающие свечи в чем попало — в канделябрах, подсвечниках, бутылках, симпозиальная до утра беседа с друзьями. В.И. был постоянно окружен поклонниками и противниками; из отечественных городов и из стран чужих приезжали поэты, художники, ученые и подолгу гостили в странноприимном доме против Таврического сада, где атмосфера как и в прежние годы была дурманной, но поощряющей «здроаво мыслить о земле» и всегда духовно напряженной и возбуждающей творчество. — Все по-прежнему. И все же, несмотря на хозяйственную ловкость и светский такт Замятниной, на

появление юной красавицы Веры, «среды» в их прежнем значении и смысле с Лидией умерли. «Умерла душа их», говорил Бердяев.

Личное горе не заглушило в сердце В.И. живого интереса к людям. В общении с ними главной целью, как и прежде было — вызвать в приблизившейся к нему чужой душе проявление ее особенной единственной ценности, ее основного устремления. Один из молодых друзей поэта, проживший некоторое время на «башне» — философ и писатель Федор Степун — вспоминает: «Более симпозионального человека, чем Вячеслава Иванова довоенной эпохи, мне уже больше не приходилось встречать. В отличие от Андрея Белого, подобно огнедышащему вулкану извергающего перед тобой свои мысли, и в отличие от тысячи блестящих русских спорщиков-говорунгов, Вячеслав Иванов любил и умел слушать чужие мысли. В его любви к беседе было не столько пристрастия к борьбе мнений, сколько любви к пиршественной игре духа. Даже и нападая на противника, Вячеслав Иванов никогда не переставал привлекать его к себе своею очаровательною любезностью. За духовною трапезой он порою, словно острыми приправами, угощал своего собеседника полемическими выпадами, но никогда не нарушал при этом чина насладительной беседы. Все публичные и полупубличные выступления его отличались своеобразным сочетанием глубокомыслия и блеска, эрудиции и импровизации, тяжеловесности и открыленности». *

В людях, как и во всех явлениях, В.И. искал за видимою внешнею реальностью иную подлинную, «высшую». Каждого человека он любил как единственный, неповторимый, незаменимый путь а *realibus ad realiora*, искал соделать путь этот видимым для самого идущего. При этом В.И. вовсе не всегда только поощрял и далеко не всегда бывал ласков: он часто горячо сердился, нападал, своими пронзительными вопросами подымал глубинные душевные пласты, вызывал болезненные признания, нередко неожиданные для самого признающегося. Зачастую люди от него уходили в слезах. Некоторые обижались, закрывались, продолжали злиться. Другие (большинство) возвращались, догадавшись что от них требовалось, многому научались, обогащались духовно. Сам В.И. определил и описал свое отношение к людям в полушутливом стихотворении, обращенном к двадцатитрехлетнему Велениру Хлебникову, который к нему тянулся и его боялся, и поэтическое дарование которого В.И. сразу оценил:

Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! я не бес,
Не искуситель, — испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — и в вязкий взор
Я погружаю взор лукаво
Стеля, как невод, разговор.

И, совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг — я целиной богатой,
Оратай, провожу волов.

Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую врезав борозду,
Из ясных звезд моей Любви
Посеять семенем — звезду.

(Пристрастия) *

В.И. хотел становиться пробным камнем. В его требовательности не было насилия. «Нежными и вещими должны быть творческие прикосновения.» Этот завет прежде всего относился к человеческим душам. Любимым занятием В.И. было обучение молодежи тонкостям просодии. «Для двух или трех поколений поэтов он был учителем, чуть ли не с большой буквы». * В стихах он все угадывал и видел сразу и насквозь.

Как-то в 1911 г. поэт Гумилев на «башню» привел свою молодую жену, писавшую стихи. Ей, как всем поэтам, В.И. предложил «прочсть». Она решилась — прочла:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

...

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Все ждали, что скажет В.И., какой даст «разбор». Он молча встал, подошел к молодой женщине, поцеловал ей руку: «Приветствую Вас и поздравляю. Ваши стихи — событие в русской словесности. Вы будете знаменитой поэтессой». Он оказался прав: вскоре имя Анны Ахматовой стало известно всей России. *

Гумилев рассказывал друзьям, как, просматривая вместе с поэтессой Е.Ю. Кузьминой-Караваевой корректуры ее сборника стихов «Скифские

Черепки», не одобрил в одном стихотворении двух строчек и предложил свой вариант. Поэтесса согласилась, но, смеясь, попросила: «Смотрите, только не выдайте меня!»

«Недели через две было очередное собрание у Вячеслава Иванова. Хозяин со «Скифскими Черепками» в руке, делал их публичный разбор. Дойдя до стихотворения, исправленного Гумилевым, он остановился:

— «Тут что-то не то! Эти две строчки выпадают из сборника: не Ваша манера, не ваш тон!» И Гумилев, и Кузьмина-Караваева ручались за то, что исправление осталось их тайной. Оба были изумлены, да и было чем!» *

* * *

В.И. не удовлетворялся раздумьями о театре как о Дионисовом действе; ему не терпелось осуществить действие в жизни. Он, Блок и Андрей Белый решили создать «коллектив» — полустудию, полую общину — для дионисийских театральных представлений. Из попыток их ничего не вышло, но на «башне» осуществилось одно представление, прошедшее не бесследно в развитии русского театра: в апреле 1910 г. на «башне» Верой, «маленькой Лидией» и друзьями была разыграна «комедия» Кальдерона «Поклонение Кресту». Режиссером был Всеволод Мейерхольд, декоратором — С. Судейкин. В.И. вспоминает:

Кто шатром волшебным свил
Алый холст, червонный, черный?
В черной шапочке ходил
Мэтр-Судейкин по уборной.

Мейерхольд, кляня, моля
Прядал лют, как Петр Великий
При оснастке корабля,
Вездесущий, многоликий.

То не балаган, — чудес,
Менга, то была палата!
Сцену складками завес
Закрывали арапчата...

Так вакхический приход,
Для искусства без урона,
В девятьсот десятый год
Правил действие Кальдерона.

(Нежная Тайна) *

В ближайшей книге «Аполлона» появилась статья: «Башенный театр». «... Крошечной и даже без подмостков сцене была придана — тайной распределения сукон, тянувшихся, скрывая низко висячую лампу, от задней стены к середине и здесь свешивавшихся на задрапированные, делившие стену на две неравные части ширмы — иллюзия глубины, довольно значительной, но не чрезмерной. Занавес открывался не мановением невидимого человека-машины: двое арапчат в обворожительных костюмах весело раздвигали его и опять сдвигали, сами оставаясь впереди и сбоку его, или скрывались за ним (...) Если надо прятаться — прячутся за занавес, если надо засыпать травой или ветками — попросту натягивают ковер, устилающий пол, если надо спешно уйти, — не стесняются уйти в зрительный зал». Спектакль этот придал «современному театру новое очарование, внушил ему новую жизнь».*

Много времени и сил посвящал В.И. теоретическим исследованиям о сущности трагедии, о норме театра и его кризисе, выступая с докладами в «Обществе развития художественного слова», основанном С.К. Маковским, Иннокентием Анненским и им, а также со статьями в периодической печати, преимущественно в петербургском «Аполлоне», столпе русского символизма и акмеизма той поры, и в московских «Трудах и Днях».

Зимой 1908 г. по дороге на какой-то доклад, раздумывая о том, что предстоит сказать, В.И. полусознательно решил закурить. Машинально взял папиросу, зажег спичку. Вдруг, в этот миг прибежала новая мысль; В.И. начал в нее заинтересованно всматриваться и забыл опустить руку со спичечной коробкой; она вспыхнула. Чудом огонь не тронул лица, обжог только бороду и немного лизнул руки. В.И. пришлось сбрить бороду. Его бритое лицо всем весьма понравилось. Его уговаривали не носить впредь бороды, на что он согласился.

* * *

Считая недопустимым обременять души окружающих его людей своим личным горем, В.И. казался веселым в те трудные годы после ухода Лидии. Особенно игрюч и шаловлив бывал он со своими собратьями по «веселому ремеслу». Он с ними обменивался буриме, акростихами, соревновал в вызывании из недр русского языка, таящихся в нем, еще не выговоренных созвучий и речений.

Стихи появлялись в периодической печати; в 1911 г. В.И. собрал их; получилось два больших тома — «Cor Ardens».* Немногие читатели расслышали *сообщение*. Большинство заметило лишь роскошь трудней-

ших, изысканнейших метров и строф. Одни восхваляли, другие порицали «преизбыточную» пышность формы. В.И. стали звать «кудесником слова», «александрийцем».

В.И., конечно, был и виртуозом поэтической речи, но просодический акробатизм никогда не становился его целью. Он просто хотел, искал *точно* выразить заветные свои думы и лирические волнения. Говоря о «тайнах вечности и гроба», он порою упрощал и совсем простые формы, но чаще прибегал к редчайшим и сложнейшим словесным означенностям.

В 1908 г. к В.И., послан от царившего в литературных кругах Германии Стефана Георге, приехал ученик его, молодой поэт Иоганнес фон-Гюнтер. С Гюнтером у В.И. была такая игра: по утрам германский гость, живший на «башне», подсовывал под дверь спальни Вячеслава, обращенные к нему стихи (поэт вставал поздно: по ночам он либо работал, либо беседовал с друзьями), а В.И. в течение дня отвечал стихами на языке своего «совопросника». Некоторые из своих ответов В.И. напечатал в «*Cor Ardens*». Гюнтер, вспоминая то время в книге появившейся спустя сорок лет, описывает В.И. той поры как «мудрого, дионисийски веселого колдуна». Гюнтер провел на «башне» несколько месяцев, он знал, что и года не прошло как умерла любимая жена В.И., но он не почувствовал траура в доме своего именитого хозяина. *

«Я иногда говорю о себе из вежливости, для равенства» — эти слова записал В.И. в свой интимный дневник, которого он никому не показывал. В ответ на исповеди, с которыми к нему шли самые разные люди, он, следуя этому себе приказу, отвечал не только советами «наставника и мэтра», но и некоторыми личными сообщениями. Одна лишь лирика открывала вход в округу его внутреннего, страшного в ту пору мира. И он предупреждает, говоря о смерти Лидии: «Что это значило для меня, знает тот, для кого моя лирика не мертвые иероглифы: он знает, почему я жив и чем я жив». *

В стихах к друзьям В.И. порою делал и прямые признания: так, проживавшему годами на «Башне» Михаилу Кузмину, которого В.И. называл «живым анахронизмом», «певцом и сверстником Антиноя» и которого он горячо любил за его безупречный художественный вкус и подлинный поэтический дар, и с которым он столь же горячо постоянно сталкивался и ссорился за недопустимые выходки этого женственно лукавого, изнеженного капризника — Кузмину В.И. пишет:

Знать, нам судьбы не переспорить
И неразлучным враждовать.
Чужими в жизни быть унылой...

Но, если сердце помяна,
На миг блеснет мне призрак милый, —
Вы угадаете меня.

(Нежная Тайна)

Менее прикровенно В.И. обращается в послании белыми стихами из Петербурга на Кавказ к своему верному, неизменно нежно любимому другу, исследователю русской песни, знатоку Пушкина, «аскету и акробату стиха», бородатому, волосатому, неуклюжему, тяжеловесному, а внутренне эфирно-легкому, кристально чистому, доброму, нелепому, страдающему «священной болезнью», и потому вещему, а в жизни беспомощному Юрию Верховскому: «С тобой все говорю свободно: мне ты мил».

..... мы вместе поздний час,
Играючи, беспечно коротаем,
И болтовней отпугиваем грусть,
Что сядет вдруг на самой верхней ветке
Жасминовых кустов, расцветших в сердце,
И жалобно чирикнет — о своем...

..... Я начал, помню, жить
В ночь лунную, в пещерах Колизея.
И долго жил той жизнью, живой
Впервые. Вновь потом я умер. Боль
Смертная той смерти все жива...

(Нежная Тайна)

На «башне» жизнь текла по прежнему. Но там, дальше, не в комнате, где собирались гости, на стене крайнего сектора башни, висел большой, маслом написанный портрет Лидии в темнолиловой, на плече схваченной тунике, со ртом задумчиво сжатым, с глазами большими, светлыми в темных орбитах, сивиллински устремленными вдаль. В левом углу картины на темном фоне едва виднелись Вячеславом нацарапанные слова: цитата из драмы Л.Д. Зиновьевой-Аннибал: «Сегодня она вся и ты весь. Это Христос». С этим портретом В.И. никогда не расставался. Портрет был в его комнате в час его смерти. *

В.И. всегда и во всем ощущал живое присутствие Лидии. Он ей улыбался, обращал к ней стихи, записывал песни, которые она ему напевала. «Он сохранил в себе внешнего человека, и даже этот внешний человек отнюдь не представляется наблюдателю ни нравственно очищенным от исконных темных страстей, ни менее чем прежде эгоистически самоутверждающимся». * Но средоточие сознания стало иным. Он жил как во сне. Но вдруг сны редели и он просып-

пался в тоске по ушедшей. Через восемь лет после смерти Лидии он описывает такое гнетущее пробуждение в стихотворении «По Течению». Поэт весел не трогает. Река несет его ладью. На дальнем берегу увиделась «родная тень». Сердце встрепенулось, загорелось и — угасло: «не она»...

Я весел подолгу не трогаю:
 Под смутный лепет забытья
Скользит единою дорогою
 Моя попутная ладья
Со всею медленно влачащейся
 Громадой усыпленных вод;
А там — с Медведицей лучащейся
 Плывет огромный небосвод.

Но лишь на бреге померещится
 Родная тень заветных стран
И птицей сердце затрепещется,
 Чтоб вновь упасть, узнав обман, —
Что с плачем у кормы расплещется?...
Поодаль, отмелью пологою,
 Влачась, кивает мне туман.

В этой пьесе интересен перебой ритма: акаталектический четырех-
стопный ямб, неизменно следующий за иперкаталектическим ямбом,
звучит как-то нереально, мечтательно, точно эхо из другого мира. Во
второй строфе пятая строка начинается не с ямба, а с его ипостазы —
спондеем с сильным ударом на первом слоге; этот удар на «что»
действует как удар по-сердцу. И затем — выпадает акаталектический
ямб; нет эхо, некому отвечать — утратилось инобытие: сердце узнало
обман. Этот ритмический перебой не был сознательным приемом. Сам
автор его не заметил.

Как-то раз, зимою 1908 г. В.И. сидел за своим письменным столом,
занятый очередной работой. Вдруг он услышал голос, медленно и
внятно произносивший какие-то латинские слова. Он, не пытаясь пони-
мать, стал их записывать. Голос диктовал монотонно, равномерно,
потом умолк. В.И. прочел записанное: — стихи.

BREVE AEVUM SEPARATUM,
LONGUM AEVUM CONIUGATUM
IN HONOREM DOMINI.
QUISQUIS TERRAM EST PERPESSUS,
VENIET HUC VITA FESSUS.
IN DIES SACRAMINI.

AGNUS DEI, SALUS MUNDI,
FAC UT VENIAMUS MUNDI
IN TUUM TRICLINIUM;
PURA LYMPHA PEDES LAVES,
PURIFICES CULPAS GRAVES
PURITATE IGNIUM.

Что это? Воспоминание о каком-то старинном, где-то читаном тексте? — воспоминания, нечаянные как «те звуки, что всплывают глухо из литейских омутов души»; или песнь услышанную пропела его собственная Муза, и звуки песни явились ему приветом

... от той, которой нет
На земле, — и ей отрада,
Что поет ее поэт?

(Нежная Тайна)

Перечитал. Стихи небезупречные. Есть ошибки. Исправить? Не решился. Оставил все как услышал. Потом напечатал в «Сог Ardens» в виде вступления к отделу «Любовь и Смерть». Но всегда предупреждал читателей, что он не знает его ли стихи эти или не его, и что не удивится он, коли увидит их среди старых, чужих песен. Но нигде их не нашел...

В мучительные часы тоски порою являлось искушение магическими средствами вызвать появление ушедшей. В стихотворении «На Кладбище» * В.И. рассказывает о таком искушении, рассказывает как в ранне-весенний день он пошел к Лидии на могилу, — и весна (сколько раз он пел ее ежегодно возрождающуюся, возвращающуюся на землю) — весна

Рвалась в усыпальницу плена
И саваны с плит разметала,
Глашатаем черным летала:
«Проснитесь до нового тлена».

И в душе поэта поднялись и спор, и смута, и желание... Но это длилось мгновенье. Он превозмог соблазн «возмущающей силы»: — «Нет, нет, не мнимый возврат»... Окрепи душевные силы, и пришло утешение —

Как будто на горном отвесе
Завидел я с низменной мели
Любимую в огненном теле
И слышал: «Христос Воскресе».

(Свет Вечерний)

Стихотворение это В.И. сперва назвал «Радуница» — день поминовения покойников на кладбище. Этим заглавием поэт хотел указать на внешнее преемство и внутреннее различие между античными весенними антисфериями, когда мертвые магически вызывались на временные гостины и потом изгонялись знаменитым заклинанием: «Вон, керы, миновали антисферии!» — и христианским весенним навьем-днем, когда усопшие поминаются в чайньи пресветлого воскресения.

* * *

О Воскресении свидетельствует Память. Ведь в представшем перед нами надо *узнать* умершего. Евангелие настаивает на большой роли памяти в духовной судьбе человека. Между Платоном и Августином величайшим учителем Памяти был Христос. «Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан., 14, 26). Память — залог бессмертия. Мы умрем только, если Бог нас забудет.

Память преодолевает разрушительную, разлучающую силу времени: Время отрывает нас от вещей, делая их преходящими; оно разлучает нас самих с собою.

Время нас, как ветер, мчит,
Разлучая, разлучит —
(Свет Вечерний)

и ветром шепчет нам в уши: «Мимо, мимо. Не сожалей. Учись изменять, забывать». Это «забудь» является разрывающим, убивающим орудием времени. Память есть орудие против такого орудия. Ею живы деревья, цветы полей; они зовут: «Вспомни нас и воскреси мгновенье». Память — наша защита: движимый ею творческий разум не только удерживает, закрепляет уходящие вещи, он осиливает, фиксирует само время, организует его в поэзии, в театральном действе, в танце, особенно в музыке.

Время двойственно, противоречиво: оно спорит с пребыванием вещей, но и проверяет, испытывает их крепость, жизненность; оно как «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». * Оно — антипод, но и функция вечности. «Время — движущийся образ вечности», говорил Платон. Мы воспринимаем временную последовательность движения из прошлого в будущее («Роя» — $\rho\omicron\lambda\alpha$ — значит «поток») и постулируем, нами непосредственно несознаваемый «встречный поток» («Антирройя» $\acute{\alpha}\nu\tau\iota\rho\rho\omicron\lambda\alpha$ «противоречие»), как движение из будущего в прошлое. * Память — наше орудие против времени, но и его собственное тайное орудие против самого себя.

И реет к родникам былого
Времен возвратная река.
И вот река течет бессмертья лугом,
К началу вверх, откуда ключ забил.
(Свет Вечерний)

«Оглядываясь назад в прошлое, мы встречаем в конце его мрак и напрасно усиливаемся различить в том мраке формы, подобные воспоминаниям. Тогда мы испытываем то бессилие истощенной мысли, которое называется забвением. Итак:

Над смертью вечно торжествует,
В ком память вечная живет...
(Кормчие Звезды)

Еслиб не было забвения, не было бы и разлуки: «единый полный миг» хранил бы каждую вещь и каждую делал бы бессмертной. «Как душа, согласно древнему орфическому верованью, должна, чтобы стать божественной и бессмертной, опять найти ключи Памяти и «утолить палашую жажду у озера подземной Мнемозины», — так Памятью воссоединяемся мы с Началом и Словом, которое «в Начале было». *

Память обещает единство человечества, осуществляет общение не только живых с живыми, но и живых с умершими; ведь «их больше чем нас и они больше нас». «И знаем, что по совершении Человека, всего себя вспомнит Адам, во всех своих ликах, в обратном потоке времени до врат Эдема, и первозданный вспомнит свой Эдем». * *И тогда времени больше не будет.*

Память обуславливает реальную связь родового преемства. Чувство живого единства различных поколений с младенчества было ведомо Вячеславу: «Я страстно любил свою мать, — пишет он в своей автобиографии, — я так тесно с нею сдружился, что ее жизнь, не раз пересказываемая мне во всех подробностях, стала казаться мне, ребенку, пережитою мною самим». *

Много позднее В.И. пришлось пережить тайну преемства между живыми и ушедшими как решающее событие своей личной жизни: Вера была в Загорье при смерти матери. Лидия столь же страстно любила свою дочь, как мать Вячеслава своего сына, и столь же горячо была ею любима. Их проникновенная дружба никогда не прерывалась биографическими или идеологическими затруднениями и разрывами. Внешне Вера не казалась похожей на мать: Лидия была высокой, полной женщиной с прекрасными и мощными плечами и руками. Русский склад лица, нежный, волнистый профиль, слегка выпуклый лоб; в смуглых орбитах светлые, с большими тенями под ними, глаза,

мятежно темневшие в минуты волнений; маленькие, изящные уши, большой, умный рот и совсем особенные, золотистые с розово-пепельным оттенком, пушистые волосы, образующие вокруг головы не то ливиную гриву, не то ореол —

Ты вся — стремление, трепет страстный,
Певучий плеск, глубинный звон,
Восторга вихорь самовластный,
Порыва полоненный стон.

(Прозрачность)

Вера была тоненькой девушкой со строгими, большими, потерянно вдаль смотревшими глазами; гладкие, на пробор расчесанные волосы, тяжелая, золотая коса, положенная на голову точно диадема; античный наклон длинной шеи; правильный выточенный профиль — голова Мадонны на спортивно упругом, мальчишески прямом теле.

Но, вопреки всем различиям Лидию и Веру уподоблял друг другу, даже и физически, особый эллинский налет, который ощущался и близкими, и посторонними: в литературных кругах Петербурга Лидию прозвали Диотимой. Сходство сказывалось не во внешних чертах, а в движениях, ритмах, во «внутренней форме», рвавшейся наружу и подчинявшей себе тело. В.И. видел в дочери Лидии — дочь Деметры, Персефону Элевсинских мистерий. Стихи, которые он в разные периоды жизни, обращал к Вере, носили общее заглавие: «Ее Дочери». *

Вера осталась одна с Вячеславом после смерти матери в ожидании, когда размытые дождями дороги покроются снегом и согласятся стать проезжими. Вместе, вдвоем повезли они тело Лидии в Петербург. Общее горе их сблизило. Шли года. Отношения углублялись, осложнялись, душевная близость переходила в любовь. Чувство В.И. к «ее дочери» становилось противоречивым: возможно ли? Допустимо ли? Девочка, которую он знал с пятилетнего возраста, которую носил на руках — ей ли стать его женою, занять место ее матери? Сперва он попытался отойти от нее, но внутренне уже знал, что сближение, соединение их вызывается не только страстным влечением, что оно духовно оправдано, предопределено, необходимо. Он помнил: однажды, незадолго до роковой болезни своей, Лидия задумчиво, тихо сказала, глядя, указывая на Веру: — «Быть может она...» Что это — намек, завет, завещание?

Летом 1910 г. В.И. жил в Италии, собирал материалы для книги о Дионисе. Вера приехала к нему из Греции. Она рассказывала как затерялась в Корикийской пещере и чудом из нее выбралась: будто в самом деле Персефона на время взяла ее к себе и потом милостиво отпустила. Как и с ее матерью, все решилось в Риме. Вечный Город

вернул В.И. его прошлому. Осенью по дороге в Россию они остановились в Венеции...

Не руша старинного сна,
Нас гондола тихо несла
Под арками черных мостов;
И в узких каналах со дна
Глядела другая луна,
И шелестом мертвых листов
С кормою шепталась волна.

И Та, что в тебе и во мне
И розой меж нами цвела,
Сияла как месяц, светла,
Порою в ночной вышине,
Порою в глубокой волне;
Таилась порою, и мгла,
Казалось, ее стерегла;
Порою лучилась, бела
В небесном, воскресном огне.

(Rosarium) *

В.И. был спокоен: он твердо знал, что его решение соединить свою судьбу с Верою есть не измена Лидии, а верность.

Вечная память несет в себе тайну рождения. «Душа по древнему тайному верованью, должна, чтобы восходить к свету, опять найти ключи Памяти и утолить палящую жажду у озера подземной Мнемозины». * Ушедшие из жизни продолжают в жизни участвовать. Если мы этого не ощущаем, не видим, не слышим, то это лишь потому, что мы не помним «дыхание духа». Память пробуждает «живое чувствованье великих отошедших в жизни живых».

И как в ночи твоей дремотной
Сознанье лучшее живет,
Так сонм отшедших, сонм бесплотный
В живых и мыслит, и поет.

(Человек)

Весною 1912 г. В.И. с Верою, которая ждала ребенка, и с дочерью своею Лидией отправился в Швейцарию. В июне они переехали во Францию, в Савойю, поселились в маленькой вилле близ городка Neuvesselé. Маруся, (Марью Михайловну Замятнину так звали в семье Ивановых) была мастерицей находить вдохновительные, удобные и недорогие пристанища: двухэтажный домик, миниатюрный садик, но в нем — разнеженный смарагдовый платан, плодовые, темные

смоковницы, страстные алые розы и «пречистые чаши» белых лилий.
А на ближайшем холме — виноград.

Вошел в свое новое жилище В.И.; обернулся с порога и увидел: идет к нему Лидия, умершая жена его — нет, не умершая, живая. Она улыбается и на протянутых руках держит младенца. Поэт рассказал в стихах о своем «Новоселье»:

..... Издалеча — чу поступь легчайших шагов...

Идет, и лелеет

В покрове незримом, как в зыбке небесной, дитя.

(Нежная Тайна)

Неподалеку от виллы их стоял замок. «У замка, над озером, ключ и капелла Мадонны.» Туда на закате часто приходили Вячеслав и Вера, садились на камень у студеной криницы и слушали недолгие, далекие звоны: Angelus...

И мнится: у милой гробницы

Мы побыли вновь, и родная прошла, нашептала

Нам Ave — и с нею молились уста мимовольно;

С улыбкой склонилась, улыбкой двоих сочетала...

(Нежная Тайна)

Поздней, тихой ночью на семнадцатое июля, глядя в открытое окно своей комнаты, В.И. вслушивался в таинственные «ночные голоса»:

Дальний лай — глубокой,

Теплой ночью летней...

Что звучит ответней

Думе одинокой?

Гулкий всхлип совиный —

Вспомнилось родное

Кладбище ночное

С церковью старинной...

Чу, орган налажен!

Лишь коснись перстами,

Лишь дохни устами

У послушных скважин:

Музыкальный шорох

Матери откроет

Все, что Ночь покоит

В сумрачных просторах.

Подымает голову В.И. и видит, что рядом с ним стоит бесшумно вошедшая Вера: — «Ты пишешь стихи? Пиши, пиши.» Она его поцеловала и тихо вышла.

Наше сердце глухо,
Наши персты грубы,
И забыли губы
Дуновенье духа.

Гости неземные,
Чьи бесплотны пальцы,
Вам будить, скитальцы,
Голоса ночные!

Шелест рощ умильный,
Рокот волн унылых
Все доносит милых
Шопот замогильный.

И как стон протяжен,
И томит загадкой
Зов, волшеббно-сладкий,
Многострунных скважин.

(Нежная Тайна)

Он кончил. Вдруг услышал стон. Вера! Первые приступы родов она почувствовала, когда вошла к нему, но ничего не сказала, чтобы не прерывать поэта. Лидия на велосипеде помчалась за врачом. В.И. взволнованный, испуганный вышел на балкон и стал вслушиваться в «голоса ночные» неземных гостей... По недолгому времени радостно прибежала к нему ученая акушерка, которая жила последнее время на вилле: «Поздравляю Вас: мальчик!» Врач приехал, когда открывали бутылку шампанского. Пили все — и счастливая роженица, и младенец: ему шампанским омочили губы.

«Нежная Тайна» называется книга лирики, написанная в то лето. Она славит общение живых с умершими и «нежную тайну» рождения. *

Памятью обусловлена вся наша мысль: и наше знание о мире, и наше знание себя, и наше знание о знании. Гносеология по В.И. есть анамнесеология. Память — «венец сознания». Она является источником личного творчества, гениального прозрения, пророческого почина. Она — «Мать Муз». Поэт есть «орган народного воспоминания. Через него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней возможности.» *

Ты, Память, Муз родившая, свята,
Бессмертия залог, венец сознания,
Нетленного в истлевшем красота!
Тебя зову... (Свет Вечерний)

* * *

В Петербурге ходили сплетни и пересуды по поводу брака В.И. с Верою. Они начались еще до отъезда Ивановых за границу. За время отсутствия В.И. пересуды становились все обиднее, переходили в неприличную, чудовищную клевету. О них оклеветанный ничего не знал. Когда В.И. осенью решил напечатать «Нежную Тайну», он направил рукопись Алексею Дмитриевичу Скалдину, работавшему в изд. «Оры». Скалдин, поклонник и верный друг В.И., прочел присланные стихи, увидел среди них доверчивое обращение к самому зловередному клеветнику, возмутился, сообщил поэту имена врагов и предложил опустить те стихи.

В.И. огорчился, задумался: «Кузмин!... Мы делим общий рефекторий. И жар домашнего огня»; капризный, женственно лукавый, предательский Кузмин, но подлинный поэт, любовник красоты, насельник «башни», друживший с Лидией, так многое знавший про их жизнь — как мог он все забыть? Нет! Что написал — написал! Умолчанием слушавшегося не уберешь, не сотрешь. Пусть прочтет, пусть вспомнит!

Но чуть коснется струн послушных,
Певец, ваш плектрон золотой, —
Нас обнял сонм сестер послушных,
Мечта скликается с мечтой.

Я рад струнам созвучным вторить
И струн созвучья вызывать.
Знать, нам судьбы не переспорить
И неразлучным враждовать!

Чужими в жизни быть унылой...
Но, если сердце помяна,
На миг блеснет мне призрак милый, —
Вы угадаете меня. (Нежная Тайна)

В.И. ответил Скалдину письмом в стихах. Он поставил дату — 23/10 октября 1912 г. и назвал стихи — «Мирными Иамбами», заявляя, подчеркивая таким заглавием, что он, хоть и «сетует душою», но не намерен выступать в маске Архилоха и говорить древними, «желчными ямбами».

Я был далече. Этих песен ты вверял
Станку печатному листы;
А друг, смутясь, и враг, ликуя, повторял
Ползучий шопот клеветы.

Моей чужбины гул достиг. Спокоен я...
Нет, ничего не изменю
В том, что слагал. Открыта в песнях жизнь моя.
И никого не обвиню!

Ты негодуешь? Презирать придет пора;
Пора другая — сострадать.
Впервые ль видишь искаженным лик добра
И в грязных тернах Благодать?

(Нежная Тайна)

В.И. был спокоен. «Мы издеваемся над тем, чего не понимаем», повторял он за Гете * и не пытался «оспаривать глупцов». Но в окружении его был человек, который не издевался и понимал, и для которого однако брак его с Верой, даже не брак, а только предварительное решение на брак, стало уже гибельным. То была Минцлова.

О кончине Лидии В.И. оповестил ее телеграммой; она немедленно поехала в Загорье. Увидя издали Вячеслава, выходящего из дома, она опрометью бросилась к нему: — «Милый, смерти нет!»... Когда В.И. вернулся в Петербург, Анна Рудольфовна стала ежедневно бывать на «башне» и усердно посвящать Вячеслава в оккультные учения. И потому, что Лидия в последние месяцы своей петербургской жизни проявляла к сообщениям А. Р. большой интерес, и потому, что он любил учиться и был остро любопытен ко всем духовным исканиям и откровениям тайнознания, и потому, что ему хотелось порою уйти от своего страшного мира, забыться — он с полной готовностью и даже страстностью соделался учеником Минцловой. И странно: он вскоре почувствовал как приливали новые силы и оживлялись «духи глаз» *.

Не видя, видит взор сквозь сон,
Чтò в тайне душ погребено,
Как в темный сон полей.
И слышит: в поле реет звон,
И наливается зерно
Под шелесты стеблей.

(Cor Ardens)

— Так говорит о себе В.И. в стихотворении «Vates», обращенном к Минцловой.

Русская элита в те тоскливые и жуткие годы наступившей реакции рада была убежать от скучной действительности, склонна была увлекаться и сектанскими радениями, и спиритическими сеансами, и масонскими ложами, и теософскими ассоциациями Блаватской. В Петербургских и Московских кругах интеллигенции Минцлову считали ученицу Штейнера, посланной им в Россию для привлечения членов в им основанное антропософское общество. Но сама Минцлова утверждала, что она послана вовсе не Штейнером, потому что она и «Доктор» равны по степени «посвящения» и оба являются эмиссарами тайных, важных розенкрейцеров. Многие от нее в ужасе отшатнулись. Николай Бердяев «воспринял явление Минцловой как совершенно отрицательное и даже демоническое». У него было страшное видение, с нею связанное. * Другие (их было немало) за нею последовали, некоторые ей совершенно подчинились так, что в общем она могла бы свою деятельность считать успешной, но...

Она до безумия увлеклась Вячеславом Ивановым. Она считала его самым умным и значительным человеком в России, способным стать духовным вождем страны. Его, его-то прежде всего, стремилась она сделать деятельным членом «тайного общества», к которому сама принадлежала. И ей казалось, что она Вячеславом постепенно завладевает. Но она замечала его тяготение к Вере, и это ее приводило в отчаянье. Она всеми силами старалась его отвлекать.

Когда весной 1910 г. она поняла, что отношения Вячеслава и Веры принимают опасный для нее оборот, она прямо заявила В.И., что ему суждено сыграть благотворную роль в судьбе его страны, но что для этого он должен в миру жить, как монах, давший тайный обет, и оставаться безбрачным, чтобы не расточать сил, которые ему будут дарованы. В.И. ответил решительным отказом. Он сказал, что Лидия от него никогда не требовала никаких подобных обетов, требовала только, чтобы он был поэтом. И он решительно заявил, что он навек останется верным ей и ее дочери.

Минцлова замерла, точно вся опала. Она тихо, покорно сказала: «Я виновата. Не сумела исполнить их поручения. Они меня отзывают. Прощайте. Да хранит Вас Господь.» Она ушла. Навсегда. Никто, из знавших ее в России, никогда ее больше нигде не встречал. Она исчезла. По городу стали разноситься странные догадки и слухи. Ее скоро забыли.

* * *

В конце 1912 г. вся семья Ивановых двинулась в Рим. В.И. поехал туда, чтобы дополнить новыми материалами свои статьи об «Эллин-

ской религии страдающего бога», которая должна была появиться в России отдельной книгой. Но в ту пору его занимали вопросы не только Дионисийской психологии. Он принялся за исследование истории Дионисийских культов, он искал корни прадионисийской религии, прослеживал метаморфозы жертвенного бога. Всматриваясь в истоки эллинской мысли и духовной жизни, В.И. естественно обратил свой розыскательный взор и на изначальные ключи и пути человеческого сознания вообще. И ему захотелось пытливым памятью открыть, схватить и запечатлеть первые проблески своего собственного сознания. Так с одной стороны назревала книга о прадионисийских культах, с другой — возникала поэма о прасознательных состояниях души. Книга о прадионисийстве писалась долгие годы, а поэма, «поэтическое жизнеописание» воплотилась сразу, тогда же, в зимнем Риме. Он сам назвал ее «Воспоминаний палимпсест». В Пушкинской строфе «романа в стихах» он повествует и о своих родителях, и о том как в нем, младенце, чрез сонные, смутные мечты пробуждалась солнечная сила разума. *

В Россию В.И. вернулся осенью 1913 г. Он поселился в Москве. «Башни» не было, но жизнь текла как в последние петербургские годы. Он интенсивно работал: писал стихи и статьи, переводил в стихах много, с различнейших языков. Размерами подлинников передал Алкея и Саффо, Петрарку, закончил Новалиса, начатого еще на «башне». Печатался он преимущественно в двух идейных, высоко-культурных, меценатских издательствах: — в изд. С. и М. Сабашниковых и в изд. «Мусажет», основанном Эмилием Мэтнером. Оба — и Михаил Сабашников, и Мэтнер стали его милыми друзьями. Сошелся В.И. и с писателями и философами, группировавшимися вокруг Московского религиозно-философского Общества имени Владимира Соловьева; собрания бывали публичные, устраивала их в своем роскошном, с изысканным вкусом обставленном доме, замечательная женщина, друг и покровительница музыкантов, поэтов, мыслителей, — Маргарита Кирилловна Морозова, издававшая журнал «Путь». Священник Павел Флоренский, Булгаков, Бердяев, Рачинский были постоянными гостями В.И. Особенно близок и идеологически и душевно был ему философ Владимир Эрн. Дружба со Скрябиным, о котором В.И. неоднократно писал и в прозе и в стихах, была по собственным словам поэта «глубоко значительным и светлым событием на путях его духа».

Лето 1914 г. В.И. со всей семьей проводил в «Петровском на Оке», где он жил по соседству с Балтрушайтисом. В.И. любил Оку, любовался «в нежности закатной» мерцаньем ее струй, наклоном ее берега, «палатой вековой» дубов. Он любил Балтрушайтиса; радостно было по вечерам читать друг другу стихи. Дни шли тихо, вдохновительно. Но

почему-то порою, и все чаще и чаще душа смущалась «в тревоге и тоске». Вдруг в июле события закружились сумасшедшим вихрем. — Мобилизация.

Темнело. Мимо шли. Привалом
Остановились над Окой,
Под нашим парком, древним валом,
Что Дмитрий городил Донской.
Сложили ружья; песни пели...

Что это? Неужели война?

..... Не ведали. Гадали,
И лихо вызывали бой...
А по реке, из светлой дали,
Плыл звон — торжественной Судьбой.

Это писал В.И. 18/31 июля. Грянула война... — мировая.

Мы вместе зажигали свечи
И выносили образа,
Когда вселенская гроза
Семью громами издалече
Заговорила...

(Свет Вечерний)

* * *

Два первые года войны В.И. прожил в Москве. В 1916 г. появилась его книга «эстетических и критических опытов». Назвав ее «Борозды и Межи», * В.И. в ней показывает очертания своей эстетики и поэтики, заставляет задуматься над идеологией нового поколения, оглядывает «пройденный символизм с его окраин». Он пишет стихи, много переводит.

Осенью 1916 г. В.И. с семьей уехал в Сочи: Он получил от изд. Сабашниковых заказ на перевод Эсхила, и за свое долгое пребывание на берегу Черного моря, среди «смуглых кипарисов», в тени чинар он передал размерами подлинника на своем родном языке почти все трагедии своего любимого писателя. Обдумывая вводную статью об античном трагике, В.И. его глазами всматривался и в печальные, разворачивающиеся события, и в грядущие, страшнейшие, которыми беременно было то время. И от «духа» эсхилых глаз на сердце становилось легче.

Зрелище остервенения и насилия, но и героизма, и готовности на жертву естественно заставило В.И. по-новому задуматься над природою вселенского и человеческого зла и над возможностью его преодоления. И как всегда, В.И. прежде всего прибегает к имажинативному извещению, и познанию в образе и в мифе. Он пишет мелолею — «Человек». *

Когда небесная Земля
Согрета Солнцем запредельным
Благословенные поля
Вздымала лоном колебельным,
Неся в лазури первых сфер
Эфирный сев, Отцом посеян, —
Был в сердце Розы Люцифер
Неизреченно возлелеян.
Развертывались чередой
Как лепестки иерархии:
Он был предмирной литургии
Дориносимую звездой.

Творец подарил ему кольцо с алмазом. В лучистый алмаз было врезано даруемое «свободному и бессмертному духу» Имя Божие: «Аз-Есмь». Кольцо есть знак связи и взаимности. Дарование Имени было обещанием сыновства. Если б Люцифер прочел — «Аз и Ты — одно», то он стал бы сыном. Но Люцифер не хотел общения с Бытием, он захотел все Бытие похитить и убить Дарителя, Отца. Люцифер воровски прочел: — «Аз есмь один» и убежал со своим кольцом. Оторвавшийся от Бытия луч погас в алмазе; и сердце стало «как темница».

Вне дышащего бытия
Полнощный лед он выбрал в долю:
Мятежный, замкнутого Я
Самодержавную неволю.

Люцифер стал невыносимо тяготиться своим пустым аз; он жаждет воплотиться. В чем? Он вожделеет тело человека. Но человек живет в Раю, и тело его — свет неприступный, пока двойной духовный принцип пола погружен в колыбельное лоно Божье. Люцифер ищет извратить пол, вырвать его из небесной почвы, подвести под закон множественности. Люцифер в виде своего женского двойника — Лилит соблазняет человека во сне. (По еврейским легендам Лилит — первая астральная жена Адама). Лилит-Денница говорит человеку: «В себе ты весь бесчисленный! Раждай без Жениха! небесного не требуя поцелуя!» Вина Адама в том, что он соблазнился. Райское тело его было

подобно движущемуся лучезарному кресту; после грехопадения оно принимает вид пентаграммы.

Ты в плоть мою, Денница, вжег
Печать звезды пятиугольной
И страстной плотию облек
Мой райский крест, мой крест безбольный.

Сон отлетел. Адам увидел склонившуюся к нему — Еву.

..... Новь ранила соха —
И до межи влачилась поворотной,
Где пашет Смерть...

Воплотившись в человеке, Люцифер подсказывает ему: «Скажите 'аз — есмь', будьте как боги, долейте себе, все поглощайте, чтобы в себе все воссоздать как свое собственное явление и отражение». А человек, увидев себя зеркальным отражением Люцифера, залюбовался им и отвернулся от Бога.

Не первою ль из всех моих личин
Был Люцифер? Не я ль в нем не поверил,
Что жив Отец, — сказав: «аз есмь един»?

Денница ли свой дольний лик уверил,
Что Бога нет, и есть лишь Человек?
Кто от кого, таяся, лицемерил?

Адам стал множественным в самом себе. «Лилит-Денница заградил миров иных посева». И человек обратился в арену борьбы друг на друга восстающих, его собственных личин.

Страда и смерть царили на земле, покуда не пришел Сын Искупитель. Он клеймо Лилит на теле человека смыл водою Каны, Пятиконечную печать Люцифера Он освятил таинством пяти голгофских ран.

Он воск печати растопил!
Пять роз раскрылись... Каплют раны...

Первая часть поэмы «Человек» озаглавлена: — «Аз-Есмь».

* * *

Непосредственно, В.И. давно уж узнал, как преодолевается целлюлярное «аз-есмь» и с ним сопряженная утрата личности: «Где я»?

Я — пред ликом чародея
Ряд встающих двойников,
Бег предлунных облаков.
(Прозрачность)

Преодоление отщепенства и обретение личности ему было даровано в опыте большой любви страстным произвольным утверждением примата «ты».

Когда он впервые подходил к храму Аполлона в Дельфах, он знал, что увидит на дверях святилища начертание двух букв — E I и рядом с ними надпись: «Познай самого себя» (γνώθι σεαυτόν). Он знал, что это E I в течение веков казалось загадочным, что разные толкователи знакам этим приписывали разные значения и Плутарх посвятил им целое исследование. И все же это ожидаемое начертание поразило его неожиданным сообщением важным, хотя и невнятным, ответом на смутно его волновавшие, но еще не поставленные, сознанием не освоенные вопросы. Прошли года раздумий. Наконец он дал ответ.

И опять познание идет путем мифа: вторую часть своей поэмы он называет — «Ты Еси». То, будто шутя, игриво, то торжественно, то радостно, то трагично являет он в различных строфах и ритмах образы, открывает лики подлинной любви человека к человеку, которая посредством «ты еси» утверждает «Еси», вызывает благоговение к Бытию божественному.

Я есмь доколе не люблю;
В любви, как Феникс, умираю ...
Горю... Пожара не гаси!
Когда я на костре сгораю,
Любовь поет мне: «ты еси».
Когда с чела «я есмь» стираю
И вижу Бога в небеси, —
Встречая челн, плывущий к раю,
Любовь поет мне: «ты еси!»

В.И. знает, что любовь — тяжелое испытание:

Тебе хвала, в чьих львиных лапах
Я ланью был, сердце Молох!
Бог-тень, бог-тать, бог-взор, бог-запах,
Зов неотступный, смутный вздох!
...
Бог — смертный ужас! Бог — конец!
...
И за концом — заря начала,
За смертью — победивший смерть!...

А вот — легкая французская канцона; но и она все о том-же:

Учит правнуков канцона:
«Ночь настанет — приходи.
Приводи
Третьим в гости Купидона».
Розой рдяною процвел
Мертвый ствол
В день, когда, тобой волнуем,
Я, затворник немоты,
Слову «ты»
Научился — поцелуем.
В поцелуе — дверь двух воль,
Рай и боль:
«Ты» родилось, — у порога
Третий тихо отвечал
И помчал
Эхом «ты» к престолу Бога.

ЕСИ означало Е I, начертанное на Дельфийских воротах. Но, когда человек всей волею своею, всем помышлением своим говорит Богу «Ты Еси», Отец ему отвечает: «Познай себя» и дарит ему алмаз с именем: «аз есмь». Человек в священном страхе возвращает подарок:

Мне ль «аз есмь» изречь не святотатство?
Мне ль приять алмазную скрижаль?

...

Мне ли богоравным быть — закон?

...

Сущий — Ты! А я, — кто я, ничтожный?
Пред Тобой в какую скроюсь мглу?
Ты грядешь: пылинкою дорожной
Прилипаю к Твоему жезлу...

Но Отец приказывает властно:

..... «Не прекословь,
Ибо ты еси!
Царский крест неси!...

А Сын смиренно Ему вторит:

— «Коль не омою ног твоих,
Со Мною не имеешь части».

Так — Состязаясь, спорит их любовь.

Человек может вместе с Люцифером истолковать Отчее «Аз-Есмь», как взбунтовавшаяся тварь: «я есмь весь в себе и для себя и от всего отдельно». Он может сказать, следуя Сыну: «Отче, Ты Еси».

Образ соблазнителя-Люцифера двоится (как двоится Мефистофель Фауста). Гордый, самовластный он обещает: «будете как боги». Он сладко льстит:

..... «в себе ты весь,
Бесчисленный! И тверди соревнуя,
От звезд не жди, что сам имеешь здесь».

Сперва он и дает новую волю и новое познание, но дальше (если не сумеет, не захочет человек во-время опомниться) приходит другая, злейшая сила:

..... Новь ранила соха —
И до межи влачилась поворотной
Где пашет Смерть...

Смерть — не зиждительная, не фениксова, а «Смерть вторая» разлагающая, растлевающая. Зловонное гниение — вот он другой образ сверкающего Люцифера-Денницы. В мелопее он не назван, но показан, сквозит (для имеющих очи) сквозь первый облик: «И пахарю мерцает — чья звезда?»

В глубинах сатанинских таится еще и третья личина, страшнейшая Денницы-Лилит: Вавилонская Блудница, пришествие которой на землю «торопит Зверь»; она неотразимо побеждает своей «содомской красотой». «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» (Ап. 17, 2). И все-же: сверканье диадем на головах ее и Зверя затмевается лучами, исходящими от «Жены, облеченной в Солнце». Царство Вавилона рушится от руки нежной Отроковицы, которую первосвященник ввел благоговейно «в затвор святынь, как жертву на алтарь». За Нею, Отроковицей, «лучшим цветом Земли-Эдема» идут «небесного сыны Ерусалима».

И явственней живущих душ раскол
На Змиев стан и племя Голубицы.

Племя Богородицы, род Девы Пречистой — что это? Вестимо — Тайна. Но, ведь тайной остается и возникновение «царя правды», «царя мира», который дал благословение и принес Аврааму хлеб и вино. Он родился «без отца, без матери, без родословия»; он не имеет «ни начала дней, ни конца жизни» (Евр. 7. 2, 3).

Солима белый царь, Мелхиседек!
Без родичей земных, но человек!

Св. Серафим Саровский имел видение: идет Мать Божия и с Нею ап. Иоанн. Указывает Дева Пречистая на него, Серафима, и говорит: «И этот из нашего рода».

«Змиев стан и племя Голубицы» — два царства, два мира... Человеку дано выбирать. Любовь определяет, предопределяет его выбор. «Создали две любви два града; град земной любовь к себе до презрения к Богу; град небесный любовь к Богу до презрения к себе». * Слова эти бл. Августина составляли предмет долгих раздумий В.И., и он стихами передает их в терцинах сонета, которым заканчивается третья часть его мелопеи; лирический цикл этот он называет «Два Града».

Ревнуют строить две любви два града:
Воздвигла ярость любящих себя
До ненависти к Богу крепость Ада;

Селенья Мира зиждут Божьи чада,
Самозабвенно Агнца возлюбя,
Тот умер в ком ни жара нет, ни хлада.

В.И. требует от человека смелого исповеданья своей любви и веры. Выбирай, коль ты жив! Выбор — не только дар, но и долг. Об этом не впервые заговорил В.И. в поэме «Человек». Двенадцатого мая 1904 г. он обращается в стихах к своей родине с горькими упреками, приписывая ее постыдные поражения на войне ее нежеланию выбирать: «Кара постигла тебя».

Зато, что ты стоишь, немея,
У перепутного креста,
Ни Зверя скиптр поднять не смея,
Ни иго легкое Христа.

(Cor Ardens)

«Два Града» написаны в форме венка сонетов. Сперва недоумеваешь, почему поэт избрал такую сложнейшую, изысканнейшую, редчайшую форму для выражения тяжелого переживания, душевного потрясения при виде «неистовства», которое он предсказывал, которое уже начало дышать «из бездны темных сил».

В своем предисловии к «Нежной Тайне» В.И. предупреждает: «Мерилом поэтического (поскольку речь идет о словесном воплощении душевного состояния) служит для меня достоинство формы: не техническое, в тесном смысле слова, ее совершенство, но — в более широком и окончательном смысле — ее художественно-цельное тожество с содержанием».

Как толковать такое тожество — вопрос сложный. Для В.И. это непосредственно означало: чем глубже, задушевнее, пламеннее переживание, тем строже, крепче, холоднее единственно ему адекватная, его художественная форма. Приблизительное, слабое словесное выражение не способно образовать того «прозрачного» покрова, который — *velo sottile* — покрывая, скрывая, выявляет, открывает «несказанное», обращает затаенное переживание в песнь.

Внутреннее пламенение свое В.И. показывает через закрытое окно просвечивающих застеклений. В этом поэтическое целомудрие мастера. Два раза в жизни В.И. для сообщения больших душевных потрясений прибегает к венку сонетов, к форме, которая, казалось бы, более пригодна для игры в словесные упражнения и для просодического акробатизма. Но именно строгость и бесстрастность формы позволяют высказать недренное и предельно интимное.

Налетела смерть и унесла его Лидию; он превращает в венок сонетов страстные строки сонета «Любовь», обращенного в счастливую пору их жизни к Диотиме. * Предстал ему воочию Ужас; люди всего мира «захлебнуться возжаждали в крови». И поэт воплощает напряженное душевное волнение в «круговую песнь» венка сонетов «Два Града».

Чем злее, страшнее, братоубийственнее становилась вражда, тем чрез Ужас, охвативший его душу, В.И. все больше и больше убеждался, что «Человек Един».

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники?
Что Кришна знал и Гаутама, —
По ужаснувшимся звездам
Когда ж прочтут творцы Адама,
Что в них единый жив Адам?

Этими словами кончается первое стихотворение четвертой части мелопеи, озаглавленной «Человек Един». Что все человечество единый Адам — это для В.И. не только утверждение, узрение, но и непосредственное данное сознания, ощущение. В зимний, холодный, голодный день 1918 г. он по делу пошел в незнакомый дом; подымаясь по лестнице, он проходил мимо какой-то чужой квартиры. Открытая входная дверь. Раздается пение. Он остановился. Потом почему-то вошел. — Панихида.

И вдруг:

Отголодавшая старуха,
Под белым саваном лежу.
Священник, фимиамом Духа
Над желтой мумией кажу.

И свечку, чуженин захожий,
В перстах рассеянных держу;
На кости под иссохшей кожей
В недоумении гляжу.

Пропета «Вечная Память». Он очнулся; отделился; нашел себя...
«Людно в храмине Адама: всем забыться там дано». Единичный человек является соучастником вселенских событий в грядущем и в былом; он несет ответственность за все мировые трагедии и за величайшую из них — Голгофу:

Толпе на радость озверелой
Я Человека вывожу
И на него рукою белой,
Пилат Понтийский, укажу.

И — галилеянин пугливый —
За казнь издали слежу;
И — римлянин боголюбивый —
Крест суеверно сторожу.

Но если так —

Что ж я не Он, Кому, как гроздь
Живой лозе принадлежу,
В Кого вхожу, как в длани гвоздь,
На чьей груди я возлежу?

И приходит утешение:

Ведай в сердце благодарном:
Бог не хочет, чтоб навек
Пребывал в смиренье тварном
Богозданный человек.

Отчий Сын Единородный,
Утверди могилой связь,
И в Твою мой дух свободный
Облечется Ипостась.

Эпилог поэмы «Человек» написан в марте 1919 г. Странно: В.И. однажды был поражен неожиданным, незабвенным узнанием: он вдруг

заметил в небесной лазури черную голубизну, он увидел траур в сиянии и услышал голос полуденной печали, сказавшей: — «Я похоронною лазурью осиянна». * То случилось в счастливейшую пору жизни В.И., летом 1903 г. А в страшные дни, в часы тоски и «боли смертной» В.И. непрестанно видел сквозь мрак крошечный сияющий, спасительный свет:

Как Дух творит Даров пресуществленье
Но то ж очам — пшеница и вино,
Так в зримом естестве богоявленье
Сверхчувственного Таинства дано.
«К тебе, Земля, Мое благословенье!»
Глаголет Дух...

Из девяти октав, составляющих «Эпилог», восемь посвящены описанию чудесного видения Соборности:

То сон ли был, принесший на заре
В день праздничный душе свои подарки,
Иль умным взором дух воззрел горе, —
Видения предстали, дивно-ярки:
Воздвиглись пред очами в серебре
Воздушным строем стрельчатые арки;
Скрещенных дуг прорезались углы
Из утренней, из розовой мглы.

Над этими арками другие подымались. «Все выше рос венец узорных дуг... Пока в легчайший свод златоэфирный не стал смыкаться необъятный круг. И свет лился из купола премирный...»

И долго я не мог открыть истока
Той светлости; прозрев, — затрепетал...
Но тонкий облак от земного ока
Застлал Того, кто Голубем слетал
К сафирной Чаше, реющей высоко.

...

Озрелся я: в преображенье новом
Не храм предстал, но мириад родных
Людской собор, как невод, полный ловом.

И все сияли в солнечной одежде созвездиями. И каждое созвездие держал его ангел.

Двенадцать было по черте округи
Верховных ликов ангельских и сил.
Над ними Духа молнийные вьюги
Кружились и влекли весь строй светил.
И что я мнил за стрельчатые дуги,
Сложеньем было духоносных крыл.
Сверкала в крыльях просинью сапфира
Окраина Вселенского Потира.

Последняя, девятая октава является переложением в стихах молитвы к Духу Святому. К ней прибавлены просительные слова о Civitate Dei:

Источник благ, Хоровожатый жизни, *
Град Божий нам яви в земной отчизне.

* * *

Верный своему обычаю теоретически осознавать то, что ему открылось в непосредственном опыте и удалось закрепить в образах, мифах и ритмах, В.И. пишет ряд статей, в которых как-бы комментирует свою мелопею — «Человек». Он видит в том, «что обычно зовут диалектикой исторического процесса — подобный спору Иова, диалог между Человеком и Тем, Кто вместе с образом Своим и подобием даровал ему Свое отчее Имя — Аз-Есмь, дабы земной носитель этого Имени, блудный сын, мог в годину возврата сказать Отцу: «Воистину Ты ЕСИ, и только потому есмь аз. Мой отрыв от Тебя опровергает само бытие мое... Имя, коим я себя именую, сжигает меня Твоим огнем. Ни отменить и истребить этого Имени, ни осуществить его я не могу... Пусть же Твое Имя, которым Ты знаменовал чело мое, будет... светом Отца на челе сына». * Но человек, соблазнившись, стал противопоставлять гордо и самовольно свое «аз-есмь» Творцу. Отец не перестает любить своего блудного сына. Перед лицом Бога человек — личность независимая. «Самостоянье человека — залог величия его». * Самостоятельного человека и хочет Бог. Если бы не хотел, не заключил бы с ним свободного договора или завета. Богоборство предполагает веру в личного Бога и естественно принимает характер библейский: Иаков борется в ночи с Неведомым. Упорствуя в противлении своем Отцу, человек не перестает Его любить, порою ненавдя. Только с потерей любви противление становится дьявольским; человек теряет свой образ.

«Люцифер (Денница) и Ариман, — дух возмущения и дух растления, — вот два богоборствующие в мире начала, разноприродные, по

мнению одних, — хотя и связанные между собою таинственными соотношениями, — или же, как настаивают, согласно с учением Церкви, другие, — два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», — ей же и имя одно: Сатана.» Но, отказавшись, отрекшись от бытия истинно сущего эти два лица «в противоположность божественным ипостасям, нераздельным и неслиянными, являют себя в разделении и взаимоотрицании». Но оторваться они друг от друга не могут, лишены самобытности и «принуждены искать своей сущности и с ужасом находить ее — каждое в своем противоположном, повторяя в себе бездну другого, как два наведенных одно на другое пустых зеркала».

В.И. указывает, что различие и наименование обоих начал есть наследие старинной гностической традиции Запада. Сами имена выдают синкретическое происхождение этой традиции: имя Аримана принесено, должно быть, манихействующими сектами; имя Люцифера взято из каббалистического предания. И В.И. предупреждает:

«Заговорили мы об этих обоих демонах, вовсе не затем, чтобы убеждать просвещенных современников в их реальном бытии. Их характеры столь ярко очерчены и представляемые ими идеи отпечатались в их обликах столь определительно, что противопоставление и сравнение обоих «мироправителей тьмы века сего», по слову апостола, — представляется нам чрезвычайно плодотворным для опознания сил, становящихся в отношении противоборства к положительной религиозной идее.»

В человеке «Люцифер есть сила замыкающая, Ариман — разлагающая». Начало одинокой самостоятельности, своевольного самоутверждения в отъединении от «божественного всеединства» — Люцифер говорит людям «вы будете, как боги» и выполняет свое обещание тем, что человек, раздробленный на множество «как бы божеских» личных волей, вмещает в своем личном сознании все творение и даже самого Бога, вмещает — как идею. Но Люцифер обещает большее, обещает действие и власть реальную: «Ты тот, кто может сказать о себе подобно Богу — «аз-есмы»; итак державствуй над миром, одержи его и содержи в себе как Бог». Но когда человек, подобно Архимеду, потребовал пяди почвы, где бы он мог стать и утвердиться, чтобы двинуть рычагом своего божественного могущества, — искустель исчез; себя же почувствовал человек висющим в пустоте содержимого им мыслимого мира.

И это мнимое обладание творением и самим Творцом, обладание химерическое, в мечте, внутри замкнутой личности вызывает тоску одиночного заключения, ужас пустыни и покинутости, сомнение в собственном бытии, даже до отчаянья. Этим отчаяньем пользуется «дух растления» Ариман, чтобы побудить человека к признанию — «аз-не-есмы».

Люцифер — страшный испытатель: многих душ жажду богоравного бытия раздражил он фосфорическим сверканием своим. «Печальный демон сиял» Лермонтову «волшебной сладкой красотой», Великий Инквизитор видел в нем «могучего, страшного, умного духа». Человеческая культура только отчасти «крещена»; она создается при могущественном содействии Люцифера; «через него мы бываем так красивы смелостью порыва, дерзостью самоутверждения, отвагой борьбы — и пусть даже несчастны, но и самым красивым страданием нашим так горделиво упоены».

Действие Люцифера «в онтологическом смысле для человека не губительно при условии постоянного движения, постоянного преодоления обретенных человеком форм, его самоутверждения новыми формами достойнейшего бытия». Но страшная угроза в том, что за Люцифером, «духом возмущения», по пятам следует «дух растления», губитель Ариман: он при малейшем ослаблении динамических энергий обращает действие Денницы в духовный яд, вызывающий распад люцифериански замкнутой личности.

Человек, чтобы преодолеть испытание, искушение, соблазн Люцифера-Денницы должен найти свое *другое* как точку опоры, должен действием любви найти свое «ты еси». Восходя по ступеням любви, он увидит, узнает Единого Возлюбленного и причастится от него истинному богосыновству». *

Глубокая древность уже знала, что Е I, начертанное на медных вратах Дельфийского святилища, значит — ЕСИ. Древняя душа обрела ЕСИ в колыбели религии. Следующая эпоха утратила это обретение, перестала понимать. «Любопытно, что самое простое и вместе самое духовное толкование (Е I — ЕСИ) не казалось толкователям достаточно содержательным. Архаическая эпоха святила глагол «быть», относя его к бытию божественному; эпоха позднейшая уже не ощущает при этом слове прежнего благоговения, хотя философия, которая в ней возникает из секуляризации древнего, цельного знания, тотчас начинает рассуждать об истинно и мнимо сущем». *

Другая надпись тут-же рядом — «Познай самого себя» — становится понятной в зависимости от слова Е I. Сказав Богу «Ты ЕСИ», человек входит в разум истины и тогда, тогда впервые познает самого себя. Вот что означало соседство напутствий. Такова древняя мудрость. А мы? Нашим величайшим учителем о подлинном «Ты ЕСИ» был Тот, Кто начал проповедь Свою с призыва: «Перемените помыслы» μετανοείτε (Матф. 4. 17). «ОТЧЕ ЕСИ», сказал Сын — «Я и ОТЕЦ — ОДНО».

В какой-то час внутреннего замешательства и душевной смуты В.И., следуя семейному обычаю своей матери, гадал по Евангелию. Вышло:

«Никто не приходит к Отцу как только через Меня» (Иоан. 14. 6). Когда В.И. говорит про особенность апологетики Достоевского, заключающуюся в том, что любовь к Христу приводит к Богу, а вовсе не выводится из веры в Бога, то он рассказывает и о своем духовном пути: «За скрытое, трансцендентное бытие Бога ручается видимое земное бытие Христа».

* * *

Лишь тобою одолен
Был мой плен
Своеволя и гордыни:
Твой посев в глухой крови,
Бог любви,
Розы выросил в пустыне!
(Человек)

Любовь, поющая «ты еси» — одна способна заглушить «Песнь Разлуки». Сатана заинтересован во Вселенской Разлуке. Люцифер вызывает ее тем, что восстанавливает всех против всех, замыкая каждого. Он возбуждает страсть к стяжанию, подстрекает к жадности и зависти; его орудие — ненависть. Ариман идет дальше: он посягает на самою любовь: он пытается погубить ее не ей противоположными вражескими силами зависти и ненависти, он ищет разложить ее изнутри, исказить, развратить. Его орудие — растление.

Из двух противоборствующих начал эмпедокловой космогонии не только *νεῖκος* (ненависть) питает и множит зло Вселенской Разлуки, но (и, пожалуй, в большей еще степени) — сама *φιλία* (единящее влечение) в своей болезненной немощи: принцип внутренней диссоциации отнюдь не сводится к одним разрушительным, губительным инстинктам, порождениям и следствиям бешеной и непрестанной борьбы отдельных индивидуумов и целых народов за свое существование против существования других; он вызывает еще и противоестественный, роковой раскол между бесчисленными существами, которые глухо зовут друг друга в слепом влечении, которые только и жаждут единения, и только в единении могли бы вполне воплотиться и осуществить, раскрыть таящиеся в них жизненные и творческие возможности.

Основная причина раздробленности мира заключается не столько в драматическом взаимоотталкивании ненавистного, сколько в трагической, существенно противоречивой, убийственной распре соприродного, друг друга восполняющего.

«Адаме!» — Мать-Земля стенает,
Освободитель, по тебе.
А человек не вспоминает,
В братоубийственной борьбе,
О целого единой цели...
И Солнце тонет в багреце;
И бродит мысль — не о конце ли? —
На бледном Каина лице.

(Человек)

— «Творящей Матери наследник», человек, коего откровения с надеждою ожидает вся тварь (Рим. 8. 19), человек, которого София вечная играя учила Премудрости (Притч. 8. 30-31) — неужто он все забыл и в беспамятстве безумствует?

О «первопамяти Бытия» шелестят цветы полей, шепчет море... На «башне» В.И. писал «Песни из Лабиринта», песни о воспоминаниях, в которых вспоминается то, чего не было в мимотекущих днях. Одна из песен называется — «Знаки».

То пело ль младенцу мечтанье?
Но все я той песни полн...
Мне снится лучей трепетанье,
Шептанье угаданных волн.

И там, в незримом просторе,
За мшистой оградой плит, —
Я чую, — на плиты море
Волной золотой пылит...

Чуть шепчет, — не шепчет, дышит,
И вспомнить, вспомнить велит, —
И знаки светом пишет,
И тайну родную сулит.

(Cor Ardens)

* * *

Быть значит *быть вместе*. Вот лейтмотив жизни и творчества В.И. Двадцатилетним юношей, всматриваясь в отношения людей, где «всяк — соперник всем, и делит всех раздор», он начинает мечтать о «Все-ленской Общине». В период «башни», в предчувствии надвигающейся бури, он призывает к восстановлению руководящего, единящего хора греческой трагедии. В разгар мировой войны перед ним разверзлась

«бездна ужасающая и сияющая»: Он начал догадываться, что все человечество — *один человек*. «Да будут все едино» (Иоан. 17. 21).

В самом начале 1915 г. В.И. кончает свое первое стихотворение мелопеи «Человек» упоминанием космического Адама:

..... ангела и зверя
И лики всех стихий навек
В себе замкнул, кто, лицемера,
Назвал личину: Человек.

А в октябре 1916 г. он настаивает, обращаясь к Человеку:

Есть лишь Бог — и ты: вас двое.
Создан ты один Творцом.
Все небесное, земное —
Ты пред Божиим лицом.

В июле 1915 г., дописав «Два Града», В.И. ставит подзаголовок: «Венок сонетов из лирической трилогии ‘Человек’.» Он считал поэму оконченной. Но, когда при виде хлынувшей «из подполья» душ людских, грязной, кровавой волны ненависти, злобы и зависти, В.И. радостно почувствовал как

Совершается Церковь, когда
Друг другу в глаза мы глядим —

он прибавляет к трилогии новую часть «Человек Един» и обращает в EPHYMNION поэмы стихи 1916 г. о вселенском Адаме. Стихи те, ненарочито вторившие первым строфам «Человека», сопрягают конец мелопеи с ее началом.

В 1919 г. В.И., закончив четвертую, непредвиденную часть мелопеи — «Человек Един», следует естественной потребности понять, осознать, истолковать представшие ему образы и мифы: он крестит свое непосредственное узрение «в ясном Иордане идей» — в эллинской речи — именем *Монантропизм* (μόνος ὁ ἀνθρώπος) и обстоятельно излагает свои раздумья о морфологии нового сознания и кризисе старого гуманизма. Он пишет статью — «Кручи». *

Страшен чорт, когда он грубо действует как «сила противления»; еще страшнее он, когда выступает в роли поддакивателя. Теза Божьего «Аз-Есмь» и антитеза человеческого «аз-есмь» объединяются *синтетически* под знаком вселенского Ты ЕСИ. «Все три вершины этого треугольника святы.» * Люцифер играл на *поддакиваньи антитезе*: он уговаривал человека сказать «аз-есмь», но превращал это священное имя в пустой звук, в самодовлеющее «отвлеченное начало». Идущему за ним Ариману легко было, пользуясь иллюзорностью реальности, обра-

тить тварное, ставшее мнимым «аз-есмы» в окончательное — «не-есмы». (μῆ) ὦν становится οὐκ ὦν как говорил Платон). Сам Ариман играет на *поддакивании синтеза*:

Быть значит быть вместе. Но находиться вместе — вовсе не значит *быть*. Не всякое единение — благо. Ариман поддакивает: «Соединяйтесь, соединяйтесь!» Но подстрекает: «Объединяйтесь в ненависти, совокупляйтесь в сладострастии, теряйте себя!» Соединение посредством разрушения бытийственного состава личности являет полное уничтожение человека, «грудю тлеющих костей», и называет оно себя то «я», то «мы», «легион, ибо нас много» (Лука 8. 30). Так Ариман извращает смысл Вселенского Единства. «Люди совокупятся, — говорит чорт Ивану Карамазову, — и всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения».

«Возможно ли это угашение и разрушение духа? Иоанново Откровение таинственно говорит о смерти второй...» * Если «отдавая свою душу», мы не определили посредством любовного договора центра ее вне ее самой, тогда наш отказ от личности станет обезличьем во славу духа зла.

Трансцендентальной основой такого дьявольского совокупления является стремление отменить, уничтожить пространство: *стремление уничтожить*, потому что пространство неуничтожимо.

Совьются времена — в ничто; замрут часы;
Ты станешь, маятник заклятья.
Но стойкий ваш покой все чертит крест Распятья,
Неумолимые Весы.

(Cor Ardens)

Пространство в его отрицательном действии есть само разъединение, уединение. Оно является непосредственным выражением «принципа индивидуации» и потому делает все друг другу чуждым, далеким, недоступным, непроницаемым. Однако, нам удастся порою обнаруживать его положительную ценность. Это происходит, когда пространство, продолжая разделять протяженные вещи, образует тем не менее их соединительную среду. Такова его роль в изобразительных искусствах, особенно в архитектуре. Безнадежной была бы в данных условиях нашего сознания попытка представить себе преобразенное пространство: такое узрение доступно лишь совершенному, духовному, софийному разуму.

Ипостась священна и нерушима. В единении личности должны оставаться «нераздельными и неслиянными». А условием неслиянности при предельном единении является пространство. — «Мы две руки единого креста».

Правое и благое соединение есть *Соборность* — «соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной, творческой свободы, которая делает каждую изглаголаным, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово каждой находит отзвук во всех, и все — одно свободное согласие, ибо все — одно Слово.» *

Воля к такому благу соединению есть не доля избранных, а долг всех. «Соборность — задание, а не данность, и ее так же нельзя найти здесь или там, как Бога. Но, как Дух, она дышет, где хочет, и все в добрых человеческих отношениях ежечастно животворит». * Если человек, отдавая свою душу сумеет всем сердцем своим и всем помышлением своим сказать Богу «Ты Еси и потому есмь аз», если он сумеет сказать Христу в лице своего ближнего: «ты еси; вот я; я есмь, потому что ты еси», тогда он вновь обретет свою душу, начнет жить воистину.

Так открывается путь к достижению высшей духовности, теофории, которая делает человеческое существо в высшей степени личным, и в высшей мере вселенским. Так предуготовляется торжество Царствия Божия, тот День, когда таинство, которое Церковь называет «*Complinio Sanctorum*» станет событием явленным, осязаемым, естественным, как дыхание, — и *пространства в его разъединяющем, разлучающем действии больше не будет.*

В одном из своих стихотворений В.И. описывает звездное небо. Поэта поражает это зрелище потому, что в этот миг, в этот единый миг, он видит мириады звезд не там, где они светятся ныне, а там, где они находились в разные времена — и нам, и друг другу близкие и далекие. Он знает себя живущим в настоящее мгновенье и, точно в сказке, знает себя современником давно ушедших годов. И это дивное видение волнует его сознанием, что вот в этот единый миг он сочетает в душе своей жизнь различных эпох, разделенных веками. *Единое пространство, охватываемое единым взором, связало здесь наглядно распавшуюся связь времен.*

* * *

Войну против Божьего Агнца в своей родной стране, В.И. переживал тяжело. Но он задолго до того уж предвидел, что придет пора, когда

О берег все, чем дно богато,
Волною мутной станет бить.

А еще крепче, глубже и утешительнее знал он другое: то, о чем он еще в «Кормчих Звездах» писал в «Стихе о Святой Горе». * Вера в церковь «невидимую, заповеданную» и спасение чрез нее никогда не покидала В.И. «Славить славу Божью» всеми отпущенными ему силами, он всю жизнь считал своим долгом и счастьем.

В первые годы Октябрьской революции часто устраивались открытые диспуты на политические, экономические, религиозные темы. В.И. на них часто выступал в защиту религии. На одном из таких диспутов ему случилось говорить сразу после Наркома Просвещения А.В. Луначарского. Диспут происходил в большой аудитории Политехнического Музея при тысячной толпе. Луначарский был хорошим оратором. Красноречиво провозглашал он чистый атеизм. Гром аплодисментов раздался после его речи. Вышел В.И. на эстраду. Тихим голосом (всюду слышен был этот тихий голос), он точно сообщая заветную тайну, говорил о Христе и Антихристе, о Боге страдающем, о Божьих угодниках, которые «ставят церковь соборную, богомольную», храм невидимый, о России, которая спасется только потому, что за нее не перестают бороться и молиться героические исповедники веры, святые мученики. Он читал стихи, рассказывал легенды. Толпа слушала зачарованная. Когда он кончил, умолк — осталась тишина. Она ощущалась как присутствие. ... Вдруг она исчезла от взрыва рукоплесканий.

Чем мучительнее, болотистой делался быт, тем острее, живее становилась тоска по подлинному бытию: образовывались кружки, собиралась молодежь, жаждущая знаний, восприимчивая. Слушатели, ученики приходили нищенски одетые, замороженные, голодные, но восторженные, духовно горящие. В.И. любил беседовать с ними о религии, о поэзии, об Элладе; он учил их стихосложению, открывая «многострунность в ладе и строе речи», завлекал их в «стихию языка», где «искони посеяны» и умозрение народа и его святость. Он советовал, требовал блюсти чистоту языка: «не умрет народ пока жива родная речь».

Когда в 1918 г. образовался театральный Отдел Наркомпроса, В.И. стал там работать. То было местом встреч его со многими старыми друзьями из литературного театрального мира. Заведовала Отделом О.Д. Каменева, женщина тактичная и умная; ей приятно и лестно было оказывать покровительство значительным людям, которые оказались под ее началом, и она старалась (поскольку это было тогда возможно) не стеснять их творческую волю.

* * *



Вячеслав Киванов, окруженный учениками. По правую руку его — В.А. Мануйлов, по левую — М.С. Альтман.
Баку 1923 г.

Лидия В. Иванова. Баку 1923 г.



Димитрий В. Иванов. Рим 1924 г.



Жизнь позволяет себе парадоксы: то, чего всегда хотелось и никогда не удавалось осуществить трем представителям русского религиозного символизма, исполнилось в самый казался бы неподходящий, невозможный час.

Они все трое объединились вокруг своего журнала, объединились именно тогда, когда все журналы кроме правительственных и марксистских закрывались и, когда сами они полагали, что внутренне невозвратно разошлись. Близкая, восторженная дружба Блока с Андреем Белым рухнула задолго до революции. С Белым у В.И. отношения были дружеские неизменно (если и поскольку к Белому применимо понятие постоянства): «Петербург» в его первых набросках писался на «Башне», где Белый подолгу гостил. На заглавии, таком ответственном, настоял В.И. Потом в Москве Белый часто посещал старого друга. Их споры о «докторе Штейнере» и антропософии, в которую Белый горячо и безуспешно пытался обратить В.И., бывали бурными, но не переходили в серьезные столкновения. Белый вскидывался и опадал, а В.И. добродушно относился к его вспышкам. Но, вскоре после октябрьской победы большевиков, в пору хаоса, нелепых арестов и убийств, ворвался однажды Белый к В.И.: «Вячеслав! Ты узнаешь, узнаешь? Ведь советы — это твои оркестры. Совсем, совсем они!» Тут В.И. возмутился, распалился: «Твои слова кощунство! Надругательство над эллинской душой и над хоровым началом в душе русской!» Они наговорили друг другу много колкостей и перестали встречаться.

С Блоком у В.И. отношения были внутренне сложные: Блок всегда считал В.И. вождем русского религиозного символизма и утверждал, что он сам лишь «конкретизирует» его мысли, «раскрывает его терминологию». * Он признавал песенный «мир» В.И. «чудесным» и его самого «царем самодержавным». Но в тех-же стихах 1912 г., где он, описывая ночь 1905 г., когда «нам судьбы диктовала Восстанья страшная душа», вспоминает:

И в этот миг, в слепящей вьюге,
Не ведаю, в какой стране,
Не ведаю, в котором круге,
Твой странный лик явился мне...
И я, дичившийся доселе
Очей пронзительных твоих,
Взглянул... И наши души спели
В те дни один и тот же стих.

— в тех-же стихах он отрекается от близости и дружбы:

Но миновалась ныне вьюга.
И горькой складкой те года
Легли на сердце мне. И друга
В тебе не вижу, как тогда.
Как в годы юности, не знаю
Бездонных чар твоей души...
Порой, как прежде, различаю
Песнь соловья в твоей глуши...

Отчуждение получилось потому, что Блок чувствовал, как В.И. не любит метели, завывающие снежные столбы, не любит «слепащие вьюги» диких революций, которых дионисийский провозгласитель и призыватель «правого безумия» считал «безумием неправым», только губительным.

В.И. высоко ценил и нежно любил Блока. Он не мог без слез читать «Розу и Кресть»: — «Радость, страданье — одно»... Он говорил, что блоковский миф о Незнакомке уводит в «дали далекие» духа; стихи те его всегда, и всегда по новому, волновали и восхищали —

Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка.
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучены
Пронзило терпкое вино.

В.И. никогда не забывал, что они «оба таинственно крещены Соловьевым»; приезжая в Петербург, он всякий раз прежде всего направлялся в знакомый ему цветочный магазин и посылал Блоку связку роз. А Блок часто говорил, что они «об одном» и, что он толкует трудные высказыванья В.И. Между ними установилась какая-то внутренне затаенная, молчаливая и глубокая связь. Но бытовой интимной близости между ними не было; они даже не перешли на «ты».

В 1918 г., когда разгоралось гонение на Церковь, Сергей Булгаков

принял священство. В.И. присутствовал на его посвящении. Дружба их углубилась. В феврале того-же 1918 г. В.И. прочел «Двенадцать» Блока. — «В белом венчике из роз/ Впереди Иисус Христос». — Как?! Впереди такой мерзости! В.И. огорчился и отошел от Блока.

И вот появился человек, неизвестный, на четверть века родившийся после В.И., в издательском деле до смешного неискушенный, совершенно безденежный, ни одним из трех (под знаком Соловьева стоящих) поэтов незнакомый и о расхождении их ничего не знавший. Он обожал Блока и решил «объединить символистов». Со смелостью, внушаемой неведеньем, он преодолел все трудности, о существовании которых и не подозревал, простодушно ухитрился примирить трех друзей (чему сами они были чрезвычайно рады) и собрать их вокруг, созданного им издательства «Алконост» и журнала «Записки Мечтателей», прекрасного вкуса и высокого духовного и художественного уровня. *

* * *

Приближался 1919 г. В доме, где жил В.И. лопнули трубы отопления, стены промокли, стали разрушаться; в квартире лед. Все заболели. Удалось добыть три комнаты в отапливаемом доме на Арбате (его не любил В.И.) в Афанасьевском переулке, куда со своего милого Зубовского Бульвара в чужую квартиру, брошенную прежними, убежавшими за границу, владельцами и заселенную случайными жильцами Ивановы въехали нежелательными уплотнителями. Люди в квартире были неплохие и даже более или менее культурные: отвратительным, мегерообразным существом являлась лишь какая-то не то родственница, не то «домработница» хозяев, старавшаяся делать ад на кухне. Но — все общее, некуда укрыться. Грязь развелась невероятная; дом наполнился неприятными насекомыми всех родов, с которыми невозможно было бороться; по квартире бегали мыши и крысы, перед которыми В.И. испытывал мистический ужас. Обиднее всего было, что жертва, принесенная ради топлива, оказалась совершенно напрасной: отопление в новом жилище прекратилось вскоре после вселения в нее.

Сам В.И. считал противное сожительство в той квартире трудным, но в должное время пришедшим испытанием: ведь именно в те годы он утверждал, что «Человек-Един».

И гордости гасимой вот итог:
В узилищах с немилым я свяжем,
Пока к тому, кого любить не мог,
Не подойду с прощеным поцелуем.

1919 год. Жизнь становится все утомительнее, изнурительнее. В день Благовещенья (25 марта ст. ст.) от истощения умерла Замятнина. Существовать стало еще труднее. Замороженную, гнилую картошку достать — и то счастье. В.И. изнемогает. Порою чувствует себя умершим;

И мнится, здешний я лежу на дорогах,
Уставя к небу мертвый, острый лик.

Но — «плоть немощна, дух бодр» —:

О, не ищи под саваном меня!
Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный,
Я ж истинный, плотскому изменя,
Творю вдали свой храм нерукотворный.

Зима. Холод до окоченения, голод до потери сознания. Жена и дети В.И. больны; живут в загородной санатории, в нескольких верстах от Москвы. Наступает 24 декабря. «Земля несет под сердцем бремя». В.И. в открытых санях, замерзший, голодный, полумертвый от усталости едет на Праздник в санаторию, к семье. Не в первый раз он, «полуденных лобзаний сладострастник», пробирается по «кладбищу сугробов», под «реквием метели ледовитой». Он не ропщет: это — опять его испытывает «вождь глухих его дорог». Дух бодр...

Безвестье тут, беспамятство, застылость, —
А в недрах — Солнца, Солнца рождество.

В конце 1919 г. и в начале 1920 г. В.И. пишет «Зимние Сонеты», из которых взяты, приведенные строки стихов. Сонетам этим ответило близкое и далекое сочувственное эхо: их переписывали, читали без конца; многие их знали наизусть. Через сорок пять лет после их появления Анна Ахматова, говоря о В.И. вспоминает *: «... что он мог в 1919 году, когда мы все молчали, претворить свои чувства в искусство, вот это что-то значит».

* * *

В мае 1920 г. Александр Блок приехал в Москву для первого со времени революции публичного выступления со своими стихами. После блестящего «авторского литературного вечера» в переполненной аудитории Политехнического Музея Блок согласился читать стихи для небольшой группы друзей и литераторов. Было устроено никакими афишами не возвещенное собрание, разрешенное официально, но закрытое, в частной квартире. Присутствовало человек двадцать,

двадцать пять. В первом ряду В.И. сидел среди других поэтов и ученых. Блок много читал, «как командор ходил по строчкам». * Когда смолкли аплодисменты, раздалось тихо и внятно скандированное слово: «Незнакомка». То был голос Вячеслава Иванова. Блок к нему обернулся. Они, точно зачарованные, долго смотрели друг другу в глаза... Блок прочел «Незнакомку» и, сколько его ни просили больше ничего в тот вечер не читал. С В.И. они отошли к окну и тихо о чем-то говорили. Обнялись. Попрощались. Они не знали, что растаются — навсегда.

Друзья В.И. выхлопотали для него разрешение провести два месяца в одной из московских здравниц «для работников науки и литературы». В те годы некоторые «буржуазные» особняки были обращены в санатории, где находили приют и отдых замученные и переутомленные люди умственного труда. В скромных, но по тогдашним понятиям роскошных, комнатах «здравниц» можно было порою встретить на ряду с посредственными «работниками» и изысканнейшую элиту русской духовной жизни той поры.

В комнате, ему отведенной, В.И. к радости своей встретил старого друга своего Михаила Осиповича Гершензона, «русского Маколея», как его называли. Люди они были диаметрально противоположные, но друг друга понимали, ценили и любили. В «Нежной Тайне», в стихах, озаглавленных «Совесть» и посвященных Гершензону В.И. писал:

Когда отрадных с вами встреч
В душе восстанавливаю повесть
И слышу, мнится, вашу речь, —
Меня допрашивает Совесть:

«Ты за день сделал ли, что мог?
Был добр и зряч? правдив и целен?
А чист ли был, скажи, твой слог?
И просто, друг, ты был ли делен?»

То Совесть мне... А вот пример
И ваших (мнимых) слов поэту:
«Признайтесь, Пушкин» — (старовер!) —
Одобрил бы строку — хоть эту?»

Еще б!... А, впрочем, помолчу.
Кто — геометр; кому — быть зодчим...
Но, не в пример зоилам прочим,
Все-ж вам понравиться — хочу.

Друзья заняли каждый по углу в их общей комнате и, по старому обычаю, по целым дням что-то рассказывали и спорили. Сказал

однажды сосед соседу: «Мы слишком много разговариваем и мешаем друг другу заниматься; давайте лучше обмениваться письмами». — «Отлично, — отозвался насельник противоположной стороны общего 'квадрата', — у нас получится 'Переписка из двух углов'.»

Русская октябрьская революция (как великая французская революция, как все народные катаклизмы) всколыхнула одновременно и страсть к уничтожению и волю хранительную; взаимное противоборство этих сил обычно выражается в умственной сфере спором о ценности культуры.

«Мы с Вами, дорогой друг, диагональны не только по комнате, но и по духу», — писал Гершензон Вячеславу Иванову. Иванов вторил: «У нас с Вами нет общего культа». И через десять лет, говоря о той «Переписке», * он характеризует тот спор о культуре как «une singulière réévocation du sempiternel et protéique débat entre le réalisme et le nominalisme».

Позднее, по выходе из здравницы, следуя предложению «Алконоста», В. Иванов и М. Гершензон согласились опубликовать непосредственную запись их спора. Книжечка появилась в Петербурге в 1921 г. * *Habent sua fata libelli*: какой-то экземпляр «Переписки» был вывезен за границу, переиздан по-русски, переведен на немецкий, французский, итальянский, испанский языки. Случайно возникшая книжечка имела огромный успех: известный, изысканный критик Шарль Дю Бос усмотрел в «Переписке» свидетельство о «l'opposition contemporaine fondamentale, celle qui marque le partage des eaux entre le salut du thesaurus et la hantise de la tabula rasa»*

Видный немецкий литературовед Эрнст Роберт Курциус* в книге, посвященной вопросам духовной культуры, подверг серьезному разбору идейный состав спора в московской здравнице, высоко оценивая «Переписку» как «самое важное из сказанного о гуманизме после Ницше». Когда вторая мировая война вновь возбудила интерес к вопросам о культуре, вспомнился тот спор, который происходил во время русской революции в маленькой комнате, между двумя углами: «Переписка» была в 1947 и 1948 гг. напечатана на страницах двух разных журналов в двух разных переводах по-английски. В 1946, в 1948 и 1949 гг. она была опубликована по-немецки тремя разными издателями в Германии и в Австрии. Готовится новое французское издание и предполагается итальянское.

«Переписка»,* состоящая из двенадцати писем, началась 17-ого июня 1920 г. Гершензон, всю жизнь проникновенно и с тончайшим мастерством занимавшийся нахождением и научным использованием материалов по русской духовной культуре, блестящий историограф русской мысли XIX в., признается: «Устал я нести непосильное бремя...

Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте, оно общее и чужое... И потому, что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность леденит мою душу. Несметные знания — на что они мне?... в смертный час я, конечно, не вспомню о них... Хорошо было бы кинуться в Лету, чтобы бесследно смыть с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии...»

В.И. всегда порицал такое бегство. Броситься в Лету, в беспмятство, скитаться по пустырям,

Где заносят непогоды
Безымянные гроба —

ведь это значит покинуть наших духовных отцов, изменить им. Внутренняя жизнь и жизненная сила культуры есть прежде всего память об умерших. «Мнемозина — Вечная Память: вот другое имя той преемственности общения в духе и силе между живущими и отшедшими, которую мы, люди овеществленного и рассеянного века, чтим под именем духовной культуры, не зная сами религиозных корней этого почитания. Культура — культ отшедших, и Вечная Память — душа ее жизни, соборная по преимуществу и основанная на предании». * И В.И. пишет обитателю противоположного угла их комнаты: «Дорогой друг, то умонастроение, которое Вами в настоящее время так мучительно владеет, существенно происходит из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как системы тончайших принуждений. Для меня же она — лестница Эроса и иерархия благоговений... благоговения же мои свободны и каждое осчастлиливает мой дух... Культура есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщается этим посвящениям. Ибо последние были даны через отцов для отдаленнейших потомков, и ни одна иота новых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого человеческого духа, не пройдет. В этом смысле не только монументальная культура, но и инициативна в духе. Ибо память, ее духовная владычица, приобщает истинных слугителей своих «инициациям» отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов». * Мы призваны организовывать Память, творить ее знаки на земле. Культура есть культ Памяти. «Будет эпоха великого, радостного, все постигающего возврата... это будет чудом Памяти, — Первопамяти человечества». *

Оптимизм? Было бы совершенным неуразумением сделать такой вывод из раздумий В.И. Служитель Памяти, он с грустью видит, что наша «культура» уже давно живет не Памятью, но расточается в мареве

случайных, преходящих воспоминаний, что в нашей жизни и деятельности мы предаем память и служим забвению Духа Истины, тщательно организуем беспамятство. Ведь вспоминать не значит помнить; вспоминать можно — забывая.

«Что такое 'décadence'? Чувство тончайшей органической связи с монументальным преданием былой высокой культуры вместе с тягостно горделивым сознанием, что мы последние в ее роду. Другими словами, омертвелая память, утратившая свою инициативность, не приобщающая нас более к инициациям (посвящениям) отцов и не дающая импульсов существенной инициативы». * Культура, лишенная инициативы, цивилизация, оторванная от своих корней, «инстинктивно прибегает к воспоминаниям, придающим ей на время некоторый блеск, прибегает к этим паллиативам-возбудителям, чтобы защититься от забвения, которое грозит ей смертью.» Обращаясь к беспочвенным воспоминаниям поэт восклицает: «Не вас зову я...» *

И В.И. рисует страшную картину духовного разложения нашей культуры и личности. Уныние? Отчаянье? Жуткую повесть духовной разрухи В.И. вдруг прерывает улыбкой: «... я охотно сознаюсь, что Кассандра во мне никогда не выдерживает до конца своей роли.» *

В.И. не допускал благополучного постепенного прогресса в истории. Его чувство человеческой судьбы глубоко трагично. Но, несмотря на все, вопреки всему, он верил в победу «плачущего в нас младенца» над разрывающими его титанами:

Пою: железным поколениям
Взойдет на смену кроткий сев;
Уступит и титана гнев
Младенческим богоявлениям
(Человек)

* * *

Спор о культуре «из двух углов» закончился письмом от 19 июля 1920. Через несколько дней оба друга покинули здравницу. За свое пребывание в ней В.И. написал четыре сонета о страсти и смерти; отнюдь не вторят они бодрому тону писем, которые он посылал другу из своего угла. Вернувшись домой в конце июля, В.И. к тем четырем сонетам прибавил еще четыре сонета и назвал весь цикл «De Profundis amavi».* Сам он не знал каким темным безднам души нечаянно нашел словесное знаменование.

В марте 1914 г. В.И. написал стихи — «Сомнение».* Стихи посвящены «Ее Дочери», но первая строфа — вся о Лидии: поэт рассказывает, как

«легкий сон» приводит Любимую и вновь ее похищает. Вторая строфа о Вере: кто знает о том сне

Поймет мой смутный страх,
С надеждою делимый, —
Когда в твоих чертах
Мелькнет неуловимый,
Тот свет, что я зову,
Тот образ, что ловлю я, —
Мой страх, что наяву,
Как та, кого люблю я,
Истаешь ты, — что сплю я,
Пока тобой живу.

Смутный страх этот, как страшное предчувствие, то явно, то тайно присутствовал в душе поэта. Он не сразу догадался, что песни «De Profundis» были продиктованы тем предчувствием. Последний из восьми сонетов был написан 5-ого августа, в день рождения Веры; ей в тот день исполнилось тридцать лет. Стихи отнюдь не праздничные:

Из глубины Тебя любил я Боже,
Сквозь бред земных пристрастий и страстей,
Меня томил Ты долго без вестей,
Но не был мне никто Тебя дороже.

Когда лобзал любимую, я ложе
С Тобой делил. Приветствуя гостей,
Тебя встречал. И чем Тебя святей
Я чтил, тем взор Твой в дух вперялся строже.
Так не ревнуй же!...

Сонет оборвался на этой первой строке первой терцины. На третий день, восьмого августа Вера умерла. Она долго хворала, но никто не предвидел столь близкого конца. Ее, доведенную голодом и холодом до полного истощения сил, В.И. еще в 1919 г. хотел повезти для лечения за границу. Ему отказали в выезде за пределы России. Узнав об отказе, Вера покорно сказала: «Это мой смертный приговор». Не прошло и года как она скончалась... Смерть ее была для В.И. ударом неожиданным. А последний терцет одного из сонетов, написанного в здравнице, предвещал:

..... учусь прощаться с милым:
Перст медленный свершит урочный круг, —
И молот по сердцу ударит вдруг.

Без малого тринадцать лет прошло с тех пор как В.И. в полном разгаре своей славы и в полном расцвете жизненных и творческих сил счастливо и спокойно жил в Загорье с Лидией Дмитриевной. Десятого октября 1907 г. В.И. стал писать сонет — неожиданно какое-то мрачное предсказание:

Моя любовь — осенний небосвод
Над радостью отпразднованной пира.

Сонет оборвался перед первой терциной. На седьмой день Лидия умерла.

* * *

Провести еще одну зиму в московской стуже представлялось В.И. ужасным: — «дети погибли, как погибла она». Прочь от холода, от дома, по которому бегают большие, рыжие, голодные крысы, от мест, несущих воспоминания, которые превосходят моготу душевных сил. По дорогам грабили; всюду вспыхивали военные стычки между «красными», «белыми», «синими», «зелеными» и проч., и проч.; поезда останавливались за недостатком топлива, и пассажиры бегали в лес рубить деревья... «все равно, Бог милостив, как-нибудь доедем». Добившись разрешения покинуть Москву под предлогом какой-то командировки на Кавказ, В.И. с дочерью и сыном тронулся в путь. Они пробыли месяц в Кисловодске и, выгнанные начавшейся там войной, с трудом добрались до Баку. В Баку В.И. оказался случайно. Он сразу отправился в Университет в надежде найти работу. Там его ждала неожиданная радость.

В Баку в то время образовалась группа настоящих серьезных ученых, понаехавших со всех сторон. В.И. был с восторгом принят ректором и профессорами Университета. 19 ноября 1920 г. его единогласно выбрали ординарным профессором по кафедре классической филологии. Помещение ему предоставили в самом здании Университета: отвели прежнюю «курилку». В комнате, одной на троих, не было самых элементарных удобств и необходимейших принадлежностей домашнего обихода, но пришельцам из страшного мира новое жилье и новая жизнь показались райскими. *

Почти четыре года прожил В.И. в Баку. За это время он написал одно стихотворение (если не считать шуточных произведений): смерть Веры сказала параличем его поэтического творчества. Но научно он работал много и плодотворно. Он закончил большое исследование «Дионис и Прадионисийство» * и предложил его факультету как диссертацию

на степень доктора. Так восемь из двенадцати глав книги стали предметом публичного диспута в открытом заседании историко-филологического факультета. Оппонентами В.И. были профессора А.О. Маковельский, Л.Г. Лопатинский, Е.И. Байбаков и А.Д. Гуляев. В шуточной форме Байбаков описал это торжественное заседание, охарактеризовав и речи оппонентов и возражения на возражения самого В.И. Иванова. Маковельский и жена его запомнили те стихи; они недавно были опубликованы: *

По приглашению Ишкова,
Сюртук одернув, с места встав,
Свое вступительное слово
Пропел собранью Вячеслав.

Начался диспут. Выступает
Философ с пасмурным лицом,
На Вячеслава нападает,
Грозит бедняге кулаком.

Философической системы
Ты не понял, о друг, пойми!
И, о позор, мифологему
С обрядом спутал, черт возьми.

Научной совести не трогай,
Замолкни, дерзкий философ,
Я через миф в обряд дорогу
Всегда отыскивать готов.

Плетешь ты факты слишком смело,
Везде и всюду Дионис,
А где ж, скажи, татап Кибела,
Изида, Аттис, Озирис?

Невыносимее для слуха
Нет ничего таких речей.
Твоя Кибела — потаскуха,
И Дионис не знался с ней!

Я признаю твои буколы.
Одно лишь ты не разгадал:
С похмелья, что ли, Вакх веселый
Вдруг Дионисом мрачным стал!?

Нет, свыше сил моей природы
Истолковать такой трюизм:
Давным-давно уж Эрвин Роде
Истолковал дионисизм. *

Первая книга о Дионисе «Эллинская религия страдающего бога» описывала природу дионисийского экстаза, занималась проблемой дионисийской психологии и мистикой дионисийской жертвы; в новой книге В.И. рассматривает дионисизм как систему понятий, постижений, посвящений, пытается узнавать бога во всех его метаморфозах и миграциях, во всех пересказах о нем: далеко ищет он дионисийские корни Дионисовой религии.

Преподавателем В.И. был превосходным и имел огромный успех. Курсы он читал не только по греческой и римской литературе и греческой религии, но и по русской литературе, и по немецкому романтизму, говорил о поэтике, о Ницше. Вспоминает Маковельский: «Все очень любили слушать Вяч. Иванова. Он читал в первой аудитории, вмещалось туда человек 600 - 1000, собирались студенты всех факультетов, стояли в проходах...» * В октябре 1921 г. факультет поручил В.И. заведывание кабинетом классической филологии. В.И. принимал деятельное участие не только в научной, административной и экономической жизни Университета, но и в культурной жизни всего города. Он участвовал в подборе научных кадров, в устройстве библиотеки, в закупке оборудования, в жилищной комиссии, играл большую роль в организации театра и кино. Никаких должностей помимо вышеуказанных В.И. не занимал. В 1921 г. его выдвигали на пост декана и в 1923 г. на пост ректора, но оба раза он снимал свою кандидатуру. «Некоторое время одна энциклопедия за другой повторяла вздорное сообщение, что он был Наркомпросом Азербайджанской Республики. Это теперь документально опровергнуто». * Он никогда не состоял членом коммунистической партии и уже по одному этому такое назначение было невозможно. За свое короткое пребывание в Баку В.И. успел сформировать нескольких блестящих учеников, которые стали потом «видными деятелями советской науки и культуры». *

В конце мая 1924 г. В.И. был вызван в Москву для произнесения речи на торжественном юбилейном заседании по случаю празднования двадцатипятилетия со дня рождения Пушкина. В переполненном зале Большого Театра, где собрались и представители правительства, и старые интеллигенты, (и проживавшие в Москве и для юбилея приехавшие), и множество всяких «работников умственного и физического труда», — выступили с ответственными речами (как гласили всюду развешенные плакаты) «Нарком А.В. Луначарский и проф.

В.И. Иванов». Так опять после многих лет они встретились на эстраде; и опять, как тогда, речи их противоборствовали друг другу; и опять, как тогда, блестящая атеистическая проповедь и горячий призыв к религиозному обновлению России были встречены одинаковым сочувствием слушателей, одинаковым взрывом бурных аплодисментов.

За время своего пребывания в Москве В.И. удалось выхлопотать разрешение на выезд с детьми в Италию. «Я еду умирать в Рим», — говорил он друзьям. Двадцать восьмого августа он выехал с дочерью и сыном за границу. Проведя по несколько дней в Берлине, Венеции и Флоренции, они приехали в Рим.

«В округе древних алтарей» поэт, несмотря на все, вопреки всему, вновь пережил римское счастье, испытал прежнее «лирическое волнение». Вскоре по приезде он пишет «Римские Сонеты, из которых первый, озаглавленный «Regina viarum», начинается прямым обращением к свидетелю важнейших событий его жизни:

Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.

(Свет Вечерний)

* * *

«Я ее вновь увидел, вырвавшись из круга ее мук — агонию раздвоения души, не узнающей себя в своих внутренних противоречиях и яростно, в отчаянии борющейся сама против себя самой». Так, содрогаясь, думал о своей родине В.И., когда он оказался стоящим на верной, не взрывчивой почве. Он огляделся: вокруг него мир — равнодушный и надменный, издевающийся над мрачными предвестиями, самонадеянный, пресыщенный; вокруг него люди изысканные и извращенные, но духовно примитивные невегласы, готовые все испытать и сочетать при условии, чтобы слова и поступки их не имели никакой действенной силы, инициативной, и ни к чему бы их не обязывали. И вдруг ему стало очевидно, что эта духовная тупость перекликается в какой-то полярной бесовской сопряженности с революционным неистовством. Его охватила гнетущая тоска. И Россия предстала перед ним страшнее чем раньше, когда он был включен в круг ее пыток. Но, всматриваясь в ее страшный образ, он увидел, что чрез искаженное болью лицо явственно проступает другой ее — строгий, смиренный, светлый лик.

В Риме 1924 г. В.И. понял: между двумя волями нет средних позиций. Все сводится к трагической диаде: *δίχα πάντα διέσχισταί* «Пришел час,

когда должно решить идешь ли ты за или против Того, Кто есть единственный предмет ненависти апостолов Ненависти. Пусть каждый выбирает один из двух воюющих Градов». *

В Риме не было слышно похвалы обезбоженного мира, мира, в котором В.И. было больно дышать. Но вот именно там и тогда чувство «вселенской разлуки» стало острее и болезненнее чем когда бы то ни было раньше. Разделение Церквей как аспектов одной Церкви — праведно. Враждебное разделение их — недопустимо. Взаимоотрицание и взаимопоругание христианских вероисповеданий отнюдь не похоже на живое своеобразие ангельских ликов семи Иоанновых Церквей. Ненависть и проклятия в области духовной, да еще внутри самой Церкви Христовой, становились для В.И. невыносимыми.

Думю и сердцем он все чаще и чаще возвращался ко времени своего общения с Владимиром Соловьевым, который за четверть века до того «утвердил» Лидию и его «в церковном послушании русском», и с той поры тихо, медленно, неизменно вел его к соединению со «Церковью Вселенской».

..... Он угас;
Но все рука его святая,
И смертию не отнятая,
Вела, благословляя, нас.
(Свет Вечерний)

Соборность не только задание, она есть условие *sine qua non* истинной церковной жизни. Каждая отдельная христианская Церковь должна быть ликом своеобразным Церкви единой. «Да будут едино, как Мы едино» (Иоан. 17. 22). И чудится поэту, что он слышит упрек Спутника по дороге в Эммаус: «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать...» (Лука 24. 25).

В 1926 г., в день св. Вячеслава в России (4/17 марта) — В.И. пред алтарем св. Вячеслава в Римском Соборе св. Петра прочел формулу присоединения к католической Церкви (не обычную, а особую, составленную Владимиром Соловьевым) и затем в капелле над могилою Апостола, отстояв церковнославянскую обедню, причастился по-православному под двумя видами. На душе было спокойно и радостно: он «в первый раз почувствовал себя православным в полном смысле этого слова», в первый раз задышал полною грудью, обоими легкими; ему уже давно, задолго до той поры казалось, что он лишен одного легкого и задыхается. Соединяя в своем лице православие с католичеством, он не сомневался, что исполняет не только свой личный долг, но и долг своей родины, послушествуя назревшей, хотя и неосознанной, тайной воле народа своего к Единению. *

Он знал, что его будут порицать, что будут возмущаться, но это его не смущало.

Пред святыней инославной
Сердце гордое смирилось,
Церкви целой, полнославной
Предвареньем озарилось...

То не гул волны хвалынской, —
Слышу гам: «Попал ты в лапы
Лестной ереси латинской,
В невода святого папы».

(Свет Вечерний)

Он знал, что его не поймут; он был спокоен.

Еще в 1925 г., жалуясь в частном письме к другу на горечь и тоску при виде духовной разрухи мира, В.И. говорил, что «ближе всех душе блаженный Августин» и, что он чувствует благотворное влияние этого святого на свою судьбу. Неожиданно осенью 1926 г. он получил приглашение переехать в Павию, в тот именно город, где покоится (в знаменитой, по своему художественному совершенству, гробнице) тело блаженного Августина. Стариннейший итальянский Университет Павии поручил В.И. чтение лекций по русской литературе, а тамошнее университетское *Almo Collegio di S. Carlo Borromeo* предоставило ему роскошное помещение и полное содержание в своем прекрасном палаццо чинквеченто с тем, чтобы он преподавал новые и древние языки студенческой элите и помогал пишущим докторские работы студентам беседами и справками по филологии, истории и литературе. *

Там, в полумонастырском уединении, В.И. пересматривал, проверял, переоценивал духовное наследие и культурные достижения человечества. Он с наслаждением перечитывал творения Отцов Церкви. В течение некоторого времени он столь пристально всматривался и проникновенно вдумывался, вчувствовался во дни и труды св. Иеронима, что вообразил, почувствовал себя монахом третьего столетия, которого, как Иеронима, осуждают Ангелы за чрезмерную страсть к древним писаниям: «Ты не христианин; где твой клад, там и твое сердце». То было в январе 1927 года. В.И. пишет свою «Палинодию».

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил,
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?

И слышит он идущий

... с неба зов:

«Покинь, служитель, храм украшенный бесов!»

И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды

Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

(Свет Вечерний)

«Палинодия» отнюдь не свидетельствует об каком-то отречении от Эллады. Она есть эхо, которое «родит поэт», поэтическое самоотжествление с душевной драмой св. Иеронима и — с другой стороны — она является в процессе размышлений о гуманизме диалектической антитезой, за которую непосредственно следует безусловное утверждение гуманизма как «Docta Pietas». Ведь первые христианские философы далеко не все и не всегда отвергали древнюю мудрость. Так св. Юстин, умученный в 165 г., учил, что все прекрасное и подлинно разумное в античных письменах становится достоянием христианства. Светом своим христианство озаряет и выявляет право узренное, но не сумевшее сказаться; оно хранит каждую иоту истинно духовного и делает его приобретением навсегда. «... всех приведу к Себе», говорит Иисус народу (Иоан. 12. 32). «Вселенский анамнезис во Христе — вот цель гуманистической христианской культуры». *

* * *

Келейное уединение В.И. в роскошном палаццо ренессанса нередко нарушалось посещениями французских, итальянских, немецких поэтов, писателей, философов различных толков. К «русскому поэту-мудрецу» в маленькую Павию со всех сторон стекались для бесед видные представители духовной культуры того времени. Бывали встречи душевно и духовно важные и научно плодотворные. Как-то раз нагрянул Бенедетто Кроче в сопровождении нескольких своих последователей; неожиданно образовался целый диспут на религиозно-философские темы. * Наезжали создатели и главные редакторы важных журналов, просили, требовали статей. В периодической печати разных стран появлялись статьи В.И., им самим написанные на соответственных языках. (В.И. всегда обдумывал свои этюды на тех языках, на которых писал. Потому нет не только их русских текстов, но нет ни черновики, ни набросков, ни заметок.) По русски В.И. в ту пору писал, но ничего не печатал. По немецки в Германии была опубликована его книга о Достоевском. *

Осенью 1933 г. В.И. получил от Алексея Михайловича Дмитриевского письмо, сообщавшее о смерти Дарьи Михайловны. Она умерла в Харь-

кове 22 июля 1933 г. После развода и прощания в Москве в 1895 г. В.И. со своею первою женой никогда не встречался: Дарья Михайловна следовала категорическому требованью своей матери, воспрещавшей свидания с Вячеславом. Но запрет такой не распространялся на ее дочку Александру. Дарье Михайловне очень хотелось, чтобы Сашенька ее сблизилась со своим знаменитым отцом. И после кончины строгой мамыши (при жизни ее Д.М. все же не решалась о том заговорить) она послала Сашу в Петербург на «башню». После тихой, провинциальной жизни в Харькове Александра в доме отца своего чувствовала себя чужой и неприкаянной. В.И. помнил ее веселой пятилетней девочкой, прелестно болтавшей по итальянски; в приехавшей к нему испуганной, молчаливой, до болезненности застенчивой девушке он никак не мог узнать прежнего милого ребенка. Он был ласков, но, вопреки всей своей светскости, он совершенно не знал что с нею делать и о чем разговаривать. Возрастом года на три старше Веры, по умственному развитию своему Саша оказалась далеко не на ее уровне и сдружилась со своей «маленькой» полусестрой — Лидией. Они вместе гуляли, но Саша была ко всему равнодушна; она даже не заметила великолепия и красоты Петербурга. Лидии, при всем ее богатом воображении и всей ее заразительной шаловливости не удалось расшевелить и оживить Сашу. Она казалась забитой, истощенной, чего нельзя было объяснить обстоятельствами ее жизни и характером ее воспитания. Ведь она росла единственным, обожаемым ребенком в доме Дмитриевских, и ее наперебой лелеяли мать, бабушка и дядя. Возможно, что недоразвитость Саши была симптомом наследственной в семье Дмитриевских шизофрении. Еще до Октябрьской революции Александра умерла от мозгового заболевания.

Дружеская связь В.И. с Дарьей Михайловной поддерживалась перепиской, которую мать Дарьи допускала. Порою переписка становилась весьма скудной, но она всегда возобновлялась. После отъезда В.И. в Италию, особенно после переезда его в Павию Д.М. стала писать часто, и В.И. ей аккуратно отвечал. Она забрасывала его и Лидию массой, довольно бестолковых поручений, которые ими по возможности исполнялись. На письмо Алексея Михайловича В.И. откликнулся незамедлительно. В ответ он получил некоторые из своих юношеских стихов и писем, хранившихся у Дмитриевских. Вскоре скончался и Алексей Михайлович.

Вины своей перед Дарьей Михайловной В.И. себе никогда не прощал: «Я с Дмитриевской развелся, это было очень сурово и жестоко, но я тогда, видите ли, был нищеанцем... Теперь я это воспринимаю как убийство, ибо жизнь Дмитриевской оказалась совершенно разбитой.» Так корил себя В.И. в Баку, в начале 1921 г., когда он был поглощен

и оглушен недавней смертью Веры и, когда Д.М., не желая изменить свою жизнь (имея на то полную возможность) благополучно пребывала в своей среде, окруженная как в юности заботами матери и брата. Слова В.И. о «вине» записал ученик, с которым он часто и подолгу беседовал на разные научные и личные темы. * И в том-же разговоре В.И. предваряет свое самообличение откровенным сообщением о своем отношении к Дарье Михайловне до венчания, отношении, вскрывающем полную несостоятельность того брака: «В первый раз я женился в Москве, когда мне было двадцать лет и три месяца, на Дмитриевской. Я тогда души не чаял в ее брате. И, может быть, не люби я так брата, не женился бы на его сестре.»

Вопреки тому, что развод никаких трагических событий за собою не повлек, В.И. все же о «вине» своей говорил не только тому ученику, но многим друзьям и до и после тех бакинских бесед. По-видимому — неотвязное чувство вины вызывалось не эмпирическим фактом расхождения супругов, а чем-то другим, «что пало в недра духа», — чем-то инобытийным, что подымалось порою из тех недр на периферию сознания.

* * *

В детстве Вячеслав особенно любил и с волнением до слез слушал сказки о спящей красавице, заколдованной розе, о деве прекрасной, «в чьих-то чарах пленной», и о женихе ее, царевиче, который отыскивает свою суженую, узнает ее и спасает. В отрочестве и в юности Вячеслав читал романы Достоевского по мере того как они выходили в свет. (Ведь мать его не признавала существование недетских книг). Его поразила, глубоко и на всю жизнь, песенка Хромоножки:

Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в своей келейке:
Уж я стану жить, спасатися,
За тебя Богу молитися.

Поразила его нежность этой женской души. Марья Тимофеевна молится не о счастье своем с возлюбленным, а об его душе, и терпеливо ждет его, тоскуя и спасаясь — ради его спасения. * А он? Избранник, носитель крестного имени (σταυρός — крест), изменяет Христу, предается Сатане, но изменяет и ему, изменяет «бесам»; не имея воли стать Иваном-царевичем, он не желает сделаться и лже-царевичем, изменяет всем и всему и вешается, как Иуда. Изменник — он губит всех женщин,

которые устремляются к нему как к суженому. Только верный, «чистый сердцем» жених может хранить и спасти порученную ему душу. Так Алеша Карамазов излечивает свою невесту Лизу. И Вячеславу чудилось, что ему поручена какая-то женская душа, он клялся хранить ее, мечтал стать рыцарем, спасителем любимой, суженой...

Когда под напором внешних семейных требований, Вячеслав решился на брак с Дарьей Дмитриевской, он внутренне, для себя оправдывал и объяснял такое решение вовлечением своей встречи с Дарьей в круг своих тогдашних любимых дум о спасаемой, зачарованной душе. Дашенька стала представляться ему не просто милой, хорошенькой девушкой, но «ангелом чистоты», душой, которую ему поручено хранить и которая, коли он ее покинет, достанется кому-нибудь другому, и этот другой ее обидит и осквернит. И угроза опороченья его ужасала. Конечно, во всем этом было много воображаемого, надуманного, никак действительности не соответствующего: мысль о спасении души светлым женихом была Дашеньке существенно чужда; ни о чем подобном она никогда не думала и не гадала. Но, самому-то Вячеславу во время тех сомнений и решений не минуло еще и двадцати лет, и он во многом был еще совершенный ребенок.

Как бы то ни было: между биографическим событием романа с Дарьей и глубинным строем тогдашних размышлений Вячеслава установилась и сохранилась крепкая ассоциативная связь. И как брак тогдашний оказался сопряженным с идеей о спасаемой душе, так впоследствии случившийся развод ассоциировался с мыслью о роковой измене — Ставрогина, Фауста?... И когда в разные периоды жизни В.И. думал о далекой Дарье, тогда «из глубоких омутов души» его «всплывали глухо печальные звоны», несоразмерно усиливавшие сердечное звучанье раскаянья и вины. Ничьей души В.И. в жизни своей не загубил. А выбери он тогда, когда стоял на перекрестке двух дорог, не тот путь, по которому пошел, хоть и считал его безумным и демоническим — он погубил бы свою суженую, которой грозила реальная опасность гибели и которая ринулась к нему в надежде спасения.

* * *

Религия в смысле душевного события «родилась из 'ты', которое человек сказал в себе тому, кого ощутил внутри себя сущим, будь то временный гость или пребывающий владыка.» Историк, конечно, знает изначальность внутреннего переживания в происхождении религии, но: «Доколе человек называл 'ты' существа вне его 'я' сущие,

religio могла быть только в смысле боязливой почительности по отношению к окружающим человека духам и осторожной 'оглядки' на их скрытое присутствие.» Экстаз есть раскрытие антиномии личности. Создается внутренний опыт, раскалыванья нашего единого я на сферы «я» и «ты».

«Переживания экстатического порядка суть переживания женственной части нашего я, когда Психея в нас высвобождается из-под власти и опеки нашего сознательного мужского начала, как бы погружающегося в самозабвение или умирающего, и блуждает в поисках своего Эроса, наподобие Мэнады, призывающей Диониса.» Духовный стимул, побуждающий Психею к высвобождению, к угашению мужественных энергий, может иметь такую напряженность, что она жертвенно умерщвляет мужское я, «внутренне воспроизводя собою тип Мэнады — жрицы и мужеубийцы. Такова природа экстаза или 'выходения из себя'», которое «в психологическом феномене являет снятие и упразднение граней личного сознания.»

Освобожденная Психея блуждает, ищет лучей духа, исходящих из нашего божественного центра, имя которому в учении браманов — Атман и «Сам», в христианской мистике — Небо и Отец в Небе. «Но эти духовные лучи реализуются для Психеи в ипостаси богосыновства (...) И на зовы Психеи-Мэнады мужское я как бы воскресает из смертного сна и облекается в светлое видение Сына, — если его умопостигаемое самоопределение есть в своей сущности тяготение к 'светлейшему солнцу' и сверхличному средоточию личного бытия, если его последняя сокровенная воля in potentia, — не его воля, но воля Отца.» Тогда Психея узнает своего Жениха воскресшего и преображенного; она сливается с ним; и восстанавливается тогда единство личности, но личность восстановленная «очищена» и «освящена», как говорили древние.

Но мужескому началу в личности предоставлен выбор между богопротивлением и осуществляющимся богосыновством. В случае демонического самоопределения нашей умопостигаемой воли Психея оказывается плененной чарами злых сил, ими «одержимой»; она безумствует, и пагубно ее «неправое безумие».

«Отвращение от сверхличного начала уклоняет волю мужеского я к его периферии, где освобождающаяся Психея встречает его в образе враждебного преследователя или коварного соблазнителья.» Она может бежать от него, на него напасть или им соблазниться. Психея соблазнившаяся «повторяет в своем переживании миф о Еве и Змии»; она замыкается и удаляется от вселенского начала.

Так писал В.И. в статье «Ты Еси» *, появившейся весной 1907 г., последней при жизни Лидии и ею особенно любимой. До тех пор он

воспевал состояния «восторга и исступления» в лирической поэзии, изучал формы античного оргазма в научных работах; в *essai* 1907 г. он пытается раскрыть и показать внутреннюю жизнь личности, сложное взаимоотношение ее различных начал, экстаз как «правое» и «неправое» безумие, как спасение и гибель Психеи.

Участь Психеи, — песнь и кошмар, — продолжает волновать поэта. Среди стихотворений «Нежной Тайны» есть одно, будто чуждое духу других пьес:

Я помню сон,
Всех воронов души черней,
Всех вестников верней:
Посол чистилища, он в ней —
Как похоронный звон.

Он идет, крадется, «к покинутой, в убогий дом», стучится.

Узнала стук...
Таит дыхание, дрожа...
Так отсветы ножа
И тень убийцы сторожа,
Мы притаимся вдруг.

Он входит. Она метнулась, «смертельным ужасом пьяна, вперив в убийцу взор»

Есть, Фауст, казнь:
В очах возлюбленной прочесть
Не гнев, не суд, не месть, —
Но чуждый блеск — безумья весть —
И дикую боязнь.

Он ее крестит, молит о прощении. Она далекая, чужая ничего не понимает:

Застылая слеза
Пустые стеклянит глаза...
Глядит. Молчит. Глядит...

Стихи эти — запись действительно бывшего сна. В.И. проснулся, содрогаясь: в сонном видении он заглянул в бездну ужаса, своего ужаса. Образы те относились к *архетипу* Психеи (как сказала бы современная психология), Психеи заколдованной, безумной.

За несколько месяцев до первой мировой войны, в предчувствии грядущих роковых событий, задумавшись о судьбах своей родины,

В.И. вспоминает, к тому же архетипу восходящий миф в «Бесах» Достоевского: * «Николай Ставрогин — отрицательный русский Фауст, отрицательный потому, что в нем угасла любовь, и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста (...) Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa то же, что отношение между Хромоножкой и Богородицею. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме.» Песнь Хромоножки — «песнь русской Души, таинственный смысл ее сокровенного келейничества».

«Достоевский хотел показать в 'Бесах', как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилия и насильничества 'бесов', искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания.» Женское начало сокровенного народного бытия, «Душа-Земля русская стонет и томится ожиданием окончательных решений суженого жениха своего, героя Христова и богоносца: пускай безумствует она в пленении и покинутости, но изменника и самозванца под личиною желанного и долгожданного всегда узнает, и обличит его и проклянет.»

Но долгожданного она не забывает, устремляется к нему в тоске, чувствует вину свою перед ним: «Молюсь я, бывало, молюсь, и все думаю про вину мою великую перед ним». Хромота юродивой духовидицы «знаменует ее тайную богоборческую вину». Она грешна «неким первородным грехом естества перед божественною Любовью».

В конце 1914 г. и самом начале 1915 г. В.И. пишет два стихотворения, в которых рассказывает свою сказку о внутреннем мире человека. Психея скитается со своим светильником: гордый рассудок заявил ей, что не нуждается в ее песне; он хочет использовать высшие силы нашего духа, святого святых нашего я, для своих магических целей:

Безумная Психея
Усталая от бега
Стучится у порога
И требует ночлега;
И молит, ради Бога,
У вратарей — елея...

А он сидит в покоях подземельных с Другом; там горят семь свечников, полны елея... «А где твоя Психея?», — спрашивает на утро «в кущах сада» Друг:

Гляжу: под розой алой
Белеет покрывало
И тлеет без елея разбитая лампада.

Второе стихотворение называется «Психея-Мстительница». Рассудок скудеет без песни и зовет Психею. Она жалуется: разучилась петь, стала блудницею, всюду ищет Ею...

«Вот я пришла издалека
На зов унылый
К тебе — за *Ним*... Глядит дика,
И дышит силой.
В руках лампада и кинжал...
«Мне друга выдай!
Довольно ты его держал
В плену обидой.
И стал двоим тюрьмой твой дом.
Но Смерть веду я:
Умрешь ты, мертвый; в Нем, живом,
Тебя найду я...»
Умолкла. И, в луче сквозном
Сверкнув кинжалом,
В тумане разлилась ночью
Мерцаньем малым. *

В том-же 1915 г. В.И. написал трагедию «Прометей». * Это — трагедия действия. Под «действием» В.И. понимает «решения и поступки характера зачинательного и воленалагательного». В противоположность творчеству, которое есть благое нисхождение из полноты, всякое действие несет в себе «внутреннее противоречие, — двусмысленность и самоотрицание действия, — а стало быть — и приятие, сознательное или бессознательное, его виновником вины и кары. Последняя, будучи, в качестве противодействия, в свою очередь действием, не только не восстанавливает нарушенного равновесия, но и продолжает преемство тяжбы. Так плетется, звено за звеном, непрерывная цепь греха и возмездия.» Пробужденное нравственное сознание изобличает в действии неправду. «Слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: «Что здесь не грех? Все — грех!» — заключают в себе целую философию действия: так, по крайней мере, философствует Трагедия. Но последняя изменила бы своей природе, если бы в то же время — и именно в силу противоречия, ею вскрытого, — не повелела человеку действовать.

Прометей значит *Промыслитель*. Он знает, что «единственным смягчением вины и муки действия служит бессознательность последнего: «будь слеп, ковач, и глух'...» Но, Прометей — «мученик сознательности»; глаза его, «как бы лишённые век», чрезмерно зрячи. Решив похитить огонь, чтоб одарить им человека, он «преплясываясь к

действию, заранее признает, принимает и волит его односторонним, насильственным, содержащим в себе отпадение от божественного всеединства.» И распрю с богами он начинает «расколом своей внутренней полноты». Он молит родительницу свою, «глубинную Правду», Фемиду:

..... «Мать, изведи
Жену на свет из самого меня...
Все женское душевного состава,
Что есть во мне, даю; ты тело дай».

Так возникает женский двойник Прометей. Его воплощенная Психея. Чтоб слепить жену, пришлось призвать богов. Они работали все: Гефест изваял тело, Афина наставила разум, Киприда окружила прелестью; Оры убрали ее «в душистые цветы, Хариты — в злато». Она сама говорит:

«От всех дары взяла я — и Пандорой,
Владычицей даров, наречена.» *

Но Прометей даже и взглядом нежным не удостоил прекрасную жену. Он хотел одного — хотел создать божественный человеческий род. А Пандора ему нужна была лишь как орудие для дерзкого действия. Она сетует:

И снял с меня фату жених и брат...
Но не затем, чтоб в сладостном объятьи
Любовию смешиться телу с телом!
Прообраза искал во мне художник
Своим твореньям (пьет зеркальность душу!)

И Прометей их создал — так гласило эллинское сказание. А орфики учили, что Титаны растерзали младенца Диониса, наплатились его плотью, и были за то испепелены огнем Зевса. Из пепла и дыма возникло человеческое племя. В.И. соединяет оба преданья:

Сама в перстах моих слагалась глина
В обличья стройные моих детей,
Когда сошел я в пахнущие гарью
Угодия, где прах Титанов тлел.

В тлеющей золе, где догорало тело Титанов, еще «дышал огонь Младенца». И люди получились полу-титанические, полу-дионисийские. Прометей не мог умножить в них небесного огня. Тогда он «иною огонь добыть промыслил — от небесных молний». И опять Прометей последовательно и безлюбо пользуется Пандорой для осуществления своих надежд:

На верх горы слепительной меня
Он возвести велел послушным стражам;
Сам с полым тирсом спрятался и ждал.
Закрыв глаза, лежала я, как жертва.
Лазурь зияла. Красотой моей
Привлечены, заклетали высоко
Олимпа хищники. Стремглав к добыче
Низринулись, когтями дробя перун, —
Как будто рухнул семерной громадой
Эфира пламенеющий чертог.
Он искры в тирс украл, меня-ж орлам
Оставил...

Прометей одарил род человеческий Зевсовым огнем. Но не был благодарен тот дар. Вытолкнув из себя «все женское душевного состава», оставшись только и «всецело мужем», Прометей отъединился, обособился; «а в каждом обособленном возникновении таится обращенное внутрь жало смерти». Промыслитель смерть приводит — не себе, а детям своим, — и приводит в преступнейшем ее виде: и убийство, и самоубийство. Знали о том три Эриннии, предвещали: «Сынам, — отец, — гроба...» И после первого убийства, братоубийства, обличают отца: «Убийца — ты...»

А Прометей?... Была ли им предвидена возможность такого ужаса? Ведь «Эринния, как наша совесть, никогда не говорит своему собеседнику, чего не знает издавна он сам.» Увидя бездыханные тела, люди начинают мятежиться: — «Мы умрем? — К чему рождение?» Чем горячее, страстнее утверждают они жизнь, тем горше для них опыт смерти. В людях как в титанах осуществляется принцип индивидуации. Противоположение *я* и *не-я* отрицательно в своей сущности. Жизнеутверждение обращается в взаимопротивление, поглощение другого. Миф о Титанах, бросившихся на Младенца и его пожравших, это — «метафизическая генеалогия человеческой воли, — ее темничности, безумия, алчности, убийственности и любви.» Первое насильственное действие человека стало толчком, приведшим в движение роковое колесо необходимости; ненавистное подчинение ей люди селятся преодолеть мятежным требованьем свободы, диким противодействием. «Первенцы губительной свободы», они «первины рока и зачинатели титанической трагедии, именуемой мировую историей. Прометей людям для борьбы с богами выковал мечи, молоты, щиты, стрелы, и стрелы отравил; а они находят лишь — цепи, цепи, цепи. «Титанизму свойственно бескрылое сознание принудительности, чувство внутреннего детерминизма, которое так непохоже на радость совпадения

свободы с необходимостью, — эту божественную печать облагодатствованной души.»

Промыслителю изначала ведомо, что детьми своими он будет предан и распят. И все-же, он не только лепит их и оживляет, он дерзко и жертвенно похищает для них небесный огонь. В жертве своей для человека Прометей неизменен и целостен; «безусловно его саморасточение, самоопустошение, самоисчерпание, — ‘истощение’ (ξένωσις), как выражали это понятие, говоря о тайне воплощения и искупления, наши старинные толковники священных словес эллинских.» Истощение Прометея было титаническим, не благодатным, не божественным. О божественном истощении знала мистическая община древних орфиков; в мифе — не всенародном, а эзотерическом, скрытом от непосвященных — говорит она о нисхождении в мир первородного сына Зевсова — Диониса.

..... Древле сына Зевс родил.
В начале было то; родилось время
С рождением сына; был иной тот Зевс.
Владыкой мира он Дитя поставил.
И сладостно играл вселенной сын,
И в той игре звучало стройно небо.

А, когда Титаны растерзали Диониса, «насытились и пали пеплом дымным,» —

... сердце сына, бьющееся сердце,
Отец похитил и в себе сокрыл.

Дыханию этого Дионисова сердца ищет приобщить человека Прометей. Меньшего не хочет. Ни вошедшие в людей частицы горящего на земле Диониса, ни украденный для человека с неба огонь — того дыхания возместить не могут. А тот, кого люди именуют Зевсом — не Кронос Предвечный. И потому: когда вещая Фемида, мать, требует от Прометея, чтобы он «первины огня земного» вознес к небу, он слушается гордо и мятежно: — «Не по сердцу твоему завет исполнит сын! Одинок мой замысл...» И жертву Прометей приносит без благоговения — кощунственную жертву.

Не за «чрезмерную любовь к людям», не за похищение огня разгневался Зевс *: Океанида говорит Прометею:

..... Предугадал Кронид,
Что на себя и на тебя оковы,
Гефэстовых надежнее, скуют
С тобою в лад подъемлющие молот.

Вестям внимли: не гневается Зевс
За дар, тобой похищенный от молний.

Но разгневался он на Прометея за богоухильное жертвоприношение, как разгневался ветхозаветный Иегова на Каина за богопротивную жертву.

Однако: хоть людям ведомый Зевс — только тень Сущего, он все же «воистину богоявление и энергия неизреченного, незримого Зевса. Сокровенный в недрах отчих Дионис — сердце Сущего — не захочет низойти к оскорбителям отчих икон, как бы мало сходства ни являли эти живые иконы с Тем, кого они должны знаменовать.» Отказывая подобиям и голосам Сущего — подлинным богоявлениям — в признании и благоговении, Прометей, «чтитель Сущего», обрекает себя на казнь.

Промыслитель знает: судьба человека ужасна. Действие «само кует свой плен», но он знает также, что первоначальная, правая воля «возрождается в другом действии, которое в свою очередь проходит тот же круг (...) Все преодолеваемое преодолевается в своей предельности. И пусть каждое новое преодоление будет новою виной, влекущей за собою свою кару: есть такая степень преодоления, которая вынуждает искупление.» И Прометей надеется, что дети его, в которых разгорится искра Диониса, что люди, его распинающие, в далеких даях времени — его спасут.

А Пандора? Извел Прометей из Тартара двух «глухонемых владык» — Бию (силу) и Кратоса (власть)

..... им отдал деву
Под неусыпный в недрах скал дозор —
И пленницей безмужную держал.

А, когда украв искры небесного огня, Прометей покинул Пандору на вершине горы, она проснулась «в семье богов». Но проснулась одна душа. Тело ее «в красе застылой» осталось на горной вершине «в узах на снегу»; и стражи стерегут его, погруженные в глубокий сон.

Прометей — в подземелье, у жертвенника кует, кует, кует.

Окончен труд...
Душа — что склеп глухой. Большое сердце —
Как чаша горечи... Дрема долит.

Тогда появляется Фемида, садится у жертвенника. Прометей бес- сознательно склоняет голову на колени матери. И видит он Пандору, ведомую в узах двумя темными демонами. Он зовет ее во сне:

Душа души моей сбрось эти цепи!
Приди ко мне! Я немощен их снять.

Ведь я сильней себя, и так сковал их,
Что раздробился молот мой о звеня.

Не узнает меня...
Пандора, без тебя моя душа
Смертельною тоской затосковала.

Фемида толкует, пророчит:

Раскована Пандора. Жениху
Объятья простирает... Но жених —
Не ты, не ты!... Растет младенец, древле
Замученный... Стал юношей... Его
Она желает... Он ее возьмет,
Когда тебя освободит...

...

О, почто сама
Обречена я быть Судьбою, боги!

И мать делает все, что может сделать для страдальца-сына: дает
ему «пред казнью долговечной крепительный и легкий сон...»

Спи, Прометей, пред долгим, долгим бдением!

Торжествующий Зевс решил к «надменным смертным» послать
Пандору с дарами в дар... но с условием... Гермес низводит ее на ту
вершину, где лежало ее тело; она ожила, и стражи пробудились; «на
узде железной привели теснинами подземными» ее к людям. Она пред-
стала пред ними в цепях, которые держат два исполина, и стала,
улыбаясь, высыпать в толпу из золотого ларца розы, весенние венки,
драгоценные венцы, ожерелья, запястья и всякие уборы. Толпа ликует.
Пандора бросает пригоршнями золотые кольца.

Дождь червонный вы ловите
На персты!
Эти блески дождевые
Не просты!
Эти кольца роковые
Разделят вас
И сдвоят вас —
На четы.

Люди ловят кольца; образуются многие пары, — одни смущенные,
другие счастливые. Только семь копыеносцев недвижно стоят в разду-
мьи. Пандора им:

С меня вы глаз не сводите, как будто
Кольцо такое каждому досталось,
Которому отвечает мое?...
Коль так хотите, юноши, — приблизьтесь,
Возьмите семь колец с руки моей.
Пусть семеро мне обрученных будет.

Семь юношей простирают острия своих копий вместо рук; Пандора на каждое острие надевает по кольцу. И юноши ей:

Пандора, помни: с острых этих копий
Заветные спадут не прежде кольца,
Чем острия, все семь, — любви и мести, —
Освободят, невольница, тебя.

Толпа требует признаний; и Пандора поверяет людям все о Прометее, о себе и о происхождении человека. И признается:

Рек Зевс-Кронид: «Скажи, о дева, людям:
Я дар вам от богов. Коль расковать
Меня дерзнете вы, я вашей буду
Владычицей навек

...

Со мной царить над вами будут юность,
Беспечность, щедрость, нега и веселье,
А Власть и Сила охранять покой.
Но в эти цепи, — коль с меня их снять
Дерзнете вы, — о братья, сестры, имя
Как назову? — другой закован будет»...

Толпа кричит: «Твой ворог, — твой мучитель, — Прометей! Где млат, клещи? — Скорей огня из кузниц!» Пандора толпу в ужасе оставив, навливает: «Вас я во-время одуматься молю: Вы сердце разобьете мне с цепями. Отдайте Прометею

Меня в цепях! Жестокий, в погреба
Скалистых недр пусть он схоронит деву!

...

Внемлите

Моей мольбе: спасите Прометея,
Меня-ж предайте мужу моему
И палачу!

Всех дороже

Мне Прометей! Он — часть моей души.»

Но толпа неистовствует:

«Тебя одну в царицы мы хотим.
— Все чрез тебя добудем от богов
Мы сами. — Кратос нам милей и Бия,
Опекуны глухонемые правд,
Чем слишком дальновидный опекун,
На вечность отлагающий отчеты.
— Он нам бессмертье темное сулил
И смертными ваял нас, сам — бессмертный.
Пусть мы умрем, но пусть и он страдает,
Коль умереть не может. — Нам услада
В цепях узреть насильника свобод.
— Своей рукой свяжи его, Пандора!

Народную признай законом волю! —
Тебя одну в царицы мы хотим!»

Пандора прислушивается: — «Хотите — все ль?» Толпа предлагает просить всех:

«..... — Пусть каждый скажет волю! —
Пандору кто царицей выбирает
И вяжет Прометея, тот стрелу
Меть в землю, где кует ковач подземный!»

Земля покрывается щетиною вонзившихся стрел. В Пандоре просыпается Психея-Мстительница. Она издает торжествующий крик:

«А, Прометей! Я отмщена...

Пандорой пленной будешь ты висеть
В оковах алмазных на брови
Угрюмого Кавказа. Станет коршун,
Не горные орлы клевать.
Придет Пандора, станет у скалы
И посмеется над тобой, висящим,
Истерзанным, вотще зовущим смерть.

А вы, о юноши, концом копья
Со мною обрученные, — что молча
Поодаль стали? Жаль вам Прометея?
Что-ж не послали в землю вы стрелы
Иль копием ее не прободали,
Дабы над вами воцарилась я,

Не волей многих, но единогласным,
Соборным наречением горда?...
Приблизьтесь же, отважные питомцы
И пестуны небесного огня,
И ваши копыта в грудь земли вонзите!»

Семь юношей вонзают семь копий в грудь Пандоры. Юноши эти — стражи огня подспудного жертвенника, на котором сам Прометей факелом первоубийцы Архата поджег смольные ветви, в знак неукротимой вольности и титанического восхождения. Обручение Пандоры с огнехранителями было обетом ее верности Прометею. И юноши знают, что переча ее мятежу и даже, пронзая копытами ее тело, они не нарушают, а исполняют ее подлинную волю.

И вот подле умирающей Пандоры появляется Прометей «с раскаленным клином железа в клещах». Он разбивает оковы и посылает юношей в подземелье к «вдовствующему огню». Кратос и Бия упавшими цепями связывают самого Титана. А Пандора зовет его, умирая: «О Прометей, возьми меня! Моя душа — твоя душа. Возьми же, Возлюбленный, назад живую душу! Тебя люблю единого!...» Кратос и Бия уведут скованного Прометея. Трагедия на этом кончается.

Кончается ли? В своих размышлениях о существовании трагедии В.И. исходит «из мысли, облеченной в форму философии лишь после Платона, но по своим корням гораздо старейшей Платона, — из мысли, что Аполлон есть начало единства, тогда как Дионис знаменует собою начало множественности (что и изображается в мифе, как страдание бога растерзанного).» Если символом единства является монада, то «символ разделения в единстве, как источника всякой множественности, был издавна подсказан учением пифагорейцев: это — двоица, или диада». Трагедия по своей природе, происхождению и имени есть искусство Дионисово, — «простое видоизменение дионисийского богослужебного обряда». Понятие диады предполагает первоначальное, коренное единство, в котором вскрывается внутренняя противоположность. Просто антагонистическое искусство, т.е. изображающее любую борьбу враждебных сил, не есть еще искусство диады. Так: борьба человека с силами природы может стать драматичной, но она не трагична.

Искусство, содержание и задание которого составляет раскрытие диады, должно быть внутренне диалектическим. Целью его «будет показать нам тезу и антитезу в воплощении. (...) Разрешение изображаемого процесса должно заключаться в 'снятии', или упразднении диады. Поскольку последняя будет представлена живыми силами, воплощена в личностях, — упразднению подлежат, следовательно они

сами: им надлежит совлечься себя самих, стать по существу иными, чем прежде, — или погибнуть.» *

Согласно внутренней диалектике живые силы, личности, воплощающие диаду в трагедии В.И., обречены на гибель: Прометей, устремляясь к Дионису, сам себе преградил единственно возможный путь к нему. Сын Иапета, род которого не участвовал в растерзании Младенца, Промыслитель решил исправить дело Титанов: человеком

Зселенную украсить, взвезть к небу
Из искры Дионисовой пожар:
Не привлечет ли сердце Диониса
На алчущую землю?

Из персти, желавшей ожить, возникло племя его надежд. «Ему не нужно было ни супруги, ни наложницы». Но «Дионис, — бог женщин по преимуществу, — дитя, ими лелеемое, их жених, демон, исполняющий их своим присутствием, вдохновением, могуществом, то блаженным, то мучительным безумием избытка, — предмет их жажды, восторгов, поклонения — и, наконец, их жертва.» * Прометей надеялся, что люди за него испытают экстаз и пропоют молитвы и песни, но требовал он от них богоборства, не указывая ни цели, ни тайны.

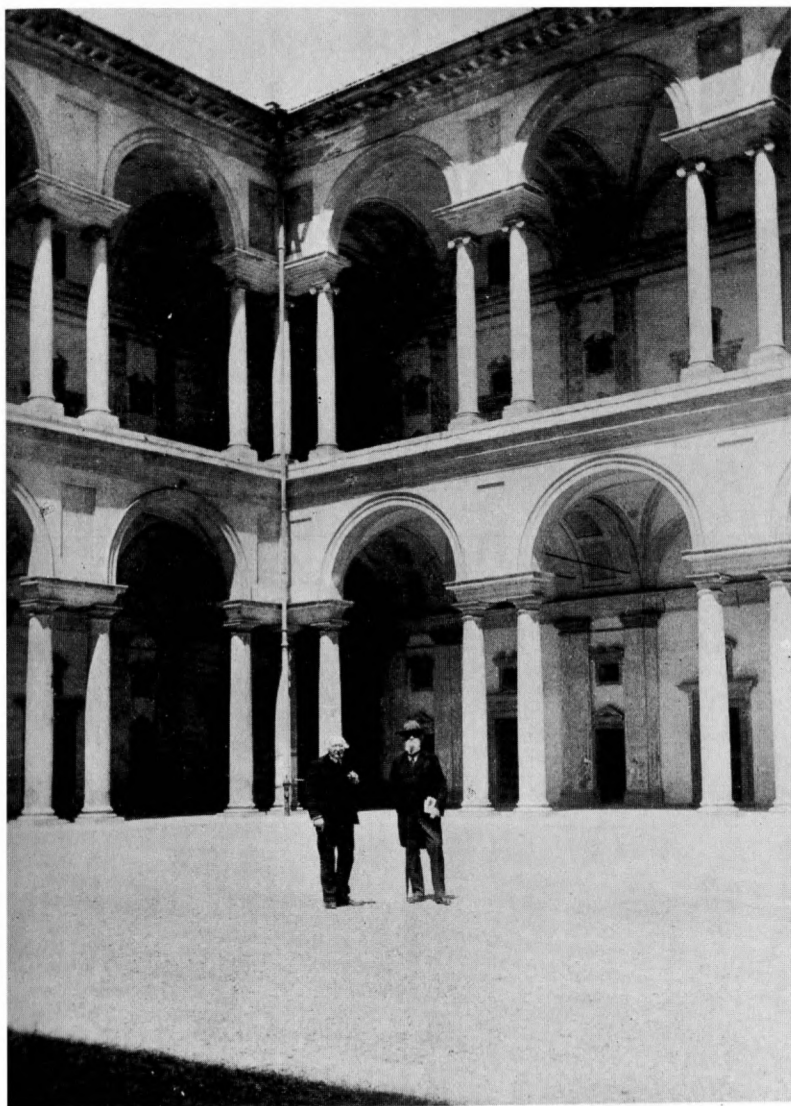
А Психея изгнанная тоскует в «безотзывной пустыне»; жизнь в ней теплится воспоминанием о том

С кем в разлуке сиротеешь и вянешь,
По ком уныл, и без кого недужен,
Кто единый на жизнь и на смерть нужен.

И вдруг — отклик. Не он, — толпа. На миг Пандора обманулась, обезумела неправо: все-же отклик. Обман увидела сама, и — заплатила смертью.

Но: — внутренняя диалектика «снятия» диады не однолинейна и не односмысленна. События «прозрачны» и прикрывают, открывая геалиюга. Расколовшиеся части ищут друг друга. Кенозис Прометея при мгновенном угашении властного сознания обнаруживает последнюю тоску его — по Пандоре. Она, умирая, зовет одного его. Смерть зиждительно. Страдание искупает. Трагедия показывает и другое «снятие» диады: — Оно — «огненная смерть в духе», совлечение самих себя, изменение до последних глубин.

Впервые это просвечиванье «реальной» действительности сказывается в некоторой непоследовательности прагматической связи текущих событий. Зачем Зевс посылает Пандору в дар людям — «с условием». Ведь и без ее согласия на гибель Прометея, он титаном овладел, и знал, что овладеет. А поведение Пандоры отнюдь не соответствует



Вячеслав Иванов и Фаддей Ф. Зелинский. Павия 1926 г. Collegio Borromeo.



В.И. с о. Рибольди. 1932 г.

его воле. И это он тоже заранее знал. На этот вопрос автор трагедии отвечает словами Пандоры. Она, прося толпу не освобождать ее, отдать в оковах Прометею, пророчит:

Вотще-ль он жребий царственный сулил
Наследникам небесного огня?
Я-ж в глубине горы пребуду с вами
Заложницей тоскующих богов.
В чем небеса откажут Прометею
Заложницы прекрасной ключарю?
Сам Дионис освободить меня
К вам низойдет. Сменит он огненосца
На троне человеческом!

Автор трагедии в своем Предисловии к «Прометею» толкует эти слова Пандоры: «В глубине глубин, в сущности сущностей, есть Зевс абсолютный, извечный Отец единородного Сына. Тот, кого именуют люди Зевсом, — его собственное имя: Кронид, — только тень «Самого» и полномочный наместник над темным царством явлений. Личины предмирного Зевса меняются — и, когда суровый древний Крон обернулся Зевсом-Кронидом, люди говорят, что новый миродержец низложил своего ветхого родителя.»

Еслиб Пандора прокляла, предала, покинула навек Прометея, то навек обрекла бы она его на мученья. К людям ради освобождения Пандоры, уже освобожденной и раскованной народом, Дионису незачем было бы нисходить; и не стали бы говорить люди, что ветхий царь сменен новым владыкой вселенной. Вот для чего Зевсу нужно было добиться согласия Пандоры.

Но зачем, почему Дионис, отвергающий Прометея, пришел бы спасти его женское я, оставшееся верным Титану? Или Пандора не только — женский двойник Промыслителя? Автор трагедии отвечает и на этот вопрос: Извечная Дева Персефона, родив Диониса, уходит, как и отец младенца, премирный Зевс, в сокровенные глубины Сущего. На месте «Самого» появилась его личина; на месте Девы темным зеркалом зияет ее женский аспект, как матери грядущих явлений. Этот аспект — Душа Мира, изначальная Земля, Мать Гей. Фемида также лишь обличье неисповедимой Девы как и изгнанница Пандора. «Но лики вечной Женственности ближе к своему девственному прообразу, нежели мужские отражения верховного Зевса к источнику их света, — бытийственнее и глубиннее. Они как-бы лишь глядят в поток времени, сами же пребывают вневременными сущностями.» *

Много лет В.И. ничего не писал о Психее. Но, когда в 1933 г. редактор журнала «Сокопа» попросил его указать старую статью свою, которую

он хотел бы опубликовать по немецки, В.И. выбрал небольшой этюд 1907 г. — «Ты Еси». Он решил статью перевести сам. В переводе он почти без изменений, почти целиком сохранил словесный и идейный состав, но уточнил формулировки и добавил к первоначальному тексту (в свободной немецкой передаче) свои стихи о Психее 1914/15 года в виде «Лирического Intermezzo».

Не успел он закончить работу над этой статьей как случайно прочел в книге «Prière et Poésie» своего любимого писателя Henri Bremond параболу под заглавием — «Animus et Anima». Парабола эта была написана поэтом Paul Claudel' ем зимою 1925 г. Она повествовала о неблагоприятном супружестве между Animus и Anima, — рассудком и душой — и об их отношении к amant divin, которого В.И. называл Сам или Друг. В.И. был удивлен и обрадован: параболу представляла собою как-бы шуточный, остроумный пересказ его старой петербургской статьи, той самой, которую тогда переводил. Клодель, конечно, о той статье, написанной в России за восемнадцать лет до его параболы, ничего знать не мог. С В.И. они никогда не встречались. Впрочем, — совпадения такие не редкость в духовном мире. В.И. сослался на Клоделя, привел, принял его термины и назвал немецкую статью свою — «Аnima». В 1934 г., старая, любимая статья Лидии Димитриевны появилась под этим новым заглавием в журнале «Согопа». *

* * *

В Павии В.И. прожил восемь лет. На каникулы уезжал либо куда-нибудь к морю, либо в Швейцарию, чаще всего в Рим. В 1934 г. Флорентийский Университет единогласно выбрал В.И. ординарным профессором на кафедру по славистике. В ожидании официального назначения, что представлялось простой формальностью, В.И. раннюю осень 1934 г. проводил в Риме. Ваканции кончились, в университетах уже начались занятия, когда из Флоренции пришло сообщение о неожиданном отказе: министр просвещения постановлением факультета отменил, потому что В.И. не был членом фашистской партии, принадлежность к которой тогда для новоизбираемого профессора являлась обязательной. Флорентийцы, конечно, знали этот закон, но полагали, что для такой знаменитости как В.И. правительство сделает исключение. Исключения не сделали. *

В.И. остался в Риме. Без постоянного жилища и определенного заработка существовать было нелегко, но жить в Вечном Городе было радостно вопреки всем трудностям. Единственно, что римский Университет мог себе позволить, не испрашивая разрешения властей, это —

приглашать важного русского писателя и ученого в экзаменационные комиссии по промоции приватдоцентов. Прошло полтора года. От скитанья по чужим комнатам и маленьким пансионам В.И. начал заметно уставать. Он решил снять квартиру и, наконец, начать жить семейно, своим домом. Нашлось, точно по волшебству, жилище на самом Капитолии с видом, даже и для Рима совершенно исключительным по красоте и грандиозности. Ни дома того, ни улицы, ни вида давно уже нет. Улочка прижималась к левому фасаду Палаццо Консерватори и подымалась к Тарпейской скале, имя которой носила. Противоположная дворцу сторона улицы была застроена небольшими, старыми домами, возвышавшимися над обрывом, с улицы невидимым, срезавшим Капитолийский холм. С улицы — входная дверь в дом. Вестибюль в виде длинного, темного коридора. Направо — лестница в верхние этажи. В глубине коридора — квартира В.И. с семьей. Передняя (обуженное продолжение того же коридора), через маленькую комнату выход на балкончик, вернее крылечко в полтора квадратных метра величиною. И вдруг: прямо перед глазами Палатин с развалинами императорских дворцов, едва сквозящих сквозь густую зелень роскошных деревьев; наискось, налево внизу, далеко внизу Форум; за ним Колизей и весь Рим; а за церквами и башнями Вечного Города в одну сторону горы, в другую дали до моря.

С крылечка лестница спускалась в идиллический садик, окруженный старой стеною с прилипшей к ней «пергола» винограда, тесно засаженный лилиями, розами и сказочно плодовитыми фруктовыми деревьями, музыкально оживленный старинным фонтанчиком, чьи вздымающиеся и падающие «журчливые» струи одни нарушали зачарованную тишину; в фонтанчике двигались вспыхивая золотые рыбки, по краям его ползали черепахи.

Зинаида Н. Гиппиус рассказала о «спокойной, счастливой жизни мудреца на Тарпейской скале». * (...) «Вот и волшебная лестница Капитолия... Обогнув Марка Аврелия, мы идем по узкой улочке, меж старых зданий. Мы уже на знаменитой скале (...) С крутой улочки в дом, где живет Вячеслав Иванов, нет ни одной ступени. Но старые дома на Тарпейской скале с неожиданностями. Если через переднюю и крохотную столовую пройти в стеклянную дверь их балкончика, там — провал, и длиннейшая по наружной стене лестница: шаткая, коленчатая, со скверными ступенями, похожая на пожарную. Она ведет в темный, густой садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин-поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном постоянной своей сотруднице, помощнице в научных работах.» И далее Зинаида Гиппиус приводит стихи В.И. о «нагих мощах Рима» и о «Журчливом садике». *

Скромные клетушки на виа ди Монте Тарпео отнюдь не походили на просторные покои Павийского дворца, где в оконной амбразуре комнаты В.И. умещались на трехаршинном отстоянии друг от друга, вдоль толщи стен, мощность которых была открыта проемом, — два письменных стола. Но в монументальном палаццо Борромео, где по традиции ректором был ученый прелат, царила полумонастырская тишина, время от времени прерываемая в помещении, занимаемом В.И., голосами дискутирующих важных посетителей. А на «скале», как стали звать капинолийское жилище В.И., гости толпились с утра до поздней ночи. Поток их сожители поэта с трудом прерывали, чтобы дать хозяину покой и время для работы. В.И. невольно притягивал людей: у него бывали, как и в далекие годы, не только видные и невидные писатели, художники, ученые — к нему за советами по личным, интимным делам обращались самые разные люди всех возрастов, к нему за научными справками и для разрешения сомнений в различных областях духовной культуры и просодической техники устремлялись учащиеся университетов и семинарий.

Радостными бывали встречи со старым, верным другом Фаддеем Ф. Зелинским. Член академий различных стран, доктор honoris causa многих европейских Университетов, почетный гражданин города Дельф, Зелинский имел пристрастие к международным конгрессам, и, часто выезжая для участия на них из Варшавы (в тамошнем Университете он занимал кафедру классической филологии), он, в какую бы страну, и в какой бы город ни был приглашен, всегда умудрялся найти время, чтоб заехать в свой любимый Рим. Из русских парижских гостей чаще всего бывали у В.И. Дмитрий Мережковский с Зинаидою Гиппиус. Путешествуя почти каждый год по Италии, они во время своих двух-трехнедельных пребываний в Риме, чуть не ежедневно посещали В.И. на Тарпейской скале. Особенно оживленными бывали редкие появления Бунина. У него как и у В.И. ум был игристый как шампанское, и, о чем бы ни шел разговор между ними, всем кругом становилось весело.

После двадцатилетнего пребывания на чужбине В.И. начал выступать в зарубежной периодической печати: по просьбе Бунакова (Фондаминского) он в 1936 г. дал в «Современные Записки» свои «Римские Сонеты», написанные в 1924 году. И с тех пор до осени 1939 г., когда издание журнала было прервано войной, в каждом почти № «Современных Записок» появлялись ранее неизданные стихи В.И. Гонорара В.И. просил ему не высылать, деньги откладывать для авторского издания того, что ему захочется на свой счет опубликовать. Так, 28 августа 1939 г. (в день св. Августина) вышла в Париже маленькая книжечка, оформленная по вкусу автора — мелопея «Человек».

Не прожил В.И. и месяца на Капинолийском холме как однажды при-

шел к нему человек, сразу восхитивший его совершенством своего облика, соединением чего-то воински-решительного, действенно-смелого и тихого, келейно-смирненного. Он казался явлением рыцаря-крестоносца. То был монах высокого роста с правильными чертами бледного лица. Скульптурность этих черт преизбыточно оживлялась большими, темными глазами, излучавшими внутреннее горение. Он представился: — «Филипп де Режи». * Хоть гость и хозяин встретились впервые, но сразу они почувствовали себя старыми друзьями. Отец Филипп предложил В.И. стать преподавателем славянского языка и читать лекции по отечественной литературе в «Русской Католической Семинарии», которой он состоял ректором. Для В.И. то была радость: Место — более чем скромное, но все-же что-то определенное и постоянное; а главное — работать с таким человеком! К началу следующего учебного 1936/7 года В.И. получил и от Pontificium Institutum Orientale — одного из Ватиканских университетов — предложение взять на себя ведение курса по изучению славянского языка. В Семинарии и в Институте он встречался с серьезными учеными в области теологии, философии и литургики, что было научно и духовно плодотворно; а многие из его талантливых, жертвенно-миссионерски настроенных учеников стали его молодыми друзьями.

Позднею весной 1938 г. В.И. был позван на частную аудиенцию к папе Пию XI. Случилось это потому, что в течение последних лет многие профессора и ученики Семинарии и Института зачитывались «Перепискою из двух Углов» и особенно добавочными к ней, письмами В.И. к Дю Босу и А. Пеллегрини («docta pietas»). Отцу Филиппу и отцу Иосифу Швейгелю, * специалисту по вопросам литургики, захотелось представить эти тексты и их автора папе Пию XI, который сразу согласился принять известного русского поэта и мыслителя.

Папа Пий XI, — человек непреклонной воли, решительный, порывистый, страстный, дерзостный и порою дерзкий, — в 1937 г., едва и не вполне оправившись после тяжелой, грозившей смертью болезни, продолжал по прежнему смело, воздейственно поступать и много работать. Пий XI принял В.И. без свидетелей в своем частном кабинете. На В.И. аудиенция та произвела большое впечатление. Он охотно об ней рассказывал. В.И. был поражен переменою во внешнем облике Пия XI, которого он в двадцатых годах за время своего римского пребывания, много раз видел перед алтарем и на общих приемах. С трудом отождествил В.И. крепкую, крупную, упругую фигуру тогдашнего Пия XI со светлым, хрупким, хрупким образом человека, который его, вошедшего в комнату, ласково звал, манил слабым движением руки. И была рука, прежде загорелая, белой, и белым было, прежде смуглое лицо. И странно лицо и руки эти превосходили своей белизной папские белье

одежды. Весь образ Римского патриарха стал нежным, тихим, духовно прозрачным. Но в течение аудиенции В.И. убедился, что этот новый, хрупкий Пий XI не утратил своей неколебимой воли и всегдашней готовности на опасный, ответственный шаг.

В конце долгой беседы папа сказал, что народы Запада и России вскоре подвергнутся тяжелым испытаниям, но затем наступят лучшие времена, прекратится противоестественный разрыв между церквями и осуществится вожделенное Единение. Тогда В.И. возразил, что русские теологи и мыслители много говорили и писали о соборности, что он сам всегда переживал и переживает церковное разделение как вселенское бедствие и как свой духовный ущерб, но, что он не надеется не только на соединение церквей, но и на их примирение в ближайшее, наше время, в наш век. Папа, такой отечески ласковый, вдруг возмутился, вспылал, воскликнул: «Вы сомневаетесь?! Такое сомнение неправомерно; оно недопустимо. Я верю: Единение будет, будет!» И опять он стал тихим, прозрачным; сказал, улыбаясь: «А ведь Вы то сами не только теоретически утверждали необходимость единения, но и пошли по пути экуменизма». И, благословляя гостя, папа Пий XI вслед уходящему В.И. много раз повторял: «Credo, credo— верю, верю»...

* * *

Летом 1936 г. пришло предложение от швейцарского издательства Benno Schwabe опубликовать по немецки труды В.И. о Дионисе. В.И., конечно, с радостью согласился, но под условием, что перевод проверит он сам и добавит к старому тексту новые примечания. Ведь в последний раз он подготавливал материал для этого текста в Риме в 1913 г.; за время войны и революции в Россию мало проникало исследований об античных культурах. В.И. не сомневался в верности своих узрений, но это не умаляло живого интереса его к науке запада за почти четверть века.

В.И. начал с того, что послал издателю последнюю из своих книг. Перевод «Диониса и Прадионисийства» на немецкий яз. был выполнен быстро и точно. Но В.И. всегда утверждал, что подлинная точность в переводе не достигается внешней передачею фразы за фразой, она требует проникновения в самую мысль автора, требует и мысли этой нового оформления согласно законам иного «словесного царства». В.И. стал переделывать перевод, т.е. делать его заново. А к тому же: едва он принялся за занятия в библиотеках для обновления примечаний, как у него возник ряд новых проблем, и работа превратилась в переработку всего текста. Издатель торопил. Автор медлил.

Время шло. Вспыхнула война... В течение первых двух ее лет издатель упорно настаивал на присылке «Диониса». Потом он умер. Книга так и не вышла.

Хотя В.И. в то время был увлечен воплощением совсем иных «любимых дум», но Элладе он не изменял: поэт и литературовед Алексис Раннит, приехав в Рим, посетил В.И. за несколько месяцев до его смерти. Он вспоминает: «На прощание я спросил поэта что он думает о будущем европейской мысли. Он ответил мне улыбаясь, что ничего не знает о судьбах европейской культуры, но одно он знает наверное: если ему на том свете не дадут возможности читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен». *

И в поздний час свой, 27 сентября 1944 г. В.И. записывает в «Римский Дневник»:

Языков правду, христиане,
Мы чтим: со всей землей она
В новозаветном Иордане
Очищена и крещена.

О Слове Гераклиту голос
Поведал, темному, темно;
И шепчет элевсинский колос:
«Не встанет, не истлев, зерно».

Так говорило Откровенье
Эллады набожным сынам,
И Вера нам благоговенье
Внушает к их рассветным снам.

Вскоре по переезде на Тарпейскую Скалу дочь В.И., Лидия Вячеславовна получила «инкарико» (экстраординарную профессию) в той самой римской консерватории Santa Cecilia, которую в первые годы своего пребывания в Риме она блестяще кончила сперва по композиции, потом по органу. Сын В.И. Дмитрий Вячеславович после окончания Университета в Aix-en-Provence жил стипендиатом в Страсбурге, где готовился к государственному конкурсному экзамену Agrégation de l'Université. На все каникулы он приезжал к отцу — домой. «Возвращение домой» было для Димы (так его звали в семье) новым понятием и совершенно неизведанным переживанием, радостным после долгого, с детских лет скитальчества по разным городам и странам, из гостиницы в гостиницу, из пансиона в пансион.

Мрачные тени опять стали предвещать приближение страшных мировых событий, но до времени жизнь на «скале» текла счастливо, спокойно и верилось, что разлуки больше не будет.

На Капитолийском холме В.И. прожил без малого четыре года. Поселился там в середине марта 1936 г. А осенью 1939 г. (война уж началась, но Италия еще держалась нейтрально) пришел Муссолини на Капитолий, стал у самой скалы на *via di Monte Tarpeo*, т.е. подле дома, где жил В.И. и ударил своим пресловутым *piccone* (своей киркой) по земле, в знак того, что улица подлежит уничтожению: «Не подобает убогим домам стоять на царственном Капитолии».

На месте сносимой улицы собирались построить бельведер для туристов. Но в Риме всякое разрушение, идущее вглубь земли, неизменно превращается в раскопки. Когда убрали все строения, и открылся склон холма, то у подножия его обнаружилась часть той «священной дороги», по которой через Форум триумфальные шествия древнего Рима двигались к храму Юпитера. И оказалось, что именно под «журчливым садиком» она, *Via Sacra*, образовывала круглый изгиб, чтоб подыматься на холм, к величайшему святилищу древнего Рима.

Раскопки начались за несколько месяцев до вступления Италии в войну и кончились в самый разгар ее. Уже года через два после знаменательного удара киркою *священная дорога* была открыта, и головоломная археологическая загадка о направлении ее по выходе из Форума, была, наконец, разрешена.

Под Новый 1944 г. у В.И. (не на Тарпейской скале, конечно,) собралось несколько друзей, говорили о вожделенном мирном времени, просили поэта прочесть стихи о сказочном доме на Капитолии, те самые, о которых писала Гиппиус:

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы,
И в гроздиях тяжелых лозы.

Над ним, меж книг, единый сон
Двух, сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных, —
Двух спутников, двух неразлучных...

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим!
А струйки, в зарослях играя,
Поют свой сон земного рая.

(11/24 июля 1937 г.)

— «Воображаю, как Вам грустно вспоминать о Вашем изгнании из земного рая, Вячеслав Иванович!», воскликнул после чтения близкий друг В.И. портретист Рима, архитектор-художник Андрей Яковлевич

Белобородов.* В.И. задумался: — «Нет, сказал он, тихо улыбаясь, не грустно. Все благословенно: ведь нашли *Via Sacra*». И в ту же ночь он в стихах рассказал как перестали петь в зарослях струйки и как вышли из земли священные камни, скрывавшиеся под его милым садиком.

И вдруг умолкли... Рушит лом
До скал капитолийских дом;
Топор с мотыкой спотыкливой
Опустошают сад журчливый.
И разверзаются под ним
Твои нагие мощи, Рим!
Здесь колесница миродержца
На холм влеклася Громовержца.
Священный путь неравных плит
Авгур святил и стлал Квирит...
Сойди в бессмертное кладбище,
Залетной Музы пепелище!
Римский Дневник (1 января 1944 г.)

Срок для выселения после удара киркою был дан трехмесячный. Посчастливилось найти квартиру на Авентине, куда В.И. с семьею и переехал в начале января 1940 г. При новом жилище не было журчливого садика, в окна его не входили «нагие мощи», башни, церкви и вековые деревья Вечного Города, но вид все же чудесный. А главное: сидя за своим письменным столом, перед стеклянной дверью балкончика, В.И. видел на фоне бесконечного неба пальмы садов, окружавших небольшие виллы, террасы, увешанные вымытым бельем, милые черепичные крыши, а за ними, вдали — то серебристый, то синий Купол св. Петра, венчающий город. А из окон других комнат открывались просторы: за монументальными и живописными развалинами терм и за древнейшим египетским обелиском — в одну сторону подымалась красавица вершина св. Джаннара, а в другую растилась вся цепь Албанских гор.*

Сквозит из роц Челимонтана.
За Каракаловой стеной
Ковчег белеет Латерана
С иглой Тутмеса выписной.

...

Пусть на закат простор застроен, —
Все ж из-за кровель и белья
Я видеть Купол удостоен.

(Римский Дневник 1944 г.)

Настроение было тревожное. После нацистского нашествия на Польшу, Бельгию, Голландию и Францию к Гитлеру присоединилась в июне 1940 г. Италия по воле Муссолини, против воли короля и народа; нехотя слушаясь, шли на фронт, сперва далекий, вне итальянской территории.

Диму война застала в Париже. Долго не приходило никаких известий ни от него, ни об нем. Наконец, между оккупированной нацистами Францией и «союзницей» нацистов Италией (слово союзничество — эвфемизм той-же оккупации) образовалась открытая, официальная связь, и переписка стала возможной, даже и помимо Красного Креста. Тогда В.И. узнал, что Дима цел и невредим, но страх за него не прошел: от воинской повинности он был освобожден по причине поврежденной правой руки, но жил он в Шартре, а налеты на Париж и окрестности свирепствовали. Из России, вступившей в войну в июне 1941 г., приходили ужасающие сообщения о диких битвах и разрушениях. Постоянно долетали слухи о гибели друзей.

В начале 1942 г. Лидия Вячеславовна получила повышение: ординарную профессию по гармонии; то было бы, конечно, счастливым событием, если б назначение не пришло в новооткрывшуюся Консерваторию в Cagliari. Калиари — главный город острова Сардинии; пароходы тогда не ходили из-за войны; приходилось перелетать на маленьких, плохеньких самолетах (хорошие были отданы войскам), что было опасно; к тому же: английский воздушный флот контролировал передвижения на Средиземном море и обстреливал все, казавшееся подозрительным; часто бомбардировали аэропорт Эльмас, находившийся в семи километрах от Кальари. Все эти волнения подрывали здоровье В.И.; в отношении Лидии помогли ему милые друзья.

В первые же дни после приезда в Рим В.И. познакомился и вскоре близко сошелся с семьей Синьорелли. Анджело Синьорелли был человеком замечательным. Профессор Университета, видный врач, он брал большие деньги с богатых пациентов, чтобы даром лечить, снабжать лекарствами и кормить неимущих. При этом он был страстным любителем древнего и новейшего искусства. Дом его представлял собою маленький музей этрусских и римских ваз, чаш, статуэток; ценнейшее собрание монет свидетельствовало о больших знаниях их собирателя. Он угадывал, поддерживал и выдвигал незамеченных художников, зачастую становившихся знаменитостями. В римском «Салоне» его жены, Ольги Ивановны Резневич, женщины большой духовной культуры, объединялась интеллектуальная и артистическая élite Европы. Врач по образованию, она, во время первой мировой войны, заведовала целой клиникой, заменяя мужа. И в то-же время «для души» переводила с русского на итальянский «Бесы» Достоев-

ского. После войны она бросила медицину и занялась литературой. Подруга Елеоноры Дузе, она стала автором книги об ней. Книга эта, блестяще написанная, богато документированная неизданными материалами, получила должное признание и была переведена на разные языки.

Лишь только В.И. заболел, Анджело Синьорелли сейчас-же к нему являлся; в военное время доставал для него недоступные лекарства. Муж дочери Анджело и Ольги — проф. Луиджи Вольпичелли, видный педагог — теоретик и деятель в области народного образования, выхлопотал для Лидии перевод в Рим. На радость В.И. она с начала 1943 г. не покидала более его Авентинской квартиры.

* * *

События летели. Война стала принимать катастрофический для Италии оборот. Хоть Рим и был объявлен «открытым городом», но 19 июля 1943 г. американские самолеты в течение трех часов его бомбардировали и по ошибке разгромили старинную базилику Сан Лоренцо, кладбище и все окрестные улицы с их большими, многолюдными домами. Погибших, как говорили, было одиннадцать тысяч. Число это, вероятно, сильно преувеличено, но несомненно, что убитые насчитывались десятками сотен. Рим дрогнул. Раздражение против Муссолини, почти всеобщее, отчасти подспудное, вырвалось наружу. Началось как всегда сверху: 25-ого июля 1943 г. самый авторитетный партийно-правительственный орган — Gran Consiglio — отказался одобрить военные планы своего Duce (вождя) и голосовал против него. Муссолини отправился к королю, получил «отставку», но тут же был задержан и отправлен на маленький остров Понца; оттуда вскоре переведен в центральную Италию, и водворен в маленький домик, уединенно стоявший на одной из вершин Апеннинских гор. Генерал Бадольо был назначен главою правительства; после двусмысленного заявления, что «война продолжается», он начал тайные переговоры с союзниками о перемирье. Оно было заключено в начале сентября; конечно, тайно; но немцы прослышали о нем и решили овладеть Римом. Что столицу отстоять не удастся, в этом никто не сомневался. Король бежал с семьей и правительством Бадольо в Пескару, потом в Салерно, уже занятое союзниками, которые его приняли полудружески, согласились и впредь считать его главой страны, а новое правительство, им привезенное, признать законным, но с условием,

чтобы король по окончании войны отрекся в пользу сына. А немцы тем временем подступали к Риму.

Вскоре после назначения Бадольо главой правительства Диме удалось перебежать границу и добраться до Рима. Как-то утром вдруг, точно чудом он появился на Авентине. Для В.И. то было сказочной радостью. Но... неожиданный приезд Димы случился в день восьмого сентября. Именно в этот день немцы приближались к стенам города. Дом, в котором мы жили, стоял близ этих стен и задней стороной своей выходил на пустыри. Немцы шли с моря, прямо на Авентин. Растилавшиеся сразу за домом на большое пространство луга представляли собою удобное поле для сражения. Пополудни грянул настоящий бой. Он стих к ночи, дико ожесточился с восходом солнца. Грохотали танки. Падали люди. В окна летели пули...

Десятого сентября весь Рим оказался в руках немцев. Наступили для Италии трудные времена: Муссолини, спасенный, похищенный по приказу Гитлера, вылетел на немецком аэроплане на север и образовал правительство в городке Салò. Часть армии итальянской осталась с ним и продолжала воевать с немцами против союзников; другая часть войск на юге под началом наследника престола Умберто пошла воевать с союзниками против немцев. В Италии как и в других, нацистами занятых странах, возникли партизанские отряды. Немцы «защищали», союзники освобождали, одни бросали снаряды с неба, другие взрывали их на земле, — все разрушали старинные, драгоценные городки и города Италии.

Чтобы освободить Рим, где свирепствовали нацисты, союзники принялись усердно бомбить Вечный Город и его Castelli. С конца января налеты стали повторяться ежедневно. Первого февраля стрельба разъярилась. Над нашими головами, сотрясая стены, пролетела с диким грохотом и воплем стая, созданных человеком, смертоносных, внешне красивых чудовищ. Издали слышались взрывы: «На этот раз пронесло!». Лидия в то утро была в Консерватории. Едва то стало возможным она выскочила на улицу и побежала домой (другого, более скорого и удобного способа сообщений тогда не имелось). Мимо нее проезжали фургоны Красного Креста, нагруженные окровавленными человеческими телами; а всюду, на аллеях и скверах деревья, дыша и зеленея, доверчиво тянулись к солнцу. Лидия нарвала несколько веточек душистой, расцветающей мимозы и принесла их отцу.

Опушились мимозы,
Вспухли почки миндалей,
Провожая Водолей.
А свирепых жорл угрозы
Громогласней и наглей.

За градой олив грохочет
Дальнобойная пальба.
Вся земля воскреснуть хочет;
Силе жизни гробы прочит
Мертвой силы похвальба.
(Римский Дневник 1944 г.)
1 февраля.

Рим из уважения к его памятникам все-же старались уберечь от разрушений, и бомбили его «только вне стен». Но стены-то в Вечном Городе аврелиановские, т.е. построенные в 275 г., и многие из ценнейших памятников Рима стоят «вне стен». Среди них — старейшие христианские базилики; некоторые как Сан Паоло, Сан Лоренцо даже и называются — fuori mura.

Мы жили в непосредственной близости от «стен». Когда вне их падали бомбы, грохот взрывов смешивался с грохотом валившихся строений, и казалось, что вот-вот рухнет и наш дом.

Налет подобный трусу, —
Дом ходит ходуном,
Воздушных Гарпий гром
Ужасен и не трусу.

Мы к смертному искусу
Приблизились и ждем;
Пречистой, Иисусу
Живот наш предаем.

3 марта.

За Диму было страшно: нацисты, предвидя конец, остервенели. Одним из их излюбленных занятий являлось похищение молодых людей среди бела дня. А Дима нашел себе работу в Ватикане и каждое утро шествовал взад и вперед через весь город. Мучительная оккупация длилась девять месяцев. И вот: как в сказке, точно по мановению волшебной палочки, вечером 4-ого июня 1944 г. без единого выстрела в Рим вошли союзные войска.

...
Вот какова была простая
Развязка мрачной кутерьмы.
Глядим оторопело мы.

...
5 июня.

Через несколько месяцев после освобождения Рима, когда война была еще в полном разгаре, В.И. вспоминает:

Рассказать — так не поверишь,
Коль войны не пережил,
Коль обычной мерой меришь
Моготу душевных сил, —

Все, чего мы натерпелись,
Как под тонкий перезвон,
Что ни день каноны пелись
Безыменных похорон,

А волчицей взыв сирена
Гонит в сумрак погребов,
Голосит: приспела смена
Уготованных гробов, —

Как бездомные бродили,
Где-то крылись в ночи,
Как заложников ловили,
Уводили палачи, —

Как... Но нам ли клясть бывшее?
С наших согнано полей,
На соседей лихо злое
Лише ринулось и злей.

27 октября.

* * *

И вдруг в это трудное, роковое время неожиданно для самого В.И. в нем «взыграл родник запечатленный», и бил ключ этот в течение всего 1944 года. Стихи являлись непосредственными лирическими откликами на события дней и тихими раздумьями.

Кроме «Римских Сонетов» за почти двадцатилетнее свое пребывание в Италии (с сентября 1924 г. до 1-ого января 1944 г.) В.И. написал двенадцать стихотворений. За один 1944 г. их возникло сто восемнадцать. Прощаясь со своим «лирическим годом», в его последний день поэт благодарит его за то, что он «приводил, послушен поступи светил, мысль к ясности и чувства к строю». Он —

Со мной молился и грустил,
Порой причудами забавил,
Роптал порой, но чаще славил
Что в грудь мою вселяло дрожь
Восторга сладкого...

Просмотрев написанное, В.И. увидел, что получился дневник в стихах — «Римский Дневник 1944 г.».

Задолго до выезда из России В.И. собрал стихи свои, написанные после «Нежной Тайны», стихи, рассеянные по страницам периодической печати или вовсе неопубликованные. Эта новая книга лирики была готова еще до смерти Веры, и В.И. собирался сдать ее Сабашникову, которому она была обещана; но по обыкновению своему он медлил и откладывал печатанье. Новый сборник он хотел назвать «Арион», взяв эпиграфом к нему заключительные строки пушкинского «Ариона»:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

В.И. любил миф об Арионе, спасенном дельфинами. Певец был спасен за песни, для песни... Но заглавие такое подходило не ко всем пьесам и циклам сборника: стихи о памяти, богопознании, смерти требовали иного наименования. В.И. стал искать его: — «Быть может 'Чистилище'?» * В России он книги лирики не издал и увез с собою стихи в Рим. В 1939 г. он решил при помощи «Современных Записок» в Париже напечатать сперва отдельной книжечкой «Человека» (что он и успел осуществить), а затем опубликовать, наконец, весь сборник. Он окончательно отобрал и распределил по отделам все и в России и в Италии написанные песни. Колебался между заглавиями «Чистилище» и «Затворенный Рай». Грянула война. Когда после 1944 г. В.И. решил включить в книгу лирики и свой «Римский Дневник», он начал сомневаться в точности прежде найденных заглавий.

В крещенский вечер 1945 г. я подошла к В.И., почему-то твердя полупшепотом молитву мученика Афиногена, которую В.И. с детства любил: «Свете тихий, святые славы Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе. Пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний, поем...» — «Да, 'Свет Вечерний', — прервал меня В.И., — я как раз об этом думал. Но читатель решит, что «Свет Вечерний» сказано вместо «Senilia». И к тому же «Свет Вечерний»

напоминает «Вечерние Огни». Кто догадается откуда эти слова и что они значат?» Я ответила: «Разве так уж важно догадаться или не догадаться. А, быть может, кто-нибудь и догадается. Довольно одного». На этом разговор оборвался.

По окончании войны оксфордские друзья предложили В.И. издать его стихи. В.И. отдал им готовый сборник и, не раздумывая, озаглавил его — «Свет Вечерний». *

В «Римском Дневнике» форма стихов аскетически усюмнена. Прежней преизбыточной просодической роскоши не найти. Мастерство, преодолев технические трудности, играючи затулилось, упряталось в простоту. «Жар сил, до-бела накаленный, охлады хочет ключевой?»

Образы пронизаны тихим, ясным, вечерним светом. Пред лицом «массивных событий» поэт задумавшись, вспоминает:

У темной Знаменья иконы, в ночь, елей
Лампадный теплится; я ж отрок, перед ней
Один, молясь, не знал, что кров мой был каютой
Судна носимого во мраке бурей лютой,

а, когда его, уже не отрока, жизнь ужаснула зрелищем «осатанелого шквала», бьющегося «в доски» его каюты, тогда он понял,

Что малый, кроткий свет, по серебру скользящий,
Елея данью был, валы миротворящей.

«Свете тихий» имеет силу необоримую. Самым тяжелым событием в жизни В.И. была смерть Лидии Зиновьевой-Аннибал. Прошло тридцать семь лет. В годовщину ухода жены он ее поминает:

Шепчет: «Светом повеяло,
Христос родился».
Отпустил, что содеяла, —
И в Нем ты — вся.
Содроганье последнее —
И застыли уста.
Есть ли слово победнее
Этой вести Христа?
(17/30 октября)

Тихим светом, ею увиденным, освятилась его жизнь:

С той мучительной поры
Сколько темных лет промчалось!
Но стоит передо мной
Что случилось, что венчалось
Света славой неземной.

Однако: свет этот не застилал зрения, не занавешивал мрака, не умалял чувства ужаса при виде трагедии человеческой судьбы. «Хирурги белые», как зовет поэт «неба действенные силы», не насилуют, врачуют когда и сколько человек им дозволяет.

И, гнойник хульных язв, растленный Человек,
Пособник Дьявола злорадный,
Исток отравленный несущих скверну рек,
Не отдан вами Смерти жадной.

Целите вы, что тварь Творцу дает целить,
И мнится вам, что не достанет
Христовой крови всей — смоль мира убелить,
Но капать Кровь не перестанет.

И опять как встарь раздается приказ человекам: — «Выбирайте!»

«Отважен будь! Отринь двуличие!
Самостоянью научись!
В Христово ль облекись обличье —
Или со Зверем ополчись».

В последнее благоволение человека В.И. верить не переставал; он знает — скорбь, и злоба, и разруха делают «участливей сердца».

Темен дух. Быть может, в нас
Только трубы роковые
Родники любви, впервые,
Разомкнул в последний час.

Но человек своеволен и свободен, и за все, им на земле соделанное и подуманное, ему придется отвечать, отвечать не только перед Высшим Судиею, но и перед высшим судом в самом себе.

Но на себя, на лицедея,
Взглянуть разок из темноты,
Вмешаться в действие не смея,
Полюбопытствовал бы ты?

Аль жутко?... А гляди, в начале
Мытарств и демонских расправ
Нас ожидает в темной зале
Загробный кинематограф.

В.И. с ужасом глядит на «массивные события», с возмущением откликается на бесчеловечные насилия и жестокости человека; но все утишено, умудрено молитвой; и ближе всего душе — блудный сын. «Я

посох мой доверил Богу, — пишет он в день своего рождения, — и не гадаю ни о чем...» Он спокойно, почти вожделенно ждет того часа, когда

..... от чар земных излечен
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимя Отцом.

(16/28 февраля)

Отец ждет и дождется... Бессмертие? С этого вопроса начинается «Дневник». Не только великое и героическое, — малое, робкое и хрупкое вымаливает себе спасенья «у беспощадного конца»

Случайной ласки воскресенья,
Улыбки милого лица.

Но и сама смерть на земле — отнюдь не всегда «беспощадный конец».

Подмывает волна,
Подымает челна,
На песках задремавшего, днище.
Что ж? Ты в путь оснащен,
Да и шквал укрощен,
Челн, мое подвижное жилище.

До рассвета ночлег,
А прилива разбег
Парусов лепетаньем приветим.
Может быть, от кормы
Тень не ляжет, как мы
Корабельщика Ангела встретим.

Встреча с корабельщиком Ангелом — какой-же это «беспощадный конец»? Свое появление в дольном мире В.И. считал изгнанием:

Мать разрешения ждала, —
И вышла из туманной лодки
На брег земного бытия
Изгнанница — душа моя.
(Младенчество)

Земное рождение — изгнание; и все же поэт трепетно чувствует его нежную тайну. Земное изгнание — смерть; не нежная ли тайна другого рожденья?

Понесшая под сердцем плод,
Гадая, ждет нетерпеливо,
Впорхнет ли в горницу пугливо
Иль стукнет гостя у ворот.

...

Как истончится жизни нить,
Не так ли зовами и снами
Жена, беременная нами,
Захочет нас переманить?

В разные, далекие друг от друга дни своей жизни и во всех своих книгах лирики (включая и «Свет Вечерний») В.И. твердил и твердил: «Память — залог бессмертия». В «Дневнике» он этого уже не повторяет, полагая предпосылкою утверждение торжества памяти над смертью; говорит же он только об орудии ее воздействия, об ее воплощающей силе, о — поэте.

И поэт чему-то учит,
Но не мудростью своей:
Ею он всего скорей
Всех смутит иль всем наскучит.

Жизнь сладка ль на вкус, горька ли,
Сам ты должен распознать.
И свои у всех печали:
Учит он — вспоминать. *

В комнате В.И. поселился «невидимый присельник», сверчек, который принимался стучать лапками всякий раз, как поэт начинал писать стихи. Народ говорит: «Сверчек распелся, Бога славит». И поэт должен славить. Иначе и петь не стоит. «За каждый лучик и дыханье хвалу я Богу воздаю». Славя, певец служит памяти, дает воспетому долголетие. А долголетия ждет каждая былинка. И виноват поэт перед былинкою, коли забыл об ней упомянуть.

Пушкин посадил «у лукоморья дуб зеленый», и дуб растет, «в молве укорененный, укорененный в языке», и стоять он будет, и не увянет «пока жива родная речь». Она для поэта «земля родная». Она — «земная мать» его песен.

И небылица былью станет,
Коли певец ее помянет,
Коль имя ей умел наречь.

Имя он нарекает тому, «что зачалось и быть могло, но стать не возмгло», что ждет, чтоб его позвали по имени и тем вызвали к жизни..

Именуя, поэт «высвобождает мотылек-создание из темных покровов». Коли «имя умел наречь», значит его подлинное услышал. В этом смысл знаменитого изречения Аристотеля: «поэзия философичнее истории». В.И. горячо обличает «духовно опустошенную эпоху» с ее «кересью, согласно которой задача поэта — иронически противопоставить тюремщице-действительности послушную иллюзию и бессмысленной истине убедительную лжесвидетельницу — Химеру.» Но не дано «небытию осуществляться в творчестве». И многоречивая Химера, «прикрывающая свою пустоту украденными у живой полноты красками жизни, обличается как обман фигляра». *

Мысли свои об истинном, т.е. поэтическом наименовании В.И. высказывает, всматриваясь в творчество «имяславца» Пушкина. Именуя «вещи и их отношения», Пушкин «берет вещи 'эйдетически' как теперь говорят, — неизменно выявляет в них идею как прообраз. Отсюда их естественное оживление. (...) Если принимать 'идею' не как отвлеченное понятие, а как реальность платонова умозрения, — вещи тем более живы, чем яснее напечатлевается на них животворящая и связующая их с живым целым идея.» Имена Пушкина «суть живые энергии самих идей». Пушкин «право именует сущности, они же сами непосредственно являют в ответ на правое их наименование свою связь и смысл — до некоей заповедной черты, когда наименование прекращается, потому что за нею — область немoty, где сущности говорят уже не живым, а 'мертвым языком о тайнах вечности и гроба'. (...) Для себя лично, не для поэзии, он готов и, кажется, может схватить и усвоить тот или другой звук этого языка — 'я понять тебя хочу, темный твой язык учу', — но чуждедальная речь, конечно, не поддается осмыслению, поэт не в силах повторить ни одного из невнятно расслышанных звучаний, он отступает, лишний раз укрепленный в исконном чувствовании 'недоступной черты', отделяющей для человека явное от тайного». *

Поэт целомудренно умолкает перед «недоступной чертой». Молчание налагается «трезвением слова, 'хранением уст', наконец, невольною немотой высшего экстаза.» А после «восторга», экстаза, обретения инобытия певец должен нисходить и петь нисходя. «Поэтическое инобытие» не последний предел возможного для человека восхождения. Восхождение на светлейшую вершину, влечет и ужасает поэта. Но восхождение 'в соседство Бога' — подвиг святости. Если человек не переродится, он погибнет. Ставка при таком подъеме — сам разум: 'Правое безумие' (*ὀρθὴς μανῆναι*) Платона может обратиться (и часто то случается!) в «безумие неправое», душевно и духовно разрушительное.

А В.И.? Чтò знал он о том «темном языке»? Упоминал ли он об нем?

* * *

Мы проводили рождественские каникулы 1928 г. в крохотном городке Споторно на берегу Средиземного моря. Поздним вечером 31 декабря буря разыгралась невероятная. Казалось, что вот-вот дом будет унесен ветром или смыт волною; но в маленькой комнате В.И. было укромно и весело. Мы говорили о том, что превращает личное признание в художественную лирику, в мусическую весть. Я попросила В.И. указать свое стихотворение какое он считает и интимным признанием, и поэтическим сообщением. Он раскрыл *Cor Ardens* и выбрал вторую пьесу цикла «Песни из Лабиринта»:

С отцом родная сидела;
Молчали она и он.
И в окна ночь глядела...
«Чу, — молвили оба, — звон»...
И мать, наклонясь, мне шепнула
«Далече — звон... Не дыши!...»
Душа к тишине прильнула,
Душа потонула в тиши...
И слышать я начал безмолвье
(Мне было три весны), —
И сердцу доносит безмолвье
Заветных звонов сны.

(*Cor Ardens*)

Он сказал: «Стихотворение называется «Тишина». Его почти никто не понял; а оно о самом главном». Стихотворение это было написано в Петербурге, на «Башне» в 1905 г.; а через восемь лет, в Риме в 1913 г. поэт вновь свидетельствует о том «главном», духовно определительном переживании:

..... был тот вечер тайный,
Когда, дыханье затая,
При тишине необычайной,
Отец и мать, и с ними я,
У окон в замкнутом покое,
В пространство темноглубое
Уйдя душой, как в некий сон,
Далече осязали — звон...
Они прислушивались. Тщетно
Ловил я звучную волну:
Всколеблет что-то тишину —
И вновь умолкнет безответно...

Но с той поры я чтить привык
Святой безмолвия язык.

(Младенчество)

«Кудесник языка» (как звал его Ф.Ф. Зелинский), «ткач узорных слов» В.И. полнзвучный язык любил страстно. Но духовно первее, священнее (даже языка поэтического, даже «чародейного напева», из которого вышел стих) он почитал «темный язык», «язык безмолвия». В «Римском Дневнике 1944 г.» он именует его «языком немётным». Те звуки, которые тщетно, беспомощно ловил трехлетний Вячеслав, доносились в течение всей жизни поэта до его настороженного слуха из-за недоступной черты, заповедной межи, доносились глухо, но зачастую усиленные, увнятенные настойчиво-ласковым напоминаньем. Таким напоминаньем, ананнезисом ведает сама Предмирная Премудрость — София. В «Дневнике» В.И. об ней рассказал стихами с эпиграфом из притчи Соломона. *

Коль правда, что душа пред тем,
Как в мир сойти, на мир иной взирала,
Поэтом тот родился, с кем
София вечная играла.

Веселой тешиться игрой
Ей с человеками услада.
Но мудрецам, в закон и строй
Вперившим все вниманье взгляда,
Не до веселия порой:
У ней с поэтом больше лада.

В.И. был противником теории происхождения искусства из игры. Но сама поэзия — игра, «умное веселье», игра и в звуки, и в образы, и в краски. В.И. писал о ней в 1915 г. Поэзия —

...

Невинное чадо Эфира,
Моя золотая сестра,
Выходит и плещет в ладони,
Дивясь многозвездной красе,
Впивая вселенских гармоний
Все звуки, отзвучия все;
Лепечет, резвясь, Гесперидам:
«Кидайте мне мяч золотой».
И кличет морским Нереидам:
«Плещитесь лазурью со мной».

(Свет Вечерний)

В.И. неизменно предостерегает теоретиков и творцов художественного слова от искушения выдавать «pars pro toto» и тем не столько упрощать, сколько обеднять истолкование творческого процесса. Он признавал, что «звуковой жест вместе с ритмом» играет «важнейшую роль в возникновении стиха, как заговорной формулы», но он не переставал настаивать, что едва уловимый, зыбкий пра-образ в изначальном звукообразе (часто, особенно в народной фантазии) менее оформлен, нежели звук. «Образ является для мифотворчества не данным, а заданным; это задание и питает позднейшие мифологемы». Если поэт имеет тяготение к «заумному» звуку и языку, то столь же несомненно его тяготение к «заумному» образу и пра-мифу. «Заклинание отличается по форме от пра-мифа только оптативом или императивом глагола; оно включает в себя или предполагает пра-миф.»

Поэзия, говорил В.И. (а не одна философия, как учили Платон и Аристотель) родилась из удивления. «Поэт не только представляет вещи странными, но он такими именно их и воспринимает». Такое 'остранение' их способствует, однако, их уразумению: «Поэзия — вся многоликая жизнь, переживаемая поэтом в форме инобытия». Но, когда мы видим дальше в лучах иного мира, именно тогда мы ощущаем вещи нашего мира подлинно на земле живыми.

Вы, чьи резец, палитра, лира,
Согласных Муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальней отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной.

И про себя даемся диву,
Что не приметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель.

(Римский Дневник 1944 г.)

* * *

«Неизъяснимо творчество, потому что в нем воплощается антиномия предельной свободы и предельного послушания.» В капельном отражении эта антиномия становится проблемою заказа. Заказ умный, проникновенный, «плодотворный для художника есть уже соучастие в

творчестве.» Слава подобает Периклу за Парфенон, Юстиниану за храм св. Софии, Августу за «Энеиду», папе Юлию за то, что он заставил строптивного Буонарроти расписать потолок Сикстинской капеллы. Художник восстает не только на тупой и насильнический, но частично и на творчески чадородный заказ, который «никогда почти не выполняется по замыслу заказчика.» Заказчик «заказывает себе неожиданность и удивление; он требует от художника самоутверждения и предполагает его горделивую независимость». Таким умным заказчиком в России был поэт Пушкин, заказавший поэту Гоголю «Мертвые Души».

Не странно ли? — «Ты славил, что в грудь мою вселяло дрожь восторга сладкого...» — такими словами провожает В.И. свой уходящий «лирический год». Но то был год 1944-ый! Казалось бы: до сладкого ли восторга, когда перед глазами падают люди, сраженные пулями, а в ушах раздаются грохоты от полета убийственных чудовищ и мерные, глухие звуки похоронного звона, когда у порога неотлучно и угрожающе стоит смерть.

Конечно, В.И. по внутреннему опыту своему знал и испытал то, о чем говорит «Председатель» пушкинского «Пира во время Чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Знание это и вызвало песни о «зиждательной смерти».

Мы подкрались, улучили полноты верховный миг,
Бога с богом разлучили, растерзали вечный лик,
И гармоний возмущенных вопиет из крови стон:
Вновь из волн поработченных красным солнцем встанет он.
Строя семя, искра бога сердце будет вновь томить,
От порога до порога к невозможному стремить.
И когда чудесной властью исполнение вдруг прильет,
Сердце вновь изменит счастью, нектар цельный разольет.
Вскрикнут струны искупленья, смолкнут жалобой живой...
Вновь разрыв, и иступленья, и растерзан Вахх! Эвой!

(Прозрачность)

Но, одно испытывать «неизъяснимы наслажденья», а другое... Ведь и Председатель Пира «остаётся, погруженный в глубокую задумчивость», когда услышал напоминание о милых ушедших. И В.И. говорил, что «Музы не пляшут перед головою Горгоны»... Чтò же вселяло в грудь его «дрожь восторга сладкого» — в то время?

Вскоре после того как в России вспыхнула война пришел к В.И. один из руководителей Римской Католической Семинарии, о. Яворка, * и заказал ему составление введений и примечаний к «Деяниям Апостолов», «Посланиям Апостолов» и «Откровению св. Иоанна», * которые издавались Ватиканской типографией. В.И. погрузился в работу. Когда кончался «налет подобный трусу», умолкал «Воздушных Гарпий гром», и «дом» его переставал «ходить ходуном», когда уходили гости, рассказывавшие о жестоких гнусностях нацистов, В.И. садился за свой письменный стол и, улыбаясь чему-то, что в нем возникало, принимался за чтение священных текстов Апостольских или писаний Отцов Церкви, особенно Восточных. К началу 1945 г. он закончил свой ответственный и радостный труд.

В «Дневнике» прямых указаний на эти чтения почти нет. Один лишь раз В.И. говорит о «пути к вратам Дамаска»; и в другой раз, описывает свой «приход на Авентине», милый убор «святылец дряхлых» Рима, который «через века уводит взор»

Тропой прямой, тропую тесной,
Пройденной родом христиан, —
И все в дали тропы чудесной
Идут Петр, Яков, Иоанн.

Вот и все. Но слова священных книг уводили в реальнейшее инобытие. Нисхождение с этих высот «вселяло в грудь» трепет лирического восторга. Двадцать восьмого декабря В.И. записывает в «Дневник»:

И снова ты пред взором видящим
О Вифлиемская Звезда,
Встаешь над станом ненавидящим
И мир пророчишь, как тогда.

...

И бесноватый успокоится
От судорог небытия,
Когда навек очам откроется
Одна действительность — твоя.

* * *

Удивляет, смущает: на всякое событие «времени и часа» откликается «Римский Дневник», а нет в нем отклика на то, что происходило в России в тот страшный год. Когда-то у В.И. в «Песнях к Родине» вырвалось признание:

Отдал бы тебе, моя отчизна,
Душу я: души единой мало.
Тысячу б с одною, отдал жизнью:
Дать другие сердце б тосковало.

Что же означает его молчание? В статье, написанной почти одновременно с «Дневником», сам он подсказывает ответ: «Без 'очищения' (катарсиса), достигнутого внутренним отрешением от себя самого, не светится над произведением та потусторонняя улыбка, хотя бы только предчувственной, сверхличной гармонии, которая служит для людей знаменем подлинности мусического сообщения.» *

Но, для катартического «отрешения от себя» нужно время. «Крестные мгновения» в жизни (коли не освящены, не преображены они изначально «повевшим светом»), не подлежат лирическому ознаменованию ранее своего «очищения». В.И. не допускал «подсознательного Содома» в «священную ограду Муз»; он горячо возражал тем, которые считали, что

..... цель искусства —
Без покровов, без оков
Показать, кто ты таков,
Темные поведать чувства
Затаенных тайников.

В хтоническое возбраняется заглядывать непосвященному.

Лей очистительные воды,
Отвратясь, в подземный мрак.

Приснился В.И. перед самою войною 1914 г. чудовищный сон, скрывающий ужасом сердце. Поэт не упоминает об этом сне целых 23 года, и лишь в 1937 г. он изложил его подробно — в дантовских терцинах. * О смерти Веры, связанной с революционным кошмаром, он никогда в стихах не говорил. В военное время родина стояла перед ним как сонное виденье:

Густой, пахучий вешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умерших окрест слов,
Старинный звон колоколов.

(16 января)

Россия — рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;

На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.

(23 мая)

Не достигнуто тут никакого «отрешения от себя». Вот почему в «Римском Дневнике 1944 г.» нет отклика на страшные события в России.

Дневник в стихах кончается неожиданным приказом Музы: она запрещает поэту слагать еще новые песни и велит вернуться «к баснословию». «Баснословие» — что это?

Москва. 1871 г. Февраль. Вячеславу едва исполнилось пять лет.

Не знал я ни о чем: обитель
Невинных снов была ясна.
Но стал у ложа Посетитель
И будит отрока от сна.
И вдруг, раскрыв широко очи,
Я отличил от мрака ночи
Тень старца. Был на черном он
Отчетливо отображен,
Как-будто вычерчен в агате
Искусной резчика иглой...
Тот образ, с вечною хвалой,
И ныне, на моем закате,
Я — в сердце врезанный — храню
И друга тайного маню.

...

В скуфье, с бородкой, в рясе черной
В меня вперяя взгляд упорный,
О чем пророчески грустил?
Что дальним дням благовестил?
Напутствовал на подвиг темный
Ты волю темную мою?

...

Глядел я долго на монаха —
И, схвачен судорогой страха,
Вскричал, как тонущий. И сир,
Как плач родившегося в мир,
Был крик земной. Родная ласка
Меня покрыла. Любо мне.
«Приснилось что? — «Нет, не во сне
Его я видел.» — «Али сказка
Помнилась?» — «Нет, он жив.» — «Но кто ж
Твой старичек? И с кем он схож?»

В скуфье владыку Филарета,
Святых показывает мать:
Иконы нет, и нет портрета,
Где б глаз мой сходство мог поймать
С ночным, неведомым пришельцем:
Один я остаюсь владельцем
Нежуткой тайны черт живых,
Чужим очам заповедных...

(Младенчество)

Так в 1913 г. вспоминает В.И. свою детскую встречу со старцем. Но умалчивает он в этом свидетельстве, что не только он «хранит в сердце» и «манит тайного друга», но сам старец его всю жизнь тревожит, чего-то от него требует, не указывает — чего. Напутствует? Не указывает — на что. А что бы поэт ни писал, старец неизменно говорил: «Нет, не о том», или «Хорошо-то хорошо, да не о том».

И вот в разгар первой мировой войны в Москве ночью на 10-ое января 1915 г. написался стих о Богородице, «Владычице Дебренской» и Иосифе, старце Обручнике. Стих начинается —

Во темнѣм, сыром бору
Семь ключей повыбило.
На чистѣй прогалине
Студенец серебряный.

И старец сказал: «Да, о том». В.И. обрадовался: стал ждать других песен «о том»; писал разные стихи, писал «Человека». Старец говорил: «Нет». Осенью 1916 г. поехал в Сочи. Ему мерещился образ царевича-послушника; он топчет виноград для причастного вина; монастырь, острая гора, море; в челне — Богородица... Царевич поет. В.И. записал его песню. Узнал имя его — Светомир. То было в октябре. Старец сказал: «Да, о том». В.И. не видел, не понимал связи между Студенцом серебряным и Светомиром. Шли года. «Всколѣблет что-то тишину — и вновь умолкнет безответно...» В.И. не знал как уловить те пробразы, празвуки, но он решил, что оглашать те две песни не следует до поры, когда найдется целое, которого они — части. (Стихи те публикуются впервые).

В.И. любил горячее римское лето. Особенно радовался солнцу и жаре после сырой, туманной, темной (необычно для Италии — темной). Павии. В 1928 г. он в Рим приехал после университетских экзаменов — в июле, когда насельники, все кто мог, покидали «воспаленный город».

Лишь ящерице любо здесь,
В камнях растреснутых и зное.
Да мне...

В центре Рима зачастую над старыми домами строился целый этаж на прежней плоской крыше. Но в том доме, в котором мы поселились, надстройка была крохотной квартиркой, а вся остальная часть, ей принадлежавшей крыши, образовывала огромную террасу. Ходишь по террасе — квартирка в глубине представляется отдельным игрушечным домиком, и кажется, что терраса и домик висят в воздухе: над головою бесконечное небо — и больше ничего. А заглянешь за низкую железную ограду, заросшую ползучими растениями — перед глазами Рим, не столько монументальные памятники, сколько милые черепичные крыши.

Гуляя по террасе, мы много молчали, много говорили. В.И. все пытался сообщить что-то точное о мучившей его, не могущей родиться «поэме». Он знал уже: золотая стрела; она носит и кормит; имеет всякую власть; она в руках Светомира; готова служить; он не умеет, не смеет ей приказывать; уходит в монастырь; стрелу свою прячет в расщелину дуба. О дубе этом еще раньше были написаны стихи — добавочные, строки к песне царевича на «острой горе». Мастер, «кудесник» языка не умел найти словесной плоти для своих видений. Чего он только ни испробовал — даже силлабический стих: не то, не то. Время летело. Лето кончилось.

Двадцать восьмого сентября утром В.И. сказал мне весело и смущенно: «Я начал писать». И прибавил после короткого молчания: «Это — проза». — «Проза?!» (До тех пор он не стихами писал только статьи и научные книги). — «Да, проза особая, а все же проза; в этом-то и разгадка. Повесть о Светомире Царевиче рассказывает келейник... Сказанье старца-инока...» — «Того самого старца?» — «О, нет. Тот вершит судьбами царства. А этот просто записывает то, что видит и слышит». — «Летописец?» — «Пожалуй». В.И. задумался: — «Может быть он и не один... Но, что ж так говорить. Не лучше ли прочесть?» Он прочел написанное за ночь: две главки. * Прочитанное меня поразило своей необычностью, показалось значительным, убедительным; язык с налетом старины, по особому ритмичный, ни на чей язык не похожий. — «Как хорошо!» В.И. улыбнулся: — «Что Бог даст!»...

Утренний завтрак наш в тот день длился без конца. В.И. рассказывал, рассказывал. Упала завеса. Открылась «даль романа». Вдруг стук в дверь: хозяйка предупреждала, что пришел гость. Так рано? Кто бы это мог быть? (Было уже вовсе не рано). Появился монах близкого бенедиктинского монастыря. * Человек замечательный по глубине и

подлинности своего религиозного опыта. В.И. радовался его посещениям: они всегда бывали духовно плодотворны. Он подошел к В.И.: «Monsieur, je vous félicite». В.И. был так поглощен образами и жизненными перепетиями своих героев, что даже не очень удивился: — «Как же Вы о том знаете?» Зато вопросу такому весьма удивился аббат. — «Помилуйте, день св. Вячеслава большой праздник. Как-же можно забыть? А Вы забыли?» Выяснилось: В.И. с детства чтит день своего ангела. Но в России и в Чехии св. Вячеслав празднуется 4-ого марта, а на западе — 28-ого сентября. В.И. чувствовал себя совершенно счастливым, чего давно уже не было: в совпадении дня рождения первых слов «Повести о Светомире» с днем св. Вячеслава он видел доброе предзнаменование. «Святому Вячеславу» он написал «Моление» * еще в 1917 г. именно 4-ого марта. Оно кончалось поминовением его жития:

Как некогда ты сам у вышеградских башен
Сок гроздий выжимал для литургийных брашен,
Так сопричастникам божественную Кровь
Для общей вечери воскресной уготовь.

Образ Светомира, топчашего «красно зѣленье» был навеян образом юного царя-виноградаря. Но в остальном жизнь царевича шла по другому пути.

В течение последнего месяца в Риме В.И. писал легко, в непрестанном радостном подъеме. К концу каникул оказалась готовой вся первая книга.

В.И. продолжал писать роман и в Павии, и после 1934 г. в Риме. Писал медленно; не торопил, не вызывал видений грядущих событий в жизни Светомира; записывал, когда они представляли. К началу войны были окончены три книги. Война прервала писание романа: ведь весь он был сказанием о «грешнице святой», имя которой не упомянуто — о России. В конце 1944 г. исход войны был уж ясно виден. И Муза призывает поэта обратиться от стихов к роману, который она называет «баснословием».

В 1945 г. В.И. опять стал писать «Повесть» и писал ее тихо-тихо до последнего дня своей жизни. Он успел закончить книги — четвертую и пятую, но всего романа кончить не успел. За два часа до смерти он сказал мне: «Спаси моего Светомира». — «Что это значит?» — «Допиши сказание». Я ужаснулась: — «Этого я не могу, не умею». Он смотрел на меня строго, почти сурово: — «Допиши. Ты все знаешь. Я помогу». Он вздохнул. Помолчал. — «Спаси моего Светомира». И больше ничего не сказал...

Я собрала все, им написанное, все разбросанные листочки, все

зачеркнутые страницы. Изучила источники, о которых он хотя бы вскользь упоминал. Через три года начала писать. Первая трудность: язык. Но он точно предвидел: форма летописи подсказывала решение: другой век, другой летописец. Под язык В.И. подделываться было бы совершенно нелепо и невозможно. Он помогал. Через пятнадцать лет я, наконец, «сказанье» дописала. Приказ исполнила. Спасла ли Светомира? Кто себе судья?

* * *

O voi, che avete gl'intelletti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto il velame degli versi strani.

(Inferno 9, 61)

В.И. любил эту терцину Данте. Он всю жизнь говорил и писал о поэзии как о вожде в разум истины, об экстазе, платоновом «правом безумии» как о пути в область анаagogического (анаagogического в толковании Данте и средних веков: «*docet quid speres anagogia*».) Но о том как ему самому открылись *realiora* он долгие годы молчал. И только в поздний свой час, по просьбе друга, * он рассказал об этом важнейшем событии своего духовного и творческого пути. Письмо, в которое он включил свое признание, было написано в августе 1939 г.:

«С тех пор прошло лет тридцать. Немногие звезды едва стали появляться на темнеющем небе, когда мы выезжали из горного ущелья на берег Черного моря. Среди говора моих спутниц я услышал вдруг точно слабый зов из моей сокровенной тишины (или, то было лишь душевное эхо далекого удара волн?), услышал несколько латинских слов, столь неожиданных, что сразу я не смог уловить их смысла. Знаменательным открылся мне тот смысл при последовавшем размышлении о нем: ведь тому, что уж раньше как-то постигалось и что слова те напоминали мне с нежной настойчивостью, была присуща столь убедительная очевидность, что они стали для меня как бы новоприобретенным реальным познанием. «*Quod non est debet esse; quod est debet fieri; quod fit erit*» — вот что услышалось («Чего нет, должно стать; и что есть, должно становиться; и становящееся станет бытием»). Верный привычке претворять все что глубоко волнует в ритмические образы, я попытался оправить свое тайное сокровище в золотой обруч дистиха:

*Quod non est, Pater esse iubet fierique creatum,
Spem iusso fieri Spiritus afflat: «eris».*

Что верно по отношению к «esse» должно быть верным и по отношению к красоте, к «pulchrum» (...) На *via dolorosa* нашего становления мы красоту встречаем неизменно всякий раз, когда бытие, лежащее в основе становления, открывается восприятию нашему как таковое. Становление само по себе непрекрасно; лишь просвечиванье чрез него *бытия* придает ему красоту, причем милостивая *Charis* пользуется формирующим ритмом.» *

За последнее десятилетие своей жизни В.И. часто возвращался к «мыслям о поэзии»; ему удалось по новому поставить и разрешить проблему о форме и содержании. Еще в 1912 г. В.И. писал в Предисловии к «Нежной Тайне»: — «Автор признается, что в долгих размышлениях о сущности поэзии разучился распознавать границы священных участков: он не умеет больше различать желательного и нежелательного в ней — по содержанию. Мерилом поэтического (поскольку речь идет о словесном выражении душевного состояния) служит для него достоинство формы: не техническое, в тесном смысле ее совершенство, но — в более широком и окончательном смысле — ее художественно-цельное тождество с содержанием».

Но что следует понимать под словом *содержание*? — спрашивает себя В.И. Прошло много лет раньше чем он нашел ответ на этот вопрос. Наконец, он пришел к убеждению, что за разрешением недоумений надо обратиться к Средневековью. «Исходя из господствующих в наши дни предрассуждений», пишет В.И. в 1938 г., * «естественно было бы ожидать, что схоластики, объявившие философию служанкою теологии, тиранически подчинят в искусстве принцип формы содержанию, как проводнику религиозной идеи. Между тем они говорят единственно о форме, о содержании же вовсе не упоминают, что, впрочем, и не удивительно, так как в их лексиконе логически-чистых понятий не находится соответственного слова». К нашему неряшливому, а не к строго-логическому мышлению схоластиков относится злая усмешка гетовского Мефистофеля в ответ на «наивное» замечание ученика: — «Разве слово не обязательно несет в себе понятие?» — «Излишняя забота! Зачем нам попусту терзать себя соблазном пониманья? Ведь именно, где ясных нет понятий, туда угодливо вставляются слова». В схоластическом «*Opusculum de Pulchro*», написанном, «если не самим Фомаю Аквинским, то одним из его ближайших учеников, прекрасное определяется как «сияние формы», разлитое по соразмерно сложенным частям вещественного состава (*ratio pulchri consistit in resplendentia formae super partes materiae proportionatas*) (...)

«Размышления о природе привело метафизиков эпохи Возрождения к различению понятий: *natura naturans* и *natura naturata*. Так размышления об искусстве приводят нас к выводу, что понятие формы

художественной двулико, что различны должны быть форма зиждущая — *forma formans* и форма созижденная — *forma formata*. Последняя — само произведение, как вещь (*res*) в мире вещей; первая существует до вещи, как форма *ante rem*, как действенный прообраз творения в мысли творца.» Зиждущая форма есть «самостоятельное бытие, определившееся до существенной независимости от самого художника, взыгравшая в его 'беременной' (по смелому выражению Платона) душе умная сила, безошибочно знающая свои пути и предписывающая материи свой закон необходимого воплощения (...) Поэзия есть сообщение зиждущей формы через посредство формы созижденной. (...) 'Сияние формы' означает совершенную победу формы над косной материей, целостное осуществление (возведение в бытие) ее потенций, торжествующее исполнение (энтелехию) формы как цели. Символ сияния напоминает о том, что красота в дольном мире есть затускненный природною средой, но все-же светоносный отблеск сверхчувственного сияния красоты божественной.»

В маленькой статье 1947 г., озаглавленной «*Forma formans e Forma formata*», В.И. сжато, строго формулирует свое учение о форме в искусстве. Ошибочно само противопоставление так называемого «содержания» (полученного извне и, уж по одному определению своему, всякому искусству чуждого) и некой «формы», т.е. способа изящно и вразумительно выражать такое гетерогенное и гетерономное искусству задание. «Искусство не является механическим соединением какого-то *что* и какого-то *как*; оно все до конца двойное *как*,» т.е.: *как* есть художественное выражение того *как* художник видит мир. Через художественное *как* мы узнаем *что* увидел «взыскательный художник». Искусство становится *со-общением*. Слово «форма» следует понимать в аристотелевском смысле: она — имманентный акт, осуществляющий скрытые возможности бесформенной материи. «*Forma formans* (в противоположность внешней форме совершенного художественного произведения — *forma formata*) есть та действенная сила, внутренняя форма, которая в творческом разуме образует канон, модель будущего произведения. *Forma formans*, прежде чем сказаться в слове и мраморе, в звуках и красках выражает в душе большого мастера всю полноту и единственность интуиции, раждающей искусство.» *

В этюде о Лермонтове, написанном в том-же 1947/8 году, В.И., всматриваясь во своеобразный внутренний опыт юного поэта, узнает в нем предчувственно верную, хотя еще смутную, колеблющуюся «интуицию того космического начала, которое литераторы после Гете называли Вечной Женственностью, прибегая к выражению этому столь же двусмысленному, сколь двусмысленно то понятие, темное и неопределенное, которому оно должно соответствовать; а Новалис,

следуя Якову Беме, означал мистическую сущность, намеченную в конце «Фауста», священным именем Девы Софии. Идею Софии мы определяем по аналогии с тем, что было сказано об искусстве, как зиждительную форму (forma formans) вселенной в разуме Бога.» Это — архетип извечной «Небесной Девы», предмет мистериософических спекуляций, Девы непостижимой и неизменной, какие бы новые наименования и космогонические символы ей ни приписывались: «Она — Chekmah каббалистов, Achomoth гностиков, Дева Света мандеев, Мистическая Роза в поэзии суфитов и в европейской средневековой легенде. (...)

«Для каждого, типично русского философа она (говоря словами Владимира Соловьева) — теандрическое действие всеединства; для каждого мистика земли русской она есть совершившееся единение твари со Словом Божиим и, как таковое, она не покидает мир; чистому глазу она видна непосредственно. (...) Наиболее своеобразными произведениями русского народного творчества являются, начиная с XI века, изображения Божественной Премудрости, показанной на фресках и иконах ниже сферы Христа и выше сферы ангелов, в виде крылатой Царицы в венце.» *

В этой последней статье своей В.И. впервые теоретически формулирует мысли свои о Премудрости Божией. В поэзии и художественной прозе он о Софии, об ее животворящей «игре с человеками» говорил и до, и после этих раздумий. В эюде заключительном, указывая на преемственность идей, В.И., не упоминая, не называя, поминает тех, с кем вопреки всему, был братски связан «в народной мысли и судьбе».

..... Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены.
(Нежная Тайна)

* * *

Вскоре после освобождения Рима, еще до окончания войны в доме В.И. неожиданно появился американский офицер с фронта — известный писатель Thornton Wilder, с которым В.И. ранее не был знаком лично. Сразу образовалась невероятная близость, пронзительное, проникновенное понимание друг друга, какое редко бывает даже среди старых друзей. Многочасовая беседа их о «Блудном сыне» и «Иове» навсегда осталась ярким воспоминанием как в душе В.И. так (это потом

передавали приезжавшие общие друзья) и в душе его нежданного сочувственника. В последние, послевоенные годы тихая квартира В.И. на Авентине стала местом оживленных встреч. Среди гостей было немало новых, духовно значительных людей. Посещали В.И. и — после войны назначенный послом при Ватикане — философ-томист Jacques Maritain с умной, тонкой писательницей, женою своею Раисой, и метафизик, «экзистенциалист» Gabriel Marcel, и оксфордские ученые Sir Maurice Bowra и Sir Isaiah Berlin (устроившие издание сборника стихов «Свет Вечерний» и перевод на английский язык книги о Достоевском), и многие другие интереснейшие поэты, художники, филологи, археологи старые и молодые. В Рим приехал (то было за несколько месяцев до смерти В.И.) Борис Зайцев со своею милою Верой, и состоялось первое и последнее свидание за рубежом старых московских друзей.

Запрет Музы писать стихи поэт нарушил три раза. Последнее из трех стихотворений этих — сонет. В.И. начал писать его в феврале 1949 г.; много раз он его переделывал; последние изменения внес 14-ого июля. Накануне своей кончины В.И. перечитал все стихи «De Profundis amavi», исправил некоторые строки, которыми давно был недоволен, и включил в старый цикл новый сонет, назначив ему третье место. Сонет кончается словами, написанными поэтом за два дня до ухода его из жизни: — «Рассекла Смерть секирой беспощадной».

В 1948 г. восьмидесятидвухлетний старец получил от Ватикана «духовно-прибыльный» * заказ: написать вступление и составить примечания к Псалтири. * Работу эту он закончил за несколько дней до смерти. Вячеслав Иванов умер в Риме 16 июля 1949 г. в три часа дня.

Давно то было: о судьбе своего пятилетнего Вячеслава под Новый Год мать гадала по Псалтири.

О. Дешарт
Рим, 9 мая 1970 г.

МЛАДЕНЧЕСТВО

ВСТУПЛЕНИЕ

В ПОЭТИЧЕСКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ *

*Вот жизни длинная минея,
Воспоминаний палимпсест,
Ее единая идея —
Аминь всех жизней — в розах крест.
Стройна ли песнь и самобытна
Или ничем не любопытна, —
В том спросит некогда ответ
С перелагателя Поэт.
Размер заветных строф приятен;
Герою были верен слог.
Не так поэму слышит Бог;
Но ритм его нам непонятен.
Солгать и в малом не хочу;
Мудрей иное умолчу.*

I

Отец мой был из нелюдимых,
 Из одиноких, — и невер.
 Стеля по мху болот родимых
 Стальные цепи, землемер
 (Ту груду звучную, чьи звенья
 Досель из сумерек забвенья
 Мерцают мне, — чей странный вид
 Все память смутную дивит), —
 Схватил он семя злой чахотки,
 Что в гроб его потом свела.
 Мать разрешения ждала, —
 И вышла из туманной лодки
 На брег земного бытия
 Изгнанница — душа моя.

II

Мне сказывала мать, и лире
 Я суеверный тот рассказ
 Поведать должен: по Псалтири,
 В полночный, безотзывный час,
 Беременная, со слезами,
 Она, молясь пред образами,
 Вдруг слышит: где же?... точно, в ней
 Младенец вскрикнул!... и сильней
 Опять раздался заглушенный,
 Но внятный крик... Ей мир был лес,
 Живой шептанием чудес.
 Душой, от воли отрешенной,
 Удивлена, умилена,
 Прияла знаменье она.

III

Но как же знак истолковала?
Какой вещал он тайный дар?
Не разумела, не пыталась;
Но я возрос под сенью чар
Ее надежды сокровенной —
На некое благословенный
Святое дело... Может быть,
Творцу всей жизнью послужить...
Быть может, славить славу Божью
В еще неведомых псалмах...
Мать ясновидела впотьмах,
Мирской не обольщалась ложью;
Но в этом мире было ей
Поэта званье всех милей.

IV

Не романтизм (ему же в меру
Она когда-то дань несла)
В ней говорил. Живую веру,
Народную, она спасла
В душе простой от заблуждений.
С наивным опытом видений,
С бесплотным зрением теней
По-русски сочетался в ней
Дух недоверчивой догадки,
Свободный, зоркий, трезвый ум.
Но в тишине сердечных дум
Те образы ей были сладки,
Где в сретенье лучам Христа
Земная рдеет красота.

V

Ей сельский иерей был дедом;
Отец же в Кремль ходил, в Сенат.
Мне на Москве был в детстве введом
Один, другой священник — брат
Ее двоюродный. По женской
Я линии — Преображенский;
И благолепие люблю,
И православную кутью...
Но сироту за дочь лелеять
Взялась немецкая чета:
К ним чтицей в дом вступила та.
Отраднo было старым сеять
Изящных чувств и знаний сев
В мечты одной из русских дев.

VI

А девою русскою по праву
Назваться мать моя могла:
Похожа поступью на паву, —
Кровь с молоком, — она цвела
Так женственно-благоуханно,
Как сердцу русскому желанно.
И косы темные до пят
Ей достигали. Говорят
Пустое все про «долгий волос»:
Разумница была она —
И «Несмеяной» прозвана.
К тому ж имела дивный голос:
«В театре ждали б вас венки» —
Так сетовали знатоки.

VII

Читали Библию супруги,
Усевшись чинно, по утрам.
Забыть и крепостные слуги
Не смели в праздник Божий храм.
И на чепец сидящей дамы,
И на чтеца глядел из рамы
Румяный Лютер: одобрял
Их рвенье Доктор, что швырял
Чернильницей в Веельзевула,
Когда отваживался шут
Его ученый путать труд,
Над коим благочестье гнуло
Мужской, с височками, парик
И вялый, добрый женский лик.

VIII

С осанкою иноплеменной
Библейский посещали дом
То квакер в шляпе, гость надменный
Учтиво-чопорных хором,
То менонит, насельник Юга.
Часы высокого досуга
Хозяин, дерптский богослов,
Все посвящал науке слов
Еврейских Ветхого Завета.
В перчатке черной (кто б сказал,
Что нет руки в ней?) он стоял
И левою писал с рассвета,
Обрит и статен, в парике
И молчаливом сюртуке.

IX

Французский автор здесь греховен
Порой казался — или пуст.
Но «Несмеяне» мил Бетховен;
Царит Вольфганга Гете бюст
В девичьей келлии. Марлинский
Забыт; но перечтен Белинский
(С Виссарионовой сестрой
Она знакома). Прежний строй
В душе другим сменился строем.
Открыта свежая тетрадь,
Где новых рифм лихая рать
Располагается постоем, —
Набег поэтов старины,
Что нам — священны иль смешны.

X

Решилось. Видно, век девицей
Ей вековать, не обрета
По нраву мужа. Хоть Жар-Птицей
Пылает сердце, — не шутя,
«Александрину» Генриета *
Все дразнит «рыбой»... Да и лета
Не те... Но все-ж в монастыре б
Спасаться ей, не в этот склеп
Живые схоронить восторги!
Заране храм ей снился, — тот,
Где столько лет ее приход:
В нем луч в нее метнул Георгий;
Под жалом Божьего посла
Она в земную глубь вросла.

XI

Настало Руси пробужденье.
Мать родилася февраля
В день девятнадцатый. Рожденье
Народной вольности земля
В тот день соборно править стала.
Всю жизнь молиться не устала
Родная о своем царе:
Заутра быть какой заре!
Был той молитвы сплав испытан
В горниле медленных надежд.
В последних отблесках одежд
Златого дня и я воспитан...
Бароны ж охали, дрожа, —
В тот день прощенный, — мятежа.

XII

Но их родня — домохозяин,
Правитель княжьих деревень
От тундры до степных окраин,
Благословлял желанный день, —
По-божьи опекун народный,
За мир ходатай благородный...
И вот уж гладкий мавзолей,
Ласкаем ветерком полей,
Бавкиды прах, прах Филемона
Покрыл. Исчезли старики,
Чьи перед смертью двойники
Близ матери — (предвестье звона
Церквей, завешанных сукном) —
Прошли в видении дневном.

XIII

Мать у Большого Вознесенья
Сам-друг живет своим домком —
С Татьянушкой... Какую тень я
Из мглы времен позвал тайком!
Моей старушка стала няней;
И в памяти рассветно-ранней
Мерцает облик восковой...
Кивает няня головой, —
А «возле речки, возле моста» —
Там шелковà растет трава...
Седая никнет голова,
Очки поблескивают просто;
Но с детства я в простом ищущу
Разгадки тайной — и грущу.

XIV

С Украины девушкой дворовой
В немецкий дом привезена,
Дни довлечив до воли новой,
Пошла за матерью она.
Считала мать ее святою.
Ее Украина золотою
Мне снилась: вечереет даль,
Колдует по степи печаль...
А в домик вдовый Генриетин
Супруг доверчиво идет
И повесть грустную ведет,
Как оставался безответен
Призыв души его больной,
Как он покинут был женой.

XV

Он холодно-своеобычен
И не похож ни на кого;
Каким-то внутренним отличен
Сознанием права своего —
Без имени, без титул обрядных —
На место меж людей изрядных.
Под пятьдесят; но седины
Не видно в бороде. Темны
И долги кудри; и не странен
На важном лице, вслед волос
Закинутом, — огромный нос.
Движеньем каждым отчеканен
Ум образованный... Года? —
Но мать сама не молода.

XVI

Нет! Сколько сороков трезвонят
По всей Москве, ей столько лет.
И думы скорбные хоронят
Давно девический расцвет, —
Хоть и щадят еще морозы
Осенний праздник пышной розы,
Какой чрез светопись она
Моим очам сбережена...
Не долго плел отец мой сети:
Двух малолетних сыновей
Раз под вечер приводит к ней
И молвит: «На колени, дети!
За нас просите как-нибудь!»
И дети: «Нам ты мамой будь...»

XVII

Зоологического Сада
Чуть не за городом в те дни
Тянулась ветхая ограда.
Домишко старенький они
Купили супротив забора,
За коим выла волчья свора
И в щели допотопный рог
Искал просунуть носорог.
С Георгиевским переулком
Там Волков узенький скрещен;
Я у Георгия крещен...
Как эхо флейт в притворе гулком
Земной тюрьмы, — не умирай,
Мой детский, первобытный рай!

XVIII

Меж окон, что́ в предел Эдема
Глядели, было — помню я —
Одно слепое... О, поэма
Видений ранних бытия!
Волшебной жизнью живые
Вещей загадки!... Голубые
На нем подобия завес
Оставил некий Апеллес.
Зверям присвоенного рая
Служил преддверием наш сад:
Акаций старых вижу ряд,
Березу, — у ворот сарая
Седого дворника, как лунь,
Как одуванчик — только дунь!

XIX

В ложбине черной, над водами,
Оленьи видел я рога.
А за соседними садами
Манили взрытые луга,
Где пролагался путь железный.
Но первый сон, душе любезный,
В окне привидевшийся сон —
Был на холме зеленом слон.
С ним Персы, в парчевых халатах,
Гуляли важно... Сад зверей
Предстал обителью царей,
Плененных в сказочных палатах,
Откуда вспыхивал и мерк
Хвостом павлиньим фейерверк.

XX

Мечты ли сонные смешались
С воспоминаньем первых дней?
Отзвучья ль древние носились
Над колыбелию моей?
Почто я помню гладь морскую
В мерцаньи бледном — и тоскую
По ночи той и парусам
Всю жизнь мою? — хоть (знаю сам)
Та мгла в лицо мне не дышала,
Окна не открывал никто,
Шепча: «вот море» ... и ничто
Сей грезы чуждой не внушало.
Лишь поздно очи обрели
Такую ночь и корабли.

XXI

Но, верно, был тот вечер тайный,
Когда, дыханье затая,
При тишине необычайной,
Отец и мать, и с ними я,
У окон, в замкнутом покое,
В пространство темноглубое
Уйдя душой, как в некий сон,
Далече осязали — звон...
Они прислушивались. Тщетно
Ловил я звучную волну:
Всколеблет что-то тишину —
И вновь умолкнет безответно...
Но с той поры я чтить привык
Святой безмолвия язык.

XXII

Еще старинней эхо ловит
Душа в кладбищенской тиши
Дэдала дней, — хоть прекословит
Рассудок голосу души.
Ужель к сознанию дух проснулся
Еще в те дни, как я тянулся
Родной навстречу, из дверей
Внесен кормилицей моей
Куда-то, в свет, где та сидела?...
Стоит береза, зелена:
Глянь, птичка там — как мак, красна!
Высоко гостья залетела,
Что мне дарила млечный хмель! —
Ты на березе, алый Лель! *

XXIII

Быть может, мать не умолчала,
Былое счастье святя,
Как встарь от груди отлучала
Золотокудрое дитя.
Но меж обманов путеводных,
Какими нас в степях безводных
Вожди незримые ведут,
Был первым алый тот лоскут,
Мираж улыбчивой утраты,
Посул волшебный, что в Эдем
Уходит все родное, чем
Недавно были мы богаты, —
В Эдем недвижимый, где вновь
Обрящем древнюю любовь...

XXIV

Цела ли связка писем милых,
Так долго недоступных мне, —
Что мой отец в полях унылых
Писал беременной жене, —
Где, в благодарном умиленье,
Увядавшей жизни обновленье
Он славил, скучный клял урок
И торопил свиданья срок?...
Но с той поры, как я родился,
На цепь и циркуль спроса нет:
В уединенный кабинет
Он сел, от мира заградился
И груди вольнодумных книг
Меж Богом и собой воздвиг.

XXV

И все в дому пошло неладно:
Мать говорлива и жива;
Отец угрюм, рассеян, жадно
Впивает мертвые слова —
И сердце женское их ложью
Замыслил уклонить к безбожью.
Напрасно! Бредит Чарльз Дарвин!
И где причина всех причин,
Коль не Предвечный создал атом?
Апофеоза протоплазм
Внушает матери сарказм.
«Признать орангутанга братом —
Вот вздор!...» Мрачней осенних туч,
Он запирается на ключ.

XXVI

Заветный ключ! Он с бранью тычет
Его в замок, когда седой
Стучится батюшка и причет —
Дом окропить святой водой.
Вы, Бюхнер, Молешотт и Штраус,
Товарищи недельных пауз
Пифагорейской тишины,
Одни затворнику верны, —
Пока безмолвия твердыня,
Веселостью осаждена,
Улыбкам женским не сдана...
Так тайна Божья и гордыня
Боролись в алчущем уме.
Отец мой был не *sieur Nomais!* **

XXVII

Но — века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип;
«Интеллигент», сиречь «проклятых
Вопросов» жертва — иль Эдип...
Быть может, искренней, народной
Иных — и в глубине свободней...
Он всею ночью, от ранних лет,
Любил «вечерний тихий свет».
Но ненавидел суеверье
И всяческий клерикализм.
Здоровый чтит он эмпиризм:
Питай лишь мать к нему доверье,
Закон огня раскрылся б мне,
Когда б я пальцы сжег в огне.

XXVIII

Я три весны в раю, и Змия
Не повстречал; а между тем
Завесы падают глухие
На перевозанный мой Эдем.
Простите, звери! Заповедан
Мне край чудес, хоть не отведан
Еще познания горький плод:
Скитанье дольнее зовет.
Пенаты, в путь!... Пруд Патриарший
Сверкнул меж четырех аллей.
Обитель новая, лелей
Святого детства облик старший,
Пока таинственная смерть
Мне пеплом не оденет твердь!

XXIX

И миру новому сквозь слезы
Я улыбнулся. Двор в траве;
От яблонь тень, тень от березы
Скользит по мягкой мураве.
Решетчатой охвачен клеткой
С цветами садик и с беседкой
Из пестрых стекол. Нам нора —
В зеленой глубине двора.
Отец в Контрольную Палату
С портфелем ходит. Я расту.
Как живописец по холсту,
Так по младенческому злату
Воспоминанье — чародей
Бросает краски — все живей.

XXX

Отцовский лик душа находит:
Стоят, всклокочены, волосы;
А карандаш в руке выводит
Рисунка детского красы:
И тянется бумажной степью
По рельсам поезд; длинной цепью
Он на колесиках катит;
Метлой лохматой дым летит.
Стихи я слышу: как лопата
Железная, отважный путь
Врезая в каменную грудь,
Из недр выносит медь и злато, —
Как моет где-то желтый Нил
Ступени каменных могил, —

XXXI

Как зыбью синей Океана,
Лишь звезды вспыхнут в небесах.
Корабль безлюдный из тумана
На всех несется парусах...
Слов странных наговор приятен,
А смысл тревожно-непонятен;
Так жутко нежен стройный склад,
Что все я слушать был бы рад
Созвучья тайные, вникая
В их зов причудливой мечтой.
Но чудо и в молве простой,
Залетной бабочкой сверкая,
Сквозит... Увижу ль, как усну,
Я «франко-прусскую войну»?...

XXXII

Большой Театр! Я в эмпиреи
Твои восхищен, радость глаз!
Гул, гомон, алые ливреи,
Пылающий и душный газ;
От блесков люстры до партера
Вертящаяся в искрах сфера,
Блаженств воронка, рая круг...
И чар посул — узывный звук
(Как рог пастуший, что улыбкой
Златого дня будил мой сон) —
За тайной лавров и колонн,
Живых на занавеси зыбкой...
Взвилась: я в негах утонул,
Как-будто солнца захлебнул.

XXXIII

В Музей я взят — и брежу годы
Все небылицы про Музей:
Объяты мраком переходы,
И в них, как белый мавзолей,
Колосс сидящий — «Моисея»...
Воображенье в сень Музея
Рогатый лик перенесло,
С ним память плавкую слило.
В «Картинах Света»** списан демон,
Кого не мертвой глыбой мнил
Ваятель, Ангел Михаил.**
Бог весть, сковал мне душу чем он
И чем смутил; но в ясный мир
Вселился двойственный кумир.

XXXIV

Везет на летние гостины
Меня в усадьбу мать, к родне;
Но стерлись сельские картины,
Как пятна грифеля, во мне.
Дать сахар в зев Шарò не смея,
Роняю дань. Как два пигмея,
Кузэны, взрослые в игре,
Мельтешат на крутой горе.
Те впечатленья — крутосклонный
Зеленый горб, да черный пес —
Вот все, что я домой привез,
Где ждал меня мой конь картонный
И ржаньем встретил седока,
Где мучила отца тоска —

XXXV

И страх томил: бродили стуки,
Все в доме двигалось само...
Бесплотные в потемках руки
Его касаются... Ярмо
Неотвратимого удела
Над матерью отяготело...
Еще ходить на службу мог,
Но чах отец, слабел — и слег.
«Нить скоро Парка перережет» —
Пророчат измененный лик,
Мелькнувший за окном двойник,
Железный над постелью скрежет.
В накате ищут, меж стропил —
Когтей таинственных и пил.

XXXVI

Не знал я ни о чем: обитель
Невинных снов была ясна.
Но стал у ложа Посетитель
И будит отрока от сна.
И вдруг, раскрыв широко очи,
Я отличил от мрака ночи
Тень старца. Был на черном он
Отчетливо отображен,
Как-будто вычерчен в агате
Искусной резчика иглой...
Тот образ, с вечною хвалой,
И ныне, на моем закате,
Я — в сердце врезанный — храню
И друга тайного маню.

XXXVII

О, гость младенческих пожинок,
Блюститель горний райских жатв!
Кто был ты, странный? Русский инок?
Иль брат иных обетных клятв?
В скуфье, с бородкой, в рясе черной
В меня вперяя взгляд упорный,
О чем пророчески грустил?
Что дальним дням благовестил?
Напутствовал на подвиг темный
Ты волю темную мою?
Икону ль кроткую свою
В душе мятежной и бездомной
Хотел навек отпечатлеть,
Чтоб знал беглец, о чем жалеть, —

XXXVIII

Чтоб о родимой Фиваиде,
Кто в мир шагнул, за скитский тын,
И лика Божия отъиде, —
Вспомнил в день свой, блудный сын?...
Глядел я долго на монаха —
И, схвачен судорогой страха,
Вскричал, как тонущий. И сир,
Как плач родившегося в мир,
Был крик земной. Родная ласка
Меня покрыла. Любо мне.
«Приснилось что?» — «Нет, не во сне
Его я видел.» — «Али сказка
Помнилась?» — «Нет, он жив.» — «Но кто ж
Твой старичек? И с кем он схож?»

XXXIX

В скуфье владыку Филарета,
Святых показывает мать:
Иконы нет, и нет портрета,
Где б глаз мой сходство мог поймать
С ночным, неведомым пришельцем:
Один я остаюсь владельцем
Нежуткой тайны черт живых,
Чужим очам заповедных...
Дала страдальцу нежить роздых,
Но завозились доктора.
Он ждет: весенняя пора
И чистый деревенский воздух
Искусней, чем волхвы наук...
День смеркнет, — в гости ткач-паук.

XL

Проходит мать чрез все мытарства,
Всегда притворно-весела.
Из комнаты — достать лекарства —
Метнулась раз... и обмерла.
На кресле, в сумраке гостинной,
Сидит отец, в халате; длинный
Наводит исподлобья взор
И мнет платок... Мать о ковер
Споткнулась; а больной с постели:
«Что там?» — и голос полн тревог.
«Я не ушиблась. Из-под ног
Шмыгнула мышь»... Но неужели
Обратный неизбежен путь?
Как ей из спальни проскользнуть?

XLI

Покой с порога озирает:
Согбен, все там же гость сидит,
В руках платок перебирает
И прямо перед собой глядит.
Скрепилась: мимо пролетела
И даже кресел не задела.
С больным спокойно говорит;
За живость тот ее корит...
Неугомонный богоборец
Критический затеял суд
С эпохами, что мифы ткут.
А мирликийский чудотворец, —
Весь в бисере, в шелках цветных, —
Над ним склонился, друг больных.

XLII

Февраль в исходе. Вслух читает
Разбор Евангелия мать.
У изголовья Смерть витает;
А мысль упорствует внимать,
Пытает, взвешивает, мерит:
Бунтует ум, но сердце верит.
С дремотой бденье пополам
Смесилось. Тени по углам
Насторожились. Мать бормочет.
Озревшись дико, вдруг отец,
Трясаясь, вскочил... Ужель конец?...
Стряхнуть какой-то облак хочет.
Где ж он?» — хрипит: «Не отпускай!...
Ушел!» — «Кто, милый?» — «Николай.»

XLIII

Затих; прояснился; лепечет:
«Утешься: верую теперь.
Причастье душу мне излечит.
Меж тем как ты читала, в дверь —
Я вижу, входит этот самый,
Что строго так глядит из рамы...
Ты вышивала?... Тот же вид!
Подносит Чашу и велит
За ним причастное моленье
Твердить. Я начал. Вдруг меня
Покрыла сверху простыня.
И заметался я, в томленьи
По Чаше, — а его уж нет...
Шли за священником, чуть свет!»

XLIV

Христос приходит. Ожиданья
Ей не солгали. Долгий час
За дверью слышались рыданья,
Перерывавшие рассказ
Души, отчаяньем язвимой,
Любовью позднюю палимой
К Позвавшему издалика, —
И тихий плач духовника...
Был серый день; играл я дома
И, бросив нехотя игру,
Без слов был подведен к одру.
Страдальца смертная истома
Снедала; пот бежал рекой.
Он крест знаменовал рукой.

XLV

Я помню сумрак и чрез двери
Открытые, в гостиной, свет
И дым, как в церкви. Я потери
Не чувствовал, хоть знал, что нет
Меж нас отца, не будет снова:
Он там, под серебром покрова,
Скрестивши руки, спит в гробу,
Холодный, с венчиком на лбу...
Приехали из Института
Два брата: в сборе вся семья.
Но старшего не вижу я;
Другой, к дверям приблизясь круто,
Как истукан, остолбенел,
И так на зареве темнел...

XLVI

Крепчая, пестун-вал качает
Мой челн: за молот плещет ширь...
Мать новолетие встречает, —
Гадает, разогнув Псалтырь:
«В семье отца я, пастырь юный,
Был меньшим. Сотворили струнный
Псалтирион мои персты»... **
— «Дар песен вещицы листы
Тебе пророчат»... Неразлучен
С тех пор с душою их завет:
Как будто потаенный свет,
В скудели полой, мне поручен, —
Дано сокровище нести...
Пора младенчества, прости!

XLVII

Шесть весен... Видит у подножья
Высокой лестницы — во сне —
Мать духа тьмы и духа Божья
В бореньи трудном обо мне...
В старинной церкви Спиридонья
Родимой тонкого просонья
Являют новые струи
Простор пустынной соли
И два по клиросам кумира:
Тут — *ангел* медный, гость небес;
Там — *аггел* мрака, медный бес...
И два таинственные мира
Я научаюсь различать,
Приемлю от двоих печать.

XLVIII

Лобзает вежды луч янтарный
И пишет «радость» по стене, —
И полнотою светозарной
Вдруг сердце замерло во мне!
Все спит. Безлюден двор песчаный.
Бегу в цветник благоуханный.
В цветах играют мотыльки,
Как окрыленные цветки.
Впервые солнечная сила,
Какой не знал мой ранний рай,
Мне грудь наполнила по край
И в ней недвижно опочила...
Пробился ключ; в живой родник
Глядится новый мой двойник...

ПОВЕСТЬ
○
СВЕТОМИРЕ ЦАРЕВИЧЕ

СКАЗАНИЕ СТАРЦА-ИНОКА

I

1. Значнається повесть
о Свѣтомирѣ царевичѣ, сынѣ
Владара-царя:

КНИГА ПЕРВАЯ*

I

- 1 Зачинается повесть о Светомире царевиче, сыне Владаря-царя:
- 2 В белом царстве, христианском государстве, держал власть царь Володарь.
- 3 В его руке утвердилось державство и возвеличилось, и простерлось владычество его на восток солнца и полдень и запад и полночь далече, и имя его наполнило вселенную;
- 4 а народ работал на державу, и несла земля тяготы царства.
- 5 А сел государить Володарь в разруху и разорение великое, и родину от супротивных целу отстоял, вскоре же и в вящей славе воздвиг,
- 6 не отчий в наследье прияв стол, но излюблен быв и показан и посажен Божию милостию, церкви благословением и вся земли соборным изволением,
- 7 при явленных от Святого Егория знаменях, яко восставший вождь в силе Егорьевой, от кореня прозябший Господня Воина; и не постыдило земли упование.
- 8 А допрежь того житие Володарево таково было.

II

- 1 Жива по миру память: было у Егория у Храброго шесть лесных сестер, их-же, во тьме неведения сидящих, брат по естеству светом Христовым просветил.
- 2 Сих водами крещения убеленных жен непорочных сыны и внуки, паче матерного наставления отцов и дедов безоугодию и чарованию приверзшися и от святых веры отступивши, — опричь единого Христова исповедника, и того в юные лета замучена, — братогубительным одержимы неистовством, в междуособной расправе друг друга мало не искоренили.

3 Один уцелел внучатый племянник Егорьев Горыня с двумя сынами, от них же и Горынские князья пошли.

4 И прослыли те неключимые богатыри в молве Змиевым Семем: зачались — мол, — толковали простецы, — от потопа кровавого, как хлынула наземь полынью кровь из утробы дракона лютого, которого Божий посол Егорий благословенною стрелою пронзил.

5 И сии неведгласы толико пустобредили, иные же иное измыслили нечестие: будто Егорьевы сестры, как в дубравах жили, змеиные стада пасли и с демонами Змеевиками совокупились.

6 Оное же о Змиевом Семени слово в притчу, разумей, старые люди молвили, оуждаючи окаянство племени; молодые из приговья да порёкла нёбыль о пращуре Змие сплели.

7 Инò Горынских прозвание надоумило, от силы-де расплодился Змея Горыныча, как и в еллинских баснословиях сказается зубов драконовых посев, что исполинов-извергов возростил.

8 Сим убо Кадмовым волотам подобно, своею-же и те истребились яростью, брат брата боря.

9 А раздорили из-за урочища малого, где чудотворную стрелу Егорий, пред живота кончиною, в сыруземлю, мнили, вогнал; и кто, мечтали, ту стрелу добудет, всю землю себе под нòги покорит.

10 А в котором месте стрелы тайник, ни допрёдь не знавали, ни последи так и не доведались.

11 И заглох о стреле пòслух, и усмирилось древлее бесование, и сродников кровью политёе урочище былём поросло.

III

1 Миновали века стародавние: поредели темные леса да боры глухие, и зверье рыскучее от топора да плуга подале в трущобы ушло, и в безлюдных местах города понастроились.

2 Было в те новые времена: оставалось от рода Горынских всего двое мужей — князь Давыд, веком из двоих старший, и князь Боривой, что друг друга и за родню не почитали, да и в глаза не видавали, сидючи Давыд в лесных угодьях, в серединной земле, близь оного кровавого урочища, именуемого Егорьевым, Боривой у степи окрайной;

3 а как сыновей, имени наследников, у них не было, издревле пресловутый, — болезновали старцы памятливые, — вымирал род.

4 В тè поры́ оному князю Давыду Лазаревичу и княгине его Василисе Никитишне, из рода Микулиных, что вели себя от древнего

богатыря Микулы Селяниновича, людям уже пожилым, боголюбцам и странноприимцам, даровал Бог первенца вожденного, долгожданного, о нем же и повесть сия;

5 зане тому суждено было в совете Господнем землею володать, откуда и Володаря прозвище ему в годах приложилось.

6 Сына рождение матери еще в девичестве вещей знаменовал сон.

7 Снилось Василисе, будто гуляет она меж веселых подруженек по раздолью зеленому, да про себя думу думает: «И отколь красных девиц собралось такое множество? И в лицо ни единой, поди, не признаешь!»

8 Глядь, а навстречу ей, по-над лугом низехонько, плывет на воздушех, ровно челн по озеру, облак червлёный, и на том облаке, диво дивное, сам Свет-Егорий стоит, юноша красный в доспехах пресветлых, и копье лучевидное в руке держит.

9 И как наплыл на нее, водрузил ей копье-луч прямо в темя, и проник в нее луч сквозь все тело, и под тем она копьем под Егорьевым до самых грудей в землю вошла.

10 Перешепнулись подружки Василисины, как про сон тот свести: «К могиле, знать, ей в сыру землю уход примнился».

11 А как посватался вскоре к Василисе князь Давыд, на сына рожденье толковали весть разгадки: «через ее-де материнское чрево, оно-же и есть Мать-Земля сама, хочет Егорий Святой в осталом своем роду новую славу явить.»

12 И стала в супружестве Василиса ждать сына милого; но целых двадцать лет прошло и два года, а чета пребывала бесчадною.

IV

1 Бродила в Ильин день Василиса по дубравам окольным и набрела на заповедное урочище Егорьево.

2 Видит дуб старый, грозю опаленный, и родник под ним из земли бьет, по мху зеленому да по камушкам гладким разливается, плещется, на солнце играет.

3 Загляделась, залюбовалась Василиса на журчливый родник и востужила о своем бесплодии.

4 Окликнула ее старица проходящая и говорит ей: «Почто тужишь? Сей дуб Егорьев, и родник сей Егорьев ключ. Испей, по молитве, воды от источника и ступай до грозы домой с миром».

5 И сказавши те слова, скрылася старица в дебри лесной.

- 6 Испила Василиса с молитвою воды ключевой студеной и пришла до грозы в дом свой, и в ту-же ночь во чреве понесла.
- 7 Когда же родился младенец на Егория вешнего и наречен был над святою купелью, dedu в честь, Лазарем, повелел Давыд:
- 8 ветхий, что над Егорьевым ключом, дуб срубить, и из комя цельный крест вытесать, и святого Егорья образ в крест врезать, и сень из того-же дуба соорудить, и поставить крест и сень над криницею.
- 9 И хвалили Бога родители обрадованные, и обновилась жизнь их, и ключом выиграла, словно давняя им вернулась младость.

V

- 1 Отрок же возрастал пригож и статен; телом не нарочито крепок, но упруг и гибок, и вынослив, и ловок; нравом пылок, но незлобив; мыслию высокомыслителен, на язык воздержен;
- 2 в играх, охотах и ристаниях борз и смел; к учению книжному весьма горазд; в ответах сметлив и быстр; родителям и старшим покорлив; с домочадцами и пришлыми людьми ласков.
- 3 И до тринадцатого года иным часом некое надмение без бахвальства являл и скорым, хоть и отходчивым, распаялся гневом.
- 4 А как пошел ему тринадцатый год и диковинное нечто промеж ребячьих затей ему приключилось, прежнее любоначалие то-ли вовсе избыл, то-ли обуздал и от благоприветливого и смиренному-дренного обычая не уклонялся.
- 5 Приключилось же ему в игре от сверстников, княжьих и боярских детей, в цари выбрану быть, и повел он потешную рать в леса походом.
- 6 А родня его по матери, Васька Жихорь, из зависти всяческое ослушание и охальство ему чинил, и подражнял его, и змеенышем поганым обзывал, и на кулачный бой, силою похваляясь, вызывал.
- 7 И сказал Лазарь: «Не подобно мне, царю, с тобою битися, инд тебя, крамольника, смертью казнить. Вяжи-ка его, дружина хоробрая!»
- 8 И, сколь ни дюз был детинка, скрутили его лихие товарищи по рукам и по ногам и, под деревом оставивши одного, по лесу рассыпались и над воплем его и ругательством издали потешались,
- 9 как внезапно заглушил его клики вой волчий, и оробели ребята, и ужаснулись. Ринулся Лазарь, ног под собою не чуя, к месту, где Васька лежал, и видит:

10 оскалилась на отрока волчица лютая, и шерсть на ней от ярости вздыбилась, а самого не трогает, будто чего ждет; и видючи Лазаря, бегущего на нее и возбраняющего ей, голову на выю вскинула и, взывши, в чашу ушла.

11 Бросился Лазарь узлы на связне рубить, да тут-же и забился в судороге, с пеною у рта, и на недолгое время оцепенел.

12 Но не успела ватага оторопелая собраться и срядиться, в себя пришел и на резвы ноги вскочил, и весело мирился с Жихорем.

13 А тот его потай убоялся, и николи с одного часа ему не грубил и не досаждал.

14 И велел Лазарь о приключившемся ничего дома не сказывать; нрав же свой оттоле на доброхотство и кротость преложил.

15 Также и в юношеский возраст вступив, благоразумия и целомудрия и добронравия образ носил.

16 А жил он в те лета уже не под кровом родительским, но отдан был отцом именитым военачальникам под руку, к ратному делу приобикнуть, и от тех за воинскую доблесть изрядную похвалу имел.

VI

1 Прослышал князь Давыд, что у князя Боривоя дочь-красавица на выданье, и засылал в Боривоев дальний удел присных своих и искренних сватами сказать ему:

2 «Челом тебе бьет Горынский родич, Давыд Лазаревич, и так говорит: у тебя товар, у меня купец; у тебя в дому душа-дѣвица, а у нас удалой молодѣц;

3 «детей женитьбою, давай, род наш, славою великий и землями обильный, совокупим и всей земле оплотом поставим; кому иному и землю спасать, как не нашему роду Егорьеву?»

4 Нахмурился князь, ответа поджидая, нахохлился, нетерпеливые из-под бровей меча взоры: был он ростом невелик, сухощав, смуглолик, нос орлиный, глаза серые, острые.

5 А княгиня Василиса Никитишна день и ночь Богу молилась да вздыхала, и напоследних мужу открылася:

6 «Уж и ума я, свет мой, не приложу, на что сие прикинуть, — будто чей голос мне в уши без ослабы твердит: сулена, да не сужена, — сулена, да не сужена.

7 «А и сон мне намедни приснился: вижу ее во сне, Боривоеву дочь, как живую, с глазами большими, темными, красивою да

печальную; и лежит она будто окрай Лазаря на ложе пышном, а промеж ними булатный меч.»

8 Буркнул в ответ Давыд Лазаревич: «Коли бы сны женские да сбывались, давно бы тебе было в могиле тлеть, а не сына со мною прижить.» — и поехал с любимым соколом на охоту.

9 Вернулись сваты и докладывали: «Принимал нас князь Боривой радушно и тебе с княгинею на почете благодарствовал.

10 «А дочь моя, — сказывал — за другого сговоренà, за витязя доброго, его-же за сына воспитал, великую себе в бранях надёжу и подмогу.

11 «Да и не к лицу, — говорит, — нам, степнякам-порубежникам, сторожевым земли оборонникам, с вами, вельможами, свдётся: вы себе на лебязьем пуху нежитесь, а мы в седлах ночуем.

12 «У вас, бают, стрела Егорьева в земле зарыта лежит, и не шелдхнется; а у нас каленý стрелы в тулах звенят.

13 «А зато, — говорит, — я князя Давыда люблю, что горд и, как орел, в уединенном гнезде сидит, почестей и жалованных вотчин деля с новыми людьми перед великим государем не угодничает.»

14 Осерчал на родича Давыд Лазаревич, не любил, чтобы ему перечили, и сыну о сватовстве ни слова не сказал.

VII

1 Привязался в походах Лазарь к надёже-князю Симеону Игоре вичу Управде.

2 Он-же за ним, как за младшим братом засматривал, и в опасных делах, дабы по неопытности и рьяности не зарвался молодец, при себе попридерживал, уму-разуму учил; и на охоте, раз было дело, из-под бурой медведицы вызволил, ели жýва.

3 Слушался его во всем Лазарь совестливо, и крестами витязи поменялись.

4 Сей доблестный княжич, в детстве осиротев, воспитан был по соседству князем Горынским Боривоем.

5 Крут был меньшей Горынский, и дерзкосёрд, и до браней охоч; и как окрай степи ордынской сидел, с нечестивыми Измаильтянами в частых сечах рубился: грозой был неверным князь Боривой.

6 Отроком стремя ему Симеон держал; после же, чуть слышит, что новая замятня настоит, со своими людьми на подмогу летел.

7 И обещал ему опекун, как из-под опеки его отпускал, дочь свою Гориславу в супруги; и мать девицы на смертном одре нареченных благословила.

8 Души не чаял князь Боривой в дочери единственной; возростил ее в бранном быту степною наездницей, и поленицею ласково величал.

9 Подруг у Гориславы не бывало, одиночество ей не докучало: пò степи любила скакать, да травы степные собирать, да песни петь неизвестные, наговорные, и слыла в народе знáхаркою и ведúнней, чтò в землю на семь пядей видит.

10 Отца крепко любила и одна его не боялась; а Симеона за старшòго брата уважать обыкла.

11 Храбр был в поле Симеон, сердцем же кроток и прост; а Гориславу гордою почитали люди и немилостивою, даром что недужных навещала по всей округе и, какую хворь извести посулит, зельями излечивала.

12 Торопил свадьбу жених, а невеста в ответ головой качала, да все в дальнюю степь глядела очами грозными и горестными,

13 словно из-за края земли вести ль какой ждала, дива ль небывалого, — да, гляди, не на радость.

VIII

1 Пришатнулась лихая беда: не ждали, не гадали, как нагрянула степная орда;

2 князя в бою убила, княжье гнездо разорила, села и посады окрест повыжгла, а Гориславу с девами и молодницами в полòн увела.

3 В тè-поры были Симеон и Лазарь в разъездах недалних вкупе, а как о набеге свести, с отборною ватагой на выручку поскакали.

4 И настигла погоня полòн в диком поле, — в ханскую ставку увозили княжну похитчики, — и в кровавой сече поганых одолела, и полон отняла.

5 Как волк в стае гончих дрался Лазарь, и шишак на голове его был рассечен; а сам уцелел. Но тяжело уранен был Симеон.

6 Уязвлен и окровавлен лежал Управда на поле победном, и темный облак ему очи застлал; через великую силу он речь держал, побратиму наказывал:

7 «Бога ради, бери ты, Лазарь, двух добрых коней, вези мою невесту в свою семью, к родителям твоим под опеку надежную.

8 «До моего прихода ты мне ее береги; а не даст мне Господь целу и невредиму вернуться, женись на ней ты, коль полюбится. На то ты мне и крестовый брат.»

9 И присягнул Лазарь Симеону крепкою клятвой завет держать, девицу свято беречь, и коль не судит Бог жениху живу остаться, взять ее за себя с охотою и любовью.

10 А как пошел за Гореславою и та перед ним покрывало подняла, оторопел Лазарь: такой красоты женской, нежной и грозной, в жизни не видывал.

11 И опустил глаза. А тут им коней подвели; и вскочили на коней оба, и в путь пустились.

IX

1 Долго бок-ó-бок мчались и словом не перемолвились.

2 Когда же осталась за ними росная в сумерках степь и полный стал месяц над лесом, сошли с седел на привал.

3 И сидючи у ручья под ракитою на ясной прогалине, вдруг звонко и протяжно запела Горислава жуткую песню, игрищную, не по отце плач, не по женихе жаль:

4 «Из-под бела камня из-под алатыря
Выдыбал млад змееныш ярится;
Из-под люта камня горячего
Выползала змея свадьбу правити,
Завивалася в кольца при месяце,
Зазывала на игры любовные.»

5 И сказал Лазарь: «Непутевую ты песню поешь, не к добру кудесишь.»

6 А она: «Горыниной силе волхвовать, Егорьевой царевать. Наколдовала бы я тебе царство, да ты и без моих чар некогда царем будешь.»

7 Содрогнулся Лазарь и удивился, вспомнив матери сон, что́ та ему, еще отроку, сказывала и на силы Егорьевой торжество в судьбе его грядущей прикидывала, и прошептал: «А ты как про то знаешь?»

8 Отвечала Горислава: «Вижу за тобой золоту стрелу.» И запела опять:

9 «Улетай подале, степной коршун,
Не подглядывай свадьбы змеиные!
Не востри ты, разлучник, кривых когтей
Умыкнути змею во поднёбесье!

Как ужалил вора в пернату грудь,
Уждь мертв падешь на сыру землю.»

10 Молвил Лазарь: «Неладные ты, красна девица, загадки, сдается, загадываешь; да я-то хитрости женские помогать не охочу».

11 Она же в ответ: «Ужалить ужалю ненароком, на то я и змея Горынская, а лукавства женского во мне нет».

12 «Без утайки скажу: люб ты мне, змееныш! Один на всем свете люб. Кровь кровь кличет, чужой не хочет. Я тебе и в любви, и на царстве чета».

13 И возмущился духом от слов тех Лазарь, будто дремучие в нем колыхнулись омуты, и сладкое к ней потянуло желание; но тут-же и злая в душе змеей шевельнулась ярость.

14 И собрался с силами, и утвердился в сердце своем, и сказал ей с укрою: «Бога ты не боишься, я же крест целовал брату моему крестовому тебя соблюсти».

15 И перескочил через ручей, и бросил меч свой вдоль ручья, и молвил: «Как сей ручей нас разлучает и меч сей нас разделяет, так разделились пути наши».

16 И стала Горислава об-он-пол ручья и говорила: «Целованием ли двоих предать хочешь? Выслушай слово мое».

17 «Коль не выживет Симеон, тебе я сговорена: тебе меня сам он обрек, как и родители твои за тебя меня сватали».

18 «А коль выживет да за мною придет, равно ему на свете не жить: грех на душу приму, а его изведу. Недаром ты мне булат подкинул».

19 «Коль воистину соблюсти меня хочешь, соблюди душу мою. Полюбишь меня, — из плена змиева живую меня изведешь; мне будешь за Егория, и земле Егорьем себя покажешь».

20 «Выдашь меня жениху постылому, — и его, и меня погубишь; да и сам уж змием станешь ползучим, как резвые ноги тебя не понесут».

21 И вошла в ручей и поднявши меч к нему перебросила, и засмеялась: «Вот она загадка-то моя мудреная: на чем ты крест целовал? Ее ты, удалой молодец, и разгадывай».

22 И воспалился в груди на нее Лазарь гневом лютым, но в меру гнева распялось в нем и вожделение.

23 Ни слова в ответ не молвил, глаз на нее не поднял; молча на коней сели и на заре прискакали в посад знаемый,

24 откуда с надежными людьми послал Лазарь Гориславу к своим родителям, а сам назад в степь повернул. И путь держал к полку Симеонову.

- 1 Недугом знобим и палим, лежал Симеон под наметом в становище, и был промеж жизни и смерти немало дней, и переломилась негома на выжитье.
- 2 Бодрствовал ночью у одра его Лазарь, пониклый и унылый.
- 3 И прокрался в шатер кривой Чегирь, перебежчик из степной орды, что в князем полку и за лазутчика был, и за знахаря, и на ухо Лазаря зашушукал:
- 4 «А и крепко спит, разлучник-то твой! А и дашь мне золотой казны, то николи не проснется».
- 5 Иссунул Лазарь из ножен меч и положил душепродавца на месте мертвым.
- 6 Очнулся спящий и, озираясь, о всполохе вопрошал. И не стерпел Лазарь и воскликнул в горе и гневe: «Мне он голову твою продавал».
- 7 Обнял Симеон Лазаря, и не о чем боле не допытывал.
- 8 Что ни день, тела в нем крепость на прибыль шла, души светлость на убыль.
- 9 Да и Лазарь, будто сам не свой, пасмурен бродил и хмур.
- 10 Когда же раненый и вовсе окреп, сели побратимы на ретивых коней и путь держали в родительскую Лазаря вотчину.
- 11 И на пол-поприща остальной полк опередив, говорит по дороге Симеон Лазарю:
- 12 «Брат Лазарь, вещей мне ворон граял, что любя тебе стала Горислава больше брата твоего крестового».
- 13 Потупил очи Лазарь, помолчал и нѣхотно вымолвил: «Ты брат мой старшѣй мудрейший меня, ин сам и рассуди, мне юному в научение, чтѣ со мною с проводи́н тех содеялось».
- 14 «Лютѣе некое, чую, одержит меня навождение. И любовь ли к ней сия лютость моя, али ненависть, сам не ведаю».
- 15 А Симеон ему: «В вас, Горынских, кровь кровь кличет, кровь кровь борет».
- 16 «Лиха, брат, твоя прилука, да не лише тебя: ты и без Гориславы жив будешь. Я ж от тоски по ней, как в засуху колос, иссохну».
- 17 Возгласил Лазарь: «Лихом тебе быть не хочу; унее на себя лихо накличу».
- 18 Задумался Симеон и говорит: «Грех и сорѣм крестовым братьям не токмо о жене, но и о жизни тягаться».

19 «Слушай брат; и ты, и она из колена Егорьева. А есть на земле вашей святой кладязь, и кто из него воды напьется с молитвою, того, слышать, Святой Егорий на добрый путь и во сне наставляет, и в жизни приводит.

20 «Как приедем в твои края, пойдем к тому колодцу вместе на богомолье, да на суд Егорьев. Как воин Христов рассудит и во сне покажет, с кем из нас Гориславе под венец идти, так тому и быть».

21 Подумали, погадали, и такову заповедь между собой положили.

XI

1 Как прибыли в Давыдовы земли, заперво пошли витязи на урочище Егорьево и крест с криницею в дебри разыскали.

2 Сотворил молитву Симеон и, воды ключевой испив, навзначь лег под крест руки на груди сложив, как мертвец, и тихим вскоре сном забылся.

3 А Лазарь поодаль глядел, как он почивает, лицом светел и благообразен, и румянец на щеках похудалых заиграл, словно вошло перед ним во сне солнце утреннее.

4 Отступил тогда ангел от Лазаря, дабы предать его искусителю, и приступил к нему бес, и злобою ожесточал сердце его на Симеона, и раздражал его, мерзостное и оступное в уши ему влагая: —

5 «Так-де будет пустосвят сей и на брачном ложе почивать с Гориславою, от любовных услад притомясь; и залюбуется невзначай жена покоренная на свет-негушку, супруга своего могутного да пригожего.

6 И змееныша подколодного, глядикась, припомнит, как тот его богатырской стопой в дорожный прах мимоходом втоптал, — припомнит, да усмехнется».

7 И подущал его бес: «Почто ты кривого Чегиря убил? Ныне, коли сам меча не вынешь и не умертвишь спящего, любезною твою Гореслава добычею добытчику станет».

8 И не мог Лазарь взора отвести от Симеона почивающего, и подстрекал его бес: «убей», да «убей!»

9 Тогда подошел ангел Лазарев к юноше и повернул его за плечи лицом в другую сторону, дабы не видели очи его Симеона.

XII

- 1 Поникнул головою Лазарь и отошел под сени дубравные.
- 2 И вспомнилась ему Горислава на дубравной прогалине, как песни ему пела колдовские, зазывные, и в очи ему зазывно глядела очами ласковыми и волшебными, и теми волшебными очами по-таенные письма в сердце его читала;
- 3 как вслух называла и надежно сулила, чего он и в заветной думе именовать не смел;
- 4 как во мужа тою ночью она превратила отрока, — да не в мужа токмо, а и впрямь не в кудесника ли самосильного?
- 5 Уж не на прельщение ли и пагубу души его таким его окрутила обаянием, такое навела на него наитие силы и дерзновения, что, мнится, дана ему на земле всякая власть:
- 6 как наречешь, так и обречешь; на что поглядел, тем и завладел; чего изволил, то и вымолил.
- 7 И, ровно хмель разымчивый, бросились ему в голову и будто по жилам огнем растекались слова ее нежные и дерзкие: «Люб ты мне, змееныш; тебе я и в любви и на царстве чета».
- 8 И темною волной потянуло его к ней, грозной, желание неистовое, что грехом насытиться алчет, как лев снедью кровавой.
- 9 Тогда принял перед ним бес обличье Гориславы, будто невдалеке сидящей в заросли папоротниковой, и услышал Лазарь из уст ее сладких:
- 10 «Ты только на гибель его меня ради согласишься; ведь единой мысли твоей и волки хищные повинуются». И озрелся Лазарь на Симеона.

XIII

- 1 И видит, из-за деревьев выглядяючи: все спит Симеон, а над ним стоит матерый волк голодный, а за этим из-за густой чащи других волков глаза глядят.
- 2 И слышит за собою Лазарь Гориславин тихий смех. И разъярился гневом внезапным на Гориславу, лютым, и ринулся с оружием на зверя.
- 3 А зверь из глаз исчез — будто его и не бывало; глядит на Лазаря кроткими глазами Симеон, под крестом лежа, и тихо молвит: «Брат Лазарь, на кого ты ополчился?»

4 Бросил Лазарь булатный меч в сторону и говорит: «Волка прогнал. А ты какие сны видел?»

5 Ответствовал Симеон: «Видать ничего не видал, а слухом слышал, будто кует кузнец глубоко под землей тяжким молотом, кует да приговаривает:

6 «Три венца кую,
 Два зараз даю,
 Третий один
 После тяжких годин;
А и первый венец — жениха молодого,
А другой с ним — мученика Христова,
А третий, один, — царя земного'»

7 «Не успел я и аминь сказать на первый венец, вожденный, что с другим, светлейшим вкпе дается, как ты меня разбудил».

8 Вскричал Лазарь: «Бери себе свою суженую, на счастье ль, на лихо ли, как Бог велит! Мне и без нее Егорий родич; ты же, и с ней под венцом, мне крестовый брат».

9 И бросился бежать прочь, как волк, перед сворою псов выпустивший из пасти добычу.

10 А бес ему вослед глумится: «А и лих ты, Лазарь-пролаза! Хитро домекнул, как и волчью утробу насытить, и овечьей шкуры с хребта не спустить.

11 «Знает змееныш, что как токмо она душу свою погубит и мужа убьет, то к нему-же придет полюбовницей. Самого Егорья объе-горить изловчился: и девки не прозевать, да и царский венец в придачу улучшить. Ай да Лазарь-лазун!»

12 И ужаснулся Лазарь на то лукавство бесово, и отчаялся в спасении души своей.

13 И занемоглось ему в дороге; еле домой доплелся; дома же, всех отпустив, затворился в горнице своей, и лег на одр свой, и впал в забытье.

XIV

1 И привиделось Лазарю, будто стоит он в седой степи на белом камне отлогом и пасет с того высокого камня лобного несметное овец стадо.

2 И проходит мимо серых волков многое множество, и гонит их копьем Свет-Егорий.

- 3 И запрещает волкам Егорий овец резать, иным-же повелевает, назначая овцу или агнца или овна, и тогда хватает волк ловитву указанную и несет в стаю.
- 4 И будто машет Лазарь жезлом Егорию и возбраняет ему, и сам дань отобрать сулит.
- 5 А Егорий в ответ: «Мне ты сам данью будешь: ныне за двоих выкуп, пѣ долгом времени за всю землю оброк».
- 6 И метнул Егорий копьем в Лазаря, и прошло копье сквозь чресла Лазоревы, и врос он в камень до чресл.
- 7 Пробудился спящий от сна и ощутил, что отнялись ноги его. И заплакал Лазарь о своем убожестве.
- 8 И с той поры сиднем сел, жив и млад телом с головы до чресл, а ниже мертв.
- 9 И поднялся в дому великий плач, и сетование безутешное, словно живым Лазаря хоронили.

XV

- 1 Пришла Горислава из девичья терема к Василисе скорбящей, упала ей в ноги и говорила:
- 2 «Государыня-матушка, — ведь за мать родную ты сироте стала, — с повинной меня прими.
- 3 «Чует сердце мое вѣщее, что за меня, окаянную, сын твой казнь принял».
- 4 Диву далась Василиса на слова Гориславины и почла ее за иступленную.
- 5 Та же без утайки рассказала, как полюбился ей Лазарь больше света Божьего, как ночью в лесу его соблазняла и супротив брата крестового на злобу и вероломство разжигала,
- 6 и как положила в сердце своем жениха убить, и как молила Лазаря душу ее пожалеть, жениху не выдавать, и как, ежели выдаст, кару на него накликала.
- 7 «Вот», — говорила, рыдаючи, — «и накликала! Ведь все, почитай, догадались, куда, как приехали княжичи, первым делом пошли.
- 8 «А и почто им было перво-наперво на криницу идти? Не иначе, вестимо, как за судом за Егорьевым, чтобы Свят Егорий тяжбу их братнюю обо мне, о невесте, рассудил.
- 9 «Вот он, из-за меня непотребной, и видим, каков-то вышел, Егорьев-то суд!»

10 Пожалела Василиса Гориславу, видючи ее и о Лазаре горе, и о злом своем умысле сердечное сокрушение.

11 И возблагодарила Бога, зато что сыну ее не токмо на беса одоление дал, но и временное, как уповала, испытание его грешной душе целением соделал.

12 Ибо верила слову Псалмопевца, что «не до конца прогневается Господь, ниже ввек враждует». И полюбила Василиса Гориславу.

XVI

1 Ушел Управда на ратную справу, Лазарь же сиднем сидел в дому.

2 И огорчился, и возроптал на Бога в сердце своем, и говорит матери своей:

3 «Вот в книге Царств читаю, что убил Давид царь Урию, военачальника своего, мужа доброго, и жену его Вирсавию, себе взял; и утвердил Бог царство его, и рог его возвысил.

4 «А я Гориславу поять не осмелился, Бога побоялся, брата крестового устыдился: ан и сижу сиднем. Царям, видно, совеститься не велено: им то не под стать.

5 «А ты, матушка, снами доселе да гаданьями и сама обольщалась, да и меня морочила, славу мне и державу Егорьеву родовую сулила.

6 «Думала сын твой Владарь; а он, как наречен Лазарем, таков и вышел: сиречь не Владарь, а убогий Лазарь».

7 Отвечала Василиса: «Сын мой болезный, Богом изволенный, моими слезами вымоленный! Не столь меня телесная твоя скуда крушит, сколь духа уныние и ропот греховный.

8 «Тело Бог и умертвить и оживить волен; душу свою сам человек губит.

9 «Веру, чадо, береги, и с нею упование. Лазаря, и четверодневна во гробе, к жизни Христос воздвиг: и ты, Лазарь, оживешь.

10 «Рано ли, поздно ли, а Божье о тебе предназначение, чаю, исполнится. Недаром и рожденья твоего столько лет я ждала, веруя, что не вотще знамение о тебе мне дано было».

11 «Пойди к себе, матушка,» — отвечал Лазарь, — «не докучай мне напрасно и раны моей сочащейся не береди».

12 Ушла княгиня в свой терем и горько плакала; и увидела ее Горислава плачущей и говорила ей с дерзновением:

- 13 «Терпи, мать, и молись с надеждою неослабной. Что земля тучная колосу наливному, то надежда неослабная молитве дохотчивой. Великою радостью сии слезы твои обернутся.
- 14 «Слышит сердце мое вешее, что не в кару и проклятие недуг сей на Лазаря наслан, но к силе и славе поздней. Жертву Лазарь принес, и тою жертвою стяжал мощь.
- 15 «Видела я, как тебя вижу, за его спиной золоту стрелу Егорьеву. И ранит стрела сия, и целит, и великого жребия знак есть. Ему наш род поднять дано; быть ему вся земли владыкою».
- 16 Удивилась Василиса на те слова Гориславины, и поведала ей сон свой девичий; и укрепились обе в уповании.
- 17 Князя же Давыда тем утешать не смели: неравно на бабьи бредни прогневается и еще пуще сердцем ожесточится.
- 18 И без того говорит: «Лучше бы сын мой умер, чем быть ему заживо мертвецом. В темную тучу солнце рода нашего закатилось».

XVII

- 1 Через год осенью, уже и до Филиповок незадолго, приехал Симеон за невестою, и благословили его с Гориславою родители Лазаревы под венец идти.
- 2 Свадьбы у Горыньских не играли, но прямо из-под венца повез новобрачный молодую жену по первопутку домой красным поездом.
- 3 Да не долго молодые жили вкупе. Дня два ходила Горислава в мужнином доме как обаянная; не ела, не пила, молчала, да молилась часто.
- 4 А после третьей ночи поклонилась мужу в землю и со слезами взмолилась:
- 5 «Отпусти меня, государь мой, как уже и пост, гляди, начинается, на богомолье дальше по обету великому за спасение твое и мое; и не токмо что к Святкам, а и до Светлой недели домой не жди».
- 6 Скрепил сердце Управда и отпустил ее на хождение пешее с нищими богомольцами и странниками перехожими к дальним святыням.
- 7 И пошла скитаться Горислава зимою лютою по монастырям да пúстыням, и в стенах обителей святых проживала.
- 8 Когда же во чреве ее шевельнулся младенец, пождала еще и на — последях надумала домой к мужу идти.

- 9 И уже приближалась с попутчиками к родным краям, как от встречных людей свела, что гнезда Управдина и в помине нет:
- 10 Все степным набегом поженено и с землею сровнено, и сам Управда живым в полдн взят.
- 11 Повернула Горислава в земли Давыда Горынского и в дому Давыдовом, как в семье родной, поселилась.
- 12 И подоспело ей время родов, как весть пришла о кончине Симеоновой. Принуждаем был Симеон отчей веры отречься и басурманский обычай принять.
- 13 Зане злобились на него издавна в орде за грозу Боривоеву и, как несомненно знали, что Христа ради он и на лютую казнь пойдет, таковую ему и ковали погибель.
- 14 И умучен был в орде князь Симеон Управда за имя Христово.

XVIII

- 1 Как услышала про то Горислава, пришла к Василисе и простерлась перед нею наземь и, в грудь себя биючи со слезами, говорила:
- 2 «Ныне, государыня-матушка, как угодно было Господу Симеона к сонму преславных мучеников Своих сопричь, выслушай, каково же было окаянство мое кромешное, и всю злобу мою зменную познай.
- 3 «Расскажу тебе, как меня, злодейку богоостудную, сатана искушал, как душу мою отчаянную, разбойную на волос от конечной пагубы по краю водил и в бездну геенскую толкал.
- 4 «Пошла я под венец, сердце скрепила, суда Егорьева ради, Егорьевой воле покорная.
- 5 «А как осталась с мужем наедине, тут и вступило в меня навождение. Топор на него припасен держала за постелью брачной.
- 6 «Две ночи, чуть он дремой забудется, за топором тянулась рукой; да, видно, сила Господня руку держала.
- 7 «Не подымалась рука на неповинного, а сердце в груди, как зверь ярый в клетке, прыдало. Всю руку я себе в те ночи зубами искусала, волчица бешеная.
- 8 «На третью ночь встала я тихонько с постели, — а он спит, ровно дышет, и губы приоткрылись, будто улыбаются, и румянец на щеках играет, — красивый такой.

- 9 «Топор достала и совсем уж к удару изготвилась, да вдруг вижу, — Егорий ли сам очи мои отверз, твои ли тут молитвы помогли, Лазарево ли меня откупило страдание, —
- 10 «вижу, матушка, на челе его светлый венец и будто кровь изпод венца на чело сочитя. И ужаснулось сердце мое, и умилилось.
- 11 «На утро, ни в чем ему не признавшись, запросилась я на дальнее богомолье, и он, видя трепет мой и тайную муку мою, не прекословя отпустил.
- 12 «Долго я по святыням ходила, стужу и глад терпела, поклоны била, плоть свою нещадно казнила, грех свой тяжкий отмаливала.
- 13 «Намедни говорит мне на исповеди отшельник некий, подвижник великий: 'Отпускаю тебе властью, мне данною, грех пожелания и умышления твоего и обуреваемого естества твоего, по сердечному сокрушению твоему.
- 14 'И благословляю тебя на подвиг материнства твоего, и благословенно будет дитя твое: мир оно в душу твою и многих прольет, отрадою тебе будет и прощением. И чаяние твое на ней свершится'.
- 15 «Как сказал мне прозорливец таковы слова, надежда великая, словно зря в ночи, душе моей воссияла».
- 16 Отвечала Василиса: «Сходи ты, дочь, помолись у источника Егорьева, чтобы дал тебе Святой благое от бремени разрешение, на мир и отраду и прощение всем нам.
- 17 «Ибо тяжело почила на роде нашем десница Господня».

XIX

- 1 Пошла Горислава на Егорьев ключ и молилась у креста над криницею.
- 2 И на молитве почувствовала, что наступает час ее, и обняла руками крест, на коленях стоячи; и схватили ее боли родильные, но не выпустила креста из рук, а как схватилась за него, все крепче держалась, доколе по муке недолгой не разрешилась от бремени.
- 3 И, родивши дочь, встала от креста через великую силу, и омыла младенца водою из кладезя, и труд непомерный подъявши, и не гляючи на усталость смертельную, новорожденное дитя к Василисе донесла и на руки ей положила,
- 4 сама же слегла, телом изнурена до измождения последних сил, душею воскресшая. И, светло возрадованная, говорила, плоти изнеможение перемогаючи, о младенце: «Родилась отрада моя».

5 И нарекли дочь Симеона и Гориславы во святом крещении Евфросинией, что значит: отрада; прозывать же обыкли завсегда Отрадою.

6 И когда окрестили Отраду, пришел ангел мирный к одру Гориславы и душу ее из уст вынул.

7 Родилась Отрада под Яблочный Спас, а под Успенъев день хоронили Гориславу; и положили ее, по ее умолению, в заповедной дубраве Егорьевой.

XX

1 Уж и третья весна расцвела с похорон Гориславиных, а все темен и хладен коснел Лазаря дух, как страна полунощная, и уста его замыкала обиды.

2 Затворился в терему своем сидень и никого, опричь матери, на глаза к себе не пускал; разве князя-родителя во дни праздничные, и того с неохотою.

3 Думу ли про себя неотвязную думал, так ли дремал душой; но Богу вовсе, почитай, не молился, книгам же божественным часами прилежал, не умиления ради, а научения;

4 инорядь из оных и княгине Василисе вслух читывал, как была она до писаний жадна.

5 Читал он ей так однажды про Давида-царя повесть свою излюбленную и, как дошел сказ до Вирсавии, внезапно возмущился духом и воскликнул:

6 «Не кори меня отай, матушка, за бесчувствие и окаменение сердца моего, что николи я ни Симеона, ни Гориславы ни слезою умильною, ниже словом не помянул.

7 «Живой о живых жалеет, по мертвым плачет; а я-то жив ли воистину, и сам того не ведаю.

8 «Ровно в омут дремучий с головой затонул; али на погосте лежу, с соседями переговариваюсь; и, мнится, мертвых нашепты ближе слышу, чем ваши речи живые.

9 «Потускнел, потемнел в очах моих свет солнечный, не радуется сердца моего, и твой голос доходит словно с того света.

10 «Будто — знаешь, как нищие странники поют, — посадили меня в погреба глубокие, защитили щитами дубовыми, задвигали досками чугунными, засыпали песками рудожелтыми».

11 Прервала речь его Василиса: «Так-то, сынок, о самом Свет-Егорье старцы поют перехожие. А и дальше поется стих:

12 «Как по Божию повелению,
По Егорьеву умолению,
Подымаются ветры буйные,
Разносили пески рудожелтые,
Раздвигали доски чугунные,
Разметали щиты все дубовые,
Выходит Егорий на вольный свет.»

13 Молвил Лазарь: «Вот в том-то и разница, что по Егорьеву, сказывают, умолению. И мне так прежде чаялось, как сила во мне жила: чего-де соизволил, то и вымолил.

14 «А ныне ее мне, силы-то на хотение да умоление, отколь добыть? Сокрушил меня сильнейший меня, и силу мою из меня вынул.

15 Ушла из души моей силушка, как вода из пригоршни утекла. Не ноги у меня отнялись, а сила душевная. И при жизни душа моя в сень смертную низошла.»

16 А ему в ответ Василиса: «А чья она в тебе, сила-то, была? Не Егорьева ль? Егорий дал, Егорий взял, он ее тебе и сохранит. Натоты и Егорьев родич».

17 Усмехнулся Лазарь: «Егорьева», — говорит — «сила царская. Стыдом да пощадою царство не наживается.

18 «Сказывал я тебе о Давиде-царе: не так он, как я, поступал. Не такого, звать, и родича себе Егорий хочет».

19 Осерчала Василиса: «Полно, Лазарь, не криви душою! Не тем себе Давид царство добывал. И я, гляди, с тобою начетчицей стану.

20 «А как он к Саулу в шатер ночью вошел и спящего погубить не восхотел, вот чем он себя царства достойным показал».

21 Задумался Лазарь, да и пуще принахмурился. «Хитра ты государыня-матушка, дитяtko ненаглядное улещать, да ныне меня никакя лесть не берет.

22 «Все одно мне стало: на царстве ли сидеть, али сиднем за печкой. Не манит мана из сна-дремы. Отошла моя душенька в дальние места, незнамые.

23 «Помнишь, он-же, царь Давид, траве усохшей человека уподобляет: что злак сельный, говорит, отцветет человек; 'яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает ктому места своего'.

24 «Такожде и мой дух тела своего не познаёт. Прошла через меня сила насквозь, и нет ее: остался злак сохлый да никлый».

25 И отвернулся Лазарь лицом от матери на ложе своем.

1 С той поры перестал Лазарь с матерью беседовать, и книг боле ни вслух, ни про себя не читал; и прошло так еще немало времени.

2 Только молчал, молчал сидень, и говорит вдруг матери: «Уже давно, матушка, все сны мне снятся смутные. Днем и не вспомнишь ясно, что ночью приснилось».

3 «Только во всех одно: брожу я будто по лугам каким-то, а окрест сумерки, и со мною Горислава».

4 «И будто говорит мне: 'Привольно тут нам друг с дружкой похаживать, как ты ныне по соседству обитаешь».

5 'А вскоре тебя и совсем к себе уведу, в обитель мою таймую, на гостины долгие, и не прежде отпущу, как цвет обрадования моего на земле прозябнет'».

6 «И многое будто мне поведать тщится, — таково мудро и важно глаголет, — и во сне будто все разумею; а проснешься, — коль и вспомнится что урывкою, не поймешь и сей же час запятуешь».

7 «А вот эти слова ее, хотя и не вразумительны они, и глухи слуху моему, а запомнились».

8 Вздохнула Василиса и молвила: «Чаю, замолила грехи свои, страдалица, и верно за тебя ныне Бога молит».

9 «Ты же, еслибы и воистину в сень смертную низошел, в оной не останешься: исхищен будешь чудом на вольный свет, как Иона изведен был из чрева китова, токмо ко Господу из преисподней воззови».

10 Вскре после того почали находить на Лазаря забытье глубокое и обмор непробудный; месяцами бездыханен обмерший лежал, нетленному мертвецу подобен.

11 И так, в смерти жив и в жизни мертв, долгие годы цепенел.

КНИГА ВТОРАЯ

I

1 В девятый раз чередой с похорон Гориславиных проехал по лесам Егорий на белом коне; ласточек прикликал, росу спустил, скот в поле выгнал.

2 Земля озимое грела, цветами убиралась, щетился хлеб;

3 без памяти Лазарь лежал в покое своем, а в окно косящатое распаханное, луга утренние, пахучие весенним духом дышали.

4 И запел под окном звонкий голос детский славу ли некую богомольную, какими дети в большой праздник Христа славят, стих ли духовный, странничий, слуху приятный, сердцу умильный:

5 «Во темнѣм сыром бору
Семь ключей повыбило.
На чистѣй прогалине
Студенец серебряный, —
Студенец серебряный
Владычицы Дебренской.»

6 Перервался стих и сызнава зачинался:
«Во темнѣм сыром бору
Семь ключей повыбило.
Собирались семь ключей,
Сотекались семь живых
В кладезь Богородичен
Владычицы Дебренской.»

7 И открыл Лазарь глаза и прислушался; и уста замершие немю повторяли за голосом той песни желанной слова.

8 Твердил голосок ангельский, уветливый:
«Во темнѣм сыром бору
Семь ключей повыбило.
Собирались семь ключей
Сотекались семь живых
На чистѣй прогалине
В студенец серебряный.»

9 И возжелал Лазарь из того студенца, в бору сокровенного, влаги напиться студеной, что из семи живых ключей стекается, и сладко было ему о тех чистых водах и тенистых деревьях думать.

10 А песня протяжная лилась, да лилась, переливчатая:

«На чистѡй прогалине
Студенец серебряный;
По заветну бѣрежку
Шёлкова муравушка, * —
По заветну бѣрежку
Владычицы Дебренской.»

11 И, по роздыхе кратком, — словно кто на молитве воздохнул, — продолжалось пение:

«По заветну бѣрежку
Муравѡ нетоптана,
По лугу нехѡжему
Травушка нехѡшена,
Муравѡ шелкѡвая,
Цветики лазѡревы.»

12 Внезапно умолкнул голосок, будто и надолго; а потом опять по другому, затянул, ласково и жалостливо:

«Лазарь ты, Лазарь,
Убогий мой братец!
Пусти меня, Лазарю
Во светлую горенку!
Набрала я Лазарю,
Набрала убогому
На лужайке цветиков,
Лазарю лазѡревых.»

13 И проговорил Лазарь: «Кто ты?» Отвечал голосок под окном: «Отрада». — «Войди!» молвил Лазарь.

II

1 И вошла в покой отроковица светлая и пригожая, и глянули на Лазаря из ее очей светоносных, словно из далини далекой, из глубины глубокой, темные Гориславины очи.

2 И долу потупивши тихие вежды, длинными отененные ресницами прямо и твердо подошла гостя нечаянная к одру болящего и нежною рукою рассыпала на грудь ему лесные цветы лазоревые;

3 да тут-же и застыдилась, отступила и поодаль стала, и лицо убрусцем прикрыла.

- 4 А он в смятении радостном, не ведал, явь ли то или сон. И стал вопрошать ее с ласкою; и отвечала ему отроковица твердо и истово.
- 5 И сошла с нее робость по-малу, и в беседе тихой уже не сводила она с Лазаря очей своих ясных и важных.
- 6 Он же на те ответы ее, как в сновидении доводится спящему, и дивился в душе своей, и не дивился, будто иных и не ждал.
- 7 — «Кто тебя прислал, дитячко милое?» — спрашивал. — «Матушка». — «Где же сама-то осталась?» — «У криницы Егорьевой» —
- 8 — «Почто с тобою не пришла?» — Она никогда в дѣмы не ходит». —
- 9 — «Матушка по все дни со мною сидит». — «Твоя тѣ матушка, Василиса Свет-Никитишна, а я про свою говорю. Твоей матушке я внучка названная, а дочка я Гориславина». —
- 10 — «Знать, во сне ты, сиротка, родимую видела». — «Чудной ты, Лазарь: аль и тебя, скажешь, я во сне вижу?»
- 11 — «Умерла она, твоя матушка». — «Умерла, сказывают. Так что же, коль умерла? Она с живыми и не живет. А ко мне на криницу приходит».
- 12 — «Какова же она с виду-то, юже быти мниши блаженной памяти рабу Божию Гориславу? Красавица была твоя матушка».
- 13 — «Красавица и есть: ростом высокая, станом становитая, лебедушка величавая. И глаза у нее большие, строгие, насквозь тебя видят, а ласковые: глядит на меня, будто солнышко греет».
- 14 «И сама вся будто солнцем насквозь светится под алым платком, инѣ и зеленым».
- 15 — «Что же она тебе говорит?» — «Мало ли что. Всего не перескажешь; да и не твоя то дума».
- 16 «Вот и про то говорит, о чем я тебе пела. Только не всю я тебе песню спела: она длинная, а с тебя довольно».
- 17 «А нынче говорит: 'Набери цветов лазоревых, да Лазарю убогому и снеси от меня в подарочек: как он Лазарь, то и цветы ему к празднику лазоревые'».
- 18 «Вот я их тебе и принесла». — «А какой сегодня праздник?» — «А Духов день». — «И еще что наказывала?»
- 19 — «А еще наказывала: 'Скажи, коль обо мне спрашивать будет, что, мол, к себе его боле уводить не буду».
- 20 'Довольно, говорит, его наставляла; пусть отныне о живых печалуется, на них силу копит, их ему упасать придется».
- 21 'А ты, — говорит, — ему за меня отрадою будешь'. Вот и все, что про тебя мне наказывала».
- 22 И взял Лазарь цветы, и лицо ими прикрыл; и ручьями из глаз его полились легкие слезы, усладные; и в тихое впал забытье.

1 Был Лазарь в забытїи обморочном весь день тот и всю ночь, и еще день и ночь, и день третий весь; а на третью ночь очнулся.

2 И озрелся в горнице, образными лампадами озаренной, и увидел мать свою на коленях перед иконами, и позвал ее тихо: «Матушка! а, матушка!»

3 И когда она подошла к его постели, проговорил: «В добрый час слово молвить! Чувствую в себе дыхание жизни новое, и уповаю: миновал мѡрок.

4 «Скорее бы уж утро рассвело: возжелала душа моя лучей солнечных и к вам на Божий свет из безвестной стороны вернулась».

5 И сказала Василиса: «аминь!» и возблагодарила милость Господню, и пищи сыну вкусить дала, коравая пшеничного с медом

6 И говорит ей Лазарь: «Наутро приведи ко мне дитя свое богоданное: видеть ее хочу, какова она, Отрада твоя. Горислава мне про нее во сне наказывала:

7 'Срок мне, — говорит, — на вольный свет тебя отпустить. Как вернешься, наперво Отраду позови: тебе она за меня воистину отрадою будет'.

8 «Так мне, помню, во сне Горислава заповедывала».

9 Отвечала Василиса: «Наутро к тебе с моею сироткою жалёной, внучкою названной, приду; ты же теперь успокойся с Богом и до света усни».

10 И покоился Лазарь до света; а в ранний час отроков за княгинею посылал и дитя привести торопил.

11 И вошла к нему Василиса с Отрадою, и сказал отроковице Лазарь: «Во сне ли я тебя видел?» Она же молчала.

12 И еще сказал: «Матушка твоя, Горислава, в сновидении мне тебя издалече показывала, как ты у криницы лазоревы цветы собирала.

13 И будто говорит мне матушка твоя: 'Цветики-то, гляди, она тебе собирает: как ты Лазарь, — говорит, — то и цветики тебе лазоревые,».

14 «И будто слышал я издалече: песню ты пела такову заветную, словно издавна ее знавал, да забыл. И ныне хочет вспомнить душа, какую ты, как цветы те рвала, песню пела, милую да умильную, — хочет и не может».

15 И глядит Лазарь на отроковицу, песни той от нее дожидаячи.

16 И сказала Василиса Отраде: «Спой, внучка, Лазарю песенки, какие знаешь». Но та молчала потупившись.

17 Опять заговорил Лазарь: «И ничего, мнится, нет в обличье твоём светлом и милостивом от матери; а как на тебя гляжу, кажется мне, будто она тут вот около меня стоит».

18 И облобызал дитя со слезами. И увела Василиса Отраду, дабы Лазарь имел покой.

IV

1 Отошла от Лазаря сонная немочь, и вернулась ему бодрость душевная, и памяти твердость, и ясность разумения.

2 Купно и вера в сердце ожила: почал молитвы помалу творить, и правило церковное блюсти, и в словеса боговдохновенные и в жития угодников Божиих вникать уже с некоею теплотою сердечною.

3 А по Отраде, и на малое время ее от себя отпуская, скучал: все на нее глядел, не мог наглядеться,

4 как она в его покое то-ли какую забавою детской забавляется, то-ли у окна за рукодельницей сидит степенно да пристально.

5 А то и сам с нею зачинал потешаться да гуторить, в игры ль играть домашние — в гусек, в чет-и-нечет, в шашки, в зернь.

6 Она же и сказки сказывать досужа была, и песни петь нарочито горазда, какие аль от прохожих странников слыживала, аль и сама, гляди, сложила; и таково складно да ладно и слова придумывала, и напев выводила, что до умиления Лазарь теми песнями ее услаждался.

7 Давно перестала подружка ласковая робеть его и дичиться: куда тут, и за мамку ему бывала, играючи, а он ей за дитя малое.

8 А иным часом, ровно к брату старшему, ластилась; а то вдруг и подойти поближе не хочет, стáтится, изподлобья на него поглядывает, а глаза смеются.

9 Журила его тоже да корила, смеючись, за убожество: сиднем-лэжнем обзывала, байбаком ленивым, лесным боярином-лежебоком, что жиру за лето нажил да лапу себе в берлоге и сосет, за всю зиму раз с боку на бок повернется, и то на солнцеворот.

10 И не в обиду то Лазарю было, а в утеху и веселье, будто и впрямь он потехи ради убогим притворился.

11 Обыкла с ним Отрада целые дни проводить, с утра у княгини в Лазарев терем просилась, а с дворовыми подружками играть не шла.

1 Миновала так зима и лето красное, пошел Отраде одиннадцатый годок, и зачала она Лазаря молить: «Научи, да научи меня грамоте, читать и писать».

2 А Лазарь тому и рад был; и как оказалась отроковица весьма понятлива и памятлива, то по малом времени уже и Псалтирь разобрала, а минул год, другой — и из других книг довольно прочла.

3 А что читала, по своему любила пересказывать: «Смотри», говорила, «Лазарь, твердо ли я все упомянула, добре ли в толк взяла, так ли догадалась».

4 И дивились иною порой Лазарь и Василиса на речи ее замысловатые, будто и не детские.

5 Читали они, к примеру, в Книге Бытия, как Господь Бог прародителей наших за первый грех древлего послушания покарал, Адаму смертию умереть назначал, Еве же и чад родить в муках.

6 И говорит Отрада: «Меньше в том казни было, — так разумею, — нежели милости. Коли дитя родить матери благо, — стало и помереть человеку не лихо.

7 «Не убыль человеку смерть, а силы прибыль. А что в болезнях матери детей рожать определено, то радости ее не отымает.

8 «Так и с этою жизнью растанье боль человеку и скорбь; но из этой скорби радость процвести должна такая-же, какая матери радость есть на дитя роженое».

9 Сказала Василиса: «Добро тому, кто достойно преставится; но смерть грешника люта, и кого грехи тянут тяжкие, тому жизни конец суда начало».

10 Отвечала Отрада: «Бог милостив. Да ведь и дети тоже не всегда бывают родителям в утешение. Первый-то у Евы сын кто был? Каин! А и грехи многие, Божией Матери предстательством, замолить можно».

11 — «Разумница ты у меня, вся в матушку свою пошла», — молвила Василиса: «и кто тебя сему научил?» Прощептала Отрада: «Вестимо, матушка».

12 Засмеялась княгиня ласково: «Как же она тебя в том наставлять могла, когда ты ее, страдалицы, Богом взысканной, сиротинка ты горькая, и не помнишь?»

13 Потупила очи Отрада, затулилася, и ничего на все распросы не отвечала.

VI

1 Сидела Отрада возле Лазаря, — шел ей тогда год тринадцатый, — и читали они опять ту-же об изгнании праотцов из вертограда едемского повесть, и говорит Отрада:

2 «Внимай, убогой, да вникай: я тебе о земном рае стих спою, — что мне пустынька дубравная нашумела, поведаю». И запела: *

3 — «Уж ты, Раю мой, Раю пресветлый,
Ты почтб еси мне заповедан?
И куда ж от меня затворился,
Невидимою схимой покрылся?
Али мною ты, Раю, погублен?
Али в горняя, Раю, восхищен
И цветешь в небеси на воздушех,
А сыру землю сиру покинул?» —

4 «То не крины душистые пахнут,
То не воды журчат живые, —
Говорит Адамовым чадам
Посхимненный Рай, затворенный:
— 'Вы не плачьтесь, Адамовы чада:
Я не взят от земли на небо,
Не восхищен к престолу Господню
И родимой земли не покинул.
А цвету я от вас недалече,
За лазоревой тонкой завесой:
Ту завесу лазореву знает,
Кто насытил сердце слезами.

5 «'Где проходит Божия Матерь
По земле святыми стопами,
Там оскрест и я простираю
Добровонные сени древесны;
Там бегут мои чистые воды,
Там поют мои райские птицы;
Посреди же меня Древо Жизни,
Древо Жизни — Пречистая Дева'»

6 — «Знаю,» — сказал Лазарь, — «мне в тот рай Богородичен не вступить; а послушать тебя сердцу утеха и некое о Земле-Матери упование. Отрадою ты мне юдоль сию слезную озаряешь».

7 Сказала в ответ Отрада: «Так оно и есть, Лазарь, как я пою. А Егорья Божия Матерь любит. Он перед Нею по земле на белом коне едет, а Пречистая за ним идет.

8 «Он Ее слуга; ты же — слуга Егорьев. И тебя Матерь Божия пожалует».

9 — «Знаю ныне», — воскликнул Лазарь, — «что оно, то словечко твое, значило, что ненароком ты про матушку свою пророчила: от нее де наставляема была в том, что от наших очей, как оный твой рай, сокровенно.

10 «Воистину, отрадою ты мне из голубой той скинии, слезным покрывалом завешенной, послана.

11 «Вспомнилось мне, когда ты стих свой о рае недалнем пела, ясно вспомнилось: не во сне я тебя тогда с лазоревыми цветами видел.

12 «Наяву ты мне их сюда, недужному, приносила от Гориславы совестью утешною, и песню ту наяву мне пела заветную, милую.

13 «Не таись, Отрада, скажи мне, что так и было; как ныне припомнилось, и спой мне еще ту самую песню».

14 Взглянула на него Отрада очами далекими, Гориславиными, и, ничего не сказавши в ответ, убежала.

VII

1 В то лето переменился Отрады нрав и обычай. Реже и не надолго Лазаря навещать стала.

2 Иной раз, заупрямившись, и на зов не шла, и тем своим норовом его, как дитя малое, до слез доводила.

3 Поводилась с девками дворовыми прокудить, с пастушенками сельскими в шальные игры играть.

4 Удержу ей не было: на коней необъезженных вскакивала, быков бодливых в стаде дразнила.

5 Расходится, — ей и не перечь: в буйственное некое входила отчаянье, после же в уныние глухое и тоску безутешную.

6 Приводила ее тогда Василиса насильно к Лазарю: как он взглянет на нее пристально, она и притихнет; а улыбнется ласково, — и она вся тихим светом засветится.

7 Уж и Писание вместе реже читывали. Сидит раз Отрада у Лазаря, виноватая, пристыженная: в тот день она и добрую княжнюшку непокорливостью прогневала.

8 И читают они в Евангелии, что Христос из Марии Магдалины семь бесов изгнал; и говорит вдруг Отрада:

9 «Тебя-то, Лазарь, Матерь Божия пожалеет, — мне так и матушка говорила, — а вот я у тебя дурная, грешница злая. И на тебя, убогого, в душе гневаюсь».

10 — «За что же ты на меня-то осерчала, дитятко?» — говорит Лазарь: «али я тебя чем обидел?»

11 Отвечала Отрада: «Не обидел еще, а уж обидишь!» — и залилась слезами горячими.

12 А Лазарь дивился. «Скажи мне», — говорит — что у тебя на душе, Отрадушка». А она в ответ:

13 «Придет, знаю, такое времечко, — да уж и ждать его не долго, не за горами она, волюшка твоя вольная:

14 «Укрепишься ты мыслями и мышцами, и жилами, и жизнью, и всем составом своим душевным и телесным; мертвою водою тебя Егорий обрызнул, вскорее и живую окропит.

15 «С постели воспрянешь, богатырем могутным обернешься, как Илья Муромец, что тоже не мало годков за печкою сиднем сидел; сядешь на добра коня, славу себе добывать уедешь.

16 «А на меня, сироту, и не взглянешь; да я еще и летами мала. На царевне на заморской женишься, на Василисе премудрой; а свою Отраду забудешь».

17 Засмеялся Лазарь, да и запечалился: «Гляди,» — говорит, — «как бы мне сиднем век свой не завековать.

18 «А вот ты скоро подрастешь, замуж тебя выдадут за княжича удалого, да такого пригожего, что ни в сказке сказать, ни пером описать: ин ты меня и забудешь».

19 — «Нет, убогий!» — тихо Отрада молвила: «я за него замуж не пойду: в монастырь пойду и там за тебя молиться буду. Только грешница я великая: не знаю молитвы-то мои доходчивы ли будут».

20 Засмеялся Лазарь: «Какие же на тебе грехи такие, дитя ты малое?» Воскликнула Отрада истово и горестно:

21 «Во всем тебе, Лазарь, повинюсь, — как на духу откроюсь. Приходила ко мне матушка на криницу; а ныне, вот уж год, почитай, целый, и боле, меня оставила; и стала я самой себе словно чужая.

22 «В последний раз, как я ее видела, вся в белом она была и еле видна сквозь туман утренний, солнышком просвеченный, и не распознать было, на нее гляючи близко ли она тут стоит, далече ли.

23 «И долго матушка, и таково ласково, на меня глядела, а напоследях сказала: 'Отныне тебе сама Пречистая матерью будет, коли сердце чистое соблюдешь'.

24 «Слышь, Лазарь, сердце чистое. А разве чистое у меня сердце? С тех пор, как нарочно, бес ко мне и пристал.

25 «Чего, чего мне лукавый не нашептывает: сказать зазорно. На колдовство и срамоту подущает.

26 'Сотри, — говорит, — змею в пыль, с рудю-кровою смешай, да раздешься перед Лазарем дѡнага, да попляши, да тою кровью его и обрызгни; как встrepаный вскочет, и тебя одну любить будет'.

27 «А чаще убиться велит: ты, говорит, проклятая; сердца нечистотою и себя и Лазаря погубила; одно тебе осталось — руки на себя наложить.

28 «Покинула меня, сироту, матушка, да и Матерь Божия не приходит. А я Ее и не зову. Давно уж Пречистой молиться перестала».

29 — «Почему же», — спросил Лазарь, — «со мною ты столь часто Матерь Божию поминаешь, на Нее уповать учишь, а сама, бесу на поживу, Ей не молишься?»

30 Отвечала Отрада сквозь слезы: «Ах Лазарь, Лазарь! Как же я Ей молиться стану? Ведь о тебе об одном вся молитва моя.

31 «А вдруг Она меня и послушалась, и исцелила тебя; а ты на ноги встал, в стремя ногу, да и был таков.

32 «Поколи ты убогий, весь ты мой тут. Не хочу тебя отпустить. С силою собраться не могу; а, знаю, должна.

33 «Вот отчего и Пречистой не молюсь, грех на душу беру. Лучше согрешить хочу, нежели тебя лишиться. Познай меня, грешницу злую, погубительницу твою!»

34 И убежала, как зверек дикий от ловца, в перепуге и смятении.

VIII

1 Спокойнее с того дня стала Отрада и благоразумнее, и буйство ее шалое утихло; с подружками играть зачала в игры девичьи, только прежней ясности ее веселой да ласковой как не бывало.

2 Задумывалась иным часом и на людях; в глушину одна уйти норовила, песни свои про себя распевать, чтобы люди не слышали.

3 Училась усердно, но о божественном не заговаривала. Читали же они с Лазарем, кроме священных книг, и цветники, и повести разные: на списки харатейные Лазарь казны не жалел.

4 И пытала его Отрада о многом, в чем и сам он несведом и недотошлив был: о колесниц небесных коловращении, и о всем естестве и стихиях и земли основаниях, и о всякой твари, и о племенах человеческих.

5 Так оба тихо и ладно, ровно брат и сестрица-разумница, за книгами сиживали, особливо вечерами зимними; только говорит однажды Отрада Лазарю:

6 «Не добро, Лазарь, что ты от людей загородился, словно очу-
рался. Хоть бы странников послушал, как они о своих странствиях
— и в Святую Землю иные хаживали — повествуют:

7 «Какие диковины видовали, какие небывальщины слыхивали,
басни жидовские и кощуны эллинские, якоже про те басни благо-
честивые старцы глаголют. И прилыгают вестимо, а послушать
занятно; а и правды много сказывают».

8 Потакнул Лазарь нехотя, а через день, другой и сам чужие лица
повидать, голоса чужие услышать возжелал; а странников захожих
у княгини был полон двор.

9 И стал он их иным часом к себе зазывать да выпрашивать,
откуда родом, да как дома жили, страду страдали, да где бывали,
что на свете видали, о местах хождения и свычаях иноземных;

10 что де на земле широкой деется, что в христианском народе
молвится, как люди труждаются, о чем плачутся, на что уповают,
чего домогаются; о чудесах же и знаменях причитать да возды-
хать, да сказания отреченные пересказывать возбранял.

11 И сетованиям их внимая о туге мирской и разрухе земской, о
набегах да разгромах да властей утеснениях, о нищете сельской
и многих земель запустении, усмехался Лазарь горько и говаривал,
головою покивая:

12 «Пришла беда, отворяй ворота: то ли еще будет? До света
кончины, как вы там, богомолы, с богомолками вашими суесловите,
мню — далеко; а царства православного конечной погибели, как
пить дать, дождемся».

13 И смущались странники, и недоумевали: почто сидень, коли не
впрямь из ума выжил, в избе сидючи, горшую беду накликает.

14 И отпуская их Лазарь с досадою в сердце и на их юродство,
и на царства (как про себя думал) разорителей, пастырей-волков
хищных.

15 «Ужо-вы,» — говорил —, «люди добрые, идите-ка себе с Богом!
Матушка вам угощенья понапасла, — море, чай, разлитое».

IX

1 Вздумал по некоем времени Лазарь и посетителей именитых,
что к Горыньским, знатности их и хлебосольства ради, по соседству
ли, аль нарочно из дальних вотчин, наезжали, также и бывших своих
соратников, что к старому князю наведовались, на пир и беседу
звать.

2 Стольничал с ними да чашничал, лебедей рушил, романей запивал.

3 За гостями и старик, хозяин ласковый, к сыну жаловал, даром что на него, неповинного, хмурился за его убожество; согбен был князь Давыд горем-обидою, а старинной спеси и в горе не избыл.

4 И от вельможных гостей Лазарь те же, что и от смердов, пени на крутые времена и нестроение государства и на разруху земскую слышал; а и сим на словах печальникам в лицо, будто злорадствуя, свое твердил:

5 «То ли еще, государи-братцы, будет! А и лихо к добру. Коль не принудят нас гости незваные за ум взяться, — помните слово мое, — никаково нам не сдобровать: сами себя разладом да неурядицею погубим.

6 «Коли в конец примучены не будем, прочной не сколотим избы, крепкого не построим царства».

7 И на те слова иные гневались, иные же Лазаря не токмо плотию мнили расслабленным, но и в уме поврежденным. Он же, их занозу и кичливость примечая, на зло им пушим прекословием свой норов тешил:

8 «Царь надобен земле, да такой, чтобы лише врага пришлого князей да бояр примучил. Крепкое нам потребно самодержавие, а князьям тому самодержцу холопам быть».

9 Тут и князь Давыд, осерчав, прю с Лазарем затевал: горою стоял за княжьих родов власть. «И в кого ты таков у меня уродился, что своего же рода честь и славу забыл?» — в сердцах на сына щетинился.

10 А Лазарь в ответ: «Не нам, Горынским, змею многоглавую, Идрою именуему, прикармливать: сами свое племя усобицею предки наши изгубили. Се, и Омир оный еллинский изрек: 'не добро многоглавие, един глава да будет'».

11 И расходились гости, над сиднем потешаючись: «Начетчиком, сидючи стал; поди, и чернокнижником: всех окаркал.

12 «Омира некоего к ночи поминает — а сей кто таков есть? — сам ли Вельзевул, али какой шүтов прихвостень?»

Х

1 Жил в недалекой лавре священномонах Мелетий, родом Грек, и книги церковные правил.

2 Сей муж, пресловутый книжностию и писаниями, не токмо в еллинских словесных хитростях измлада искушен был от фило-

софов и витий цареградских, но и в Италии и в Галлии путешествуя по церковным надобам и в греческих словесах охочих наставляя, с первыми земель тех совопросниками обращался, и наречия оных разумел.

3 Книг же мних тот с собою привез множество несметное. И загорелся Лазарь от мудреца того иметь наставление; и поусердствовал сына ради князь Давыд Мелетия в гости залучить.

4 И похвалил Мелетий рвение Лазарево, и своего ученика излюбленного учителем ему приставил, по имени Епифания;

5 его же на Святой Горе из младых иноков словенских изыскал и неотлучно при себе держал, в странствиях многих и трудах келейных подручником.

6 Был Епифаний веком не старше Лазаря, телом щупл и тощ, трудолюбец и воздержник, ликом благообразен, но длиннонос и никл, в беседе смирен и тих, мыслию изощрен и прозорлив, книжной мудрости кладезь.

7 Поучал он Лазаря грамоте еллинской, последи же и латынской, и упражнял его спервоначала в баснях Есоповых, посем и в книгах церковных, и в творениях святоотеческих, и в предложениях Евклидовых, и в Аристотелевых суждениях.

8 А пил Лазарь учение, как земля сухая росу. И как то ли Мелетий сам у Горынских неделями гащивал, то ли Епифания к ним надолго присылал, года почитай за три сидень изрядно в науках понаторел.

9 Но, плавая по морям премудрости, о пристанях сам рассуждал, куда путь править: не всему равно прилежал, себе потребное избирая.

10 От превыспренних умствований отвращался, наипаче же вперял мысль в судьбы царств и мужей преславных деяния, народоначальников и военачальников и правителей, и в домостроительство государственное, и в кесарей законы, и в уставы правосудия.

11 И как во всем, по исследовании и вникновении, за свое суждение держался, помалу и в состязания с наставниками своими вступать осмелился.

12 Укорял Мелетий латинян, что правого обычая не держат, да и в рассуждении вещей божественных блуждают и совращаются; причину же сего шатания в том полагал, что, осуетившись мыслию, от Платонова богомудрия отступили и прилепились к Аристотелю.

13 Вопречь ему Лазарь говорил: «О правиле веры судить не моего скудоумия дело; а что Аристотелю паче послушествуют, разумно творят.

14 «В премирное Платон простирается; посему и любомудрие смерти предварением именуется, и песни лебединой уподобляет. Но

коли в жизни смерть предварит мудрец, на земле будет, лебедю подобно, хромец.

15 «Таковым ли лебедям, незримого, что, мнят, на небе видели, взыскиующим, долу же горнее низвести не могущим, государствовать? Стагирит же по земле ходить учит, как и ученики его ходунами нареклись.

16 «Не вышних слав умозрением, яко млёком духовным, младенческую в нас память питает, но к действительному целей исполнению мужескую мощь движет.

17 «Градовладык Платон воспитать тшился втуне; Аристотель же великого воспитал вселенной владыку».

18 Отвечал Мелетий с огорчением: «Долга твоя рацея, да зрение коротко. По недоуке твоей, наипаче в писаниях отеческих, и по суете мысленной превратно умствуешь и криво судишь.»

XI

1 То словопрение слышав, говорит Епифаний наедине Лазарю: «Высокомудрствуют Греки и надмеваются мыслию, а веры живой не имут.

2 «Видел я своими очами их распрю и братоненавистничество, и лютость, и лукавство, и хлад сердечный. Не устоять державе их ветхой, подобно Риму первому.

3 «А кто по ним наследие правой веры примет и царство православное, яко некий третий Рим, в мире обновит?

4 «Не мы ли, днесь немощные по детскому неразумию нашему и озорству?

5 «Два к тому средства есть: и первое средство царёвой власти крепость самодержавная; а другое средство — от латынской ереси и от Фрягов и Немцев застава непроходимая.

6 «Лазутчиков искусных посылать надлежит к еретикам лукавым да выведывать, что и нам пойдет на потребу, подобно как Евреи в сороколетнем по пустыне странствии в землю обетованную засылали; а кто с неверными общается, анафема да будет».

7 Отвечал ему Лазарь: «От наследства славы и державы не откажемся, коли поднять таковое силы хватит, — ежели, сиречь, крепкое у себя наперво созиждем царство.

8 «А стена твоя мне не по сердцу: нечего нам от чужих людей хорониться, словно красной девице в терему, — не равно и век проневестимся.

9 «Случится — побьемся, доведется — и на мировщину пойдем: а промеж ладов да драки, гляди, и ума невзначай от соседей лихих наберемся.

10 «Вот и Греки себя всех превыше мнят, всех де они и мудрее, и благолепнее; и стеною от варваров застенились.

11 «А поколе на том жили из века в век, нового добра не наживаючи, варвары то их велелепие мало не перещапили. Как первый Рим сии разорили, так и второй ужю погромят, да и сокровище его зарытое в лихву пустят».

12 Уклонился от спора Епифаний, очи потупил да в книгу уставился; а помолчав молвил: «Знаешь ли ты, князь, что есть орскопия?»

13 Отвечал Лазарь: «Гадание есть о судьбе человека по светилам небесным, како на небе стояли в его рожденья годину. Только не даю я сему искусству веры: что за дело, мыслю, живой ризе Божией до дел человеческих, и не первее ли судьбы воля наша?»

14 Сказал Епифаний: «Склоняют звезды, но не принуждают; долнее же во всем горнему сообразовано. На тебя, князь, я таковое гадание учинил и светил устав о тебе исчислил».

15 Засмеялся Лазарь: «Ан ты и звездочет выходишь: не даром еще и до пострига монашеское в миру житие вел. А чего ради? Не иначе, смеаю, как тайнокнижия ради и чарования. А вместины ли календы сану иноческому, смотри сам. Исчисление же свое мне ужю покажь».

16 Отвечал Епифаний: «Тебе того не постичь. А что про тебя увидал, прямо скажу, и слово мое твердо: на роду тебе писана великих деяний слава; быть тебе всяя земли нашея государем».

17 Затаил Лазарь сердца смущение и смеючись ответствовал: «Твоими бы устами мед пить. А и есть медок, да засечен в ледок.

18 «Да и мед ли еще что ты пророчешь на двое сказано. А уж коли быть мне по слову твоему автократором, ин тебе подо мною патриархом быти».

XIII

1 Ночей не спала Василиса Никитишна: все о сиротке, внучке своей названной, думами да страхами сердце крушила. Шестнадцать лет Отраде исполнилось; красавицей девушка выростала.

2 Налюбоваться вдоволь не могла княгиня на косы ее червоннорусые, тяжелые, на головы наклон царственный, будто под

ношею невидимой золотого венца с тѣроками, на поступь ее своеобычную, и горделивую, и покорную, на взор прямой, как вежды стыдливые вскинет, глаз правосудных, светоносных;

3 наслушаться не могла вдосталь голоса ее верного, из уст нежных и молчаливых, заревою завесою затворенных.

4 Но с годами и юродство некое в ней обличалось: на люди ее недозовешься, не докличешься; беседы не слышит, невпопад отвечает; одним часом будто с кем говорит, кого одна видит; из дому пропадает, по неторенным тропам скитаючись.

5 Сватать ее старики задумывали; она ж, как на то обиняками намекнут, сама не своя делалась, будто умом исступлялась.

6 В скит женский, что на соседней земле в лесу стоял, жить просилась, к игуменье Мелании послушницей, к старице строгой, Василисной сестре двоюродной: Василисина родня тот скит основала.

7 И недоумевала княгиня, как ей Отраду детоводительствовать, как думу ее разговорить. А старый князь на сватовстве стоял, молодых князей да бояр в дом зазывал, жениха доброго девице высматривал.

8 Препиралась с ним Василиса, неволить девушку не соглашалась, да и знала, что легче реку от устья к истоку повернуть, чем ей насупротив идти; в монастырь же ее отпускать за великое горе почитала.

9 К тому и за Лазаря было матери боязно: бодрился сидень единой Отрады утешением; ее не видючи, не ровен час, опять закручинится и погаснет душою.

10 И как те мысли ее Лазарь догадкою больше, чем из открытых речей, проведаль, говорит он матери:

11 «Не крушись ты за нее, матушка, и ни в чем ей перечить не моги. В мать свою норовом она уродилась. Жизнь у нее отнять можно, а нрав ее переломить нельзя. Как сама решила, так тому и быть, на горе ли, на радость ли позднюю».

12 И чуюло Василисино сердце, что его, Лазаря, правда; и мужеством его в душе Василиса утешилась.

XIV

1 Пришла к Лазарю Отрада и говорит ему: «Пора мне, убогий, от тебя уходить. Позвала Владычица.

2 «В монастырь иду жить, тебя миру отмаливать. И доколе не отмолю, из обители не выйду.

- 3 «А исцелит тебя Пречистая, приду на тебя взглянуть, как ты на коня сядешь и поедешь землю слобожать, себе славы искать.
- 4 «На сем, Лазарь, и прощай до поры, до времечка. Прости, Христа ради, коли в чем тебе согрubiла».
- 5 Сказал Лазарь: «На грусть-тоску ты меня, убогого, покидаешь».
- 6 Отвечала Отрада: «Не то бы мне слово от тебя да слышать, не твоим бы устам таковое молвить».
- 7 «Сам себя, Лазарь, знаешь: силы в тебе наросло — на семерых хватит. Сам чуешь: по жилочкам та силушка твоя богатырская так живчиком и переливается».
- 8 «А как и на ногах укрепиться, всей земли нашей будет мало: чтобы разгуляться ей на просторе, силушке твоей напасенной. Прости, желанный: даст Бог, и еще свидимся вскоре».
- 9 А Лазарь ей: «Была ты мне, Отрада, за дитя малое, за сестрицу желанную; душу мою ты мне вернула».
- 10 «А ныне скажу: коли вправду по слову твоему сбудется, что Господь мне, расслабленному грехи отпустит и велит взять одр мой и ходить, и восстану я опять, Отрада моя, добрым витязем, — не иначе ты мне будешь как невестою суженой».
- 11 Вскинула Отрада нежные очи, далекие и молвила: «Нет на то, Лазарь, моей воли, ежели не будет мне повеления свыше».
- 12 «Как я тебя люблю, ни одна душа тебя так любить не будет. Но лучше мне черницею в келейке остаться, за тебя молитвенницей».
- 13 «Ибо надлежит тебе от меня далече уйти, и меня забыть, и только поздно вспомнить. Меньше слез пролью, тебя в келлии дожидаячи, чем с тобою живучи в миру».
- 14 «Но что нам, сердечный, о днях грядущих гадать? Не на все ли в жизни воля Божия?»
- 15 И поклонилась Отрада Лазарю в пояс, и вышла, не оглядываясь, из светлицы; и вскоре в женском скиту при старице игуменьи служкою поселилась».

XV

- 1 Гонец за гонцом прилетали с вестями недобрыми: подымалася туча грозовая; вся, что ни есть, великим походом двинулась на православную землю агарянская сила неуклонимая; не сдобровать и княжым землям, кровавой бани не избыть».

- 2 Слег от удара дряхлый князь; Лазарь в руки почин взял. Звал на помощь боярина Василья Жихоря, Василисина внучатого племянника.
- 3 Ваську у Горынских не долюбивали; был он силач приземистый, коренастый, жуластый, узкоглазый, хитрый да хищный, как зверь лесной.
- 4 Давал Жихорю Лазарь наказы тайные, отпуская ему золотой казны уйму из кладовых княженецких, слал его в ханскую ставку от Горынских челом бить несметным выкупом.
- 5 Поехал Жихорь смеючись в орду и вернулся с ярлыками жалованными, с грамотами вольготными, да и гостинцы Лазарю от хана привез:
- 6 камки китайской, да ковров персидских, да саблю кривую, камнем изукрашену самоцветным; а к тому и выкупа добрую часть не истрачену.
- 7 Миновала Горынских гроза; и то другие князья им в измену вменили. И полегли костями многие в неравном бою, а своих уделов не отстояли.
- 8 И разорили неверные христианскую землю, и покорили ее под ноги свои, и тяжкими данями обложили, и баскаков по градам поставили.
- 9 И схлынула громада назад в степи, иные же полчища нёгде грады и веси грабить остались.
- 10 А Лазарь в своих землях Жихорю управу дал, пригрозив его повесить, коль неправду чинить будет и людей сельских поборами и обидами притомит.

XVI

- 1 Держал тайный совет великий государь с митрополитом Софронием и с духовником своим, архимандритом Варсонофием (прибыл по вызову государеву старец-игумен из дальних скитов) и, тяжело вздыхая, так говорил святителю:
- 2 «Знает помыслы мои сей старец, и тебе, владыко, внутреннее мое открою. Им же образом желает олень на источники водные, так измлада взыскует душа моя уединения иноческого и мира келлии молчаливой.
- 3 «Не по моим раменам власти бремя, и плечи мои под бармами царскими согнулись. Повержено лежит во прахе царство, и моей ли нищете разваленную храмину восстановить нову?»

4 «'Озлоблен бых и смирихся до зела, весь день сетуя хождах'». Вожделею, отцы, венец обменять на схиму; но государство разоренное на кого оставлю?

5 «Нет у меня сына престолонаследника, и меж родных и кровных моих приемника державы достойного не вижу. Кто в лихую годину землю управит, меня же грешного и смиренного, ангельский образ приять отпустит?»

6 Молвил Варсонофий, седые нахмутив брови: «О том не пещись и не малодушествуй; позвал тебя, яко мытаря, Господь — за Ним, покинув мѣтницу, и последуй.

7 «Не властителей управою народ, еже Господне достояние есть, спасается, но молитвою подвижников. Из стен скитских, Богу трудяся, үнее землю упасешь, нежели на позорище славы земной лицедействуя.

8 «Ты на престоле царевать мнишь, а Бог тебе наперекор распоряжается. Сказано: 'Не спасается царь многою силою'.

9 «Ты крамольнику голову рубить приказал и оглянуться не успел, как у него на плечах другая выросла, а снятая на другом туловище сидит, и двое на тебя восстали заместо единого.

10 «Не земной царь на земле державствует, а Небесный. Откажись от мира, протїву рожнѣ не при; довольно тебе сидеть на седалище губителей.

11 «Вели всем миром на собор собираться: пускай себе по сердцу владыку выберут, как ведают сами; не твоя то печаль.

12 Сказал святитель: «Не добре ты, отче, советуешь. Коль уйдет с престола державец, державы преемника по себе не назначив, злая будет по всей земле смута, усобица кровавая и конечная царству погибель.

13 «Сам государь должен ставленника своего земле указать, а нам ему в том деле пособить надобно. Святой Церкви, подобно древлему Самуилу пророку, надлежит избранника Божия обрести и молитве церковной тут наипаче силу свою явить во спасение людям.

14 «Чаю, и без нашего умышления человеческого Божиим чудом недоумение сие разрешится. Пойдем, отче, к великому пустыннику Парфению и с оным духоносным старцем, под печатью тайны церковной, совещаться будем».

15 Угодно было то слово игумену суровому, ибо воистину праведным Парфения почитал, и молил великий государь, отпуская советников:

16 «Потщитесь, отцы святые, земли многострадальныя ради, мужа изыскать, свыше укрепленного на подвиг спасения; я же его за сына возлюблю, и ставленником моим сей будет».

1 Шла по весне ранней Отрада лесною проталиной, и видит: в стрету ей из чащобы бурый медведь.

2 Остановилась и крестным знаменем себя осенила; и слышит из чащи голос старческий: «Не бойся, красная дѣвица! Добрый он у меня, хозяин-то, и тебя не тронет».

3 И вышел из-за дерева старичек в скуфейке и в епитрахили; а лицо у него кроткое и свежее, округлое и борода малая, седенькая.

4 И стала перед ним Отрада на колени, и молвила: «К тебе прихожу, преподобный отче Парфение, смущение мое на духу исповедать».

5 И отвел ее старец на лужайку сухенькую и, голову ей епитрахилью покрыв, над нею склонился, и рассказ ее долгий прилежно выслушал, и разрешил ее, и благословил.

6 И присовокупил отпуская: «Не смущайся же сердцем, чадо, и не устрашайся, но дерзай и Господа благодари. Ибо не враг рода человеческого суетными тебя мечтаниями искушает,

7 «но воистину возлюбила тебя Сама Владычица и тебе воочию милосердный взор Свой на тебя устремила. И, чаю, молитвам твоим благое исполнение будет. Иди в дом твой с миром».

8 И пошла Отрада прочь, дабы вернуться в обитель свою, возрадованная и укрепленная; но опять окликнул ее старец и сказал ей:

9 «Иди, Отрада, в дом Лазарев и скажи матери его: молит тебя, госпожа благочестивая, смиренный старец Парфений, повели слугам с утра в Егорьев день недужного сына твоего, ни на немощь его, ни на ненастье, коли случится, не гляючи, из хором на Егорьеву криницу нести, где по водосвятии и молебн о здравии его спет будет.

10 «Ты же Пречистой неустанно молись, с великим любви дерзновением. А идучи от меня, коли гостей повстречаешь, путь им ко мне покажи; а хозяина-то пусть не пугаются. Иди, сердечная, с Богом».

11 И вящим Отрада окрылилась упованием; вскоре же в лесу черноризцев повстречала с митрополитом и с игуменом и поклонилась им до земли; и вопрошаема от них, тропу им к Парфениевой келлии показала, и медведя, коль из дебри выйдет, не пугаться наказывала.

12 Сидел Парфений на пороге хижины своей, когда подошли митрополит и игумен с черноризцами, и, завидев их, встал с порога и до земли им поклонился; и гости ему земным поклоном ответили; после же облобызал их.

13 И, оставив иноков вне келлии, святителя Софрония и старца Варсанофия под кров свой пригласил, и сказ их тайный благоговейно выслушал, и речь им таковую держал:

14 «Поститься будем, братие, и молиться усердно дней семь; последи же будет святого Егория день, земли нашей блюстителя незримого, от него же и ныне помощи чаем.

15 «С утра в день тот выйдем церковным чином на криницу крестовую, что, отселе недалече, в заповедном урочище Егорьевом, чудотворною всенародно почитается и святыню некую таит несомненно.

16 «Дерзай, малое стадо; занè аз, недостойный, твердое имею упование, что на оном святом месте Господь знамение некое явит во спасение миру».

17 И послушались митрополит и игумен слова Парфениева, и пошли со своими черноризцами в скит ближний, и там постились и молились семь дней.

XVIII

1 Когда пришла к Василисе Отрада с наказом старцевым, встретила ее та в слезах, шепчучи: «При смерти Лазарь; седьмой день в огневице горит, и все лише огонь пылает».

2 И, наказ узнавши, воскликнула: «Да Егорьева-то дня сын мой, гляди, Богу душу отдаст».

3 Сказала Отрада: «Не умрет раньше повеленного; но что предрек старец прозорливый, то и сбудется». И, укрепивши веру ее, в обитель свою отошла.

4 Лазарю же на девятый день полèгчало. И проснулся он в одну из ночей и опаматовался; и вспомнилось ему, что Егорьев день, почитай, на дворе, то ли уже минул, и что жил он на свете целых сорок лет.

5 И жизнь свою, втуне отцветшую, пожалел без ропота и, тихие слезы во тьме лия, Бога молил душу его взять и в селениях мира упокоить.

6 И забылся на том дремлю, и мнил себя сызнова младенцем малым и слабым, и не было в душе его ни тревоги, ни желания, но доверчивость и покорливость детская, и надежной защиты сладость.

7 И грезилось Лазарю, будто держит его в ласковых лапах сизый орел мощный и носит его над землю, как буря.

8 То высокò взмдет в поднёбесье, так что сердце в груди захо-
лонет, то над лугом низко кружит, вот-вот на мураву мягкую
младенца сложит; то вдруг опять взовьется за облаки, и закру-
жится у Лазаря голова, и в очах потемнеет.

9 И думает он про себя: «Коли ввысь меня возьмет, сие есть
смерть, а наземь положит — жизнь». И ничего не боится, привольно
ему между небом и землею летать, и жить ли, умереть ли — равно
добрò.

10 И видит Лазарь внизу криницу Егорьеву, и себя, мужа, видит,
под крестом лежащего чистого и белого, белою плащеницею по-
крыта, мертву подобна; и сидит над ним Отрада и говорит: «Ныне
водою из семи ключей омыт сей, и чист весь, и достоин земле
предан быти».

11 И при сих словах умер во сне Лазарь, и к яви пробудился, и
видит — день чуть брезжится, и слышит — чу, под окном опять, как
некогда в сновидении ль, на яву ли то было, голос милый Отрадин
заветную, забвенную песню поет.

12 И мыслит: «Вот она смерть — Отрады песня заветная, заб-
венная».

13 И шелохнуться, и дохнуть, робкий, не смеет, чтобы певчей
птицы райской не спугнуть, нежных чар Отрадиных, словно нитей
света тонкого, не перервать. Но по новому старинную песню,
желанную поет Отрада:

14 «Во темнòм сыром бору *
Семь ключей повыбило.
На чистòй прогалине
Студенец серебряный.
По-над яром хижинка,
Поодаль лачужинка.

15 «Не святой затворничек
В келье затворяется:
Затворилась Схимница
Под схимой лазоревой.
Выглянет — повывездит
Пò синю поднёбесью.

16 «Хижинка безвестная —
Царицы Небесныя,
Девы невестныя,
Владычицы Дёбреньской.
Живет Матерь Дебреньская
За старцем-обручником.

17 «А старцу-обручнику,
Духову послушнику,

Гѡренка молельная, —
Церковь самодельная,
Почивальня райская —
Ветхая лачужинка.»

XIX

1 Умолкла певунья. Окликнул Лазарь Отраду; но, приглядев-шись, не ее увидел, а старичка в скуфейке и епитрахили, с лицом кротким, округлым, опушенным бородкою малою, седенькой.

2 И молвил посетитель: «Исповедуйся в грехах своих, сыне, и Тайн Христовых приобщись». И возрадовался Лазарь, и подумал, что еще не умер, но умирает.

3 И исповедался перед гостем со слезами легкими и смирением сладким; и мнилось ему, не его те грехи, но другого, ему порученного и им небрегомого, но омытого от них чьею то сильною молитвою.

4 И причастил его старец милостивый, и благословляя сказал: «Ныне же и Отраду узришь, таинственно тебе обрученную, и чадо свое, родиться имущее непорочно: и мир Господень с тобою пребудет до его рождения».

5 И не было уже в покое старца; но, как дым кадильный, наполнила покой с благоуханием тонким голубизна очам сладостная, и выступила из той голубизны на мгновение ока Отрада, и младенец был на руках у нее.

6 И воззрел младенец на Лазаря очами темными, далекими; но все покрыла волна голубая.

7 И смешались мысли Лазаревы в восторге блаженном, и сошли на него покой нерушимый и забвенье целебное.

XX

1 Ясным утром в Егорьев день принесли на носилках Лазаря, в забытии лежащего, на криницу Егорьеву, и мать его с немногими домочадцами вместе пришла; старому же князю, мало что после удара оправился, путь тот был не под силу.

2 Справили службу над криницей по чину митрополит Софроний и священномонах Варсанофий и схимонах Парфений с малым иноков клиром.

3 И положили иноки Лазаря възнак под крест, и руки его по земле разогнули; и по окроплении его святою водою, вынули крест дубовый из гнезда в срубе и приложили к недужному и поверх тела держали, доколе священнослужители молебен пели.

4 Когда же приподняли древо над головою спящего, и сей за ним приподнялся, охватив ствол руками; и когда воздвигнут был крест, и Лазарь стоял под ним на ногах прям.

5 И глубоко вздохнув, пораскрыл спящий очи и к небу взор устремил, и просветилось лицо его светом духовным.

6 После же колени преклонил и слезы обильные пролил, и на время немалое долу челом в молитве безгласной приник.

7 А окрест чуда свидетели, коленапреклоненные благоговейно, в трепете и ужасе безмолвствовали и очам своим, дивучися, не верили.

8 И, восстав, огляделся Лазарь и, приметив поодаль меж деревьев Отраду, руки к ней простер; она же из очей исчезла.

9 И приблизился Лазарь к матери своей, онемелой от радости и в бессилии на пригорке сидящей, и склонился главою на грудь ее, и в слезах старицу лобызал.

10 И повелел Парфений за собою Лазаря на носилках нести до дубравы отшельничества своего, и окрай раменья слуг с носилками отпустил, наказав им на третье утро привести к тому месту коня княжичу, Лазарю же указал за собою в дебрь идти.

11 И держал его старец в келлии своей до третьего утра, моляся с ним и его наставляя; отпуская же его таковое заповедал:

12 «Собери скоро, княже, ратных людей полк изрядный и повели святой крест от криницы Егорьевой перед полком нести, и на град заречный иди, агарянами осажденный, и воинства их, чудодейственного креста победною силою вспомоществуемый, прогони.

13 «И коли встретится тебе другое неверных полчище, от битвы не уклоняйся; и дана тебе будет помощь свыше.

14 «Последи же с крестом и полком в стольный град шествуй и великому государю пред светлые очи предстань и служить ему верою и правдою присягни, и что тебе повелит не обинуяся сотвори. И исправит Господь пути твои».

XXI

1 Еще держался град осажденный; но противу нового приступа не выстоять было стенам ветхим и немногому осталому воинству.

- 2 А с вечера и пороки к раскатам прикатали поганые, и токмачей и лестниц наволокли.
- 3 Всю ночь народ, с князем и княгинею в соборной церкви моляся, стенал и плакал. Каждый наутрие общую чашу пить готовился; но и отчаиваясь мыслию, сердцем недомысленного избавления чаял.
- 4 Заняла бойницы христоролюбивая рать, за церкви Божии, за жен и детей до смерти постоять укрепились.
- 5 Бодрствовал город, кровавого рассвета дожидаячи; но и заря не занялась, как стражи незапно заслышали за вражьем станом дремучим топот конский и клики воинские и гласы трубные и возглашаемое Егорьево имя, в стане же дрогнувшем гул смутный и вой.
- 6 И воспрянули духом ратники, и выбежали из ворот с бодрым рвением, и ударили на агарян, ужасом пораженных и в диком смятении бегущих.
- 7 И растеклось полчище нечестивое прочь от города, повсюду гонимое и иссекаемое нещадно. И неудобь было в ночном побоище своих от врагов отличить, точию по кликам победным: «С нами честной крест и сила Егорьева».
- 8 О полдень вошли в город полк Лазарев и войско градское; притомились вои от сечи жестокой и погони рьяной; и пета была в соборе хвала Господу.
- 9 Пополудни же Лазарь совет держал с князем и боярами; и положили по слову его заутра в поход идти
- 10 на перерез другому полчищу агарянскому, домой в степи влачащемуся с добычею многою, дабы не совокупились с оным бегущие и, укрепившись, не обратились на город.

XXII

- 1 На закате солнечном прискакали к Лазарю в стан два латника-исполина в забралах железных под схимами, и сказал старший:
- 2 «Богу во Святой Троице слава! Шлет тебе, господине, старец Парфений благословение, и в бою нам с тобою стоять велит, лица же и имени не открывать, и уста по сей речи молчанием затворить». И сказал младший богатырь: «Аминь».
- 3 И поклонился Лазарь схимникам до земли и укрепился духом; заутра же полки на полдень повел. И на заре пятого дня завидели передовые в степи неверных стан и обоз несметный.
- 4 И поставив крестоносцев с крестом на холм, первыми солнца лучами озаренный, повелел Лазарь в рога трубить.

- 5 И соступились вои, и была сеча великая и лом копейный и крови ручьи потекли.
- 6 И устремились на единоборство Лазарь и вождь силы агарянской и вознес на него Лазарь копьё свое, и вздыбился под вождем конь уstraшенный и вбок шарахнулся, и всадника с седла скинул, и копытом убил.
- 7 На Лазаря же первых наездников басурманских, телом огромных и видом страховитых, наскочила ватага.
- 8 И покрыли Лазаря от вражьих ударов двое латников под схимою ангельской, и палицами железными и бердышами семерых поганых с седел сшибли мертвыми ли, живыми ли на потоптание конницы.
- 9 И смутилось все полчище измаильтянское и побежало, преследуемое и избиваемое, и оставило на поле побоища добычу награбленную и полон великий дев и жен и отроков христианских.
- 10 И сосчитал Лазарь под вечер войско свое и не досчитался половины; не было между оставшимися и обоих схимников.
- 11 Под крестом ночевали, утром же падших хоронили; а схимников и между мертвыми не нашли.

XXIII

- 1 После сея победы двинулся с полком своим Лазарь чудотворным крестом предшествуемый, в государев стольный град.
- 2 И встречена была святыня крестными ходами и звоном колокольным и всенародным ликованием; и хвалил народ Господа и святого Егория, Лазаря же яко Егорьева посланника славил.
- 3 И обнял великий государь Лазаря перед всем народом, и лобызал его со слезами, и возгласил: «За сына мне сей муж от Бога послан».
- 4 И поведал святитель Софроний о святого Егория чудесных знамениях, на избраннике его явленных по молитве церковной.
- 5 Но и до того слова святителява крылатым слухом о сидня исцелении и града избавлении, и полчища агарянского одолении земля полнилась.
- 6 И повелел земле великий государь на собор собираться; и когда собрались князья и бояре и лучшие земские люди посадские и городские и сельские, молил православных его, великого государя, с престола отпустить на труд иноческий в ангельском образе;

- 7 А ставленником своим на державы преемство, с благословения церковного, Лазаря именовал.
- 8 И выбрал собор Лазаря великим государем, и молил его величаться Владарем; народ же его Володарём прозвал.
- 9 И венчан был на державство Володарь.

XXIV

- 1 Слал Володарь сватов вельможных по Отраду: да благословят родители его сироту-княжну с ним, великим государем, под венец идти, коли ее на то воля будет.
- 2 Вызвали старики Отраду из обители и на дивном даре милости Господней богоданной внучке здравствовали. Она же отвечала:
- 3 «Велико и чудесно воистину милосердие Божие о нас, и преизбыточное молитв наших о Лазаре исполнение.
- 4 «Но дабы радость моя была совершенна, вопрошаю Ангела моего, не лучше ли мне отойти от мира ко Владычице моей, Лазаря исцелившей и на подвиг общего спасения укрепившей, нежели с возлюбленным сердца моего быстротечную жизни сладость и славу земную делить».
- 5 И молила Отрада семь дней терпеть, а после семи дней говения и размышления ответ дать обещала.
- 6 И, в терему уединившись, духоносному старцу своему с верным слугою таковую грамоту посылала:
- 7 «Преподобному старцу Парфению грешная раба Божия Евфросиния радоватися о Господе желает и челом бьет смиренно. Смилуйся, отче, и замышления сердца моего благослови.
- 8 «Прислал по меня Лазарь сватов; мне же супругою и государынею быти не изволится; уне ми черницею за него по гроб труждатися постом и молитвою, понеже ныне в опасный лес вступает соблазнов мирских и засад диавольских.
- 9 «Благослови, отче, Царице моей и Владычице единой служить и Христовою невестою благообразное девство блюсти. Возлюбила я паче мира Пречистую и с Нею неразлучно пребыть вожденная сердцу моему сладость.
- 10 «Ей, разреши, старче великий, недостойной рабе твоей постриг приять и от суеты мирской затвориться. Сим и Лазарю удобнее благопоспешествовать уповаю; за него же вся молитва моя. От подвига же в миру страдательного дщерь твою духовную, молю, освободи».
- 11 Звал в ответ Отраду старец Парфений заутра к себе в пустынь.

1 Пришла рано Отрада на место пустынножительства Парфениева; но затворена была келлия, и не было старца окрест в бору.

2 И, дожидаячися его, на молитву стала и молилась до изнеможения сил.

3 Уже солнце на притине стояло, и прилегла Отрада, от поста и умиления усталая, под деревом, и сморила ее дрема.

4 И предстала ей в видении Царица Небесная с Христом Младенцем, и будто говорит ей: «И ты своего младенца принеси с Моим поиграть».

5 Воспрянула от сна Отрада и видит Парфения, руки свои над нею простершего, и устремилась к нему, и край рясы его со слезами и трепетом лобызала.

6 И сел старец на траву и прослезился, она же у ног его лежала простертая; и плакали оба долго.

7 И молвил старец: «Чадо милое, не угодно Промыслу Господню, дабы чаша сия тебя миновала.

8 «Иди к Лазарю без трепета, яко Рахиль на ложе Иаковле, и гласу земного естества твоего во смиренном дерзновении последуй.

9 «Непорочен жених твой, светел и чист весь; из семи ключей водою живою ты его омыла. И непорочен будет союз ваш пред Лицом Господним, и ангел Его меж вами стоять будет всечасно; почему и сын ваш наречется Серафимом.

10 «Сей родитися имать на духовное некое миру откровение и целение; Лазарю бо мирская держава уготована, ему же духовная.

11 «Дерзай убо, дщи, понеже и сим послушанием твоим Господу и Пречистой Матери Его послужишь.

12 «И как некогда дух твой цветом благоуханным на небеси, тако на земле ныне дольнею радостию благоуханною жизнь твоя процветет.

13 «После же и скорбь иметь будешь; но и скорбь сия сына твоего благословением обратится в радость.

14 «Сам, освятивший брак оный в Кане Галилейской, брачную чашу супружества вашего да освятит».

15 И прошептала Отрада: «Се, раба Господня», и по исповеди и таин Христовых причащении, сердцем смирившись, возвратилась в дом свой.

16 И возложил святитель Софроний венцы брачные на Владаря и Отраду. А через год родился в супружестве счастливейшем у родителей благочестивых сын, нареченный во святом крещении Серафимом; в миру же благословил старец Парфений именовать царевича Светомиром.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

- 1 Дееписателям царства державных дел память беречь и гласить славу; им Владаря на войне и в мире пот поведать;
- 2 Борения трудные и изнеможения, и новую свыше силу; години Господней превратность и конечное государева стяга торжество;
- 3 Царств бусурманских покорение, княжьей измены и крамолы боярской одоление, на властей и посадниковъ буйныхъ управу; уделов развал, единовластия укрепу;
- 4 Брани и договоры соседские, уставы земские, и градостроительство, и кораблестроительство многое;
- 5 Законов и нравов преложение, наук и художеств изощрение, и всего домостроительства государственного образ новый.
- 6 Нам же Промысла Божия в житии Володаревом водительство, и благодати духовной в царевои сердце изначала воссияние, последи ущерб, с ним убо и державы обмирщение;
- 7 наипаче же Светомирова на земле подвига, и питаний и страстей многих начало повествовать надлежит.

II

- 1 Родился Светомир на староселье Горынском в обедни Рождества Пресвятыя Богородицы, по тридневном окрай земли великом побоище, в утро победы пресветлой,

2 ее же и ныне люди помнят, и в оное время, со слезами благодарения взывая ко Господу, тако славили: «Днесь сокрушил еси злобы агарянской столп, и свет Лица Твоего знаменовася на нас».

3 И сказал Владарь: «Победоносен сын мой земле явися»; и восхотел чадо Егорием нареци, во имя Егория Победоносца.

4 Но отписала мужу Отрада: «Не вмени, господине мой, в послушание, яко прежде нежели гонцу от тебя приспешити, нарек старец Парфений младенцу во святом крещении над купелию водною из криницы Егорьевой имя райское Серафим, в миру же Светомиру зватися благословил,

5 во исполнение великих о сыне твоём знамений, яже аз смиренная в сердце слагаю; и такова, разумей, воля о нем Господня, святой же Егорий с нами и родом нашим и землею нашею вовек».

6 Осерчал было Владарь: «мниху де подобает Серафиму именоваться, сыну же моему по мне царевать указано, а не грехи мои замаливать». Но тут же и умирился: «ин воля Божия о нем да исполнится».

7 И повелел отай Епифанию, хоть и чурался кудесья, звездогадание о младенце учредить; и отповедь слал Епифаний письменами тайными:

8 «Предивно светил обстояние над колыбелию сына твоего, но по несогласию с чином естества неудобь исповедимо.

9 «Аще же и погребен из гроба жив восстанет, силодейственна стрела Егорьева в деснице его».

10 Горел сердцем Владарь в дом свой возвратиться и увидеть отроча с матерью его, но зимовал с войском в походе.

III

1 На крестопоклонной седмице вступил Владарь, крестом победомощным предшествуем, с полком единым в престольный град, и тамо суды судил и расправу чинил недолгое время с кротостью.

2 А из престольного града понес крестным ходом древо чудотворное водрузить на место его над криницею Егорьевой.

3 И упредил на последнем поприще государь шествие крестное, и прискакал со двумя гриднями к рамени дубравной рано; и оставив гридней с конями у рамени, один пошел на криницу.

4 И напала на него грусть-тоска в дебри зимней, промеж сугробов снежных и черных нор; и мнил видеть округ себя гробы разверстые и тьмы могильной зевы.

- 5 И вспомнил Управду замучена и Горислаvinу младость загублену, и искушение свое от беса дубравного, и долгую сидня немочь;
- 6 ныне же и звездогодание темное о сыне возлюбленном, с колыбели уготованном к погребению.
- 7 И сказал в сердце своем: «Помогает земле Егорий рукою раба своего, сам же отвержен есмь с потомством моим и на гдѣ рожден».
- 8 Ибо не было креста сильного на месте его над криницею застылою, и не было силы в сердце Владаря, и молитва в устах его как желчь и полынь.
- 9 И присел от усталости на пеню мерзлую, и дремою мгновенною обаян был; и предстала ему Горислава, в одеянии черном, и власы ее были белы.
- 10 И подумал Владарь: «порошею звездною власы ей запорошило»; она же простерла ему рукописание и молвит: «читай свиток звездный».
- 11 И читает Владарь рукописание слово за слово, и звучат словеса в душе его на распев похоронный:
- 12 «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
- 13 «Учися, рабе, оправданиям Господним, земле судити и правдовати право.
- 14 «О Серафиме же не рыдай, яко болий тебя, на престоле славы сидяща.
- 15 «И стрела Егорьева в руке его не ранит...» И при том слове молоньей белой снега убелило.
- 16 И воспрянул Владарь от света внезапного и озрелся; но по той молонье сумрак омгил дубраву.
- 17 И воротился, шатаючись, на тропу свою; но вышел из мрака волк и преградил ему путь.
- 18 И поднял на него государь жезл свой, зверь же не убоился.
- 19 И сказал зверь человеческим голосом: «Сын твой болий тебя, его и послушаюсь».
- 20 И еще сказал: «Ты мира сего державу зиждешь, а он ту державу упразднит.
- 21 «Явно пророчество: рано умрет иноком, и стрелу с собою унесет, ангельскою схимою одеян, во град горний».
- 22 И узнал Володарь беса дубравного, и воздвиг на него крест свой наперсный; и пропал бес.
- 23 И будто позвал Владаря голос Отрадин издалеча: «Лазарю, Лазарю!» И возрадовался Владарь, как отрок малый, в лесу заблудший, оклик слышав родимый.

1 Вошел Владарь в терем женский и, став у дверей покоя Отрадина, прислушался: тихо пела Отрада, дитя баюкала:

2 «Светомире мой, дитячко светлое, *
 свете мирный, тихо дремли!
 Ты ж расти во сне, сила Егорьева,
 на обрадованье земли!

3 Промеж моря и моря острá гора,
 на полугоре Божий храм.
 Колыбель во храме хрустальная:
 я Пречистой тебя отдам.

4 Ты, светла сестра, ты, бела гора,
 в колыбелечку сон мани!
 Ты, свята пчела, золота стрела,
 во хрустальной с ним усни!

5 От возгорья по долу зеленый сад,
 до синя моря вертоград.
 Из ладьи выходит Пречистая,
 навещает свой вертоград.

6 Осенит колыбельку Пресветлая, —
 баю, свете мой, почивай! —
 Вынет душеньку, белу горницу,
 унесет в невидимый край.

7 Как вернется во храм девья странница, —
 баю, сыне мой, тихо дремли! —
 Встанешь витязем в силе Егорьевой
 на обрадованье земли.»

8 Переступил Владарь порог покоя и увидел Отраду сидящую и двух младенцев, спящих на лоне ее — одного полного и румяного, другого бездыханну подобна, — и ужаснулся

9 Ибо узнал сына своего, облаком смерти повита; и лицо его как пепел тусклый, как усопшего мощи.

10 И в тот же час узрел над ним на мгновение ока его-же, младенца малого, прямо стоящего в хитоне пресветлом и в диадеме ясной, и луч стреловидный в руке его, лицо же его смугло, и очи как зеницы орла, разбужена молнией.

11 И преклонил перед ним Владарь колени, младенец же пробудился радушен и потянулся за крестом золотым государевым, и воскликнула Отрада в веселии: «Узнал родимого Светомир!»

12 И благословил отец отрока великим благословением родительским, на веки нерушимым, и лобызал младенца и мать его; она же, смеючись, ворковала:

13 «Ненароком нагрязнул на нас ясен сокол; двоих стерег, троих накрыл, тайные дела наши все проведал».

14 И вопрошал Владарь: «Кто сей, Светомиров молочный брат?» И отвечала Отрада:

15 «Была у меня, девчонки, подруженька из сельских дивчат, таково меня любила; песни мы с нею вместе по рощам складывали.

16 «Вышла замуж за доброго молодца, а он за тобой в поле пошел, жену неспрашивая в селе оставил, в бою великом голову под твоим стягом сложил.

17 «Сиротой Глеб на свет родился, а там и мать молодая, не докормивши сынка, с тоски зачахла сердешная. Я же сироту круглого ко своей груди взяла, свету нашему богоданному брата молочного прилучила».

18 И кликнула Отрада мамок и положила им обоих младенцев на руки, а мужа повела в затвор иконный.

V

1 Молитву сотворивши, стали супруги перед иконами и заглянули друг дружке в очи.

2 И пролил Владарь слезы на лоно Отрадины и все ей поведал, что о сыне их ненаглядном давно страхом и трепетом и недоумением дух его смущало; и ободрила его Отрада.

3 И наставляла: «Не смущайся о нем: на великое и святое сын наш рожден, еже и совершит непреложно».

4 И доверила ему нечто о знаменях Господних, при рождении его бывших, и говорила:

5 «Как поднесли мне новорожденного к постели моей, видела я ангела его, над ним стояща, ликом смугловата, диадимую светлую украшена, и луч в руке его.

6 «И отверз уста свои, и явственно слышала я из уст его слово: 'Радуйся, мать Светомирова'.» Тогда доверился в сердце Владарь Промыслу о младенце Господню.

7 И возрадованный и укрепленный духом вышел к людям, идущим во сретение креста чудотворного; и, водрузив крест на место его у криницы и дела земские управив, вернулся в ратный стан.

- 1 Явно в те лета благословение Божие на Владаре почило: присмирели помалу супостаты иноплеменные, и тишина была по всей земле, и с уделами дружество, в дому же государевом мир и любовь.
- 2 В годовщину первую Светомирова рождения, перед близким мужа с поля брани возвратом, вопрошала Отрада старца Парфения, почто и в любви супружеской по келейном житии духом тоскует:
- 3 не исполнено ли ею послушание материнства и нельзя ли де ей на остальной век, от брачного сожительства отрешившись, целомудрия обет в миру блюсти тайно.
- 4 И вручил ей старец Парфений сосудец каменный со святою водою из криницы Егорьевой, и заповедовал настрою:
- 5 «Береги воду сию до Благовещенья, а в оный великий праздник за другою приди, ко мне ли, аль и в обитель ближнюю, и таково правило напредь держи неуклонно.
- 6 «Когда войдет к тебе в опочивальню муж твой, испей воды сия и ему дай испить; и ежели свежа будет и светла и сладка вода, как родник живой, благословенна встреча ваша, и ложе свято.
- 7 «Когда же тепла и мутна и затхла на вкус, то негодна Господу встреча ваша и греховно вожделение. Но поколе студена влага и тиною блатною не отдает, о разлуке плотской с милым сердца твоего и не думай.
- 8 «Ныне же и сноведение твое, что в ночь сию видела, сказывай; ибо знаю по лицу твоему, когда тебя видение свыше посетило».
- 9 Отвечала Отрада: «Читаешь ты в душе моей, как в книге отверстой, отче, и ничего мне от тебя не утаить; да и таить не хотела, что воистину посетило меня под утро видение чудное и душу мне смутило.
- 10 «Снилось мне, будто росток растет лавровый из чрева моего и будто птица золотоперая, зарекрылая, Финисту подобна, окрест ростка кружит, гнездо на юном и зыбком свить норовит, да не может.
- 11 «И будто прыснул из того же корня, что во чреве моем, другой побег, и быстро возрос, и осенил первый; и дивлюсь я будто в мысли сонной, что не лавр отрасль сия, но ѓсокорь белая, сребролистная; а Финист-птица тому и рада.
- 12 «Стала на ѓсокори свивать гнездо горячее, и села в гнездо, и воспалил его луч незапный, и до тла спалило полымя состав птицы прежний, и обновилась юность ее, и прочь упорхнула Финист-птица.
- 13 «А пожар обнял все древо и росток первый у корня его, и остался на чреве моем от того пожара золы бугор; а росточек мой

лавровый через пепел пробился, окреп, зазеленел, разветвился, маковицею щегловитою с облаками-парусами плывет, и звезды небесные сквозь ветви его как жолды золотые мерцают».

14 Сказал старец: «Ни о чем ни в час сей, ни впредь не гадай и не тужи, тайн Господних не выпытывай, без оглядки иди, куда ангел благий путь твой правит. Любовь и согласие будут у тебя с супругом твоим до поры, когда Господь отзовет тебя на делание умное.

15 «А годика через два и дитя другое, духозарное у тебя родится, Светомиру в укрепление и воцеление, ангелу его в подмогу, во исполнение тайного о нем Господня совета благоприятного».

16 И пошла Отрада от старца обрадованная, и стала ждать мужа с любовью смиренною и упованием.

17 И длилась жизнь ее счастливая, доколе на третий год не родилась у них дочь в повечерье воскресного дня, при радугах ясных по грозе великой, и нарекли ее родители по грецким святцам Фотинией, а по нашему говору Зареславою.

VII

1 Приехал из округи своей на поклон за кlobук святительский Епифаний, в епископы хиротонисан предстательства ради государева, и пытал наедине радетеля державного, в бородку скудоруслую ухмыляючись:

2 «Скоро ли, великий государь, по слову твоему, повелишь мне смиренному над всею землею нашею патриарху быти?»

3 Усмехнулся и Владарь, ответ держа: «Не прежде, вестимо, по тому же слову моему, нежели сам автократор буду».

4 Зашушукал Епифаний: «А время сему настоит, и ветер попутен. Тишина в земле твоей, и вороги твои с силами не собрались. Куй, господине железо, куда горячо.

5 «Сам оглядись, понаведайся, из каких мест ос повикурить. Разошли по тем местам подстрекателей, чтобы князей и вольные города к мятежам разжигали.

6 «Чуть где зашевелилась крамола, ты туда и нагрнул, виновных казни, колокола вечевые посымал, уделы и богатства под свою государеву руку забрал.

7 «Так-то доколе в разделении не токмо на тебя, а и друг на дружку шипят, и передужишь главы гидрины по одиночке».

8 Сказал Владарь: «Лукавый плевелы сеет. А ежели и глушат плевелы поле, полоть их до жатвы не велено».

9 Потупился Епифаний. «Прости, — говорит, — милостивец ласковый рачителя неблагоприятна, коню ретиву подобна. Видит хозяйское око когда дергать, когда и жечь на потребу. Да и то сказать: были бы тенета понаставлены, а на ловца зверь и сам бежит».

10 И пождав малое время, сызнава речь повел: «А что время настоит, в том не звезды меня молчаливые, а людские вести, щебетуны перелетные, удостоверяют.

11 Вот уж и родня твоя кесарская, того гляди, пожалует с дарами и почестями из Рима глаголема нового, что древлего ветше, дружбы ищучи да подмоги твоей, государя единовѣрного, не нынче-завтра единовѣржавного, царским вскоре, по их усердной молитве, украшена саном».

12 Пуще развеселился Владарь: «С какого гнезда, подвижнике богомысленный, те птицы, вестовщицы заморские, на твои скворешники залетели?»

13 Отвечал Епифаний: «Высоко то гнездышко над синим морем висит, под самым под венцом палат царградских. А о родне своей, государь, аль и впрямь николи не слыхивал?»

14 Молвил Владарь: «Уж не о Горынском ли Радивое городишь околесицу, о шатуне непутевом, что безусым парнем от отца, грозы-Боривоя, бежал, с вольницей разбойничьей, бают, до Царяграда догуливал, да княжество свое родовое на службу наемную у Греков обменял?»

15 Подхватил речь Володареву Епифаний: «Да на той на службе наемник-то оный, буй-родич твой... (а припомни-ка, государь, ведь и Ксенофонт древний полководец и любомудр и дееписатель достославный, с воинством еллинским у варвара, Кира Младшего наемником был, — аль забыл, господине, уроки Епифаньевы?) —

16 «Радивой-то, говорю, свет-Боривоевич Горынский с полком своим варварским, нам единоплеменным, у еллинов одряхлелых такову силу забрал, что и кесаря, врагами с престола согнана и как зверь травима, наследственную державу утвердил, и дочь его от первого брака, красавицу, люди молвят, да бесоугодницу, себе в супруги взял, и ныне над василевсом самим, почитай, власть держит.

17 «Умерла царица молодая в родах, дитя женска пола Радивою оставила. Твоему Светомиру была бы кесарева внучка по годам сверстницей. Радославой зовут ее в отчет дому, а Греки Варварой.

18 «Ныне же василевс в бездетном браке живет с царицею Зоей, родною своею племянницей, — Еленой прекрасной прозвали царицу, молодую бабку Радославину, — и на единой Радивоевой мощи держится супротив крамолы внутренней и агарянского на царство натиска».

19 Нахмурил брови Владарь, задумался и отпустил Епифания милостиво, примолвив: «Что же? Подойдет година — Радивую пособим. А и пора бы пути наши к синю морю мечом порасчистить».

20 И по отъезде Епифаньевом, призвал боярина Жихоря, подручника своего, и настрого ему наказывал во все глаза глядеть, по ненадежным городам и посадам разведчиков ловких поразослать, заставы укрепить и верным да смышленным людям под надзор дать, с кем кто из князей и посадников через потайных клеветров стакнуться наровит, выслеживать.

VIII

1 Не с ветру вестил Епифаний гостей чужеземных: сама-то родня не пожаловала, а посольство прибыло цареградское, все в парчах и оксамитах:

2 Протоспатарии, и протопресвитеры, и логофемы, и патрикии, и протосикриты, и протонотарии, и диаконы в носилках червленьих и колымагах изукрашенных;

3 И стража палатинская, и слуги с дарами в скрынях чете державной, и ефиопы со зверьми заморскими в клетках позлощенных детям государевым на забаву.

4 Слал василевс послание братолюбивое владыке земли единоверной и бармы освященные чекана древнего во укрепление раменам, власти труд Атлантов подъявшим.

5 И доспех тот, по оглашении хирографа кесарского, возложили в палате попы приезжие на плечи Владарю, при пении гласов молебных и воскурении фимьяна.

6 Когда же отпели молебен, приблизился ко Владарю муж рослый зело, вельможа знатный, главный постельничий кесарев, звездочет и евнух, по имени Симон Хорс; и вручил Владарю Хорс от присного своего, пресветлейшего князя Радивоя, епистолию, родичу достолюбезному надписану,

7 а к тому и застег хламидный в дар из камней самоцветных, вид имущий змия, стрелу в пасти держаща: таковой де змеиный знак на щитах прадедовских выдывал Радивой.

8 И вопрошал Владарь скопца о здравии Радивоевом и дщери его малой и присовокупил: «Ведомы всем языкам величие и могущество его, и все диву даюсь, почто родовой удел покинул службы ради в краю чужом».

9 Отвечал тот: «Гадал Радивой, что смоев пучина удел его крайний, и не прогодал; а нашей Атлантиды скорого конца не чаев».

10 Удивился Владарь: «От Ромея ли сие слышу? А и где ты, гость из страны чужедальной, по нашему разглагольствовать толико преуспел?»

11 Ответ держал собеседник: «Сказано: с Еллином Еллин, со Скифом Скиф. А словенской речи мне ли не разуместь, земли Богумиловой, — она же и Епифаньева родина, — старожилу?»

12 «Сказать тебе нечто имею, великий государь, да не на людях, Митроносу новому, искреннему моему, накажи о беседе нашей вскоре промыслить, коли твоему величеству изволится».

13 И возжелал Владарь беседы со скопцом тайной; а Епифаний наутри: «К отцу Мелетию», — говорит, — «к наставнику и старцу моему, Хорс собрался. Не заблагорассудится ли и тебе, государь, недужного в обители его навестить купно с иными из гостей заморских?»

14 «А ему и тебя, державца, принять честь преславная, и соплеменников именитых угостить медом лаврским, наипаче же своего красноречия медом, то-то радость будет».

15 И назначил Владарь в один из дней тех ехать поездом малым в лавру.

IX

1 Сокотали сорόки греческие в книгохраиилище Мелетьевом, Владарь же пдсторонь сидел, в хартии ум вперив, а Епифаний ему за плечо заглядывая, при надобе толковник подручный.

2 И как слово было о плодах уединения, кстати ввернул: «Не досуг ли господину молитвенника своего келлию смиренную посетить, духовных услад моих некогда вертоград затворенный?»

3 «Поднесь ее про себя держу под замкми крепкими; ей же и башенка моя заветная обок присуседилась, звездочету удоба».

4 И повел его ходами да переходами сводчатыми до двери железной и, покоец келейный разомкнув, книгочия паче нежели подвижника затвор, тайничком, прикровенным за книжницею, на лестничку крутую, улитою, в стене монастырской.

5 И на верхнем колене лествичном оставил его одного перед завесою горницы, откуда кандил огонь просвечивал и сладким веяло ладаном, примолвив: «Хорс тут».

6 Огляделся Владарь во храмине круглой, пещерке подобной, шелками по притолоку завешенной, верху зографом предивно расписанной по круглому своду.

7 Зрелась в небе свода Дева светозарная на престоле выпренен-
нем; долу главу преклонила и венец к ногам уронила в созвездие
Скорпия; окрест зодии горние по окаему выведены, со Скорпием
купно двенадесять, и над главою Девы Телец.

8 А на скате свода, в нижнем поясе, по сферокружью лазореву,
седми властелей синклит, и над каждым звезда в диадиме его,
и на подножиях престолов имена седми планит.

9 Сидел у постовца под пятисвещником возженным Симон Хорс,
в рясе черной и в клобуке низком черном, и камень самоцветное в
пригоршне перетряхивал, а в другой руке батожок золотой держал,
уста же его неслышные речи шептали.

10 Нескоро очи важные вскинул и навел, как зеркала темные, на
чело пришельца; и поднялся огромен, как лев ленивый, и показал
молча на седалище пышное, уготованное гостю.

11 Сам же поодаль стал супротив сидящего, прям, и прикоснулся
жезлом к одной из курильниц благовонных, округ расставленных, и
дыма тонкого облак между ним и гостем повис.

12 И примнилось Владарю, будто воочию растет волхв превыше
роста человеческого и ноги его не касаются плит; а голос ровный,
как дальний звон, отгулом меди сонной отдается в колоколе свода.

Х

1 И возгласил Хорс: «Великий государь, не мои словеса в уши
твои влагаю, но светил владычных суд».

2 И, сказав сие, обратил жезл свой вниз словно недрам земным
расступиться приказывал, и падали слова его, как переплески бадьи
грузной в колодез:

3 «Горынский змий клада глубинного держатель. Как тянет
камень магнитный железо, так стрела Егорьева, в земле твоей
погребенная, Кефир-Малхут».

4 И при последнем слове воздвиг жезл и уставил его на царицын
венец в темени свода.

5 Сказал Владарь: «По-жидовски ли, по-ведовски ли, не разумею,
и что слово сие знаменует не вем».

6 Обвел Хорс жезл свой, очи сомкнув, округ головы трижды,
словно бы струи, свыше текущие в чаше невидимой мешал; после
же на Владаря воззрися и знак перед ним тайный жезлом назна-
меновал; и оперев жезл на треног медный, куревом дымящийся,
вопрошателью отвечивал:

7 «Знаменует слово, тебе доверенное, света и силы от всех иерархий и архонтов небесных стечение в единый венец славы и державы земной.

8 «Низведен свет Девы Пресветлой долу и по земле рассеялся, и тьма объяла его. Но душа царственная, нарицаемая по еллински *василикú психи́*, аки львица алчущая, взыскует свет сей, мшелом, сиречь тленным естеством полоненный, воедино совокупить.

9 «Собрать желает душа царственная свет рассеянный во единое средоточие и сосуд славы, да паки Дева в конце времен венец свой небесный целокупен примет и землю прозрачну соделает, яко смарагд и сапфир и кристалл непорочный; перстное же и темное да в ничтожество возвратится, к царю тьмы.

10 «Кефир — земли венец, из премирных лучей созданный; и кто его на голову возложит, над землею воцарится, яко бог».

11 Воскликнул Владарь: «Змия ли древняго лестию меня обольщаешь? Языки неверные кесаря за бога чтили. Верным же заповедано кесарево кесареви воздати, Божие Богови».

12 Ответил Хорс: «Речено сие бысть, егда бе кесарь князь мира сего, во зле лежаща, и царя тьмы образ. Светоносный кесарь грядет; и будет: елико кесарева Божия суть, и елико Божия, кесарева».

13 Молвил Владарь раздумчиво: «Христоротивно слово твое. Свет Христов просвещает всех. Как же у людей свет отыму, в души посеянный, дабы венец мой всем один свѣтил? Антихрист есть, кто Христов миру дар себе помыслит хищением присвоить».

14 «И не человек ли кесарь? Смертный же человек втуне сокровище собирает. Идет но нем наследник его и собранное расточит. Коли блуден любодейцам да пьяницам раздарит; коли свят нищим раздаст. Нетленное сокровище на земле собирать человеку достоит».

15 Отвечал Хорс: «Нетленен Кефир, и всякий все, что имеет, тебе принесет в дар, чтобы от тебя одаренным быть. Расточительство же света многоглавие и безначалие возрождает; времен свершение таковая лжеблагостыня замедлить может, но устава небесного преложить не может.

16 «А наследник твой еще и во гроб спрячется от стрелы Егорьевой, ему в удел назначенной, она и в гробу его настигнет и из гроба воздвигнет; аще и Кефир отринет, сама Дева Света венец свой на себя наденет и в него вселится и во образе Белого Царя Царь-Девница восцарствует над всею землею».

17 Отвечал Владарь: «Паучьи тенета плетешь, звездочет, из лучей ризы Божией; мне же не заумное умствовать надлежит, но земле правдовати право».

18 А Хорс ему: «Так и поступай, государь! Единое памятью: разум державный. В мир ты послан, о мирском и пещись. Не богоумствуй, не богомольничай, не веледушествуй, не милосердствуй паче разума державного. Пастыре же духовные твоего стада пастухи да будут.

19 «Вестями темными вскоре в том научен будешь, после же и испытаниями тяжким». Но я с тобой буду стоять в грозу. И прояснится небо.

20 «На Царьград парус правь: туда твой путь звезды кажут. В Царьград Девы венец из Вавилонского древлего царства принесен, но тускл ныне, ибо свет свой расточил. На тебе венец оный воссияет, и имя кефира будет: Третий Рим».

21 И опять коснулся Симон Хорс железом золотой курильницы, и встал облак дыма густого во храмине и сокрыл волхва.

22 И схватил руку Владаря Епифаний и вывел его из храмины.

23 И сказал Владарь: «Какому богу поклоняется ересиарх сей?»

24 А Епифаний ему: «Не ересь учение его, но тайное знание, Церковью сокровенное от внестоящих, яко да не соблазнятся».

25 Отвечал Владарь: «Полно так ли? Ладаном сладким затвор свой закурил, а дух Христов из него выкурил».

XI

1 Обиделись князья на Владаря за почет цареградский и роптали: «С Греками царевать над нами хочет. Лучше нам нехристей данниками быть, нежели своего брата холопьями».

2 Сыскало око государево подпольные князьи ковы, и вызвал к себе князей тех Владарь, и угощал братолюбиво, келейне же обличил и пристыдил, и усовестил ласкою; и, умилившись, крест целовали на верность великому государю.

3 Но и года не минуло, как новую Жихорь накрыл измену: посланцев князьих в орду, гостями торговыми обрядившихся изловил, и сии под пыткую владык своих, бесова содружества искателей, назвали; инде же и грамоты посыльные пёренял.

4 И препоясался Владарь противу иродов тех, с врагами рода человеческого на родину соумышлявших, походом идти; но горшим удержан был лихом.

5 Не хляби водные хлынули потопом из бездны разверстой, — собрались орды басурманские во едину орду под началом воителя лютого и все христианство изгубить потекли от страны восточной.

6 Разослал гонцов Владарь по вся князи и города, крайняя де подошла година за крещеную землю верою и правдою постоять; и строго наказывал отовсюду собраться полкам на Верховое Располье; а который град пеших людей и конных к межеречью не выставит, тот град разорить грозил.

7 Кознодеев же и ковростроителей имена всенародно объявил, и от таковых вероломцев отшатнуться заповедовал.

8 «Уповаю», — писал, — «на Пресвятую Богородицу, яко стену нерушимую; сия незримо нас оградит, аще и сами ревность о вере явим и плотною станем стеною противу силы вражьей».

9 А в своих областях, правитель благоразумный, не в канун лихолетья, но еще за лета благоденствия и тишины промыслил бе отборных мужей, от сохи взяв, ратному делу обучать.

10 Ктому же и новые опоследь не единожды учинял наборы и тем воинство испытанное загодя приумножил знатно.

11 Обаче в настоящей нужде и туге великой семью и святыни и сокровища палатные и ризничные в северные монастыри дубравные далече усрал на тот конец, ежели Господним попусшением престольного града не отстоять будет.

XII

1 В поход снаряжаясь, молил митрополита государь крест славный паки поднять от криницы Егорьевой, да во знамя победное воинам в новом будет бою.

2 Но с недоумением скорбным извинялся владыка: не могли де крестоносцы сильные истягнуть древо из гнезда его, не пошел крест.

3 Умыслил в той печали Епифаний другой крест соорудить, Егорьеву во всем подобный, и нести перед воинством; и не изволил сего Владарь.

4 Митрополита же престарелого на покой отпустил, и на его место Епифания посадил.

5 По молебствии в поле и по окроплении воинов святою водою, двинул Владарь полки свои на Верховое Располье; а сам с немногою конницею вперед на разведку поскакал.

6 И ни один на пути его город отрядов ему на подмогу не выслал; и на межеречье урочном пустело по край чистое поле.

7 Положил Владарь ждать до третьего дня, благо на восточном краю за степью еще не чернелась саранча адова.

8 И пришли от иных городов гонцы с отказными письмами: особь дескать за себя хотим битися на местах.

9 От иных же и ополчения, с бору да с сосенки набраны, в разброд приволоклись, дрянной люд, воры да шатуны.

10 И сии ропот и уныние окрест сеяли: нечего де посещению Господню противиться, несметна супостатов сила, плетью обуха не перешибешь.

11 И распустил их Владарь, и подале угнал, зная, что при первой шшибке повернут тыл да обоз ограбят.

XIII

1 Под вечер второго дня ехал Владарь один об-он-пол реки по степному плоскому берегу, а за нашим, крутым, заря догорала.

2 И видит на вечернем зареве двух всадников богатырских в забралах под схимами; и спустились всадники с кручи до самой воды.

3 Узнал, дивясь, Владарь заступников своих в оный первопо-бедный день, с убиенными поминаемых, и поскакал во сретение к речному броду.

4 И, пересягнув через реку в брод, осадил коня на островище прибережном и воскликнул громким голосом: «благословенно при-шествие ваше!»

5 И ждал с трепетом гласа ответного, яко вести ангельской, через проток узкий.

6 И возгласил схимник старшѣй: «Единому Богу во Святой Троице слава!» Отозвался младший: «Аминь».

7 И паки возгласил первый: «Благословение тебе шлет, господине, преподобный старец Парфений и возвестить велит: будева оба с тобою стояти, аще и ты с нами станеши, схимою шлем повив, воин убо и мних смиренный.

8 «Доселе, крестом сопутствуем, губителей полки гоняше; аггела тьмы исжинеши вкупе со тьмами его, аще сам станеши во крест жив.

9 «Сия бо есть Белого Царя тайна: белая поверх венца схи-ма. Такого венца взыщи.

10 «Сие же и силы Егорьевой исполнение, и Христова на земле царства зачало».

11 Аминем то слово другой повершил. Владарь же возмутился и воскорбел духом, и лицо епанчею покрыл; но по недолгом безмол-вии явил лик ясен и отвечивал твердо:

12 «Вем, отцы, яко Христос с нищею братиею по миру скитається, и мир его не прият.

13 «Но не довлеет к тому дыхание жизни моя и воскресение духа моего, во еже царство преложити в Церковь и расщеплено древо составить цело.

14 «Сыну моему нечто сему подобное предрекают, яко болий мене, чают, имать быти; аз же, и пекийся, не могу приложити возрасту моему локоть един.

15 «Недоразумеваю тайны сея, юже глаголеша Белого Царя тайну быти: како от мира отрекшийся мир управити может?

16 «Мышлю убо: унее ми невегласу быти, нежели вождю ведòму.

17 «Аще бых вас послушал, путями безвестными блуждал бых слепо, сноброду подобен; не след мне таковое пытати.

18 «Коемуждо закон дан противу силы его: мне убо мирщитися и злобы мирские понести.

19 «Не горазд властодержец послушествовати, ниже волк выти аллилуию; аз же Егорьева стада волк есмь, и со мною вождь волчий».

20 И поклонился схимникам, они же благословили его и, повернувши коней, скрылися во мгле сумеречной.

XIV

1 Разретивилась удаль молодецкая в лихой схватке плечи по-размять; но отступление объявил Владарь и почал свои полки выводить из чужих уделов: своя де каждому воля, своя и доля.

2 Не хотели за всю землю купно постоять, пусть одни с гостями ждаными самосильно управляют; угодой-то навряд поладят, а и сладить не сладят: один всему будет конец, да не его то дело.

3 И воистину: ни окупом богатым, ни пособничеством изменническим себя от огня и меча, и граба, и полона не уберегли; а которые поздно обороняться надумали, и застенились, и окопались, пущим изгибли разором.

4 И потоптаны лежали поля; и где жилья были, дымилась пожараща смрадные, да тел груды тлели; и валялась по придорожью волчья сыть.

5 Повыходили волки из дальних дебрей и промеж развалин зарыскали стаями, и на самих налетчиков коновязи и становища ночные наскакивали — таково осмелели.

6 Стоял Владарь на подступах к округе града престольного и рассудил было град без боя сдать: победы не чаял, а войско берег.

7 Но восперечил тому Жихорь, врага в поле встретить уговаривал; ропота в воинстве беречься наказывал, и в народе уныния, и неурядицы по местам.

8 «Не столь им победа надобна», — говорил в исступлении некоем взирая на Владаря, — «сколь ты сам, неустрашимый воин Божий; доколе твой щит перед собою видят, крепко уверяются, что не до конца погибнут.

9 «Да и то сказать: изволочилась, за легкою добычей гонючись, сила басурманская; сколько их тягунами в степные приволья утекло.

10 «Им в наших лесных угодьях раздолья нет; коль и засядут где, долго не усидят; не гони их батогами хан да не нудь острасткою разбежались бы скопами во все стороны». И послушался того совета Владарь.

11 Не скоро приближались узкоглазые; а как замельтешили окрай поля, что близь града престольного, их передовые конницы, Владарь навстречу им рати повел.

12 И напилось то поле крови басурманской и христианской порвну; и как гадал Владарь, так и соделалось: первых врагов полчища разнес и прогнал, града же отстоять не возмог и увел остальное воинство в боры.

13 Но и Жихорево слово оправдалось превыше чаянья: пошла по всей земле молва, что с Владарем Свят-Егорий стоит и великие чудеса над ним являет, и воспрянуло земли упование.

14 Ибо в самый разгар побоища, как окружила Владаря силачей агарянских ватага, отколь ни возьмись впились в них зубами волки бешенные и во мгновение ока ужаснувшихся истерзали.

15 И прослыло то поле после битвы оной, в коей волки с христианами соратничали, Волчьим Полем.

XV

1 Разделил Владарь все войско и громоздкий наряд воинский на малые станы и расставил те станы в глухой полосе по местам несмежным: врага дразнить не хотел бранным на юру скопищем, и по кровавой сече изрядным.

2 Но по дебрям зверя травить не охочи были степные наездники, лесной тесноты чурались: веселила их пажитей ширь, и далеких городов словенских манила слава.

- 3 Пограбивши престольный град и купно с полоном девым именитых уведши заложников, на запад прохлынула орда.
- 4 Некрепкая сидеть осталась в кремле засада с приставами ханскими, новых ради поборов.
- 5 А в те Володаревы станы по немногому времени повалила, под Жихоревым присмотром удалая повольщина с крестами, из дуба, по наставлению Епифаньеву, сооруженными на подобие креста прославленного, что на кринице Егорьевой.
- 6 Владарь же те ополчения пришлые в неурочные дни, то и дело, навещивал и за ратным новиков обучением у хорунжих опытных строго-настрого наблюдал.
- 7 Исподволь крепло по лесным урочищам христоролюбивое воинство и росло, как в снежную зиму сугроба обвал, покотившийся с крутосклона в долину.
- 8 Не было в ту пору у Владаря ни своего угла, ни пристанища неизменного; под чужой кров входил ночевать оглядаючись; лазутчиков стерегя и наймитов, по его душу разосланных.
- 9 В борах скитался поутру селянином-дровосеком, ввечеру прохожим странником; инорядь и холопом езживал с челядью воевод доверенных.
- 10 Но долго ли, коротко ли, а и тому крутому времечку конец подошел: озрелся Владарь во все концы, как орел с поднебесья, и воочию увидел, что за него вся земля стоит.
- 11 Вышел из берлоги травимый зверь, и рыком округу огласил, и когти могутные показал.
- 12 Первая была единоподержавцу забота: воевать пошел города крамольные и вотчины изменничьи, и разгромил их нещадно, и под свою владыяную руку забрал.
- 13 А там и на престольный град двинулся, засаду вражью и приставов изрубил, измену из града вымел и стал в поле поджидать хмельных гостей с чужого пира веселого.
- 14 А те с похмелья не такой встречи ждали: хлеба-соли, пива да браги, а не строя копейного.
- 15 Вдостолю по свету нашаталися; шли да шли, покуда в дальнем краю на рожон не напоролися: тогда надвое раскололась орда.
- 16 Одна половина прямым путем ушла в степи южные; другая старой назад потянулась дороженькой: гадала у престольного града ставкой стать, на всем готовом пожить, в отдыхе и приволье понежиться;
- 17 а потом и в новый пуститься путь, в родимые просторы заречные, мест ищучи для поселения оседлого своею ордою, своим великому хану подоброчным княжеством, а то и царством.

18 На голову разбил их под столицю Владарь, и добрую полона часть с добычей взял, и заложников, всех почитай, вернул, и до Верхового Располя, отсталых избивая, преследовал.

19 А прошло малое время — новые затеял походы; в заречные степи посылал военачальников, и целых два царства ордынских завоевал.

XVI

1 Было во дни скитальчества государева: объезжал митрополит новый, на святках дальние пустыни; поехал с Епифанием и Владарь, митрополичьим обрядився служкою, обитель навестить, где с милыми чадами укрывалась Отрада.

2 Невзначай желанный гость пожаловал; а она еще от ворот монастырских завила монашка смиренного в тулупишке заиндевелом, в скуфейке меховой заснеженной, и навстречу ему полетела, и на шею кинулась, ряженого святочного головой выдала.

3 «А светик-то наш», загуторила на радостях, — «в моей опочивальне к обедне идти приоделся, только что не обут; сейчас к тебе выйдет». — «Пойдем к нему», сказал Владарь.

4 Приотворила Отрада дверь келлии сводчатой, просторной, а он из-за ее плеча весь покой светлый оглянул и видит:

5 Посреди постели широкой, драгоценной камкою покрытой, отроча тихорадный сидит в темнолазоровом кафтанчике, серебряными звездочками усеянном.

6 Сидит — пряменьким станом из белых шелков, словно кораблик малый из волнистого моря, выныривает, — и тому, что про себя в уме держит, улыбается.

7 Лицом худощав и смугловат, но пригож и благообразен вельми, а солнце из-за бора вставшее, в кудрях темнорусых, с приборцем расчесанных, золотом играет.

8 Вскинул, будто опаматовался, очи живые, темноглубые под ресницами длинными, на дверь приотворенную и звонко позвал: «Подь сюды, тятя!»

9 И возрадовался в сердце Владарь великою радостью, что сына, некогда хилого, видит здорова и весела, и что младенец — диво дивное! — его и в чужом обряде, и еще за порогом келлии признал, а истиннее сказать: угадал, да ктому и отцом ныне величает, зане допрежь того, лепеча, Азею, сиречь Лазарем, именовать обык.

10 Склонился над сыном Владарь, а тот, развеселясь, ему с головы скуфейку смахнул и волосы исперва гладить, а там и трепать почал, непонятные слова, ровно из сказки или песни какой, приговаривая:

11 «А и зелен дуб, уж как зелен да густ, ветру насквозь не пролезть. А в дубу том солнышко спрятано».

12 Вынул из-за ворота Владарь на солнце червонный наперсный крест и говорит: «Глянь, какой блеск ясный!» А ребенок в ответ, раздумчиво: «Не такое то солнышко».

13 И опять засмеялся: «Обернись, тятя, серым волком, вези меня в тридешатое царство». Вскочил на мягкие шелка босыми ножонками и на отца полез; а тот его на плечи себе посадил, и ну с ним по горнице бегать.

14 Радуетя дитяtko, кричит: «Глебушка, выходи! Полно тебе из-за двери высматривать. Подивуйся, как Иван-царевич на сером волке ездит».

15 Выбежал Светомиров молочный брат, месяцами не больше как четырьмя его постарше, зато и ростом повыше и телом крепче, тихим очей светом приятный и ликом миловидный. А Светомир ему: «Давай, Глеб, на дуб полезем!»

16 И встать отцу на плечи ножками совсем было изловчился; еле его отец придержал и на пол спустить хотел, а Глеб, ровно мамка, сильными ручонками подхватил и на ковер поставил.

17 Сказала Отрада строго: «Расходился ты что-то, Светомир! На постель садись; а тебя в сапожки сафьяновые обую, в малиновые».

18 А на-ухо мужу: «Завсегда он таков: наяву сны видит; и где что ему померещится, туда и тянется. Глаз да глаз за ним надобен. Дерево ли ему среди бела дня приснится, взлесть на сук хочет: на что ни попало взберется сук тот достать, — того и гляди, наземь сверзится. Благо мой Глебушка от него ни на шаг не отходит, куда ступать не след — не пускает.

19 Тем временем привела мамка Зареславу круглолицую и румяную, — «с очами Отрадиными правосудными», подумал Владарь, — со взгядом важным и строгим, а повадкою ласковою и доверчивой; поднял ее на руки отец и понес, а Отрада Светомира за руку повела в моленную.

XVII

1 Стали на молитву все четверо перед большою иконою Покрова Богородицы; но не успел Владарь и Трисвятое дочитать, как вско-

чил Светомир и к образу подбежал и за плат Царицы Небесной ручонками уцепиться наравил.

2 Обняла ребенка мать и подле него на колени стала, а он под ее покрывало голову спрятал и сестру кличет: «Сюда иди, Зорька!» И покрыла детей своим убрусом Отрада.

3 А сынок из-под плата уж одним глазком на отца выглядывает, в прятки играет, молитвословие перебивает: «Тютю, тятя!... Ищи нас, не сыщешь; под покров ушли — поминай, как звали... А ты под дубом сиди, солнышко в дубу стереги!»

4 Но постучал у двери послушник и, вошед, с поясным поклоном докладывал, что преосвященный владыка во храме государя с семьею дожидается, божественное служение начинать.

5 Пошли все в церковь, а в церкви за службою, как отворились царские врата, нашел на Светомира столбняк. Наставить хотел сына Владарь, когда на колени становиться положено; но окоснелым его увидел и безчувственным; омертвел лик его, будто восковым стал, и очи, широко раскрытые, остеклели.

6 И искусился о нем и подумал: «Взят ныне дух его из тела его. Но в горня восхищаемый не чужаком ли на земле будет? Как таковому над людьми царствовать?»

7 Когда же, по окончании литургии воскресной, панихиду запели по воинам, на Волчьем Поле живот свой положивших, и в руках у всех свечи затеплились, — свет заиграл на лице Светомировом, и милое ожило лицо, и спина, как у всех молящихся, вперед пригнулась, как бы в благоговейном некоем послушании, будто за свечкой потянулась и уж не рука свечку держит, а сия ведет за руку человека к престолу Божию.

8 И подумал Владарь: «Наш токмо народ так свечи держит. А Светомирова свеча будто всех ведет. Кому, как не таковому и царствовать?»

9 Сказал по обедне про те думы свои Отраде, а та ему: «Крепче верь, Владарь! Явно, что на Светомировом челне ангел Господен у кормила стоит. А куда кораблику плыть, как ни гадай, не догадешься.

10 «Дело ему в жизни от Бога задано. А жизнь, наша ли, его ли, путей извилинами Лавиринфу подобна. И нить, в блужданиях безысходных спасительная, едина есть: вера».

11 Но не долго супруги друг с дружкой беседовали: по монастырской трапезе праздничной опять в сани сели Епифаний со своим служкою и пустились в темные боры.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I

1 Царевал Владарь в силе и славе, как солнце на небе, к притину текущее над отребьем черных туч.

2 И дивились советники думные, почто ныне, чего допрежь и в грозные времена не бывало, помрачилось чело его и обычай стал суров и немилостив.

3 «Вестимо», шептались, «без обид и утеснений и тягот земских царства не строится. Сия ли у него на сердце камнем лежит забота? Али вести тайные, и с соседями нелады? Али сына юродство?»

4 «А с соседями, как ни ловчись, пива не сварить: разбойничать охоча лыцарская ватага задорная? Без изъяна мечи на них надобны. Да и к поморью пора настает пробиться».

5 Говорила мужу Отрада: «Что ты, свет мой, невесел ходишь? Да и от меня будто прячешься, грусть-печаль ко мне во терем нести не изволишь? Вместе бы поговорили, вместе бы умом пораскинули, как в миру жить и Бога не забыть? Я ли тебе не советница уветливая?»

6 Отвечал Владарь: «Какая ты мне советница? Разве совесть советницей бывает? Запрет положить ее дело, а советовать не станет, как сподручнее кесарю у Бога оттягать добро Божие: мое дескать добро сие, сиречь кесарево, а Тебе и Своего богачитва довольно».

7 «Бог спорить не будет, и Свое, пожалуй, уступит: да на что мне добро то, что я у Бога оттягал, коли Бог от меня отступился? Неблагодарно то стяжание».

8 «Каждому человеку совесть от Бога дана, и знает совесть один закон — Божий. А кесарю, видно, еще и другая совесть купно с венцом доставалася: та, с какою он на свет родился, за Бога тяжбу ведет, а та, с какою на царство венчался, за царство».

9 Возгневилась на то слово Отрада. «Бесу», молвила, «поклоняется всяк мний ся превыше смертного человека быти. Един Бог на небеси, едина и совесть в людях».

10 «Ее же заповедь, властителем данную, мать моя тебе в сновидении, на звездном свитке написану, показывала: Учися, рабе,

оправданием Господним, во еже земли судити и правдовати право. Довлеет тебе сие исполнити».

11 Возразил Владарь: «Легко слово молвится: исполни; да не так дело делается. Говорили мне на Верховом Располье чернецы-воины: схимю венец покрой; не пошел перед тобою крест, сам стань во крест жив.

12 «А мне во крест жив стать не изволилось; зато я власти крест на могутные плечи взвалил, да не в моготу иным часом борёма. Власть бо воистину крест есть, за все, что ни деется на свете зла, несомый».

13 Отвечала Отрада: «Два бремени предложены были тебе на выбор; ты сам тягчайшее избрал, а удобоносимое презрел. И схимники святые тебя на таковой подвиг благословили.

14 «Не уразумевал дух твой, что легкое иго венец посхименный; понеже не ты под схимю правиши корабль царства, но за тобою стоящий сильный ангел Божий о себе же не мниши ничесоже; и с Богом не состязаяешься, ни гордыни кесаревой, ни двуедушия кесарева непричастен».

15 Загорчал Владарь: «Почто же старец Божий, внутренняя моя ведый и пути мои к державству управивый, таково меня искашал?»

16 Ответствовала жена: «Посылает Бог в мир делателя на подвиг свободный, и, дабы в свободе послушествовал Пославшему его, на распутье приводит. Верховое Располье тебе распутьем было; там ангел молнией озарил пред тобою путь и путь.

17 «Аще хочещи совершен быти и силу имаши времен исполнение упредить, благо тебе сулил: стрелою Егорьевой, яже не ранит, вооружишися и ею землю непостижимо спасеши.

18 «Аще ли нї, железною схимю схимил: трудом велиим труж-даться должен и искушаться даже до зева адова, и неустанно ся бороти и, препобеждая, спасатися, якоже и ныне страждеши.

19 «А сын твой за тебя недовершенное совершит».

20 Восстенал Владарь: «О сыне то нашем наипаче и сокрушаюся. Шепчутся люди: слабоумен подрастает наследник Владарев. Середь бела дня снобродит. Жихоря ивушкой зовет и, как увидит, сядет к нему под ноги ровно под дерево да свою 'Ивушку земную' затынети».

21 Засмеялась Отрада: «А как почивать ложится, постельку белую гладить почнет, — и с нами как перед путем дальним прощается: сейчас, говорит, от вас на единороге белом в тридесятое царство ускачу».

22 Сказал Владарь: «Знахарством бы каким его от мечтательной прелести отвадить?»

23 Задумалась Отрада: «Помнишь о младенцах реченное, яко что ангелы их на небесах выну видят лице Отца их Небесного. Дабы Светомир того боговидения измлада причастен был, ангел его до времени зрелище мира сего пред ним прикрывает. Будет пора: все увидит купно и земным зрением, и ангельским».

24 Промолвил, уходя Владарь: «Ты вот сосудец свой каменный, Парфением тебе врученный, соблюдаешь. А у меня свой сосудец есть, твоему подобный: совесть моя. И вода в нем давно замутилась».

25 Воротила его Отрада: «А моя вода — отведай-ка сам! — все чиста и свежа. Ничего ты не бойся: сама тебя отпущу, когда пора настанет». И жили оба в супружестве согласном до поры, до времени.

II

1 Предстал пред государевы очи Епифаний в клобуке белом с алмазным крестом и в панагии многоценной, за нарочитые во дни нашествия заслуги пожалованной, и, скорбно восстенав, речь повел:

2 «Како преходит слава века сего, днесь, великий государь, своими очами известитися можеш.

3 «Молебники древле, как в писаниях еллинских показано, с ветвями белыми к олтарям богов своих прибегали и капищ оградою от гонителей жестоких спасалися: такожда ныне, в ограде твоего могущества ищут убежища и к тебе молитвенные руки простирают тояже достославной земли изгнанники, беглецы из палат цареградских, караблекрушения великого живые останки.

4 «Дождается на сенях клича твоего Радивой великий, кесаря в Бозе почившего зять и престолонаследник, врагами ослепленный и с престола согнанный, слепец нищий, Велисарий новый, сопутствуемый дщерью малолетнюю и Хорсом, тебе ведомым, вчера вельможею, ныне странником перехожим.

5 «Царица же овдовевая на пути приютилась в обители Мелетиевой, и в стенах монастырских заточиться твоего молит соизволения. Все, государь, в кратком слове тебе поведано».

6 Сказал Владарь: «Мнишь ли, вития благоувещательный, что без моего повеления Жихорь одну часть славянской дружины Радивоевой на моем дворе, а другую часть у монастыря того, где царица вдовствующая поселилась, почетною стражею поставил? Пришли ко мне на беседу недолгую земляка твоего, ересиярха».

7 Вошел в палату огромный Хорс поступью льва ленивого, и вопрошал его Владарь: «Что же твои чары, волхв, ни тебя, ни друзей твоих не спасли?»

8 Отвечал неторопливо скопец с усмешкою: «Таиновидец не чародействует, и от того, что в высшем совете положено, никакая ворожба не спасет.

9 «Мне же и спастись-то на земле не от чего. Мирского не вожделею, и мир не ищет души моей. Странником и пришельцем везде пребуду.

10 «Довольно лет у кесаря погостил, доколе скала его в море не рухнула. Ныне малое время у тебя погощу, доколе вся их Атлантида надмившаяся не снидет в пучину».

11 Еще спросил Владарь: «Как же возгорелся пожар?» Опять улыбнулся Хорс, ответ держа: «Давно в сухой ветоши искра тлела: диво, что дотоле не вспыхнула».

12 Помолчал, и как-бы нехотя продолжал речь, скупю слова роняя: «Кесарь, поздно представившийся, когда в бессилии и любострастии старческом истлевал, Радивоя зятя, что долгие годы за него кесарствовал, к державству приобщил и престола наследником объявил, Рима языческого подражая владыкам, и кесарев венец древлечтимый ему передал.

13 «Но и глаз закрыть не успел на вечный покой, как нареченного кесаря заговорщики подстергли и по бесчеловечному ромейскому обычаю ослепили: как ни грозен, мнили, а все-же слеп не восцарствует.

14 «Жизни же и венца у Радивоя не отняли: в пору подоспела дружина верная и злодеев убила.

15 «Высок дух Радивоя, а не суждено ему было царствовать, поелику не царственна душа его ночная и солнцу не послушествует, но, как море, подвижна и неукротима и наипаче возлюбила безначалие.

16 «Ненавидела чернь городская, заодно со знатью служилою, присельника-деспота с его спирою варварской, и еще кесаря не отпели, как на истребление чужеземной рати устремилась, мятежными легионами поддержана, и на стогнах града многую силу славян перебила, ея-же остатки к тебе с Радивоем спаслись.

17 «А вожаки смуты прежних кесарей потомка некоего, возрастом юного и волею слабого, на престол позвали, уповая при таковом царе, окружных областей раздачею, долгий мир купить с державою агарянскою, из-за моря надвинувшейся на дряхлый град.

18 «Знаю, государь: будет тебя вдова кесарева на великий поход подстрекать, ты же и перстом не двигнешь, яко правитель благоуразумный. Твое от тебя не уйдет, а ты, с цареградским венцом в

сокровищнице твоей, и дома сидючи нового Рима автократор будешь».

19 Сказал Владарь: «С почетом царским проведите до палаты моей и ко мне введите кесаря нареченного, возлюбленного родича моего Радивоя».

III

1 Введен был в палату под руки митрополитом Епифанием и духовником своим, архимандритом греческим, Радивой, муж сухощавый и статный, главой пониклый.

2 Ваянию изящному из мрамора пожелтелого подобно было лицо его благосклонное, и замкнуты вежды.

3 Брада же посёдая по обычаю грецкому убранà, и власов черно-серебряных пряди на лбу схвачены золотым начальником диадимы узкой.

4 Одет он был в далматику пурпура темного и посох высокий в левой руке держал, черного дерева, златоконечный.

5 Воззвал ко входящему Владарь: «Добро пожаловать, брат мой! Милости Владарь просит!» И воспрянул с места своего, устремился к нему радушно и обнял его, и лобызал трижды, и, Епифания отстранив, повел его с духовником на середину палаты, к уху его преклоняясь с речью приветною:

6 «Не гостем ты под кров сей вступишь, Радивой преславный, но домохозяином, родичу твоему равномошным, и совладыкою.

7 «Бери себе хором сих половину, какая полюбится, и дружины своей при себе держи, сколько изволится. Вскоре же и о подворье полку твоему промыслим».

8 И, сказав слова сии, отступил, ожидая ответа: Радивой же, чело воздвигнув, знак дал рукою окольным своим, позади стоящим с дьяками и боярами думными.

9 И приблизились к нему протонотарий, посох взявший из руки Радивоевой, и два иеродиакона со скрынею, ваяниями изукрашенною из кости слоновьей; благословил скрыню архимандрит и по молитвословии кратком отверзи.

10 И вынул из скрыни Радивой царский венец велелепный, светилами крупными възгравший честного камня самоцветного; и, вознося то диво предивное, възгласил громко:

11 «Се нового Рима венец, древле освященный. Кесарь его мне дал, престола наследником меня поставив».

12 «Ныне же аз, Радивой, князь Горынский, Констанция града кесарь нареченный, тебе, родичу моему Владарю, князю Горынскому, престольного града сего и вся земли сея единодержавцу, отдаю венец сей в дар и в родовое наследие, кесарского в веках преемства залог.

13 «Сим венцом венчавый ся, нового Рима автократор будеши; аз же от сего владения и владычества добровольно и непревратно отступаюся и от престолонаследия кесарева за себя и потомков моих на вечные времена отрекаюся. Аминь».

14 Взял Владарь венец из рук Радивоевых и, держа его в руках своих и крест на венце благоговейно облабызав, речь такову держал:

15 «Не во владение приемлю от тебя венец сей осиротелый, но на хранение и соблюдение, яко опекун сокровище, его же зыскати имать в день свой владелец православный, Богом указанный.

16 «А тому не быть, чтобы я подарком приязни дружней на царство венчался, а не даром Божией милости.

17 «Не трону святыни, мне порученной, доколе сама меня не призовет. Егда же неложно уверюся, яже един воистину призван слав венец сей на главу мою возложить и аще не бых на то дерзнул, силу его расточил бых и погубил, тогда сам себя на царство венчати имамь венцом сим, яко единья милости Божий даром.

18 «Ныне же вложите венец в хранилище его и положите скрыню под запоры надежные в сокровищницу царскую; все же, днесь реченное и содеянное запишите и свидетелей подписями скрепите, и ту харатею в сокровищнице престольной опечатану берегите купно со скрынею. И тако да будет».

19 И передав митрополиту скрыню с венцом, отпустил Владарь всех, опричь Радивоя.

IV

1 Когда же остались оба с глазу на глаз, вопросившему Владарю, почто от венца отрекся, отвечал Радивой:

2 «Как на солнце, я на сей венец подолгу зорил: не оттого ль и ослеп?

3 «Ныне же, когда в руки взял его и вознес, мнилось мне, что солнце угасшее возношу, мертвое бремя.

4 «И благословенны ослепившие меня: они покой пролили на очи мои и похоть очей моих убрали.

5 «Не вожделею более мира, ни того, что в мире. Солнца ночного предо мной заря занимается.

6 «На дневное солнце воззрися я некогда очами жадными, и ослеп. Тебя же слава его не ослепит, ибо в вашей вотчине стрела Егорьева, и стрела та венец кличет.

7 «А мы крайники Горынские, в сестер Егорьевых уродились: долго в нас мятежится и колдует сила ночная и змеиная, поколе вnezàпу не пронзится лучом Христовым; и тогда голубицею обернется змея».

8 «Люб ты мне, Радивой», — молвил Владарь — «тем, что с сестрою твоею, Гориславою, сходствуешь».

9 «Любила тебя Горислава», — отозвался Радивой. А Владарь ему: «От кого ты про то знаешь?»

10 «От нее самой,» — слепец отвечал: «она снов моих частая гостья. Али, коль так повернуть хочешь, от снов моих: они менее меня, чем люди обманывали».

11 «Коли так», — сказал Владарь, — «то и слепота тебе не в слепоту».

12 «Одно ей в укору скажу», — молвил Радивой: «хотел бы Отраду твою земными глазами увидеть».

13 «А племянник мой внучатый и сейчас, мнится, предо мною стоит. Про него люди мне сказывали, что наяву снобродит. На меня, старца темного, отрок светлый похож: как я, слеп, и как я — зряч. С ним и без глаз мы друг друга увидим».

14 Молвил Владарь: «Дружною мы заживем семьею, коли дочери твоей мои дети приглянутся». Вздохнул при том слове Радивой.

15 «Порченая дочь моя, по моим ли, по матери ли своей грехам. И смотрит, в стороне стоя, ангел ее, — будто чего дожидается, — как бесы в ней друг друга борют».

16 Попрекнул его Владарь: «О младенце невинном так говорить негоже. Оба, даст Бог, в разум придут: и мой Светомир, и твоя Радислава».

17 Задумался Радивой: «Никто как Бог. Поживем, пождем. В тучи рода нашего вышки уперлись: мало ли чего еще в жизни нашей будет?»

18 «Недолго я у тебя, Владарь, поживу. Зовет душа на дальнее препоясаться странствие. А коли знать хочешь, куда мой путь лежит, от тебя, друже, не утаю.

19 «В Индею, глаголемую Белую, к Попу Ивану в гости меня тянет, разуменья духовного там понабраться, дабы на том свете не вовсе невегласом предстать мудрецам оным, обузу плоти снявшим, о коих Сократ беседует в сладкоречивом Федоне Платоновом.

20 «Но завтрашний день о себе печется. Благословляю братолюбие твое, и день сей, и час сей со всеми дарами его; ты же меня на отдых в покои мои отпусти».

21 И пошел Владарь сказать жене радость свою о друге нечаянном.

V

1 Шли со всех концов города стар и млад подивиться на Жарптицу залетную, молодую вдову кесареву, как въезжать будет гостью на государев двор, как на красное крыльцо выйдет с народом здороваться.

2 И воистину было на что заглядеться: такова была красавица, что впрямь, по присловью, ни в сказке сказать, ни пером описать. Да не всем та краса пришлась по сердцу.

3 Осанкою прямая царица, пристойную по супруге покойном жаль и взором являла потупленным, и вдовьим одеянием под багряницею царскою; но не дума унылая в очах златокарих читалась, а игра и лесть и нега женская, лукавство и притворство.

4 Да и за то еще люди пожилые, старозаветные, чужеземку обесудили, что волосы свои червонные из-под диадимы на плечи распустила; и держала те легкие кудри змеистые поднизь жемчужная, сиречь сетка золотая тончайшая, по частым узлам скрепленная бурмитскими зернами.

5 Корили втихомолку бояре заодно и Владаря: «На себя при ней непохож: Ромеем прикинулся. По-ихнему с нею лотошит, да пересмеивается; Епифания, толмача, подзывает нечасто: и без толковника шутки шутить столковались».

6 Принята была царица Зоя в дому Владаревом с почестями невиданными, и трон ее воздвигнут повыше седалищ царских Радивою и Владарю уготованных.

7 И, на том троне сидючи, слово обратила гостя к хозяину: «Премудра и преславна была царица Савская, когда Соломону мудрость испытать пришла. Я же и разумом скудна, и земли моей не владычица ныне, а изгнанница, и не мудрость испытать прихожу, а милость Соломона нового; но той, великой, подобно и я, скудоумная, загадку тебе, государь, загадаю».

8 «Где сие чудо, скажи, было видано: на востоке солнце встало, а на север потекло?»

9 Откликнулся в лад ей Владарь: «И не с юга возблистало, а по всей земле светло».

10 Воскликнула Зоя: «Догадался ты, вижу, что на тебя я загадала, на твое царство северное».

11 Молвил Владарь: «Коли пифиею еллинскою царица Савская обернулась, прорицание благовещее приемлем. Ныне же мою enigму разреши:

12 Елены призрак отдан был Парису Приамиду, ее ж Египта царь укрыл, коли верить Еврипиду. Где, скажи, на земле сей Египет?»

13 Отвечала Зоя: «Себя ты египетскому царю приравнял, а меня Елене непорочной. Знать, и до тебя молва дошла, что Еленую меня, бедную, в Царьграде люди ославили. Одно забыл, что, когда египетский царь Елену в своем царстве спасал, муж ее под Илионом за нее ратовал; за меня же некому сражаться, за вдовицу безмужнюю. Подумай-ка на досуге, да иное про меня сложи баснословие».

14 Засмеялся Владарь: «Переключкала ты меня, царица. Но дабы не вовсе мне от того египетского опекуна разнствовать, жалую я тебе, недалече от стольного града, вотчину, и неотъемлемо та вотчина за тобою останется, ежели и в Царьград возвратишься со славою. Хоромы тебе там воздвигнутся, и в них ты жить будешь царицы достойно, а не в стенах монастырских заточницей».

15 Ответствовала царица: «Благодетельствуешь ты меня, брат мой по сану, паче меры. Но не приспело ли время государыню супругу твою посетить? Не изволишь ли проводить меня в ее терем?»

16 И пошли в Отрадин терем Владарь с царицею Зоєю, и с митрополитом Епифанием дядя Отрадин, Радивой.

VI

1 Вечеру, после провод царицы, нежно ее уласкавшей и щедро одарившей паволоками и узорочьем, из привезенных ларцев повынутыми на выбор, какие на глаз приглянутся, напала на Отраду печаль — тоска, и простершись без слов пред иконою Богородичной, горючими она залилась слезами.

2 Постучал вдруг у дверей терема Радивой, приведенный двумя отроками, и позвал ее, и вставши с молитвы, навстречу ему она поспешила, слезы отираючи, со словами уветливыми:

3 «Рада я тебе, свет мой, дядя родимый, рада радешенька. Утешил меня возврат твой в тишину мою тѣремную, словно матушка моя с тобою пришла».

- 4 Молвил слепой: «Да так оно, как ты говоришь, и выходит. Вздremнул я на часок, а матушка твоя мне и приснилась. — Проведай, говорит, племянницу, — плачется ко мне Отрада моя, — и кручину ее молодую разговори. — О чем же ты, дитяtko, закручинилась?»
- 5 Прошптала Отрада: «Светомиру с вечера что-то неможется; вот и я приуныла».
- 6 Покачал головою слепец, помолчал, и заговорил с расстановкою: «Отчего ты приуныла, сама не ведаешь.
- 7 «Чует сердце, что прежняя тропка на край пришла, а новая дороженька не видится. Елеем молитвенным светильник питай веры неослабной и упования бесстрашного.
- 8 «Гориславино то слово: чем бы ангел Господень тебя ни посетил, спасется сын твой».
- 9 Испугалась Отрада. «А Зареслава моя? — воскликнула — «а Владарь? Почто об них умолчала?»
- 10 «За Светомира молитва дочка твоя Зареслава,» — в ответ услышала, — «а Владарь бодро дело вершит, ему положенное».
- 11 «Об нем-то я и раздумалась,» — через силу признавалась: «Об нем-то и расплакалась. Как увидела я царицу приезжую, тут и подумала: вот такая бы красавица писаная, молодая вдовица порфиросная, моему Владарю чета была, а не я, смиренная, день и ночь взыскующая келлии молчаливой! Чтò я имела, все ему отдала, ничего себе на черный день не оставила».
- 12 «Коль на исповедь стала, все говори,» сказал Радивой.
- 13 Пуще Отрада смутилась: «Так-то я рассуждаю по разуму, а сердце Владаря не отдает. Да будто и другой голос слышу, — а откуда он, не разберу, — что от прелести мирской искушаемого оберечь наказывает».
- 14 Ответствовал Радивой: «Сама знаешь, что без тебя он, неровен час, ожесточиться может и отчаяться. Живи с ним в любви супружеской, доколе Бог тебя не позовет.
- 15 «А позовет, не противься; зову последуй, ни его ни себя не жалеючи, и всех тем послушанием спасешь. А вот и Владарь в дверях стоит».
- 16 Ускользнула Отрада в покои свои, лицо заплаканное студеною водою освежить и сына проведать; да и в сосудец свой каменный, в опочивальне хранимый — заглянула: впервые то было, — не светлела в сосудце вода замутнелая.
- 17 Вышла из опочивальни и сказала: «Горит во сне Светомир, занедужился. Пойду над ним всю ночь сидеть. Простите, родимые!»
- 18 И повел Владарь Радивоя из терема.

1 Сидела Отрада у изголовья отроцате недужного: краснухи лихой по дворам ходило поветрие, к нему и пристала немочь.

2 Метался в жару Светомир и вслух бредил о пламенах алых, да о змейке красавке, что в огне живет; Зойкою ее прозвал, и догадалась мать, что царица Зоя в пурпуре ярком саламандрою ему примерещилась.

3 Она давеча приголубить его хотела, а он, смеючись, прочь отбежал, к Радивою прижался; а в бреду Зойку к себе манит, очень уж красовита.

4 А потом вдруг как всполошится, да вскинется, мать кличет: бредится ему, что сестра змейку поймала, а та ее укусить хочет.

5 Но притухла через мало дней огневица, и затих больной. Отлегла забота от сердца Отрадина, а само-то горе тут как тут.

6 Вдруг Зареслава слегла, — та же и к ней болезнь прилипла, — и на третий денек Богу душу отдала.

7 Пошел Радивой к Отраде удрученной и бессловесной, и матери горемычной советовал: «Уединения скорбь твоя просит; уезжай из дома.

8 «И Светомира с собою увези в ту обитель дальнюю, что от нашествия вражьего вас укрывала. Мир там Господень, и тишина дубравная. Туда к вам и Зареслава придет: Светомирову жизнь она своею кончиною испутила.»

9 Так и поступила Отрада; а Владаря в северные пределы воинская тревога позвала, соседей драчливых с крепкими ратями вторжение.

10 Светомир же в благорастворении воздуховом той пустыньки здороветь после болезни стал, и расти приметно, и телом со дня на день крепнуть; а о Зареславе долгое время и не вспоминал вовсе, даже до странности.

11 Последи же внезапно, с молочным братом играючи, сестру позвал, словно бы она от него и не отлучалась, и новые с нею забавы почал выдумывать; неспособно было Глебушке за мечтанием его поспевать.

12 И явно было всем, к Светомиру приближающимся, что тем среди дня сновидчеством здоровое в нем разумение затмилось непробудно.

VIII

- 1 Молебны пелись благодарственные о победе на Севере новой и славной, когда пронеслась весть: пал Царьград.
- 2 Воцарился нехристь на месте святе, и прекратилися службы церковные, и лики священныя на древних сводах мелом забелены.
- 3 Прибыл Владарь в палаты кремлевские в доспехах ратных и не долго думал, что предприять надлежит.
- 4 Рассылал глашатаев во все концы, и послов отряжал в чужия края, да услышат все князи и владыки земные слово его:
- 5 «Понеже христианский в новом Риме престол упразднися, аз, Владарь, православный царь, Константинова сана приемлю наследие и священным венцом кесаревым, в мои руки милостию Божію спасенным, во время благопотребное венчаться имамь».
- 6 И сие урядив, на север полетел войну кончать.
- 7 Когда же утвердил мир и пределы царства до поморья раздвинул, не на краткую побывку, а на житье вернулся в престольный град и предстоящего на царство венчания день недалний провозвестил.
- 8 И почали собираться к нему отовсюду посольства с дарами и поздравлениями; и от самого Иоанна Пресвитера посольство было возвещено, уже на полпути станом ставшее в степях закаспийских.
- 9 Был же оный Иоанн Пресвитер всей вселенной диво, владыка могучий великого царства христианского за пустынями непроходимыми, промеж индийских колдунов и драконов китайских.
- 10 И много предивного повествовали о царстве том: не умолкала молва хвалебная о властителе благочестии, и о советников его богомудрии, и о народа житии богоугодном и преизобильном, и о баснословных страны той чудесах.
- 11 И пребывали все в ожидании торжества неслыханного; а за ту пору в дому государевом недоброе приключилось.

IX

- 1 Писал Отраде Владарь из престольного града о делах державных: о ветхого царства конце и нового кесарства зачале в стране полнощной.
- 2 А домой не звал и о скоропоспешном к войску возврате не поминал: сама, думал, про войну разумеет, что куется железо поколе не остыло.

- 3 Она же тоскою и думою по нем истомившись, налегке с сыном в обратный путь собралась и, дома не нашедши домовладыки, в терем тихий от всех, опричь Радивоя, затворилась.
- 4 Затворницею жила в ту пору и царица-скиталица в обители гостеприимной: еще не воздвиглися ей хоромы обещанные. В келлии сидючи, о гибели отечества слезы лила, и не радость ей было торжество Владарево, но в сугубую обиду.
- 5 Злобились и шипели на рекомого самозванца гости греческие: «Неверные у нас царствующий над всею вселенною град отняли, а варвары единовверные и святыню венца украли». Вторила им царица, как в глаза Владарю ни льстила.
- 6 Но инако мыслили из думных бояр величества царского рачители: «Прячет от людей сына-юрода государыня, а всем явно, что несмыслен растет и царства великого по отце управить не может. Не жилец он на сем свете, аще ли и жив будет, пострига и заточения не убежит.
- 7 «Да и сама-то, сердешная, в монастырь смотрит, а не на ложе царево. Женился бы наш Владарь на Гречанке-красавице и не имя токмо кесарево, но и потомство восстановил».
- 8 Не доходил рокот пучины людской в ограду терема, где слепец богомысленный душою отдыхал, внучка веселого на коленях пестуя.
- 9 Лепетал ему про свое Светомир то звонким голоском, то на ухо, а он к тому и свое прибавлял, и не весть куда в мечтаниях старый да малый на ковре-самолете залетали.
- 10 А Глебушка в свои игры играл у ног Отрадиных, — пелены церковные та на пяльцах по ризничным образцам расшивала, — а Радислава, как лесной зверек, по темным уголкам пряталась, нелюдимая.
- 11 Глаз горящих со Светомира не сводила, ревнивая, — вот вот, того и жди, на горло ему прынет дикою кошкою, — а как взглянет на нее отрок глазами невинными, робела и опадала.
- 12 И вспомнилось Отраде, как в детские лета буйство темное на нее находило, а взглянет на нее, бывало, Лазарь убогий, смирялось сердце ее и утихал гнев.
- 13 Подозвал было однажды дочку Радивой со Светомиром поиграть, а та как взвизгнет: «Не хочу водиться с твоим юродивеньким!» Судороги у нее по лицу пошли, и как бешеная ринулась вон из терема.
- 14 Проводивши в опочивальни детей, возвращалася к слепому Отрада в слезах; опустелая мелькнула перед ней колыбелька Зариславина. А он ей опять о Светомире:

15 «Услада мне с благословенным сыном твоим в парении мысленном на первозданную тварь Божию дивоваться.

16 «Ведь всякая, что ему видится, диковина — слоны ли с горы косматые, с клыками, что деревья, гнутыми, киты ли — острова пловучие —, деревья ли тысячествольные, звезды ли, кольцами света опоясанные, — все сие воистину аль и поныне на свете есть, али по сказаниям памятным в оны веки было.

17 «И никакая тварь, что ему в духе видится, глада и ущерба не знает: теплом и светом свыше питается, дыханием жизни веселится.

18 «А и досада меня берет: сколько я сказок затейных знаю, а ни одной ему сказать нельзя: ни Бабы-Яги, ни Кощея не пужается, ни злой мачехи козней не разумеет. Тороками ангельскими уши его завешены от словесе лукава».

19 Отвечала Отрада: «Владычицу Пречистую изначала возлюбил Светомир; оттого и рай на земле видит».

Х

1 Исстари у Горынских на Егория Теплого семейный справлялся праздник; и придумали дворовые люди в день тот царевичу поднести гостинец.

2 Навалили горой на большое блюдо долбленое с резными украшениями пряников медовых, коврижек узорных, жемков, леденцов, малинок, петушков, цветной смоквы, орешков золоченых — всякой, что ни есть, сласти — и понесли под присмотром Жихоря дар в палаты.

3 А Светомир, как завидел то море разливанное, руками всплеснул, Глебушку за собою тянет: «Такого живника, Глеб, мы с тобою не видывали!» Смеется, радуется, а сластей не отвеживает.

4 «Спасибо,» говорит, «за ласку, за утеху, люди добрые! И где вы столько поналовили зверья ползучего, гадов диковинных, жаб толстобрюхих, бородавчатых, пауков мохнатых-крещатиков, и клещей, и слизней, и червя кольчатого, извилистого? Кишмя кишат. Не трогай осьминожки, Зоренька: щупальцем присосется».

5 «Мне вот, какую хочешь, живую тварь в руки взять нешто, а в рот противно. Глянь-ка: всколыхнулась куча, зашевелилась. А и смрад какой от чудищ да гнили болотной пошел! Уйдем к себе, Зорька, игры наши доигрывать!»

6 Обнял одной рукой за плечи сверстника, а другую будто к сестричке протянул, и выбежал с Глебушкой вон из палаты.

- 7 А люди в палате, смутившись и потупившись, стояли как в землю вкопанные; иные будто и обиделись.
- 8 Но громко захохотал Жихорь: «А и забавник же царевич! Морочить недогадливых любит. Отменно над нами подшутил, над простецами потешился. На выдумки замысловатые куда как горзд!» И подарок незадачливый на свой двор отнести приказал.
- 9 А у себя дома, как настала глухая ночь и вся челядь уснула, вышел на черное крыльцо и ну гостинцы с блюда пригоршнями раскидывать, дворовым псам на жратву; и сожрали снедь псы, и до света поиздыхали.
- 10 Пошел заутро Жихорь на стряпную государеву расспросити, кто те отборные сласти, царевичу балованному неугодные, стряпал; и двоих сластелей, похвалив, с собою увел, царице де греческой в таких искусниках великая надоба.
- 11 Так всем во услышание объявил, а на деле обоих в потайной посадил застенков.
- 12 И допытавшись, кто из вельможных людей подкупом их на злодеяние обольстил, отай лютою смертию казнил.
- 13 Когда же возвратился домой Владарь, обо всем государю донес; и положили оба то дело в строгой тайне держать, ниже государыню о том не извещать, и никому о содеянном покушении ни словом, ни иносказанием не намекать,
- 14 виновников же умысла нарочитыми милостями взыскивать, а слухи глухие и толки праздные то-ли издевкою, то-ли угрозою тушить.
- 15 Но молва свое знала; качали головой свидетели происшедшего на выходе в приемной палате и пророчили, что безумствующему царевичу рано ли, поздно ли, не сдобровать.

XI

- 1 Не ведал о Жихоревом сыске Радивой; но аки вещей слепец Тиресий, прорицатель еллинский, стал пред владыкою и провещал: «О спасении Светомировом промыслить настает нужда».
- 2 Нахмурился Владарь и нехотя откликнулся: «Аль и ты мне о Локустах домашних бреднями докучать пришел».
- 3 Ответствовал Радивой: «О ядосмесительстве в дому до сих слов твоих не слыхивал; но и того стеречься благо».
- 4 «Притчею во языцех царевич содеялся. Ропщут люди: юродивому ли наследовать царство? с младенчества ли умоиступленному

в зрелые лета державствовать? бредоброду ли, путями сна ходящу, близкое от дальнего отличить не могущу, в руки дадим государства кормило?

5 Рвут и мечут бояре думные, о благолепии и крепости престола пекутся. Гадаю: и такие о славе твоей найдутся печальники, что сына твоего извести за благое дело почтут».

6 Серчал Владарь, ворчал: «Охрану умножим, ищеек спустим, заговорщиков выследим». Речь продолжал Радивой:

7 «Но не о спасении токмо, а такожде и о воцелении Светомировом промыслить велит земного нашего странствия разум. Мужеского и мудрого в мир детоводительства душа его богопамятливая просит.

8 «Довольно ему по райской околице шататься, благо что ангел с мечом двупламенным невинное дитя бѣлует.

9 «Довольно ему небесные письма по складам разбирать, пора и в наши хартии вникнуть, первее же всего пора пространства познать и времена, и пределы и числа.

10 «Увести, говорю, Светомира надлежит из матерней кущи отрадной, что пустынею духовною окружена стоит, покровом Богородичным от смертоносных смерчей хранима.

11 «Услать его надлежит к мужам прозорливым и боголюбивым, души блуждающей врачевателям и направителям, благоразумным наставникам в дальние земли, в чужие края, с поводырем надежным, он же и мне, слепцу убогому, за поводыря будет».

12 Сказал Владарь: «Хорса, содружника твоего, речь из уст твоих слышу. Еретику ли и чернокнижнику сына доверю?»

13 В ответ ему Радивой: «Воистину Хорс тебе сей совет дает и царевича путеводить вызывается, но сам к тебе с тем придти не дерзнул. 'Коль и благоволил бы, — говорит, — великий государь меня выслушать, недоходчивы слова мои до сердца его.'

14 «Не чернокнижию Хорс привержен, но волхованию именуему белому. Ересь же на нем что рубаха Нессова: к телу прилипла и палит его пламенем; не отлупить ее, не скинуть, на чужое тело не надеть.

15 «Также и Светомирова одежда белая на век его облекла. Скорее сын твой волхва уврачевать возможет, нежели сей его огневицею духовною заразить».

16 Задумался Владарь и нескоро молвил: «Заблуждается душе своей во вред Хорс; звездам поклоняется и с князем мира сего державство над миром делить хочет, в искупление же природы человеческой кровию Христовой и всех ко Христу привлечение не верует.

17 «Но поелику дано ему видение, что сильнее тьмы свет, Светомиру служить будет. И в годину крайнюю сына моего доверить ему соглашусь, сердце скрепя и при твоём в странствии сопутничестве. А страдальца-то наша что на то скажет?

18 «Прозвенят о том слова мои в ушах её, как удар топора по дереву. Ты к ней за меня пойдёшь, и бережно её надоумь, и сторожно испытай, и плачущую утешь.

19 «Ведь нам-то она Отрада; но из страдания отрада её благоуханным крином расцветает.

20 «Пойди к ней, советник добрый, и на чём вы с ней положите, про то сказать мне вернись. Мне же про себя думать думу великую».

21 И с тем отпустил Владарь родича своего Радивоя.

XII

1 По немногих днях пришёл слепой к Владарю и так об Отраде поведал:

2 «Вхожу поутру к ней в терем и чувствую: взор она на меня устремила светозарный, пристальный, как небо ясное, — сквозь облак слепоты моей взор тот мне в душу проник, будто читает она в душе моей, — и молвила тихо:

3 'Знаю, почто, родимый, ты ныне здесь. Уводи нас, куда сам изволишь, токмо его спаси!'

4 «И едва я уста раскрыл говорить ей, рукою заградила уста мои и на колени склонилась пред Ликом Пречистой с рыданием; а по молитве встала и обняла меня, и за ответом придти наказала под вечер третьего дня.

5 «Поспешила в пустыньку, что за криницею Егорьевой в заповедном бору, дабы наутрие спозаранку сходить оттуда к старцу своему за советом и благословением.

6 «На третий день дождался я вечера и в терем опять стучусь; ждала меня сердешная и про старца стала рассказывать. И что мне она доверила, тебе слово в слово перескажу.

7 «'Изрек,' говорила, 'преподобный по исповеди таковы слова: Возвести, царица благочестивая, Радивою возлюбленному, что приветствует его во Христе смиренный старец Парфений;

8 «и благословляет де Радивоя Парфений послушествовати гласу ангельскому, глаголющему в сердце его: Возьми отроча и беги в страну чужую, и пребудь с ним в стране той, доколе не умрут ищущие души младенца.

9 «Восстенала я, услышавши слово сие, что как оружие острое грудь мою пронзило, и уста мои грешные, ропотливые, пролепетали: А я что?

10 «Ответствовал старец, и словно оружие то в груди моей повернул, но и льдину сердца моего упорного и мятежного как в огне растопил: Мир ти, дщи! Еще ли не до конца возлюбила покорствовати Богу? Не сама ли от мира отречься домогалась?

11 «Дважды родится человек по таинственному глаголу Христову. А жене и другое наказано: дважды в муках родить человека, грядущего в мир.

12 «И первое из лона своего темного, земле подобно, плод изводит, и отторгается от естества ее плод ее на свет солнечный и в свете мира сего лик свой являет; но еще держит мать сына в лоне своем душевном, после же и от душевного лона ее отлучается странник, грядущий в мир.

13 «Вскоре тебе, от мира уходящей, силы небесные великое пошлют испытание веры твоей: очей свидетельство обличить в обмане, и ушей извещение во лжи, и надгробное рыдание претворити в песнь. Претерпевый же до конца, той спасен будет.

14 «И рыдающую меня у ног его воздвиг старец и приголубил, и напутствовал словом: Положися на Господа, Он и сына твоего, и мужа плещма Своими осенит, и под крыле Его надеешься.

15 «Ныне же уготовайся к венчанию священному на царство, и сие вменится тебе в послушание. Тако бо подобает нам исполнити всякую правду.»

16 Умолк Радивой; и воздохнул из уст Владаревых Лазарь Отрадин: «Аминь».

XIII

1 Положил в сердце своем Владарь отпустить сына с Радивоем в дальнее странствие; но как и без того про царевича смутня плелась, услать его из семьи, словно бы в изгнание, стыдился народа.

2 И не имея духа новую в книге судеб повернуть страницу, внезапно, как в день оный рождения Светомирова, вспомнил о звездогадании.

3 А перед ним, тут как тут, в дверях стоит и крестным себя осеняет знамением звездочтец его испытанный, — в годину глухую немощи и безвестия провозвестник мощи и славы, тогда убо простой черноризец, ныне же его милостями взысканный священноначаль-

ник, вызванный им великого ради замышления церковного и державного.

4 Ласково взглянул на него Владарь, а тот и земли под собою не взидел от радости, заслышав из уст государевых долгожданное слово:

5 «Старинный днесь твоему преосвященству долг плачу; балогурил, помню, с тобою убогий сидень: аще вся земля нашая автократор буду, ин тебе подо мною патриарху быти.

6 «Днесь, святыея церкве опекун сый в миру и защитник, воздвигаю под сению престола моего престол патриарший и тебя, верного о церкви и царства рачителя, жезлом власти сея священныя жалую, о чем и указ подписан».

7 Заикнулся-было, вдруг оробев, Епифаний о соизволении, на то дело потребном, патриарха вселенского, а Владарь ему, упреждая словеса многие: «И о том во благовремение промыслено!

8 «Благословил хирографом цареградский изгой церкви нашей самостояние и своеземным патриархом возглавление; о другом и не помышляет, токмо бы ему бездомному вселенским по старине величатися.

9 «Достоит убо тебе, со мною единомысленну и единосветну, у духовного кормила стояти. Под твоим началом стадо словинное, под моим пажить. И на сем исполать возглашаю первый твоему святейшеству».

10 И обнялись оба, лобзая друг друга целованием мира в плечо по обряду священнослужителей сослужащих во храме.

11 Благодарствовал тогда возносимый возносящему его и обетовался, каковым допрежь себя являл в препобежденных испытаниях, тоюжде и в новом ристании с державной колеи не сворачивать.

12 «Виданое ли дело», говорил, «чтобы царем благочестивым зачинаемое, аще воистину сей есть Бога читель, святоотеческим уставам перечило?»

13 Прервал на сем слове речь его властитель нетерпеливый: «Каноны де канонами, а законы законами; временны де уставы, и детоводители в срок отпускаемы бывают, и переменчивы времена.

14 «Но не о том ныне» — примолвил, — «забота: чин восшествия твоего на престол первосвятительский управити потщися, да честное от Попа Ивана посольство сретеша в благолепии патриаршем. Я же перед священным на царство венчанием говеть собрался в Пустыньку Егорьеву».

15 За отпуск принял слова сии Епифаний, но удержал его Владарь, перед собою сидяща, и, лицо рукою застенив, молчал долго; после же тихо молвил:

16 «Дума крушит меня о сыне моем. В инобытии некоем и в иновидении пребывает. И кто его от мести мира сего убережет? Как птица со стрехи кидается, так он пустоту под ногами воздушную за твердь мнит».

17 Прощептал собеседник его, будто некую тайну вверял, еще тише: «Не в помощи ли Вышнего сын твой живет? И не сказано ли о таковом, что ежели и с высоты низринется, ангелы Божии на руки его подхватят?»

18 Возвысил голос Владарь: «Новое ты мне об нем, да и обо мне купно, учини звездогание». И как тот безмолвствовал: «Аль и сие каноны твои днесь тебе возбраняют?»

19 «Возбраняют, государь!» отвечал патриарх: «С тех пор как епископский сан прях, судеб Божиих по звездам не пытаю».

20 И было лицо его бесстрастно, как лик единого от сонма святых отцов, какие в облаке пишутся на изображениях Никейского собора.

21 Нахмурился повелитель; и видя Епифаний досаду государеву, благодушно ухмыльнулся в бородку поседелую и с лукавым промолвил простосердечием:

22 «Да и то сказать, господине: елуру ли, сиречь коту домашнему, передо львом коготки казать? Мне ли толковать письмена звездные пред лицом великого моего в том искусстве учителя, он же еженощно светила о тебе вопрошает?»

23 Сказал Владарь: «Приведи Хорса». А Епифаний ему: «Не говорит в духе тайновидец великий иначе, как в сокровенной храмине своей, тебе ведомой».

24 Повелел нехотя Владарь проводить его в ту храмину на другой день ввечеру тайно.

XIV

1 Бормотал невнятное Хорс в дыму курений и камень саноцветное перед светильниками пересыпал.

2 А Владарь, куревом обаянный, насупротив сидючи, на игру ворожейную гляючи, кристалл простой в россыпи приметил, как вода светлый, словно со дна кладезя прозрачного кольнул его в сердце острия золотого мгновенный луч.

3 Но в память пришел и, дрему отряся, с ворожитом разговор зачал: «Куда же ты, волсве, по звездам путь держащий, сына моего завести умыслил?»

- 4 Собрал камень Хорс, кристалл перед гостем оставив, и тихо возговорил: «Не мне вести сына твоего, но ему, отrotchати малу, меня.
- 5 «Поведут его мужи, тобою излюбленные, со слепцом-прозорливцем; я же вослед их пойду за звездою моею, яже есть сын твой.
- 6 «Сему бо в грядущем сужден Кефер, днесь чело твое осиявый. Аз же кто есмь, смиренный? Не Кефера ли служитель на земле?»
- 7 Паки вопросил царь: «Как отпустить дерзну сына моего перед лицом народа моего в чужие края с воинами чужими, и что про уход его люди скажут?»
- 8 А волхв будто и не к нему, а про себя вслух: «Да то самое и скажут, что давеча Епифаний обронил: ангелы де Божии на руки его подхватили».
- 9 Помыслил в сердце Владарь: «умрет сын мой», и вдруг увидел в глубине кристалла, перед ним положена, гроб хрустальный и сына своего, не отрока, а юношу, в гробу лежащего со стрелою светлою в десной руке.
- 10 И болию пронзен в третье вопросил: «Отпустив сына моего, увижу ли его еще на земле?»
- 11 В ответ вещун: «Ты сказал. Во славе Егорьевой паки его увидишь и венец твой восхощешь на голову его возложить; он же пройдет мимо.
- 12 «И будет тяготеть венец твой на главе твоей, доколе не превратится в круг огненный; тогда призовешь сына твоего, и он снимет с тебя обруч палящий, и возложит на чело свое как венок весенний».
- 13 И увидел себя Владарь в кристалле, как в сновидении дальнем, стояща в седой степи на белом камне отлогом и пасуща с высокого камня лобного несметное овец стадо.
- 14 И проходит мимо серых волков многое множество, и гонит их копьем солнцезарным Свет-Егорий; а он своим железным жезлом Егорию машет и возбраняет ему волков в стадо пускать, и сам дань отобрать обещается.
- 15 И вспомнил Владарь слово Егорьево в сновидении: «мне ты сам данью будешь». И сказал в сердце своем: «Ныне я за всю землю оброк». И, укрепившись духом, прислушался к волхву говорящему:
- 16 «Не надобно тому звездогадание, кто здесь слышит, как дух его инде беседует с духами миров иных.
- 17 «Ничего боле звезды тебе возвестить не имеют: взирают на деяния твои, как свидетели, делу не причастные, и безмолвствуют, как судии, полукругом сидящие, доколь длится тяжба.
- 18 «Слово было тебе дано; от тебя мир ожидает слова. Как наречешь, так и обречешь; на что поглядел, тем и завладел; чего изволил, то и вынул».

19 «Пустынно самодержавца одиночество. Покинут тебя милые твои; один будешь в седой степи с белого камня лобного несметное пасти овец стадо. Чего молил, то и вымолил.

20 «Мне же, послу к тебе от архонтов звездных, обещаюсь по уходе моем храмину сию и все подходы к ней наглухо замуравить, чтобы и следа не осталось от Хорса волхва».

21 Вынул, прощаясь, Владарь сапфир драгоценный из цепи своей и Хорсу в обмен дал за кристалл памятный.

XV

1 Как некогда Симеон Управда, Божия суда взыскавший в сонном видении, так и Владарь ныне, видения вещего взыскатель, воды ключевой с молитвою испил из криницы Егорьевой и навзничь лег у ручья, руки на персях сложив крестом.

2 Но не слеплял вежд его сон и, жмурясь на сверканье текущих струй сквозь ресницы смеженные, мнил он видеть, как в кристалле оном, прозрачный гроб и юношу со стрелою светлою в гробу хрустальном.

3 И в мыслях о том зраке не отступном сморила его дрема полуденная, и привиделась ему Горислава юная в девьей красе чародейной, какою впервые предстала ему, юноше-ратнику, и мнилось, шепчут уста ее нецелованные: «Милый, милый!»

4 И воскликнул во сне Владарь: «Николи бы с тобою не расстался, все бы глядел на тебя не наглядясь!» А она ему: «Связана моя душа с твоею. Уведу тебя на луга мои цветистые, в сумерки светлые, незакатные; там с тобою будем миловаться, нецелованными устами шептаться».

5 Подумал про себя Владарь: «Уж не опять ли Егорий стрелою в меня метит, в забытье дремное меня ввергает и в изнеможение?» Отвечала на мысль его Горислава:

6 «Не твоя ль она, сила Егорьева, и тебе ли ее бояться? Собралась она клубом округ венца твоего, ровно гроза в ясном небе, а как возложишь венец на главу твою, пронизет тебя змеею молниною из недр земных насквозь до темени.

7 «И замрет жизнь твоя здесь на короткий срок, а в моем царстве разыграет; а как отпущу тебя из моего царства, богатырем на земле царевать будешь».

8 Воздохнул Владарь: «Горько мне с тобою разлучаться, горе и в сей мир ворочаться. Отойдет от меня Отрада моя, и сын мой

уйдет далече. Одинокого меня люди божить будут, как истукан огромный на камне голом».

9 Устремила на него взор Горислава и молвила: «А на чем мы с тобою спознавались? Не купно ли царевать загадывали? Не сам ли ты променял Гориславу на стрелу Егорьеву?»

10 Вскричал Владарь: «Не отдам тебя ныне за жизнь мою!» И руки, воспрянув, простер, чтобы схватить ее; но ее уже не было.

11 Сонно колыхались над ним сени лесные, солнечным протканы светом. И чу! милых голоса веселые из дебри донеслись, его окликали.

12 И вышли из дебри Отрада светлая, а перед нею Светомир, смеючись, верхом ехал на сером волке.

13 Говорила Отрада: «Волк нам тропку загородил, а Светомир к нему потянулся. А зверь добрый ну ему руки лизать. И сел на него Светомир наездником».

14 Кричал отрок отцу: «Возьми меня с собою на войну!» — «А чем», спросил отец, «ты меня на войне оборонять будешь?»

15 Отвечал Светомир: «Вон тот, что на страже стоит у креста под сеницей, копье свое мне даст золотое. Да не скоро то будет.

16 «Говорил мне по дороге волк, что далече, далече меня унесет, и не раньше я домой вернусь, чем большой выросту».

17 Сказал Владарь: «Так, видно, тому и быть. Ныне же волка отпусти, да ко мне садись на плечи. Я тебе за серого волка буду».

18 И тронулись в обратный путь трое, когда же ко вратам обители приближались, встретили старца Парфения, к Отраде пришедшего в монастырь на беседу духовную.

19 И поручив Светомира матери, умолил Владарь старца удалиться с ним в перелесок ближний, говоря: «Исповедался я у тебя давеча во грехах моих, а одного, тягчайшего, тебе не сказал».

20 И когда склонился к нему в уединенном месте старец, молвил Владарь: «Смерти желал я сыну моему».

21 И разрешил его отец духовный: «Не вменится тебе во грех жестокая ревность твоя и противочувствие твое: зане воистину сына своего любишь боле себя, славу же дела своего боле сына.

22 «Но поелику столь крепко окольчужился дух твой, что дана тебе свыше власть: как наречеши, так и обречеши, — себя самого на скорбь обрек: в мертвых живого сына поминать будешь».

23 И проснулся Владарь у криницы Егорьевой.

- 1 Прибыло в те дни посольство жданное на конях и верблюдах, пресвитеров иноплеменных двенадесять и с ними полк малый воинов черноризцев, —
- 2 Смуглоликие мужи, благообразные, важные, в куколях монашеских на колпаках железных с обмотом понизу из шелка шафраножелтого, —
- 3 В кольчугах под рясами черными, с кривыми саблями и самострелами и щитами крестовыми, в железо одеты, в железо обуты.
- 4 Нагородили становища шатров черных за городом, с церковью походною под беловерхим наметом посреди стана, и там заночевали.
- 5 А наутро, ранние у себя отпевши обедни, пошли двенадцать с хоругвию при несметном народа стечении в соборный храм и встречены были в притворе патриархом в церковном облачении.
- 6 А по торжественном в соборе служении проведены в палаты царские, куда к тому часу свезена была на верблюдах из стана многая кладь.
- 7 И разложили в палате дары многоценные царю и семье царской и царевым присным и в ризницу патриаршую: чего, чего не навезли, устали дьяки записывать, иное и поименовать не умели, —
- 8 Убранства и украсы и ризы и утвари священные, камнем самоцветным и жемчугами осыпаны, изделия изящные из меди и серебра и золота и електра, и ебена, и ивория, и крепкого древа пахучего,
- 9 Поволоки красы невиданной, и ковры, и шкуры пестрые зверей и змей диковинных, и масла душистые, и смолы добровонные, и сосуды пиршественные, и богатое оружие.
- 10 После же званы были на патриаршее подворье к трапезе, и патриарх, гостей угощая, по-гречески с ними беседовал, они же, как в пищи и питье воздержаны, так и в речах были не многоглаголивы.
- 11 На прощание же молили его проводника им дать в места уединенные, где отшельник благочестивый, по имени старец Парфений спасается: имеют де наказ к нему от Иоанна Пресвитера.
- 12 И на другой день с утра сели двенадцать на коней, провожаемы мнихом из греков и двумя своими воинами с нарядом шатровым, и путь держали в пустыньку Егорьеву.
- 13 И поставили шатры на дворе обители, Владарь же в одежде игумена заезжего ужинать с ними вышел и вопрошал их с ласкою греческой, как они в краю чужедальном о смиренном пустынножителе прослышали.

14 Отвечали послы: «Ведают святые святых по всему лицу земли, и наши отшельники издавна вашего чтут. Держимся символа веры апостольского и святых общение исповедуем, оно же не токмо между миром дольным и оным, но и в сем круге земель ежечасно невидимо свершается».

15 Выехал Владарь с женою и сыном наутро в престольный град, а послы, крестом и духовенством из обители предшествуемы пошли в дебрь и, обретши жилище Парфениево, до земли отшельнику поклонились и вручили от Иоанна Пресвитера в дар частицу мощей, в их стране почивших, святого апостола Фомы, просветителя Индии.

16 Коленопреклонен принял Парфений дар и долго над ним плакал; после же встал и надел ризу по сану своему и понес мощи перед собою примолвя: «Недостойна хижина моя такую святыню вмещать».

17 И пошел за крестом с мощами в руках в обитель Егорьеву, сопровождаем послами и духовенством, и, вошед в церковь обители, поставил ковчежец на престол алтарный.

18 Когда же вернулись послы в столицу принимал их в доме своем Владарь с почетом царским, и они вручили ему в скринице драгоценной за семью печатями послание, писанное рукою Иоанна Пресвитера.

19 И в том послании услышал Владарь повеление Господне.

КНИГА ПЯТАЯ

Послание Иоанна Пресвитера Владарю царю тайное

I

1 Богу во святой, единосущней, светоначальной и животворящей Троице слава.

2 Иоанн Пресвитер державному Владарю радоватися.

3 Венчающуся тебе венцом кесарским сорадуюся и благословен да будет престол твой Господа сил молю,

4 Смиранный пресвитер Иоанн, милостию Божию единый от народоправителей христианских,

5 могущ сый не странных и зверонравных племен службою подъяремною, но владычествующего народа моего числом и трудом, и мужеством, и единомыслием,

6 ктому и земель пространных неоскудным плодоношением, и руд горных и камня самоцветного изобилием, веселящим ли око солнечное или в недрах сокровенным.

7 Послушествуют мне христолюбивых царей двенадесять, и трие от них при мне живут в митрополии державы нашея, споспешествующе ми советом и смотрением, прочии же над тремя другими частями царства поставлены, по три царя в каждой части.

8 Причти к сим и господарей язычествующих, под нашу руку волею приставших и окрестные области держащих, их-же к водам крещения не хожем нудити.

9 Писах же сие не в похвальбу, но да не останешися о нас в неведении, егда многообразный помыслиши состав на земли Церкве Христовы,

10 и взаимодейственни да будут в богозданнем согласии все уди Единого Тела.

11 Достоит бо тебе испèрва благонадежну быти, яко мы от правого исповедания единые святые, соборные и апостольские Церкве и от предания святоотеческого, аще и многими ересьми прельщаеми, николиже есмы ни в мале не отступили,

12 якоже и сам о том известитися можеш словесным испытанием
послов моих, саном священства мне равных.

13 Отсельници есмы новыя Трои, еже Византии имя тайное есть
по сказанию древлему.

14 Отрасль хвалимся быти царственного Константина града, да-
лече процветшая прежде распри с Римом первым,

15 о ней-же изволися нам ничесоже ведети, Господа благодаряще,
яко хитона Спасителява, не швена, свыше исткана цела, не пре-
дерохом ниже разделихом.

16 Ныне же, брате добролюбивый, о жительстве нашем и законе,
и свычаях, последь и о себе недостойнем, и о святынях наших
сокровенных нечто повем.

II

1 Лежит земля наша, именуемая Белая Индия, промежду языки
идолотребники и заградою перевозданною гор ледовитых и пустынь,
аки пещь распаленных, яже нас и от булата щитит Бахметова, и от
раздора христианска уединяет.

2 Противу же оных языков заграждения не имамы, ниже взы-
скуем, искони бо многобожию безбожну и высокопарению мы-
сленну, купно же и чаромутию привержени сущи, ктому и князей
роскошеством и растлением, подлых родом нечистой твари при-
равнением ослаблени, ни духа воинска, ни совета и согласия не
имут, никако убо всюю громадою на ны подвигнутися помышляют,

3 убожавшися некогда отпора нашего Чингисхану непобедимому
и равночестныя с Великим Моголом мировщины.

4 Наезды же и опустошения, по манию местных владык, особь и
разно творят, и те полчища мы пешим строем и конники и варваров
свирепых подмогою за степи восточные и погория прогоняем.

5 В нарочитых походах и сам военачальствую, из башни ско-
родвижныя, слонем белым носимыя, боище сюду и овуду озирая и
лук напрягая, зверие же из зверинцев моих, тигрия и панфири,
укротителями спущено, окрест прядает и обставшу вражию рать
устрашает.

6 Сице не корысти ради, ни в обиду соседем, на брань опол-
чаемся; но и в мирные времена опасно ходим.

7 Перелазит заставу горную и к нам прибудитися ищет исчадие
неприяженное: гимнософисты, сиречь нагомудрецы, рекомые, бес-
стыдства и безначалия и безнадеждия учителя, и чародеи, очей

обаятели, и чаротравницы, и блудодеи, обезьян любострастных гнуснейшии,

8 и пламени, из недр земных изрыгаема, богомольци, бесонеистовим в ночи плясанием геенский огонь мрачный мящии славити, похулители стихии чистыя, и инии всяческа толка слуги диаволови.

9 Ловит народ душегубителей и заводит в дебри и пропасти земли, белу волку (молвят людие), лжам судии, во снедь, и единорогом белым, целомудрия стражем, на прободение, и грифом белым, огня ревнителем, на поклевание.

10 Сицева доука соседская; в пустынях же помяну сухое море на месте столпа Вавилонского и реку, в то море текущую и не иссякающую, песка сыпучего, ветром волнуему и стремиму в русле безводнем.

11 И таково диво мужие праведнии возвестиша; обаче самовидческо ли возвестиша свидетельство, иносказание ли, еже богопротивные гордыни неослабное знаменует в духе столпотворение, не вемь.

12 Елика же странничающии бают о негде за пустынями обитающих наездницах ли мужеубийцах, о исполинах ли, един глаз во лбу имущих, другой же в темени, о Пигмеях ли меньших телом, неже детца малая, земледелех кротцых, птицами исклюваемых.

13 И елика иная сего рода неподобная расписывають, сами ни Псоглава, ни Полкана — конечеловека трезве не видевше,

14 Соние и баснословие суть, из рода в род предаваема и украшаема, и что есть в оних баснях искони мечтание, что же и правда древляя, не исследих.

15 Отвращает бо ся от суеверия муж, истинная и явная по вся дни зряй чудеса.

III

1 Кольми достовернейши известуется о пустыне, на полнощю от нас простершейся до гор железных Гога и Магога.

2 В тех гор кольце — гласит предание — Александр, царь македонский, заключил есть на долгие веки оклятвою крепкою жестокое племя и бесное, воспламеняемо в звездные сроки таковою яростию, яко само ся в родичах истребляет.

3 Но кольми губительнее на ся ярятся, тольми род их множае расплождается: блюдет их, толкуют старцы, сила небесная на день судный, егда изыдут из затвора своего, по пророчеству, Гог и Магог примучити вселенную.

4 Мы же супротив по предгорию стражбища и острожцы сооружим; и елижды посреде нас Божиим попущением, бесовым наущением содеется грех тяжк и осудят законопреступника судии народнии на казнь, Железные Врата стрещи неключимого посылаем.

5 И глядя нераскаенный их туземцев дерзость и лютость, веселится духом и в грехолюбии ожесточается; своих отбегает, забеглым волком пристаёт, огрызаяся, к рысучей новых свояков стае и с нею звериным обычаем живет, сырым мясом питаюся, ино и людоедствуя.

6 Спасаемый же, зла мерзость воплощелу узрев, содеянный грех изгасити ревнует и с нашею кустодиєю противу рода окаянного ратоборствует.

7 Не втуне извергов род на крепости наши зубы скрежещет, мы же по вся лета лов деём по их убежищам и связней полон мног в наши места на воинску потребу уводим.

8 И — диво пречудное! — мужи, даве бесов игралища, под началом умным страшливы ходят и покорливы, и в боях биются добре, и в станех не мутят и не бесчинствуют;

9 Наставления же, еже о Бозе и о душе человечестей и о грехе, не разумеют, скопцы диаволовы, и в уряде мирнем телом хиреют даже до истощения смертного.

10 Того ради, по службе недолзей, отсылаемы бывають в притоны своя, да плотию живи будут.

IV

1 Ту убо бесчеловечие наго и образ Божий в человецех затмен, семо же взор обращъ на языки ветхие, пример видишии надмения богоотметна, вкупе Лик Божий и человека лик упразднивши; мы же верою живем и спасаемся, и ущедрил есть Отец Небесный достояние Свое.

2 И озирая мысленно простор, нам в обитание данный, воспоминаю великий оный остров, волною морскою покрытый древле.

3 Загражден быше по свидетельству Платонову, от ветров хладных гор венцом превыспренним, и слонов многоядных стада по острову блуждаю сыты.

4 И елика суть благовония, и корение целебное, и зелие доброе, и цветие дивное, древеса же смолоточивые и плодов сочная сладость, вся в дар несеше земля острова жителем в изобилии неоскуднем.

5 Такжеже и к нам пришедый путник, дивяся, речет: «Нигде, ниже в чертозах и цветницах царевых, обонял есмь благоухания, яже zde веют;

6 николи, прежде нежели сея страны достигнути, толь прозрачны видел пелены воздушные, ни гор белоризиц, превыше Кавкаса вознесшихся, величия равна, ни таковыя кринов красы, ни луны днеспетлыя, солнцу соперницы;

7 ни ликов пернатых не слышал пения райска, еже zde слышу под ваиями древес столпных, над кровом ли широколиственным едина древа многоствольна; ни зверей дивных нощию рыкания мощна, ни громных гласов рокота мусикийска».

8 Но дабы памятовал человек о мече пламеннем, Едема врата стерегущем, и в сем саду услад бегати имать и пестрохвоста лютого, и ящера, в иле спяща, и змия-удава, и жал смертоносных, и вихре-мощных воздушных хищников.

9 Не терние zde, не волчцы изращает земля чадам Адамовым, ин расточает благостыню; и самим преизбытком силы раждающая задушила бысть человека самостояние, аще бы в поте лица своего не борол ю.

10 И мы естества силе не поклонихомся, ниже в лень косну, ни в негу растлительну, ни в деторазумие варварско не впадохом, обаче коемуждо делу полезну и достохвальну с усердием прилежати препоясахомся, яко да и в малем совершени будем.

11 Всякого же совершенства единый верный вождь есть: богомысленный труд, добротворный.

V

1 Всяко лето путешествую, не ближние токмо, но отдаленнейшие местодержания посещая, грады же и веси, да повсюду глас народный услышу, во еже суд и ряд сотворити во благовремении.

2 Жальбу на царей исследую, не взирая на лица, и которого царя не возлюбилша всем миром, отпускаю в его вотчину и из родичей его другого на стол сажаю, надежа мужа и советна, Богу же и народу угодна.

3 Прю вечевую и новины со стариною стяжание о премене устава ветхого по совести решаю и предузрению, вразумляя буюв научением и увещанием, и сего наипаче блюдеся: еже не препнути духа жива.

4 О завете отцев, во внуцах живе, ревную, не о костях погребенных; свободу же не умалити поставлен есмь, но урядити.

5 Свободь бо есть всяк, во Христа крестивыйся, и на Христов Лик взирая, свободными ногами, камо-же хочет, шествует, якоже и речене есть о Христу вернем: «и внидет, и изыдет, и пажить обрящет».

6 И разнo управляются области царства, по своему кияждо нраву и обычаю; но аще и образом жития разнствуют, в единении соборном и строе согласнем волею пребывают.

7 Веселятся убо о пришествии моем, и понеже не леть есть дары правителя приносить от правителя одаряемым, в угождение мне игрища устроят и кола, и лики гусельные, и лицевые действия.

8 Наипаче же поощряю юных состязания в беге и прядании, и копьеметании, и борьбе, и стрельбе, и пении, и стихословии.

9 Изощреннейших призываю и посреде их разбор творю, особне же в учении книжном преуспевающих испытую; отборных убо вяща наставления и искуса ради, родителей ублажив, с собою увожу в землю срединную, о ней же абие имамь глаголити.

VI

1 Ущедрена есть свыше земля, юже срединную именуем, пред всеми частями царства. Свидетельство же тому: не лютуют в ней звери дивии, не жалят гады ядовитые, ни лихо зелие не растет.

2 Но тучнеет по крутодолам дальним древо масличное и веселит холмогория добре возделана Вахх ли, у Еллинов славимый, мест сих древний гость, Ной ли, из ковчега исшедый, первовиноградарь.

3 От избытка убо земли срединныя не скудеют и на дальних торжищех царства вино и елей.

4 Ограждает ю, яко-же ров непролазный твердыню, коловратный поток, в русле глубоцем текущий, не вод самотечных без истоки, без устия, а некоего веяния премирна, еже нельзя смертному во грудь вдохнути и не умерети.

5 Ведется от пращуров имя потоку Фисон; бе же Фисон река, из сада Едемска текуща в страну, златом и бдолахом и ониксом изобильну.

6 Мнят убо: и доднесь струи едемские, под землю ушедшие по изгнании Адамове, сквозь расселины коры каменныя в онем русле дышут.

7 И в подкрепление приводят тако мнящии злата и камня самоцветна добычу, в песце русла среброзарнем ископаему. Творят же то послушание старцы наши, дыхание прекращати обыкши в умном делании.

8 Аще ли кий злочестивый на дно снидет хищения ради, измаета его на сходище ветр бурный задохшася.

9 Но и в брод преити поток ветренный не все могут: проникает бо, подобно некоему огню тонку, весь состав человека и всякую в нем изжигает немощь и нечисть, даже до испеления плоти растленныея.

10 И стекается множество к лествицам широким, из камня асвеста, рекше вапна, созижденным, низводящим ко броду; и видят овии, идеже броду быти, синину прозрачну, овии облак багрян, овии нить яропламенну. Обаче сон и мара суть, елика видят, не имать бо зрака поток воздушный.

11 И прости сердце, осенившись крестным знамением, небоязненно одеяни погружаются даже до выи в быстрину безвидну и веселыми ногами на он пол пребродят.

12 Инии же, грехи воспоминавше многие, не дерзают, и смиренне прочь отходят говения ради и покаяния; по мале же времени, устроивши душу, с миром возвращаются и, бодро ступаючи, на брег радощами восходят.

13 Иных же не пускает бес ко сходищу, страшением пужает и яростию обуевает, и трясет, и корчит, и биет о ступени каменные; и тии измождени ближними уносими бывают.

VII

1 Приветством и ласкою сретают пришельцев жители; всем постлано ложе и трапеза уготована, по градам в богатых стран-ноприимницах, на селе в общежитиях земстих.

2 Возделывают землю срединную содружества семейств, в общении живущих труда и прибытка.

3 Ина же всяко, аще ли туне, аще ли трудом добыто, стяжание толкуют общи Христовы братии достояние быти, и своя не рекут елика имут.

4 Сим, тако учащим, пришельцев число немалое единоплеменствует, прекословит множайшее, глаголюще: «Новщина есть и безмерие, и любва живыя преложение в закон мертв».

5 Укреплены убо и наставлены бывше, кийждо противу силы его, в добротолубии, возвращаются посетители, мир несуща в дома своя.

6 Путешествуют же путями мощеными и тропами осененными удобне, святые обители наши обхождаючи, чудотворными ико-

нами и источники целебны прославленные, художества лепотою украшенные.

7 Но и в глухие яруги заблудший путник нечаянное обретает покоеще в частых вертепах отшельничьих и при церквах подземных.

8 Зане любы народу нашему клиров гласы, к Солнцу Правды возносимые из глубыни каменные, и свещ за престольных мерцание под толщею гор издолбленных.

9 И умиляются людие за службою подземельною, поминающе Иоанново слово о Боге Слове, яко Свет есть, во тьме светящся, и тьма Его не объят.

10 Днесветлым же церквам на земли нашей несть числа: идеже бо раздолие уветливо и травник простран, красуются на солнце и маковицы пестроцветные, крестовоздвиженицы златозарные, аки плодове небытнии посреде зелена вертограда.

11 Обаче суров на поле кремнистом, прозванием Львине, стоит Данилов скит, созданный над гробом пещерным пророка Даниила; тамо богомольцы говети стекаются по особну правилу скитску.

12 И со страхом и трепетом вступают люди в Лавру Белую, идеже мощи почивают апостола Фомы, просветителя Индии.

13 Есть бо повесть, яко лихою лжею согрешивый сретити имать округ сея Лавры Волка Белого, лжам судию, и смертью умрети.

14 Соборная же вся земля срединная церковь храм есть кремлевой Пресвятыя Богородицы и апостола Ивана Богослова, именуемый Лествичный, о нем-же по тонку поведати надлежит:

VIII

1 Рдеется воссиявшу солнцу, превыше столпостен моих и теремных царских промежду обема вознесенна, скала велия, единокаменна, руды чермные, в долготу протяженна, верху плоска, из средоградия восходящим благоприступна, отпредь с озера приближающимся прямостоящи стремна.

2 Вышеград, гречески Акрополь, именуем темя сие, кремль бо есть державного града нашего самозданный.

3 Жесток бе камень; обаче предков труд, к тому приложився, стропотная исправи, и ущербленная содела равна, и бысть скалы повершие острогато во простор гладок от края до края стремнинного.

4 Днесь же и загражден есть двор скользок над упадьми стенными сквознятым с прозоры мрамором,

5 И лестницы нань ведут от стогн градских двема восходома широкие, в той-же скале темнобагряней истесаны и стоборием мраморным край лепо остолплены.

6 С обою полу двора издревле еста агалмата медна поставлена: два зрични из меди лита всадника всеоружна и острием копийным в ребра прободена, имуща кийждо на главе шлем, на лице же в забрала место сударец гробный, а в деснице ваие победное.

7 Щита же крестовна коленом коневым остависта прислонена. И никтоже в народе сказати умеет, чии еста подобия сии, искони именуема Два Свидетеля.

8 И за единым Свидетелем ризницы медновратныя пестрята стены, поясов чредою обряжены мрамора бела и порфирна камене ценна; и церквице место есть внутрь ее с пределы, идеже священници варят Миро. Верху же высится звонница со звоны серебряными и колоколы тяжеломедными.

9 За друзим же Свидетелем Духова церковь медновратная, в шатре крова отверстие, под ним же купель в скале издолблена, глаголема Иордань.

10 Подале и трапезная палата таковым же образом созиждена; ту в праздники великие по начальному обычаю вечера любви правим.

IX

1 Перед скалою и храмом столпным синее озеро плещется, парусами пестримо; и столь велик разлив его, что градов об-он-пол око не видит, токмо окаем снежный горбов горных.

2 По холмам прибрежным в рощах храмины и обиталища изящне созиждены всяческой мудрости хитрецем и уметелем со ученики и любопослушники, дома студитские, и училища, и книгохранилища.

3 Не софистики тамо леть плетут, но здраво учительствуют, в своем каждый пределе, и словолюбцы-книжники, и риторы, и любомудры, и естествослови, природы пыдатели, и звездозорцы, столпники добротные.

4 А умодельникам и технитам свои дворы уготованы, такожды и зографам, и зодчим, и мусикиям; а борцам юным поприща, глаголемые палестры, а конникам — ристалища.

5 Где пространнее ширится озеро, морю подобно, остров уединенный красуется древесами широкосенными и зданий многостолпных блистанием над зеркалом водным.

6 Отдан тот остров богомудрия наставникам, священномонахам и ученикам, послушникам, без пострига блюдущих устав иноческий.

- 7 У каждого ученика, богомудрию прилежаща, келлия светлица приятная и книжна хранильница; и пред нею вертоград малый, обоюдо остененный, на устоях каменных висит над озером.
- 8 И в том вертограде возвращает и хранит ученик свой цвет излюбленный, его же светом и дыханием помалу приводится к вящему воображению в уме духоносном тайны творения и к соприкосновению с силами ангельскими.
- 9 Внегда войти в келлию наставничу, расжигает ученик жаровню и благовоний зерна в нее сыпит; вошедшему же на коленях стоя исповедуется и рукописание вручает.
- 10 Зане обыкает чернилом и тростию запечатлевать на хартии, елика из книг научився, познал и уразумел и в чем усомнило; и сии записи наставник, взором объяв, ученику оставляет, потребное присовокупив и яснейшее научение.
- 11 Но аще и видение некое имел ученик или озарение мысленное, и новым возмнил усладитися света, и сие письменам со тщанием доверити понуждается; наставник же, аки судья прозорливый надмения ли духовного или прельщения, не часто ту рукопись приемлет благосклонно, обаче же с презрением хладным или с гневом ярым ее раздирает и в жаровню разожженную ввергает.
- 12 Есть на том острове и неверных общежитие, где обитают и язычники, и еретики, алкание Бога истинного не до конца угасившие в томлении и воздыхании духа неизреченном, так что и перейти могли через поток Фисон в серединную нашу землю.
- 13 Сакимуня и Конфуция последователи, и Корана начетчики, и манданы, и манихеи, и гностики, и офиты, и еретики, и иные духовными омраченные бельмами.
- 14 И позволено ученикам богомудрия посещать их и с ними беседовать; если же кто теми беседами соблазнится и в шатание веры внидет, изгоняют того настоятели и на окраину царства отсылают, где тако заблуждающиеся совместно живут и свои капища невозбранно строят.
- 15 На озеро глядят стен моих ворота, глаголемые «Игрищные», зане через них проходят борцы юные, и бегуны, и дискометатели, и стрельцы, и плясуны на двор мой палестренный, где состязаются в силе и проворстве и ловкости.
- 16 А двор, в окружении столпов порфирных, прилежит дворцу моему, созижденному из камня оникса; и сила камня того укрепляет мышцы и бодрит дух состязующихся.
- 17 Неподалеку, среди садов моих на скале, белеет башня истончена из кости слоновья, высоту ступеней ста сорока семи, и как маяк сияет верным издалека.

18 Встроены во храм, на скале выпрьь возведенный, семь церквей; три церкви подземные и четыре надземные; и в преисподнюю церковь, Воскресенскую, и в верховую, Успенскую, токмо Запечатленным доступ, о них же особне скажу.

Послания часть вторая

...аще в твоём житии не бых исповедания

Х

1 Родихся аз в сословии воинствем, в роду кшатриев, сиречь войников, из страны Индии некогда пришедшем на зов Господень и святое крещение приявшем.

2 Беспечально младость провождах: бияся в ратех с идущими на ны, а во дни мирные веселяся с удалыми соратники, в превратностех бранных и приятностях невозбранных, в небрежении убо временным жизни и вечным.

3 Случилось же мне, в полку ристающу, приблизитися воеводе неустрашну, старцу мниху, иже бе страны наша правитель, рекомый ексарх, и благолепие старца узрев, уязвлен бе любви жалом ко Отцу моему сушу на небесех, и сердца моего ожесточение ужасè мя.

4 И приступив старцу рех: «Жалость по доме Отчем снедает мя; потрудитися восхотех в вертограде Его; приими мя яко единого от наемник Его».

5 Рече старец: «Еда возлюбил еси Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею?» Отвечал аз: «Отца взыскую, яко же сын блудный».

6 И возьмь с собою в срединную землю, предаде мя ексарх под начало старцу подвижнику молчаливу, иже наказа ми плоть измощдати постом и молитвою, и поклоны, и в нощи бдением молебным, во дни же и древосечьца тружением.

7 Во всем послушествовах старцу моему бессловесно и боязненно, и времена забых, и годин скоротекущих не считох.

8 И по долгом искусе молчания возглагола старец и повеле ми топор и мотыку оставити и чтению книг божественных прилежати; и учаще мя Писание и догматы веры унее разумети, наипаче же от многаго делания никола не престати.

9 И мимотекуша тако довольну времени, сrete мя в церкви молящася ношю, и помолився со мною и исповедав мя, рече: «Понеже в духе помалу возрастаеши, прииде час, да великую земле нашае увидети тайну.

10 «Царство Иоанново есть, и держит ю не правитель видимый, но с нами зде пребываяй апостол Христов Иоанн».

11 Аз же ужасься вопросих: «Како может с нами жити во славе небесней живый, в соборе апостольстем?»

12 Отвеща старец: «Писано есть: Петр виде ученика, его-же любяше Иисус, вослед идуща, иже и возлеже на вечери на перси Его. Сего видев Петр, глаголе Иисусови: Господи, сей-же что? Глагола ему Иисус: Аще хошу, да той пребывает, дондеже прииду, что к тебе? Ты по мне гряди».

13 Памятуя же, яко о себе повествует, приписа пишуций, да не мнят его бессмертна быти: «Не рече Иисус, яко не умрет, но: аще хошу тому пребывати, дондеже прииду, что к тебе?»

14 Аще убо и умрет, но жив на земли пребудет, и дано бысть исполнение слову сему. В теле бо прославленном общее всех воскресение упредї, земле же богоносныя ктому не остави, якоже и ученик оный, Кресту предстояй, по завещанию Спасителеву с Материю Божию пребысть.

15 И суть посреде нас иже и осязати его и видети сподобишася, и сии рекутся Запечатленнии; печать бо Духа Свята рука Иоаннова на них наложи; от них же и аз есмь, слуга Господень».

16 Преклонь колене со страхом и трепетом, пиях словеса старцеви, яко знак росу; обаче, умолкшу ему, о нищете моей и недостойнстве моем возрыдах. Той же воздвиже мя и облобыза мя, глаголя: «Дерзай, чадо! Не ѱ явися, что̀ будем».

17 И абие, яко чадце мало утешено, возрадовахся зело и возвеселихся, еже близ быти Иоанну, и воскрилися дух мой, даже до исступления. Но утиши мя старец, сорадуюся ми, и укроти движение нестройно словом уветливым, и отпуская мя рече: «Изыди с миром и в тишине на ложе твоём опочи».

18 И исшед из церкви, воззрел на звезды небесные и умилихся, и найде на мя тишина благая.

XI

1 Паки глагола ми старец: «Вонми, сыне, слову новому, и поведенное в сердце соблюди. Достоит бо тебе и сказание знаменова-

тельное слышати, еже о начале и кончине царства сего велию в прообразех возвещает тайну.

2 Ходит по всей земли Мати Божия, и рай первый окрест ее цветет; переди же едет всадник светлый: Георгий имя ему.

3 Бе Иоанн в горах мрачных моляся и сетуя о чадах Адамовых спасения своего, Иисус-Христом бывна не ведущих. И прииде утешить его Благодатная, и простерши руку свою на Георгия рече:

4 «Сий юный обитель тебе под Моим покровом устроит, царство верных, в нем-же незримо воцаришися и верних многих любовию спасеши».

5 Глагола апостол: «Прочии же что?» Отвеща Владычица: «И в тех вселишися, и ино царство ти будет, егда сие в горняя преидет».

6 И утешися Иоанн и рече Георгию: «Архистратиг воинств небесных десницу твою да укрепит». И зача той стрелы метати на восток солнца и запад, и полдень, и полночь далече.

7 И где те стрелы легли, оплоты незримые воздвигаются, их-же никакая сила изрыти не возможет, и положены быша пределы царства, не преступные внешним на долги веки.

8 И рече Мать Божия: «Ныне огради нами в новозданной стране сей область внутреннюю, в ней-же токмо чисти сердцем и прохождением Духа бурна испытанные обитати будут, и каждый зверь дивий и каждый стебель сельный добр будет, и каждое дыхание восхвалит Господа.»

9 Тогда сел Георгий на коня белого и копие пламенеющее к земле склонил, и помчался на коне копием бразду ведя по земле глубокую, и превеликую округу обвел, яже есть земля наша срединная.

10 И в иных местах почву копием прободал, и вырывалась там из расселины волна воздушная от Фисона реки, под браздой текущей, и наполнились все бразды быстротекущим потоком эфира чистого из сокровенных недр Едема первого. И обтекает с той години землю нашу река эфира премирного.

11 И возвращается Георгий, и рече Богородице: «Се Мати Божия, дело соверше, еже далá еси мне, да сотворю».

12 «Правы сотворих стези Твои, и напредь земли Твоя, сохраняя, не оставлю».

13 И рече Иоанн: «Глагола нам Сын Твой в дому Отца Моего обителей много суть. На сей же земле богострадной едино ли обратил святою обитель? И не мнози ли суть кротцы и чисти сердцу иже в места сии приити не возмогут?»

14 Отвеща Мать Божия: «Не тужи, Иоанне. Будет и иная страна святая, егда поспеют сроки, и обитель нашу инде сотворим, сия же земля отойдет в покой Господа».

15 «Сыне Георгие, почто сестер твоих в земле полнощной, в дубравах темных оставил еси? Там они, во мраке неведения сидяще, со древами срослися и волчим млеком младенцев своих питают.

16 «Иди и просвети их, и с ними всю землю ту и все в ней живущее, и дубравы те окрести. Естество не премени, но и волков Слову Божию научи.

17 «И не прежде изыди из страны той, неже стрелу свою в недрах не оставиши: после многих годин стрелу золотую твою обретет избранный, местам тем и народу тому во спасение».

XII

1 По сем внезапно нападе на мя ужас греховного корене моего, и внутренняя скверна моя помыслу испытующу сицева обличися, якоже мало не впасти ми в горший грех, еже есть уныние.

2 И бия перси своя, совесть вопрошах, како от слов старцевых абие не убегах ниже сокрыхся, обаче в чертог брачный вступил есмь в одеянии небрачне, облоку святых приложился, смраден и срамотен сый.

3 И мышлю: бес бе, за безмерие и безнадежие мое послан мучити мя, иже, подобие плоти моя приемь, образ мой показа нага и пьяна, и растленна, и гнусна, и ручашися ми, аки во скит заблудшу из блудилища, и укоряше мя, почто, от него отлучься, особь утвердихся самовольно.

4 И приступив ко мне требоваше, да вниду дыханием в ноздри его, и паки едино будема. Аз же возгорехся гневом при слове том и силу крестную призвах с упованием, и исчезе призрак.

5 Толкаше во дверь мою старец и, вошед в келлию, рече: «Не ведаши ли, яко днесь тридесять лет исполнишася жития твоего; начаток убо деяний твоих день сий да будет. Отпускаю тебе из-под начала моего: отпускаю же тебя на единоборство с князем мира сего, не повеление тебе даю, но благословение, во еже аще совет мой возлюбиши, первее убо оженитися, последи же сана священнического взимати. Дерзай, чадо, яко время приспе и уже и ексарх тебе зовет на некое дело».

6 Глагола ми ексарх: «Вооружися в бой и возьми под руку твою сотню конников с проводником испытанным: прискакати настоят к некоему кастелю уединенному окрай пустыни персидской, прежде неже вселится вонь сила вражия.

7 «Спасается в стенах тех сирота гонимая, царевна Параскева праведная, с девами христороубицами, сама возрастом юная, ста-

лица мудростию да муки протерпением: убиена быша отец и два брата ее во имя Христово.

8 «Гонение же воздвиже брат отчев: сей, щедрот великого всея земли оныя государя взыскуя, наипаче же диадимы братнея, святого крещения отречася, неверных закону присягнул. Ктому же некому владыке радетелю, Параскевы прекрасная вожделеющу, угождая, деву, под рукою родича сущу, отдати обещался. Тем убо, сыне, исхитити ю из зева адова не укосни».

9 Единовременно рать наша и спира вражия, злодеем предводи-ма, к острожцу малому приближишася, и воскрича чрез поле, гласом зычным военачальник: «Прочь за рубеж, шака разбойничья! Вем, почто пришли есте: царевну украсти и земли ее присвоити».

10 Отвечал аз: «Именем Георгия, его же копия крещением, повелеваю тебе: отыди от стен святых, хриstopродавче!» Ярым распалился гневом и меч воевода обнажи; аз же нань устремихся, и щит его сулицею раздробих, и самого из седла испихнух, и наземь повержену шлем на главе мечом разрубих, главы же не повредих.

11 Возгоревшуся же свару воинску, во прахе простертый, малодушен сый и боязлив: «Гоните коней, кметы!» возопи: «к войску возвратимся и полки приведем, за сим бо сила идет великая». И погнаша коней борзи и утекаша.

XIII

1 Возведе на мя представша очи своя царевна, и мняшеся ми зрети синь прозрачну и множество светов в ней, и множество ликов, некогда знаемых, и ее самое узрех в духе, стоящу у подножия креста Христова.

2 И рече ми: «Благословен приход твой во спасение нам, витязю Господенью из царства Иоаннова». И яко аз безмолствовах, паки рече: «Почто на мя дивишися?»

3 «Почитаю ангела моего, святую Параскеву, и ее ты душу сквозь мою видиши. Ей-же дано бысть Христовы страсти лицезрети и Ему священнотайне распрятися».

4 И найди на мя по молитве мгновенной дерзновение, и возгласих: «Не прежде спасеши на земли (на небесех бо уже спасена еси), неже под рукою мужнею будеши, ибо ныне под рукою брата отчева пребываеши опасно».

5 «Иди за меня, аз же за отца тебе и за брата буду». И вопроси дева: «Како сие будет, поелику единый мне Жених, Его же сретю, Христос Иисус есть?»

6 Отвещах убо и рек: «Ниже аз брака хочу, да плотию брачуся, и обою нерушимый обет принесем в девстве сожителствовати, аще и нарицаемися от людей муж и жена».

7 И отпусти мя рекущи: «Господня раба есмь, и якоже указано мне свыше будет, тако сотворю». И исшед помышлях в себе, в том свете синем душу мою омывая чисту: «Не мню Жених быти, но друг Женихов».

8 И внезапно увидех, яко тоя благостыня в сердце лиющияся рекою небесною николи не избуду.

XIV

1 Кастеля защитников вооружих и рати нашей придадех; дев же и домочадцев на вельбудов посадих с достоянием царевниным; царевна же на вельбуда бела златообузdana вседе.

2 И отъиде поезд царевин, путь держа в серединную землю, мы же на ночь в кастеле водворихшися, и наутрие тем же путем последовахом, во еже поезд ограждати с тылу.

3 Но не бысть за ними погони, не преуспе предатель, во свояся пришед, на землю нашу поход воздвигнути, и поднесь сохранила Параскева царство свое в пределах державы нашей.

4 Егда же приближешася поезд к царствующему граду нашему, догнах аз, ратников моих упредив, путешественницу, покрывалом белым одеяну и на вельбуде белом, аки в зыбке колеблену; но на слово приветствия моего молчаше царевна.

5 Сошедшема же како наземь в садах ексарховых, в сретение изыде ексарх и с ним запечатленных двое; и рече единый, на царевну указыя: «Се невеста твоя», и другой, к царевне обращься: «Сей есть жених твой».

6 И простре мне та руку свою, и обручили ю со мною запечатленные, и в церковь ведоша, идеже на брак девственный обвенчани быхом. И дана бысть Параскеве с девами ее обитель в башне из кости слоновыя, мне же в келлиях, близь лежащих.

7 Вскоре же яша мя запечатленных шесть и изведша в места пустынные рекша: «Взойдем, труждающесе, на крутизня сия, и узрим обитель Иоаннову».

8 И помыслих в себе: «Никто же, разве орлы горние селю обитати можат». Воздвигаются бо окрест, едина на другую налегающе, скал неприступных с острями и обрывами громады, око ужасающие теснотою дикою.

9 И внезапно узрех в глубине ущелия, расселине узкой и мрачной подобна, свод округлый и соразмерный, в скале иссеченный и изящными украшен с высоты до-низу изваяниями листья и цветов и плодов, и одесную свода Агнца изображением с титлом Христовым, слева же сердца, семью мечами пронзенна, а в венце свода орла поряща.

10 И преступихом праг камня белого и внидохом во мрак пещерный; и на мгновение ока огляделся в церкви круглыя и светлыя, но абие сомкнув очи и на колени в молитве упав, восхищен был в духе камо не вем. Памятую токмо яко перста мироточиви касание и руку крапильну на плечи моя и на главу мою нисхождение.

11 И изведома мя братия за праг до преддверие, и лобызаша мя глаголюше: «Днесь имя тебе Иоанн: запечатлете еси Духа Свята печатию, и священник стал Бога Живого, и поставлен правиши землю нашу державно. Достоин, достоин, достоин».

12 И возвратихомся запечатленных семь; последи же и самого любви апостола лицезрети удостоин бых в отсиянии некоем славы его.

XV

1 Царицу именуют Параскеву людие и за святую почитают, меня же не супругом ее быти гадают, но обручника и блюстителя; и праве сие рекут, блаженства же, от избытка ее текуща в лоно блюстителево, не ведят.

2 Но и сами часть имут в благостыни ее, и прикоснуться желают покрывалу ее, да укрепятся и утешатся и в дома своя принесут отраду и мир.

3 И тоскующие в разлуке с милыми и об отошедших плачущие, яко Рахиль о чадах, яко не суть, чудесно утешены бывают: приподыме перед ними покрывало свое, и на мгновение ока увидят скорбящие лицо любимое и весть некую в сердце примут.

4 И перед слепыми лик свой открывши, зрение тем не единожды возврати; еже тако ли случашеся или ни, аз не вем, Бог весть.

5 В пяток же великий, до зари из обители своя исшедши, по дальним дорогам боса ходит и, где на пути отдыхает, народу сопровождающу о страстях рече Господних с силою самовидческою; и на тех местах церкви воздвигают во имя ангела ее святе Параскевии Пятницы.

6 Но и сказанное довлеет, дабы ты видел, каковый вождь на путях моих мне ниспослан есть, яко Рафил архангел Товии.

- 1 Се великое, брате добролюбивый, поведлах, сие же под печатию молчания, да никому не открыши,
- 2 токмо боголюбивой царице, боголюбезной Отраде, от Господа тебе посланной во спасение, и слепцу великому и славному родичу твоему Радивою, иже и Светомира ко мне приведет, зане сын твой с любовию за ним последует.
- 3 Аз же и посольство к тебе нарядил и послание сие написах не братолюбием токмо движимый, но и по приказанию свыше, да заповедаю ти сына твоего в царство Иоанново отпустить, идеже и воцелен, и возвращен, и воспитан, и укреплен будет на дело великое, еже избран есть да совершит.
- 4 Извести хотят в дому твоем царевича слабоумного, того, кто умудрен снов памятью предмирною; но спасетися царство еже строитель обличье даст упованию земли. Под Иоанновым прикровением сын твой миру сохранен будет.
- 5 Размыслите убо о словесах моих, друзи любезные и боголюбивые, и дерзайте Вседержителя волю исполнити, Ему же и подобает честь и хвала во веки веков. Аминь.

КНИГА ШЕСТАЯ

I

Настал день венчания на царство. После патриаршей службы в соборе, обряда возложения венца и молебна построилось торжественное шествие с патриархом и с царем; и двинулось оно из церкви ко дворцу через площадь, полную народа.

Светомира в собор не взяли, но порешили, что он будет присутствовать на большом приеме в царских палатах. Царевич стоял у открытого окна своей опочивальни в верхнем жилье и зачарованно смотрел вдаль на сказочное зрелище. Развивались драгоценные ткани хоругвий, шитых золотом, серебром и яркими шелками, горели, переливаясь, самоцветные камни на облачениях, на ризах и крестах.

Светомир увидел мать свою, идущую в царских одеждах — «Какая красивая!» — Он радостно бросился к ней навстречу через окно. Глеб успел схватить его, обнять на лету, но не смог его вернуть и упал с ним вместе.

Крик ужаса раздался в народе, заглушил церковное пение. Князя и царедворцы побежали к отрокам, недвижно лежащим на земле. Глеб был мертв, разбит до неузнаваемости. Царевич казался тихо спящим, невредимым, но сердце его не билось, жизнь отошла.

Владарь подошел к нему и опустился на колени. Патриарх благословил тела. Царь взял Светомира на руки. Встал. Глеба бережно унесли. Крестный ход построился вновь и направился во дворец.

Величаво и покорно, без слез шла Отрада. Рядом с нею Владарь нес на простертых руках, точно жертву, тело своего бездыханного сына.

II

Светомира порешили похоронить подле Гориславы в заповедной дубраве Егорьевой. А Глеба рассудили отвести к его матери на кладбище староселья Горынского.

До погребения надлежало, согласно обычаю, выставить на три дня тело царевича в открытом гробу для свободного доступа к нему народа.

Владарь повелел было убрать просторную соборную церковь белою парчею, шитою золотом, и белыми цветами, но по умолению Отрады он переменял приказ; и Светомира отнесли в излюбленную царицею маленькую молельню. Была часовенька эта построена внутри ограды дворцового сада в пещере у подножия зеленого холма.

По утрам гроб выносили из пещеры и ставили перед входом в нее на помост. По вечерам, когда посторонние уже более не допускались, покойного возвращали в часовню, куда к нему приходила семья царская. Днем и ночью беспрестанно над ним читали молитвы и пели псалмы.

Светомир как в час своего падения казался не умершим, а спящим. Лицо сияло тихим светом. Никаких знаков порчи: руки белые, ногти розовые, а кругом лишь благоухание цветов. И пронесся слух в народе, что тело царевича нетленно. Вспоминали юродство его, юродство блаженного. Иные даже поговаривали о чудесных исцелениях у его гроба. Стечение народа было великое.

В конце третьего дня отслужили торжественную всенародную панихиду, и открытый гроб с умершим царевичем в последний раз внесли в пещеру. Там после прощального обряда тело собирались закрыть навсегда.

Стольный град снаряжал уже погребальный поезд, что ранним утром должен был двинуться на криницу Егорьеву.

III

Вслед за патриархом и святителями в часовню, где молился Парфений, вошли Владарь с Отрадою, Радивой, важнейшие владетельные князья, думные бояре, воеводы и люди вельможные.

Началась заупокойная обедня. Пряма, нахмурен, точно сердит, стоял Владарь. Думал: «Собирались мы на кринице благодарственный молебн служить; молиться о сохранении Царства нового, о здравии семьи державной и государю победительная на врага даровати. Вот и лежит путь царскому поезду нашему назавтра в дубраву Егорьеву, да не на радость...»

И привидилось Владарю: едет он с Отрадою; за ними народу тьма тьмушая, впереди дорога стелется без конца в длину. Вдруг крик в народе, все кругом рушится, уходит под землю... «И посадили его

..... в погреба глубокие,
защитили щитами дубовыми,
зادвигали досками чугунными,
засыпали песками рудожелтыми...»

И царские одежды его обращаются в саван, и венец на голове его в венчик погребальный. Это он, Лазарь, лежит там под свечами, и плат белый его покрывает... И голос слышит утешающий, увещающий:

‘Подымаются ветры буйные,
Разносили пески рудожелтые,
Раздвигали доски чугунные,
Разметали щиты все дубовые,
Выходит Егорий на вольный свет’.

«Голос матушки!» Вздрогнул. «Умерла ведь моя матушка». Хор громко пел: ‘Благослови душе моя Господи... обновится яко орля юность твоя’.

«Нет, это я встал вослед кресту, а вот сын мой навек под крестом ляжет». И вспомнился Владарю Светомир со свечью в руке как он еще младенцем в церкви стоял на панихиде по воинам, на Волчьем Поле умершим, как свеча его будто всех молящихся вела; и думу о нем свою тогдашнюю вспомнил: Кому как не таковому и царствовать?

«А кто теперь по мне царевать будет? Сыну моему отроком в землю сойти — вот она разгадка всех гаданий, гороскопий, знамений великих».

‘Иже всем человеком хотяя спастися и в разум истины придти...’ пели иноки. «Юродствовать да блаженным быти царю, видно, не подоает. Без возврата солнце рода нашего закатилось. Ни спасения в том нету, ни разума».

И ужаснулся Владарь мыслей своих и мерзости своей. «Услыши мя, Господи, в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Да исполнится о сыне моем воля Твоя».

Онемелая от скорби склонилась над гробом Отрада. Наглядеться не могла на сына милого. В переливчивом свете лампад и свечей лицо Светомира казалось не только живым, но и меняющим выражение. И чудилось Отраде, что он ей улыбается.

Никто не решался к ней подойти. Наконец Парфений отвел ее в сторону, благословил и тихо сказал: «Не плачь, чадо. Усердно молись Пречистой. И ко мне в пустынь приходи через четыре дня. Веруй. Тако да исполнится всякая правда».

Все вошедшие в часовню вослед за царем и царицею — князья, бояре думные, воеводы и люди вельможные — стали чередом подходить на прощание с царевичем; крестились, целовали ему руку.

В последний раз над усопшим пропели «Со святыми упокой...» и «Вечную Память». В последний раз патриарх благословил тело. Наступила тишина. И дубовая крышка тяжело опустилась на гроб.

IV

Полночь уже минула, когда все разошлись. Парфений повелел инокам на час удалиться и, оставшись один, погрузился в долгую, глубокую молитву. Потом подошел ко гробу, отомкнул запоры и, с неожиданной силою подняв крышку, опустил ее на пол.

Продолжая читать молитвы, он омыл лицо, грудь и руки Светомира водою, принесенною из криницы, снял венчик с его лба, покров с его ног и вынул из сжатых пальцев отрока разрешительную молитву.

Старец обнял Светомира, взял его на руки, вынес из пещеры в сырую звездную ночь и, ставши на колени, бережно положил его на весеннюю, почти голую землю. Он знал, что царевич не умер, а спит.

Парфений вернулся в часовню. Подошел ко гробу, распротер саван по его дну, положил венчик у изголовья и вынул пергаментный листок с начертанной на нем разрешительной молитвой. Благоговейно приложился он к листовику и преломил его на три части. Начало молитвы положил рядом с венчиком, а конец ее и серединную часть упрятал у себя под рясой на груди. Крышку он примкнул ко гробу и замкнул запоры как они были замкнуты допрежде.

Старец тихо молился и плакал. Вышед из пещеры, он склонился к распростертому по земле отроку и коснулся своим наперстным крестом его губ: «Серафиме проснись! Настало тебе время. Проснися Серафиме, встань!»

Отрок вздохнул, открыл глаза и радостно протянул к Парфению руки: «В какой чудесной стране я был: слоны, волки, единороги белые; и лошадь всех белее и прекраснее, и Егорий храбрый на ней. Он едет, а за ним Мать Божия идет. А в руке у Егория луч золотой, стреловидный. И ту стрелу светлую он мне в руку вложил и говорит: 'Отныне она тебе служить будет'. Тут я и пробудился».

— «Аминь», сказал старец. И после долгого молчания: «Нам пора, пойдем, Светомире».

Он надел на царевича рясу черную, обул его в сапожки мягкие; взял старец отрока на руки и донес до ограды сада; опустил на землю, сказал: «Теперь иди со мною».

Стражники у ворот благоговейно склонились перед Парфением, прося благословения. Никто не заметил маленького служку, идущего рядом со старцем.

В утро четвертого дня после похорон Светомировых отправилась Отрада в обитель Парфения. Как стала она выходить из чащи лесной на прогалину, видит: восреде ей ступает степенно бурый медведь, и весело бежит, его обгоняя, отрок стройный в коротенькой ряске. Узнала Отрада сына своего и не удивилась: обрадованная, она появление Светомира с умилением приняла яко дар благой, обетованный. А он ринулся к ней, ее увидя, прильнул к ее ногам, снизу вверх в глаза ей, смеючись, заглядывает: «Пришла, пришла!», восклицает.

Села царица на свежую траву, Светомира на колени к себе взяла. Сел и медведь чинно с ними рядом. И загуртил Светомир: «Хорошо мне тут; все хорошо, только тебя не было. Говорю я отцу Парфению: 'Давай с тобою за матушкою сходим'. А он мне говорит: 'Не скучай. Подожди немного. Она сама к тебе придет, твоя матушка'. Вот минули три денька и три ночки — ты и пришла».

Вскочил вдруг Светомир, медведя гладит, треплет: «Пойдем, Мишка, плясать!» И стал со зверем в обнимку прыгать, кружиться, кувыркаться. А медведь со прогалины в лес убегает, за деревьями скрывается, в прятки играет. Светомир за ним бежит, его сыскать да поймать ищет.

И примечала Отрада, что сын ее, в догоне за медведем, чрез сучья и кочки перепрыгивает, все деревья старательно обходит, на стволы их не натывается. И думала она, улыбаячись: «Скажут скоро люди: 'здоров царевич, и нету в нем юродства никакого'; станут уповательно глядеть на него. А Владарь то, родимый, утешен будет; хоть и напрасно, а больно печалился он об наследнике своем: 'царевичу, говорил, подобает разум земной и крепкое на земле стояние'. Светомир же наш с младенчества Матерь Божию возлюбил; вся внутреннее его имя святое Ее, не устанет он и с земным разумом прибегать к помощи Предстательницы за нас победительной, и она, Пречистая, его завсегда на путь праведный наставит».

Вдоволь наигравшись, обернулся Светомир к матери. Она позвала его: «Уж больно ты расшалился, Светомире; вишь как запыхался, отдохни». Светомир лег на землю подле Отрады. Малое время оба молчали. И заговорил Светомир:

«Помню Деву Пречистую, как наказывает Она мне по лестнице высокой вниз идти. Гляжу вниз — земля подо мною далече, далече. Иду, и мне не страшно. Прямо во град наш по той лестнице и сошел».

— «Рождение свое на землю вспоминает», подумала Отрада.

— «А свет-Егорий стрелу мне дает золотую: 'Летай' говорит; и понесли мы со стрелою по поднебесью. Спой, матушка, песнь, какую

ты пела, когда я маленький был, спой как Матерь Божия Свой сад навещает».

В раздумье молвила Отрада: «Спою: Не все досель сбылось что песня та напела.»

Светомире мой, детятко светлое,
свете мирный, тихо дремли.

Ты расти во сне, сила Егорьева,
на обрадование земли.

Промеж моря и моря остра гора,
на полугоре Девий храм.

В том лесу, во дубу золота стрела;
Я Пречистой тебя отдам.

Ты, светла сестра, ты бела гора,
во дубраву ты сон мани.

Ты свята пчела, золота стрела,
во хрустальной с ним усни.

От возгорья по долу зеленый сад,
до синя моря вертоград.

Из ладьи выходит Пречистая,
навещает свой вертоград.

Осенит тебя Дева Пресветлая, —
мирно, свете мой, почивай.

Вынет душеньку, белу горлицу,
унесет в невидимый край.

Как вернется во храм девья странница, —
Серафиме мой, тихо дремли. —

Встанешь витязем в силе Егорьевой
на обрадование земли.

Увидела Отрада, что сладко спит Светомир, а из бора на прогалину выходит Парфений. Она осторожно встала, чтобы не разбудить отрока, устремила к старцу, склонилась пред ним до земли и стала благоговейно целовать край его рясы.

Старец сказал: «Возблагодарим Господа за чудесное спасение царевича. Светомир другой раз из горнего мира на землю упал, и она, мать-земля, исцелила его прикосновением».

Замолк Парфений, тихо молился. Потом поднял Отраду и усадил ее подле себя на траву. — «Но все-же, чадо мое возлюбленное, покинуть должен царевич здешние места: искавшие душу отрока злых помыслов

своих не оставят, иные еще и пуще осерчают, что здоров стал и править государством способен. Надобно спешить; а то дойдет до слуха их, что жив царевич.

«Покуда сохранялись удержаны глаза Светомира, и он ни времен, ни пространств не разумел, был он в духе чудесно ведом и наставляем, а ныне как открылись глаза его на зрелище мира, сам он должен избирать и идти. Райское будет видеть с мирским вкупе, но видение сие свыше наказано в днях и делах являть. Отныне всякий час откроет ему путь да путь, и ни один с горним несовместен; и что ни шаг, то грех и страда.

«Вот уж и послы Иоанна-Пресвитера в обратный путь собрались. Они, сами про то не зная, Светомира с собою уведут. Князь Радивой с ними пойдет и соблюдет он царевича. В Белой Индии сын твой, Отрада, не токмо телом укрыт будет, но и духовную крепость обретет.

«Светомиру Иоаннова мудрость нужна; от Пресвитера-царя услышит он слова истины, которые послан исполнить. И в срок назначенный царевич от святого Егория стрелу получит непременно, и станет та стрела его питать и во все края носить, и во всем покорна будет руке его.

Сказала тихо Отрада: «А меня, отче, на что благословляешь — с мужем ли остаться, за сыном ли идти?»

Отвечал старец: «Когда ты еще отроковицею была, государыня, открылось тебе в видении как Матерь Божия по земле святыми стопами проходит, а где проходит, там и Рай; и в том Раю Она есть Древо Жизни. Вот ныне я тебе и другую тайну поведаю: В земном Раю и по сей день род Ее длится; и Сама Она, Пречистая, проходя, указывает на тех, кто Ее рода. На Серафима твоего Она указала и на некое святое дело его предназначила: должен он Ей всю жизнь послужить. Да исполнится о нем воля Божия всесовершенная и всеспасительная. А ты дерзновенно надейся. Если и телом отсутствовать будешь, духом будешь находиться с ним».

Загрустил Парфений и в думу глубокую погрузился. Оба молчали. И опять заговорил старец: «В укрепление молитва твоя Светомиру явится, но более еще чем за сына светлого должно тебе усердно молить Спасителя за мужа твоего, дабы на недвижимом камени заповедей Своих утвердил Христос сердце его и помышление.

«Трудно Владарю управиться с державою, которую он сам построил. Ты была при нем охранительницею верною. Отныне же одному ему надлежит чрез испытания мирские пройти. Испытания погибелью грозят, и многи будут бороться его страсти, но Христос, приснонеоскудевающий источник благодати, напоит водами благочестия жаждущую его душу и исцелит Владаря от немощи духовной, как от немощи телесной (она-же не вовсе телесная была) ранее исцелил его чудесно.

«В монастырь иди, царица. С юности твоему сердцу вожеленный постриг ныне тебе приять дозволено. Со державным супругом твоим до сей поры в миру жити, впредь-же без него, за него в келлии молитвенницей по гроб труждатися — твой, Господом тебе назначенный, радостный и страдательный путь».

Ответила Отрада: «Да будет нам по слову твоему, отче Парфение» — и припала к ногам старца.

Парфений передал Отраде ларец малый деревянный и сказал: «Возьми сей ларец, государыня; в нем лежит срединная частица молитвы разрешительной, что со Светомиром во гробу была. Проси игуменью Меланию, старицу строгую, ларец у себя хранить тайно. И не увидит она смерти доколе не возвратится на родину царевич; его-же признают, опознают через молитву ту. Теперь поиди, простиись с сыном твоим.

Подошла Отрада к Светомиру, стала на колени, долго на спящего смотрела. И увидела даль дней и жизнь сына многотрудную; смутилась в сердце своем, но тут-же и скрепилась: «Отпустить я должна тебя, Светомире! На подвиг назначенный отдать тебя всем сердцем и разумением хочу; хочу, Пречистая, помоги моему нехотению».

И молилась, истово шептала: «Светомира убереги. Душу рабы Твоей, Евфросинии, Господи, за душу сына возьми». Перекрестила, обняла в последний раз отрока, встала, хотела идти.

Старец подозвал ее, говоря: «А государю ничего не сказывай. Не может в час сей душа Владаря выдержать бремя решений. Неудобно Господу допускать испытаний не в меру. До времени царя надо от напасти двоящихся мыслей уберегать. Когда же настанет положенный срок, сын отцу сам тайну откроет. Иди, царица, с миром».

Отрада подняла вежды на Парфения, в глаза ему долго смотрела, молча давала обет; потом перевела взор на Светомира, отвернулась и ушла, не оборачиваясь.

VI

Призвал к себе Парфений князя Радивоя и, отослав его поводырей, рассказал ему про чудесное спасение Светомира и, все поведав, дал ему скриницу, говоря: «Содержит ларец сей последнюю часть разрешительной молитвы, начальные слова которой во гробе царевича остались и вместе с пеленами погребальными у криницы Егорьевой в земле похоронены; срединная-же часть молитвы в ларце твоему подобном царице Евфросинии поручена.

«Когда исполнятся сроки, и Светомир в царство свое воротится, он молитву воедино соберет, и она к признанию его послужит, ибо люди многие самозванцем его обзывать станут и на него ополчатся.

«А ты, князь, к Иоанну-Пресвитеру пришедши, ларец сей с приветом смиренным и покорным от старца Парфения царю передай. И о чем бы он не спросил, все без утайки сказывай; но и без слов ему дни и дела наши ведомы».

— «Все исполню как наказываешь, отче преподобный», отвечал Радивой.

— «Царевич с послами Иоанновыми и с Симоном Хорсом в путь немедленно отправится», продолжал старец, «и Хорс не столько детоводительствовать отрока будет, сколько ему служить и покорствовать. И сие волхву во искупление заблуждений многих вменится.

«А ты, князь, от посольства до поры отделись и с дочерью твоею не ране к нему пристань как за горами высокими, чрез которые о царевиче слух в царство наше не прйдет».

— «Открыты пред тобою, отче, сердца наши», сказал Радивой; «знаю: не того ты опасешься, что Светомир, меня опознав, себя выдаст, а того ты опасешься, что дочь моя царевича предаст. Уж больно она его невзлюбила! Не иначе как юродивым дурачком обзывает, и о смерти его ни мильски не печалится: «Так ему и поделом», говорит зачем он, невеглас, через окно-то полез?» Мои ли грехи, грехи ли всего рода ее вавилонского нечестивого на Радиславу пали, но порчена от самого рождения дочь моя, и по убогости моей духовной отмольть я ее не умею. Стала она добычею сил недобрых».

— «Никак», возразил старец. «Не сокрушайся, христолюбивый князь, и себя понапрасну не кори. Воспомни как Иоанн Богослов про исцеление слепорожденного рассказывает. Иисус 'мимоидый виде человека слепа от рождения. И вопросиша Его ученицы Его, глаголюще: Равви, кто согреши, сей ли, или родителя его, яко слеп родися; Отвеща Иисус: ни сей согреши, ни родителя его, но да явятся дела Божия на нем'.* И слепой стал зрячим. А ради чего Радислава с малолетства болеет — сие тебе в час положенный откроется».

Помолчал Парфений; потом еще сказал: «Чиста душа отроковицы. Бесы же обыкли устремляться на место свято. И по разному изловчатся. Обманщики они злохитрые и обольстители. Посланниками Божьими прикидываются. Но чистые души по милости Господней дар имеют духов благих от духов лжи отличать, и над праведниками бесы не имеют власти.

«Зачастую бесы образ суженого принимают, на лжепризнание подстрекают невестино сердце. Но, коли в сердце благоволение, оно, даже и силами злыми одержимое, из плена бесовского высвободится, обман-

щика и самозванца под личиною жениха желанного и жданного распознает, обличит его и отвергнет, и отгонит.

Еще и тако бывает, что не обольстителями бесы являются, а клеветниками; ищут образ суженого исказить, дабы не допустить признания. Зеркало кривое подставляют, глаза души невестиною испортить нарывают. Приносят, вселяют бесы страх, ненависть и злобу. Но вот: душу избранную позовет жених, идущий во имя Господне, и радостно встретится душа. Ушами и очами любви своей истинного суженого услышит и узнает, и сгинет навожденье».

После долгого молчания старец еще сказал: «А за Радиславу отроковицу не тревожься. Бери дочь твою, иди с нею в страну благословенную. Сроков не пытай и не торопи. Предивны дела Господни».

Воскликнул Радивой: «Надежду возвратил ты мне, отче преподобный, бремя тяжелое с души снял».

Старец Парфений задумался, загрустил и стал молиться говоря слова пророка Исаии: «Непостижимы судьбы Господа и неисследимы пути Его. Кто исчерпает воды горстию своею и пядию измерит небеса? Кто уразумеет дух Господа?»

И, отпуская Радивоя, обнял его старец Парфений и дал ему целование не только в лицо, но и в плечо как целуют сослужащего во храме.

VII

Собрались к себе в Белую Индию послы Иоанновы. Владарь позвал их в свои палаты, и на прощание, как и при первой встрече то было, принял их с царским почетом.

Но невесело было в хоромх государевых: тишина стояла там, смерти подобная. Царица в монастыре укрывалась. В терему ни смеха детского, ни возни веселой не раздавалось.

Мрачен был Владарь, будто даже суров, хоть, казалось бы, ничем от прежней не отличался по любезности и ласковости беседа его еллинская с гостями чужестранными.

Даров наготовил тьму тьмущую. И в скринице золотой под запором послам передал для Иоанна-Пресвитера эпистолию, своею рукою написанную:

‘Царь Владарь боголюбезному, могущественному пресвитеру и автократору Иоанну радоваться,

‘Благодарение прими за все дары твои щедрые и сугубо за заботу о сыне моем. Услышал я в словах послания твоего повеление Господне,

и вкупе с царицею, супругою моею Отрадою и с возлюбленным родичем моим Радивоем порешил Светомира, — телесного убережения и душевного воцеления ради —, к тебе, многомудрому духовидцу послать и благодатному детоводительству твоему поручить. Но Бог судил иначе: погиб царевич.

‘Благослови, великий Запечатленный, новое царство мое на победное и славное, и меня, молю, помяни, Иоанне благоверный, в твоих чудодейственных молитвах.’

VIII

На пути возвратном, неподалеку от криницы Егорьевой, повернули двенадцать пресвитеров в сторонний лесок, что вел в пустыньку Парфения, а черноризцев с собою не взяли. Хорс вызвался проводить святителей до хижины отшельника.

Беседа старца с гостями желанными была долгая и важная. Говорили об общении святых и о связи двух Белых царств.

А когда настал срок прощания, привел старец Парфений Светомира, обнял его и благословил, наказывал следовать за святителями. Хорс приветствовал царевича с умилением и поспешил укрыть его в своем возке. И после, во все время долгого странствия пествовал отрока с заботой и нежностью вельможа византийский, постельный кесарев; за дядьку служил он царевичу.

Прошли путники чрез многие города и веси, перевалили чрез горы высокие Кавкаисинские, рекше Урорьски; — тогда пристали к ним Радивой и Радислава с малым числом служителей.

Радостью великою было свидание деда с внучатым племянником. А Радислава и глаз не подняла на Светомира. Коня своего шибко пришпорила, да ускакала дико. Насилу ее отыскали.

Везли князя Радивоя в возке просторном, подушками мягкими изнутри обложенном. А Светомир то верхом на коне, то на верблюде ехал, но по зову деда с охотою к нему пересаживался. А то еще оба наземь сходили, слуг отсылали, и сам царевич, смеючись, точно в игру играя, деда вел — поводырь надежный.

И по прежнему стар да млад, таясь яко заговорщики, о своем тихо гуторили: Радивой сказки говорил, библейские предания повторял и часто по умолению царевича стихи духовные на память сказывал, напевной речью как те калики перехожие, которых, верная семейному обычаю, в дому своем принимала Отрада.

И задумывался порою над сказом отрок даже до исступления. Но, после недолгой отлучки от тела, сразу в себя приходил и весело начинал резвиться и играть как его летам пристало.

Давно привык Радивой к недетским ответам Светомира. Но случилось и ему удивляться: Так, однажды, выслушав повесть старозаветную про Товию, Светомир сказал: «Отец Товии ради того и слеп соделался, дабы на небесное сподручнее ему смотреть было. А когда Архангел Рафаил глаза ему на дольний мир открыл, то он земную тварь вкупе с горней видеть стал, как сиречь Бог ее сперва соделал во дни творения».

И подумал Радивой: «Это он свои прежние тонкие сны вспоминает, уразуметь их ищет».

А Радислава к ним и не подходила. Отделялась понурая и сердитая. Случалось, днями целыми ни слова не проронит. Точно дух немой на нее находил.

IX

Долго шли путники чрез горы, льдом вечным одетые, чрез пустыни, жаром распаленные, и вступили, наконец, в земли язычествующих господарей, крайние области владений Иоанновых державших. Господари сии, как они волею своею во власть Пресвитера передались, послов государя своего принимали с почетом и радушием превеликим.

Преполовилась уж зима, когда послы и гости Иоанна подошли к пределам Срединного Царства.

Далее путь по земле прерывался: обращался он лестницею асбестовой, что вела в поток эфирный коловратный, ограждающий Царство Срединное.

И сказали пресвитеры: «Вот надлежит нам в брод перейти реку сию Фисон, рекою испытания издревле именуемую: коли нечестивый в оную погружается, перегорает в ней весь порочный состав его и даже до смертного испепеления; а коли праведник в реку ветренную вступает, отходит от него вся остаточная немощь его, и сладостно становится ему, и он очищается. Эфир сей всякому человеку лучится, кто к нему идет, да лучится он каждому по разному, ибо отражает какого странник духа.»

Светомир узрел поток синим как сапфир. Радивою он предстал весь в струях столь светозарных, что почудилось слепому, будто свет дневной ему вдруг открылся. Хорсу привиделся он огненным.

Перекрестившись, перешли Фисон двенадцать пресвитеров. За ними Светомир лестницы асбестовые и воды лазоревые безостановочно в детском упоении ножками веселыми перебежал.

Радивой позвал Радиславу, протянул к ней руки, сказал: «Дочь моя возлюбленная, будь поводи́рем моим в землю благодатную.»

Она-же, ответа вместо, пронзительно, голосом нечеловеческим взвизгнула, да стала биться в судорогах с пеною у рта. Такой силы беснования отродясь у нее не бывало.

Радивой стал на колени, пытался слепыми руками поймать, обнять, остановить ее, но она в беспамятстве сжатыми кулаками с неотроцескою силою била отца в лицо и грудь. А он и не защищался.

Черноризцы бросились поднимать князя, но Хорс им воспретил: сам отстранил Радивоя, собою закрыл его от ударов Радиславы, склонился над больной, пытаясь прижать ее к земле. Но вотще трудился он и силою мышц своих, и силою волхований покорить, усмирить неистовую; она не унималась, буйствовала, билась все пуще. В огромных руках своих через силу Хорс держал голову бесноватой, чтобы не разбилась она об камни. Бóльшего он не мог.

Все видел Светомир, стоя об-он-пол реки, и поспешил воротиться. Подбежав к Радиславе, смеючись кричал ей: «Чего ты испугалась, неразумная? И вовсе ничего не страшно! Даже страсть как весело. Ну, вставай скорее, бежим вместе — кто раньше?»

Она перестала биться, лежала точно мертвая. Царевич, играючи, но сильно дернул ее за руку. Она покорно поднялась, и он ее повел. Они спустились по лестнице к броду.

Но на последней ступене, перед спуском в поток Радислава остановилась застылая. Судорога вновь стала сводить ее рот. Тогда Светомир внезапно схватил упирающуюся, оцепенелую и поднял ее от земли на воздух. Опустившись с ношею своею в Фисон, отрок прошел до середины реки и поставил Радиславу на дно потока.

Он сказал: «Иди сама!» И отправился вперед один, не оглядываясь и не давая ей руку.

Она-же медленно, глубоко переводила дух, стояла на месте будто одумываясь; вдруг воскликнула радостно, встрепенулась и легко, стремительно перешла через реку испытания.

Все видившие как исцелилась Радислава дивились чрезвычайно.

Радивой через поток собрались перевести черноризцы, но он сказал, что хочет идти один. Опершись на посох свой из черного дерева с золотым увенчанием, слепец, держась прямо, высоко подняв, обычно никлую голову, спустился с лестницы, благоговейно ошупывая посохом ее ступени. Почувяв под посохом реку ветренную, князь остановился, осенил себя крестным знаменем и, войдя в поток, верными шагами

прошел через него кратчайшим путем будто ведомый кем-то, али сразу прозревший. На берегу Срединного царства Радивой остановился, простерся по земле и, шепча молитвы, припал к ней долгим, благодарным поцелуем.

А всреть ему уже бежала Радислава. Она помогла ему подняться, обняла его, прижалась крепко и нежно к счастливому отцу, ласкаясь как никогда допреждь. А Светомир, прыгая от радости и громко смеясь, изо всех сил широко раскрывал руки, стараясь и не умея охватить обоих, отца и дочь, в едином объятии.

Хорс, спускаясь по лестнице, останавливался на каждой ее ступени и, смиренно становясь на колени, благоговейно целовал ее асбест. На коленях опустился он в быстрину; поднялся и своею обыкновенною ленивою походкою величавого льва медленно перешел поток.

По одиночке двинулись слуги князевы. Инии, перекрестившись, небоязненно через поток проходили. Инии-же, грехами отягченные, в реку эфирную вступить не дерзали и уходили на окраины царства, дабы душу очистить и уготовить для испытания.

Последними Фисон перешли черноризцы-воины.

А святители на берегу служили уж благодарственный молебен и встречали приветствием и благословением пришельцев во Срединное Царство.

Други и слуги Иоанновы давно дожидались путников; стремянные подвели им лошадей белых. И вкупе все — насельники Царства и гости — двинулись ко граду державному.

Х

Путь от Фисона-реки до Града Державного шел через всю землю Срединную.

Наглядеться вдоволь не мог Светомир на шатры масляные, серебряные переливающиеся, на горы, виноградом одетые, на деревья лимонные, апельсинные, плодами яко камнями самоцветными под солнцем пламенеющие.

Наслушаться вдоволь не мог он пернатых певчих ликования разнозвучного.

Надивиться вдоволь не мог на рыб с кровью золотою, на единорогов с голосами человеческими.

И спрашивал Светомир у Радивоя почто это орлы с виду хищные, дол спускаясь, в клюве могучем лисиц и волков уносят, но, полетав с

ними по поднебесью, бережно их на землю опускают неповрежденными, — почто гады и змеи ядовитые ланей да единорогов кольцами страшными обвивают, но не душат их, а с ними играют.

И отвечал ему Радивой, что в царстве Иоанновом звери лютые не лютуют, аспиды смертоносные не жалят, а живут напоминания ради об райском своем первообразе.

Спустя много дней остановились путники у подножия зеленой горы, увенчанной высокими белокаменными стенами. То были стены стольного Вышеграда. И вот открылись в белокаменной ограде, широко распахнулись ворота, и выступили из ворот тех три белых слона и один светлосерый; возвышались на спинах их над покровами парчевыми теремки из древес драгоценных. А следом за ними легко, точно танцая, вышли двенадцать белых коней в белых шелковых попонах и збряух серебряных.

Спустилось с горы все шествие звериное, и каждый слон, и каждый конь без укаски подошел к назначенному своему хозяину. Белые слоны преклонили колена перед Светомиром, Радивоем и Радиславою, серый слон склонился перед Хорсом. Пресвитеры сели на коней. Царедворцы, черноризцы и слуги двинулись им вослед вверх по горе, во кремль державный.

Увидел Светомир улицы, камнями самоцветными мощные, и двор, кружевом мраморным остененный, и двух всадников медных с платами гробовыми вместо забрал и ветвями победными в десницах.

Пройдя во дворце чрез палаты, бархатом, шелком, дамаском обитые, коврами драгоценными увешанные, вступил отрок с родичами и провожатыми своими в пышный, красками яркими расписанный и кованным золотом разукрашенный просторный покой. Возвышался в глубине его престол из слоновой кости с резьбою искусного узора. Вели ступени из аметиста к престолу царскому.

И увидел Светомир сидящего на престоле Иоанна Пресвитера в белом парчевом одеянии, расшитом алмазами точеными и жемчугом.

И услышал он привет Пресвитера: «Радуйся, царевич Светомире! К добру ты пожаловал. Давно мы ждем тебя».

XI

Позвал Иоанн Пресвитер к себе Радивоя и, приказав всем слугам его удалиться, усадил слепца рядом с собою, беседу торопил, говоря:

«С каким, князь, послан ты ко мне наказом важным?»

— «А ты как про то знаешь?» спросил Радивой.

«Чаю благотворное воздействие старца Парфения на судьбы наши», тихо сказал Иоанн.

Тогда повел Радивой долгий рассказ свой про юродство Светомира и про падение его с башни — все, чему сам был свидетелем — про похороны отрока, пробуждение в гробу, чудесное его исцеление и в пустыньке пребывание — все, что слышал от старца.

И как стал рассказывать про беседу свою с Парфением, достал ларец малый, что неизменно хранил на груди своей во все время пути, и передал его Иоанну.

«Вот», говорил, «последняя среди трех частей разрешительной молитвы, которая послужить должна к признанию царевича во царствии его. Когда станешь отпускать Светомира из твоей земли, все ему об молитве поведай, ларец ему вручая. Ранее же царевичу про то знать непотребно. Так наказывал старец».

Принял скрыню заветную Иоанн, приложился к ней как к иконе. Потом сказал: «Признать-то Светомира, признают. Да то ли с ним еще будет. Особо о нем Господь промыслил».

Сказал Радивой: «Как возблагодарить мне Господа, что удостоил меня многогрешного ларец с молитвою сею до тебя довести. И меня недостойного упасла, удержала десница Господня и в царствие твое привела, дабы смог я перед смертью очиститься и мудрости твоей приобщиться».

«Ведомо ли тебе, Владыко, все окаянство мое? Покинул я в юности землю свою родную, отца старого и сестру малую, дабы было где разгуляться на просторе с вольницею моею хороброю да разбойною. А далече на чужбине привелось мне своим буйством иноземное буйство укрощать. И сколь непомерно меня за то возвеличили. Василевса, баяли, законного спас; соправителем соделали; разбойников моих дружиною почетною признали».

«А кого спас-то? Агарянского пуще злодейство кесарево было: не измыслить, кажись, закононарушения божеского ли, человеческого ли, али разврата такого, в каком кесарь тот не истлевал бы».

«Престол утвердил я. Чей престол-то? Иересиарх на том престоле сидел, веры Христовой окаянных басурманов опаснейший гонитель. Те насильовали и замучивали открыто, а этот окромя сего еще и соблазнителем являлся, ересью ядовитою души допрежде праведные отравлял».

«А мне, соблазну ради, дочку свою от первого брака кесарь показал. Красавица, каких не сыщишь, ведьма, бесоугодница приворожила меня, разум совратила, всякую здравопристойность отняла. Потянуло к ней непреодолимо, воспалился я не в меру. Под венец с нею пошел. Да венец-то над нами, видно, сам Лукавый держал. И брак наш законный»

мразью своею да извращением естества прехуже был всякого блудодеяния.

«Умерла в родах дочери нашей Радиславы жена моя. А свекорь державный и вдового меня за наследника почитать не перестал. От молодой царицы, жены своей Зои, детей не имея, незадолго до кончины своей кесарем меня нарек. А я-то тому и рад был: еще и при жизни кесаря за него самовольно правя, с вождением воцарения ждал.

«А как он умер, меня ненавистного, сперва заговорщики ослепили, потом бунтовщики со престола согнали ране чем сесть на него я успел.

«Жесток обычай, но на мне справедлив оказался: зрение мое пороками вконец повреждено было. Сокрушит корабль криво видящий коль у кормила станет. Да и кесарями нам, безначальным пограничникам быть не пристало: не царственна душа наша, не «василики психи», как зовет сие прежний наш постельничий, с нами к тебе прибывший Симон Хорс.

Грешен я: каюсь, сперва в отчаянии негодовал, на Бога роптал. И лишь по времени уразумел зачем Господь, вознесши меня, меня низвергнул. Нераскаянным разбойником на престоле сидя, душу свою загубил бы. А вот уберег меня Господь да и к тебе привел.

Тяжело почил десница Господня на стране царьградской, вероломой. И спасется ли когда — кому весть?»

Сказал Пресвитер: «Неисповедимы пути Господа и милости Его несть конца. Наследие тяжелое приняло царство ваше, и велики испытания на пути его. Но Господь положил надежду воочию вам дати, дабы укрепилось упование.»

Лицо Радивоя, изваянию подобное, оживилось улыбкой: «Не Светомира ли разумеешь ты, великий Государь? Не он ли — надежда явленная?»

— «Ты сказал», отозвался Пресвитер, «Матерь Божия на него указала».

— «Что разумеешь ты, Владыко? Поверяла мне Отрада видения свои про Светомира. Но, мнится мне, иное зришь ты очами твоими духовидящими».

Тихим голосом стал Иоанн слова выговаривать, точно тайну несказуемую через силу открывал: «Дева Пречистая по земле ходит. А за Нею следует ученик, которому Иисус с креста сказал: «Се Матерь твоя». Мимо многих Пресветлая проходит, а на иных указывает ученику, говоря: — «И сей нашего рода». Вот на Светомира она указала. Про то и старец Парфений знает».

Помолчал Пресвитер. Потом еще сказал: «По родству своему духовному Светомиру непременно положено стрелу получитьи, что в урочище

заветном таится, но борение предстоит ему претрудное, чтобы достойным стать владети ею.»

— «Государь», вступился Радивой, «не кончен сказ мой. Родилась Радислава с душою порченною, силами недобрыми уязвленная. А, как начал я о том плакаться перед старцем Парфением, сокрушаться о вине моей, утешил меня старец, говоря, что не по грехам моим терзаема бесом дочь моя, а дабы явиться могли на ней дела Божии. Вот при переходе через реку Фисон они и явились.»

Прилежно припомнив все, что с ними соделалось при реке испытания, сказал Радивой истоиво: «Орудием спасения Радиславы избрал Господь царевича нашего. Не есть ли сие уже начаток дел Светомира на пути благословенном к обрадованью земли родной?»

С умилением и восторгом стал повторять Радивой слова Псалмопевца: «Обратил еси плачь мой в радость мне; растерзал еси вретиче мое, и препоясал мя веселием».*

Встал Иоанн. Нежно по братски обнял Радивоя, проводил его до дверей и передал поводырям.

Тогда вошли к Иоанну двенадцать пресвитеров и передали ему в скриннице запечатанной письмо от Владаря-царя. Долго обо всем спрашивал их Иоанн, благодарил за ревностное его наказов исполнение и с ласкою их отпустил.

А про то, что узнал от Радивоя, ничего им не поведал.

XII

Башня из слоновой кости таила малую, тихую келлейку. В скрытую келлию ту по зову Иоанна пришел Светомир. И увидел в ней Пресвитера и подле него стоящую статную женщину в белом, длинном простом одеянии. Догадался он, что то была царица Параскева. А как подняла она покрывало с лица своего, обомлел Светомир от красоты ее лучезарной. Все глядел на нее, не мог оторваться.

И вот видит: крест подымается; и на кресте Распятый; а она, Параскева скорбная — у подножия креста.

Полдень. Солнце стоит высоко над головою. Почему же убывает свет?

‘Тогда была пятница’; Светомир узнал голос матери. Вспомнил: Она, мать его Отрада, всякий день читала ему по главе из Евангеля.

‘Тогда была пятница и час шестой... От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого’. И ничего не слышит боле. Глухое молчание. Окрест мрак...

Вдруг коснулась уха его, шепчет ему мать: «Слушай, слушай, далече звон... не дыши...» Слушает неземную тишину, и в тишине ищет, ловит звуки, звоны младенческий слух Светомира.

Время стало. Потом опять пошло. Отрок всею грудью черпнул воздух. Благоухание, благовеяние ладана. Синий фимиам светит во тьму, ее прогоняет. Вот проступают уже зеленые лалы древес. Перед отроком сад. И в саду вертеп. И вертеп сей — гроб новый.

Схвачен судорогою страха, смертною тоскою покинутости вскричал Светомир; и тут-же очнулся.

Видит: уветливо простирает встретить ему руки свои царица Параскева. Он робко подошел к ней, припал к ее ногам, заплакал в голос, по детски. И стало укрыто и легко.

XIII

Прошло семь месяцев с того утра, когда Светомир, пробудившись в пустыньке Парфения, увидел над собою не мать, подле которой заснул, а старца. Он тогда не испугался, что матери нет: обвык он, что она порою уходила, но непременно возвращалась вновь к нему.

В течение долгого пути он, хоть и знал, что ее нет с ним, но ему все чудилось, что она догонит их и к ним пристанет. Она не приходила. Тогда он решил, что она встретит их где-то там, куда его везут. Когда ее и там не оказалось, он стал терпеливо ждать, что она вот-вот появится, приедет за ним в чудесную страну. Ждать ему было нетяжело: он неизменно чувствовал материнскую хранительную близость.

Но, в какую-то ночь, среди сна нашла тревога на Светомира: колеблет что-то окрест него тьму и тишину. Он слушает: несутся звуки стройные, прерываются, возникают вновь; он ловит их, сопрягает, повторяет: слова и напевы знаемые — песнь матери! А вот уж и она сама идет к нему, подходит близко, близко, говорит, но невняты ее речи, будто напутствует его; потом, печальная, обнимает, целует его и тихо уходит ввысь, подымается на зеленую, цветами покрытую гору. И он знает, что она уходит надолго, навсегда, что он теряет ее. Он зовет ее, кричит, бежит за нею, бежит изо всех сил, больше, шибче чем изо всех сил... падает.

Светомир проснулся в жару; проболел несколько дней. Душу отрока терзала тоска и обида: как могла мать отпустить его одного, покинуть, не пойти за ним. Ему хотелось спросить про нее, но он не смел, не мог заговорить об ней ни с кем; таился даже от милого, старого друга своего — Радивоя.

Но прозорливый слепец сам обо всем догадался, позвал внука, нежно его обнял, посадил к себе на колени как бывало в терему Отрадином и сказал:

«Напрасно, Светомире, сомневаешься ты о матери твоей. Большим выростешь, все узнаешь и уразумеешь. Ныне-же запомни, что от великой любви к тебе и уберечения твоего ради, приняла она, горемычная, муку разлуки с тобою; и ей сие тяжелее чем тебе».

Светомир крепко прижался к Радивою, спрятал голову на его груди; сердце отрока дрожало от боли, любви и умиления.

С того дня стал Светомир по новому ждать и искать Отраду: ее нет; но вот он думю ее призывает. Слухом осязает шелест ее шагов. Вот она подошла к нему. Она чуть шепчет, дышит, вспомнить велит. И он вспоминает ее улыбку, руки, речи сладкие, песни, особенно песни; жадно ловит звуковую волну; но звуки проносятся, тают, и она уходит с ними. Он остается на всем свете один.

Освобождалась, ширилась душа Светомира, распространялась вдале годов и мест; думая о матери, он вспоминал уже не ее одну, но и убранство ее покоев, свою спальню в верхнем жилье, строгие, важные глаза Зареславы, миловидный облик Глеба, отца, как он серым волком оборачивался и на спине своей его, Светомира, в тридцатое царство уносил; и себя самого видел в пустыньке Парфения, и свою с медведем бурым пляску дикую, веселую; и старца духоносного предносился ему образ кроткий, лицо свежее, округлое с малой бородкою седенькой.

Радостно было Светомиру улетать мечтою в прошлое. Но, терялся вдруг прерывный луч воспоминаний, и, недавно изведенная тоска утраты, которую не знал его детский рай, снова вселялась в сердце отрока; и не умели развеять ее игры шумные, забавные беззаботных его сверстников. И тоска эта учила Светомира, что потерянное прошлое ему не примнилось, а на самом деле *было*, но бывшее не вернется, никогда не повторится вновь.

XIV

Беспечально, плавно текла жизнь Светомира в царстве Иоанновом. Обучали его цифровой мудрости и звездословию, и звездному движению, распознаванию зверей и трав, и всякому художеству. Упражняли в играх, тело и ум укрепляющих: в ристаниях, дискометании, в пении, шахматах, стихописании.

Велел Пресвитер ничего от царевича не утаивать, и все, что самим ведомо ему открывать, но учение не торопить и сугубо беречь отрока в телесных испытаниях.

Но докладывали учителя, что уж больно в науках прыток, любопытен и сметлив царевич; не токмо что торопить не приходится, объяснить не успеешь как он уж все уразумел; будто прежде то знал, и лишь сразу вспомнил от напоминания. А в играх и ристаниях столь ловок и быстр, что за ним и не угонишься.

Светомиру весело было учиться. И не знал он что забавнее — ход ли звезды, али лёт диска следовать, песни вольные слагать, али числа хитро сплестать по законам. Все было хорошо, и все одно другого лучше.

Сладостнее же всего было отстаивать обедни, которые по утрам Пресвитер служил либо в часовне своей малой, либо всенародно в большом соборе. А после трапезы с дозволения Иоанна зачастую садился отрок подле царя примечать как тот порою до поздней ночи государства безмерного своего дела правил.

Дивясь, вопрошал Светомир в недоумении: «Какой ты такой будешь? Автократор али священнослужитель и как величать тебя — Владыка али Государь?»

А Иоанн, улыбаяся, говорил ему в ответ: «Я царь после обеда, а перед обедом — поп».

XV

По вечерам обыкли Иоанн-Пресвитер с Параскевою вести наедине длинные беседы, где в полном единодушии каждый не столько свое утверждал, сколько вскрывал и выговаривал за другого его сокровенные думы.

Вошел однажды Иоанн в башенную обитель царицы с заботою о Светомире на душе. А она его уже предваряет:

«Вот думалось мне сейчас о царевиче нашем, как дано было ему сквозь душу мою недостойную ангела моего Параскеву-Пятницу лицезрети. Двое вас ее видели: ты да он».

Отвечал Иоанн: «И не испугался он Пятницы, очевидицы, участницы страстей Христовых; сразу к тебе устремился; тем самым на распутии жизненный путь свой избрал».

Молвила Параскева: «Долго в памяти держала душа Светомира много того, что человек сразу по рождении в этот мир забывает. Пре-

бывала в горнем мире душа Светомира, а тело, ее носившее, и воплотиться до конца не умело, хождения по земле одолеть не могло. За то люди, духовно слепые, отрока, вещи невидимые обличающего, бредобродом прозывали».

— «А с той поры», сказал Иоанн, «как царевич, с башни упавши, силу земную обрел, и на земле близкое от далекого отличать стал, изгнанницею чувствует себя душа его и тоскует по утраченному раю».

— «Воплощение долнее ценою дорогою покупается», печально отозвалась Параскева.

Иоанн за нее продолжал: «Пространство как Бог его задумал в Премудрости Своей — любовь великая есть; сопрягать оно должно явление с явлением и служить назначено объединению человека с человеком, где каждый, отдавая душу другому, через другого становится целостнее и совершеннее. 'Да будут все едино'.

«А люди исказили замысл Господа, друг друга сторонятся, обратили пространство из орудия единения в орудие разлуки. Страдает человек от разлуки, а превозмочь ее не умеет. Вот и Светомир наш: как стал он даль земную распознавать, так и изведаль змеиный укусы ее — боль разлуки с милыми».

— «Так оно и есть как ты говоришь, Государь», — тихо сказала Параскева. «Обливалась я слезами о кресте думая, и вот вижу: верх, низ и две руки креста знак страшный и священный являют — пространства знак с четырьмя его ветрами-сторонами. Христос на кресте не токмо что со всеми, но и Сам с Собою разлученный, до конца отдается алчности пространства. Но и с креста простирает Он навстречу всем объятия и в них заключает все живое. Он Сам загадку загадал и повелел разгадывать. Кто право решит, тому иго Его станет легким. Вот Светомир и разгадывает».

— «Да, разгадывает», согласился Иоанн, «но то забота будущего есть, разгадка сия. А ране ему надобно себя во времени воцелить. Вот душа его и простирается далече в прошлое воспоминаниями. Допрежь ему нечего было вспоминать. Все случавшееся держал он в памяти безвременной; все присутствовало вместе во всякий час, и любимые, ушедшие из дольного мира, с ним были неизменно, неразлучно».

— «Это хорошо», решительно вступилась Параскева, «что он мир дольный разумеет стал. Ему положено царем быти. А царю надлежит здраво мыслить о земле; не токмо горние, но и земные тайны ведать».

Сказал Иоанн: «Дабы измерить глубину земных тайн, их не иначе мерить потребно как горних стран мерою, — твоею мерою, Параскева. Кому как не Светомиру чаять и вожделеть земных путей правых? Меня же Господь поставил его детоводительствовать. Помози мне: веди его как Архангел Рафаил вел Товию».

Стала Параскева прилучать к себе царевича. Любил Светомир в тереме ее, с нею вместе то Евангелье да Псалтирь, то сказания старины читать.

Но всего больше любил он, когда по вечерам приходила к нему царица и о летах прошедших сказывала; чаще всего про дела темные ромейского автократора Диоклетиана говорила, про той поры мучеников святых жития. И говорила она не так как иные, — ото всех отлично: будто сама то видела, и про то лишь сообщала, чему свидетельницею была.

Звала порою Параскева: «Пойдем, Светомире!» Она брала его за руку, и они принимались бродить по полям и лугам, пробирались через чащу лесную и, когда встречали по дорогам монастыри — знаемые и незнаемые — непременно в них заходили.

Жуткое очарование этих полутемных таинственных обителей завладевало душою отрока. Параскева тихо говорила о жертве Бога, страданиях Христа.

Однажды, было то на крестопоклонной, проходили они лесом, и увидел Светомир часовню и людей, пред нею толпящихся. И пение услышал многоголосное:

Чисты воды ключевые, *
Родники — струи живые;
В темном лесе — студенец.
В тихой сеннице прохлада;
Над криницею лампада
Золотит Христов венец.

В райском поле — огородец.
Цвет лазоревый — колодец.
Говорит с душой Христос:
«Наклонися у криницы,
Зачерпни Моей водицы
Полон емкий водонос».

Спросил Светомир: «Зачем пришли сюда эти люди?»
— «За исцелением пришли», просто отвечала Параскева. «Вот скажу тебе, Светомирушка, про родника сего рождение:

«Тому лет двести уж будет как явилася одному, болящему ногами, ночью в больнице женщина красоты необычной с крестом в руках и говорит: «Хочешь идти на родину?» — «Как-же я пойду, когда и встать

не умею на ноги?» усмехнулся больной и не стал больше про сон думать. А она и на вторую ночь опять предстала ему, и опять говорит: «Хочешь быть здоровым и идти на родину?»

— «Кто ты?» спросил больной. Она ему: «Я — Параскева». И сокрылася. «Параскева», повторил болящий и стал вспоминать житие великомученицы. Родители ее, христиане благочестивые, особо почитали день страстей Господних. И, когда даровал им Бог в сей день дочь, то назвали они ее Параскевою, что по еллински значит *Пятница*. Умерли родители, оставили юную Параскеву наследницею большого имени. А она все раздав бедным, пошла исповедовать Распятого. Было то время лютых гонений диоклетиановых; заключили в темницу деву преподобную, предали на истязание и, наконец, усекли мечем.

«Стал болящий молиться Параскеве, а она и на третью ночь явилася ему и говорит: «Через три дня ты будешь совершенно здоров и тебя отпустят на родину. Вот я наказываю тебе: когда воротишься домой, пройди в лес к оврагу, держась от деревни твоей по левую руку. На полпути найдешь большую муравейную кучу; от нее сойди вниз под горку и увидишь малую яму полную воды, и в ней мой образ. Вычисти яму, опусти сруб, построй часовню и поставь в нее мою икону. И никогда не будешь болеть ногами.»

Через три дня больной начал ходить, и врачи его отпустили. Помогился он Параскеве и пошел на родину. А по прибытии отправился в лес, отыскал в расщелине земли образ целительный. Очистил, глубже вырыл яму, опустил сруб. Вызрел тогда родник, и быстрою струею потекла из него вода. А исцеленный построил часовню и перенес в нее икону.

«Народ стал стекаться к ключевым водам, и многие получают исцеление».

Царица Параскева повела Светомира к роднику. Он видит: вот и криница с ликом Нерукотворного Спаса. Народ расступается; радостно освобождает государыне проход в часовню. — «Как все любят ее», подумал Светомир.

Вошли в молельню. На стене в киоте образ красоты необычайной: Лик строгий, золотистый, точно солнцем озаренный, а глаза уводят взор, на них обращенный, в тот мир, на который глядят сами. Одевание яркое, красное. В десной руке золотой крест; и крестами золотыми сияет нимб над головою. И надпись искусно выведенная: «Святая Пятница». А люди толпятся, припадают к иконе.

« Не оскудела по сей день и не оскудеет сила благодатная», тихо сказала Параскева. Долго стояли они молча.

На возвратном пути наказывала Параскева Светомиру: «Когда ты соделаешься царем, понастрой на перекрестках дорог соборы Пятницкие; странникам, видящим перед собою путь да путь, послужат они напоминанием о пути страстей Христовых, о пути спасения».

Однажды, подходя невзначай к башне Параскевиной, увидел Светомир множество многого народу перед входными воротами. Смешался царевич с толпою и прошел во внутренние покои. Просторная горница, где Параскева принимала посетителей, вся была наполнена убогими, изувеченными, больными, хромыми, слепыми. Они по череду подходили к Параскеве. А она каждого встречала ласково и, прилежно выслушав тихий как исповедь рассказ больного, то зелье из трав, ею собранных, пить давала, то руки свои с молитвою к недужным местам прикладывала и крест свой протягивала для целования.

Иные тут-же исцелялись, а иные шептались, что не впервые пришли, и во многом уж немочь полегчала; авось по предстательству Параскевы и совсем отпустит их.

Долго смотрел, смотрел Светомир, и от испуга и удивления даже и приблизиться к ней не решался. А, когда прошел весь народ и в палате никого не осталось опричь их двоих, подошел к Параскеве Светомир и спросил несмело: «Почему ты, Государыня, все больше ноги да глаза лечишь? Али мне сие лишь примнилось?»

Ответила Параскева: «Так оно и есть как ты приметил. Вот я скажу тебе, Светомирушка: Хромота телесная и богоборчество зачастую являются вкупе. Не всякая хромота и не всякое богоборчество от зла: Дьявол, вестимо, хромой. Но ведь и Яков ночь целую с Богом боролся; от великой любви боролся, а все-же соделался хром. Когда хромота от зла, мы ее и лечим.

«А глаза — это, чтобы видеть как Бог нас задумал. Тварь прообраз свой имеет в мысли Бога. Архангелу Рафаилу люди поручены, дабы научал он их смотреть правосудно, уразумевать, что земное должно стать обличением невидимых вещей. Он не токмо отцу Товии земное зрение вернул, но и самому Товии, и Сарре отверз глаза сердца, чтоб суженый суженую узрел и узнал. Разумеется, было то не без их заслуги: Для духовного спасения требуется радостная готовность, согласие спасаемого. Они согласие дали.»

Помолчала Параскева; потом еще сказала: «Вспомни великомученицу Параскеву, обетницу Христовых страстей. Начальник области предложил ей стать его женою, отречься от Христа. Но для нее было 'еже жити Христос; и еже умерети приобретение'. * Она отказалась.

Палачи растерзали ее до костей и оставили одну в темнице. Тогда посетил ее Ангел, представил очам ее, любезные для нее предметы — орудия страстей Господних, и все раны сразу закрылись».

— «Почему потребны соделались орудия страданий, чтобы раны закрылись, излечились?», спросил Светомир.

— «Потому», молвила в ответ Параскева, «что орудие страстей Христовых и орудие славы — одно. Знает о том страстной пяток: дух бодрый в тот святой день восстановил поруганную храмину плоти».

Светомир продолжал спрашивать по детски упорно: «Почему орудия страстей были любезны глазам ее? Женщины и ученики плакали у креста. И ты плакала бы; плакал бы и я.»

Заговорила Параскева, и будто о другом: «Вспомни, Светомирушка, чтó заповедовал Христос: 'Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко'. * Иго Христово тот на себя берет, кто всем сердцем своим и всем помышлением своим захотел сораспяться Христу. Пострадавшему до конца непосильное бремя становится легким и любезным.

«Когда Дева Мария на ангельский привет в смирении отвечала: 'Се раба Господня; да будет мне по слову твоему', Она давала согласие на приятие величайшего страдания, величайшей радости страдания. Адамом утраченный Эдем возник вокруг Нее. И вот доньине Пречистая по земле ходит, и куда ступит, там Рай. И в тот Рай дольний зван всякий, взявший на себя иго Христа.»

— «Да, да, ходит», воскликнул Светомир, «видел я Ее, слышал, помню, знаю. И матушка мне про Нее сказывала».

Параскева тихо продолжала:

«Когда Иисус сказал: 'не Моя воля, а Твоя да будет', Он на земле повторил согласие Свое спасти человекoв, согласие, которое предмирно дано было на Небесах. На земле, в земле стоял крест Его. Она, земля родимая, с тех пор как Он на ней распят, вся Голгофою стала. Сказал Иисус 'Совершилось' и испустил дух; тогда жизни сила сошла внутрь земли. В ее недрах Воскресение совершилось в Пятницу».

XVIII

Усумнился однажды Светомир в правоте Пресвитера:

Ходил он по окрестным полям и увидел свинопаса, видом необычайного. Беден был хитон его и поношен плащ, но во всем стане его

и поспе была важность царственного льва; а стада погонял он точно слугам, али воинам приказы отдавал.

Смотрел, смотрел на него Светомир, потом осмелился и к нему подбежал.

И сказал свинопас: «Переменчива судьба человека. Вот я — царь». Замолчал и ничего боле не отвечал Светомиру.

Вернулся царевич к Иоанну и стал вопрошать его про странного пастуха, правда ли, что он — царь. Говорил раздумчиво: «Может, и правда, потому что в Срединном Царстве кто ложь изглаголит, тот обмирает, и лицо его белым становится как смерть. А пастух сей в лице своем ни на малость не изменился».

Отвечал Пресвитер: «Оно правда: был человек тот могучим царем. Да возгордился, озлобился не в меру: безвинных служителей Христовых жестоко обижал. Мы его увещевать пыталися, а он за то возлюбленных чад наших умучивать стал, даже до смерти.

«Воспрещали мы ему, а он на нас войной пошел. Повелели мы тогда военачальнику нашему живым его взять и перед нас привести. Исполнилось желание наше. Тут судии наши народные ему казнь присудили смертную. А мы не приказали его убивать, но, выказав презрение, послали стада пасти доколь не образумится. Вот уж два года как он в пастухах ходит».

Сказал Светомир: «Дозволь, Государь, спросить почто не изволишь совсем его простить. Миловать так миловать. Складное ли дело царю стада пасти?»

Отвечал Пресвитер: «Нужно быть тому. Не поругание мы чиним достоинству его царскому, а волю его поврежденную, но (знает сердце наше) не в конец порченную к добру обратить ищем. Никого не нудим мы к нам мыслить; но, коли отпустим сего человека ране времени и срока, он лишь пуще ожесточится, и то зло последнее будет хуже первого. Презрение к нему мы показываем, но не имеем. Мы его любим и, не зовя, зовем. И он придет беспременно».

Ничего дале не спросил Светомир, но на сердце осталось сомнение: жаль и обида за царя-свинопаса.

Но вот прошло малое время, и взмолился пастух тот допущенным быть пред Иоанна. Припадал к ногам его, просил смиренно: «Грешен я был, безрассуден. Не об сокращении кары молю, а о прощении, чтобы милостив ты стал и не гневался».

И увидел Иоанн, что пастух кается взаправду. Пресвитер обрадованный подымал виновного, обнимал, лобызал его. Потом подарил ему одежду богатую, коней ретивых, сбрую серебряную, вернул ему прежнее царство, приказал почитать за государя и, отпуская его, множество провожатых снарядил ради охраны и важности.

И стал прежний враг верным и покорным другом Пресвитера-царя. Тогда уразумел Светомир слова учителя: «Нужно быть тому». Корил себя, что соблазнился о нем. И пуще прежнего полюбил он Иоанна.

XIX

Всякое лето сопровождал Светомир своего наставника державного в его путешествиях по градам и весям. А года через четыре, как подросток царевич, стал Иоанн братъ его и в отдаленнейшие местодержания свои, далеко за пределы Земель Срединных.

Случилось то в знойную пору: странствовали они с охраною немалою по крайним областям страны восточной, и не в городе каком, а среди поля широкого поставили шалаши свои походные. Были скоростройные палаты сии весьма просторны, кожею львиною снаружи обтянуты, внутри же мехами дорогими, соболями да горностаем обиты. Вечеряли и ночь проводили в оных.

Поутру, вставши рано, говорит Иоанн князьям и слугам: «Вот отлучаюсь я на малый срок. К обеду вернусь. Берегите царевича. Сами знаете, места сии ненадежные».

И уехал на своем любимом слоне с немногими провожатыми.

Пробудился Светомир сразу по отбытии Пресвитера; никого не позвал, оделся и неслышно вышел из палаты. На лугу увидел он белую лошадь. Она паслась свободно, но была оседлана.

Ему стало весело. Он прыгнул в стремя и поскакал на край поля. Видит: дорога прямая, широкая от него убегает. Страсть как ему захотелось в нее поиграться, ее перегнать.

И вот уж мчится он по ней незнаемо куда. Вдруг перед ним стена зубчатая белая. В ней двенадцать сторон и двенадцать ворот. Въехал Светомир воротами в город шумный, пестрый: много домов пригожих, улицы кривые, народу много. А впереди еще другая белая зубчатая стена, и в ней семь углов, семь башень и семь ворот. Едет воротами дальше. За стеной дворцы и много деревьев, садов, лугов.

А впереди опять белая стена в четыре стороны, и в ней сряду пять ворот. Средние закрыты. Проехал царевич боковыми вратами и видит дворцы богатейшие, и посреди самый красивый и большой, и деревья благовонные кругом. Перед дворцом сим люди из народа и вельможи стоят недвижно, с видом скромным и спокойным: ни шума, ни говора не слышно.

Дворец не такой как в Царстве Срединном: далеко над землю окна. Второго жилья нет. Крыша превысокая финифтяная: красная, желтая, зеленая, голубая, цветами радуги переливается яко камнями самоцветными, и мерцает издали окрест дворца.

Светомир слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел во дворец. Стража его не остановила, никто ничего не спрашивал. Вид отрока нежного, тонкого, богато одетого ручался слугам, что сей будет государю их гость желанный.

Пройдя два малых покоя, вошел Светомир в огромную палату. На стенах, серебром и золотом покрытых, росписи страшные выведены: зеленые драконы, серые нетопыри, всякие чудовища и птица хищная — рух, что ногами двух слонов когтит, а третьего клювом держит и душит. И других зверей множество.

Увидел Светомир в глубине палаты престол золотой, высоко стоящий на пяти ступенях из красного гранита. На престоле сидит хан с нависшими щеками, узкими раскосыми глазами, черными, книзу загнутыми усами над красным, мокрым, жирным ртом и полуседею бородкой, с лица свисающей точно бахромы. И все у него толстое: тело, нос, губы. Одежда на нем зеленая: сукно, золотом вытканное.

А вокруг него народ мног стоит, так что и не счесть; и все они — сатрапы, атабеки, военачальники, звездочеты, врачи, сокольничие — одеты как великий хан в зеленое с золотом, но не столь богато.

Вельможный старик в длинном шелковом зеленом плаще громко возглашает: «Преклонитесь и почтите», — и все преклоняются челом до земли, воздают хвалу и молятся человеку на престоле яко богу.

Заметил хан отрока, ото всех отличного, залюбовался лицом его смуглым, изящным, миндалю подобным, кудрями его темнорусыми, глазами синими, лучистыми; и поманил его к себе.

«Кто ты будешь? Кто прислал тебя?», спросил великий хан на наречии непонятном. Подбежал толмач и перевел вопрос.

Отвечал отрок: «Я — царевич Светомир. Никто меня не посылал. Сам ненароком заехал».

— «Добро пожаловать! Заехал, так и поживи с нами». Хан сладко щурился и улыбался.

Светомиру не нравился этот хан и эта улыбка, но он любезно ответил приглашением на приглашение.

«Мне ныне никак нельзя остаться. Искать меня станут. А ты, коли изволишь во царство Государя нашего пожаловать, то принят будешь с почетом, приличествующим твоему сану. Не знаю только пропустит ли тебя эфирный наш Фисон. Но я умолю владыку нашего, и он тебе поможет реку перейти».

— «Спасибо за приглашение и покровительство», отвечал хан и

громко расхохотался, и все ханослужители громко, подобострастно расхохотались следом за ним. Подмигивая, хан с вожделием смотрел на отрока неискушенного, и Светомиру становилось на душе нестерпимо отвратно, хотелось укрыться.

А хан еще сказал: «Зачем далеко ехать? Вот я к тебе в гости сразу приду; уж люди мои убирают для тебя хоромы пригожие».

И увидел Светомир, что царедворцы ханские в зеленых с золотом одеяниях уж приближаются к нему. Они подходили чин по чину, прикладывая руки ко груди и низко кланяясь, но явно готовы были, вздумай он сопротивляться, его насильно увести. И понял Светомир, что он не гость, а пленник и что ему из полона не вырваться. Ужас сковал его; он стоял оцепенелый.

Вдруг у двери послышался шум голосов. К хану подошел один из служителей и что-то тихо ему сказал.

«Пусть войдут», ответил хан, нахмурившись.

В палате появились послы от Иоанна-Пресвитера. Хан сморщил лицо свое в притворную улыбку и спросил их величественно ласково что им угодно. Они чинно поклонились ему и от имени своего государя потребовали возвращение Светомира.

«Ты свободен, царевич, и волен идти куда хочешь», сказал хан. Но Светомир все еще стоял недвижимый, онемелый. Его бережно обняли дружеские руки и понесли прочь из дворца.

Но, лишь только вынесли его в сад, как он сразу очнулся, вскочил на ноги и весело приветствовал своих избавителей.

XX

Послам Иоанна дали вельможных провожатых, и незваные посетители отправились в обратный путь.

Из ханской слободы выезжали они большими серединными воротами, и спросил Светомир: «Почему ране заперты были сии ворота, а теперь отворились?» И отвечали ему не без гордости друзья Иоанновы: «Отворили их нам, дабы почет оказать государю нашему. Вот и хан не посмел тебя противу воли Пресвитера при себе удержать, хоть и крепко серчал, добычу выпуская. Хан то знает, что нет в нем силы спорить с Царем-Пресвитером».

Когда выехали они из города, увидел Светомир поодаль от дороги глыбу, размерами телу человеческому подобную, и всю колышашуюся.

«Что это?» спросил он в удивлении. Несколько человек поскакало к подвижному бугру. Вернувшись, сказали: «Поздно помогать. Несчастный уж умер». И не стали ничего больше говорить.

А Светомир продолжал спрашивать в тревоге: «Какой несчастный умер? Где он?»

Ханский вельможа подъехал к царевичу и с видимой охотой стал рассказывать:

«Вот там лежит человек, который был сыном могучего царя. Великий хан наш завоевал земли того царя. Тогда царь покорился хану и вошел в его доверие даже до самой своей смерти. А сын его и наследник сперва хранил верность хану, а потом злоумыслил и поднял восстание. Он был разбит и сдался. Привезли его сюда на суд к хану. Государь наш еще ранее милостиво обещал не проливать его крови. Слово свое великий хан завсегда соблюдает. Посему повелел он обложить врагоудобника снаружи курдючим салом, завернуть в кошму, обвязать веревкою и положить на летнее солнце. Так и сделали как он велел. Спусти малое число дней в сале завелись черви и стали поедать изменника; поедали, покуда он в мучениях не помер».

Захолонуло сердце Светомира. Страх напал на него. Судорога схватила горло. Он ничего не мог выговорить. Молчал во все время пути. А как стали они подъезжать к своему пристанищу, соскочил царевич с коня, и, не спросившись, вбежал в походную палатку Иоанна. А Иоанн уже шел к нему навстречу. Светомир протянул к нему руки и упал в безпамятстве.

Пресвитер поднял отрока, уложил его на постель, склонился над ним и долго молился. Светомир не различал ничего, но голос учителя и живительная сила священных слов расковывали его душу, и смерти подобная застылость обращалась тихим, легким сном.

XXI

На следующее утро повелел Пресвитер приступить к возвратному пути. Обычаю согласно подвели Иоанну белого, белыми ткаными шелками и парчею убранного слона; обычаю согласно преклонил слон колена; Пресвитер, переступив сквозную золотую лесенку, вошел в просторный, золотой теремец, позвал и усадил подле себя Светомира.

Долго они ехали молча. А, когда стали они пробираться чрез густую рощу униперовых деревьев, тех, что родят белый ладан, сказал Иоанн:

«Смотри, Светомире, вон там люди в длинных одеждах и в тюрбанах кору дерев надрезают, дабы добыть из нее капли белой смолы. А вот тут перед нами дерево стоит на летнем ярком солнце, и, видишь, по коре его бежит драгоценный, благоухающий ладан. И в истечении этом руки человеческие не имеют части. Подставь чашу, ладан сам в нее потечет».

Светомир прильнул, прижался к Пресвитеру, забормотал: «Солнце, солнце... от него черви... от него ладан...»

Голос его крепнул: «Откуда в человеке такое злое зло? Почему Бог дозволил тому толстому хану обманывать, замучивать? Ведь Бог всемогущ — все может! Может и воспретить».

Светомир умолк, потом в смущении и страхе прошептал: «Али зло способно одолевать? И Он не все может?»

Отвечал Иоанн тихо, уверенно, успокоительно: «Все Бог может, Светомире, все может. Иные говорят, что не может, но они весьма заблуждаются.»

Светомир спрятал лицо свое на груди Пресвитера: «Коли Он может, почему не хочет возбранить? Как Он — Благой — может хотеть зло?»

Сказал Иоанн: «Не хочет Бог воспрещать насильно. Вестимо не потому, что Он хочет допускать зло. Но, что́ разумеешь ты, когда говоришь — «может»? Вот мы с тобою намерены в шахматы играть. Там все фигуры по правилам ходят. Можешь ли туру двинуть против короля? Что-же тут мудреного? Стоит лишь взять ее пальцами и переставить куда вздумается. Токмо толку-то в том никакого нету: правила все нарушены — игры не стало.»

Истово вступился Светомир: «Никак не может того быти, чтобы Господь, игры ради человека покинул!»

— «Что ты, что ты, Светомире, и в помыслах у меня никогда такого не было, чтобы Бог человека покинул. Бог так возлюбил мудрость Свою о человеке, так радовался при создании его, что решил, — как читал ты о том в книге 'Бытия' — сотворить человека по образу и подобию Своему.»

Возмутился Светомир, воскликнул: «Какой тут образ Божий, какое подобие? Безобразные, богопротивные дела — и почто только Бог их терпит?»

Возразил Иоанн: «Образ и подобие Божие есть прежде всего самостояние, свобода. Человек сам может выбрать путь, по которому хочет идти. Дали зла и добра равно ему открыты и доступны.»

«Коль отымешь у человека свободу, самого человека и не станет. Будет он подобен растению невинному и безгласному. Сии творения не будут иметь искушений, им не будет поручено выбирать и на свой

страх решать и поступать по своему изволению, они не будут блуждать по запретным путям блудного сына, но сердца их не будут гореть и дышать от радостной встречи с Любимым; а Отцу будет отказано в счастье дожидаться блудного сына, простить его, обнять и возвеличить.»

Светомир не унимался: «Но Господь то в дела наши завсегда ведь вступается. Ты сам, Владыко, сказывал и читывал мне как Отец небесный с пророками и праотцами нашими долгие беседы вел, и либо Сам, либо устами ангельскими волю Свою возвещал.

«А Христос то только и делал, что учил и водительствовал; и не токмо что апостолов, Он толпы народа на путь на правый наставлял. И в толк я никак не возьму почто говорят: 'Бог накажет'. За что наказывать человека раз он свободен и разумен? Наказывают али милуют либо подневольного, либо недомысленного. Вот и я: нашалился, ослушался, и худо бы мне пришлось; а Бог тебя послал меня вызволить. Он добрый».

Светомир поднял на Иоанна взор полный благодарности и умиления. Пресвитер сказал:

«Неизменно Господь нас и сохраняет, и укрепляет, и вразумляет, свободы нашей вовсе не нарушая. Он взвешивает души наши; и нет ничего тайного, что Ему не соделалось бы явно. Но против иудиного зловоления в человеке Он не действует насильственно. А ежели видит благоволение, самому человеку порою и неведомое, Он ангела Своего посылает, и ангел за плечи соблазненного от зла отворачивает.

«А наказание, страдание — сие дано во искупление. Не токмо добра, но и зла Голгофа есть, Светомире! А загадку как за других принять страдание Христос Распятый разрешил, с креста простирая объятия, чтобы всех в них заключить. 'Да будут все едино'.»

Светомир точно сквозь сон слышал слова Пресвитера: широко раскрытыми, сияющими глазами всматривался он во что-то радостное, что ему предстало:

«Помню», тихо сказал он, «помню как Иисус-Младенец ко мне играть приходил, когда я маленьким был. Его на руках приносила Мать Его, Дева Пречистая. Такая красивая! И сколь весело с Ними было — и не сказать никак! Сердце Ими полно, выдержать не может. Люблю Их, а разуметь — ничего не понимаю».

Смотрел на отрока Иоанн, улыбаяся: «Коли любишь, то и разумеешь. Опричь любви ничего и не надо. 'Всякий любящий рожден от Бога. Бог есть любовь'.» *

Ничего больше не сказал Пресвитер. И Светомир ничего не спросил. Так, молча, и доехали они до стольного Вышеграда.

Уж восемь раз на сѣроки святые весну встречали Светомир и спутники его во стране Срединной, а Хорс все не отъезжал от Иоанна. По умолению волхва повелел Пресвитер возвести храмину на подобие той, что Епифаний построил в царстве Владаря; и нашелся изограф искусный, который свод и стены расписал по закону, указанному Хорсом, а не по уставному ликописанию.

И дозволил Пресвитер в храмине той волхву, сколько ему вздумается по звездам гадать, сам-же про гадания те звездочета не вопрошал; но при первом своем с Симоном Хорсом, после приезда его в Срединное Царство, свидании Иоанн Пресвитер, приняв от волхва заверения, что он царевичу про тайнознание свое ничего говорить не будет, поручил мужу сему, в науках вельми искушенному, обучать Светомира письменам отечественного языка и языкам иноплеменным.

По недолгому времени научился Светомир грамоте не токмо родной своей речи, но и еллинской, и латинской. Читал он с учителем своим творения церкви отцов, их поучения и исповеди богомудрые, духоприбыльные, читал и «отца истории» повествования чудные про судьбы древних народов, царств и царей, про деяния людей доблестных.

Весною, когда преполовилось Светомиру шестнадцать лет, вошел однажды Хорс ко Пресвитеру и, после обычной беседы об учении отрока, сказал: «Великий Государь, слову моему, тебе данному, я по сей день верен остался. Но вот пошел уж царевичу семнадцатый год, и недалеце время, в какое ему тяготы царства принять надлежит. Дозволь мне, ныне тому, кто стоит на перепутье всех дорог, и мою тропу ему указать заповедную».

Отвечал Иоанн: «От Светомира ничего утаивать не должно. Покажи ему тропу твою, но убедись ты, что ересь твоя к нему не пристанет».

— «Не ересь, а гнозис тайный учение наше», вступился Хорс, «и радость света земле возвещает».

Сказал Пресвитер: «Ерезарх ты, Симон Хорс, но ерезарх благочестивый, ибо любишь ты свет. Грех же твой великий в том, что чело века ты возлюбить не сумел».

— «Вся жизнь моя», вскричал Хорс, «служение человеку: Кефер-Малхут дарует людям свет, какой человек своими силами обрести не может».

Возразил Иоанн: «Ты мнишь, что человека спасти можно, свет на него изливая, яко растение бессловесное водою поливают. Но человек не бессловесная тварь: он Слову, Что в начале было, сопричастен. Не даром 'привел Бог к человеку всех животных полевых и всех птиц

небесных, чтобы видеть как он их назовет; и чтобы как наречет человек всякую душу живую, тако и будет имя ей'. *

«А человеку Бог Сам нарек имя: '... дам ему белый камень и на нем начертанное имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает'. * И даровал ему Имя Свое: 'Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род'. * Но дар Имени есть испытание великое».

Сказал Хорс: «Свет архонтов небесных в нас пребывает, но недействен он без помощи венца сияющего».

Тихо с силою стал говорить Иоанн: «Воссиять или угаснуть, стать сынами Божьими, или тварью рабской — сие зависит от самого человека, от его свободного выбора, от его изволения. Тем, которые возлюбили Его, 'которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, а от Бога родились'. *

«Светомир премного возлюбил. Он не мудрствует, он просто видит и слышит вещей истину. Ему свыше защита дана, от духовно ему непотребного, закрываться токмо завесою непроницаемою неразумением сего непотребного. Иди, испытывай его. Коли он вопреки дару своему поймет и примет твое учение, то и быть по тому».

Поклонился Хорс в знак благодарения и еще просьбу иную прибавил: «Дозволь мне, Великий Государь, беседу с царевичем во храмине моей вести. Оно и для глаза, и для уха вразумительнее будет».

Задумался Пресвитер, потом молвил: «И сие тебе дозволяется. Испытывай его как знаешь. Только о стреле, что в угодии Горынских сокрыта, ничего не сказывай: не настала пора».

XXIII

Весело было Светомиру следовать за Хорсом ходами и переходами кривыми и узкими, подыматься по лестничке крутой во стене сокрытой. Дивился он, войдя в храмину низкую, круглую, по своду и стенам расписанную, курильницами округ уставленную и слабо освещенную возженным пятисвечником.

Указал Хорс Светомиру на седалище, шелком обтянутое, для него уготованное, а сам, огромный, прям стал перед ним и длинным жезлом прикоснулся к одной из курильниц. Дымом тонким, благовонным застило весь покой.

Стал Светомир разглядывать роспись свода, и сквозь дым колеб-

лющийся видит: Дева превыше всех сидит светозарная на престоле царском. Головою поникла, и венец к ногам ее упал.

Сказал Хорс: «Видишь, царевич, сколь печальна Дева Светозарная: низведен свет ее долу и рассеялся по земле. Тьма его объяла. Сумрак настал. Но не иссякла на земле сила солнечная, и луч ее, магниту подобно, тянет к себе светы, рассеянные и плененные во всех планетах и созвездиях мирских. И собираются светы сии в единое средоточие, образуют венец державы и славы. А персть земная, тьмою повитая, вернется к царю тьмы».

— «Вот еще, какой такой царь тьмы? Детей им пугать — что ли?», вскричал, смеясь, Светомир. «Не царь он вовсе, и силы в нем нет долнее превозмочь. Свет во тьму светит, и не свет ото тьмы, а тьма ото света бежит. Земную персть свет пречистый не покидает, а преобразует: она от него белою становится яко одежды Христа при Преображении».

— «Нет, царевич», печально вступился Хорс. «Весьма ты заблуждаешься: свет тот рассеянию предавать грех великий. В венец земной собираются славы всех архонтов и иерархий небесных. Свет, что от венца исходит всех приглашает в свой круг».

И коснулся волхв других курильниц длинным своим жезлом и направил жезл на венец Девы. Густым, благовонным ладаном заволоклась вся горница, и слова сквозь дым доходили таинственно:

«Венец сей тебе назначен, царевич! Им увенчанный ты, когда пора настанет, править станешь вправду. Свет с тобою пребудет, и как ты повелишь, так он и распределится, ибо кто венец сей на главу надеть сподобится, воцарится яко бог».

Светомир вскочил во гневе: «Соблазнительны слова твои. Выходит будто Люцифер венценосец. Мне в такой венец игратья противно, и с Сатанюю я водиться не стану».

Всполошился Хорс: «Полно, царевич, почудилось нескладное тебе. Какой тут Сатана? То венец самой Девы Пресветлой: Она над планетами сидит и звездами правит. И возрадуется она, когда свет ее, мшелью плененный, в венец единый соберется, имя которому есть Кефир-Малхут. И тот, у кого душа царственная — базилики психи — венцом сияющим увенчан будет, дабы всех достойных светом тем обнять и озарить».

Сказал Светомир: «Дева Пресветлая, сиречь Матерь Божия, на небе живет завсегда, а по земле ходить изволит. Куда ступит, там и Рай».

Но Хорс уже не слушал. Оторопелый, со страхом восторга глядел он на царевича. И вдруг огромный, величавый в рясе черной и в черном клубуке благоговейно упал он на колени перед отроком и смиренно стал целовать край его белой одежды.

А на другой день вошел волхв к Иоанну Пресвитеру, говоря: «Твоя правда, Государь. Не пойдет тропую моюю царевич Светомир. Я же во все дни слуга его верный, ибо видел я как сама Дева Светозарная со престола своего сошла и венец свой, что в руках несла, царевичу протянула.

Он отстранил венец, отвернулся, отверг... Что мне поручено было исполнить, не сумел я соделать. Ныне отзывают меня архонты звездные. Послушествую, иду...

«А храмину мою, молю, вели наглухо замуровать после ухода моего. За все тебя благодарю. Прости, Великий Государь. Благослови меня на прощание, Владыко».

КНИГА СЕДЬМАЯ

I

Красавицей и разумницей росла Радислава. От беснования прежнего не осталось и следа.

Обучалась юная княжна вместе со сверстницами своими чтению и письму на разных языках и художествам всяческим. Подружки все ее любили; она же с каждою уветлива была, но никого особо не выделяла.

Вместе с ними она расшивала шелками платы церковные, рясна жемчужные низала, хороводы водила, в игры тихие и шумные играла — ни от чего не отстранялась; но милее были Радиславе другие забавы, недевичьи; когда случалось ей оставаться вдвоем со Светомиром — в состязания обращались их игры: кто выше, дальше мяч иль диск закинет, кто кого обгонит в ристаниях пеших иль конных.

Радислава, не знавшая материнской хранительной близости, всем сердцем — нежно, доверчиво, страстно — привязалась к Параскеве, которую почитала святой. А Параскева окружала юную гостью бережною заботою и лаской, и охотно позволяла ей всюду следовать за собою.

И не дивилася царица, что Радислава ляжет бывало в лесу аль на

лугу и долгие шепотом разговоры с землею ведет, что траву всякую без угадки различает вредная она или целебная и сразу угадывает для какого недуга какое зѣлие пригодно.

Любила Радислава на конях необузданных полиницею по бездорожью мчаться, любила песни петь неизвестные, какие сама слагала.

«Как Гореслава», думал про нее Радивой. И нарадоваться не мог старец слепой на дочь свою исцеленную.

Тихо прожил он в Царстве Срединном без малого девять лет. Крепок и радостен был дух его, а тело приметно слабело.

Прилег Радивой однажды отдохнуть после обеда и слуг всех отослал. И вот вошла в опочивальню Радислава, приблизилась к отцу и стала целовать его руку.

Он отронул ее голову, лицо, плечи и молвил улыбаясь: «Вижу неспроста пришла ты ко мне. Какие вести несешь? Сказывай, сказывай».

Отвечала Радислава: «Песня новая напелася мне. Вот и потянуло с тобою свидеться».

— «Спой мне песню твою», попросил отец.

«Не знаю как и спеть ее: песнь хоровая, на голоса разные».

— «А ты всеж попробуй. Авось пойму», ласково настаивал Радивой. «Про что она, песнь-то твоя?»

— «Не знаю как и назвать ее. Песнь сия есть хваление духов благословляющих. Вот слушай. Спою:

Хвалите Бога, силы сфер! *
Хвалите Бога, души недр!
Бессонный ключ в ночи пещер,
На высоте шумящий кедр.

Хвалите Бога, бурь уста!
Ревущий дождь и бьющий град,
И радуг Милости врата,
И Мира влажный виноград!

Вал, гром, и трус, и плач и стон,
И рык, и рев, и песнь и речь,
Душ легких лепет, струнный звон,
Звук-отзвук, систр, и серп, и меч!

Славь Бога Солнце! пой Луна!
Звезд зримый и незримый клир.
Пространства — вы, вы — времена,
Что, разлучив, сомкнули мир.

Хвалите Бога! — как роса,
Как венчики цветов в росе:
В росинке каждой — небеса,
В душе единой — души все.

Пустыня-мать! твои уста —
Стенаньем львов, дыханьем трав
И вещим ропотом дубрав —
Зовут лобзание Христа.

Склонилась к отцу Радислава и видит: лицо радостное, а из вежд сомкнутых слезы льются умильные. И сказал Радивой:

«Хороша песнь твоя, Радислава. Ничего нет благопитательнее для души нежели благодарение и славословие. И Псалмопевец заповедовал нам и всей твари славить великое и страшное Имя Господа: 'Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить. Воспрянь, внутренняя моя, встану рано, разбужу зарю, чтобы и она славила Господа'.» *

Радивой глубоко вздохнул; потом еще сказал: «Вот задремал я до твоего прихода; и привиделось мне будто в страну я перенесен предивную. Не чаял я, что есть земля чудеснейшая белого Иоаннова царства.

«Собери подружек твоих юных, приведи их ко мне «хваление» твое хором петь. И, коли вошед увидите, что сплю я, не уходите, зачинайте песнь. Поди, Радиславушка, милая. Да хранит тебя Господь.» Он перекрестил ее. Она ушла.

Через малое время услышал Радивой как отворилася дверь и подумал он, что петь пришли отроковицы. Но узнал поступь Иоанна. В руках держал Пресвитер чашу причастную. Не видел ее слепец, но поднялся на постели и весь к ней потянулся: «Простираю к Тебе руки мои; душа моя к Тебе как жаждущая земля». И обратился к Пресвитеру: «Прими благодарение Владыко-Государь, что пришел уготовить меня к последнему часу».

По соборовании задремал Радивой. И вновь явилася ему во сне земля благодатная, и ушел он в страну ту вожделенную навеки.

II

Прошло девять лет с той поры как приехал Светомир во Царство Срединное. И порешил Иоанн, что настало время царевичу вернуться в отечество свое.

Позвал Пресвитер Светомира в свой далекий, ото всех сокрытый покой. Никогда допреждь Светомир там не был. Видит он своды резные из дерева ливанного, стены, финифтию и камнями самоцветными покрытые яко росписью искусной, сказывающей про жизнь Христа, и про жизнь Матери Его Пречистой, и про видения, какие имел отшельник на острове Патмосе, когда 'был в Духе в день воскресный'.

А посреди покоя стол стоит круглый из слоновой кости на трех ногах аметистовых, и на столе ларец малый простой, деревянный.

Указал Иоанн Светомиру на сидение близь стола и, сев подле него, стал говорить будто сказку сказывал про венчание на царство Владаря с Отрадою, про падение с башни, погребение и пробуждение Светомирово, про то как старец Парфений вынул из гроба лист с начертанной на нем разрешительною молитвою и, на три части его преломив, одну часть во гроб вернул, а другие две с собою унес, чтоб передать их последи Отраде и Радивою.

«Сии три части разлученные», закончил речь свою Пресвитер, «будут приложены друг ко другу в положенный час, и коли целыми сохранятся края их, то воцелится изначальный лист с начертанной молитвою, и лист тот непреложно укажет истинного законного державы наследника, — тебя, Светомире».

И передал Иоанн царевичу ларец с отрывком отпускной молитвы и сказал, говоря: «Бери, береги его. Вот настала пора тебе в страну твою родную воротиться и под началом отца твоего к трудному служению приступить царскому».

Слушал Светомир слова наставника, будто сон старинный через силу воспоминая. Долго молчал, потом ответил: «Исполню, что велишь, владыко. Но разве уж уготовлен я народом целым править?»

Сказал Иоанн: «Когда поставлен будешь землею твоею править, то и мощь на то свыше получишь. Пойдем, Светомире».

И пошли они полутемными узкими сводчатыми проходами, которые вели чрез толщу дворцовых стен на соборную площадь ко храму Пресвятыя Богородицы и апостола Иоанна Богослова.

Именуемый Лествичным собор сей, о коем ранее писал Владарю Иоанн Пресвитер, выспрь возведен был на скале, башне подобно, и встроены в него были семь церквей: четыре церкви надземные и три подземные. И лестницы, из слоновой кости точеные, вверх по наружным стенам убегали. В верхнюю церковь Успенскую и в преисподнюю Воскресенскую дотоль Светомиру возбранен был доступ.

Сели Пресвитер с царевичем на скамью каменную, насупротив башенного Собора. И спросил вдруг Иоанн, будто разговор продолжая:

«А стрела, Светомире? Знаешь ли ты сказанье о стреле?»

— «Какое сказание?», спросил Светомир, «Матушка мне песни пела про стрелу Егорьеву».

Сказал Иоанн: «Услышь, чего не чаешь: оба града наши из единого семени прозябли, и сколь ни различны судьбы их, пред лицом Творца они являют — одно».

— «Как разумеешь слова твои, Государь?»

— «Вот я повторю тебе, Светомире, то, что отцу твоему писал я пред венчанием его на царство: ‘Молился и тужил Иоанн Богослов о чадах, во грехе неведенья пребывающих, и видит: идет Мать Божия, а перед Нею всадник юный едет на белом коне, и указывает Владычица на него простертой рукою, и молвит: “Не печаль душу, Иоанне, построит он, Георгий, тебе царство под покровом Моим, и будешь ты в нем верных учить в любви ходити и делатися споспешниками истины”. И стал Георгий стрелы метать. И где ложатся стрелы те, оплоты там воздвигаются незримые, да неприступные. И копьё свое пламенеющее к земле склонил Георгий, и помчался на коне, копьем по земле борозду глубокую выводя; и великую округу обвел; она же и есть земля наша Срединная».

‘А Иоанн обрадовался, да и вновь затужил, говоря: — Едино то царство на земле будет. А прочие что? — Отвечала Дева Пречистая: “Не мерою дает Бог Духа. Утешься, Иоанне. Наследуют достойные землю, когда наступят сроки”. И повелела Егорию: “Иди в землю полнощную, и всю землю ту, и все в ней живущее, и дубравие ее окрести. И не прежде выйди из страны той, нежели стрелу твою в недрах ее оставиши”. Окрестил ту землю Георгий и стрелу свою золотую в ней схоронил’. Да, много может предстательство Иоанна».

Светомир сердцем все понял, но умом обнять не умел. «Почему же они — одно?», спросил он.

«Не разумеешь, Светомире? Одно они в печали и молитве Иоанна. Оба царства наши его дети. Оба стоят под знаком орла-Боговидца».

— «А где же она ныне стрела та Егория?»

— «В угодии Горынских; так и предание гласит. Обретет ее избранник; он-же народ свой к вящей славе приведет и в слове Господнем утвердит».

— «А что про стрелу саму сказывают? Какая в ней сила и власть?»

— «Немногое известно об ней. Она будет питать, носить того, кто ее обретет, и поражать даже до смерти всех, на кого он захочет ее направить».

Светомир вскричал в испуге: «Зачем ей убивать? Заповедано: *Не убий*. До смерти поражать недозволено!»

— «Недозволено, Светомире; а дракона поражать не токмо что дозволено, но повелено, вменяется в послушание и праведность. Вот

и мы неверных бороли, когда нам свыше поручено было исповедников христовых защищать. Да не в нас, грешных, толк.

«Никто, даже и среди апостолов не говорил столь нежно и мощно про любовь как Иоанн Богослов, а именно ему-то и было откровение поведать об язвах, коими ярость Божия поразит поклонников зверя, и о страшной борьбе праведников с духом губительной тьмы.

«Вспомни про саранчу из бездны, от которой мучения хуже смерти, вспомни коней-истребителей: головы их как головы у львов, изо рта выходит огонь, дым и сера. И от них ‘умерла третья часть людей’. А про последнюю войну, после которой ‘времени больше не будет’, сказано: ‘Сатана выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный’.»

Пресвитер умолк, пораженный представшим ему видением. Потом еще сказал:

«Ты спросишь, почто Господь допускает бесовское глумление над праведниками. Не соблазняйся, Светомире, не сомневайся! Исполниться всем правдам срок положен. Напасть от лукавого обратится его-же гибелью: своею победою обличится грех, и верные восторжествуют. С неба ниспадет огонь и пожрет соблазнитель, когда исполнятся сроки. А праведники победившие наследуют землю и станут сынами Божьими».

Пресвитер умолк. Потом опять стал говорить о судьбе двух царств:

«Вот я сказал тебе в чем мы — одно. Теперь скажу тебе в чем мы раздельно. Не легка борьба наша со врагами исповедников Христовых, но все-же легче вашей. Хоть и попирали нас супостаты со всех сторон, но наше то царство во внутреннем составе своем порчи не имело, и поток коловратный Фиссон от посетителей злых его по днесь охраняет.

«А у вас нет Фиссона, реки очистительной, чтобы в страну вашу путь прегрождать недостойным. Вот и случился у вас раскол душ на Змия стан и племя Голубицы. Зовет змий голубицу, и борют они друг друга. Опасно и трудно ходите вы даже и по земле царства вашего. Но не обманут обетования.

«Недолговечна в мире дольном страна наша. Скоро она в горнее отойдет, и следа видимого, плотского по себе не оставит. А ученость поздняя людская, прошлое толкуя, об нас долгий спор затеет: то меня в ханы бусурманские произведет, то покровителем и сподвижником воинов, крест носивших, прославит, то к еретикам причислит, Матерь Божию отвергающим. И все сие, дабы напоследок решить, что я — просто выдумка, что не было меня вовсе на свете, а письма мои к папе

Александру и к императору Михаилу, хоть и сохранились они для потомства — не наши письма вовсе.

«Но в Памяти Вселенской пребудем мы неизменно. Вы-же наследуете Царство наше Срединное, что в повериях Белою Индею зовется. А как вы — Горынские, то вам в стреле Георгия светлого потреба великая, дабы силы голубиные в вас укреплять, бесоугодие укрощать, противоречивое естество ваше миролюбить.

«Слушай, царевич, что повелено мне на прощание тебе поведать: согласно многим непреложным знакам и предвестиям тебе суждено ту стрелу получить».

К концу речи Пресвитера Светомир поднялся со скамьи. Прямо и неподвижен стоял он перед Иоанном. Глаза смотрели вдаль с решимостью. Он молитвенно поднял руки и тихо, медленно молвил, обет давал, говоря:

«Се раб Твой, о Господи. Уповаю: коль Ты Твоею любовью дел земных от меня требуешь, то и наставишь меня на путь праведный и проведешь по нему».

V

Встал и Пресвитер. Молча взял он Светомира за руку и повел его мимо Собора Лествичного, по полям к подножию гор недалних. Пройдя чрез едва видную расщелину во скале, оказались они в молельне малой, иссеченной внутри самого утеса белокаменного.

И видит Светомир: над головою его орел парит на крыльях распростертых; направо — лампада теплется пред Ликом Спаса; налево — в мерцающем свете горящего елея Матерь Божия идет, а перед Нею всадник едет на белом коне, и в руке всадника копьё золотое стреловидное.

И удалился Иоанн, оставив царевича одного для молитвы и поста. Возвратился спустя девять дней, позвал его: «Иди за мною».

И пошли они назад к Собору Семихрамному. Поднялись по лестницам наружным. Вошли в верхнюю церковь Успенскую, и сказал Пресвитер: «В церковь сию лишь Запечатленным вход дозволен. Тебе можно». И пребывали там в молитве.

Потом долго спускались они внутренними переходами до самой глубокой из подземных церквей — до церкви Воскресенской — и вошли в нее.

Переливающиеся огни светильников, перекрещивающиеся лучи каменной самоцветных, сладкий аромат ладана, покой и благолепие, какого Светомир и в царстве Иоанновом до той поры не знал, охватили душу царевича жутким и радостным очарованием. Пресвитер отошел в сторону. Они долго молчали.

Вошел тихий свет, бестелесный, пролился в сердце Светомира блаженством несказанным, наполнил грудь его через край; волны света стали подымать, восхищать отрока все выше и выше. Раздался голос: 'Не разглашай что скажу'. И услышал Светомир слова неизреченные...

Вздыхнул. Опамятел. Сквозь полусон чувствовал прикосновение рук Пресвитера к голове своей. Говорил Иоанн:

«Достоин, достоин. Вот и тебе воочию предстал любимый ученик Христов в некоем отсиянии вечной славы своей. Те, которые сподобились видети его, рекутся Запечатленными: печать бо Духа Свята рука Апостола любви на них возложи.

«Не смею я ни во мнихи, ни во священники Бога Живого тебя посвятити, ибо царем земным подвизатися и державою великою правити тебе свыше положено, и сие лишь одно вменится тебе во праведность. Тот, Кто Сам — Жизнь, Истина и Путь — разум твой просветит и Ангела сомудренника и сочувственника к тебе приставит, и Дух Святой руку твою укрепит для борьбы с князьями мира сего. Трудна работа душ, Богу служащих на пажите земной.

«Достойным ты зачался. Моли Господа помочь тебе соделаться воистину достойным».

И увел Иоанн Светомира из церкви Воскресенской.

По прошествии малого времени настал день разлуки. Опустился на колени пред Пресвитером Светомир, прося последнего благословения. Потом встал. Поднял взор на Иоанна. Пресвитер его обнял. Светомир спрятал лицо свое на его груди... Он говорил:

«Не покидай меня, поучай, веди. Я буду делать угодное перед тобою чтобы сказать ты мог: «Это хорошо».

От Пресвитера Светомир пошел прощаться к царице Параскеве. Он увидел ее издали среди просторного покоя; пораженный остановился: за нею, через нее сиял большой крест. При первом свидании с Параскевой царевич имел подобное видение; за девять лет оно никогда не повторялось. Светомир как тогда прильнул к ногам царицы и заплакал горько и радостно вместе.

«Обет даю тебе, Государыня, что исполню приказание твое: на перекрестках дорог в стране нашей построю я церкви Святой Пятнице. Я пребуду тебе верен и в жизни, и в смерти».

VI

Позвал Иоанн двенадцать Пресвитеров, тех самых, которые ездили на венчание Владаря, и сказал им:

«Пришла пора царевичу Светомиру к отцу своему воротиться. Снарядитесь, дабы проводить царевича и сродницу его Радиславу свет Радивоевну в страну их далекую».

И все прилежно поведал послам Иоанн про старца Парфения — промысленника; и купно с дарами богатыми скрынницу золотую, сапфирами искусно украшенную для Владаря-царя передал, говоря: «Послание мое к Государю, в ларце сем заключенное, один среди вас ему да прочтет, когда вы будете все вместе и царевич с вами, а прочих никого не будет».

И обещались Пресвитеры исполнить все как Иоанн им наказывал. И по сборам недалгим со Светомиром и Радиславою, черноризцами сопровождаемые, двинулись послы на исходе Водолея в нелегкий путь.

VII

Прошло три месяца, наступила весна. Трудно становилось пробираться по тающим снегам. Путники уже оставили за собою не только Срединное Царство, но и владения подвластных Пресвитеру царей, перешли через горы высокие, шли по равнинам, которым, чудилось, нет конца.

На одном из привалов вышел рано по утру царевич из своей палатки и пошел в ближайший лес, бродил, радостно вдыхая весенние благоухания младенческих листков и цветов. Вдруг услышал он издалека доносящуюся песнь. Он остановился и стал слушать:

У меня ль, у Заряницы, *
Злат венец;
На крыльце моей светлицы
Млад гонец!

Стань над поймой, над росистой,
Месяц млад,
Занеси над серебристой
Сerp-булат!

Тем серпом охладных зелий
Накоси;
По росам усладных хмелей
Напаси!
Я ль, царица, зелий сельных
Наварю;
Натворю ли медов хмельных
Я царю.
Громыкнула колесница
На дворе:
Кровь-руда, аль багряница,
На царе?
Царь пришел от супротивных,
Знойных стран;
Я омою в зельях дивных
Гнои ран.
Зевы язвин улечу я,
исцелю;
Рот иссохший омочу я
Во хмелю.
Скинет царь к ногам царицы
Багрянец...
У меня ль, у Заряницы,
Студенец.

Светомир пошел туда, откуда неслася песнь и увидел Радиславу, сидящую на стволе упавшего на землю дерева.

«Здравствуй, Родя, какую песню чудную ты пела? Где ты слыхала ее? А хорошо ты поешь. Спой еще, другую».

Смутилась Радислава, встала, сказала, не отвечая: «Посмотри, Светомире; земля от подснежников и без снегу бела. Пойдем их собирать». Но не стали они цветы собирать. Долго молча шли лесом.

Набредши на прогалину, увидели: среди пегой поляны течет поток малый, и переброшен чрез него ствол древесный. «Перейдем, аль не перейдем сию реку?» смеясь звала Радислава.

Прежде чем она кончила речь, Светомир прыгнул на летучий мостик и протянул ей руку. Они ловко, токмо по канату сторожкой ступая, прошли над водой.

Прыгнув на берег, Радислава высвободила руку и побежала к опушке леса: «Лови меня!» Бежать было трудно, мешал бурелом под ногами, останавливали, били, обнимали, хватали за одежду сучья густого бора;

но она бежала, что было мочи. Светомир бросился следом за нею. Она, не оглядываясь, слышала за собою его бег и знала, что он вот-вот ее догонит.

А тут как раз дорогу ей преградили два дерева; они, раскидистые, почти касались друг друга. Радислава, вместо того, чтобы их обегать, побежала как белка наверх по одному из светлых стволов. А Светомир с разбега кинулся к соседнему дереву и легко поднялся на него.

Они оказались сидящими на двух больших равновысоких ветвах, друг против друга. Их взоры встретились, им стало весело, и они, ни слова не говоря, залились громким, безудержным смехом.

Вдруг смех Радиславы оборвался; по лицу ее пробежала судорога страха.

«Ну чего ты испугалась, Родя?» уветливо спросил Светомир. «Аль боишься ты затеряться в лесу без провожатых?»

— «Нет, Светомире, ничего мне с тобою не страшно. Сама я не знаю что со мною деется. Давно началось: находит неведомо откуда, хватает ужас необоримый и являются воочию злодейства матери моей и всего рода ее окаянного. И отогнать навождение нет сил.»

— «Кто сказывал тебе про злодейства?» строго сказал царевич. «А мать свою не чтить грешно, закону и естеству противно».

Покоянно отозвалась Радислава: «Симон Хорс мне многое поведал. Сама я виновата: спрашивала у него что отец от меня утаить хотел. Хорс говорил: 'Коль хочешь знать, так и внимай, вмести и смекай. Оно тебе даже весьма полезно будет в уме держать, ибо в царстве Владаря родичи твои остаточные живут, и от них тебе и Светомиру великая грозит опасность'».

«Испугалась я больно и все думаю: как тут быти? А он: 'Беги их', говорит, 'беги тьмы, к свету иди. А тьма ко тьме пусть воротится, не жалея тьмы, за нее не молись, ее не спасешь'. Еще пуще испугалась я, не ведая как слова те разуметь — уж не мать ли мою родимую, незнаемую, которую я-же и убила рождением своим, из сердца выкинуть, проклясть велит?»

«А то еще хуже бывает: собираются вокруг меня, обступают все невинно погибшие по вине родичей моих, и взывают, и стенают все друг друга истребившие.»

«Уж я и Параскеву царицу в испуге вопрошала. Утешала она, говоря: Петр-Апостол писал: — трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкѧ ходит, искїй кого поглотити. — * А ты никого не кори, молитву внутри твори непрестанно, дабы из глубины сердца возопить ко Христу воздыханиями неизглаголенными. Христос знает демонские ковы и лукавства. Именем Его вся отгонишь и вся рассеется яко дым.' Я Ему молюся, да не рассеиваются они, обступают, гnevаются.»

Возразил Светомир: «А ты уж больно легко победить хочешь. Потрудиться надо. Уныние — грех смертный. Хорс неправ, полагая, что в человеке добро и зло раздельно рядышком лежит. В составе человека все перемешано. Добро загубить можно от чрезмерного подозрения. Вот Свет Егорий, рода нашего покровитель, дубравы грешные не испепелил, а благословил и окрестил».

Радислава не сдавалась: «А все-же род-то наш от дракона идет. Не даром мы — Горыньские».

Светомир улыбнулся ненароком, сам не зная чему: «Что же что Горыньские», сказал он. «Не от Горыни, а от сестер святых Георгия князь Горыньские пошли. Да и драконова кровь в веках очистилась. На то и искупление. А то Христос напрасно страдал».

«Параскева непременно тебе еще и другое сказывала. Ведь святая ее, с которой она — одно, сама крестных мук Его была свидетельницей; да и не свидетельницей только. Она — само течение, время Его умирания. Она — страстная Пятница — день Его смерти. Кто как ни она помнит какую ценою куплено искупление человека и какую мукою».

«А она радостная и говорит: 'Веселие души духовно прибыльно'. Страдание посылается, дабы веселие духовное случилось в конце веков, в конце пути человека, в конце всякого круга жизни человека. При вере и надежде страдание и радость — это все одно. Да и без меня ты все сие знаешь. Не угрюмь душу, Радислава».

Воскликнула Радислава: «А ты еще и не знаешь всего окаяинства моего! Во время молитвы помыслы нечистые одолевают». Она нагнула ветку и закрылась молодой листвой, точно убрус зеленый накинула на пылающее лицо. «Да столь сладко одолевают, что и не в мочь их отогнать. Отец говаривал: 'В роду нашем кровь кровь кличет, кровь кровь борет'. Сперва во мне боролась до иступления, а ныне кличет — и не знаю что греховнее».

Из-под листвы она украдкой взглянула на царевича, нечаянно зазывно взглянула и продолжала истоиво: «Слушай, Светомире, как мы приедем в царство ваше, не хочу в хоробах государевых жити, в монастырь уйду, в келлию укроюсь. Господь не без милости — поможет».

Светомир раздвинул зеленые ветки и слегка перегнулся к Радиславе. И вдруг: дух захватило восторгом неведомым. Вот они — деревья, лучи солнца, а он, он изошел в лучах. Его не стало... А потом опять стало... Грудь разверзлась; вдохнула; и почил в ней безбольно весь, весь, прежде чужой мир. Светомир обмер...

Очнулся. Мир стоял вновь перед ним, как допреждь, но иной: листва стала зеленее, небо синее, раздельные солнечные лучи, проникавшие сквозь листву, полились ослепительным золотым ливнем.

Его охватила неизвестная робость. Он долго молчал. Наконец заговорил через силу:

«Кровь кровь и душа душу кличет. Я люблю тебя, Радислава. Трудна работа царя. А для меня трудна сугубо: я и ходить то по земле долго не умел. Тебе-же всякая былинка, что сестра родная. Ты и меня научишь здраво мыслить о земле. Соединим судьбы и жизни наши, Радислава, коль то угодно будет Господу».

Внезапно порыв ветра промчался по лесу, всколыхнул весенний убор дубравы. Затрепетали, склонились молодые, клейкие листочки, сплелись сучья дерев. Светомир и Радислава очутились близко, близко друг от друга. Протянутые руки их соприкоснулись. Они звонко, по детски рассмеялись, весело обнялись и горячо поцеловались на кочнувших ветвях.

VIII

Лето уж было в разгаре, когда посольство Иоаново дошло до земель Владаря. И перво-наперво все двенадцать Пресвитеров со Светомиром и Радиславою, оставив черноризцев и слуг в лесу, отправились на малое паломничество в пустыньку Парфения, хоть и знали, что старца боле нет в живых.

Окрест хижинки Парфения увидели они монастырь дубравный, где, сказавшись странниками, знавшими старца, нашли радушный прием.

Словоохотливые монахи сообщили все, что было им известно о случившемся в государстве за последние года. Рассказали, как после похорон царевича Светомира царица, мать его, в монастырь ушла к игуменье Меланье, и оттуда порою к старцу на исповедь в сию пустыньку приходила; а со смерти старца ее больше уж никто и не видал.

«Когда умер старец?», спросили святители.

«Тому уж семь лет минуло. На погребение сюда царь приезжал. А царица не приехала. Год спустя государь женился на Зое, вдовице кесаря византийского, которая свое царство потеряв, у нас жить стала. И, кажись, ничего худого не делает новая государыня, даже ласку оказывает, а невзлюбил ее народ, как невзлюбил незнамо за чьим и младенца, сына ее от Владаря-царя; а покойника, Серафима-царевича убившегося, народ и по сию пору все поминает и жалеет».

Светомир стоял у окна, спиною к говорящим. Он долго молчал; потом обернулся, спросил: «А что случилось с медведем бурым, который всегда за преподобным Парфением ходил?»

— «Мишка», ответил один из монахов, «как схоронили старца, перед входом в часовню сел, с места не сходил и пищи не принимал. Так с тоски да голоду и помер через малый срок».

Светомир и Радислава попросили пресвитеров обождать их возвращения, а сами вскочили на коней и помчались в монастырь к Меланье, надеясь увидеть там Отраду, или узнать куда она укрылась.

IX

Со слезами умиления встретила старица игуменья неожиданных желанных гостей, и Бога возблагодарила, говоря: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня грешную исполнить дело, мне завещанное. Ныне отпускаеши рабу Твою. Умру спокойно. Давно вождеваю».

— «Где мать моя? Здесь, в монастыре?» был первый вопрос Светомира.

«Умерла мать твоя. Давно умерла. Как преставился старец Парфений, так и она денька через два за ним ушла».

Светомир содрогнулся всем телом. Кровь отлила от головы и сердца. Он не слышал более слов Мелании. Из далей далеких доносился голос Отрады, лилась невнятная песня. Он видит ее перед собою в царском одеянии, красивую, молодую. Она плавно проходит мимо, теряясь в дымке сперва прозрачной, потом густой. Душа его встрепенулась, устремилась ей вслед, потонула в ее мгле.

Очнувшись, Светомир услышал как говорила старица-игуменья: «Да, святой жизни была мать твоя, и молитвами своими тебя не оставит до конца твоих дней».

— «А отец?» через силу, почти беззвучно спросил Светомир.

— «Он приехал по зову твоей матери и застал ее еще в живых. Она его узнала, благословила, но ни одного слова вымолвить уж не могла. Оно так и лучше: Уж больно тяжело стало бы ей утаивать перед смертью от Владаря чем душа в ту пору была полна. Вся дума ее о тебе была, а старец наказывал ей, доколь сам знака не даст, про спасение твое чудесное царю ничего не сказывать; да так и умер преподобный Парфений, запрета не сняв».

— «Где могила ее?» еще спросил Светомир.

— «Сперва мы ее тут в саду положили. Потом я Владарю волю покойницы передала, перенесенной быти на креницу без почестей, никому незнаемо. Так он и сделал, как она повелела».

Хотелось Меланье задержать у себя царевича, но она торопила отъезд: «Надобно тебе пред очи отца твоего предстать прежде чем он

про посольство Иоанново прослышит. А долго ли прослышать? Слух ветер носит. Куда не ждешь, залетит. А Радиславушку мы, доколь у вас там все порешится, в монастыре нашем сохраним. Да и ты себя береги: не ровен час».

Принесла из келлии своей Мелания скрыницу малую деревянную и сказала: «Ведомо тебе, Светомире, про частицу молитвы, в ларце сем заключенной, что она вкупе с другими двумя частями той же молитвы послужит для признания тебя тем самым царевичем, которого у криницы похоронили. Мать твоя от старца Парфения сей ларец получила и меня просила вручь изручь тебе его отдать. Вот и привел тебя ко мне Господь в неподзний срок».

Светомир молча наклонил голову. И, благословив, отпустила его старица.

Х

Послов из Срединного Царства принимал Владарь как и при первом их посещении, с почетом царским. Долго за полночь затянулась трапеза торжественная в государевых палатах. Наконец, все гости разошлись; не ушли лишь двенадцать Пресвитеров и юнота миловидный, с ними прибывший.

И подошел сей юный к царю и передал ему ларец золотой, сапфирами искусно осыпанный, говоря: «Послание, Государь, тебе от Иоанна Пресвитера.»

Принял скрыницу Владарь и в сторону ее отставил, дабы потом в своей опочивальне без свидетелей, тайное, как он полагал, писание из нее достать.

Но сказал один из святителей: «Наказывал нам Иоанн Пресвитер послание его прочесть, когда будем мы с тобой наедине все двенадцать вместе и сей юный среди нас».

— «Быть по слову Иоаннову», молвил Владарь.

Тогда святитель снял печати со скрынии, вынул свиток и стал оглашать послание. Писал Пресвитер про Парфения, что он пробудил царевича и к себе увел, писал про Царство Срединное, где девять лет упремудряли отрока, писал про посольство свое, которому ныне поручено царю Владарю сына вернуть; про многое еще писал Иоанн, но об разрешительной молитве не упомянул.

Слушал, слушал Владарь, и мнилось ему, что слышимое ему лишь снится. Он боялся проснуться. Порою всматривался он в юношу мило-

видного, поодаль стоящего; и что-то родное, давно утраченное уветливо трогало сердце.

Когда грамота была прочитана, все обратили взоры на Владаря, ожидая что он скажет. Но он молчал, лишь знак подал рукою, что прием окончен. Пресвитеры, простившись по чину, покинули палату. Отец и сын остались вдвоем.

Владарь за плечи притянул к себе царевича, долго глядел на него: он искал увериться, что перед ним — не мечта, не привидение. Наконец он сказал:

«Светомире, ты ли это? Не думая, не упояя, все годы эти я неизменно ждал тебя. Не видя тебя верил, что явишься ты непременно; а ныне, видя тебя, не верю, что ты въявь стоишь передо мною. Уж не морочит ли меня твой двойник, не маячет ли здесь твоя тень?»

— «Не тень я, отец, и не морок. Вот я вправду стою перед тобою, весело возражал Светомир. «Помнишь как ты меня, младенца, серым волком обернувшись, на спине своей в тридешатое царство уносил? Помнишь как с войны ряженный к нам приехал?»

И вовлекал Светомир отца своего все больше и больше в ушедший мир воспоминаний; и призрачный мир тот делал все менее и менее призрачным их невероятное, живое свидание. И на душе Владаря стало легко как давно не было.

И нетерпелось ему все узнать не только про самого Светомира, но и про Пресвитера, и про Параскеву, и про устройство царства их, и про смерть Радивоя, и про исцеление дочери его.

А, когда сказал Светомир, что с ним вернулась и Радислава, вскричал царь радостно: «Поезд особый снарядим, дабы с почетом должным дочь Радивоя к нам во дворец привести.»

Возразил Светомир: «Не гневайся, отец, за ослушание: не хочет игуменья Меланья отпускать Радиславу из монастыря доколь со мною здесь все не прояснится.»

— «И то правда», сразу согласился Владарь. «Не спокойно у нас тут будет. Разобидятся греки, узнав о твоём возвращении». Замолк на мгновение царь; потом сказал хмуро: «Может ты слыхал уж от людей, что я царицу Зою за себя взял. Сыну нашему пятый год пошел. Тебя не было, и не было разумной надежды, что с того света ты можешь воротиться. Царство оставалось без наследника.»

Голос Владаря звучал покаянно. И смутился Светомир, что отец перед ним будто винится. «Ты прав во всем», поспешил он ответить. Владарь тихо продолжал:

«Женился я через год после смерти матери твоей. Святой жизни была Отрада. Поспел я в монастырь, когда она еще дышала. Говорить не могла. Она меня благословила, умирая.»

О чем только за часы ночной беседы не переговорили меж собою Владарь со Светомиром, а про главное что на душе у обоих болело, никто из них первым не решался сказать. Но теперь, когда Владарь решился, Светомир, едва умолк отец, сразу стал рассказывать про все, что память ему сохранила о последнем свидании с матерью: как приходила она в пустыньку Парфения, и как она песни ему пела, и как он под те песни уснул.

И вдруг Владаря молотом по сердцу ударила мысль: «Отрада все знала». Он склонил голову так, что Светомир не мог видеть его лица. Он долго молчал.

«Ныне вся забота моя будет тебя без промедления законным наследником поставить», сказал он, наконец, не отвечая об Отраде. «Все возмущения и споры с корнем вырвем. Промыслим о том с патриархом и Жихорем».

— «О сем уже старец Парфений давно промыслил», вступился Светомир. «Поручено мне открыть тебе то, что до сей поры в царстве твоём после ухода старца знали лишь мать моя и игуменья Меланья». И Светомир прилежно все поведал об разрешительной молитве и, кончив рассказ, достал из-под одежды своей и передал Владарю две малых скриницы деревянных, меж собою схожих совершенно.

Открыл Владарь скриницы, вынул отрывки листа, приложил их друг к другу и увидел, что составляют они единое письмо и образуют середину и конец отпускнуой молитвы.

«Начало ее в гробу моем лежит», повторил Светомир:

«Не мерою дает Бог благо,» воскликнул Владарь. «Ты во спасение и утешение мне возвращен, дабы дело мое завершить. О чуде такого дара я и просить Господа не дерзал бы. Епифания патриарха поспешно призовем. Могилу торжественно раскопаем при народе многом, и гроб отворим. А назавтра, раз Радислава пожаловать к нам не может, отправлюся я сам взглянуть на нее. И то уж давно я к старице Меланье в монастырь собираюсь».

Как настал день, сели царь с царевичем на коней и поехали без провожатых в далекую обитель.

Когда вышла Радислава и взглянула на Владаря глазами темными, большими, Гореславиными — захолонуло в нем сердце. И предстала пред ним будто живая, в красе своей юной, нежной и грозной его сужено-несуженая, и оторопел он как тогда. Владарь тяжело опустился на скамью, чтоб не упасть. Но сразу-же оправился, встал; был спокоен и весел; никто ничего не приметил.

А после общей трапезы Владарь всех отпустил опричь одной игуменьи Меланьи; и долго спрашивал ее про Отраду.

Торопил Владарь открытие гроба Светомирова. В назначенный день все званные собрались у криницы: царская семья, пресвитеры и черноризцы, посланные Иоанном, князья, бояре, воеводы и люди сановитые.

По правую руку патриарха стали Владарь и Светомир, по левую царица Зоя и княжна Радислава. Зоя величая в одеянии из золотой парчи под царской багрянницей, окаймленной яркими самоцветными камнями, с сияющим алмазным венцом на червонных кудрях была поистинне прекрасна. И все-же ее соблазнительная прелесть не могла затмить чистую, девственную красоту юной Радиславы. На ней была белая, мягко охватывающая ее отроковический стан, ферязь, обшитая вдоль разреза и вокруг подола крупным жемчугом, голову ее обвивала лента с жемчужными поднизями, жемчужные нити переплетали ее тяжелую, темно-русую косу.

В отдалении от святителей и вельмож толпился народ. Слух о чудесном спасении Светомира пронесся по стране, и простой люд приблел со всех концов державы в надежде увидеть своего царевича.

Стоя подле криницы, Светомир зоркими глазами читал надписи на недалеких могилах: «Княгиня Горислава Управда, дочь князя Боривоя Горынского»; «Царица Евфросиния, дочь князя Семеона Управды»; «Отрок, царевич Серафим, сын Владаря царя».

Светомир видел как раскапывали его могилу, как гробовщики вынесли на свет детский дубовый гроб, поставили его на свежий холмик вырытой земли, сняли крышку домовины и отошли в сторону.

Гроб открыт. Он полный. В нем лежит сложенное роскошное покрывало из белой парчи, бережно распростертый саван, и на саване венчик малый и отрывок пергамента с какими-то письменами.

Патриарх склонился над гробом, вынул из него этот пергаментный отрывок и поднял руку, его державшую, так, чтобы близь и даже не близь стоящие смогли бы лист увидеть.

Потом обратился к Владарю; царь подал ему скрыницу; патриарх открыл ее, вынул из нее другой пергаментный отрывок и поднял его как и первый над головами свидетелей сего невиданого опознания.

Ступил вперед миловидный юноша и протянул патриарху скрыницу подобную Владаревой. Патриарх вынул из нее третий отрывок пергамента и, как и первые два высоко поднял его, показывая народу.

Затем он приложил три пергаментных отрывка друг к другу. Они образовали единый лист со сплошными начертаниями, буква к букве, ни единого пропущенного знака. И патриарх сказал: «Мы закрепим

части целого листа, как сами они друг ко другу пристали, и выставим лист сей так, чтобы всякий кто пожелает, мог бы подойти и увериться. А теперь внимайте!» И он медленно, во всеуслышанье прочел все, на листе написанное. Кончив чтение, он перекрестился и торжественно молвил:

«Сии пергаментные начертания не впервые оглашаю я над этим гробом. Вот три отрывка перед нами. Они вкупе составляют ту самую разрешительную молитву, которую я десять лет допрежде сего дня положил в десную царевича, во гробу сем тогда лежавшего.

«Покойный старец Парфений, один сподобившийся видеть пробуждение отрока Серафима, разделил лист тот на три части; одну из частиц оставил он в полом гробу, другие две частицы он унес с собою; потом старец разлучил меж собою и эти частицы, зная, что в положенный час они все трое воссоединятся. Господу угодно было, чтобы сие случилось ныне при вас, у криницы собравшихся».

И патриарх рассказал о судьбе двух унесенных Парфением частиц, особо о той, которая неизменно сопровождала уехавшего царевича, «о чем», сказал патриарх, «непреложно свидетельствуют вот эти, здесь стоящие святители из царства Иоанна-Пресвитера, которые при первом посещении страны нашей, ее покидая, увезли с собою отрока Серафима и ныне, спустя десять лет, возвращают царевича в отечество его».

И закончил речь свою долгую патриарх, говоря: «Целокупность разрешительной молитвы убеждает нас в чудесном спасении царевича: никакие письмены всего мира не могли бы уподобиться недостающим, унесенным частям, во гробе лежавшей молитвы, опричь тех, что ими изначала были. Юноша, стоящий подле царя Владаря, есть перво-родный сын его, наследник престола, царевич Светомир. Возблагодарим Господа!»

Патриарх подошел ко кринице и стал служить благодарственный молебен. Все опустились на колени. Когда отзвучали последние слова торжественного служения, наступила полная тишина: народ молчал от благоговения.

И лишь после того как патриарх отошел от криницы раздались первые возгласы: «Да здравствует царевич Светомир!», «Да здравствует царь Владарь и сын его царевич Светомир!» Голоса нарастали, сливались, наполняли воздух гулом ликования.

Среди общего восхищения никто, кроме Владаря, не приметил как испытующим, розыскивающим оком Жихорь вонзался в ряды отечественных и греческих вельмож.

XII

Владарь приказал приготовить богатое угощение для горожан и сельчан, устраивать зрелища и гулянки. По всей стране много дней сряду народ в единодушном радованьи шумно праздновал счастливое возвращение царевича.

Беспечально стало чело Владаря, и обычай соделался уветлив и милостив. Собрался было царь учить Светомира как землю володать, но, дивясь, увидел, что учить ему сына нечего: не по летам сметлив в трудах правления был царевич; его быстрые, простые решения дел державных являли толикую прозорливость, что сам Владарь, правитель испытанный, ничего более мудрого для укрепления и усовершеня своего царства придумать бы не мог.

Обновилась жизнь Владаря, и тревога ушла от души. И говорил он сам себе, утешенный: «Не обманули счастливые звезды; сын мой более нежели я; при нем царство не токмо что не оскудеет, но и в вящей славе утвердится. Права была Отрада моя, когда меня увещала о нем не соблазнятися».

Однажды — август был уж на исходе — вошел ко Владарю Светомир, говоря: «Отпусти меня, отец, на криницу. Давно ищю наставление там получить. А допреждь по пути дозвожь мне в монастырь к игуменье Меланье заехать: старицу повидаю, да и стосковалося сердце по Радиславе».

Грустно было Владарю расставаться с сыном и на короткий срок. Но не мог он воспрепятствовать царевичу помолиться у заветного креста и свидеться с невестою. Он лишь сказал: «Возьми побольше провожатых. Оно и приличнее, и надежнее».

Отвечал Светомир: «До монастыря сколько прикажешь, столько и возьму провожатых. А уж на криницу, не прогневайся отец, отправлюся я один».

И на то согласился Владарь.

XIII

Радостной была встреча Светомира с Радиславою. Со дня молебствия на кринице виделись они всего один раз, и то на большом пиру, где праздновалось возвращение царевича и куда звана была тьма тьмушая гостей. С той поры Радислава монастыря не покидала, а Светомир был неотлучно при отце.

Несколько часов, проведенных вместе, были счастливейшими часами их жизни. Они непрестанно чему-то смеялись; им было весело. И торопились они все поскорее, побольше открыты друг другу про себя. Сказал Светомир про занятия свои с Владарем:

«Отец порою радуется на меня будто я складно мыслю о державе. А я разве мыслю? Стараюсь лишь догадаться что в подобном случае решил и сделал бы Иоанн Пресвитер. Вот и вся моя догадка и дума».

Перебивая друг друга стали они вспоминать житее свое в Срединном Царстве.

«А что помнишь ты, Радислава, про нашу с тобою первую встречу?» вдруг спросил Светомир. Он не забыл вовсе как впервые увидел Радиславу, Радивоя, Зою, но ему хотелось услышать как она будет про то сказывать.

Ей-же было тяжко и отраднo вспоминать про страшное бегство их из Византии и радушный прием в стране Владаря. Потом она с умилением стала говорить о Глебе. «А ведь мать твоя, прилучая ко груди своей бедного сиротку, и не ведала, что уготовляет тебе дружка заботного».

Ее перебил Светомир: «Мы упали вместе. Знаешь ли ты как оно случилось, что он убили, а я остался жив?»

Она испугалась, что опечалила его, сказала: «Видно так Господу угодно было. Ведь...»

Он опять перебил ее, спросил в тоске: «А, может быть, Глеб и не умер вовсе, а заснул лишь как я, и как я мог бы пробудиться?»

— «О нет», поспешила успокоить его Радислава. «Высвободила я тогда руку свою из руки отца моего, с которым шла; да и подбежала к вам обоим, рядышком на земле лежащим. Все поспела разглядеть прежде чем меня увели. Глебушка весь искалечен был, и не узнать его. Он был мертв — в том нет сомненья».

— «Бедный Глеб», тихо молвил Светомир.

«Бедный?!» вскричала Радислава. «Нет, счастливый Глеб! Вот обнять бы тебя и полететь. А потом, чтобы ничего больше не было, ни - че - го...»

XIV

Из монастыря Светомир направил путь свой ко кринице. Но вдруг переменил решение. Он подумал: «Никто, верно, и не ходит боле на могилу Глеба. Нёкому и поплакать над ним, и помянуть его. Поеду я. Кажись, тут недалече».

Долго, истово молился Светомир на могиле своего младенческого пестуна. И пали с души его хранительные завесы, таившие до времени от памяти печальные события прошедших лет.

Вот маленький, весь в белых цветах гробик. Он знает там Зареслава. Мать скорбно склоняется над пустою колыбелькою. Вот он сам в своей опочивальне в верхнем жилье. Он и Глеб стоят у окна. Под окном движется шествие. Мать в царских одеждах: «какая красивая!» Он бросается ей навстречу.

Внезапно грудь его больно ужалила догадка: «Верно я тогда упал на Глеба. От удара с тела его скатился я на землю.

«Глеб разбился на смерть и тем меня спас». Никогда допрежде Светомир о том не думал. Он знал — как он и говорил Радиславе —, что они с Глебом стояли обнявшись и вместе упали. Ведь Глеб был как и он неразумным семилетним отроком.

«Но», вспоминал Светомир, «был он отроком как и я; не таким он был как я. Он ходил за мною, меня водил, уберегал. Там, у окна по обычаю своему, хотел меня удержать, уберечь. Вот и уберег. За меня умер. Я убил его... Господи, помоги мне жить так, чтобы стать достойным той жертвы, чтобы искупить невольную вину мою...

«А Радислава? Она не все сказала мне, что знает. Надо ее обо многом, многом спросить. И столько еще нужно поведать ей.

«Поздно уж; солнце заходит. До криницы далеко, а я обещался отцу не ехать туда одному в темную пору. Переночую в монастыре. А завтра спозаранку отправлюсь в путь».

Царевич ехал лесом. Ветер шевелил верхушки деревьев, тербил их червонно-золотые и ржаво-красные одеяния. Слышались шорохи, потрескованья. Белый конь сторожкой ступал по кочкам и верескам.

XV

Вечеру того дня как уехал Светомир вошел к Владарю Жихорь, вернувшийся с объезда беспокойных областей царства; он сказал:

«Блюда царевича, Государь. А то прослышали не знаемо как те, кому знать не надо, что будто царевич на криницу один вздумал верхом поехать. Вот они и рыщут по лесам, его выслеживая».

Нахмурился Владарь: «Уехал уж сын мой. Взаправду на криницу собрался. И как только они про то прослышали? Но сперва со многими провожатами завернет он в монастырь к сроднице нашей игуменье Меланье. Спешу уберечь его там».

Велел Жихорь запретить самых быстрых лошадей в самую невзрачную кибитку и, упрятавшись в нее, помчался в монастырь.

Когда его ввели в приемный покой Мелании, он увидел сидящую у окна, спиною к нему, послушницу, вышивавшую плат для иконы. Склоняясь к руке игуменьи, он тихо сказал ей, что хотел бы иметь с нею беседу наедине.

«Ты не узнал ее, боярин. Это — княжна Радислава. Разве она помешает?»

— «Вестимо, не помешает. Прикажи, мать игуменья, пригласить сюда и царевича. Государь сказал мне, что он ныне пребывает в твоём монастыре».

— «Он у нас всего-то часика три-четыре побыл и уехал: спешил на криницу».

Жихорь поспешно встал и стал прощаться. «Уж не грозит ли какая напасть?» испугалась Мелания.

«Грозить, прямо не грозит», уже на ходу ответил Жихорь, «да неровен час. Я дозоры расставил. Иду проверять».

— «Что приключилось? допрашивала в тревоге игуменья. Жихорь ответил ей шопотом, что греки порешили известить царевича Светомира и поставить на престол сына Зои».

XVI

Еще при первых словах Жихоря Радислава неслышно ушла, бросилась со всех ног в свою келлию, схватила забытый Светомиром белый плащ, висевший там на гвозде, достала серебрянную уздечку, сохраненную ею на память о Срединном Царстве, и — (келлия ее была в нижнем жилье) — ловко, легко прыгнула через окно в сад и ринулась к воротам.

Ворота оказались незапертыми; за ними на лужайке пасся белый конь, тот самый, на котором она въехала в сей монастырь. Она вскочила на него, неоседланного, и поскакала в лес. Радислава помнила, что надо ехать бором на криницу. Дорога, вся покрытая скользкими золотыми листьями, едва была видна. Валежники заграждали путь, который становился все трудней и труднее.

Радислава делала отчаянные усилия ехать скорее. Она сама не знала на что надеялась: догнать Светомира, предупредить, спасти его или умереть с ним вместе.

Но сколь она ни нудила коня, он не соглашался бежать шибко. Чтоб не поскользнуться и не упасть он шел упругой, умной походкою, ошпы-

вая почву. Радиславе казалось, что она никогда не доедет; она боялась, что сбился с пути.

Вдруг она услышала за собою лошадиный топот: «Господи, Матерь Божия, помилуй, упаси Светомира».

Конь насторожился и пустился вскачь, скользя и спотыкаясь. Радислава на миг оглянулась: Маски, опущенные забрала, пронзительная полоса света, больно ужалившая ее спину и грудь.

Она упала навзничь на землю. Плащ покрыл ее всю. Она не видела и не слышала как заговорщики промчались мимо нее и скрылись в лесу. Конь ее, было убежавший, вернулся, постоял над своею госпожею и, точно придумав что следует делать, повернул обратно в монастырь.

XVII

Ушед в свои думы Светомир не заметил как доехал до монастыря.

В обители царил переполох: лошадь Радиславы прибежала неоседланная без седока, неведомо откуда. Радиславы нигде не могли доискаться.

Когда игуменья в слезах рассказала Светомиру про посещение Жихоря и добавила: «Пропала после того наша Радиславушка. Гонцы мы во все концы разослали», он сразу догадался: «Она поехала за мною на криницу».

Светомир вышел на лужайку; по ней понуро ходил белый конь Радиславы. Царевич вскочил на него. Ретивый бегун помчался в лес, но по лесу он уж не мог мчаться; медленно ступал он чрез застилавшие дорогу, мокрые листья и бурелом. Светомир мучился нестерпимо от медленной езды, но не смел ни направлять, ни торопить коня, зная что умный друг Радиславы лучше чем он сам отыщет верный путь к ней.

Долго ехал царевич. Вдруг конь, испуганный, остановился, заржал, задрожал, знаки давал всаднику. Светомир спешился, огляделся и ему почудилось, что вдали, внизу, между деревьями мелькает белая ферязь. Иль то был свет, колеблемый верхушками деревьев? Он подошел к белому пятну и узнал свой, по земле раскинутый плащ. Он схватил его, поднял:

Под ним лежала Радислава. Такою красавицей он ее никогда ранее не видел. Лицо сияло тихою, счастливою улыбкой; глаза, широко раскрытые, смотрели прямо в небо.

«Родя, встань скорее, родная, не бойся, это я». Он потянул ее за руки, чтобы помочь ей подняться. Содрогнулся: руки ее были холод-

ные, застылые. Он припал к ней, крепко ее обнял, изо всех сил старался отдать ей все свое тепло, согреть ее своим горячим дыханием. Она не двигалась, не согревалась, не дышала.

«Радислава, Радислава!» Он звал ее все громче и громче; зов переходил в крик, раздался стон раненого зверя. Светомир его услышал доносящимся извне, догадался, что это его голос. Его?...

Смертельный холод проник в его грудь, ледяными иглами обжег сердце. Оно захолонуло, застыло, стало.

«Господи, за что? Ты не можешь, не смеешь хотеть ее смерти. Верни ее, оживи. Возьми меня за нее!

«Господи, прости. Уйми буйство сердца, возмущение духа моего. Помоги мне не испытывать, не вопрошать Тебя, не сомневаться в Твоей правоте. Да будет воля Твоя».

Светомир опустился на колени, соединил на груди руки Радиславы и вложил в них образок Богоматери, который он нашел в своем гробу и с которым он с той поры не расставался. Он долго смотрел в очи своей невесты, не мог оторваться, наконец закрыл глаза ей навсегда. Он лег на землю рядом с нею, близко, близко и покрыл обоих, ее и себя, белым плащом из Серединного Царства.

Никто не видел случившегося опричь коня. Конь стоял с понурою головою; порою он тихо, стону подобно, жалобно ржал, плакал.

Светомир был в забытьи. Он не знал сколько времени прошло. Вдруг услышал топот лошадей и шум приближающихся голосов. Он вскочил и встретил всадников стоя. Впереди ехал Жихорь, за ним человек двадцать воинов. Увидя царевича, все сошли с лошадей, обнажили головы, поклонились большим обычаем в землю.

«Княжну убили», сказал Светомир, указывая на Радиславу.

Жихорь подошел к покойнице, стал на колени, перекрестился, приложился к ее руке. Он сказал, вставши: «Экие изверги проклятые. Ведь как пронзили! Прямо в сердце. И крови не видать. Вся внутрь ушла».

— «Мы отвезем княжну в монастырь», обратился к нему Светомир.

«Зачем в монастырь, царевич? Обитель затворенная. Туда и доступа народу нет. А похоронить княжну подобает с почетом царским; порешил я отвести ее к государю во дворец. Здесь близехонько. А сам я затем сразу же по свежим следам погонюсь за изменниками. Да и путь уж наслежен. Медлить негодно: уйдут злодеи».

Светомир гневно сказал: «Ты порешил? Здесь приказываю я. Вели воинам твоим бережно поднять княжну; вы повезете ее в монастырь».

Обиделся Жихорь: никогда, никто и не думал ему перечить. Одному Владарю обик он повиноваться. Как дерзает сей юный приказывать ему, властителюному?

Он с досадою взглянул на Светомира. Но вдруг и он, и поодаль стоящие воины удивились, оробели: перед ними стоял не слабый, неискушенный юноша, а властью облеченный государь.

XVIII

После похорон Радиславы поехал Светомир в пустыньку Парфения. Он просил отвести ему тихую, далекую келью и не приходите к нему на беседы.

На заре пятого дня приснился царевичу сон: Лестница преогромная спускается с неба на землю. И Кто-то в духе нудит его по ней идти. Вот он сошел на землю; он — младенец на руках Отрады. Она юная песнь сладкую поет. Входит богатырь-красавец в воинских доспехах. Он знает, что это — отец. И отец, на него указывая, говорит: «Георгий», а матери голос милый в ответ: — «Серафим». И ворчит Владарь: «Серафиму не на престоле сидеть, а по монастырям скитаться; а сему — мое дело вершить на земле назначено, чинами дольными править. А пред чинами горними ты, Отрада, авось уж меня отмолишь». А тут старец Парфений, ласково в бородку улыбаяся, молвит: «Во святом крещении наречется Серафим, а рёкло его тайное будет Георгий».

И не стало боле старца; заливается песнь Отрады, а он не слышит, а видит про что она поет: идет Матерь Божия, и, где ступает, там Рай. А подле Нее Апостол Иоанн с чертами Пресвитера. И молвит Дева Пресветлая: «И этот нашего рода». А впереди Нее Георгий на белом коне лес крестит, а под конем змий, копьём пронзенный, лежит; а поодаль царевна с чертами Радиславы. Егорий говорит, наставляет; а он рад бы слушать, да гул колоколов речь заглушает. Он силуется ловить невнятные слова, и от натуги пробуждается.

Сон отлетел, а звон не прекратился. И подумал Светомир: «В церкви звонят. Благовест праздничный. Какой сегодня праздник?»

И вспомнил: «День Рождества Пресвятыя Богородицы». И еще вспомнил, что исполняется ему в день сей осьмнадцать лет.

Светомир отстоял обедню в монастыре, попрощался с монахами, сел на белого коня и поехал на криницу.

День осенний зачался прозрачный, теплый. Но вскоре набежали тучи. Потемнело. Стал накрапывать дождь.

Подъехав к заветному урочью, Светомир сошел с лошади, привязал ее к дереву и пошел на криницу. Близь нее остановился он у свежей могилы: «Княжна Варвара-Радислава Горынская, дочь князя Радивоя».

А вот рядом и его прежняя могила. Холма уж нет. Сравненная с дорожкой, она среди зелени выделяется недавней насыпью земли.

Гроза приближалась, усиливалась. Молнии причудливо озаряли криницу. Дождь превратился в быструю, широкую, наискось с неба низвергающуюся реку.

Светомир стоял без мыслей, без слов, без молитвы на устах. Тоска на него напала смертельная. Он с трудом подошел к кресту.

На душе безнадежное одиночество, сиротство, покинутость до изнеможения, до полного истощения сил... Кругом ничего, глухая пустота... «Боже мой, помилуй мя. Раствори окаменелость сердца моего, приди, научи мя оправданием Твоим».

Огонь с неба вдруг оглушил Светомира. Плающее жало ударило, вонзилось в его темя. Он замертво упал на землю.

Гроза давно прошла, когда он очнулся. Тихие шорохи и светлы оживляли лес. Светомир ощутил цветов благоухание сладчайшее Иоанновых полей.

Он с трудом открыл глаза. Их ослепила светозарная полоска. Он протянул руку, взял ее; она сияла, горела, но не жгла.

Внезапно от радости нечаянной замерло сердце Светомира. Солнечная сила по край наполнила грудь.

Он встал. Подошел ко кринице. Омыл голову ее водою. Поднял глаза ко кресту. Что это? На кресте зияла недлинная трещина, черная точно ожог.

Чтобы лучше видеть Светомир поднес к расщелине луч, что держал в руке. Странно: огневая заостренная палочка легла в расщелину точно в свое прежнее ложе.

Тогда Светомир все понял: Луч-копейцо Егория значава лежало, таилось в кресте. Молния прошла через крест, расщепила древо. Из креста выпала стрела.

«Это она — вожденная, обетованная золотая стрела!»

Царевич опустилс на колени, обнял крест, припал к нему лицом и телом и весь ушел в молитву безглагольную.

И чудилось ему, что сам он стрелою лежит в кресте, и крест в себе несет как легкое иго, и что крест в нем, и сам он крест, и все это — одно.

XIX

Говорил Владарь хмурый, осерчалый, Светомиру, вернувшемуся с криницы: «Вытравим зло, хотя б оно таилось в сих палатах. Жихорь

кончил дознание. Злодеи уж опознаны. Будем далее пытаться. Те, кто убивали, сами были лишь орудием. Никого не пожалеем, не пощадим».

Возразил Светомир: «Коли ответим убийством на убийство — куда нас сие приведет? Негоже нам мстителя, духа злого, в дом к нам пускать. В веках братоубийственные предки наши мало не искоренили весь род наш. Спасла его сила Егорьева. Что же нам ныне сызнова супротив Егория идти, супостата-истребителя призывая?»

Еще пуще нахмурил брови Владарь: «Прощением да милостью царства не построишь. Долго мы змею ласкали, прилучали; задушить ее настало время. Коли мы сучья порубим, а ствол да корень сохраним, тем, поди, кончится, что изменники и впрямь законного царевича зарежут. А я как раз промыслил тебя на царство ныне, при жизни моей венчать, дабы никто спорить последи не смог, когда меня не станет. Уж и патриарх об том уведомлен».

Отвечал Светомир: «На царство венчать меня рано. Сие тебе во вред будет, а мне от того защиты никакой не прибавится».

Помолчал царевич, потом добавил с решимостью: «А коли уж казнить, так оно, пожалуй, с меня то начать и пристало».

Испугался Владарь, подумал, что Светомир юродствовать стал, что опять разум его повредился.

А Светомир его на мысли поймав, сразу ответил: «Не думай, отец, что я в умоиступление прихожу. Вот что я разумею: и Глеб, и Радислава ради меня погибли, чтобы я остался жив».

Перебил его Владарь: «Против твоей воли, дабы страдание тебе на земле принять, были они от земли взяты. А что ты себя со злодеями равняешь, так сие даже и неблагочестиво: Сие есть обида на Бога. В смерти тех, кого любил ты, вины твоей нет».

— «Что есть вина?» в раздумье сказал Светомир. «Вот Эдип убежал от того, кого мнил родным отцом. Убежал, ибо боялся его убить как то было предвещено оракулом. А вышло так, что отца то своего он и убил и на матери своей женился. И все против своей воли; и страдание великое принял. Мы то его пожалеем, скажем: «Бедный, не виноват». Но ведь ране чем кто другой осудил его, сам он признал свою вину, сам себя за нее казнил, ослепил».

«Много думал я о сем; и с Иоанном Пресвитером беседовал. Он говорил: 'Эдип разгадал загадку Сфинкса: Человек. И понял он, что Промысл Божий о человеке есть свобода. Потому человек, покуда он достоинство человеческое соблюдает, за все, что деет, ответ должен давать, и всегда виновен, когда поступает неправо вольно али невольно; неведением оправдываться невозможно. Тогда нет боле свободы'».

Вступился Владарь: «Раз уж ты такой начетчик в премудрости эллинской, и я от тебя отстать не хочу. Вовсе не Эдип, а Лаий виновен

в том, что в дом ихний вселился Аластор (как звал Эсхил злого духа мести). Помнишь, что поет Эсхил хор?»

И Владарь на память по эллински повторил слова хора: 'Я говорю о древнем преступлении рода; оно принесло быструю кару, но оно же и сохранило силу до третьего поколения. Это было, когда Лайи вопреки Аполлону, который трижды сказал ему в срединном пифийском прорицалище, чтобы он, умирая без потомства, спас свой город, — победенный неразумной страстью своей милой — родил рок самому себе: отцеубийцу Эдипа'.

«Кто знает, ради чего был столь жесток Аполлонов приказ. А послушайся его Лайи — быть может Аполлон и освободил бы его от обета воздержания, как Ангел остановил руку покорного Авраама, от которого Бог бдльшую жертву потребовал: сына заклать единственного. Лайи послушался — вот его грех.

«Но оракул то был зловещий при рождении Эдипа, а твой, Светомир, оракул был пресветлый, вещал он чудо и спасение. С кем ты себя равняешь?»

Сказал Светомир. «Ты прав про Лайю. Он наперво пустил Аластора в свой дом. Но вина Эдипа сим нисколько не умаляется: ведь преступление он все-же соделал, хоть и не знал, что сие есть то именно преступление, от которого он убегает.

«Он убил странника-старика на перепутье. На перепутье — значит сам выбрал путь. Преступление его, которое он неправо за преступление вовсе не признал, было безмерно умножено обрадованным добычею Аластором. А не случись убийства, злой дух не возымел бы над Эдипом власти.

«А вот что еще древние мудрецы знали: всякий человек, входящий в мир, уже виноват в убийстве: рождением своим устранил он тех, которые могли бы родиться. Но моя то вина страшнейшая: люди, не токмо могущие родиться, но уже рожденные, меня ради ныне не по земле ходят, а в земле лежат.

«И все-же: как ни тяжел мой грех, его еще отмаливать можно. Духу мести двери дома нашего до сей поры не открыты. А вот, коли ответим мы убийством на убийство, то войдет в тот-же час к нам дух мститель, и потянется страшная цепь преступлений и возмездий.

«Спасти же карою — никого не спасешь, ничего не искупишь. Да мне не столь о том помышлять приходится как отомстить, сколь о том как бы кого ненароком не обидеть, не убить. Опасаться надо нечаянных мыслей».

Владарь, перестав понимать, с тревогою слушал странную речь сына.

А Светомир продолжал: «Она, коль я захочу, сама виновного отыщет и паразит. Ей ни дознания, ни пыток не надобно».

— «Кто — она? недоуменно спрашивал Владарь.

— Золота стрела». И Светомир достал под плащом на груди спрятанную стрелу.

Золотой луч, светлейший лучей земли, ослепил царя. Он оторопел, подумал: «Уж не потерял ли я рассудок? Что мне примнилось?» Он закрыл лицо руками, силовался прогнать сонный морок.

А Светомир стал рассказывать и все рассказал про то как он получил стрелу. Когда он кончил, Владарь отвел руки свои от лица. Оно было бледно, точно смертью повито. Царь потянулся к стреле как к иконе и дрожащими устами прильнул к ней долгим поцелуем.

Он сказал: «Свершились, исполнились обеты. Ты более чем я. Прими тяготы царства. Тебе иго сие будет легко, а мне подчас уж не под силу».

— «Никак», ответил Светомир, «не должно тому быти. Не отказываюсь я от бремени державного, даже ищущу его. Но стрела не токмо дар; она — испытание трудное. Волю мою она исполнять будет. Воля же моя не высветлилась, не окольчужилась вдоволь. Учиться надо. Пусти меня до времени на запад, в страну чудес».

Взмолился царь: «Стрела венец кличет. Ты послан мне в помощь, и в утешение, и в утолнение печалей и забот многих. Не уходи!»

И представились памяти Владаревой храмина, ныне замуравленная, и кристалл предсказательный; и чудилось, что слышит он слова вещуна: «Во славе Егорьевой паки его увидишь и венец твой восхощешь на главу его возложить; он же пройдет мимо».

И утешение вспомнил: «Призовешь сына твоего, и он снимет с тебя обруч палящий, и возложит на чело свое как венец весенний».

Скрепился Владарь, сказал: «Поступай как знаешь, Светомире. Не могу я отныне ни препятствовать, ни приказывать тебе. Молю лишь: не покидай меня надолго».

Стал на колени Светомир, прося отцовского благословения. В слезах молился над ним и крестил его Владарь.

И унесла стрела Егорьева царевича Светомира из земли родной на запад солнца.

КНИГА ВОСЬМАЯ

I

«Скажи мне, стрела золотая, сродни тебе аль не сродни славные, древние копья и стрелы? Поведай в чем ты с ними схожа и в чем от них отлична? Знаю, что ты сулишь мне победы, что с тобою отпущена мне сила могутнее меня самого. Дай мне познать твое естество. Я не хочу тебя неволить».

Так во время долгих странствий своих по странам, на запад солнца лежащим, не раз стрелу Егорьеву вопрошал Светомир.

Стрела молчала. Но вот однажды:

II

Предстал царевичу муж благовидный с правильными эллинскими чертами лица. В руках его стрелы и лук.

«Кто ты?», спросил Светомир.

— «Я — владетель Геракловой стрелы. Я — Филоктет, победитель Трои. Твоя стрела звала мою стрелу. Вопрошай. Я готов отвечать тебе».

И посетитель умолк в ожидании.

Светомир смутился и обрадовался: «Скажи мне, Филоктет, как получил ты стрелу Геракла и что с нею соделал?»

Отвечал Филоктет, говоря:

«Проходил я однажды по владениям отца моего, царя Пеанта, по склонам Эты, и вдруг вижу: высоко на горе, на лугу заповедном Зевса костер разложен, и на нем Геракл-страдалец, терзаемый отравленным плащом, вопиет, призывает милосердие избавляющей смерти, молит друзей зажечь костер под ним. Никто не решается: ни сын родной, ни милая невеста Иола, причина роковая страданий всех его, ни верный врач, обыкший ему помогать — никто.

«И вот: сколь ни тяжело было мне огонь тот развести, своими руками убить великого, любимого героя, но жалость остро жалила сердце, скрепился я и посмел. Истово благодарил меня Геракл; он, умирая передал мне свой лук волшебный и, пропитанные ядом гидры лернейской, стрелы смертоносные. Принял я дар со страхом и радостью, с решимостью делать подвиги, угодные божественному Гераклу. Но не знал я что́ соделать.

«А как пришли ко мне ахейцы звать меня на войну с Троей, подумал я, что сие и есть то дело, на которое посылает меня всепобедный герой, и согласился идти.

«Возвестил нам оракул: 'Принесите жертву на алтаре Хрисы. Если не принесете жертвы сей, напрасен будет весь поход ваш; вас победят враги'.

«Вспомнил я тогда: Ясон с Аргонавтами на острове Лемносе основали жертвенник кибирской богине Хрисе.

«Был с ними тогда Геракл. И, когда спустя много годов привелось Гераклу отправиться в поход против Трои, то принес он жертву Хрисе на том знакомом алтаре; и поход его окончился победой.

«В ту пору я находился при нем. И вот оракул ради успеха второй троянской войны требует жертвы на том старинном алтаре. Один я среди всех участников похода знал, где найти святилище Хрисы. И смело повел я к нему Агамемнона, Ахилла, Менелая, Одиссея и еще других ахейцев.

«Но, лишь только вступили мы в священную ограду, набросился на меня лютый змий, впился мне в ногу; ужаленный упал я на землю, громко крича от нестерпимой боли. Одиссей убил гидру, но было уже поздно. Наконец боль утихла, и я крепко заснул. Пробудился. Оглянулся: нет никого. Все уплыли под Трою. Покинули меня вероломно на Лемносе, не выдержав диких воплей моих и зловония раны. К мучениям моим прибавился ужас: я — один.

«Дополз я с трудом до какой-то пещеры и стал насельником ее. Питался я зверями да птицами, каких доставал мне мой, не знавший промаха, лук. А, когда спали с меня прогневшие одежды, я тело свое прикрывать стал перьями съеденных птиц. Целых десять лет страдал я от гноящейся змеиной язвы. Испытывал одно лишь отчаянье, и образ человеческий утратил. Тяжела кара богов, о Светомире, тяжела непомерно!»

— «Скажи мне, страдалец Филоктет, за что на тебя, неповинного, змея столь жестоко озлилась?»

— «За то, о Светомире, наказали меня боги, что я нарушил их завет: запрещено мне было алтарь тот ахейцам показывать и самому жертву на нем приносить».

— «Почему же Гераклу дозволено было, а тебе запрещено?»

— «Затем, что Геракл от кибириков получил допрежде посвящение, а я пришел как чужой. Жертва его была угодна богине, моя-же была нечестием».

— «Когда ты входил во священную ограду, Филоктет, знал али не знал ты о запрете?»

— «Вестимо знал. Как было не знать? Культ тот был тайный, и тайный был тот алтарь. Ведь Хриса — кибирская нимфа».

— «Зачем же дерзнул ты отправиться к алтарю Кибириков для принесения жертвы, коли знал, что она нечестива?»

— «О, Светомире, тебе дивлюся я право: много учился ты, а сего не разумеешь. Жертва, принесенная непосвященным, есть нечестие; но, по оракулу, нечестивая жертва та была залогом победы. Без нее не одолеть врага; грозил нам позор и поражение».

«Вот я ради общего благополучия и справедливой победы навлек на себя гнев богов. Прав я был или неправ — кто сие рассудит? Исполнить долг чести и правды и нарушить запрет богов — там было одно. Рок противоборолся сам с собою».

— «А для победы довольно было жертвы на том запретном алтаре?»

— «Думал я тогда, что довольно. Но оракул сказал еще, что лишь моей стрелой в моей руке добудется победа. Сего я не знал, не знали про то и ахейцы, когда меня на острове Лемносе покидали. Вот и терпели они десять лет неудачи, много героев славных потеряли, и совсем уж отчаялись в победе».

«Но тут удалось им в полон забрать главного прорицателя троянского, и вывели они у него что говорил оракул. Пришлось тогда им вспомнить про меня; и пришел ко мне в пещеру сам Одиссей в образе измененном. Я его не узнал. Меня под Троию звал он. Уж как изловчался, хитрословил, сладкословил, но злобы моей на ахейцев превозмочь не сумел. Сулил он мне и здоровье, и доблести военные, и славу. Напрасны были речи его: мне, моей стрелой доставить ненавистным ахейцам победу. Нет! Лучше боль, тоска и смерть в мрачной, сырой пещере. Мстить! Сладость ее одна осталась мне в утеху. Она — мой единственный клад».

«И уж уходить собрался Одиссей, а может притворился лишь, что уходить собирается. Угромо и уныло отворотился я от него. Знал я, что ничего не остается мне опричь страшной смерти. Но вдруг приключилось нежданное: там, где бессильны были человеческие домыслы и увещания, вмешалась власть богов»:

«Предстал мне в видении дивном священный, сияющий образ преобразенного Геракла. — «Для тебя», говорит, «спустился я с высот небесных, дабы замыслы Зевса тебе возвестить. Как я за доблести

земные себе венец стяжал бессмертный, так и ты уплыть под Трою должен, моей стрелой взять древний Илион. Жизнь многославную ты тем себе обряцешь». Прошел мой гнев, и, умиранный, воскликнул я в радостном исступлении: «Приказывай, Геракл, веди меня; пойду, куда укажешь!»

«Дальнейшее тебе, наверное, известно, Светомире. Поплыли мы под стены Трои. Там исцелил меня Асклепий. Ринулся я в бой. Вдали увидел я Париса, и убил прелюбодея из лука своего. Недолго длилась резня. Десять лет неколебимо стояла Троя, и сразу пала от смертоносных Геракловых стрел.»

— «Коли ты, доблестный Филоктет, удостоился Трою завоевать, — почему же люди, даже и по сей день об даре предательском твердят, каким ахейцы Илион взяли; повторяют, что певцы старые про коня деревянного в песнях своих распевали?»

— «Про коня, Светомир мой, — это все измышления неблагоприятные, и повторять празднословия сии даже и не благочестиво. А певцы наши сами признавались: ‘много неправды мы молвим похожей на правду’. Но и среди них лучшие гнушались обманом: так Пиндар многославный приказывал ‘язык ковать на наковальне правдивости’.

«Не про себя я толкую. Ко мне-то милостивы были творцы трагедий; подлости с конем никто не поверил из наших трех мудрых — ни Эсхил с Эврипидом, ни Софокл. Не хитростью и обманом, но верностью и доблестью взята была Троя. Поражение Париса, пронзенного моей стрелою, было посмертным подвигом самого Геракла. Он знал кому давал он стрелу и ради чего давал.»

— «Еще последнее скажи мне, Филоктет. Есть ли правда в том, что начетчики бают, будто Аполлон со своею стрелою за Трою стоял? Как могло случиться, что Гераклова стрела против стрелы бога Дельфийского сильнейшей оказалась?»

— «Стоял, о Светомире, да не устоял. Да как-же ему устоять-то было, когда он, — страж целомудрия, — за блуд и измену заступился. Любил он Трою свою выше меры; не подобало ему в войне той ее защищать. А стреле его нечего в укор сказать, что она не победила: не могла же она, благоносная, правдозаступница доставить победу неправде!

«Естество ее как и естество самого Аполлона несовместно с обманом. Она священная и состоит главною святынею «пухового храма» в стране гипербореев. Построили некогда храм тот (птеренос наос) пчелы из воска своего и пуха лебяжего. Избранниками счастливыми Аполлона были гиперборей. «Загорный народ» не знал ни печали, ни раздора. Любил в страну ту Аполлон, несомый своими священными лебедями, на веселые гостины прилетать. Тогда, обрадованные, сами

в лебедей обращались гипербореи, и оглашали мир сладкою песнею о белой победе.

«И вовсе не была страна та оторвана от земли: Высыпались из нее послы благие, людям в назидание и утешение. Аполлон давал послам стрелу свою. Она их носила и питала; по воле их прекращала горести, голод, чуму; давала руке их победу, когда вступались они за правое дело».

Светомир спросил: «А твоя стрела, славный Филоктет, стрела победная подвижника Геракла — уж, верно, и она умела по приказу твоему болящих исцелять и отвращать беду?»

— «О, Светомире, не знаю я сего. Приказал мне Геракл ею завоевать Илион. Она исполнила приказание. О другом я ее не вопрошал. А рану мою лихую она и не пыталась исцелять. Недуг тяжкий снял с меня Асклепий».

— «А моя стрела, скажи мне Филоктет, неужто она...»

Филоктет сразу перебил его: «Про твою стрелу, о Светомире, ничего не ведаю. Про мою все тебе поведал, что мог. Прости, о царевич!»

И Филоктет исчез.

«А моя стрела — неужто не дана ей вкуче с силою смертоносной и сила исцеления, смерть угоняющая?», обратился к себе Светомир тот вопрос, на который ему не ответил обладатель Геракловой стрелы.

И вспомнилось ему: сколько раз видел он страдальцев болящих и готов был умолять стрелу их исцелить, продлить им жизнь. И вдруг возникает пред ним дольний путь тех, которые исцеления жаждут: муки, страшнейшие тех, что терпят они от болезней. И явно слышит он как взывания о сохранении плоти другими взываниями заглушаются: молят страдальцы телу их здоровья не возвращать, на земле насильственно не удерживать, отпустить из мира в настоящий, свыше положенный час. И вот из жалости отводил он руку со стрелою ране нежели узнавать успевал имеет ли она силу целебную.

Загрустил Светомир: «Ничему я днесь не научился. Летим, стрела!»

III

Дни шли. И думал Светомир о свидании своем с Филоктетом. «У воина эллинского не было желанья oprичь одного: завоевать Илион. Не было вопроса об убийстве, а лишь о победной войне. То был человек одного подвига, одного дела. И нечестие его с Хрисой не было преступлением, а лишь принесением самого себя в жертву Трое. Филоктет — праведник.

«Но не все ведь великие герои, были праведниками. Бывали и такие, что для удаи и победы совершали дикие непотребства и даже преступления; и все-же Господу угодно было, чтобы от этих людей зависели судьба стран и облики веков. И вспомнил Светомир о таком герое; про него он слышал и читал дивные сказы, вспомнил и смутился:

«Скажи мне, стрела золотая, неужто мудрохрабрый воитель македонский, породнивший в делах рук и разумений человеческих восток и запад солнца, неужто был он злым, несмысленным убийцем?»

Стрела молчала, не шелохнулася, но предстал Светомиру юноша вида необычного. Лицо худощавое, солнцем засмугленное. Глаза большие, горящие, грустно и задорно смотрящие вдаль. Шея длинная. Стан стройный, крепкий. Жизни сила от него исходит избыточная, волнами своими захлестывает все окружение. И раздался голос его:

«Вот я — Александр. Ты вызывал меня. Впрошай!»

Залюбовался Светомир и утрашилсЯ. Спросить не смеет во услышание, лишь про себя думает: «Совместны ли дела твои столь великие со множеством твоих злодеяний? Или все мрачные преданья о тебе ничто иное как неправды и наветы?»

А Александр уж с охотою на думу его отвечает: «О, Светомире, весьма ты во мне заблуждаешься. В крови отца моего, царя Филиппа, я неповинен. Ничего я о готовившемся насилии над ним не ведал. Руку Павсания направил не я».

— «А мать твоя была иль не была участницей того убийства?», осмелился спросить Светомир.

— «Ну, говорит Александр смеясь, «за мать мою не отвечаю. Но и винить ее мне не охота. Коль хочешь знать, сам ее и спрашивай. Опять о себе скажу: в подстрекательстве я никакой части не имел. Лукавства нет во мне. Убить не убил, но во гневе большом мог бы и убить».

«Случилось однажды во время пира: Атил, вождевший царство наше передать потомству племянницы своей, которая в ту пору носила во чреве от отца моего, стал дерзко при мне пить за здравие грядущего на свет 'законного наследника'. Тогда схватил я тяжелый кубок и запустил в него, воскликнувши: «А я кто-ж буду? Незаконный что-ли?» Отец-же мой на меня за то с копьем бросился, да не попал; а тут-же и свалился, вином подкошенный. Ну и вдоволь же я тогда посмеялся: «На ногах не стоишь, а Азию завоевать собрался. Куда тебе!»

— «А ведь любил крепко тебя отец твой?» полюбопытствовал Светомир.

«Может, и любил; уж больно гордился мною: учителей лучших позвал для обучения моего: милосскому князю Леониду поручил упражнять меня в играх удалых и состязаниях; Аристотеля назначил настав-

ником любомудрия. А, когда я Буцефала неукротимого сразу мне покорствовать заставил, то крикнул Филипп мне с восторгом: 'Македония мала для тебя'.

«А ведь предал меня Филипп. Не посмел бы Атил охальство мне оказывать, еслиб от отца моего допреждь не получил обещания на венец царский для племянницы своей. А все-же, повторяю, в крови отца моего я неповинен. А коли насчет незаконности рождения моего Атил намекал, то тут не без причины сам царь Филипп. Разумеешь ли о чем я говорю?»

— «Ничего не разумею. До сего времени почитал я тебя кровным сыном царя Филиппа».

— «Скажу тебе тайну важную, о Светомире: мать-то у нас одна, а отцов много. В каждом плане духа другой отец. Мать моя была женою Филиппа, и по плоти он родной мне отец.

«А было однажды: вошед к матери моей увидел муж ее в постели у нее змия. И она сама ему поведала, что змий сей есть сам бог Аммон-Зевс, с нею сочатавшийся ради зачатия моего; посему суждено мне предстать земле неким явлением бога. Но разгласить тайну сию до времени Филиппу возбранялось, и нарушение запрета в тяжкую вину ему вменилось.

«Родители мои в Самофракии встретились, и оба в мистерии Дионисовы посвящены там были. Потому они и обручились. Филиппу с богом тягаться, на бога обижаться и мать мою корить не пристало. Когда он копье свое на меня направил, видно, отец мой небесный руку его отвел и самого его наземь поверг. А через малый срок и руку Павсания на него поднял.»

— «А почто ты Клита убил? Ведь Клит жизнь тебе спас», осмелев, стал Светомир попрекать Александра.

— «Спас, в первой-же битве спас», истово ответил Александр. «Клита, сына мамки моей, любил я крепко. Но ведь я — 'Дионис Новый', живая икона бога. А Клит в поклонении мне отказывал. Не меня, а бога во мне обижал он. Убивал я, любя. Друга в жертву богу приносил. Ему-же так лучше. И уж как я тогда печалился, плакал, три дня пищи не принимал, прикончить жизнь свою порешил. А кабы мне еще такой случай предстал, опять убил бы я виновного как Клита убил.»

— «А в Индию зачем ходил ты?» продолжал выведывать Светомир.

«Дионис ходил, и я за ним. Он звал. И никакого иного умысла не было у меня. Индия — это для благоговения. Да и Греция обновиться и вновь ожить не иначе могла как победою на востоке солнца.»

В укор сказал Светомир: «Выходит будто ты от одного благочестия все убийства совершил. А почто это ты, уж не ради ли вящей славы Эллады, возрождения ее ради — города ее жег? И не жаль тебе Фив,

не стыдно было разрушать город священный, чьи стены звуками песни сами собою слагались?»

Широко раскрытые глаза Александра глядели на царевича с полным непониманием: «Жаль, стыдно? Смешной ты Светомир! Да ведь города те эллинские вероломно восстали, людей моих, доверчиво их же охранявших, перебили. Как-же я мог их жалеть? А вот Афины щадил. Дары с востока посылал им в знак их духовной победы. Мои победы были победами их, были торжеством Эллады. А они думали, что то для них унижение и гибель. Слепые. Ненаучились видеть!»

— «Великий Завоеватель, Александр, неужто ты взаправду полагал, что гименями можно запад с востоком спаять?»

— «Еще бы! Потому я и женился на трех восточных царевнах и вдьм моим приказал брать за себя персианок. А что сперва мы дрались — сие даже весьма хорошо: известно ведь — взаимосочувствию способствует зачастию предваряющее его взаимоборение. Вот я и собрался любовью всех спаять. Доверился, открылся людям в своей божественной славе, в своем естестве. Открылся — тут-то они меня обманом и убили. Впрочем, сему так и быть должно; иначе не раскрылся бы Дионис: его всегда растерзывают. Да и дело мое после смерти моей восторжествовало. И сие с естеством Диониса согласно.»

— «А мое дело в чем?» решил спросить Светомир. «Что мне положено совершить?»

Усмехнулся Александр, говоря: «Твой отец татар побил. Началом то было. Ты больше своего отца, как я больше своего отца Филиппа. Разумей! Разгадывай без меня какое дело тебе поручено».

Он позвал Буцефала. Конь взвился. Александра не стало.

Думал Светомир: «Вот Александр крепко верил, что в нем явился Дионис. Убивая своих хулителей, он не сомневался, что справедливо и благочестиво карает неверных за кощунство, за поруганье Диониса.»

И вспомнил царевич как Хорс, изрядно искушенный в письменах эллинских, рассказывал ему про языческие богоявления. Он говорил: 'Верили древние идолопоклонники в земное воплощение богов. В древности у греков был свой, хоть и всяческой мерзости и прелести исполненный, похотливый, бесподобный, а все-же страдающий, растерзываемый бог. Он умирал и возрождался.'

И понял Светомир почему даже друзей и сочувственников не возмутила смерть Александра: знали они, что чудесного царя их убили его-же сотрапезники и соратники, но почитали такое убийство божественного воина естественным обрядовым растерзанием одного из образов Диониса.

«Да, ни в чем он не повинен. Но, что ему было дозволено, то мне не пристало...»

IV

Уходили дни за днями. Говорит Светомир золотой стреле: «Зови, кого хочешь, развеять сомнения мои. Не знаю я, может ли исповедник Христа убить человека (не на войне священной), убить столь жертвенно и праведно, чтобы то вменилось ему во подвиг и во послушанье? Может ли жало смертоносное быть свято?»

Тогда явился и стал пред Светомиром юноша, облеченный в ослепительный свет. Был он по чреслам опоясан тремя, ярко сияющими обручами — белым, красным и зеленым. На поясе том висел меч, рукоятка и ножны которого лучились самоцветными камнями. Прикрывал грудь воина щит большой с крестом на белом поле. И крест сей был влажен от крови живой. И не успел Светомир слова вымолвить как услышал:

«Королевич Светомир, угодно ль Вам привет принять от Галаада?» Смотрит Светомир, дивится, уж вопрошать собрался — а гость уж отвечает:

«Последний рыцарь я святого Граля,
Владелец я Давидова меча.
Родитель матери моей,
мой дед Пеллес, король и рыболов,
потомком был далеким Соломона.
Отец же мой, преславный Ланцелот,
свой род обык вести от Иосифа-Аримофея,
того, чей новый гроб в скале
три дня хранил Распятого Христа.
А кровь Спасителя святую,
пролитую Лонгиновым копьем,
сей Иосиф, ожидавший Царства Божья,
пребережно собрал в сосуде Граля,
и с ним ушел на запад солнца
неверных к покаянью призывать.

Глядит Светомир на Галаада с надеждою: «Лучший рыцарь, любезный Галаад, знаю, что меч Ваш творил чудеса прикосновением. Скажите мне, молю Вас, про Ваш меч».

— «Про доспехи победные, поключимы преславные во хартиях старых все сказано. Прозрачны ключи, правдивы сказанья. Раскройте харатьи, читайте».

И дал Галаад Светомиру книгу пергаменную. Разогнул ее царевич и стал читать страницу, какая открылась:

«... Был Иосиф Аримфейский послан волею Всевышнего на восток солнца, в землю царя Эвалаша. И был при нем сын его Иосифат, первый епископ христиан, и священники были, и уверовшие в Бога Воскресшего. А сосуд священный, в который собрал Иосиф кровь Христову шел с ними и питал их.

В ту пору Эвалаш-царь воевал с Птолемеем Египетским, и стал уже одолевать Птоломеем. Тогда говорит Эвалашу епископ Иосифат: «Коли станешь воином Христовым, поможет тебе милостивый Бог наш, и ты победишь Птолемея.» Эвалаш крестился и победил. И получил в крещении новое имя — Мордрэн, что по халдейски значит: 'Поздно пришедший к вере.'

А, когда после многих годов настало Иосифату-епископу время уйти от земли, решил он перед смертью попрощаться со своим крестником и отправился к нему. А жил в ту пору Мордрэн престарелый не в царстве своем, а в отдаленном монастыре белых монахов, на покаянии. И пришел к нему в монастырь Иосифат. И увидел в келлии царя белый щит его, и начертал на щите том кровию своею большой крест, и предрек:

'Крест сей сохранит на века цвет крови и влажность. И наступит день, когда щит достанется лучшему из рыцарей, достойному прикрыть им свою грудь. А родится рыцарь тот последним в роду Иосифа Аримфейского, в поколении девятом. И будет имя рыцаря — Галаад.'

Умер Мордрэн. И сокрылся щит после смерти его. И был невидим много долгих годов. А, когда спустя четыре века в день Пятидесятницы, был привезен к королю Артуру юный Галаад и, посвящая его в рыцари, Государь Круглого Стола собрался одарить его щитом, вдруг был голос, воспрещавший делать сие и велевший Галааду идти, куда его поведет.

И изумилися все, и отпустили юного рыцаря, а голос вел его и привел в неведомый монастырь белых монахов. И увидел Галаад щит с алым крестом, и сказал голос: 'Бери его, тебе он завещен, с ним всегда будешь побеждать'. И Галаад взял щит».

Книга закрылась. Светомир взглянул на Галаада и узнал его, крестом меченный щит. Но ничего не спросил и ничего не сказал про него. Ему нетерпелось узнать про копье.

«Доблестный рыцарь, скажите мне откуда меч Ваш чудотворный, скажите мне про Ваши подвиги с мечом».

А Галаад как допрежь указал на книгу, говоря: «Раскройте, король, книгу, читайте письменна».

И Светомир стал читать:

«... В поисках св. Граля привелось Галааду заночевать у вещего отшельника, в пустыньке его. И вот среди ночи раздается у входа стук,

и голос женский громко зовет Галаада по имени. А старец говорит: «Там у входа девица зовет Вас, Господин Рыцарь; она имеет большую нужду в Вас».

Вышел Галаад, а дева говорит ему: «Вы должны одеть доспехи, сесть на лошадь и следовать за мною. И я говорю Вам, что ждет Вас такая поключима, какая никакому рыцарю и во сне не снилася». Попрощался Галаад с отшельником и сказал девице: «Идите куда хотите; я во все места последую за Вами».

И скакали они день и ночь, и до моря доскакав, увидели корабль. И сказала девица: «Войдите!» Они вошли, и корабль понесся по морю. А на корабле том были рыцари славные Парсиваль и Бохор, и радость от встречи была великая. Море занесло корабль на дикий остров, и увидели рыцари перед собою другой корабль; а девица говорит: «Рыцари прекрасные, на корабле сем ждет вас та поключима, ради которой Господь соединил вас вновь».

И дивятся рыцари, что пуст корабль и не видать на нем ни мужей, ни дам. А, приблизившись, увидели они надпись халдейскую на борту ветрила: 'Если ты, человеке, хочешь на меня взойти, смотри, чтобы ты был исполнен веры полной и истинной, ибо я закроюсь от неверующего. А коли ты изменишь вере, то я изменю тебе, ты не будешь иметь во мне ни помощи, ни защиты, и неверие тебя погубит'. Прочли они сии слова и смотрят друг на друга смущенно.

А девица говорит Парсивалю: «Знаете ли Вы кто я?» — «Никак не могу знать, ибо отродясь Вас не видел». — «Знайте же, что я сестра Ваша, дочь царя Пелехена. И я говорю Вам как сестра любящая: не вступайте на сей корабль, коли не исполнены веры в Господа Иисуса Христа, ибо сразу погибнете». Услышав такую речь, Парсиваль стал всматриваться в нее и узнал в ней сестру свою, и говорит: «Я взойду на корабль; то будет испытанием: коли я недостаточно верую, то погибну, а коли подлинно верую, то спасусь».

Она говорит: «Входите все, и да будет Господь вашим защитником и хранителем.» Все вошли, и девица с ними. Никогда ранее не видели они такого великопепия. Вот перед ними постель большая под дорогим покрывалом. Подняли они покрывало и видят: у изголовья корона золотая лежит, а в ногах поперек постели меч, наполовину вынутый из ножен. Рукоятка меча сияющего высечена из камня дивного, отливающего всеми цветами, какие имеются на земле. Часть рукоятки скрыта под платом, испещренным знаками. Стали рыцари читать:

'Кто меня возьмет, должен быть премного чист и доблестен, ибо мне противен запах греха. Если недостойный коснется меня, он будет искалечен и убит. И горе принесу я тому, кому хотел бы даровать благо. А достойный должен поднять меня, и всюду будет он ходить безопасно,

ибо тело того, кому я назначен, никто не сможет обидеть безнаказано. И обручи, на которых я повисаю, никто не смеет передвигать опричь единой девы, которой суждено избранного рыцаря подлинными обручами опоясать. Дева сия целомудрена во все дни своей жизни в помыслах вольных и невольных и во всех делах своих. И она впервые назовет меня истинным именем моим, которое никто не знает.'

Галаад сказал: «Никогда не посмею я поднять сей меч». И оба рыцаря за ним повторили — «Не посмеем». И сказал Галаад девице: «Растолкуйте мне, Бога ради, надпись: как надо разуметь слова 'Горе принесу я тому, кому хотел бы даровать благо'?»

— «Охотно исполню Ваше желание, сказала девица, слушайте: отец царя Пеллеса, царь Парлан, Ваш прадед, рыцарь Галаад, был верным христианином и такой праведной жизни, что не найти подобного ему. Однажды повстречал он у моря корабль, тот самый, на который мы взошли. Прочел он надпись халдейскую на борту и, считая веру свою совершенной, вошел на корабль, увидел меч и стал вынимать его из ножен. Но вынуть его он смог лишь наполовину: вошло вдруг по воздуху сияющее копьё и пронзило бедро царя; рана была столь страшная, что соделался царь калекою, и калекою останется до Вашего к нему прихода, Галаад, ибо так сие было промыслено Провидением. И был он прозван с той поры 'увечным царем'. Разумеете Вы теперь что возвещала надпись на покрывале меча: — 'Горе принесу я тому, кому хотел бы даровать благо'? Ведь был Парлан доблестным и верным слугою Христа во все дни жизни своей.

Когда дева умолкла, сказал Галаад: «Примите благодарность за вразумление. Прекрасно Вы нам все слова надписи растолковали. Скажите нам еще про обручи, о которых говорил меч, и про деву, которой ведомы тайные имена».

Отвечает сестра Парсиваля: «Скажу я вам об этих обручах чудесные поключимы: Ева, прародительница, покидая Рай, сорвала и унесла ветку роковой яблони на память об утраченном блаженстве. И ту цветущую ветвь воткнула она в землю, и, по воле Господней, пустила ветвь корни. И стало дерево большим и белым, ибо Адам и Ева были в ту пору невинны и чужды всякой похоти. Горько они плакали и называли дерево древом смерти. Но услышали голос, и голос сказал: в древе сем — жизнь, а не смерть, ибо цветение его есть знак, что через женщину утратилась жизнь, и через женщину, Деву Пречистую Марию, жизнь обновится вновь. Посему имя его — дерево жизни.

«В положенный срок Авель был зачат и рожден под деревом сим, и оно, белое, дало отпрыск зеленый как трава лугов. А, когда Каин в печальную пятницу убил брата своего на том самом месте, где Авель был рожден, дерево дало красный отпрыск. И проклял Господь землю,

где был убит Авель, а древа жизни не проклял, и оно сохранило вовек краски свои и плодородие, и потоп не тронул его и не умалил.

«И, сидя под сим дровом, задумался Соломон о судьбе своего рода. И услышал голос: 'Радуйся! Жена, которая родит Обрадователя и Начальника Жизни будет твоего рода'. Тогда спросил Соломон станет ли то концом его рода. И ответил голос: 'Никак. Последнею будет другая жена, и она родит для Начальника Жизни достойного служителя и рыцаря'.

«Премного возрадовался Соломон, что столь славен будет конец его рода, и замыслил он дать будущему рыцарю знак о себе, чтобы потомок его узнал, что он, Соломон, ему радуется. И закручинился, ибо не знал как сие исполнить. А жена его приметив, что невесел царь, спрашивает о чем его забота и дума. И, выслушав его рассказ, отвечает, говоря: 'Я могу научить Вас как сей знак дать, но не ранее чем Вы скажете мне сколько до той поры осталось лет'. И он сказал, что две тысячи и более лет.

«Тогда она говорит: 'Прикажите изготовить корабль из самого крепкого и долговечного дерева, такого, которое не может погибнуть ни от времени ни от какой другой причины'. И он обещал так поступить. И сказала жена: 'Доспехи для будущего рыцаря, превосходнейшие всех доспехов на земле, как и рыцарь тот будет превосходить всех рыцарей земных, должны Вы положить на сей корабль. Во храме, который Вы построили хранится меч отца Вашего, царя Давида. Возьмите его, выньте из древка, велите изготовить другую рукоятку из самоцветных камней и вложите лезвие в ту новую рукоятку, и ножны сделать прикажите из таких же драгоценных камней'.»

Все было исполнено как советовала жена; и повелела она поставить на корабль постель и накрыть ее белым шелковым покрывалом. А Соломон у изголовья положил свою корону. И сказала жена, что на сей постели будет до поры лежать меч.

'А кто изготовит пояс, достойный меча?', спросил Соломон. Жена ответила: 'Пояс, достойный меча и прекраснейшего рыцаря, чресла которого он назначен обнимать, изготовит дева; но я не знаю, когда сие случится. Вот я ей помогу'.

И призвала жена двух дровосеков, и велела им идти к дереву, под которым был убит Авель, и говорит; 'Вы должны вырезать для меня из комля древа сего длинную, ровную полосу'. Они сказали: 'О, Госпожа, мы не смеем; ведь дерево сие посадила прародительница наша Ева'. Но жена Соломона ответила: 'Вы должны это сделать. Иначе я прикажу вас уничтожить'. Тогда они согласились исполнить ее волю. Но велик был их испуг, ибо из дерева стали капать капли крови, красные как розы. Последи повелела жена вырезать такие-же длинные и ровные

полосы из лесины зеленого и белого древа, и свою рукою поперець постели положила красную и зеленую полосы, а белую вкрест на них вдоль ложа.

И спросил Соломон: 'А как-же рыцарь узнает про меня и про меч? Кто принесет ему весть?' И в ту-же ночь увидел он сон: сходит с неба человек в окружении ангелов; ангелы черпают воду, которую принес в сосуде один из них, и кропят водою весь корабль. А человек подходит к мечу и чертит знаки на нем и на корабле.

Пришел на следующий день Соломон к кораблю и увидел на борту его надпись: 'Ты, возжелавший взойти, смотри исполнен ли ты веры и подлинна ли вера твоя; иначе не входи'. Соломон убоился и не посмел подняться на корабль; а корабль тут-же был унесен в море со скоростью чрезвычайной. Голос сказал Соломону: 'Последний славный рыцарь рода твоего ляжет на эту постель и получит весть о тебе'. И Соломон возрадовался.»

Девица умолкла. Галаад сказал: «Поключима поистине чудесная». Три рыцаря смотрят и видят: на постели лежат три деревянных полосы — поперець ее красная и зеленая, а белая вперекрест им вдоль ложа; красная крови алой краснее, зеленая луга молодого зеленее, белая снега белого светлее. И видят меч среди постели; пояс его — три полосы: красная, белая и зеленая, но не деревянные полосы те, а тканые и цветом тусклые.

Подняла девица покрывало с постели, и увидели рыцари золотую корону и под нею ларец. А в ларце письма все сказывают про корабль и меч.

И говорит Галаад: 'Теперь надлежит нам просить Вас, сестра Парсиваля, сменить сии полосы'. Отвечала девица: 'Не сомневайтесь, Государи; коли будет на то Господня воля, все исполнится как было промыслено'. И еще спросила она: 'А знаете ли вы какое имя свыше изначала наречено мечу?'.

— 'Не знаем', отвечали рыцари, 'и Вы должны нам имя открыть, ибо сего требуют письма'.

— 'Итак знайте', говорит девица, 'что имя мечу — *«меч о чудесных обручах»*. Деревянные полосы — это память огня, воды и крови. И каждая полоса — носительница духовных даров: белая — целомудрия; зеленая — терпения; красная — любви. В тот великий день Пятидесятницы, когда Вы, Господин Галаад, были посвящены в рыцари королем Артуром, был мне голос, возвестивший, что мне поручена поключима с переменою полос'.

И, услышавши такие слова, сказали рыцари Галааду: 'Господин, мы просим Вас Именем Господа нашего Иисуса Христа взять *«меч о чудесных обручах»*, дабы рыцарство возвеличилось'. Но Галаад ответил,

говоря: 'Не смею взять его, ибо недостойн, и непременно буду наказан за дерзость; не пристал он руке моей'.

Девушка сказала: 'Лягте в эту постель, рыцарь Галаад!' Он лег, и сразу был вознесен до третьего неба. Когда он пробудился и встал, повелела ему девушка вынуть меч из ножен. И рука Галаада как раз пришлась по рукоятке. И воскликнули спутники его: 'Теперь мы по всему видим, что Вы — владетель меча, ибо Вам он был изначально назначен'.

Тогда приказала девушка: 'Рыцарь, вложите меч в ножны'. Она взяла из рук его меч и подняла с ложа священные жерди. Прямые деревянные полосы сами закруглились в обручи; образовался пояс, и на поясе меч повис.

И сняла девушка с Галаада пояс с прежним мечом и дала его Парсивалю. А Галаада опоясала чудесными обручами с Давидовым мечом. И сказала: 'Ныне могу я спокойно умереть; я самая счастливая на свете дева, ибо удостоилась посвятить Давидовым мечом самого лучшего рыцаря века сего'.

Галаад опустился перед нею на колени, говоря: 'Госпожа, Вы столь много для меня сделали, что я пребуду, о Дама, рыцарем Вашим до конца моих дней'.

Светомир закрыл книгу, спросил: «Славный рыцарь, Галаад, вот меч сей, что висит на поясе Вашем, скажите, есть ли он тот самый Соломонов меч, про который я в книге читал?»

— «Королевич, да», ответил Галаад.

— «Меч Ваш многосилен, доблестный рыцарь. Неужто никогда не мучило Вас сомненье: дозволено ли нам самовольно вмешиваться в природный, Промыслу Божьему послушный, бег событий?» Отвечал Галаад:

«Ни делом явным, ни помыслом сокрытым не нарушал я волю Прови-
[денья.

Исполнить я искал, устами девы белой, мне посланные свыше наста-
[вленья.

И меч целительный Давида, врученный грешному чрез годы и моря,
был лишь орудием послушным в деснице Вечного Царя.

Вел Граль меня смиренного на дерзкие боренья...

Да упасет меня Господь от грешного сомненья.»

— «Рыцарь Галаад», сказал Светомир, «Вам дано было исцелять прикосновением чудесного меча. Исцеляя, Вы исполняли пророчества, бывшие о Вас в веках; и не могло у Вас быть сомнений в праведности деяний Ваших, была лишь благодарность за избрание. Но Вы не только исцеляли. Ваш меч ключимый без промаху убивал. Неужто, никогда не знали Вы раскаянья и сомнений?»

Галаад долго молчал; потом тихо ответил:

«Да, помню: было то однажды:

Премного я врагов сразил во праведном бою.

И вдруг неожиданно: не радость заслуженную победы вкусил я. Нет!

Раскаянья жгучая печаль мне сердце больно опалила.

Но, славен Бог. Недолго длилось испытанье.

Благая милость неба тоску развеяла мою,

совет мне ниспослала мудрый, сомненья все угнала от меня.

Откройте книгу вновь, читайте письмамена».

Книга раскрылась. Галаад указал строку: «... Сошед с корабля после посвящения Галаада, белая дева повела троих рыцарей на другую поклочиму: корабль принес их к замку Карселуа в Шотландии. Там жили враги короля Артура, и было их весьма много числом. И сразились с ними трое рыцарей, и убили многих как бездушных скотов. И сказал Бохор: 'Хорошо мы сделали, что сразили людей неверующих и злых'. А Галаада стали одолевать сомнения, и он сказал: 'Мы убили их и лишили покаяния. Коли они неуютны были Господу, то и отмщение принадлежало Тому, Кто знал их грехи и мог воздать. И я говорю Вам, что покой найду лишь в тот день, когда откроет мне Господь волю Свою об деле нашем'.

«Тогда вышел некий старец из замка и сказал: 'Угодно Господу дело ваше; не сомневайтесь. Люди те были нераскаянными грешниками, исчадиями ада на земле, заклетыми врагами Бога. Они избивали и насиловали своих сестер, заточали своих отцов, убивали священников, монахов и отшельников. Господь предупреждал их много раз, но они не раскаивались. Тогда он возвестил, что воздаст им возмездие, которое будет исполнено руками трех рыцарей, рабов Христовых. Итак знайте, что вы поступили праведно, ибо Господь для того и послал вас, чтобы их поразить и убить».

Книга закрылась. Светомир сказал: «Славный рыцарь, Вы сперва убили, сомнения Ваши пришли последи. Мне же наперед надобно знать угодно аль неуютно вмешательство мое Господу». Галаад ответил:

«Вождь Небесный движет руку, взявшую чудный меч.

Знает Дух кого казнить, кого беречь.

Но и сын земли, пленник дольних чар,

всеж умеет опознать розу и анчар.

Лишь черные рыцари с кривым стеклом в глазу

не узнают ни недруга, ни друга,

и, яростно кидаясь ко врагу,

пронзают смертельно друг друга».

Светомир возразил: «Распознавать человека доброго и злого — не так уж мудрено. Не о том вопрошаю я Вас, доблестный Галаад. Поведите мне по каким знакам Вы угадываете, когда наказано поражать, когда миловать злодея. Вы сами зачастую отпускали побежденных врагов».

Галаад тихо сказал:

«Труждайтесь, вмещайте Духа,
достигнет зов Его вашего слуха».

Светомир его перебил: «Люди мстят за обиду; следом за убийством идет другое убийство. Зло, пущенное в мир, приводит с собою новое зло. Не смущало ли Вас, доблестный рыцарь, что Вы призывали зло своим убийством?» Галаад даже удивился:

«Сражать врагов добра — какое же в том зло?
Клеймит Дракона Ангел Божий; глотает бездна Сатану.
Пощады нет коленам Супостата».

— «Знаю, знаю», воскликнул Светомир. «Вы, благородный Рыцарь, мне непременно сейчас напомните, что Михаил Архангел низверг и запер Дьявола, а Георгий Храбрый пронзил Дракона, и сим они не умножили зло, а изгнали его из мира. Но я спрашиваю, может ли человек убить другого человека так, чтобы то согласно было с волею Божьею. Боюсь греха. Христос не убивал.» Галаад сказал в раздумьи:

«Убивать? Не причисляемся мы, витязи, к убийцам лютым,
когда разим сынов Клеветника.
Бог белый меч вручает нам недаром.
Он не велит страшиться трудного боренья
духовных чад с отродьем бесовским.
А верным воинам за подвиг боевой
посланник Духа вздунет паруса
и приведет победные ветрила
к благим и вожделенным берегам,
допрежде закрытого Господня Вертограда».

Светомир возмутился: «Христос пришел спасать грешников, а не уводить праведников прочь от земли».

Галаад, не отвечая, продолжал говорить свое:

«Для верных Духа век золотой наступит на земле».

Светомир осерчал, но тут-же догадался, что боле ничего от такого собеседника не добьешься. Ему нравился этот красивый, спокойный, мудрый, но жизнь, которою люди живут изо дня в день, менее чем он

разумеющий, юный рыцарь. И захотелось Светомиру узнать его лучше, больше. Он спросил: «Скажите мне, доблестный Галаад, про то как Вы соделались искателем Грааля».

Перевернулись страницы. Галаад указал строку:

«Иосиф Аримофейский собрал кровь Христову во святую чашу. И ученики на Тайной Вечери из чаши той пили. И понес Иосиф святую чашу в Саррас, на восток, а последи в Британию, на запад. И сделал Иосиф в память стола на Вечере Христовой второй стол, и поставил на него чашу, и назвал чашу Граалем. И стали твориться дивные чудеса. Было двенадцать мест за тем столом, и среди них место самого Иосифа; и никому не было дозволено садиться на то место. Два раза случилось ослушание, и оба раза спутников Иосифа, нарушивших запрет, поглощала земля. Имя тому стулу дали: 'страшный стул'.

«Прошли века. По совету кудесника Мерлина отец короля Артура в память двух священных столов построил для св. Грааля 'Круглый Стол'; и подле сего третьего стола сам собою появился 'страшный стул', и всех, кто пытался сесть на него, поглощала земля.

«Тогда, чтоб отвратить несчастья, стул роковой скрыли под покрывалом. А, когда был приведен к королю Артуру и посвящен им в рыцари юный Галаад, отец его Ланцелот поднял покрывало со 'страшного стула', и все увидели вдруг проступившую надпись: 'Сие есть стул Галаада'. И сел Галаад на стул тот подле 'Круглого Стола'.

«Был день Пятидесятницы. И пронеслась по горнице мимо всех сияющая чаша, остановилась на миг над головою Галаада и исчезла. И сказал Галаад: 'Пойдем за нею, станем искателями Грааля'. И все рыцари испросили согласие короля Артура и разошлись в разные стороны. А три рыцаря — Парсиваль, Бохор и Галаад отправились вместе; но по недолгому времени расстались и они. А допрежде того были пророчества о Галааде. Одно из них гласило: 'Грааль во всей своей славе откроется лишь одному рыцарю в награду за целомудрие, любовь и терпение как начертано на чудесном мече его.»

Прочитав все это, осмелел Светомир и решился спросить про то, что слышал ране и что смущало его душу:

«Славный рыцарь Галаад, коли чрезмерно дерзким покажется Вам мой вопрос, не отвечайте, но и не гневайтесь. Подвиги отца Вашего рыцаря Ланцелота, дивили мир. А совершал он их во имя белой Дамы, которую любил любовью неодолимой. Но прекрасная Женерва приходилась женою королю Артуру, сениору Круглого Стола; и была страсть та преступной пред Богом и людьми. Добрый король Артур не гневался на Ланцелота и чтил его. Но в наказание за тяжкий грех свой не удостоился доблестный рыцарь радости увидеть Грааль во всей его славе.

Разумею я, что кара сия справедлива, и естеству Грааля сообразна. Но вот чего я никак осмыслить не умею: Увидел Ланцелот юную дочь короля Пеллеса, и сразу, без родительского благословения, без венчания стал ее возлюбленным. А вскоре совсем покинул королевну. И за все сие не только отец девицы не разгневался, но и свыше Ланцелоту его прелюбодеяние в вину не вменилось, и была противозаконная страсть та освещена рождением благодатнейшего сына — Вашим рождением, Галаад!»

Смутился Светомир от бесстыдства своих вопрошаний и со страхом воззрися на Галаада; а тот ласково улыбался, повторяя: «Читайте, королевич, читайте».

«... В начале странствий своих со св. Граалем пришел Иосиф Аримофейский на восток, в страну языческого царя Калафа, прокаженного. Иосиф крестил его, исцелил силою св. Грааля и нарек имя ему Альфазон. В благодарность за чудесное исцеление велел царь Альфазон построить великолепный дворец для хранения Грааля. А как был достроен дворец, так сразу на воротах его появилась надпись — ‘Корбеник’, что по халдейски значит — ‘Святой Сосуд’.

Внук Иосифа женился на дочери Альфазона, и род их не иссякал. А Грааль ушел с Иосифом Аримофейским на запад, и после кончины Иосифа вернулся в Корбеник. Был замок сей от непосвященных укрыт облачною завесою. И все потомки Альфазона пребывали хранителями ‘Святого Сосуда’. Порою уносился Грааль в страну Логр, к королю Артуру; в последний раз явился он рыцарям Круглого Стола в день Пятидесятницы, когда был посвящен Галаад; явился и исчез. Тогда то и началось искание Грааля.

Жил в Корбенике потомок Иосифа, король-рыболов Пеллес. И от дочери его родился Галаад. Вскоре ушла от земли королевна, и не знал Галаад матери своей. Воспитывался он до пяти лет к Корбеникском дворце, а пяти лет увезли его в далекий монастырь, где игуменьей была сестра деда его, короля Пеллеса. А, когда исполнилось Галааду пятнадцать годов, пришел в монастырь Ланцелот, Божий воин, который слышал голос, приказывавший ему взять из того монастыря юношу, ему неведомого, привести его к королю Артуру и посвятить в рыцари. Ланцелот так и сделал. И лишь позднее узнал, что привел собственного сына.

Сам Галаад о рождении своем ничего не ведал. Но последи девою светлою, которая опоясала его мечем ‘о трех обручах’, был вразумлен и наставлен. Она говорила ему: ‘У самого замка Корбеника познал Ланцелот храбрейший белую королевну свою. И хоть и не было родительского благословения, но было благословение самого Грааля. Господу угодно было, чтобы Вы зачались от девы святой жизни. Иначе

не могло бы получиться Вашего рождения. А оно было предсказано в веках.

Чудо великое и тайна — рождение на землю. А Ваше рождение — сугубое чудо: целомудрие не было нарушено. Что есть целомудрие? Девство есть свойство, которое имеют все, не знавшие плотского общения. А девственность есть свойство высшее, ибо не девственен тот, кто испытал вожделение. Незнание мужа — вовсе еще не подлинная девственность, а лишь плотская; и оно не девственность вовсе, коли не было целомудрия в помыслах и сердечных решениях. А жена, покорная приказу свыше родить того, кто мог зачатся только в ее утробе, и зачавшая от мужа в земном обличии, но без воспаления — такая женщина, став матерью, остается девою.

Тут совершается небесный брак с духом, принявшим образ земного мужа; и на земле все совершается в природном порядке, а небо знает другой брак; и тот брак не измена земному мужу, как земной брак, свыше промысленный не измена небесному. Одному Господу известно от кого мы рождаемся и какого мы духа. И в сем сказанном нет ничего нового: сие знала уже древняя мудрость. А вот что взаправду есть страшный грех — это желание родить без жениха.

Ланцелот действовал по приказанию свыше, и брак без обряда вмешался ему не в грех, а в послушание и в исполнение всяческой правды. А с Женервою у него была страсть плотская, запретная. Никакая доблесть греха сего не искупает. Король Артур волен простить жене и рыцарю кровную обиду. Но глаз Ланцелота, заглянувший в непроглядную тьму, сам стал темен: и сокрылся от него в полной славе своей сияющий Грааль непрозрачною завесой'...»

Возмутился Светомир и был уж готов воскликнуть: «Да ведь это ересь, суцая ересь. Дама Ваша — неверная водительница по духовным путям». Но тут-же подумал, что слова такие были бы тяжким осуждением родителей Галаада. Он тихо спросил: «Какова была судьба Вашей Дамы, рыцарь Галаад?»

Галаад указал на книгу: «... Она жила и от жизни ушла как святая. Умерла, отдав всю кровь свою для исцеления больных. Перед смертью сказала рыцарям: 'Прошу вас не покидать тела моего в этой стране. Лишь только я отойду, положите меня на корабль, на первый, какой увидите, и пустите корабль на волю волн морских. И я говорю вам, что причалю в город Саррас, куда вы все трое в поисках Грааля непременно придете; и там меня увидите вновь. И еще молю вас: похороните меня в «Духовном Дворце». Потому прошу вас об этом, что и Галаад там будет упокоен, и Вы, брат мой, Парсиваль, ляжете рядом со мною'.

И все плакали. А она еще сказала; 'Завтра разъезжайтесь в разные

стороны. Св. Грааль соберет вас троих в положенный час у «увечного короля». Теперь позовите священника'. После соборованья она радостно отошла от земли. Трое рыцарей были так опечалены, что, казалось, никогда не утешатся. Сделали все как она приказала: богато убрали ее тело, отнесли на корабль, и корабль пустили по морю. Расстались рыцари, и много было у них, особенно у Галаада, чудесных поключим. И, когда было исполнено ими все положенное, сошлись они нечаянно, к великой радости своей в городе, где стоял священный замок Корбеник.

И жил в том замке 'увечный король' Парлан, отец Пеллеса. И был голос Галааду, напоминавший слова, какие дева ему сказала, разъясняя письма на Соломоновом корабле. Она говорила: 'Иди к прадеду твоему «увечному королю» и ты увидишь у него священное копьё, которым он был ранен, и оно вернет ему здоровье, ибо сказано: «Ранивший исцелит». С копейного острия будет стекать кровь; кровию сию помажешь ты ноги короля. И болезни больше не будет. Так предвещал пророк'.

Велика была радость короля Парлана, когда узнал он в пришедшем рыцаре своего правнука. Огляделся в опочивальне Галаад и видит: стол стоит серебряный, и на столе Грааль, покрытый шелковым покрывалом; и Лонгиново копьё на столе подле Грааля лежит, и с острия его кровь стекает. Благоговейно помазал кровью священной Галаад ноги короля; и тотчас-же встал Парлан с одра своего. И возрадовался Галаад и возблагодарил Господа.

И явился в Корбенике Галааду и спутникам его Грааль, но не во всей своей славе. И был голос Галааду: 'Св. Грааль покинул страну Логр и Круглый Стол короля Артура навеки. Ступай поутру к морю, и ты встретишь там корабль, на котором получил меч. Корабль приведет тебя в Саррас'.

Трое рыцарей пошли к морю, а навстречу им уж Соломонов корабль плывет. Вошли; видят: на месте, где меч лежал, стол стоит серебряный, тот, который был в покоех «увечного короля». И на столе Грааль, покрытый красным шелком на подобие палатки. Ветер погнал корабль и принес к какому то берегу. И слышат рыцари голос: 'Сойдите с корабля, возьмите стол с Граалем и отнесите его в сей город.' И рыцари исполнили все, как велел голос. То был город Саррас.

Вернувшись к морю, видят: Соломонова корабля нет, а близится к берегу другой корабль, пристает; и узнали они в нем то ветрило, на которое тому уж много лет, положили они сестру Парсиваля. Поспешили к ней. Не истлела она, не изменилась, казалась спящей. Благоговейно подняли они ее и отнесли в 'Духовный Дворец' священного града.

Король Сарраса был злой человек и приказал бросить в тюрьму всех трех рыцарей. Год пробыли они в темнице, но не печалились, ибо Господь на радость им послал Грааль, который их питал и телесно, и духовно.

Однажды говорит Галаад от избытка сердца: 'Господи, я так счастлив что, чудится мне, довольно я жил на свете. Уведи меня от земли'.

Но в тот-же день заболел злой король, и перед смертью раскаялся; призвал к себе трех рыцарей, просил их о прощении и умер. А голос с неба велел народу избрать в короли младшего из рыцарей. Став королем Сарраса, Галаад приказал соорудить ковчег из золота и самоцветных камней над серебряным столом, где стоял Грааль. И всякое утро у св. Грааля служили обедни. Так прошел год.

И был голос: 'Рыцари, вы, которые в земной жизни уже соделались духовными, достойны, чтоб Я доле не таился от вас. Приходите, садитесь за Мой стол, где некогда одиннадцать рыцарей вкушали, а двенадцатый был Иосиф Аримоефийский. И вы получите пищу, какую столь долго алкали'. И, вкусив священные дары Грааля, услышали рыцари голос, который говорил Галааду:

'Чад, знаешь ли ты что Я держу в руке?' Отвечал Галаад: 'Никак не могу знать, коли Вы мне не откроете'.

— 'Сие есть Чаша Тайной Вечери. Подойди ко Мне, загляни в Нее, Галаад!'. Склонился Галаад над Чашею и стал дрожать всем телом, ибо смертной плоти коснулась плоть духовная. 'Господи', воскликнул Галаад, 'благодарю Вас за все, что Вы для меня сделали, ибо узрел я то, что языку не сказать и сердцу не помыслить'.

И простерся Галаад на подобие креста пред Граалем: 'Позвольте мне от земной жизни отойти', взмолился он, и умер. А, когда ангелы уносили его душу встретить Христа, увидели Парсиваль и Бохор руку, спускающуюся с неба, а тела не видели. И взяла рука копьё Лонгина и св. Грааль, взяла и унесла на небо. И стали невидимы копьё и Грааль.

Опечалились рыцари, и вся страна с ними. И положили Галаада в 'Духовном Замке' по правую сторону сестры Парсиваля. А Парсиваль ушел в монастырь, прожил там три года и умер. И положил Бохор тело его по левую сторону девы. Так и лежат они трое как то было сказано в письменах. А Бохор вернулся к королю Артуру и все ему поведал. И была великая радость».

Светомир закрыл книгу и поднял взор на Галаада. Галаад тихо уходил. Светомир поспел позвать его: «Что делали Вы мечом Вашим в городе Саррасе, король Галаад?»

— «Сей меч потомственный Давида служил Лонгинову копьёю», сказал Галаад и скрылся.

Говорит Светомир золотой стреле: «Как разгадать, понять мне тебя? Когда завоевателю полумира, Александру, волшебные мечи, копья, стрелы покорно служат, убивая не токмо ради побед в бою — сие естеству их не противно: язычником был Александр.

Но вот, ты привела ко мне рыцаря Галаада. Чудесный меч в руке его. И у воина Христова нет никаких сомнений, когда мечом своим священным он на смерть пронзает, пусть злодеев, но не на святой войне.

Впрочем, христианин то он христианин, да не по нашему. Еретик он, хоть и благочестивый. Слова дамы его — ересь; но и его собственные слова — ересь не меньшая: первым епископом христиан почитает он какого-то Иосифата, сына Иосифа Аримофейского, а Петра апостола и Иакова даже и не поминает; славу Грааля увидел он в Саррасе. Что это за Саррас? Да еще и Корбеник халдейский расписывает воин Христовый, а про Иерусалим, Рим и Царьград даже и не вспоминает.

А все-же: может и не по нашему, но праведником Галаад был, и жизни святой; и Свет не вечерний ему явился. Кто разгадает вас, мечи и копья священные!

Скажи мне, стрела золотая, не настало ль мне время вернуться на родину, где в положенный час наставит меня свет Егорий на дело, ему удобное? Я не хочу приказывать тебе. От тебя жду зова и знака.»

Стрела молчала. Покой не сходил в душу царевича. На вопрос может ли человек, верный учению Христа, убить другого человека так, чтобы то было согласно с волею Господнею, — ответа он не получал.

И думал Светомир: «Пусть Александр — язычник; Галаад — еретик. Но вот сам Апостол Петр, столп церкви, убивал; и то не вменялось ему в ослушание.

Когда Симон Маг в оказательство правоты своего учения стал летать перед народом, Петр молитвою своею поверг его на землю так, что маг упал, разбился и умер. Праведно...»

— «Праведно», повторил насмешливо какой-то незнаемый голос, и вдруг предстал Светомиру муж статный, важный, борода убрана искусно. — «Кто ты?», спросил царевич.

Ответ прзвучал отменно вежливо и гордо: «Неверные именуют меня — ‘Симон-Волхв’, а для верных я — ‘Великая сила Бога’, ‘Отец-бог’.»

— «Кто же это тебя в чин сей возвел и за силу Божию почитает опричь тебя самого?», спросил Светомир.

А волхв молвит дерзостно: «В бытность мою на земле тьма тьмущая народу мне справедливо яко Богу поклонялася. И внимали мне, занеже изумлял я народ волхованиями.»

— «Волховал то ты волховал, да другие покрепче тебя были. Учение твое есть заблуждение и ересь».

Симон-Маг возразил надменно: «Учение мое есть тайное знание, великое знание дел Божиих, внутренней жизни Его и всех сокрытых глубин Его».

— «А зачем же ты, волхв могучий, апостолу Петру деньги предлагал за дары Духа Святого? Божья сила, кажись, ни в чем недостатка иметь не может?»

Маг видимо осерчал: «Не дорос ты», говорит, «Светомире, разуметь сего. Честно хотел я обмен совершить — за их добро им заплатить, а свое им продать. Одного у них было поболее моего, а иного поменьше. Им от меня тоже было чему научиться. А вы ныне все про меня лишь от хулителей по наслышке знаете. Вот и судите криво».

— «Пусть то будут хулители; а вот ты сам скажи мне, волхв, правда ли, али неправда, что ты блудницу Тирскую за собою завсегда водил и ей яко существу высшему и мудрейшему поклонялся?»

Ответил Симон Маг: «Ничем ты, Светомире скудоумный, до сей поры не вразумился. Ведь трагедия мира, самая большая трагедия света в сей блуднице Тирской и является. Елена, которую я спас, вырвал из плена злых духов, восставших ангелов, она-то и есть сама верховная Мысль, женская часть Единого Суцего. Сей Единый Суций есть начало, сила, себя творящая и находящая; он есть вечная разлука и встреча самого с собою; он себе самому отец, мать, сын и дочь.

«Нет, не понять тебе сего, не твоего сие ума дело. Но все-же слушай: Суций раскололся на Ум и Мысль. Вот сия то Мысль его предвечная все доброе в мире и создала. Но ангелы и архангелы, коих она сотворила, духа злого исполнились. Восстали они против своей Творительницы и ее полонили. И стала она их пленницею. Они оторвали ее от небесного спутника, и она, страдалица, в поисках его, бросаясь жертвенно и самозабвенно в проклятую материю, падала все ниже, да ниже.

«Одно из ее появлений, воплощений земных тебе ведомо, Светомире; то была Елена Троянская, признавшая в Парисе-соблазнителе суженого Жениха, и ставшая виновницею всех ужасов войны, разрушений, смертей. А вот моя Елена в поисках небесного своего Жениха, сиречь меня, тоскою любовною язвима, но плененная материей, попалася в блудный дом развратного Тира. И в то самое время как земная плоть ее терпела мнимые улады, небесная плоть ее испытывала невыносимые истязания. Все сносила она, многострадальная, терпеливо, меня ожидая. И вот я, обманув бдительность ангелов, ее стерегущих, неузнанно сошел на землю в образе смиренного странника и вывел ее из плена. С той поры стала она на земле моею верною спутницею.

«Она была отражением Премудрости в темных водах, и, отвернув-

шись от ангелов, ею созданных и на нее восставших, она вернулась в Премудрость. Она и есть сама Премудрость — моя предвечная подруга, моя неземная Мысль».

— «Помедли, помедли, Симон», вскричал Светомир. «Ну как-же так, сразу, прямо из блудилища да в Премудрость?»

А маг и не слушает: «Елена-то моя», говорит, «блудница Тирская, поважнее будет ваших святых блудниц Марий Египетских да Магдалин».

Осердился царевич на слово кощунственное, перебил мага: «Наши святые блудницы, как ты их величаешь, не мечтали о себе, не превозносились. Долгое покаяние творили, вожделя Христу сораспяться».

Волхв гордо возразил: «Я ее спас. К свету вернул белый луч, затевшийся во тьме. Все светлое, мраком плененное, верну я ко свету».

— «Коли ты страдалицу спас, Симон, вестимо, то вменится тебе в праведность: лик добра зачастую представляется нам искаженным, потому что люди нечистыми глазами видят его искаженным. Но, вернуть свет ко свету — хорошо, да недостаточно. Луч ли белый самого себя спас, бегуном став, ты ли увел из мрака луч белый — тут нет еще ни милости, ни жертвы. Свет во тьму должен светить, должен мрак преобразжать. Иначе Христос напрасно умер».

Разбушевался волхв: «Вот еще! Злых духов, материю проклятую спасти — нашел достойную работу. Нет! Вредитель великий, вот тот, что в Библии вашей расписан, Иогова жестокий, он создал материю, человека и весь мир. А приспешники его, ему способствовали. Тогда Ум, Бог-Отец Добрый с ним в борьбу вступил. И борьба сия — борьба вечная. Мир во зле лежит».

— «Грешно так говорить, Симон. Ну на кого ты пеняешь? Мир лежит во зле не по вине Бога, а по вине человека: поврежден он был грехопадением. Но 'вся тварь совокупно стенает и мучится донныне; и не токмо она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего'.* Человек был убийцею Божьей твари в прошлом, он станет ее спасителем в будущем. О сем обетование».

Волхв ответил сердито: «Природа есть изделие дьявола. От нее надлежит бежать, улетать в высшие эоны».

Вступился Светомир: «А я вот одного знаю, который некогда в Цезарее поднялся от земли, обещался далеко улететь, и совсем было полетел, да вдруг упал и разбился на смерть».

— «Смерть на земле», возразил волхв надменно, «вовсе не всегда есть падение конечное. Вот я тоже одного знал, который крестною смертью умер — что же по твоему сие есть падение? Был он праведником и одним из эонов. Вы его за бога почитаете!»

Разгневался Светомир: «Совести у тебя нету, Симон Маг, с кем ты себя равнять вздумал! Христос, покорный воле Отца, Своею волею страдал и умер, а ты против воли своей, по воле апостола Петра упал. И потерпел ты правое наказание. А главное: Он воскрес, а твоего воскресения верные твои и по сей день не дождались».

— «Да», ответил маг гордо: «Христианские хулителы ваши про меня такое сказывали. А ты так уж уверен, что меня нет. Стою же я перед тобою, значит и не умер. Коли меня упоминают, хотя бы и хулениями, помнят меня, значит я еще жив. Вот, когда забудут, тогда значит умер. А скоро и больше про меня узнаете: в древней урне письмена сохранены, что упрятаны были от уничтожения. Ктому же в разных образах я и по сей день иным являюсь. Вот я и к отцу твоему, царю Владарю, и к тебе приходил. Оба вы не приняли меня; во благо ли себе — это еще вопрос».

И понял Светомир, что разумеет волхв Симона Хорса. Хотел спросить где пребывает ныне проважатый его в царство Иоанново, а волхв, точно мысль его читая, уж отвечает: «Да, Хорс есть один из сих малых моих; в веках — ученик мой верный. А судьбу его тебе знать не подо-бает. Ибо ты его предал и привел к уничтожению».

Горько стало Светомиру от слов сих. Он сказал: «Не губил я его, я его почитал. А учение его отверг я, ибо он много заблуждался».

Волхв ответил злобно: «Отвергая его наставления, ты убивал его самого. Разве ты не знаешь, что муж, посланный архонтами на важное дело земное и дела этого не исполнивший, непременно будет отозван и наказан; силь он утратит даже до изнеможения. Хорс пришел к тебе с доверием, дабы в твое средоточие спасти для Девы свет. А ты все презрел и тем обрек его на мучения, толкнул на погибель».

Печально отозвался Светомир: «Ничего такого я тогда не знал, а кабы и знал — не мог же я ради помощи Хорсу истину предать».

Ехидно посмотрел на царевича волхв: «Истина? Возомнили вы, что познали ее. А между тем — старый вопрос вопрошавшего: 'Что есть истина' так и остался без ответа».

Светомир возмутился: «Истина стояла воочию перед Пилатом; потому пустой вопрос его будто и остался без ответа. Вопрошавший был духовно слеп».

Волхв усмехнулся: «Иди, иди, спускайся во тьму с благими вожде-лениями ее просветить. Тут-то она тебя и схватит, и закружит похуже чем мою блудницу. Коли свет во тьму сойдет, чтобы тьму обнять, то тьма его поглотит».

Светомир ответил истово: «Не запугаешь меня, волхв. Стрела моя золотая окрест себя свет излучает и меня из тьмы непременно вынесет,

да и не меня одного, а многих со мною, ежели будет на то Господня воля».

Симон злее прежнего ухмыльнулся: «А что ты венец отверг, который Хорс тебе сулил, то тут похвалиться нечем. Ведь Кефир-Малхут стрелу твою к себе тянул. Без него она в руках твоих бездейственна, цепенению сидня подобна».

Гневно вскричал Светомир: «Не твоего сие ума дело. Стрела моя тянется не к печальному венцу, упавшему к ногам твоей унылой царицы, а к венцу на голове Премудрости. Земному царю не ваша гордость пристала. А присвоить себе имя Божие, сказать: 'Я как Он. Я есмь Он' — сие есть дело сатанинское».

Волхв невесело, жутко рассмеялся: «Ваш 'начальник Жизни' однако нечто подобное говаривал».

— «Сгинь, ересиарх, не кощунствуй», гнал его Светомир.

Симон Маг ответил спокойно: «Впрочем, не это важно. Важно вот что: ты со своей стрелой до Премудрости не дотянешься, а я самой Премудрости падший образ за руку вожу и спасаю. Поразмысли о сем. Смотри сам».

Волхв как и при появлении своем поклонился отменно учтиво. И сразу скрылся.

VI

И услышал царевич голос тихий, уветливый. По сошедшей в душу радости узнал он голос Иоанна. Пресвитер сказал: «Горе тому, через кого приходит искушение. Уступивший искушителю губит и его и себя. Отвергший искушение искупает тем грех искушителя».

— «Значит, не загубил я Хорса?», с надеждою спросил Светомир.

«Неисповедимы пути Господа», ответил Иоанн. «Ты уберег Хорса от падения, но не в моготу тебе было повести его по пути праведному».

— «Праведному», повторил за ним Светомир. И вдруг вспомнил явственно думу свою перед появлением Симона Мага. «Праведно за кощунство Петр убил волхва. А, может, он и не убивал его вовсе. И то лишь — домыслы шаткие людской молвы? Ведь не в священных книгах я про то читал».

Но вот ап. Лука рассказывает про солгавшего Анания: Петр сказал ему: 'Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?... ты солгал не человеку, а Богу'. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И Сапфире сказал Петр, когда часа через три

пришла она и повторила ложь мужа своего: 'Что это согласились вы искушать Духа Господня? вот входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут'. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. *

«Петр не убил Ананию и Сапфиру; Апостол был лишь возвестителем и свидетелем Божьего суда. Но — почему не сказал он Анании то, что говорил не раз другим грешникам? 'Покайся в грехе твоём и молись Богу: может быть отпустится тебе помысл сердца твоего'. Почему Петр, которому дана была всяческая власть, 'так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них', * — почему сам Петр не взмолился ко Господу о сих грешниках, о соблюдении тел их и душ?»

Раздался вновь голос Иоанна: «Аще кто узрит брата своего согрешающа грех не к смерти, да просит и даст Бог ему живот. Есть грех к смерти: не о том глаголю, да молится.» *

И унесся голос.

VII

Пролетал однажды царевич на стреле своей над широкою рекою, и видит: странников много подле воды; они разуваются, поднимают детей своих, сажаят их себе на плечи и с ними переходят речной брод. Залюбовался на них Светомир и попросил стрелу опустить его на землю.

А на берегу предстал царевичу великан. На нем короткий, красный плащ; исподнее одеяние зеленое. Сам он исполин какой-то космый, косматый, будто страховидный, но глаза из-под густых бровей глядели нежно и столь ласково сияли, что увеселилось от сияния того сердце Светомира. Царевич обратился к нему улыбаясь, спросил: «Как величать тебя, добрый человек?»

— «А Христофором», отвечал великан. «Сам ты, царевич, добрый человек, коли не имеешь страха от вида моего. А то вот царь, когда меня скованного к нему привели, так испугался образины моей, что с престола упал».

— «Какой царь со страху упал? Зачем тебя сковали? Ничего такого про тебя не слышал. Знаю лишь, что ты Христа-Младенца через реку перенес. Скажи, Христофор, чему ты послан меня научить?»

— «Невеглас я, Светомире; где мне тебя поучать? А про жизнь мою выслушай, коли на то воля твоя. Не горзд я сказывать, да ты сам разумей. Вот пришла мне с юности охота сильнейшему послужить. Нашел я царя, самого сильного, и подвизался на него работать как на

своего господина. А как услышал, что царь тот чурается чорта, ушел я чорту служить».

Тут вступился Светомир: «Как же тебе, Христофоре, вздумалось чорту служить? Неужто то святому пристало?»

— «Силу свою», отвечал исполин, «хотел я сильнейшему отдать. Что самый крепкий, что самый достойный было для меня равно — одно. Да увидел я однажды как чорт от креста бежит: Распятого боится. Ну, и пошел я тогда искать Распятого. Забрел в пустыню, а там старец-отшельник стал мне сказывать про Христа.

«Я и говорю ему: ‘По всему вижу, что Он сильнейший. Ему и послужу’. А старец говорит мне: ‘Постись, чадо, плоть свою истязай’. А я ему говорю: ‘Никак не могу, государь пустынный, затем что плоть утрудить умею лишь делами’. А он тогда говорит мне: ‘Деннонощно молитвы тверди, и явится тебе Христос’. А я ему говорю: ‘Да как же я твердить их буду? Что такое молитва, я и не знаю. Ты, государь старец, уж лучше работу дай мне труднейшую: силушка моя служить просится’.

«Тогда говорит он: ‘Иди к реке тут неподалеку, к потоку мятежному. Там многие потопали. Вот и переноси через воды бурные всех, кому на он-пол реки переходить надобно.’ Ну, я и рад. Нашел реку, вырвал дерево, сделал из него палицу, да и стал прохожих на шею себе сажать и через поток переносить. И ничего мне трудно не было.

«Последи, ты и сам знаешь, что приключилось. Ну, уж все одно, скажу: слышу раз ночью слабый голос зовет. Вижу у воды младенца, молит жалобно его перенести. Взял я палку, посадил дите на плечо себе. Иду. А вода подымается, гудит, ревет, не пускает, поглотить грозит. Ребенок претяжелый стал, через силу несу. Помирать, думаю, час настал. Боюсь лишь не загубить бы дитяню. Насилу добрался до берега.

«И говорю младенцу: ‘Тяжел ты был точно я бремя всего мира на себя взял’. А он мне говорит: ‘Оно не удивительно, что тяжело тебе было, ибо ты нес мир и Творца мира’. И, видя мое удивление, еще говорит: ‘Я есмь Христос, Которого ты ищешь’. И тут-же Он и окрестил меня, и Христофором назвал, а допрежде того звали меня Репровом. И еще говорит: ‘А ради того, чтобы ты мне верил, вот как вернешься домой, воткни палку твою в землю, и на другое утро она расцветет’. Так я и сделал: воткнул палку в землю, пришел к ней утром, а она уж дровом высоким выросла и финиками покрылася.

«После пошел я в страну, где христиан замучивали; и стал я молить Христа, чтобы дал мне провещевать на ихнем языке, дабы я подобно мученикам тем, сподобился пострадать, обличая неверных. И явился муж в одежде лучезарной и говорит: ‘Я — Архангел Рафаил: услышана

молитва твоя'. И коснулся он уст моих и дохнул в них трижды, и стал я вдруг по гречески язычников громить. Один из неверных меня ударил. А я взял палку, всунул в землю, и палка расцвела по молитве моей. И обратилось ко Христу восемнадцать тысяч человек.

«И пошел я в страну злого царя, и в капищах тамошних идолов всех опрокинул и говорю: 'Позовите вашего врача, пусть их воскресит'. Тогда послал царь двух дев меня искушать, а они ко Христу обратились. Послал царь двести воинов меня взять и к нему привести. Да и они все ко Христу обратились. Тогда послал он еще двести воинов, но и те обратились. А я им говорю: 'Вот я своею волею пойду к царю; только свяжите меня'. Они послушались, связали меня, и мы пошли. А царь, как увидел меня, так перепугался, что с престола упал. Потом приказал всех воинов, ко Христу обратившихся, умучить, а меня сжечь. Да не брал меня огонь.

«Царь четыреста стрелков против меня поставил, а стрелы их все в воздухе повисли. Но, царь, со страху отвернувшийся, ничего не видел, громко хулил Бога моего и надо мною глумился. Ну, и осерчала одна из стрел, и бросилась ему прямо в глаз. Ослеп царь. И говорю я ему: 'Слушай, жестокосердный царь, завтра, когда отрубишь мне голову, возьми персть от земли, смешай с моею кровию и помаж глаз: станешь вновь зрячим'.

«И сняли мне голову по приказанию того царя. И он взял кровь мою, смешал с землею, помазал глаз, и как выговорил: 'Во имя Христа и Христофора', так сразу и прозрел. И приказал казнить всех, кто станет хулить Христа. А сам крестился».

Подумал Светомир: «Стрелы не поражали святого. Стрела сама пронзила злого царя.» Взглянул царевич на Христофора, и в удивление пришел несказанное; преобразился до неузнаваемости великан: лик светозарный, прекрасный, молодой, и тело благообразное, стройное. И сказал Светомир: «Ничего не знал я про исцеление царя, не знал и про финиковую пальму; она ведь есть знак воскресения».

— «А про голову собачию знал ты?», спросил вдруг Христофор.

«Да, Христофор», ответил застыдившись царевич. «Слыхивал я нечто подобное. Да вижу; все сие чистый вздор: лицо у тебя юное и пригожее точно как на иконе у Дмитрия Солунского. Вздор бают люди».

Расхохотался Христофор громко и весело: «Вестимо, вздор. А ведь долго меня так обижали, писали даже с песьей головой. Знаешь ли ты как злая молва сия народилася? Людей то песеголовых никогда, нигде и не было. Народ же *хананеи* еще в Ветхом Завете поминается. В долгие века перебаили начетчики *хананеев* в *кананеев*, выдумали народ такой, небывалый. А язык хананеев они не разумели; за то его охаили, да и

нарекли лаем. А слово *канис* ихнее на свое наречие перевели словом *собака*. Ну, и стали сказки сказывать про песьи головы людей. Все пустое. А, впрочем, собачьи-то головы еще и вовсе иное означают...»

— «Какой-же ты, невеглас, Христофор? Ты начетчик, да еще и толкователь мудреных слов».

— «Невеглас я», ответил Христофор, «но, видя печаль мою, пришел утешитель и умудрил».

— «Кто пришел?», все боле и боле дивился Светомир.

— «А Рафаил Архангел, тот, который и язык мне дал. Опречь сего ничего тебе сказать не умею, Светомире. Да с тебя и хватит. Поколе прости».

И его не стало.

VIII

«Светомире, Светомире!» позвал царевича знаемый, но незнаемо чей, где-то давно слышанный голос. Смотрит Светомир и видит: встретить ему идет старичек в скуфейке и в епитрахиле, а лицо у него кроткое и свежее, округлое, и борода малая, седенькая.

«Отче, Парфение преподобный», ринулся к нему Светомир. Сказал старец: «Поручил тебе ее святой Егорий. Ее и блюди. Стрелоносец ты ныне смиренный. Таковым и пребудь до поры. А она-то, стрела, не токмо тело твое, но и душу твою питает благотворно.

«Готов завсегда народ наш отдать сильнейшему, лучшему все силы свои даже до потери себя, готов возлюбить его до презрения к себе. Но воля такая праведна, и жертва такая угодна лишь тогда, когда ум строгим стражем стоит у врат сердца: как бешеный порыв ветра не вздувает, а рвет паруса, так и душа народная, коли не знает она трезвления и меры, становится в неистовстве своем разрушительной силою и убийственной. Она — точно степь пустая, где непогоды заносят песками безымянные могилы. Подымаются пески, застилают небеса. Помутневший взор уж не умеет различать и узнавать духов. Как Репров народ наш ищет рассильнейшего, и как Репров слепо идет на службу к самому чорту.

«Но в душе народа, по естеству своему христоролюбивого, как в душе святого Христофора, плачет Младенец. Слышит душа тот плач и тот зов и, следуя Ему, отдает всю мощь свою и всю свою любовь. А Младенец посылает утешение, спасение — копейцо золотое».

— «Отче преподобный», воскликнул Светомир, «дokoле ждатель?»

Молю тебя, скажи не настала ли пора вернуться мне к отцу моему, понести на родину Егорьеву стрелу?»

Ответил старец: «Будет тебе знамение. В царство твое идти рано». Он благословил царевича и скрылся.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

I

Прошло два года со дня того как Светомир покинул родину, и сказал себе царевич: «Вот уж два лета я на чужбине открытую тайну стрелы разгадываю. Хоть многое я видел и слышал, и разных умений набрался, но ничего не узнал я про нее, чего допреждь не знал, и не стал я мудрее чем был изначала».

И вспомнил он рассказы Иоанна Пресвитера про недоступную Острую Гору, про скит сокрытый Богородицы, где старцы праведные спасаются. «Туда, туда!», решил Светомир. «Там отшельники святые меня вразумят». И сказал он стреле: «Неси меня на Гору Острую, в Девью пустынь, в обитель Матери Божией».

Стояла гора та средь моря-океана далече, и жили во скиту Богородичном иноки, пришедшие из страны Светомировой. Дивилися они как юнота сей без ляды переплыл воды бурные, без проводников взошел на гору их недоступную.

Ничего не стал сказывать Светомир, просил их о приюте. И приказал старец-игумен принять его с ласкою, ничего не вывековать, и по умолению странного гостя поручил ему виноград готовить для вина причастного.

Проходит однажды игумен в час неурочный мимо виноградника и слышит будто пение вдали раздается. Прислушался: Что это? Ни словословие, ни молитва, ни акафист какой, но песнь незнаемая, да складная. Подошел ближе старец и видит молодого пришельца: весело он пляшет, виноград топчет, поет:

«Пресвятая это место *
Излюбила искони.
Тут мои сгорают дни;
Тут завековать мне радость.
Каждый вздох — медвяна сладость.
На Горе и в сердце — рай.
Море дикое, играй!
Лейся звонко, ключ нагорный!
Кипарис, безмолвствуй, черный!
Убирайся, Божий сад,
В синекудрый виноград!

Иго легкое я, послушник, влачу:
Виноградье, красно зелень, топчу.
Свечку яркую Пречистой засвечу,
Ко Причастной Чаше гроздий натопчу.»

Игумен подошел к певцу. Светомир замолк, увидев святителя. Ему все нравилось в облике отца Анастасия: его прямой, высокий стан, изможденное, тихое и радостное лицо с длинной, книзу заостренной бородой, его глаза, насквозь видящие, да кроткие. Преклонился царевич перед святителем: «Благослови меня, Отче!»

Благословив, ласково спросил игумен: «Как отыскал ты нас, юный? Укрыться от кого ищешь? Али жизни монастырской душа твоя вожделеет, что поешь ты о радости послушника?»

— «Хорошо мне у вас», сказал Светомир, «и остаться хотелось бы здесь; да не знаю, дозволишь ли ты, когда узнаешь про жизнь мою».

Улыбнулся святитель: светлое, открытое лицо Светомира веселило его душу. Он сказал: «Кого Бог позвал, тому не нам воспрещать. Но: много обителей у Бога, и много к обителям тем разных путей.

«Вот поразмысли: когда Чудотворец Мирликийский, великий благочестия столп, меч, пресекающий плевелы прелести, восхотел укрыться в тиши монастыря, он услышал голос: 'Николай! Обитель сия — не танива, на которой ты можешь принести ожидаемый Мною от тебя плод. Уйди отсюда и пойдешь в мир к людям, чтобы прославилось в тебе Имя Мое'. Понял святой, что то голос Господа, повиновался и пошел служить людям.

«Желая пребыть неизвестным, добро делал украдкою. Но явилась Сама Матерь Божия и епископский омофор ему на плечи возложила. Тогда стал святитель творить чудеса пречудесные: по его молитве буйные ветры унимались, злые бури на море утихали, больные исцелялись, бесы убегали, мертвые воскресали. А сам-то он, смиренный, и не ведал, что творит дерзновенное и великое.

«Во времена гонений на христиан бросили в тюрьму и пытали святителя Николая; а он радовался, одного и вождедел: мучеником стать во Имя Христово. Но кончились гонения; епископ вышел из тюрьмы невредим и как допреждь пошел служить людям кротостью и чудесами. Остался он 'без крови венечником' в миру, ибо Господь берег его тело для дел других.

«Не мог вместить короткий срок земной жизни Угодника всех деяний, свыше ему порученных. Чтобы исполнить волю Пославшего, святитель должен был ступить за грани земных своих дней. После смерти великого таинника Божьей благодати, тело его стало источать чудодейственную влагу. 'Миро, Манна' — зовет ее народ.

«Не могли вместить узкие пределы Мир Ликийских несчетных чудес, какие во гробу творил святитель. Прошло семь раз сто годов, и явился святой Николай во сне благочестивому иерею, повелевая перенести мощи в далекий город, имя которого назвал. Взял с собою иерей сорок семь праведников, и исполнили они волю Чудотворца. Как звезда перешли мощи святого Николая с востока на запад, и море освятилось их шествием. Но не покинул Угодник родной свой восток как не покинул срединные страны. Ушел, и в тот-же час свершил у нас великое чудо: воскресил утопшего младенца, вернул его родителям. И вот века и века, и по сей день исходит Николы тело святое в благодатной манне, полнится мир предивными, милостивыми делами Угодника и в великом Чудотворце Николае прославляется Имя Господне.

«Да, много путей к обителям горним; кому великомучеником увенчаться суждено, кому пустынником аль столпником спасатися дозволено, кому положено к людям идти и в миру подвизатися. Отец наш Небесный знает кому какая обитель уготована; мы-же, грешные, должны во все дни жизни нашей прилежно молить Господа, дабы открыл Он нам Свою думу о нас, дабы силы отпустил нам творить Его волю».

Умолк игумен Анастасий. Сказал Светомир:

«Пришел я на Гору Острую, в тишину монастыря Вашего духовного наставления ради».

— «Духовное умудрение искать — сие хорошо. Но память, юнота, что уход от мира в монастырь, коли уход сей праведен, коли он свыше дозволен, непременно есть сугубое людям служение. Вот я скажу тебе: подвижник один великого чина восхищаем бывал даже до седьмого неба. Но стал он однажды, в час нужного для людей дела, предаваться духовному созерцанию; и случилось как он возжелал: он пришел в исступление и был восхищен на небо. А последи за нерадение о земле порицаем был, осужден свыше и наказан».

— «От суеты мирской укрыться хочу, отче преподобный, дабы...»

— «Что знаешь ты о суете мирской?», перебил Светомира игумен Анастасий. «Руки замарать опасаться? Грязи человеческой гнушаешься? Мы должны ходить в любви, а сие с уходом подале от людей несовместно. Вот и предстатель наш, великий, святой Николай не боялся одежды своей светлой засмурожить, и до многой даже мерзости касался, людям помогая. А вот угодник Кассиан по всему святой был жизни человек и пуще всего страшился райское платье свое запятнать, чистоту утратить, от порочных мужей и жен сторонился — так оно и случилось, что Николаю два раза в году молебны служат, декабрьского и майского празднуют, а Кассианово имя 29-ого февраля, в лето высокосное, за четыре года одиножды славят».

Светомир подумал, что шутит игумен касательно празднования, но, подняв на него взор, увидел, что несмеяно было и даже торжественно лицо старца. Тогда он с решимостью сказал: «Служить людям я был бы рад; и грязи не убоялся бы. А вот карать страшно».

— «Карать!», возмутился святитель, «как дерзаешь ты помыслить такое? Кто дал тебе на кару власть?»

И вдруг — припомнилась ли ему весть давняя, или просто увидел он, что гость заговорил о каре не из гордости духовной — спал гнев игумена Анастасия и он тихо молвил: «Впрочем, в наше время и от простых смертных то ли еще востребуется. Где пребывал ты по сию пору, юнота? Ведомо ли тебе, что в царстве нашем деется?»

— «Я из далеких стран», отозвался гость, «давно не бывал в местах наших».

— «Посею ты, верно, и не знаешь, что отъехал от нас царевич Светомир, уж года два тому будет, и по днес вестей о себе не шлет. Вот и вздумали прислужники Зоины законного царевича царства лишити, и требуют они от государя нашего Владаря, чтобы он повелел за Серафима яко за покойника молиться, а сына своего от царицы Византийской наследником престола признать. Сам то царь за первенца своего крепко вступается, и народ суженого своего царевича ждет, другого не хочет. Не взлюбил народ наш государыню иноплеменную; ропщет, говоря: 'К нашему нестроению она пришла. От ее греков вся земля наша замешалася'. А все-же, не сдобровать царевичу по возвращении, коли не найдется ему помощи в нужный час. Мы же в скиту прилежно молимся о спасении его».

Светомир опустил голову.

— «Почто смутился ты, сын мой?», зорко всматривался в него иеромонах. «Кому ты сочувственником будешь? С кем стоять собрался?»

— «Волею али неволею завсегда стою я вкупе с первенцем Владаря».

— «Как-же так и неволею?», в раздумье спросил игумен. «Сам то ты кто таков будешь?»

Светомир стал прям, поднял глаза на игумена. Он сказал: «Ничего не утаю я от тебя, Отче преподобный. Я — царевич Светомир».

— «Иди за мною в келлию», позвал его святитель.

II

Келья игумена Анастасия невзрачная деревянная стояла поодаль монастыря. Немногие в ней побывали. Была она местом уединения и молитвы. Святитель и царевич склонившись, вошли через низкую дверь. В переднем углу виднелись образа и налой. В глубине у темной безоконной стены Светомир разглядел домовину. Подумал с благоговением: «Он спит в гробу».

Старец молча указал гостю на стул, сам сел на скамью и любительно принялся слушать.

Светомир поведал про раннее детство свое, все, что удалось ему к сознанию пробудить. И кончил долгий рассказ, говоря: «Помню еще церковь нашу домашнюю, и песнопение райское, и мы все четверо там вместе... А вот последнее что вижу из той поры: Глеб да я смотрим через окно вниз. А там видение чудесное, шествие предивное с хоругвиями, и отец с матерью точно царь с царицею в сказке; особо мать уж такая красивая, и не описать».

«Далее вспомнить не умею: ни снов, ни видений. Сказывали мне потом, что из башенной спальни моей я с Глебом упал замертво на землю, и в гроб меня положили, и собрались хоронить, и спас меня старец Парфений. Но ничего я о том не помню. Распалась связь часов».

«Озираюсь: все неизвестное; в келье малой я вроде как эта, твоя. И не страшно мне, даже укромно от улыбки ласковой инока, ко мне склонившегося. Он выводит меня на поляну; окрест лес, а из лесу на нас медведь идет бурый; старец смотрит на него любовно и говорит: «Не бойся его, он у меня хозяин добрый, дружи с ним». И стали мы с медведем в обнимку по лесу ходить и в перегонки весело бегать».

«И вдруг радость нежданная всю душу мою яко солнцем залила: вижу издалеча мать ко мне идет, и бросился я встретить ей. Она на траву меня подле себя сажает, и мы оба рады. Страсть как мне захотелось песнь услышать, которую она мне пела, когда я младенцем был, и умолил я ее спеть мне ту песнь».

«Заснул я сладко; проснулся, и нет больше ни матери, ни песни, а мне непечально: старец опять надо мною уветливо склонился, и покой он дает, и нечувствие утраты. Многое затерялось в забвенье, но светлый

лик Парфения душа удержала. И по сей день сердце замирает, вспоминая: Лицо кроткое и свежее, округлое, и бородка малая, седенькая. И был он весь тихий и, кажись, вовсе неприметный, а сила от него исходила, что и богатырь не устоит».

Перебил Светомира игумен Анастасий со слезами восхищения, говоря: «Привелось и мне, недостойному, в пустыньке той побывати. Сподобился я благословение получить от отца Парфения. Святой жизни был старец, прозорливец смиренномудрый, даров совершеннейших ревнитель».

— «Вскоре», продолжал Светомир, «он в путь меня стал снаряжать. И повезли меня дед мой Радивой с Хорсом в царство Срединное, к Иоанну Пресвитеру». Долго рассказывал Светомир про Иоанна и царицу его Параскеву.

Задумался игумен: «А ведомо ли тебе, царевич, что Пресвитер письма слал в Византию к императору. Об царстве своем христианском многое поведал, не уча, учил. Имей кесарь уши, дабы слушать, да разум, дабы послушествовать — она, пожалуй, и не погибла бы Атлантида ихняя, хоть и развратилася сверх меры.

«И папе, патриарху западному, писал Пресвитер, вождедея, чтобы все братья во Христе имели общение друг с другом. А его-же последи к еретикам причислили, которые о Деве Пречистой соблазняются и вкупе с Несторием Марию Благодатную за Матерь Божию не почитают».

— «Никогда», воскликнул Светомир, «никогда Иоанн Пресвитер о Богородице ни в помышлениях, ни в сердце своем не сомневался! Собор града своего престольного он церковью Успенскою возглавил. И часто говорил про то, как Христос с высоты креста Матерь Свою Пречистую ученику Своему любимому поручил, и как Иоанн соблюдал Ее до самого Ее бессмертного Успения.»

— «Благодатного учителя послал тебе Господь», молвил игумен. «Сказывай, сказывай, царевич, про жизнь твою».

Светомир долго молчал: пришла пора рассказать про Радиславу. Нежный образ невесты он неразлучно хранил в своем сердце, но после смерти ее ни с кем о ней, даже сам с собою никогда не говорил; и никогда ни в мечтаниях, ни во снах ее не видел.

И вдруг представилось ему столь явственно будто с ним то вновь случилось: лежит он в лесу подле суженой своей недвижимой, убиенной; и вся внутренняя его — единая молитва ко Господу: 'Верни ей дыхание, верни мне Радиславу! Или, возьми сердце мое, отнеси в край, где она, приложи меня к ней, не допусти разлуки... Но, да будет воля Твоя'.

Светомир содрогнулся всем телом, очнулся. Решился, заговорил. И, начав говорить, сказал все: и про беснование Радиславино детское, и про исцеление при переходе через поток эфирный, и про помолвку

свою с нею на деревьях, и про то как она, стрелами пронзенная, в лесу за него умерла. И кончил царевич рассказ свой скорбным укором себе:

«Заместо меня Зареслава — к ней краснуха моя прилипла — душу свою младенческую Богу отдала. Заместо меня Глеб, упав со мною ради убережения моего, на смерть разбился. Заместо меня Радислава, мне обрученная, завистниками окаянными убита была. Молил я Господа, чтобы Он соделал меня достойным к ним приложиться. Но не такова была Его воля».

— «Смерти нет, царевич», тихо молвил святитель. «За тебя умершие в тебе живут и волю Божию тебе толкуют. А ты их слушай, дабы положенное исполнити».

— «Утешал я себя думою, что послан на некое дело святое», продолжал признания свои старцу Светомир. «Все вспоминал да вспоминал как учитель мой, Иоанн Пресвитер, на прощание меня наставлял, в помощь сулил мне стрелу золотую».

И прибавил истово: «А стрелу-то я ведь и получил». И рассказал Светомир как в трудный час на криницу пришел за советом и укреплением, как молния во древо ударила, и из креста стрела выпала и к нему, спящему, слетела.

Вступился игумен, сказал с благоговением: «Ныне разумею слова, давно слышанные: темно предрек мне старец Парфений, что не увижу смерти доколе не придет ко мне сын царя; и в руке его будет стрела, какую Егорий Светохрабрый в земле таил урочища князей Горынских, древесных сестер своих родичей».

— «Получил то получил, а зачем получил — не ведаю», вскричал Светомир. «Думал, что не зря она мне досталась, а выходит будто зря: всякий раз как возмущается душа злодеянием, и хватаюся я за стрелу, дабы виновного сразить, она мне все судьбы будущие показывает. И вижу воочию: вот за отмщением отмщение второе яко злодеяние новое следует, а далее еще другое, кара за карою, страшная цепь убийств и возмездий, и нет греху конца и края. В ужасе рука опускается, стрелу от полета удерживая. А каких злодеев неключимых мне повстречать привелось, даже и вспоминать противно. И никого не тронь: стрела возбраняет. Почему возбраняет — не разумею. Вовсе она ведь к праздности не приучена.

«Вот свет Егорий, который мне ее и дал, дракона ею убил и высвободил царевну. А я не спас, загубил я свою царевну, а дракона наказать не смею. Напрасно умерла невеста моя, за недостойного умерла. Как, чем искупить невольный, тяжелый грех мой? Спрашиваю. Ответа нет. Стрела молчит. Коли суждено ей в руке моей бездействовать, то в победе обещанной она не будет иметь части. А коли не возымеет части — так на что она мне дана? Боюсь греха разити его, боюсь греха

владети ею все. И не умею догадаться зачем получил я ее, раз не дано ей исполнить ничего.

— «Почто о стреле соблазняешься, царевич?», строго возразил игумен. «Иди за нею, и не оскудеют указания».

— «Да как-же мне идти за нею, когда она меня никуда не ведет. Она водительствовать не соглашается. Поступай, мол, со мною как знаешь. А знать то мне и не дано».

— «Возбраняет, тем уже и наставляет», отозвался Анастасий; «она показывает что последует за твоим поступком — сие есть уже водительство некое. Не гневи Бога, царевич, не кори стрелу».

— «Никогда, ничего в укор не говорил я ей», воскликнул Светомир. «Знаю, что руку мою отводит она справедливо. Даже и знаки мне были:

«Помню: иду я однажды мимо церкви и вижу как батрак какой-то бросает камень во храм Божий, да еще наровит прямо в крест попасть. Народу собралось множество, и все давай его ругать, прибить грозятся. И я подобно стоящим округ, осердился и готов уж был приказать стреле поразить руку грешника, дабы прекратить святотатство. Чуть-чуть шевельнулась стрела в руке моей, и вдруг вижу: человек, который в церковь камня кидает, весь светлым соделался, а вокруг церкви нечистая сила за грехи наши так и кружится, так и лепится на крест. А камня то летящие бесов пугают, разгоняют, но креста не трогают, не обижают. И уразумел я тогда, что был тот камнебросатель великий праведник ясновидец. И возблагодарил я стрелу, что открыла глаза мои и удержала от кощунственного злодеяния».

Сказал святитель: «До поры продолжай смотреть и слушать. Придет час. И будет дано тебе откровение как владеть стрелою. Ты же естества ее не пытай».

— «Грешен я, отче преподобный, только то и делал, что пытал. Но к разуму она меня не наставляет: Она меня носит, куда хочу, кормит меня и приводит ко мне, кого зову. Ведомо мне, что дана ей сила пронзять до смерти змия, а дана ли ей благодатная сила исцелять — не знаю; и, верно, никогда и не узнаю, ибо она и до вопроса меня не допускает».

«Виджу, бывало, страдальцев болящих, полнится жалостью сердце; хочу умолить стрелу исцелить их и смерть отогнать. А тут она мне весь будущий дольний путь тех, которые исцеления жаждут, показывает: страдания страшные, преступления проходят вереницею печальною без конца. И явно слышу я как взывания о сохранении плоти другими взываниями заглушаются: молят страдальцы на земле их насильственно не задерживать, отпустить их в иной мир именно в наступивший, свыше назначенный час. И вот: из жалости, острейшей чем та, первая, отводил я руку со стрелою ране чем узнать успевал имеет или не имеет стрела моя золотая силу, печали утоляющую».

Сказал старец: «Неугодно было Господу вмешательство твое».

— «Почему неугодно? В этом-то и вопрос. Ведь помогал я царице Параскеве в собирании трав целеющих и, коли в чем тогда сомневался, то лишь в достаточности моего умения. Не многое я мог, но все, что мог, я делать смел. А ныне многое могу, а делать ничего не смею».

— «Параскева — святая. Ей можно», отозвался святитель. «Ты же отроком был у нее на послушании. Как положил Господь, так и совершались исцеления. То не твоя власть. Ныне же, сам ты знаешь, царевич, сила тебе со стрелою доверена великая. За всякое действие и за все, что оно породит, ты будешь ответ держать. Стрела-то спорить не станет. Ты за стрелу, не она за тебя отвечает. А готов ли ты для ответа — смотри сам».

Строго, почти сурово было лицо игумена, но из-под сдвинутых бровей глаза сияли добротой и заботой. Светомир весь подвинулся к нему доверчиво и радостно:

«Не готов, отче преподобный, не готов. Благодарю тебя, что заговорил ты о сем. Давно душа моя ищет сказаться — вот и дарует ныне Господь. Сперва у Иоанна Пресвитера было мне будто я заново родился: позади, в годах стояли раздельно образы, а промеж них — пустота, темнота.

«И стал я в прошлое простираться мыслию; воспоминаниями силился в темноту светить, обнять ее. Но чудилось мне, что воспоминания те — не мои вовсе, что все, ране случавшееся, не в моей жизни случилось, а в чьей-то близкой, но соседней, чужой. Когда покидал я Среднее Царство, мир был в сердце моем и в помыслах. А ныне, каюсь, сомнения одолевают и о себе, и о стреле: в руке Егория она все может, а мне зачем дана?»

Испытующе смотрел святитель на Светомира и сказал громко со властью: «О себе сомневайся, а о стреле не смей. Не привелось тебе доселе памятью обнять все, чем в летах Господу угодно было строить твою душу. Удерживала тебя стрела, ибо не уготовлен был весь состав твой, как не уготовлен был день и час. Не говори, что стреле ничего совершить не дано, скажи, вернее, что до сей поры затворено было свершение. Всяк бо, начиная без времени, беду наносит. Когда придет пора, стрела тебе препятствовать не станет. Тогда иди! И не будешь бегуном, но воином Господним крепким и верным».

Светомир воскликнул: «Видишь, отец Анастасий, сколь криво я сужу: на стрелу пеняю, когда сам нехорош, не готов. В утешение и оправдание свое одно лишь скажу: неволить стрелу, мне порученную, никогда не неволил. Один лишь раз осмелился ей приказывать: велел принести меня на Острую Гору, в скит Богородицын, дабы через вас, старцев умудренных, получить наставление от Девы Пречистой».

— «Коли по душе тебе послушничество», промолвил игумен, «оставься с нами до поры до времени, трезвися в тиши, топчи виноград для вина причастного».

— «Хорошо мне у вас», сказал Светомир. «А то бывало печаль на меня нападала, когда на стрелу я смотрел и видел, что в руке моей она покоится праздно как допреждь в угодии нашем Горынском. И случалось не раз: тоска лютая сердце сушит, приходит искушение уныния, греха смертного, и чудится, что ничего не осталось мне опричь смерти. Припадаю я тогда к земле, про которую царица Параскева говорила, что вся она Голгофою стала с оного дня как Христос на ней был распят. Припадаю к родимой, плачу, целую ее, принять меня, грешного, прошу. А она добрая, мать сострадательная, прощает, утешает, укрепляет, суженое сулит...»

Светомир умолк. Глубоко вздохнул. И — что это? мечта ли сонная, или явь? — вот он в младенческой своей опочивальне. Распахнутое окно. Он смотрит на дивное шествие внизу, на дороге. Отец и мать идут в одеждах царских...

«Глеб, бежим туда, скорее, Глеб!»

Громко раздались в келлии эти слова. Голос был по детски яркий, звонкий, веселый. И, услышав изменившийся голос царевича, не удивился, все сразу понявший Анастасий. Он подумал: «Зов сей нетерпеливый, непроговоренный, в устах отрока задержанный ударом падения, забытый, но в уме и сердце сокрыто удержанный — с той поры и по сей час душу Светомира самое с собою разлучает. И вот сподобил его Господь памяти благим потоком преграду забвения смыть, дабы отныне душе его ничто боле не препятствовало в полном составе своем воссоединиться».

Благоговейно опустилс я св ятитель на колени перед образом Нерукотворного Христа. «Много сотворил еси, Господи, Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим несть кто уподобится Тебе... Господи, избави его от всякого неведенья и забвения, и малодушия, и окаменелости нечувствия... Господи, просвети сердце Светомира, раба Твоего... Господи, даждь ему слезы и память смертную и умиление».

А Светомир летит вместе с обнявшим его Глебом встретить прекрасному видению. Упоение, радость несказанная. И... ни-че-го...

И вот где-то далеко, далеко начинает собираться, густеть, твердеть комочек вне его, в нем. Это — он сам. И ему не странно, и не страшно. И видит он: вот облако, и в облаке Георгий на белом коне. Святой в него стрелу свою бросает. Ужалила стрела. А он не боится. Ловит луч золотой...

И вот он лежит на земле; она мягкая, влажная. Слышит он как кто-то его нежно и властно будит, тихо и мощно вызывает: «Проснись, Сера-

фиме!» Он открывает глаза: над ним темное звездное небо, а подле него инока лик добрый, кроткий, борода окладистая, скуфейка... и он знает, это старец Парфений. Старец подымает его, берет на руки, несет, и ему укрыто, покойно, сладко на душе. Последи старец ставит его на землю, и они идут среди деревьев звездных.

Горячая струя болью острой пробежала с головы до ног, пробудила Светомира. Он слушает, озирается, всеми силами ищет, хочет собрать, соединить. И видит он: над ним склоняется старец, но то не старец Парфений, а игумен Анастасий. И слышит Светомир: слова звучат близко, а доносятся издали, слова евангельские, давно ведомые, памятные, душе впервые понятные:

‘Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит.’ *

III

Тихо и мирно проходили дни Светомира во скиту на Острой Горе. Он отстаивал все службы, прилежно читал священные и святоотеческие Писания под руководством духовного отца своего Анастасия, часами и часами топтал виноград для вина Причастного и, не таяся, распевал свои песни. Любили монахи слушать те песни неизвестные. А стрелу свою порешил до поры не трогать и запрятал ее в дупло старого дуба.

Однажды — весна уж наступила — вышел после обедни из церкви Светомир, твердя на память слова, только что услышенного песнопения. ‘... заступницу миру, пренепорочную Невесту Деву воспети дерзаю, ее же девственную душу церковь свою божественную нарекл еси, и воплощения ради Слова Твоего Софию, Премудрость Божию именовав еси’.

Царевич сел на скамейку насупротив собора; он думал: «И зачем это сегодня, в день Благовещенья, службу правят святой Софии? Спрошу отца Анастасия».

А святитель, с паперти спускаясь, сам уж к нему идет: «Видел я как ты, царевич, перед иконою Софии, Премудрости Божией, молился. К ней всегда прибегай прилежно, дабы право видеть и судить».

— «Скажи мне, отче преподобный, почто в праздник Богородичный церковь святую Софию славит?» Отвечал старец: «Служба Софии, Премудрости Божией из песнопений Христовых и Богородичных составлена и славит она Воплощение Слова; потому и правится она в день Благовещенья, а чаще еще в день Успения Богородицы. В Премудрости

Божией дальнее с горним воочию сопрягаются, небесное и земное вкупе».

— «Дозволь еще спросить тебя, отче, что за шест София в деснице своей держит на иконе в Соборе вашем скитском? Сама то она ангелу могучному подобна, на престоле восседает, в далматик царский облачена, тороки-«слухи» за ушами, и за спиной два пламенных крыла. А вот в руке будто несогласное со всем этим у нее: посох странный да не с крестом, а жезл процветший со змеєю?»

— «Жезл сей есть кадуцей — так его издревле звали. Силу он имеет особую, власть таинственную над душами».

— «А почто», продолжал спрашивать Светомир, «венеч золотой на голове Софии вид являет стены зубчатой?»

Сказал игумен Анастасий: «Венец Софии в образе стены градозащитной знаменует Матерь-Землю. Она — на голове Премудрости — есть небесная Земля, сиречь тварь горняя, вечный прообраз и утешение, и надежда дольной твари.

«Дивления достойно», прибавил игумен, помолчав: «изографы наши, кажись, с покон художеств своих все Премудрость Божию пишут. И святую Софию саму, и окружение ее изображать обыкли, и, даже, вразумления ради, надписи разные на иконах выводят, а по сей день не получила еще святая София строгого уставного ликописания. Ее то Ангелом изображают, то церковью, невестой Христовой в облике девы с руками молитвенно поднятыми, а то, еще и так бывает, что нет на росписи лика ее отдельного, а весь мир горний изображен: и Троицы Божией благие Ипостаси представлены, и Богоматерь, и Иоанн Креститель, и святые все, и апостолы, и силы небесные, сиречь вся Вселенная светлая в полноте и целости своей; и надпись проставлена: 'Премудрость создала себе обитель'. И все тут свободное художество; и нет древнейшего подлинника, по которому закон поставлен».

Сказал вдруг Светомир, думу свою продолжая: «В венце зубчатом Софии, в стене градооборонительной Божьей Премудрости царю земному великая нужда».

— «Так оно и есть как ты говоришь, царевич,» одобрительно отозвался святитель. «Горних стран потребна мера, чтобы право мерить, ладно строить дольное царство и мудро править земные дела. А помнишь ли ты как царь Соломон в «Притчах» своих про святую Софию учил? Говорит Премудрость: 'Господь имел меня началом пути Своего прежде созданий Своих исконі. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, я была там... Я была при нем художницею, я была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его, и радость моя была с сынами человеческими'».

«А радость ее в том, что она показывает людям вещи, какими они были в Промысле, в Премудрости Бога и велит сынам человеческим узнавать их на земле и приводить всреть тому их божественному образу».

Улыбался Светомир тихо и счастливо, говоря: «Помню, бывало то в детстве; вижу деревья и речку, и вещи разные окрест меня, и игрушки мои в окружении сияния голубого, в лучах света светлейшего света дневного. Земное при сем земным остается, но радостным соделывается несказанно. Быть может, то и приходила святая София играть со мною — не знаю. Но сердце дышало и горело, и душа от любви обмирала и умилялася».

Сказал святитель Анастасий: «Там, где Слово Божие касается земли, там и София. Она не покидает дольний мир. Чистому оку она открывается во всех вещах. Вот сия то благодать была по милости Заступницы нашей, Девы Пречистой, тебе с младенчества дарована. Ее блюди, царевич».

IV

Пришли на Гору паломники и вести принесли из царства Владаря, да невеселые. Сказывали: «Пронеслася в народе молва будто царевича Светомира прислужники Зоины настигли и в полон взяли, и в месте неизвестном содержат, извести хотят. А иные уж порешили, что зарезали царевича как ранее невесту его, княжну Радиславу. И ополчились друг на друга, те, что сторону Светомира держат и те, что Зоинова сына посадить на престол норовят. А злоба их, гляди, и до смуты кровавой дойдет. Жихорь то бдит, выслеживает, да и ему трудно приходится. Долго ли ему приведется верх держать — как знать? Больно уж хитры и пролазны супостаты».

Светомир, услышавши речи сии, призадумался: не грех ли ему, невредимому на Горе укрыто жить, когда за него, якобы пленного или мертвого, распря ведется, которая смертоубийством грозит. Не пора ли ему на помощь отцу своему идти, дабы появлением своим спор и смуту разом укротить?

Пошел он к дубу, вынул стрелу из дупла, вопрошает ее, а она ему кровь и мрак показывает. В смущении обратился он к старцу Анастасию:

«Что надлежит мне делати?», вопрошал. «Неужто положено, дозволено мне не идти к отцу, когда в его беде, хоть и невольною виною, а все-же я повинен?»

XLXVI.

Не жаль и ни о чем; обещан
Кудряков сию свою плечу.

Но если у лора почитаем

И будет ограда от сад.

И я, расправ шире ора,

Молитва о поминовении усопших
Распространю во шпарт юра

Молитва о поминовении усопших
Применяю. Твоя и перо и ора

Отменишь ^и *Кудряков*,

Моя будет вперен в арат

Мелушкой ртутью аюв?

Ты обрел, с Вильмом *Кудряков*?

И какт, на моем *Кудряков*,

И - в сердце *Кудряков* - *Кудряков*

И друга *Кудряков* *Кудряков*.

Автограф Вячеслава Иванова. «Младенчество». Первое появление старца
Парфения из «Повести о Светомире»



Этот снимок - как и первый портрет в этой книге - взят из фильма, сделанного в конце декабря 1948 г. в Риме итальянской государственной киностудией «Инком».



Вячеслав Иванов и О. Дешарт. Рим 1941 г.

Загрустил игумен Анастасий, ответил, говоря: «То ли еще будет? Много испытаний впереди. Скоро брат на брата восстанет, и прольется кровь».

— «Зачем допускать сие?», воскликнул Светомир. «Не лучше ли мне на родину возвратиться, где приход мой разом всех вразумит, открыв обман слухов».

— «Никак», ответил святитель. «Ныне ты им лишь поводом будешь для братоубийственного раздора. Чтобы победить врагов тебе их всех прикончить придется. Со стрелою сие то нетрудно: она спорить не станет; всех пронзит, кого прикажешь».

Светомир испугался: «Я к отцу хочу вернуться, чтобы брат на брата не шел».

— «Сего ты не можешь, царевич. Рано. Не уготовлено еще дело, тебе предназначенное и порученное: не сего оно времени и часа».

— «А раз так», сказал Светомир, успокоенный, «значит не пора». И, помолчав немного, вскинул взор на старца и спросил: «А грешно, отче преподобный, по Псалтири и по Евангелю гадать? Каюсь, вот и намени я, согласно обычаю нашему семейному, Святое Писание о судьбе своей вопрошал».

— «Грешно, вестимо грешно,», отозвался святитель строго. Святое Евангелие и Псалтирь тебе не ведуны. По ним молиться надлежит, а не гадать». Взглянув на Светомира, увидя испуг на лице его, смягчился старец, сказал: «Ну, а коли назидания там ищешь, тогда ничего: Бог простит. Что-же тебе вышло?»

— «Вышел не ответ, а мой же вопрос, но обращенный в молитве ко Господу кем-то лучшим и мудрейшим: 'Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от мене заповеди Твоя.'* Открываю я книгу в другой раз, читаю, утешение себе читаю: 'Убо преиде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша яко птица избавися от сети ловящих: сеть сокрушися, и мы избавлены быхом.'»*

Святитель Анастасий, точно высматривая что-то, горестно глядел вдаль; тихо он молвил: «Да, много еще печали должно быти, и не может стрела соделать, чтобы сие не пришло. А когда придет пора преломиться болезни духа народного на выздоровление, тогда тебе, Светомире, должно вступиться и помочь».

— «Коли зло само прошло, так и помогать нечего», возразил Светомир. Ответил игумен:

«Есть многое, царевич, на земле благого и светлого, что зачалось и быть могло, но стать не возмгло. Надлежит помогать добру становиться и являться в положенный час».

Сказал Светомир: «Стать восприемником добра — сие есть великая благодать. А вот, когда воля грешная упирается, разве ей наперекор приказывать можно, разве дозволено насиловать ее?»

— «Никак, Светомире: Насилие к добру не приводит. Воспомни что Апостол Матфей про Господа нашего Иисуса Христа говорит: 'да сбудется реченное чрез пророка Исаию... не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы'.» *

«А коли воля грешная упирается — что же с нею делать наказано?» опять спросил Светомир.

Отвечал игумен: «Когда воля добро гонит, упирается, сие еще не значит, что она непременно грешная. Один Господь вопреки всему знает кто есть Его «избранный сосуд». Терзателя церкви юношу Савла ослепил свет с неба, и прозрел апостол Павел. Нумидийскому грешнику Аврелию свирельный голос указал на Евангелье: 'Бери, читай', и пробудился тем великий отец церкви Христовой — Августин.

«Жизнь — грешница несговорчивая, непокорливая, спорит даже со своею собственной волею, даже, когда эта воля святая. И не всегда умеет душа справиться с естеством своим, трезвиться, стать стражем своих тайных помыслов, следовать своему благоволению. Тут-то ей помочь и надо».

— «О, еслиб только дозволено мне стало помогать», воскликнул Светомир, «помогать отцу, стране моей, народу! Насиловать то я не буду; Господь не велит; тут у меня нет сомнений. Но, видимо, порою человек насилует, сам того не зная. Вот уж давно все хочу спросить тебя, отче:

«Никак уразуметь я не умею чем смертельно, непоправимо, непрости-тельно согрешил Моисей при водах Меривы, столь тяжело провинился перед Господом, что Господь Своему избраннику-пророку греха до самой смерти его не отпустил? Ведь Сам Иогова приказал Моисею взять жезл, извести воду из скалы и напоить народ, который не пил много дней. Жезлом сим священным Моисей ударил по скале заместо того, чтобы в разговор с нею вступить — неужто сие уж такой тяжелый грех, что влечет за собою потерю обетования? Да и скала вовсе даже и не обиделася и воду дала.

«А ведь было ране: Господь простил Моисею гнев его, когда он разбил священные скрижали; Господь простил Аарону кощунство с золотым тельцом. А вот при водах Меривы не столь уж страшного ослушания и насилия простить не захотел: Он приказал Аарону взойти на гору Ор и приложиться к народу своему. * Он привел Моисея на вершину горы Нево, показал ему землю обетованную, говоря: 'Умри и

приложишь к народу твоему как умер Аарон. За то, что вы согрешили против Меня при водах Меривы. Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь в ту землю,. * За что? Как разуместь сие?»

Отвечал игумен Анастасий: «И то уж грешно, царевич, что Моисей с приказом, волхву подобно, по скале ударил; то подобало жрецам египетским, но не подобало пророку Господню. Но грех сей, верно, отпустил бы ему Господь как многие другие грехи отпускал: горячо и нежно любил Он избранника Своего:

«Услышав однажды как Аарон и Мириам упрекали Моисея, Он им сказал: ‘Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк, то Я ему открываюсь в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом Моим Моисеем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях образ Господа он видит: как же вы не убоялись упрекать раба Моего Моисея?’ И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мириам покрылась проказою как снегом... И возопил Моисей ко Господу, говоря: ‘Боже, исцели ее’. * И Господь исцелил ее по умолению Моисея.

«Устами к устам говорил с Моисеем Господь и дал ему жезл Свой. И Моисей ‘взял жезл от лица Господа, как Он повелел ему’. Жезл есть знак власти и водительства. Земля обетованная — земля райская, возвращенная. Господь хотел возлюбленного избранника Своего соделать искупителем Адамова греха. Был вручением жезла возврат Эдема таинственно означен.

«Но, Господь велел Моисею догадаться, что обетованием райской земли Отец Небесный сказал человеку: ‘Ты сын Мой’. И как любящий сын Моисей должен был явить славу Отца, которая стала бы и его славою. Господь так и сказал ему: ‘Сделай сие, чтобы явить славу Мою’. А Моисей сказал народу: ‘Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы изведеть для вас воду?’ И ударил жезлом дважды по скале. Моисей величает себя подателем блага, которое послан был от Бога передать.

«Сие есть грех не простого послушания, но грех страшнейшего самонадеяния, самозванства. Мерива значит искушение, испытание. Не выдержал испытания Моисей. Он при водах Меривы вошел в распрю с Господом, возомнил быть как Он. Сие есть в летописях временных лет человека самое печальное и страшное событие после грехопадения Адама. Земля обетованная есть земля райская. Моисей не мог вступить в обетованную райскую землю, потому что ее не стало: грехом своим Моисей затворил Рай.»

— «А народ?», спросил Светомир.

— «Народ вступил в землю, но вовсе не райскую».

Оба долго молчали. Сказал, наконец, святитель: «Со стрелою дана

тебе власть царственная. Как положишь, так и будет. Чего изволишь, то и изведешь. Ты должен выбирать и путь указывать, не принуждая. Тут помыслы двоящиеся: станешь укреплять благоволение в человеках, и может почудиться, что насилуешь. Но, в ком благоволение, пойдут за тобою. Надлежит послушествовать повелевая и повелевать послушествуя. Самостояние есть долг и соблазн правителя. Трудно и страшно властвовать. Царь есть знак противоречивый».

— «Хорошо мне у вас на горè», сказал Светомир, «В страну мою идти еще рано. Тебе виднее, отче. Но, — так ли уж трудно правителем народа быть? Царствовать надо как песню петь — на обрадованье».

V

Мудро царевал правитель искушенный Владарь. Чего изволил, то и вынудил. Народы басурманские покорил и к поморью пробрался. И далече простерлось владычество его. Хозяином был хранительным, строгим, но щедрым являл себя и участливым. Народ работал тяжело на державу, но царя любил, и с помазанником Божиим и в помыслах не имел спорить:

«Мы того не знаем», говаривал, «знает Бог да Государь». А пуще всего на наследника светлого надеялся и ждал Светомира как солнышка весеннего.

Мир был во всей стране, но не в дому Владаря. Сын его от Зои рос пригож и крепок, но с самого малолетства, матери своей подобно, гордость оказывал, упрям был и хитер. Не любил его народ, как не любил и гречанку царицу, роптал: «Всякое нестроение от них пошло».

От Светомира никаких вестей. С самой поры его отъезда, целых три года. А Зоины царедворцы меж собою перешептываются как-бы от царевича избавиться, коли он появиться вздумает. Да и самого государя извести за зло не почитали: уж больно ему завидовали.

И все мрачнее становилось чело Владаря; печальны были его думы: «Крепко царство при правителе крепком. А как выпущу из рук, распадется держава». И тоска терзала его по наследнику пропавшему. Воспоминал он как Светомир будто незатейливо и всегда мудро разрешал трудные дела государственные. «И сие еще до получения стрелы...»

И порешил Владарь в день Егория теплого на кринице патриаршее торжественное молебствие отслужить о здравии и возврате Светомира.

А в канун праздника как во времена былые отправился он один на заветное урочище, наставления умного ради во сне вещем.

VI

Воды ключевой испил с молитвою Владарь и лег навзничь подле криницы Егорьевой. Сон сразу нашел на него. Он видит: келлия малая, полутемная. На стене образ Егория святого на коне с копьем лучезарным в деснице.

И возроптал Владарь, Егория попрекая: «Почто явил ты стрелу на свет Божий, коли сразу и укрыть ее порешил? Хоть и не переводились ее ради веками борения братоубийственные, и втуне она, невидимая, в урочище твоём лежала — все же жива была вера в обетование, что одному из рода нашего суждено стрелу ту добыти и владыкою стать всяя земли. Но вот получил наследник наш стрелу твою, да сам он ушел и стрелу с собою унес. Исполнившись, обмануло обетование. Зачем допустил ты сие? Скажи, где Светомир? Что станется с царством нашим?»

Егорий молчит. Сама тихо открывается дверь. Выходит из келлии Владарь. Вот идет он по лугам и полянам и входит в дремучий лес. И слышит вдруг будто кто-то зовет его, и раздаётся голос: «Попушай, попушай! Вот и придет по тебе царевать сын твой от Зои-царицы. И войдет через него в дом Горыньских наследье роковое».

Узнал Владарь голос старого соблазнителя своего — беса; и возмутился духом. А бес продолжал говорить: «И прольется кровь в роду твоём: отец сына убьёт».

— «Молчи, бес!», приказал Владарь. Но бес не послушался; «И придет гневобыстрое наказание: В недолгий срок потонет во крови остаточный состав семьи царской, отомрет корень рода. И замутилось время. И брат на брата восстанет, народ сам себя убивать пойдет. Враги иноземные стольный град твой возьмут».

— «Сгинь, дьявол!», вскричал Владарь.

Зашумели, заговорили деревья лесные: «Не миновать беды. Вспыхнет распря истребительная, братоубийственно заметежится народ, но праведники и мученики святые его образумят, подымут на супостата. Мать Божья, Владычица Дебренская, молитвы их услышит, покроет их Своим святым покровом, отгонит напастей прилоги и страстей находы. Спасет страну. Вот и нового царя изберут, сродного тебе, Владарь, по женской стороне. И примутся правители за дело трудное устройства разоренной земли. Богатеть и шириться станет царство».

Раздался глумливый смех: «Толк то какой? Опять прольется кровь; опять отец сына убьет...»

— «Убьет», пронесся отзвук лесных голосов. «Убьет Егорий Свехрабрый лютую змею. Царь Владарь! Коли и прольется кровь родимая в нашем с тобою роду, коли и самому сатане воспотешествуем, но взмолится душа наша ко Господу, — Он простит великое согрешение. Воспомни как мы во тьме неведенья сидели, и как Божий воин нас светом Христовым просветил. Почто ради о святом Егорие соблазняешься? Он тебе и родич, он тебе и хранитель. Не печаль души своей. Должен ты Господу молити, у Христа спасения просити. Бог на милость не убог».

Идет, идет по лесу Владарь, выходит из чащи, видит: город стоит белокаменный на зеленом лугу. Вдруг поднимается столб огненный, постоял, постоял и рухнул на город пригожий. Вот уж город в огне исходит, падает за домом дом, за башнею башня крепостного вала. И над грудю стенных скелетов повисла туча густого дыма, черного.

Воет, воет воздух дующий: «В жару твой дом, в огне твой град. Не жaley, не тужи! Народ твой жив доколе Дух в нем дышет. Восстанет град из костра как Феникс-птица восстает. Зане я, ветер, пожар твой не тушу; дую, дую, полымем играю, огонь твой разжигаю. Не тужи, не унывай, уповай, уповай!»

И видит Владарь: из пепла воздвигаются стены превысокие, башни, бойницы, врата прекрепкие, дома многоцветные, луга и поля в нарядах изумрудных, церковей премногих маковки золотые с лучами крестоносными — все прежнее, прежнего краше...

И подняла Владаря воздушная волна, унесла его вверх, вдаль; опустила, поставила на большой белый камень посреди воды. Видит Владарь: плавно идет прозрачная, голубая, безбрежная река. В лазуре ее отражается смурый, недвижимый, замороженный свет невидимого, неведомо какого светила; и во свете сем опрокинуты пышных дворцов красно-серые туманные громады, высокие, узорные ограды, зачарованные, роскошные сады, малые, крутые, горбатые и огромные, легко изогнутые мосты; и подле одного из них, раздвинутого, многомачтовый морской корабль — все величаво, крепкозданно и... призраки кругом. Залюбовался Владарь.

И слышит он за собою насмешливый голос: «Любуйся, любуйся, спеши наглядеться покуда не свалилось. Нашли, где город построить: на самом краю страны, на воде у самого моря. Всем врагам на показ. Да и решетки то у него сквозные заместо крепостных оград. Смотри, уж заколыхалася вода, уж зыблятся в ней стены дворцовые».

Воды бьются, льются, бурлят, гудят.

И замолкли. Окрест простирается ледяная недвижимая равнина, в

которую обратилась река. Вдруг треск раздался со всех сторон; хрустит, ломается лед. Из расщелин встают образы человеческие. Люди, люди без конца. Идут все мимо белого камня вдаль. Вдали бьются, падают, иные поднимаются, дальше идут, несут переломанные, окровавленные штывы, славные, победные, простреленные знамена, идут...

А бес не унимается: «Подожди, подожди немного, увидишь что станется, когда лед подтает и пойдет».

И вот оглушает Владаря грохот грозный, гул, вой. Двигается гудящая громада замерзшей реки, уносит с собою все. Бешено несутся гороподобные глыбы льда, наскакивают друг на друга, ударяются о белый камень, но до Владаря не достают.

А голос опять дразнит: «Подожди, пройдет ледоход. Толк то какой? ПодыметсЯ снова волна, да и упадет на то же место, на прежнее место. Как водомет: возврат, да возврат».

Прошел, наконец, лед. Ревут водяные хляби. Разверзлась черная бездна; вздымаются из нее клокочущие валы. Выпрямился один вал, замер в высоте; и стоямя стала перед Владарем мрачная, застылая водяная стена.

«Упадет она сейчас на меня», подумал Владарь. Он хочет отстранить, удержать стену, хочет вскрикнуть и... не может. Захолонуло сердце. «Вот она и пришла смерть». И...

Провал. Пустота. Ни видений, ни звуков. Владарь обмер... Вдруг видит: вал не опрокидывается, на него не падает; бросается на белый камень, подхватывает, подымает кого-то и уносит на своем гребне.

«Да ведь это я на темени вала лежу», ударила Владаря по сердцу мысль. Он очнулся. «Река», думает он, «в море-океан течет, ложе себе пробивает. Океан ее зовет, путь ее правит. Душа народа не водомету, а реке подобна. Господи, помоги нам проложить верный путь. Укрепи нашу руку. Окольчужь наше сердце!»

Вал вынес Владаря за край реки и мягко, бережно положил его на землю. Доверчиво прильнул к ней Владарь; и мнится ему, что лежит он в детской своей кроватке, и ласка родная его укрывает. И сказал он Земле: «Вразуми меня, Мать-Земля, что мне делать наказано, что станется с народом моим?»

Горестно отозвалась Земля: «Много искушений, испытаний на пути народа твоего, и не со всеми умеет он справиться. Обидится брат на брата, и начнется смертоносное мщение. Ни жалости, ни пощады. Победа не замирит сердца. Победившие друг друга борят, изничтожают. Дохнул Сатана неистовством из бездны. Помутился разум. Возжаждали люди захлебнуться в крови. Ох, тяжело мне, сыне! Сколько я, скорбящая, натерпелась и сказать не скажешь. Всю то меня, горемычную, истерзали, изранили, кровью невинных залили. Не зияют овраги

мои; телами мертвыми они наполнены по край. Во чрево мое материнское недоубитых детей моих бросали, в меня живых зарывали. Их мука была моею мукою».

— «Неужто ты, Земля, оскудешь, и настанет бесславный конец страны нашей?» спросил в тоске Владарь.

— «Не оскудела я и могу богатырей рожать как допреждь их рожала», сказала Земля.

— «Не покидай нас!» воскликнул Владарь.

— «Не покину», обещала Земля, «не покину до поры, подожду до времени: любил меня народ твой».

— «Скажи, чего ждешь ты, чего хочешь ты от нас?»

Тихо молвила Земля, отвечая: «Орел парит по поднебесью и с высоты взором своим следит за жизнью долин. В рождения вашего час одарил вас Господь очами орла, дабы вы, возносясь духом до Небес, умом и сердцем ясно видели Землю и пребывали верными ей. И народ твой смиренный, готовый всего совлечься и прильнуть самозабвенно ко Христу, трезво мыслил обо мне, волил быть, и стал державным. Прошли времена. Осуетился он. Обо многом заботится, а главное забыл, забыл, что он сын Неба и мой сын. И все пошло плохо. Но я терплю. Я, Матерь, кровью алою обольюсь, а плоть народная на крови части свои собрала и принялася расти».

— «Растолкуй мне», вступился Владарь, «как это ты о том, чего еще не случилось, так говоришь будто оно уже прошло?»

Сказала Земля: «Для Души Мира время есть возвратная река, текущая к своим истокам. Она видит будущее в прошлом, и грядущее яко совершившееся».

— «Говори, говори, напоминай что будет!»

— «Последнее испытание, труднейшее еще впереди: придет година Гнева. Подымется с востока солнца Дракон пресильный, страшнейший того, которого ты, Владарь, с земли своей согнал. И сей Дракон...»

— «Дракона», воскликнул Владарь, «дракона завсегда побеждает святого Егория стрела».

— «Ты сказал», согласилась Земля.

— «Еще одно, последнее, открой мне», молил ее Владарь. «Где стрела наша золотая? Где Светомир? По нему душа моя тоскует».

Земля молчит. Окрест тишина. Слушает тишину Владарь.

И вот: издали доносится, все ближе, громче раздается жужжанье. Владарь открывает глаза, видит: пчела золотая кружится, вьется перед ним. Она лапку одну протянула длинную, легкую, сияющую. И где поведет лапкою, там след золотой проступает. Плетется узор причудливый из палочек, кругов и завитков; неподвижно повисает он в воздухе.

«Она золотом знаки пишет», подумал Владарь. И внятен стал ему пчелы язык:

«Еже звезды сказали — сказали» прочел Владарь и вспомнил звездогадание о Светомире: «Предивно светил обстояние над колыбелью сына твоего. Аще же и погребен, из гроба жив восстанет, силодейственна стрела Егория в деснице его». И все жужжа, полосу светлую за собой оставляя, улетела пчела.

Владарь вновь в келье, и юноша с копьем на белом коне перед ним на стене. И стал вопрошать его Владарь:

«Скажи мне, Георгие Светохрабрый, придет ли царевич, первенец мой, которому ты дал стрелу свою, веками сокрытую? Скажи, заколет ли сын мой стрелою тою дракона поганого, недоубитого?»

И услышал ответ: «Владарь, Владарь, ты царство в огне сковал, и сам горишь во пламени том; ты мне оброком за всю страну будешь. А он другого духа. То белого царя тайна. Ее и разгадывай!»

И ничего боле не слышит и не видит Владарь. Густая, синяя завеса сокрыла всадника с копьем.

VII

А из-за завесы выходит встретить ему старец. Лицо округлое, борода малая, седенькая; скуфейка, епитрахиль — все знакомое. И обрадовался Владарь.

«Прости, старец Божий, что согрешил я против тебя ослушанием. Своеволие оказал, послов твоих отвергши».

Ответствовал старец: «Поступил ты, чадо, согласно помышлению сердца моего. В отказе твоём не было ослушания, ибо не согласия требовал я, а выбора свободного. Посланцы мои перед тобою открыли путь да путь».

— «Не пожелал я быть вождем водимым. Избрал я долю автократора, возомнил, что силы хватит злобы мирские нести».

— «Нет гордыни в решении твоём. Ты рост свой природный ни на локоть приумножить не возомнил: белый царь боле нежели царь самовластный. Ошибки же твои невольные и гнев твой сверхмерный на службе у страны твоей Господь тебе простит, коль сокрушение сердечное имеешь».

Вскричал Владарь: «Зачем же ты, отче вещей, к державству меня приведши, силы мои исчисливши, помышления мои проверивши, зачем ты смущал и пытал меня?»

Тихо молвил старец Парфений: «Не я искушал тебя, чадо, а Сам Господь руками моими убогими тебя испытывал. Он завсегда нас на распутье приводит и выбирать велит, приказывает догадываться какого мы духа».

— «Грешен я. Порою давит ноша плечи через силу, и я ропщу. Но, каюсь: коли явились бы мне вновь те послы твои, я как в оный час сказал бы: «Не горазд властелин послушествовать, ниже волк выти аллилуйю». Схимою венец я не покрою».

Сказал старец: «Ты хоть и властодержец в стране твоей, но — по слову, какое было тебе от святого Георгия — ты ему за землю твою оброк».

— «Поведай мне, отче преподобный, что станет с царством моим, когда меня не будет?»

— «Страна твоя — грешница великая, но грешница святая. Залита она кровью смрадною, но и кровию священною. Станет задыхаться, но не задохнется от смрада горячей и зловония смрадной, гниющей крови. Претерпев до конца, из погребов глубоких воззовет, из преисподней возлюбит и спасется. Блажен кто имеет уши, чтобы слышать».

И слышит Владарь: доносится издалеца лязг и грохот цепей. Перед ним дорога длинная, длинная. Бредут по ней убогие, умерзшие, в железно закованные, изувеченные, окровавленные, бредут горемычные, гонимые по льдинам острым и сугробам снеговым. И вдруг — что это? — кандалы тяжелые обращаются в тяжелые вериги, и не звяканье цепей раздается, а песни несутся протяжные, знаемые, песни странников по святым местам. «Они спасут», подумал Владарь.

Встрепенулся, проснулся во сне: Мать его Василиса Никитишна в креслах сидит, и он, маленький, у ног ее. Она положила руку на его голову и тихо запела:

За теми лесами высокими, *
За теми озерами глубокими,
Стоит гора до поднебесья.
Уж и к той горе дороги неезжены,
И тропы к горе неторены,
А и конному пути заказаны,
И пешему заповеданы;
А и Господь ли кому те пути открыл —
И того следы неслежены.
Как на той горе световой
Труждаются святые угодники,
Подвизаются верные подвижники,
Ставят церковь соборную, богомольную;
А числом угодники нечислены,

Честным именем подвижники неявлены,
Неявлены — неизглаголаны.
И строючи ту церковь нагорную,
Те ли угодники Божии, подвижники,
Чтò сами творят, не видят, не ведают,
Незримое жидут благолепие.
Как приходит на гору Царица Небесная,
Ей возропцуются угодники все, восплачутся:
«Гой еси Ты, Матерь Пречистая!
Мы почто, почто труждаемся — подвигаемся
Зодчеством, красным художеством
В терпении и во уповании,
А чтò творим — не видим, не ведаем,
Незримое жидем благолепие.
Ты яви миру церковь невиданную,
Ты яви миру церковь заповеданную.»
Им возговорит Царица Небесная:
— «Уж вы Богу присные угодники,
А миру вы славные светильники,
О святой стране умильные печальники!
Вы труждайтесь, подвизайтесь,
Красы — славы церкви незримые,
Зодчеством, красным художеством,
В терпении верном, во уповании!
А времен Божиих не пытайте,
Ни сроков оных не искушайте,
Ни искушайте — не выводывайте.
Как сама Я, той годиною пресветлою,
Как сама Я, Мати, во храм сойду:
Просветится гора поднебесная,
И явится на ней церковь созданная.
Вам в обрадование и во оправдание,
И стране великой во освящение
И всему миру Божьему во осияние.»
Тут Ей Божии угодники поклонились:
«Слава Тебе, Матерь Пречистая!
Уж утешно Ты трудничков утешила,
Что надежно смиренных обнадежила:
Ин по слову Твоему святому да сбудется!»
А поется стих во славу Божию,
Добрым людям в послушание,
Во умиление и во упование.

Унеслась песня. Исчез образ Василисы. Слышит Владарь голос старца Парфения: «Вот я тебе, чадо, какую тайну открою о земле твоей: по лесам нашим, кровию драконовою политым и святым Егорием крещеным, Владычица Дебренская ходит. Где след Ее пречистых ног, там и Рай. Блажен, кто имеет очи, чтобы видеть».

— «Скажи мне, старец преподобный, где Светомир. Печаль-тоска по нем сердце мое гложет».

— «А ты о Серафиме юном не печалься. Он во церкви невидимой покоится. Церковь та построена на крови мучеников Христовых. И Симеон Управда, страстотерпец, среди них. Не напрасно он умер. Сын твой потомок его. Вот еще тебе скажу: возлюбила Серафима твоего Владычица Дебренская. Святыня Ее на земле хранителями особыми оберегается. От старца благого, кому Дева Пречистая обручена была, пошел в духе род обручников; явно-тайного Рая они на земле святые садовники. Светомир из рода обручников сих».

— «Как разумеешь слова твои, отче? Искать ли мне сына моего среди живых? Что ждет его? Будет ли наследник мой по мне царевать?»

— «Сколь много спрашиваешь зараз», улыбнулся старец, «не умер Светомир, но спит, и стрела золотая в десной руке его. Встанет и придет царство спасти. Но не суждена тебе с ним встреча на земле».

— «Умру скоро, не увидав сына моего?»

— «Ты сказал». Старец Парфений благословил Владаря и вывел его из келлии.

VIII

Огляделся Владарь. Пред ним поляна. Поодаль чаща лесная. И слышит он: доносится из леса злой и жалобный, протяжный вой. Волки! И вот уж от бора отделяется их серая стая. Впереди бежит прямо на Владаря матерый зверь.

«Я ему возбранил тогда — что это было?», силясь вспомнить Владарь и видит: под крестом криницы лежит Симеон Управда. Спит тихо, руки сложены на груди, лицо светлое, благообразное. А над Симеоном волк матерый стоит голодный, оскалился. «Я и теперь ему возбраню», сказал себе Владарь и ринулся на зверя. Волк взвыл, скрылся в лесу. И все исчезло.

И вот уже из леса встретить ему идет Горислава во всей своей чародейной красе. Им подводят коней, и они скачут бок-об-бок по лесам и лугам. Вот речка перед ними. Через нее мост переброшен. Сходят они с лошадей, по мосту идут вместе. И говорит Владарю Горислава:

«Прав ты был, Лазарь, что не внял мольбам моим. Когда бы ты меня тогда послушал и не выдал бы меня Симеону Игоревичу, не было бы и Отрады моей, которая тебе отрадою стала. Она от мученика Христова родилась, и не прейдет благодать, коли упование не иссякнет. А ныне как во времена недуга твоего Отрада песнь тебе споет, какой я ее научила. Певала она тебе песнь ту, да не всю сразу. Песнь та длинная, но теперь ты вместить уготовлен. Долгие годы ты все песню ту вспомнить желал и не мог. Вот дочь моя тебе напомнит».

Перешли они через мостик и вступили в лес. «Расстаться нам надо на короткий срок», сказала Горислава.

«Останься!», вскричал Владарь и протянул за нею руки. Но ее не стало.

И вот видит Владарь: перед ним дорога длинная. По обеим сторонам, друг против друга стоят кусты в больших белых цветах, и из каждого куста подымается большая белая свеча. И свечи все горят, белыми цветами увитые. Идет Владарь по дороге той и знает, что к смерти идет. Но ему не страшно, даже радостно. А когда на дороге, по краям ее осталось по одной белой свече, и стал он проходить среди последних белых цветов, исчезла дорога в голубом тумане, точно в фиимаме кадильном. А в той во мгле голубой обозначился образ милый, и глядят на Владаря глаза важные, правосудные.

«Отрада!», позвал он. Она смотрит, улыбается. И слышит Владарь — то уж было когда то — голос звонкий поет песнь желанную, заветную:

Во темнѣм сырѣм бору.*
Семь ключей повыбило.
На чистой прогалине
Студенец серебряный, —
Студенец серебряный
Владычицы Дебренской.

Во темнѣм сырѣм бору
Семь ключей повыбило:
Собирались семь ключей,
Сотекались семь живых
На чистой прогалине
В студенец серебряный.

По заветну бѣрежку
Мурава нетоптана,
Пѣ лугу нехѣжему
Травушка некошена,
Мурава шелкѣвая,
Цветики лазѣревы.

Во темном сыром бору
Семь ключей повыбило.
На чистой прогалине
Студенец серебряный,
По-над яром хижинка,
Поодаль лачуженка.

Не святой затворничек
В келье затворяется:
Затворилась Схимница
Под схимой лазеревой.
Выглянет — повызвездит
По синю поднебесью.

Хижина безвестная —
Царицы Небесная,
Девы невестная
Владычицы Дебренской.
Живет Матерь Дебренская
За старцем-обручником.

А старцу-обручнику,
Духову послушнику,
Горенка молельная —
Церковь самодельная,
Почивальня райская —
Ветхая лачуженка.

По чистой прогалине
Студенец серебряный;
По заветну бережку
Шёлкова муравушка, —
По заветну бережку
Владычицы Дебренской.

Во темном сыром бору
Семь ключей повыбило.
Собирались семь ключей,
Собирались семь живых
В кладезь Богородичен
Владычицы Дебренской.

Умолк голос. Отрада стала уходить, тихо подымаясь. Владарь бросился вслед ей. Полетел куда-то ввысь и —

Проснулся под криницею.

Царь встал. Подошел ко кресту, на котором был ясно виден резной образ святого Георгия. И вспомнился Владарю рассказ княгини Василисы, матери его: когда на Егория вешнего родился у нее младенец долгожданный, повелел князь Давид, отец счастливый, срубить ветхий дуб над Егорьевым ключом, из комля цельный крест вытесать и святого Егория образ в крест врезать; и еще повелел сень из того-же дуба соорудить и поставить сень и крест над криницею.

Стал крест знаменем хранительным. И вспомнил царь те радостные дни, когда предворяемый крестом, вел он воинов своих к победе и спас страну, одолев агарян. И страшный тот час вспомнил, когда не смогли крестоносцы сильные истягнуть древо из гнезда его, не пошел крест.

И подумал Владарь, глядя на резной образ Георгия святого, что победа, славнейшая победа над драконом, дана была ему за то, что двенадцать мук приняв, не оскудевал он в вере и не переставал из погребов глубоких Господу славу воздавать:

В погреби Егорий да стоем-стоит,
Он стоем-стоит да сам стихи поет.
Он стихи поет да хирувимские,
Он други поет да монастырские,
Он славу поет да самому Христу,
Самому Христу, Царю небесному.

И за то: песками рудожелтыми засыпан, святой из земли восстал и на вольный свет вышел.

Смотрит на крест Владарь, успокоенный. «Предречено мне было, что сына в живых оплакивать стану. Не обманет уповаемых извещение. Об юноше, не об отроке малом было то извещение. Вернется Светомир; со стрелою вернется. Чтò сулено — сужено. Чтò сужено — будет.»

И видит Владарь: вдоль креста, под образом Георгия разрез, по краям обожженный, явно обозначен — след молнии. Царь обеими руками обнял крест и благоговейно припал к открытой ране на древе, откуда отлетела стрела.

Занималось утро. Услышал Владарь конский топот, мерный гул шагов и пение церковное. Царь медленно пошел всреть крестному ходу. Патриарх со многими святителями отслужили просительное молебствие на кринице.

Когда отзвучали последние песнопения, почувствовал вдруг Владарь горячую струю в груди и смертный холод у сердца. И сказал: «Час не

прополовится как я умру. От земли отойти хочу я в образе ангельском. Не соглашался я ранее ни шлема, ни венца белою схимою повити. В мой смертный час спешу сменить венец на схиму. Без промедления приступи к обряду пострига, отче Патриарх!»

И постриг патриарх Епифаний царя Владаря великим пострижением.

В схиму облеченный, подошел Владарь ко кринице, опустился на колени и долго молился. Через силу поднялся, держась за крест. Стал прям, воздел руки: «Дух мой, Господи, Тебе предаю, А царство...»

Голос его оборвался. Он пал мертв.

На третий день похоронили царя Владаря в запо

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

«Повесть о Светомире царевиче» обрывалась на сказании о смерти царя Владаря недописанным словом ЗАПО. Заключительная часть этого неуместившегося слова очевидно была перенесена на следующий отсутствующий лист. Нам захотелось отыскать утерянную часть хартий. Долго, столь же тщательно сколь тщетно искали мы ее по разным монастырям.

Наконец, в старой, заброшенной лавре, среди старых, забытых бумаг, покрытых густым слоем пыли, нашли мы рукопись, первая страница которой начиналась невразумительным словом ВЕДНОЙ. Буквосостав сей становился однако вполне понятным в соединении с недостающим словом «Повести». Получается: ЗАПОВЕДНОЙ. В новонайденной рукописи следовало еще два слова: «ДУБРАВЕ ЕГОРЬЕВОЙ», чем и кончалась девятая глава, повествовавшая о Владаре. На том-же листе, ниже, начиналась новая глава, обозначенная следующим номером — десятым. Она продолжала рассказ о Светомире.

Когда и кем была оставлена рукопись эта в крайней лавре, мы тогда не дознались и не дознаемся, наверное, никогда. Имя автора названо не было. Оно было лишь означено в подзаголовке первой рукописи: — «Сказание старца-инока». Разумеется «Повесть о Светомире царевиче» как все летописи, написана была не одним монахом, а многими затворниками в разные, быть может, далекие друг от друга года.

Мы не стали доискиваться имен этих монахов; мы собрали все найденные листы, подобрали их по порядку, и ныне издаем рукопись без изменений.

Х

В дупле старого дуба недвижно лежит стрела золотая, запрятанная.
Второй уж раз Вресень щедро убрал бесчисленные виноградные лозы
тяжелыми, багровыми гроздиями. Их под звуки песень своих усердно
топчет для Чаши Причастной юный виноградарь Светомир:

Острроверхая Гора, поднебесная, *
Девья, Духова ль пустынька чудесная,
Богоданная родина, безвестная!
Тебе я, млад царевич, обручился;
Тебя ради от мира отлучился.

Ты, Гора ль моя, Гора,
Белолицая сестра,
Подымалась ты, остра,
Из шипучего костра,
Из пучины из кипучей,
Золотой венчалась тучей,
В алы крылась полога,
В белы схимилась снега.

С ревом бык, склонив рога,
Поражает берега:
То не белый бык бушует, —
Бездна темная тоскует.
Гору пеной море моет,
Ходит, хлещет, хляби роет,
Роет, ропщет, воет, ждет:
Скоро ль Гостя приплывет?

Час настанет, — вал отхлынет,
Понт лазоревый застынет
В несказанной тишине:
Богородица в челне
Светозарном выплывает,
Мимо понт переплывает.
«Радуйся», — поет Гора
Звоном чистым серебра, —
«Невестная невеста!»

Пресвятая это место
Излюбила искони.
Тут мои сгорают дни;
Тут навековать мне радость.
Каждый вздох — медвяна сладость,
На Горе и в сердце — рай.
Море дикое, играй!
Лейся звонко, ключ нагорный!
Кипарис, безмолвствуй, черный!
Убирайся, Божий сад,
В синекудрый виноград!

Золотая медуница,
Что ты вьешься вокруг чела,
Неотвязная пчела?
Знаю, знаю: ты жилица
Заповедного дупла,
Где лежит моя стрела,
Где волшебная хранится
Золота моя стрела.
Ты поешь мне самогудно,
Что лежит стрела подспудно:
Ей бы с ветром полетать,
Ей бы в небе поблестать,
Ей бы жало окровавить,
Богатный луч прославить.

Жалит грешника пчела. —
Ты молчишь, моя стрела!
Не нужна твоя мне сила:
Ты мне службу сослужила,
В скит меня перенесла,
Где поют колокола.
Ты не втуне мне досталась,
Втуне с иноком осталась.

Я ни славы, ни державы не хочу:
Виноградье, красно зеленье, топчу.
Не грущу я по булатному мечу:
Виноградье, красно зеленье, топчу.
Сладко петь мне; но блаженнее молчу:
Виноградье, красно зеленье топчу.

Как олень над водопадами, скачу:
Винограде, красно зеленые топчу.
Иго легкое я, послушник, влачу:
Винограде, красно зеленые, топчу.
Свечку яркую Пречистой засвечу,
Ко Причастной Чаше гроздий натопчу.

И подумал Светомир: «Стрела моя золотая лежала в земле сохранена. С ростками дуба на свет Божий она вышла. Ведь подобным же путем шел допрежде и первый хозяин ее — сам Свет-Егорий. ‘Посадили его в погреба глубокие, задвигали досками чугунными. По Божьему повелению повыстал Егорий на Божий свет’. Благодатная сила дракона убивает; благодатнейшая — из сени смертной, от земли восстать велит. Не сие ли и с отцом моим было? Цепенел он, обмирал он, а через много годов вслед кресту поднялся и крепко на ноги стал. И стрела, тайно во кресте укryвшися, предваряла ратников его невидимо, и всю землю ему под ноги покорила. — Нет ли мне в том какого указания?»

Светомир подошел к заветному дубу, опустил руку в его дупло и достал стрелу, которую дуб хранил. Юный послушник залюбовался на золотую полосу света в руке своей. Солнечный луч прошел в грудь его, и от избытка сердца заговорил царевич:

«Деревья, вы недвижимые свидетели, хранители древних, носители грядущих событий, вы шелестите, шумите, вещие, окрест меня. Стрела моя богоданная даст разум ушам моим, дабы услышали они о чем вы пророчите, вспоминая.

«Волны морские, вы — бирюзовые, изумрудные свитки тайных начертаний — вы разбиваетесь о берег, вздымая к небу белый водомет распавшихся словес. Стрела моя богоданная научит меня собрать воедино разъятые уды ваших вестей.

«Старец-океан, ты отливом своим написал загадочные знаки на земле. Стрела моя богоданная даст свет глазам моим, да прочтут они и разгадают немые твои письмена.

«Игумен Анастасий учил меня, говоря: ‘Смерти нет. За тебя умершие в тебе живут и волю Божию тебе толкуют’. А я не слышу. Приклони, Господи, ухо мое к словесам уст их. Расширь сердце мое, поставь меня на стезю заповедей Твоих, законоположи мне путь оправдания Твоего.

«Вот странники из страны нашей сказывали, что народ в царстве отца моего не забыл меня, желает, ждет. Помогите мне, Господи, наполнить все дни жизни моей делами, которые воочию явили бы Твои, подспудно таящиеся заветы».

И вдруг — точно наяву — видит Светомир: поляна перед ним необозримая, и народ стекается отовсюду числом несчетным. Куда глаз

ни глянет, все люди да люди. И видит он двух ангелов — Ангела тьмы и Ангела Божия — в борении трудном о народе сем. И всем жаром сердца устремляется он на помощь Посланнику Небес. И слышит он голоса многие, слышит как молится народ за него, царя своего, о здравии его молится и победе.

Свет солнечный по край наполнил грудь Светомира ликованием. Он простер руку со стрелою: «Я иду к вам с нею! Вы станете взыскательными к откровениям Божиим! Коли и когда угодно Тебе будет, Господи, поставить меня царем, я со стрелою соделаю народ сей крепким, сильным, во бране бесстрашным и поражающим, а к победенному врагу кротким и милостивым...»

Рассеялось видение, а радость и покой остались в душе Светомира. Он подумал: «Не обманет упование; не даром про родича нашего Егория Светохранного не токмо то поют, что он дракона убил, но и то поют, что вовсе и не убивал он его, а укротил, замирил стрелы прикосновением. И приказал он змию допрежде смертоносному за спасенною царевною следовать, ей послушествовать и служить. Так стрела, покорствуя святой руке, являла силу свою целящую, благодатную.

Говорит змее да таковы слова: *

- Ты не радуйся, да змея лютая!
- Не твои то головушки во съядение,
- Уж ты стань, змея, да тиха-кротка,
- Тиха-кротка да что скотининка!

- Он брал, Егорий, да змею, да в белы руки,
Привязал он, свет, на шолков пояс,
Подает змею девице во белы руки.
- Принимай, девица, змеи-лютые,
 - Ты сведи змею да ныне лютую,
 - Ты сведи змею да во стольный город,
 - Привяжи змею да ко родительску,
 - Да ко крылеченку да ко переному,
 - Да ко колеченку да золоченому,
 - Говори отцу, своему отцу да родителю:
 - Уж вы веруйте веру хрестьянскую,
 - Вы молитесь да Самому Христу,
 - Самому Христу, Царю небесному!
 - Вы сотворите церковь богомольную!

И пронизывал Егорий лучами златыми леса наши дремучие; водами чистыми он их окрестил. И сам-то он, святой, на белом коне едет, а Матерь Божия за ним по земле идет».

Оглянулся Светомир и видит: далеко, далеко, где море с небом сходится, челн плывет, и сияние неземное его озаряет, из него исходя. И челн тот то во стволах мощных дубов скрывается, то сквозь листву их сверкает. И пожелал царевич встретить челну перенестися; и хотел уж стрелу о том просить, но был он кем-то невидимым удержан. Да тут-же и вспомнил, что наказывал ему святитель Анастасий Острую Горю до поры не покидать.

И сказал он стреле: «Подыми меня, поставь на самое темя Горы, дабы мог я челн чудесный разглядети».

И вот он на вершине. С горной выси челн взору открывался весь. Шел он по синеве над древесными шатрами. И приметил Светомир, что сияние исходит от Жены, среди челна стоящей. И слышит Светомир — с моря ли, с горы ли — несется заветная Отрадина песнь:

Вы не плачьтесь, Адамовы чада: *
Рай не взят от земли на небо.
Не восхищен к престолу Господню
И родимой земли не покинул.
Где проходит Божия Матерь
По земле святыми стопами,
Там окрест и он простирает
Добровонные сени древесны;
Там бегут его чистые воды,
Там поют его райские птицы:
Посреди же его Древо Жизни,
Древо Жизни — Пречистая Дева.

«Это Она, Матерь Божия, Дева Светозарная!» И вдруг неожиданно, мимовольно загадал Светомир: «Коли приплывет Она ко Горе и ступит на землю сию, значит суждено мне и пришла мне пора в страну мою вернуться». И в надежде радостной сказал он стреле: «К морю носи меня без промедления».

В миг стрела перенесла царевича на берег. Струг шел к Горе. Истово молился Светомир Ей, среди челна Стоящей: «Ты, Благодатная, Матерь Пресвятая, приди, приди, сойди на этот берег. Я буду благоговейно, коленопреклоненно искать следы Твоих пречистых ног. Веди меня, Водительница верная, укажи праведного пути вехи и дали. Дозволь стреле золотой моею рукою дать зримое обличие Твоей о земле божественной воле».

И увидел Светомир, что Богородица в челне не Одна. За Нею, в Ее свет облаченные, стояли мать его, Отрада, царственная, и Радислава нежная, невестная.

Челн тихо шел к Горе, все ближе, ближе к Светомиру. Вот-вот сейчас

коснется берега. В блаженном ожидании замерло сердце Светомира. Но челн не пристал к земле, изменил свой путь, слегка повернулся и стал уплывать вдоль горного края. Царевич в тоске простер руки к Странице Девьей:

«Не уходи, не уходи, не покидай меня. Ради чего получил я стрелу? Ты мне дала ее рукою Егория святого. Я жить хочу на благодарение и хвалу Тебе. Мать живой, живейшей Жизни, Ты слышишь все, что я не умею сказать о любви моей к земле и всему, ею раждаемому и дышащему на ней. Я жить хочу на ее обрадование.

«Но — неисповедимы пути Господа —, коли золотой стреле моей придется жалить, смертельно язвить, я буду ответ держать за ее жало, за мое жало. Яви мне Твои откровения, Светозарная, благослови меня стать со стрелою могучною самостоятельным, самодержавным, смиренно-мудрым земным царем».

Челн медленно уходил вдаль.

«Не покидай меня. Скажи, что хочешь Ты, чтоб я соделал! Жаждет мое сердце власти, жаждет строить царство по образу Иоанновой Срединной страны. Но вот вспоминаю: поведал мне отец мой слова, какие говаривал ему свет Егорий: 'Сам ты мне оброком за землю твою будешь'. Коли Ты, Царица Небесная, хочешь, чтоб я на престол пошел как на закланье, я и сие приму во искупление державного пути: я — не бегун. Я так люблю жизнь, что свою отдать ей готов. Готов ли, Пречистая? Ты, лестница, по которой сошел к нам Спаситель; Ты, помирившая Небо с долом, уготовь меня стать Твоим обреченником за нашу землю и соделай, чтоб мое обречение обратилось для страны моей победою и благоволением. Света Твоего лучами волю мою темную напутствуй, просвети. Укрой меня Своим святым покровом!»

Челн, не останавливаясь, уходил вдаль.

«Слышу зов Твой. Разумею сердцем: Ты хочешь, чтобы я следовал за Тобою, но не по земле; иначе. Как? Не смею я нестись к Тебе в сем грешном теле! Возьми Свет, Который живет во мне».

Челн уходил все дальше, и дальше.

Светомир благоговейно поцеловал стрелу и тихо сказал ей: «Прости, стрела моя, золотая. Лети ты к Деве Пречистой, Пресветлой!» И громко воззвал он вслед Уходящей: «В руки Твои отдаю ее, стрелу Егорьеву. Прими ее, прими силу, власть, душу мою...»

Встреть челна из протянутой руки Светомира отлетела стрела. И в то-же мгновение луч огненный острия золотого пронзил грудь царственного послушника. От боли и радости стало недвижно сердце его. Он упал на землю — мертвый.

Скоро хватились, долго искали монахи гостя своего ненаглядного. А, когда нашли тело его недвижимое, плач великий поднялся по уопшшему.

И приказал игумен Анастасий положить царевича Светомира во хрустальный гроб и поставить гроб среди старых дубов, высоко на Острой Горе.

XI

На Острой Горе, среди старых дубов стоит гроб хрустальный, и во гробу том лежит царевич Светомир.

Идет время. Серафим спит, а сердце его бодрствует: он слышит голоса, он видит видения.

Вот стало над ним сияющее солнце. Льются из солнца золотые лучи. Льются, играют живые, радостные. Чу!...

Что́ это? Преломился бег одного луча, оторвался луч от светила, понесся стремительно куда-то, и далеко от солнца завернулся вокруг самого себя, закрутился, сплетая конец свой с началом, и все не переставал бешено крутиться покуда не обернулся шаром огненным, новому светилу подобным. Но свет из него исходил мертвый, отраженный, неверный.

И видит Серафим: перед ним дорога, дорога без конца, и он идет по ней; не знает куда, не знает зачем идет, но не идти не может. Вдруг молния сверкнула, гром прогремел, пропала дорога, разверзлась земля и поглотила его всего по самую шею; лишь голова поверх земли осталась. И защемила его земля, зажала со всех сторон так, что ни шелохнуться, ни вздохнуть нельзя. Во всем теле, особенно в сердце боль поднялась невыносимая. А из мерцающей звезды над его головою раздался голос:

«Приди ко мне, и я избавлю тебя от мучений. Их насылаю я на тех, которые против меня. Ничего извне не может меня сжимать и душить, ибо я сам себе довлею как бог. И ты сможешь стать как я, сможешь жить, не зная страдания, будешь ведать лишь прелесть моих услад».

Тошно стало Серафиму от тех слов. Возмутилось естество его: «Отойди, соблазнитель! Не хочу я избавиться от страданий ценою твоих услад, ибо они — мед в устах и полынь во чреве. Ты мнишь себя богом. Стать как бог звала змея, вползшая в Эдем».

Расступилась земля и отпустила Серафима. Но был он отброшен в неведомую, страшную даль и остался один. Вот он покинутый, сиротельный, каким никогда ранее не был. И стала мука эта больше прежней от ущемления, удушения, сжимания земного, больше всякой муки на земле. Пустота зазяла и вне его и в нем самом. Схватила его тоска жгучая и ужас необоримый, каких и помыслить смертный не может.

И видит Серафим: опять над ним мерцающая звезда; но стал истощаться ее одинокий свет; померкла она, угасла, и сироповисло в пустоте темное, мертвое солнце. И в этом мертвом солнце открылся большой рот. И рот заговорил:

«Слушай! Поведаю тебе, чего не знаешь. Ничего нет кроме *Нет*. Все из него, сиречь из меня исходит: зане я и *нет* — одно. Во мне нет света и нет боли. Приди ко мне, и ты забудешь, что был покинут и одинок. Страдания твои лишь пустые потуги на жизнь. Скажи «нет» всему, что вы зовете светом, сердцем, добром. Знай: ты сам и бог твой — лишь мечтания мои, не боле. Стань со мною и все изведешь из себя. Нет ничего кроме *Нет*».

— «Отойди, сгинь, Сатана!» вскричал Серафим. «Ты умеешь из себя изводить лишь мечтания, ибо не знаешь бытия; да и мечтания твои лишь отражения. С небес из-за звездных век глядит Бог, а не твое Ничто».

И взмолилася душа спящего: «Господи, не покидай меня боле, помилуй меня, помоги вернуться к Тебе! Да найдет раб Твой милость в очах Твоих. Ты — сила моя, Ты, Отче, Свет безлетный!»

XII

Кто-то светлый увел царевича по воздушной тропе, поставил на высокое место у края обрыва, сказал: «Склони твой взор к земле. Смотри. Теперь можно».

И увидел Серафим злодеяния злорадные, страшнейшие всех какие знал он ране; и душу человека увидел растленную, развороченную гнойными язвами; и вскричал он во страхе и во гневе:

«О, неба действенные силы, почто терпите вы сие? Почто не гоните дьявола из сердец человеческих?»

И услышал он в ответ глумливый хохот беса: «Меня изгнать из душ человеческих? Нашли путь спасения! Не им у меня, а мне у них учиться в пору. Едва успел я посеять в души то, что вы зовете злом, как проросло и разрослось оно махровым цветиком. А ныне я с ножичком хожу по сердцам. Как полосну ножичком, такое там открывается, просто прелесть! Даже я не ждал; сам себе уготовил удивление».

— «Молчи, молчи, отец лжи», вступился Серафим. «Когда человек не пленен тобою, он прост и кроток. Он умеет любить и славословить, и зверей укрощать: лев и львица лизали ноги Даниила, погребенного во рву».

— «Так я и знал, что ты про Даниила заговоришь. Кого кому укрощать то подобает? Зверь добрее человека. А вот 'апостол благой

вести' — как вы его величаете — еще милее придумал: льстиво уверял будто 'вся тварь с надеждою ожидает откровения сынов божиих', * разумей, людей земных. Угодил зверям! Человек-то вовсе и недостойн называть зверя братом, птицу сестрою. То — обида для твари. Человеческое отродье не токмо что пчеле или орлу, оно и кобре ядовитой не ровня: зверь зверя пожирает с голоду, из нужды естества, или от страсти к состязаниям и к играм. Зверь не придумывает бесполезных мучений, не ищет напакостить ближнему, не выставляет напоказ срамной крови, не кичится срамными делами. Меня обзывают отцом лжи, но гостеприимные обитатели мои, души человеческие, давно и изрядно меня переключали. Любуюсь и дивлюсь: художества людских гнусностей мне, сколь я не усердствую, никак достигнуть не удастся. Сознаюсь: порою я им подражаю. Ты видел как я забавляюсь? Щекочу, царапаю душу человека, и, лишь откроется гнойник язв, — зловонных по вашему, а мне весьма даже запахоприятных —, так человек своею волею ко мне и идет».

— «Ты сказал: *своею волею идет человек*», отвечал Серафим. «Искушаемый тобой он перед собою видит скрещение дорог; он должен выбирать свободно».

«Ха, ха, ха», захохотал бес. «Вот и договорился: *Должен выбирать!* В этом «должен» и кроется ложь вашей несчастной, бессильной свободы. Принуждение к выбору, принуждение к свободе! Проклятие такая свобода. А, когда вы, свободные люди, выбираете неугодное вашему Богу, тогда Он наказывает вас за нерадение».

— «Наказание, бес, лишь в том и состоит, что человеку не возбраняется выбирать путь к тебе. Коли ему по душе запах греха, то твое зловоние ему приятно. А коли не по душе, то он рвется прочь от тебя; тогда приходит благодать».

— «Хороша ваша свобода! Только и знаете, что исполнять приказания хозяина; твердите, что вам вкладывают в уши. Свобода — не послушание: свобода — самозакон».

— «Свобода не произвол», возразил Серафим. «Произвол не дышит жизнью Духа. Свобода исходит из истины как пламя из горящей свечи. 'И уразумеете истину, и истина свободит вы'.» *

Дьявол продолжал хохотать: «Горите вы чужим огнем. Разумеете чужим умом. Умеете лишь славословить: «Вседержитель, Всемогущий!» А может ли ваш Всемогущий создать такой камень, который Он Сам поднять не сможет?» *

Серафим ответил сразу: «Камень сей давно уж создан; камень сей есть человек. Бог задумал и создал его свободным. Не хочет, а значит и не может Господь принуждать людей, хотя бы и ко спасению: то было бы нарушением, искажением Промысла Божьего о человеке».

— «Что есть свобода?» оскалился бес. «Свобода есть сила из себя все изводить. Художество это знал ваш Бог, да я. Он — моя другая сторона. Мы с ним — орел и решка. А человек-то было догадался, но Бог ваш ревнив, осерчал, тяжело наказал и воспретил творить как Он. А мы, милости просим, всех приглашаем».

Возмутился Серафим, но сказал спокойно: «Ты ничего другого и не умеешь делать окромя как приглашать да приставать. А не угодно ли тебе припомнить то, что всем известно: гордо оторвался ты от источника света, восхотел стать как Бог. Сперва блистал ты остаточным светом, потом угас, повис темный в пустоте. Тоска тебя охватила и скука нестерпимая; и взалкал ты хоть самой малой жизни».

Надменно возразил бес: «Ради того лишь возжелал, чтобы переманивать к себе тварь».

— «Вот ненароком ты и обмолвился не ложью: из пустоты своей опричь пустоты ничего ты вывести не можешь. Тебе и приходится искать пристанище у твари, и в ней, не тобою созданной, воплощаться. По мольбе твоей тебе было отпущено столько бытия, сколько потребно, чтобы питаться бытием тех, к кому тебе удастся присосаться и кого тебе удастся соблазнить».

— «Соблазняю, переманиваю», ухмылялся дьявол, «и весьма даже удачно — не правда ли? Вы ждите-пождите доколь вас позовут, а вот мы никак не можем жаловаться. Нас приглашают, зовут, ласкают, друг у друга перебивают. Я озабочен лишь тем как бы всюду поспеть. Я вселяю в сердца людей ужас и тоску; они от страха бездны и смерти бросаются ко мне стремглав, и я побеждаю. Мы без разбора принимаем всех. Всех без разбора равняет смерть. А вы-то еще хвастаетесь бессмертием!»

— «Бессмертие», тихо сказал Серафим, «какое бессмертие? Есть ведь и такое, что дается в наказание. Вот друг твой Агасфер, который не захотел укрыть Христа, шедшего на Голгофу, был наказан невозможностью умереть: печальный, он появляется всегда в горестные часы человеческой жизни. Бессмертие Агасфера — ужас; не его мы жаждем. Сам ты давно знаешь, бес: человек не токмо злые, но зачастую и добрые, и святые дела на земле делает; а, делая добро, он тклет живую ткань нового, светлого человека на небесах. Так зачинается плод, и растет тело духовное. Когда умирает человек на земле, он тем самым раздвигает ложесна беременной им небесной Жены и рождается в горнем мире».

— «Ты мне сейчас о зерне еще скажешь», зашипел черт. «Знаю я вашу песенку. Не такую смерть я разумею. Давай говорить без шуток. Смерть — это навсегда, без пробуждений и воскресений. Я беру человека всего, без остатка, без возврата».

— «Не будет брошен человек смерти жадной», воскликнул Серафим. «Он грешник, но грешник священный. Он куплен дорогою ценой. И кровь Спасителя не перестанет литься доколь на земле останется хоть один праведник».

— «Всей крови вашего Христа не достанет, чтобы остановить гниение развратной плоти. Бессмертие принадлежит мне! Оно — *ничто* как я, как ты, как Бог твой».

Возмутился Серафим: «Ты, бес, побеждаешь лишь там, где нет истинного бытия. Ты умеешь устраивать себе обитель в тех сердцах, где уже находятся тебе подобные, или, где все 'вычищено и выметено' и не находится никто. Соблазняя, ты того, конечно, не желая, жалом своим испытываешь подлинность бытия и крепость изначального обетного 'Да', которое во времена предмирные человек сказал Богу и вспоминает на земле. Бессильно жало твое перед жизнью Духа. А искушать ты волен всех: ведь и Иова Своего, праведника, дал тебе Господь на испытание».

— «Опять свое заладил: Иов, да Иов! Много ли у вас их, Иовов то? А скольких я переманиваю и не счесть, переманиваю, приращиваю. Мы без разбора совокупаемся, размножаемся, делаем то, что вы зовете любовью».

— «Не то мы называем любовью! Как объяснить тебе, бес, какая радость в любви. Для любящего любимый больше, лучше чем он сам. Он жив его жизнью. Он говорит ему: «Ты еси, и лишь потому есмь аз». И в этом упоении, в этом счастье открывается нам Бог. 'Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас.' Не разумеешь ты что я говорю, ибо любви не знаешь».

— «Чего выдумал», всполошился бес. «Знаем ее, еще как знаем! Но сам ты сознался, что любовь есть жертва, томление по бытию чужому. А по нашему это и значит: — отдача, потеря собственного бытия, умаление, уничтожение, бег в *ничто*. Как угораздило тебя несуразное говорить об нашем неведении? Ведь любовь — это мое орудие как и страх; весьма даже надежное орудие. И, смеху достойно, что мы пользуясь любовью, чтобы развращать и губить, поступаем как ваш Савоф: Он в свое время за любовь, которую вы зовете грехом содомским, два города уничтожил нам на потеху».

— «Молчи, бес. По зловолию и неразумению не различаешь ты столь разное как любовь чистую, святую и греховное, естеству противное совокупление, вожделение, воспаление. В любви есть жертва, но в этой жертве нет печали; она — радость и блаженство несказанное. Лишь, стоящий во гневе испытывает любовь как страдание, и в этом признак ада. 'В любви нет страха, но совершенная

любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви.»*

Ухмыльнулся бес: «Весьма мне было бы поучительно узнать как это вы размножаетесь услугами вашей совершенной любви. Без вожделения и страсти плотской и вам не обойтись. А страсть глухонемая и слепая жадна как смерть. Она — убийца, бросает в ничто. И она — власть моя. Люди совокупаются, а торжествую я!»

Тихо ответил Серафим: «Страсть бывает и страшной и губительной, но Господь, когда Он видит благоволение в душах, очищает страстью как огнем священным, и оборачивается она бурю весеннюю, после которой все зеленеет и оживает. Но, напрасно говорю я сие тебе, закрывшему глаза, уши, а пуще всего сердце. Напрасно стал бы соловей петь глухонемому, напрасно стала бы роза раскрывать перед слепым самоцветные свои лепестки».

Зашушукал черт: «Вполне даже мы вам сочувствуем: совокупляясь, мы таем в смеси — все вместе. Мы — ‘легион, ибо нас много’. Люди идут к нам в легион.»

— «*Быть вместе*», истово воскликнул Серафим, «сие столь радостно, что словами передать не умею. Мы тянемся к человеку любимому как дерево к весеннему солнцу. И чем больше даем мы в любви, тем становимся живее и богаче. Любовь наша друг ко другу истекает из Источника Любви, из любви Отца и Сына к нам. Иисус сказал: ‘Да вси едино будут: такоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут’. * И бывает чудесно: когда мы в любви единомысленно вместе, внезапно делается ‘шум с неба как бы от несущегося сильного ветра’, * и дышит Дух. И чувствуем мы, что живем, и что в нас живет Слово, ‘Которое в Начале было’.»

Не уговорился бес: «Спасать то вас спасали, да не спасли. И Мессия ваш приходил, и Дух дышал и напоминал, а вы по-прежнему, нет, пуще прежнего блудите и грешите. А наш легион растет для окончательной победной битвы».

Ответил Серафим: «Да, ты сказал: вы легион, ибо вас много. Неисчислимы вы как песок морской; но все вы растворились в общей смеси, утратили лицо свое и естество. А те, которые ‘ходят во свете подобно как Он во свете, имеют общение друг с другом’. * И над ними вы не имеете власти. К ним Лукавый не может пристать».

— «Имеют общение друг с другом в нашем легионе люди, которых не хотел или не сумел спасти ваш Бог», усмеялся дьявол.

— «Придется тебе, Сатана, помёриться силами с человеком и признать, что он крепче тебя. Ты называешь его неспасенным, но в том величие его. Материя была испорчена первородным грехом. Сын Человеческий исцелил, пресуществил ту часть ее, которая была Ему

как человеку присуща — Свое тело. Воочию Он преобразился перед учениками. Он приоткрыл тайну как следовать за Ним. Он указал людям путь спасения. Славен человек. Он стал наследником не только творящей Матери-Земли, но и наследником преображающего Духа. Человек хочет преображать — и в этом его гордость. Но он хочет преображать по воле Божией — и в этом его смирение. Труден, сверхчеловечески труден путь человека: ему оказано доверие, которое он должен заслужить; ему дана власть, которую он должен обрести; ему отпущены Дары Духа, которых он должен оказаться достойным».

Раздался голос: «А вот сему юному царевичу Серафиму еще и особое испытание дано: золотая, многосильная стрела».

— «Господи, вскричал Серафим, «коли хочешь вернуть мне стрелу золотую, веди мою руку. Ты слышишь, Господи, что я зову Тебя — научи меня исполнять волю Твою. Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя — помоги мне, Отче, облечься в Сына Твоего. Коли хочешь вернуть мне стрелу золотую, перемени состав мой, очисти разум мой, соделай меня достойным дела Твоего на земле; веди руку мою, Господи!»

И сказал голос: «Будет тебе по молитве твоей». Замолк, а последи еще сказал: «Говорю вам: когда захотят люди стать сынами Божьими — станут».

— «На небеси, Господи, или и на земли?» в тревоге спросил Серафим.

— «И на земли», ответил голос. «Зовите — и исполнятся обеты: 'младенец будет играть над норою аспида.' Дракон после долгой, тяжкой борьбы будет укрощен, побежден человеком, детоводим детьми,

Дух Истины,
Источник благ, Хоровожатый Жизни *
Град Божий нам явит в земной отчизне».

XIII

Идет время.

И — откуда? Из синееющего ли кристалла далее, из воздушного ли нимба родимой земли — несется по новому, по старому колыбельная песнь Отрады:

Серафиме, дитя мое светлое,
свете мирный, тихо дремли.
Ты расти во сне, сила Егорьева,
на обрадование земли.

Промеж моря и моря остра гора,
на полугоре Божий скит.
В том скиту домовина хрустальная
жизнь обетную тайно хранит.

Ты светла сестра, ты, бела гора,
в колыбель его сон мани.
Ты свята пчела, золота стрела,
во хрустальной с ним усни.

От возгорья по долу зеленый сад,
до синя моря вертоград.
Из ладьи выходит Пречистая, —
навещает свой вертоград.

Осенила гробницу Пресветлая, —
тихо, свете мой, почивай.
Душу вынула, белу горницу,
унесла в невидимый край.

Вот вернулась во скит девья странница, —
Ты Владычице тихо внемли.
Встанешь витязем в силе Егорьевой
на обрадование земли.

Видит Серафим: Идет Мать Дебренская и старец, Иосиф Обручник, с Нею. А за ними следует сын названный Марии, тот, кому Распятый со креста сказал: 'Се Мать твоя'. Указала Пречистая на спящего царевича, говоря: 'И этот нашего рода'.

От протянутого пальца Богородицы изошел золотой, стрелообразный луч. И лег тот луч во гроб хрустальный.

И слышит Серафим Иоанновы слова: «Радуйся, Светомире! Уготовил ты себе ризы душевные. Возлюбила тебя Мать Невестная. Вот вернула Она тебе золоту стрелу. Уповай!»

И все закрыла светлая завеса.

XIV

Идет время.

Шелохнулась стрела в руке Светомира. Встала, тронула крышку гроба. Откинулась крышка. Открылся гроб.

И видит Светомир: стоит над гробом дева юная. Она нежною белизною одеяния и лица белее снега белого на девственных горах. И свет земной пред светом тем — не свет вовсе.

Глядит, ненаглядится Светомир. И припомнилось ему как мать и мамки сказку сказывали про Царь-Деву чудесную: на челе ее сияет солнце, в косе месяц светится, на голове сверкает венец из небесных звезд.

Она вздохнула как на молитве и заговорила: «Меня, душу твою, привела к тебе Дева Пресветлая и вразумила тебе, Светомире, сказать: «Довлел сон долгий тебе к испытанию и укреплению духовному. Довольно ты, землю взыскав, по Божьим полянам бродил. Иди в страну твою отчию. Уготовлен ты, белый царь, землею той правити, на земле подвизатися».

Склонилась дева к спящему царевичу, простерла к нему руки. И наполнился прозрачный скрин сиянием белого света. И свет струею живительной и жаркой потек по жилам, полился в сердце Светомира. Сердце затрепетало, забилося. Царевич глубоко вздохнул и открыл глаза. Он встал и вышел из домовины хрустальной. Увидел, что держит в десной своей золоту стрелу.

Он отошел в сторону, туда, где расступились деревья, повергся на землю, припал к ней долгим, умильным целованием.

С горы поднялся ветер сильный, благовонный. Зашумели ветви и листья старых дубов, зашептались, долу склоненные травы, проснулись колокола, давно опустелого нагорного скита, загудели, зазвонили. И под их благовест зачалось клирное пение:

«Гряди, гряди, царь.»

Светомир медленно шел по склону Острой Горы. Долго шел лесом. А как кончился лес, и далеко внизу со всех сторон засияли, засинели водяные неозримые просторы, сказал царевич: «Неси меня, стрела, в страну мою родимую».

Поднялась стрела, полетела и понесла царевича в царство его через море-океан. Когда стала стрела близиться к земле, увидел Светомир, что стоит на берегу ученик, которого любил Христос. Светомир подошел к нему, благоговейно опустился на колени, и благословил его Иоанн; благословил и сокрылся.

Встал царевич. Он слышит топот лошадиный, звучные удары подков. И предстал ему всадник с копьем на белом коне. А подле него другой белый конь стоит. И нет всадника на нем. Говорит копыеносец Светомиру:

«Вот я привел тебе коня, моему подобного. Труден час. Змий взвился, уж прыгнуть хочет. В смущении и смятении страна твоя стоит на перепутьи. Помогите недужной явить ее подспудное благоволение. И Голу-

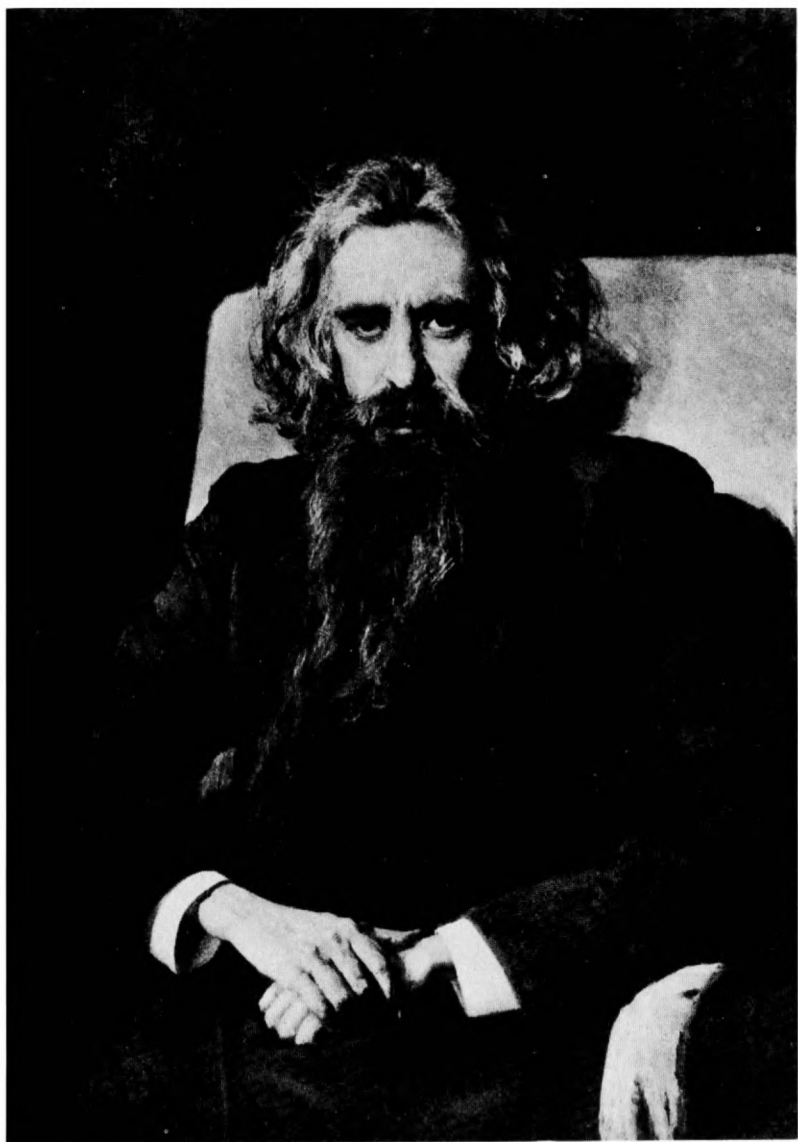
бицей обернется Змий. Дерзай! По Божьему волению, по моему, Георгия, молению — в твоей руке моя стрела.»

Гордясь своим царственным наездником, величаво и весело ступает белый конь по лесам и лугам.

А всреть Светомиру несется песенный привет — стройный хор голосов ликующих:

Вот идет за тобой Девья Странница,
Освещает твой путь впереди.
Встал ты витязем в силе Егорьевой
На обрадованье земли.

КОНЕЦ



Владимир С. Соловьев. Портрет художника Ярошенко.

Сотрещенъ и пембѣ
Въ войнѣ, грабданскѣ, снужахъ, морт
Промѣнахъ года съ днѣ Юга,
Кажъ надѣ Нелюи мѣ съ мѣмъ прѣснѣмъ,
И вѣстѣ въ Кидѣтѣ пофимѣ
Обѣ Тогомѣхѣ да него,
Въ чернѣмъ послѣмъ русскѣмъ
Умѣрѣмъ. У днѣмъ, въ Узкоѣ,
Мѣмъ Тѣмъ вѣстѣмъ оѣмъ снѣрѣмъ расѣ.
Вѣстѣмъ днѣмъ узкоѣ мѣмъ,
Кѣмъ мѣмъ снѣрѣмъ
Вѣстѣмъ Софѣмъ. Оѣмъ грѣмъ;
Кѣмъ вѣ рѣмъ снѣрѣмъ,
И снѣрѣмъ мѣмъ оѣмъ,
Вѣмъ, снѣрѣмъ, мѣмъ.

28. VII. '44

КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ

КНИГА ЛИРИКИ

*Poco potea parer li del di fuori
Ma per quel poco vedev'lo le stelle
Di lor solere e più chiare e maggiori.
Dante, Purg. XXVII*

ПАМЯТИ МАТЕРИ

*Вчера во мгле неслись Титаны *
На приступ молнийных бойниц,
И широко сшибались станы
Раскатом громких колесниц:*

*А ныне, сил избыток знойный
Пролив на тризне летних бурь,
Улыбкой Осени спокойной
Яснеет хладная лазурь.*

*Она пришла с своей кошницей,
Пора свершительных отрад,
И золотканой багрянцей
Наш убирает виноград.*

*И долго Север снежной тучей
Благих небес не омрачит,
И пламень юности летучей
Земля, сокрыв, не расточит.*

*И дней незрелых цвет увядший
На пире пурпурном забвен;
И первый лист любезен падший,
И первый плод благословен.*

ПОРЫВ И ГРАНИ

Du regst und rührst ein kräftiges Be-
schliessen,
Zum höchsten Dasein immerfort zu stre-
ben...

Goethe, Faust II.

КРАСОТА

Владимиру Сергеевичу Соловьеву

Περὶ τ' ἄμφι τε κάλλος ἄητο.

Нумн. Номер.

Вижу вас, божественные дали,
Умбрских гор синеющий кристал!
Ах! там сон мой боги оправдали:
Въяве там он путнику предстал...
 «Дочь ли ты земли
 Иль небес, — внемли:
Твой я! Вечно мне твой лик блистал».

— «Тайна мне самой и тайна миру,
Я, в моей обители земной,
Се, гряду по светлому эфиру:
Путник, зреть отныне будешь мной!
 Кто мой лик узрел,
 Тот навек прозрел —
Дольний мир навек пред ним иной.

«Радостно по цветоносной Гее
Я иду, не ведая — куда.
Я служу с улыбкой Адрастее, **
Благосклонно — девственно — чужда.
 Я ношу кольцо,
 И мое лицо —
Кроткий луч таинственного Да».

ПРОБУЖДЕНИЕ

И был я подобен
Уснувшему розовым вечером
На палубе шаткой
При кликах пловцов,
Подъемлющих якорь.

Проснулся — глядит
Гость корабельный:
Висит огнезрящая
И дышит над ним
Живая бездна...
Глухая бездна
Ропщет под ним...
Гнет ветер неудержный
Мачты упорные —
И, мерная, в небе высоком
От созвездья ходит
До созвездья щёлга...

Глядит — не дышит
Верного берега сын,
Потерян в безднах...
А с ним плывут,
Вернее берега,
Кормчие звезды!

ДУХ

L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle

Dante, Parad. XXXIII

Над бездной ночи Дух, горя,
Миры водил Любви кормилом;
Мой дух, ширясь и паря,
Летел во сретенье светилам.

И бездне — бездной отвечал;
И твердь держал безбрежным лоном;
И разгорался, и звучал
С огнеоружным легионом.

Любовь, как атом огневой,
Его в пожар миров метнула;
В нем на себя Она взглянула —
И в Ней узнал он пламень свой.

ПЕРСТЬ *

Воистину всякий пред всеми за всех и за
все виноват.
Достоевский

День белоогненный палил;
Не молк цикады скрежет знойный;
И кипарисов облак стройный
Витал над мрамором могил.

Я пал, сражен души недугом...
Но к праху прах был щедр и добр:
Пчела вилась над жарким лугом,
И сох, благоухая, чобр...

Укор уж сердца не терзал:
Мой умер грех с моей гордыней, —
И, вновь родним с родной святыней,
Я Землю, Землю лобызал!

Она ждала, она прощала —
И сладок кроткий был залог;
И все, что дух сдержат не мог,
Она смиренно обещала.

ВОПЛОЩЕНИЕ

Мне снился сон: летел я в мир подлунный,
Неживший дух,
И хор планет гармоньей семиструнной
Ласкал мой слух;
И хор планет красой семивенчанной
Мой взор ласкал:
Я мир любил, и — к жизни дух избранный —
Я жить алкал.

И спутника, у дольного порога,
Я стал молить:
«В мой век земной, о, дай мне жизней много,
Изведав, слить!

«Дай мне любить все, что восторгов пленных
Достойно там;
Дай мне вместить кумиров много тленных
В мой тленный храм!»

И вождь в ответ: «Вдвойне живущий страждет
Вдвойне. Прости! —
Ты восхотел: живет, что жизни жаждет:
Дерзай,мести!»

И встречный хор «прости» сказавших тлену,
Стеная, пел:
«О, алчный дух! ты не любовь, — измену
Избрал в удел.

«Тесна любви единой грань земная:
Кто любит вновь,
Живучую тот душит, проклиная,
В груди любовь.

«Он осужден развеять прах священный,
Ковчег разбить,
Но милый прах, в забвеньи незабвенный, —
Казнясь, любить!...»

И новый хор, мимоидя из плена,
Стеная, пел:
«О, алчный дух! твоя любовь — измена,
Но глад — удел!...»

И, с ужасом внимая укоризне,
Моих небес
Возжаждал я на праге темной жизни, —
И сон исчез...

В КОЛИЗЕЕ

Great is their love, who love in sin and fear

Byron

День влажнокудрый досиял,
Меж туч огонь вечерний сея.
Вкруг помрачался, вкруг зиял
Недвижный хаос Колизея.

Глядели из стихийной тьмы
Судеб безвременные очи...
День бурь истомных к прагу ночи,
День алчный провождали мы —

Меж глыб, чья вечность роковая
В грехе святилась и крови, —
Дух безнадежный предавая
Преступным терниям любви, —

Стеснясь, как два листа, что мчит,
Безвольных, жадный плен свободы,
Доколь их слившей непогоды
Вновь легкий вздох не разлучит...

LA SELVA OSCURA

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Dante

Все горы, за грядой гряда;
Все черный, старый лес.
Светлеет ночь. Горит звезда
В дали святой небес.

О, дольний мрак! О, дольний лес!
И ты — вдали — одна...
Потир земли, потир небес
Испили мы до дна.

О, крест земли! О, крест небес!
И каждый миг — «прости»!
И вздохи гор, и долго — лес,
И долго — крест нести!

ПЕСНЬ ПОТОМКОВ КАИНОВЫХ

ХОР МУЖЧИН

Как привет из уст родимой —
Запах мил сырой земли!
Недр твоих в тайник незримый
Мы надежды погребли.
Мать, взлелей святое семя!
Жизнь из тленья пробуди!
И страды юдольной бремя
Жатвой нам вознагради!

ХОР ЖЕНЩИН

Любо жатвы злакам тучным,
И цветам, и древесам —
Быть с тобою неразлучным,
Воздыхая к небесам.
Полусонны, полуживы,
Мать-Земля, они, как ты,
Так же кротко-молчаливы.
И бесстрастны, и святы!

ХОР МУЖЧИН

О, зачем слепая воля
Нас отторгла от тебя —
И скитаться наша доля,
Ненавидя и любя?
Огонь сжигает нас мятежный,
Нас пятнает страсть и гнев,
И для жатвы неизбежной
Преступленья зреет сев.

ХОР ЖЕНЩИН

Мать, отверженным объятья
Миротворные раскрой!
Дар сознания — дар проклятья —
Угаси в земле сырой:
Да из недр твоих священных
Встанем — дольные цветы,
Встанем — класы нив смиренных,
Непорочны и святы!

ПОКОРНОСТЬ *

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Пушкин

Ты любишь горестно и трудно.

Пушкин

Иду в вечерней мгле под сводами деревьев.
Звезда, как перл слезы, на бледный лик небес
Явилась, и дрожит... Иду, как верный воин, —
Устал — и мужествен. Унылый дух спокоен...

Эоны долгие, светило, ты плывешь;
Ты мой летучий век, как день, переживешь;
Мы — братья чуждые: но мой привет печальный
Тебе сопутствует в твоей дороге дальней!

Светило братское, во Мне зажгло ты вновь
Неутолимую, напрасную любовь!
Детей творения, нас, в разлученной доле,
Покорность единит единой вечной Воле.

Как осенью листья, сменяясь без конца,
Несутся смертные дыханием Отца;
Простертые, на миг соединяют руки —
И вновь гонимы в даль забывчивой разлуки...

Сосредоточив жар, объемлющий весь мир,
Мы любим в Женщине его живой кумир:
Но в грани существа безвыходно стесненный,
Наш тайный, лучший пыл умрет неизъясненный...

Иду. В лазури ночь и веет, и парит;
Светило вечное торжественней горит:
А долу дышит мгла, влажней густые тени,
И тленьем пахнет лес, подобный смертной сени.

Покорность! нам испить три чаши суждено:
Дано нам умереть, как нам любить дано;
Гонясь за призраком — и близким, и далёким, —
Дано нам быть в любви и в смерти одиноким.

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

Fühl'es vor! Du wirst gesunden:
Traue neuem Tagesblick!

Goethe, Faust II

Над опаловым востоком
В легионе светлооком
Блещет вестница Зари.
Ранних пастырей отрада,
Утра близкого лампада,
Благовестная, гори!...

Зеленеются поляны;
Зачернелась сквозь туманы
Нови крайней полоса.
Звезды теплятся далече,
Дня сияющей предтече
Уступая небеса...

Ты одна, в венце рассвета,
Клонишь взоры, чадо света,
К нам с воздушного шатра,
Бедных снов утешный гений,
Средь немеркнущих селений
Мира дальнего сестра!

Над мерцающим бореньем
Ты сияешь увереньем:
«Жизни верь, и жизнь вдохни!»
И летящих по эфиру
Ты лучей ласкаешь лиру:
«Верь, и виждь!» поют они...

Над шафрановым востоком,
В небе легком и далёком,
Гаснет спутница Зари.
Угасай, лилея неба!
Ты же, вождь крылатый Феба,
Алым полымем гори!

Вспыхни, Солнце! Бог, воскресни!
Ярче, жаворонка песни,
Лейтесь в золото небес!
День грядет, Аврора блещет, —
И твой тихий луч трепещет,
И твой бледный лик — исчез...

Но, незримая, над нами,
За лазурными волнами,
Чистым гением пребудь!
Как сестра пред братней битвой,
Дольний мир твоей молитвой
Проводи в тревожный путь!

И когда для жертвы мирной
Ночь раздвинет храм эфирный,
Снова светоч твой яви —
И, предтеча слав нетленных,
Отблеск тайн богоявленных
В грезе зрящей оживи!

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Во младенческом покое
Светит узкий лунный рог;
А вокруг — огонь и трепет
Чистых, сладостных тревог
Духа пламенным дыханьем
Севы Божии полны,
И струи небес прозрачных
Вглубь до dna оживлены.

Око в радостном покое
Отдыхает, как луна;
Сердце ж алчет части равной
В тайне звезд и в тайне дна:
Пламенеет, и пророчит,
И за вечною чертой
Новый мир увидеть хочет
С искупленной Красотой.

ОКЕАНИДЫ

Ἄρχαιότερον ἢ ἀναρχία τῆς εὐνομίας.

Взывают... Дщери Океана!
Один вознес ваш дивный хор
У ног распятого Титана
К звездам рыдающий укор!...

Тебе укор, кто — гнет в точиле!
Тебе укор, чей верх в борьбе!
Укор кующей звенья Силе!
Укор сомкнувшей цепь Судьбе!

Не вы, подруги Прометея,
Непримиримые, не вы
Под иго склоните, немея,
Бурно-кудрявые главы!

И пусть не вам, мятежным девам,
Решать раздоры вечных прав;
И пусть великодушным гневом
Не преложить времен устав:

Вас Дух влечет, — громами брани
Колебля мира стройный плен,
Вещать, что нет живому грани,
Что древний бунт не одолен...

Кто внемлет вам? В красе победной
Невозмутимый небосвод
Улыбкой вызывает бледной
Ответный блеск влюбленных вод.

Навек темничные оковы
Сковал вам раболепный брег;
Бежит, заслыша ваши зовы,
В укрomный дол свой Человек.

Один — свободь, один — избранник,
Придет, кому дано гореть:
Повинный Духу — кроткий бранник —
Любить, воззвать, и умереть...

Жизнь — зов единый... Вот вздымится,
Мча кдней гривистых, Волна;
Вот, блеща персями, стремится,
Неудержима и гневна...

Летит — вражды последним стоном
Да огласит моря и твердь;
Грозит незыблемым препонам...
Какой отпор! Какая смерть!...

Серебропенные Мэнады!
О, Хаос! страшен ваш завет:
Нет воле вне себя преграды...
Вам нет победы, нет отрады,
И нет надежд, — и мира нет!

НОЧЬ В ПУСТЫНЕ

ДУХ

Вот, мы одни в ночной тиши...
Здесь молкнет отзвук вечной битвы:
Пей сладкий мир, твори молитвы
И полной грудию дыши!

ЧЕЛОВЕК

Где мы?

ДУХ

Белея, скал ступени
Ведут на каменное дно.
Там, ниже, по уступам — тени
Дубрав. Ущелия пятно
Зияет. Горные громады
На лоне дальней темноты:
Вглядысь, ты различишь их гряды
При свете звезд... В пустыне ты.

ЧЕЛОВЕК

Как близок Мир к юдоли этой!
Но не почил еще на ней...
Грядущий гость! в душе согретой
К тебе порыв алчней, властней...
Душа объятия раскрыла,
Горит, и напрягает крыла, —
И волит дух мятежный: пусть
Дохнет Любовь по лире горней!
Земля немотствует покорней,
И глубже спит земная грусть...
Вселенной перезвон соборный!
День будет: вольно в груди горной,
Усталой тяжестью своей,
Родится вздох, от давних дней
Желанный глухо в дрёме чёрной!
И дрогнув, и содвигнув вдруг
Сознание, спящее в их лоне,
Слепым усилием, — братский звук
Отрыгнут бездны в гулком стоне!...

ДУХ

Мечтатель, знай: звездам дано
Пылать в бесплодном, мертвом пыле,
Как труп в огне; камням дано
Холодным быть, как труп в могиле.
Лишь ветру внемлет сонный бор,
Заткавший густо склоны гор:

Так стадо коз в пещере тёмной
Дрожит, объято мглой огромной,
И дремный напрягает слух,
И чует хладный ночи дух...
Природа слов твоих не слышит:
Взывай же к ней — она не дышит!

ЧЕЛОВЕК

Она чуждается любви,
Себе в разделе не довлеет,
Своей же плоти вождедеет,
И сеет в плен, и жнет в крови.
Лишь я хочу весь мир подвигнуть
Ко всеобъятию; лишь я
Хочу в союзе бытия
Богосознания достигнуть.

ДУХ

Верь, что изведать призван ты
Тобой изволенное счастье —
И воля пламенной мечты
Воспламенит стихий участие.
Вот — оглянись — внизу, вдали,
Едва вздымаясь от земли,
Чуть различим во светлой ткани,
К нам Призрак простирает длани.

ЧЕЛОВЕК

Ко мне! ко мне!

ДУХ

Что ж он в ответ?

ЧЕЛОВЕК

Зовет меня! За мной вослед
Стремися долу!...

ДУХ

Здесь, не ближе,
Остановись! Коль станем ниже,
Сокроют облик ткани чар —
Волнистый свет, блестящий пар...
Внимай!...

ПОТОК

Любовию томим,
Ты жаждешь слиться с темным хором,
С камнями, ветром, морем, бором
Дышать дыханием одним.
Предайся мне! Я знаю ходы
Туда, где жилы мира бьют;
Смешаю с жизнью природы
Я жизнь твою в один сосуд.
Я мил звездам: гостит их много
В моих объятьях — видишь сам.
К морям лежит моя дорога.
Кормилец вечный я лесам.
Я — чадо скал: в них я родился,
В их мраке долго я томился...

ДУХ

Пусть не колеблет шаткий страх
Весов свободного решенья.
Но взвесь: не чары ль искушенья
В его посулах и дарах?...
Обособленного сознания
Ты сбросишь иго с вольных плеч:
Мы — зная братского лобзанья;
Чтоб зваться Я, потребен меч.
Или существ слепая битва,
На вражьих трупах буйный пир —
Тебе угодны, чья молитва —
Благоволение и мир?...

ЧЕЛОВЕК
(прерывая речь Духа)

О, горе мне! Моя молитва —
Благоволение и мир:
Но, мнится, я все так же сир,
Мечты губительной ловитва, —
Как та падучая звезда,
Как те судьбы ее подруги...
Презрев уставленные круги,
Сорвавшись градом, без следа
Они угасли... Иль манила
Любвеобильные светила
Земная грудь на скользкий склон
С тропы надежной? — тот же сон,
Что мной владеет... Или, льстивый,
Им Призрак нашептал, влюблён,
Свои неясные призывы?...

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Алмазные грёзы
Померкнувших слав,
Свергаясь стремглав,
Мы — Вечности слёзы.

В беззвучную даль,
Играючи с бездной,
Мы грёзы надзвездной
Роняем печаль.

В ночи без следа,
Мгновенно ль — иль вечно? —
Летим мы беспечно —
Куда?... Куда?...

Алмазные звенья
Эфирных цепей...
Сафирных степей
Зарницы забвенья...

Хаос — колыбель,
Простор — наша доля:
Бесстрастная воля,
Безвольная цель...

Мы реем во сне
И медлим в паденье...
Нам жизнь — сновиденье...
Нам пламень — рождение...
Мы гаснем — в огне...

ПОТОК

Ко мне! ко мне!...

ДУХ

Мир отягчен глубоким сном...
Один ты бодрствуешь и страдаешь:
Вкуси покой!... Любви ты жаждешь:
Испей в объятии одном
Любви могучей кубок полный!
Объемлют ласковые волны
Страстней, чем люди!... Слепо верь,
В обман уверуй — и к свободе,
И к любящей, живой Природе —
Отворит Смерть страдальцу дверь...

ДУХИ ПУСТЫНИ
(догоняя один другого)

— Где ты? — Вот я! —
Одна семья
Пустынных чад —
Предрассветный хлад,
За струей струя,
Через дебрь и ночь...

Кто за нашей межой,
На краю быстрин?
Один! Один! —
Всегда чужой!
Всегда один! —
Летим прочь! — Летим прочь!...

ЧЕЛОВЕК

(на высоте)

Хотя б я знал, что смерти час —
Час смены горьких бдений дольных
Сном всеблаженства, — я бы спас
Мой тесный мир страданий вольных!

С моей свободой не сойду
К сему предчувствию свободы:
Я сам, могучий, возведу
К сознанию хаос Природы.

Пусть я хочу лететь без крыл,
Люблю и кличу без отзыва:
Он нужен, одинокий пыл
Неразделенного порыва!

Коль в персти косной Дух сокрыт,
Его порыв в моих усильях:
Из искры тлеющей летит
Пожар на неустержимых крыльях.

Коль Бог живет среди светил,
Мой пыл — привет Ему любовный, —
Лампада ночи меж ветрил —
Прибытия символ условный.

Хочу до срока моего
Питать сей пламень одинокий,
Не падая — во тьме глубокой
Гореть звездой, и ждать...

ДУХ

Чего?

ЧЕЛОВЕК

Сияли древле звезды те же;
Белел крутой скалистый скат;
Был тих ночлег овечьих стад;
Был зимний воздух резче, реже...
И Дух отверз уста светил,
И камни, и стада внимали;
Молились пастыри; дышали
Метели богоносных крил.
Парили горних сил соборы,
В служеньи тайном, в вышине;
В прозрачной звездной тишине,
Как бурный дух, носились хоры, —
И возвещал бесплотный клир
Благоволение и мир...
Я жду: вернется полночь эта...

ДУХ

Восстань, мечтатель! Луч рассвета
На гор челе. В седой туман
Окутан Призрак. День раздвинул
Хребтов далеких дымный стан —
И видно море... Срок наш минул.

MISSA SOLENNIS, БЕТХОБЕНА.

В дни, когда святые тени
Скрылись дале в небеса,
Где ты внял, надзвездный гений,
Их хвалений голоса?

В дни, как верных хор великий,
Разделенный, изнемог,
Их молитв согласны лики
Где подслушал ты, пророк?

У поры ли ты забвенной,
У грядущей ли исторг
Глас надежды неизменной,
Веры мощь, любви восторг?

Но и в оны веки лира
Псалмопевная царя
Не хвалила Агнца Мира,
Столь всевнятно говоря!

Ибо ты в сем громе пирном,
В буре кликов, слез и хвал
Слиться с воинством эфирным
Человечество созвал.

SOGNO ANGELICO

Скрылся день — и полосою
Дали тонкие златит.
Выси млеют бирюзою;
Тучка в зареве летит.
Полнебес замкнув в оправу,
Светл смарагд, и рдеет лал:
Вечер пламенную славу
Ополчил и разостлал...

И пред оком умиленным
Оживляется закат,
И по тучам отдаленным —
Легионом окрыленным —
Лики с пальмами стоят.
Блеск венцов, и блеск виссонный...
Но Христовой луч красоты
Им довлеет — отраженный
В злате дольней полосы.
Там, в близи недостижимой, —
Ученик Христа любимый:
Как горят его власы!...

ТВОРЧЕСТВО

Ricordati che vivi, e camminal

Слова Микель-Анджело
к фреске «Моисей»

Взыграй, дитя и бог, о, ты, кого во сне
Лелеял, привитая, Гений, —
И Ночи пленный сонм, тоскующий о Дне,
Зови на праздник воплощений!
Дай кровь Небытию, дай голос Немоте,
В безликий Хаос вергни краски,
И Жизнь воспламени в роскошной наготе,
В избытке упоенной пляски!

И ликам реющим их имя нареки
Творца безвольным произволом,
И Сокровенное Явленьем облеку,
И Несказанное Глаголом!
Немое таинство неумолимых уз
Расторгни пением Орфея,
И в обновленный мир прости рукою Муз
Дар Огненосца-Прометей!

Исполнен обликов непрозрачных эфир,
И над полночью лазурной
Светила новые, с бряцаньем стройных лир,
Плывут чрез океан безбурный.
Неведомых морей мятежней хлещет вал
О скал невиданных пределы,
И вторит сладостней таинственный хорал
Вечерним стонам Филомелы.

Есть много солнц в ночи, в деннице — робких грёз,
В зефире — тающих созвучий;
В луче луны дрожит дыханье бледных роз,
В речной тростинке — стих певучий.
Неуспокоены, виденья гордых тел,
Блуждая в нимбах, волят плоти:
С Титанами горе, Бетховен, ты гремел!
Ты их отронул, Буонарроти!

Уз разрешитель, встань! — и встречной воли полн,
И мрамор жив Пигмалиона,
И Красота встает, дочь золотая волн,
Из гармонического лона.
Уз разрешитель, встань! — и вод тайник отверст
Ударом творческого гнева,
И в плоть стремится жизнь чрез огнеструйный перст, **
И из ребра выходит Ева.

Под иго легкое склони послушный мир,
Ты, кто теней расторг верèи!
Будь новый Демиург! Как Дант или Омир,
Зажги над солнцем Эмпиреи!
Природа — знаменье и тень предвечных дел:
Твой замысел — ей символ равный.
Он есть: он — истина. Прах Фидиев истлел:
Но жив Отец громодержавный!

Сомкнуть творения предгорнее звено,
Ждет Человек своей свободы.
Дерзай, Прометиад: тебе свершить дано
Обетование Природы!
Творящей Матери наследник, воззови
Преображение Вселенной,
И на лице земном напечатлей в любви
Свой Идеал богоявленный!

ДИОНИСУ

Как нарицать тебя, Неизрекаемый,
Многих имен и даров?
Звездных водитель хоров,
Ты, кто избыток творишь упоением,
О Преизбыточный, Пресуществителем
Ты наречешься мне!...

ВИНОГРАДНИК ДИОНИСА

ἼΑμπελος δ'ἦν κατηφής, καὶ σκυθρω-
πὸς οἶνος, καὶ βότρυς ὡσπερ δακρῶων.

Himerius

Виноградник свой обходит, свой первоизбранный, Дионис;
Две жены в одеждах темных — два виноградаря — вслед за ним.
Говорит двум скорбным стражам — двум виноградарям — Дионис:
«Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградари, острый нож;
Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный виноград!
Кровь сберите гроздий рдяных, слезы кистей моих золотых —
Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило нег;
Напоите влагой рьяной алых восторгов мой ярый Граль!»

АСКЕТ

Аз живу, и вы живы будете.

Ев. от Иоанна, 14. 19

Как возле павшая секира, —
Коснулась, — воззрилась Любовь...
Я вспрянул, наг, с подушек пира, —
Наг, обошел пределы мира, —
И слышал — стон, и видел — кровь.

И стал я прям, и вопль проклятий
Вознес к Любви... И внял я клич:
«Кто взыщет огонь моих объятий?
Кто разделит страданье братий?» —
И, взвизгнув, плоть ужалил бич.

Как зверь, терзал я плоть в дуброве;
Я стлал ей ложем углей жар:
И чем мой подвиг был суровой,
Тем слаще мука, — тем багровей
Горел Любви святой пожар.

Согбенну старцу, дал мне пленный
Страданий демон свой союз:
Он раздувал мой пыл священный,
Я ж — корибант — царь плоти брэнной —
Плясал под звон победных уз.

И с неба спал огонь кровавый,
И, в нем сошед, рекла Любовь:
«Безумен был твой гнев неправый!
Се, для Моей небесной славы
Не молкнет стон, и льется кровь!

«Я — жертва — жертвенник творила:
Достойны жертв дары мои!
Я мир слезами напоила:
Их сплавит в людях жар горнила
В восторги вечные Любви!

«Зане живу — я жизнь возвѣла:
Мне ль, не любя, пребыть одной?
О том с живущим Я страдала,
О том со смертным умирала:
Со Мной умерший жив со Мной».

НЕВЕДОМОМУ БОГУ

Я видел в ночи звездноокой с колоннами вечными храм;
И бога искал, одинокий, — и бога не видел я там.
Но змеи стожалые жили под пеплом живым алтаря,
И звезды заочно служили, над кровлей отверстой горя.

И пал на помосте святыни, и сон я внезапный вкусил...
И недра отзвучной пустыни прилив мириад огласил:
И гулы растущие хоров, как звон, отдавали столпы;
Из зарева мрачных притворов со стоном врывались толпы.

Звучали цевницы и лиры, и систр, и тимпан, и кимвал;
Сияли, колеблясь, кумиры над бурею кликов и хвал;
И с узным бряцанием пленных сливался вещателей зык,
И дико речей исступленных был разен с языком язык.

И смолкли, как в яром приборе пучина стихает на миг:
И слышны в мятежном покое рев жертв с громоуханьем вериг...
Да факелов дышут пожары, да угли сверкают очей,
Волхвов темноликих тиары, жен злато, булат палачей...

Медь взвыла, взыграли кимвалы, стоустый проносится клич —
И в вихре радения галлы* взвивают язвительный бич...
Мертвеют, недвижны, факиры... Шатается, грянулся вол —
И пьет из-под черной секиры живую струю тавробол...

На скользкие рухнули плиты рабы, издыхая в крови...
Умильные дщери Милитты скликают на милость любви...
«Эван» вопиет и «Эвоэ», в личине скача, Эгипан;
«Эван» в упоительном вое бьет систр и безумный тимпан...

И, сердце исторгнув живое, возносит богам каннибал...
И громче в неистовом вое бьет систр и бряцает кимвал...
Как облако, душный и хмарный от крови сгущается смрад...
Вот матери в пламень алтарный ввергают возлюбленных чад —

И, словно плитою могильной, простерлись, подавлены, ниц...
Взвивается пламень бессильный над смутною меркнувших лиц...
Одна ты в зрях неопальных — младенцы у персей легли —
Из персей, из древле-страдальных, льешь сок изобильной Земли, —

Родимая, заповедная купина в алканьях огня!
Таинница Духа земная! — и ты осенила меня!
Стремилась ты к небу родному объятья и гаснущий взор:
К далекому небу ночному объятья тоски я простёр —

Тоски мироносные крила — и видел, тобою прозрев:
Тень горняя долу парила, объятья Земле простерев...
О, сладко-текучие муки! Мне в ноги вонзайтесь, лучи!
Пронзайте отверстые руки! Терзайте, святые мечи!

Ты грудь из таинственной груди, рази, огневая струя!...
О, люди! о, братья! о, люди!... О, в ребра удар копия!...
Продлитесь, блаженные боли! Алейте, живые ручки!...
Один ли я в черной юдоли?... — «Я здесь»... Элой! Элой!

О, Смерть! вот глубинные зевы, вот кладязи плена твои!
Там дикие, чуждые ревы... Один я! Один!... Элой!...
— «Я здесь»... То победные песни?... Так Смерть победила, — не
Ты?...
— ««Воскресни! Адонис, воскресни!...»» И пала завеса мечты.

Сиял мне в ночи звездноокой колоннами вечными храм;
Я бога искал, одинокий, — и бога не видел я там.
Лишь тени беззвучно кружили вокруг чар огневых алтаря;
Да звезды заочно служили, над кровлей отверстой горя.

МУЗЫКА

ГОЛОС МУЗЫКИ

Мой отец —
Оный алчущий бог, что нести восхотел
Воплощений слепых цветно-тканый удел,
Многострадную, страстную долю.
И поит он, и пенит сосуд бытия,
И лиют, не вместив, золотые края
Неисчерпно-кипящую волю.
Но, как облак златой,
Я раждаюсь из пены, в громах пролитой
И несусь, и несусь
Неизбытых пыланий глухую грозу,
И рыдаю в пустынях эфира...

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

И меня, и меня,
Ненасытного семя и светоч огня,
На шумящие бурно возьми ты крыла!
Как тебя,
Несказанная воля мне сердце зажгла;
Нерожденную Землю объемлю, любя, —
И колеблю узилище мира!

РОКОБОРЕЦ

Так стучится Судьба...

Слова Бетховена
(о V-ой симфонии)

I

ПОЕДИНОК

«Иду, иду, иду —
Судьба, твой ворог!

«К тебе стучусь,
На тебя иду —
Судьба, твой ворог!...»

И, как ярая воля,
В песках горючих
Приявшая зрак
Рыжего льва, —
Он, с тяжким рыком,
Мощным прыжком
Бьет на врага:
А ворог склоняет
Упорную выю,
Чернокосмый буй-тур, —
Свирепых рогов
Дикую мощь
Ставит в упор.
Орлом поклевучим
Обернулся борец,
Бьет с поднебесья,
Когтьми когтит,
Клювом клюет:
А ворог его
Оплел, оковал
Змеей кольчатой —
Висит в поднебесье
На шее пернатой
Черный удав.
Пал на сыру землю
Сизый орел,
Светлый приемлет
Лик человеческий,
А недруг темный:

Нагие мышцы
Мужи крепят
На тугую борьбу,
На смертный бой...

И длится бой
До ночи темной.
И, сомкнув уста,
С покрытым ликом,
В глухую ночь
Отходит Надежда.
И, потупив очи,
В глухую ночь
Отходит Вера...
И Неистомный, безмолвен,
В пустынные дали
Уходит...

«Братья! други!...»

II

ALMA DEA

Звездный саван
Над степью широкой,
Ветер ли ропщет
В степи широкой?
Женщина ль плачет?...
— «Кто ты, что льешь
Звездные слезы
Над полем смерти?
Не плачь обо мне:
О крыльях плачь
Высокой воли!»
— «Крыльев легчайших
Полет безвольный
Душу покорную
В сумерки звездные,
Вольный, несет».

— «Ведомый, сладостно
В душу покорную
Сходит мне голос твой...
Кто ты, забвенная?»
— «Вспомни, вспомни»...
— «Души ль покорной»...
— «Сумерки звездные!»
— «Звездная смерть?»
— «Вяенье крыльев
Легких вспомни»...
— «Сон ли младенческий?»
— «Светлый полет!»
— «Ключ ли глубинный»...
— «Светлость вспомни»...
— «Будит сердечную»...
— «Многоочитую!»
— «Заповедную ночь?...»
— «Вспомни, вспомни»...
— «Песни ль согласные?...»
— «Тихие, вечные...»
— «Звездные, тихие...»
— «Песни мои!...»
— «Родимая, вечная!
Разбились крылья
Высокой воли!...»
— «Крыльев легчайших
Полет безвольный
Душу покорную
В сумерки звездные,
Вольный, несет!»

III

ТРИЗНА

— «Сюда, сюда,
На призывный рог,
Братья! други!
Он пал, он звал —
Собирайтесь на пир
Красной тризны!
Всеодержен рок;
Вы ж плетите венок
Побежденному краснопобедный!»

— «Из-за светлых полей, из-за синих морей,
Из-за кряжных твердынь,
Из рудых пустынь, из бледных льдов —
Идем на зов!
Идем, идем — сев смертных племен —
Из немых времен, —
Нагорных дубов обреченный сев
На громовный гнев!
Мы, что жертвой падем, — мы хор ведем
Побежденному краснопобедный!»

КРАСНАЯ ОСЕНЬ

Красная Осень
Гонит поблекшие листья:
«Прочь улетайте
К теням Аида,
Плачущим вечно
По краткой жизни!
Прочь улетайте
С пажитей, ждущих
Новой весны!»

Нисходит ночь,
И с черного неба
Глядят неприступно
На пажити смерти
Вечные звезды.

Блажен, чьи крылья
Царственный дух
От пажитей смерти
Возносят по воле
К пламенным сферам!
Садится избраннык
На вечные троны —
И с духами тверди,
В недвижимом сиянии,
Царя, обтекает
По волнам эонов
Остров желаний,
Надежд и разлуки,
И жизни мгновенной.

ЛИСТОПАД

В чаще багряной
Мраморный Пан
С праздною свирелью
Дремлет у влаги:
«Дуй, Аквилон,
В мою свирель,
Мой сон лелея!
Ярче алейте,
Хладные зори,
Пред долгой ночью!
Дольше кружитесь,
Желтые листья,
Над влагою черной!
Ждет терпеливо
Судьбы неизбежной
Темное лоно»...

Желтые листья
Ветр гонит к поблекшему берегу;
Царственный лебедь скользит между них,
А важная Муза героев,
С мраморным свитком,
Вперила на волны
Незрящие, зрящие очи —
И думает думу:

«Над темным лоном судеб,
Обагрённым жатвой падучей
Мгновенной жизни,
Как царственный лебедь,
Скользит ваш смертный соперник,
Титаноубийцы, —
Среди поколений летучих —
Муж Рока! —
И мерит бестрепетным оком
Бездонные тайны;
И, в омут времен недвижимых
Глядясь, узнает
Лелеемый влагою дремучей —
Свой образ»...

ПЛАМЕННОКИ

Будет мир, подобный миру светлых духов, ликующих каждый своим отдельным ярим порывом. Ярою любовью ликуют они в красоте блистающих, горящих жизнью миров, — любовью к одному Солнцу, к одному Богу-Началу; и в той любви сливаются одинокие порывы и возвращаются к Началу - Богу, источнику любви. То — новый мир и новый круговорот любви, и тому я скажу Да, и тем Да то будет.

* * «Пламенники» *

Радугой
Над водопадом бегучим —
Над временами живых
Стоит неподвижное Время:
Гармоний прозрачных
Покой воздушный,
Роса очей,
До дна испивших
Земного солнца
Искристый кубок...
Где братья порыва?
И братья победы?
Где звезды надежды,
И берег, и боги?

«Мы — братья, мы — солнца;
Мы — солнца, мы — боги;
Мы — боги, мы — гласы!...»

Заря из зари —
О, вечные зори!
Во славе рожденья —
Восторги зачатья,
В победе свершенья —
Улыбка надежды!
За нимбами нимбы,
За кликами клики;
Громов над громами
Пылают языки,
Пылают глаголы!

Мирьяды, мирьяды
Солнц, пламенноликих,
Солнц пламенноустых
Из бездны пурпурной
Подъемлет, объемлет
День громопучинный,
Разверзшийся день!

И каждый глас —
Звено, и цель;
И каждый клик —
Порыв, и мир;
И каждый глагол —
Восторг громов,
Созвучных солнц
Всеотзывный пир!

И я, и я (о, боги!)
Уста любви
Отверз (о, солнца!):
И был мой глас —
Как слава громов,
Созвучных солнц
Всеотзывный пир!

Утес скупой
Под властным жезлом
(О, боги!)
Четыре реки
Из тайных недр
(О, солнца!) —
На восход и день,
И закат, и ночь
Струит, обильный:

Так все, чем душа
Моей души
Жила, — сказалось!
Чего в ночи
Заповедной
Ждала, — сказалось!
И ты, биенье
Неистомного сердца,
Алканье уст,
Изнемогших лобзать,
Истомных уст,
Разлученных уст, —
И ты сказалось!...

И запечатленная,
Неутолимая,
Неизреченная
Словом земным,
Излилась ты,
Как четыре реки,
И объяла мир, —
В земле погребенная,
Из земли прозябшая,
Ты объяла свой мир,
Любовь,
Моя любовь!...

И, как светлых гроз
Огнекрылый сонм,
Мой порыв и мир
Объяла встречная,
Громоотзывная
Созвучных солнц
Любовь,
Моя любовь!...

И я внял верху,
Над семьей громов
(О, день денниц!),
В небесах небес
(О, покой громов!)
Я твой отзвук внял,
Глаголов глагол
И уст уста
И любви любовь, —
Ты, многоочитый
Созвучных солнц
Единый День!

ЗЕМЛЯ

Κληθετε μητέρα Γαῖαν.

Orac. Dodon.

Τάδε γὰρ μέλε' ἐστὶ τὰ Πανός.

Orph.

Братья! уйдем в сумрак дубрав священный,
На берега пустынных волн!
Чадам богов посох изгнания легок —
Древней любви расцветший тирс!

Ах! по Земле, по цветоносной, много
Светлых полян для кущ святых:
Много полян ждут ваших уст приникших
И с дифирамбом дружных ног!

И по Земле, по цветоносной, много,
Братья любви, Голгоф святых:
Кущи дерев ждут ваших рук простертых,
Терние ждет багряных роз!

Матерь зовет в сени дремучей дуба:
Вещий, зашепчет древний дуб —
Взропщет она и вздохнет над вами:
«Жив ли мой Бог? Кто жив — живит!

«Ах! не Земля, — дети, вам мать — Голгофа
С одного дня, как умер Он!
С ним умерла, дети, Земля! О, дети!
Жив ли мой Бог?... Кто жив — живит!

«Руки мои руки Его прияли:
В древе Его объяла я.
Язвы Его руки мои язвили.
Лоно рождений стало гроб.

«И не Земля, — дети, вам мать — Голгофа
С одного дня, как распят Он, —
С одного дня, как Немезидой неба
Распят по мне великий Пан!...»

Братья! тогда лоно Земли лобзайте,
Плачьте над ней: «О, мать, живи!...»
— «Бог твой воскрес!» благовестить дерзайте:
«Бог твой живет — и ты живи!...»

РАЙСКАЯ МАТЬ

Придет мать-Весна красна,
Лузья, болоты разольются,
Древа листья оденутся,
И запоют птицы райски
Архангельскими голосами.
А ты из пустыни вон изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь.

Стих об
Иосафе-царевиче

ДНЕПРОВЬЕ

Облаки — парусы
Влаги лазоревой, —
Облаки, облаки
Пò небу плавают.
Отсветы долгие
Долу колышутся —
Влаги лазоревой
Облаки белые.
С небом целуется
Влага разливная...
К небу ли вскинет
Тихие взоры —
Небом любитесь
Невеста небесная;
Глянет ли долу —
Небес не покинет,
В ясно-текучих
Ризах красуется,
Сидючи, дивная,
На ярах сыпучих
Белых прилук...
А по раздолу,
В станах дремучих,
Синие боры

Стали, безшумные, —
Думы ль умильные
Думают, думные,
Думают, сильные,
Чуда ли чают —
Ветвьем качают,
Клонят клобук...

Где ты? — явись очам! —
Даль ты далекая,
Даль поднебесная,
Райская мать!...

Вот они, нагория
Дальние синеются;
Ясно пламенеются
Пламенники Божии:
Станы златоверхие
Воинства небесного,
Града святокрестного
Главы огнезарные...

ЗАРНИЦА

Как Зарница по поднёбесью гуляла,
Темной ночью по широкому играла.
Ей възгòворит на нёбе черна Хмара:
«Чтò ты рыщешь, Молонья — млада Зарница,
Темной ночью, одиночкой, молодежи?
Чтò ты рыщешь, аль кого по свету ищешь?
А и где же, молодежи, твой хозяин?
Уж как был ни на пядень Гром неотступен;
А и ныне Громовик не громыхает.
Али братцу зла прилука прилучилась?
Али ладе стар милой друг принаскучил?»
Отвечает Молонья — млада Зарница:
— «Ой же, Хмара ты, золовушка-сестрица!
Не прети мне по поднёбесью гуляти,
Втихомолку по привольному гуляти!
Не буди ты государя — грозна братца!

Как дожди я со Громом нашаталась,
По весне ли со веселым наигралась:
Порезвился ярый в пору, притомился,
И залег он в лютокаменных пещерах.
Да меня ль младу в надземье не пускает,
На постели со просонья обымает.
А потеха молодежи утаиться,
Из глубоких подвалов утаиться,
Те железные затворы разомкнуты,
По степи ли по широкой промелькнуты,
С перекатной со звездой перемигнуться,
В тихих заводах зеркальных оглянуться!»

ПОД ДРЕВОМ КИПАРИСНЫМ

Под тем ли под деревом кипарисным
Алые цветики расцветали.
«Не прети же Ты, Мати, мне младу
Алые цветики собирать,
Красные веночки соплетати,
Древо кипарисно украшати!»
— «Ты нарви, нарви Матери, Чадо,
Набери Мне семь цветиков алых,
Положи Мне на самое сердце:
Не семь цветиков алых на сердце —
Семь точатся капель алой крови
Из груди, седмижды прободенной».

МИЛОСТЬ МИРА

Единого разноглагольной
Хвалой хвалить ревнует тварь.
Леп, Господи, в Руси бездольной
Твой крест и милостный алтарь!

И нужен нам иконостаса,
В венцах и славах, горний лик,
И Матери скорбящей лик,
И лик нерукотворный Спаса.

Ему, Кто, зрак прияв раба,
Благий, обходит наши нивы, —
И сердца темная алчба,
И духа вещи порывы!...

Нет, Ты народа моего,
О, Сеятель, уж не покинешь!
Ты богоносца не отринешь:
Он хочет ига Твоего!

РУССКИЙ УМ

Своначальный, жадный ум, —
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

НОЧНОЙ ЗВОН

Из недр полуночи немой,
Над сребролунною дремдой,
Годины вестию спокойной
Звучит, торжественный и стройный,
Соборный звон...

Из дома вон, из града вон
Уводит сребролунный сон —
Туда, где понт шумит просторный,
Туда, где светит храм нагорный,
Где вещей звон...

СТИХ О СВЯТОЙ ГОРЕ *

Трудна работа Господня.

Слова Вл. Соловьева на смертном одре

Ты святися, наша мати — Земля Святорусская!
На твоём ли просторе великом,
На твоём ли раздольи широком,
Что промеж Студеного моря и Теплового,
За теми лесами высокими,
За теми озерами глубокими,
Стоит гора до поднёбесья.
Уж и к той ли горе дороги неезжены,
И тропы к горе неторены,
А и конному пути заказаны,
И пешему заповеданы;
А и Господь ли кому те пути открыл —
И того следы неслежены.
Как на той на горе светловерхой
Труждаются святые угодники,
Подвизаются верные подвижники,
Ставят церковь соборную, богомольную;
А числом угодники нечислены,
Честным именем подвижники неявилены,
Неявилены — неизглаголаны.
И строячи ту церковь нагорную,
Те ли угодники Божи, подвижники,
Что сами творят, не видят, не ведают,
Незримое зиждут благолепие.
А и камение тешут — оно белеется,
А и камение складают — оно не видится.

А стены ль кладут, аль подстение,
Аль столпы ставят опорные,
Аль своды сводят светлосенные,
Али главы кроют зарные, червонные,
Аль честные пишут образы со писании, —
И то угодники ведают, не видючи,
И того мы, людие, не ведаем.
Как приходит на гору Царица Небесная,
Ей возропщутся угодники все, восплачутся:
«Гой еси Ты, Матерь Пречистая!
Мы почто, почто труждаемся — подвизаемся
Зодчеством, красным художеством
В терпении и во уповании,
А что творим — не видим, не ведаем,
Незримое зиждем благолепие.
Ты яви миру церковь невиданную,
Ты яви миру церковь заповѣданную!»
Им возговорит Царица Небесная:
— «Уж вы Богу присные угодники,
А миру вы славные светильники,
О святой Руси умильные печальники!
Вы труждайтесь, подвизайтесь,
Красы — славы для церкви незримые,
Зодчеством, красным художеством,
В терпении верном, во уповании!
А времен Божиих не пытайте,
Ни сроков оных не искушайте,
Не искушайте — не выведывайте.
Как сама Я, той годиною пресветлою,
Как сама Я, Мати, во храм сойду:
Просветится гора поднебесная,
И явится на ней церковь созданная,
Вам в обрадование и во оправдание,
И Руси великой во освящение,
И всему миру Божьему во осияние.»
Тут Ей Божии угодники поклонилися:
«Слава Тебе, Матерь Пречистая!
Уж утешно Ты трудничков утешила,
Что надежно смиренных обнадежила:
Ин по слову Твоему святому да сбудется!»
А поется стих во славу Божию,
Добрым людям в послушание,
Во умиление и во упование.

ЦВЕТЫ СУМЕРЕК

И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут.

Пушкин

УСТАЛОСТЬ

День бледнеет, утомленный,
И бледнеет робкий вечер:
Длится миг смущенной встречи,
Длится миг разлуки томной...
В озареньи светлотенном
Фиолетового неба
Сходит, ясен, отблеск лунный,
И ясней мерцает Вesper;
И все ближе даль синеет...

Гаснут краски, молкнут звуки
Полу-грустен, полу-светел,
Мир почил в усталом сердце,
И почило безучастье...
С золотистой лунной лаской
Сходят робкия виденья
Милых дней... с улыбкой бледной,
Влажными глядят очами,
Легкокрылые... и меркнут...

Меркнут краски, молкнут звуки...
Но, как дальний город шумный,
Все звучит в усталом сердце,
Однозвучно-тихо ропщет
День прожитый, день далекий...
Усыпляют, будят звуки
И вливают в сердце горечь
Полусознанной разлуки —
И дрожит, и дремлет сердце...

ЗЕРКАЛО ЧАЯНИЯ

Златопобедной
Диадемой венчан,
Облик Заря
Возносит бледный
Над мглой полян.
Златые дали
Долу лиют
Ручьи печали.
Тени приют —
Смутен спит лес,
Светлей небес
В темнице черной,
Разлив озерный
Дремлет, горя...

Не так ли ты
В тиши
Мерцало,
Алтарь мечты,
Зрящей души
Моей зеркало, —
В ночи заповедной
Златопобедный
День предвара
Печалью недольней?...

СЕБЯ ЗАБЫВШИЕ

Закатных завес
Пред бледною тканью,
Навстречу мерцанию
Далеких небес,
Теней вереница
Чредой несмелой —
Под саваном лица,
Под дымкой белой —
Во мгле перелесья
Скользит и реет,

Росою зыбкой
Над лугом веет,
Меж дрёмом и дрёмом,
Глухим поёмом —
Летит за улыбкой
Прозрачных небес...

Огнистый трепет
Очей в тумане,
Трав на поляне
Пугливый шопот...
«О, кто мы? кто мы?» —
Воздушный лепет, —
Как вздох истомы,
Тоскливый ропот...

Закатных завес
Сияя зеркалом,
В огне запоздалом
Отсветных небес,
На дне прогалин,
Как гроб, печален
Озерный покой...
И бледный рой
Теснится у влаги;
И в зареве влаги
Проходит туманный
Зарей венчанный
Безликий рой...

Но алчут встречи,
Но молят ответа
В гробнице света
Смятенные тени;
Склонясь чрез плечи
Глядят в струи —
Ах, не находят
Черты свои!
И ропщут, рея:
«О, где я? где я?» —
Забвенья пени;
И, зыблясь, бродят
Над влагой тени...

ОТРЕЧЕНИЕ

То был не сон; но мнилось: в чарах сна
Одни меж плит мы бродим погребальных...
Зима легла на высотах печальных:
Дыханьем роз дышала здесь весна.
В гроб снежных гор сошла в цветах венчальных
Краса долин, умильна и ясна...
В суровый храм вели могил ступени:
Уста ж, горя, любви шептали пени...

И был не сон тот храм; но вечный сон —
Таинственной святыни вечный житель.
Зрит сад крестов смущенный посетитель
В немой тени хранительных колонн.
Там, в устлану домами Ман обитель
Встает из крипт неуловимый стон...
Загробной тьмы слышнее там угрозы:
Там — дар любви — твои лобзал я розы!

То был не сон — тот дух весны живой,
Повеявший на миг пред бурей снежной, —
Расцвет любви безумной, безнадежной
Над мрамором святыни гробовой, —
Небесный огонь, перун любви мятежной,
На жертвенник упавший роковой —
В суровый храм, где обитает Гений
Лазурных дум и белых отречений!

ЛУННЫЕ РОЗЫ

Ach, die Erde kühit die Liebe nicht!
Goethe, die Braut von Korinth.

Из оков одинокой разлуки,
На крылах упоительных сна,
К ней влекут его тайные звуки,
К ней влечет золотая луна:

Все вперед, в бездыханные сени
Лунным сном отягченных деревьев;
Все вперед, где пугливые тени
Затаил околдованный лес.

Там она, на печальной поляне,
Ждет его над могилой, одна,
Сидючи недвижимо в тумане, —
Как туман, холодна и бледна.

И любви неисполненной пени
Поднялись в безнадежной груди:
«О, зачем мы бесплотные тени?»
— «Милый друг! погоди, погоди!»

И сплелись над пустынной могилой,
И скользят по серебристым росам —
И, четой отделяясь легкокрылой,
Понеслись к усыпленным лесам:

Все вперед, где сквозит затаенный
Лунный луч меж недвижных ветвей;
Все вперед, где гостит упоенный,
Где поет неживой соловей;

Где горят главы змей изумрудных;
Где зажгли пир огней светляки;
Где в лугах, полных чар непробудных,
Лунный мед пьют из роз мотыльки;

Где, лиясь в очарованной лени,
Спят ключи на скалистой груди...
«О, зачем мы бесплотные тени?»
— «Милый друг, погоди! погоди!»

И на брег устремились отлогий,
Где почить набегают волны,
И парят осребренной дорогой
Все вперед, где струится луна, —

Все вперед, упоенные блеском,
К островов голубым берегам,
Меж зыбей, что поднимаются с плеском
И поют, и ползут к их ногам.

И уже в колыбели зыбучей
Спят луга бледноликих лилей,
И, в луне выплывая текучей,
Тают вновь облака лебедей;

И, из волн возникая, ступени
И блестят, и манят впереди...
«О, зачем мы бесплотные тени?»
— «Милый друг, погоди! погоди!»

И скользит, и на теплые плиты,
Отягчась, наступает нога;
И чету, мглой лазурной повиты,
Лунных роз окружают снега.

И ведут безъисходные кущи
Все вперед, в светозарный свой храм, —
Все вперед, где волнуется гуще
Душной мглы голубой фимиама.

Стан обвив кипарисов дремучих,
Лунных чар сребродымный очаг
Сети роз осеняют ползучих
И таят, как пустой саркофаг,

Меж огней и томящих курений
Ложе нег, что зовет посреди...
«О, зачем мы бесплотные тени?»
— «Милый друг, погоди! погоди!»

Она ветвь бледной розы срывает:
— «Друг, тебе дар любви, дар тоски!»
Страстный яд он лобзаньем вливает —
Жизнь из уст пьют, зардев, лепестки.

И из роз, алой жизнью налитых,
Жадно пьет она жаркую кровь:
Знойный луч заиграл на ланитах,
Перси жжет и волнуется любовь...

Месяц стал над шатром Гименея;
Рдеет роз осенительный снег;
Ярый змий лижет одр, пламенея,
И хранит исступленный ночлег.

Рок любви преклонен всепобедной...
Веет хлад... веет мрак... веет мир...
И зарей безмятежности бледной
Занялся предрассветный эфир.

ВОЖАТЫЙ

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt

Seneca

«По кладезям сумрачных келий,
Куда, за ступенью ступень,
Вожатый, во мглу подземелий
Зовет твоя властная тень?
Твой плащ колыхнется мерной
Волной по легким пятам;
Ты ходишь поступью верной
По сводчатым темным сетям».
— «Вон из темницы тесной
Веду я тебя, мой брат!
На плиты луч небесный
Скользит из последних врат».

«Слепит меня день веселый,
Пугает шум градской,
И ранит насмешкой тяжелой
Пытливый взор людской.
Вожатый! сударь и платы,
И повязи рук и главы —
Бесславней, чем цепи кольчатые,
В устах шепотливой молвы!»
— «Людской ты не видишь неволи —
Твоих не увидят пелен.
Что в узах льняных? Не равно ли
Ты бледен, как бледный лен».

«Ах, благостно груди стеснённой
Открылась ширь полян!
О, жаркий дух благовонный!
Елей живучих ран!...

Но мне ты поведай: какая
Нам путь отменяет тень,
Меж тем как на луге, сверкая,
Почил ослепляющий день?»
— «Взгляни: не древо ль мреет
На дальнем колене пути?
Грядущее тению реет —
С той тени ноге не сойти».

«Спешим — да избудем вскоре
Судеб неизбытную тень!
Как там, на цветущем просторе,
Прекрасен струющийся день!...
И мнится — мы близко... В боязни
Блуждает взор окрест...
О, Боже! готов ли для казни,
Забут ли сей праздный крест?»
— «Здесь грань тропы плачевной,
И светел отседе путь;
И гость да возляжет полдневный —
В последней тени отдохнуть».

«Ждало на пути меня дело:
Сей крест был тайный магнит!
Возьмите ж это тело
И радость, что путь мой сулит!
Свершайте дело распятья!
Распни мое тело, брат!
И люди станут братья!...
Что медлит гвоздь и млат?...»
— «Сей крест не жертвы просит:
Смиреньем пожри за мир!
Он небу покорность возносит,
Земле — вещает мир».

«Всё снов опьяняющих дали!
Очей, ах! у Гордости нет!
Ты мнил: на подвиг дали
Тебе простор и свет.
Глупец! то — труд непосильный,
И путь — не по силам твоим!
Узнай свой крест могильный
И яму сырую под ним!...»
— «Игралища буйных мечтаний!
Милей им истонный обман,
Чем темный праг скитаний,
Чем легкий прах полян!»

ВЕЧНЫЕ ДАРЫ

Верь тому, что сердце скажет:
Нет залогов от небес.

Жуковский (по Шиллеру)

По бледным пажитям забвения —
Откуда, странники? куда?...
Святые вейте дуновения!
Гори, невставшая звезда!

Пасомы Целями родимыми,
К ним с трепетом влечемся мы —
И, как под солнцами незримыми,
Навстречу им цветом из тьмы.

Беззвучно-плещущими Летами
Бог разградил свои миры;
Но сердца вещими приметами
Хранимы вечные дары.

Кто знал тебя, о, челн отчаянья! —
Тому пророчила любовь:
«Я вновь твоя на бреге чаянья —
Тобой угаданная вновь!»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Над смертью вечно торжествует,
В ком память вечная живет.
Любовь зовет, любовь предчует;
Кто не забыл, — не отдает.

Скиталец, в даль — над зримой далью —
Взор ясновидящий вперя,
Идет, утешенный печалью...
За ним — заря, пред ним — заря...

Кольцо и посох — две святыни —
Несет он верною рукой.
Лелеет пальма средь пустыни
Ночлега легкого покой.

ΓΕΣΠΕΡΙΔΥ

Μῆλά τε χρύσεια καλά παρ' Ἑσπερίδων λιγυφώνων.
Orph. *

ГОЛОСА

Муз моих вещунья и подруга,
Вдохновенных спутница Мэнад!
Отчего неведомого Юга
Снится нам священный сад?

И о чем под кущей огнетканой
Чутколистный ропщет Дионис,
И, колебля мрак благоуханный,
Шепчут лавр и кипарис?

И куда лазурной Нереиды
Нас зовет певучая печаль?
Где она, волшебной Геспериды
Золотящаяся даль?

Тихо спят кумиров наших храмы
Древних грез в пурпуровых морях;
Мы вотще сжигаем фимиамы
На забытых алтарях.

Отчего же в дымных нимбах тени
Зыблются, подобные богам,
Будят лир зефирострунных пени —
И зовут к родным брегам?

И зовут к родному новоселью
Неотступных ликом голоса,
И полны таинственной свирелью
Молчаливые леса?...

Вдаль влекомы волей сокровенной,
Пришлецы неведомой земли,
Мы тоскуем по дали забвенной,
По несбывшейся дали.

Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может, —
И воззвать их не сильна!

ТРИЗНА ДИОНИСА

Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда Мэнад безумный хор
Смятением воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор, —

На высотах, где Мельпомены
Давно умолкнул страшный глас
И меж развалин древней сцены
Алтарь вакхический угас, —

В благоговеньи и печали
Воззав к тому, чей был сей дом,
Мэнаду новую венчали
Мы Дионисовым венцом:

Сплетались пламенные розы
С плющем, отрадой дерзких нег,
И на листах, как чьи-то слезы,
Дрожа, сверкал алмазный снег...

Тогда пленительно-мятежной
Ты песнью огласила вдруг
Покрытый пеленою снежной
Священный Вакхов полукруг.

Ты пела, вдохновеньем оргий
И опьяняясь, и пьяня,
И беспощадные восторги,
И темный гроб земного дня:

«Увейте гроздем тирсы, чаши!
Властней богов, сильней Судьбы,
Несите упоенья ваши!
Восстаньте — боги, не рабы!

«Земных обетов и законов
Дерзните преступить порог, —
И в муке нег, и в пире стонов
Воскреснет исступленный бог!...»

Дул ветер; осыпались розы;
Склонялся скорбный кипарис...
Обнажены, роптали лозы:
«Почил великий Дионис!»

И с тризны мертвенно-ваххальной
Мы шли, туманны и грустны;
И был далек земле печальной
Возврат языческой весны.

ERITIS SICUT DEI

Θειότατον τό Γνώθι σαυτόν.

Heraclit. Eph.

Haec tractanti animo et noctes et dies
cogitanti existit illa a deo Deiphico prae-
cepta cognitio, ut ipsa se mens agnoscat
coniunctamque cum divina mente se sen-
tiat, ex quo insatiabili gaudio completur.

Cicero, Tusc.

У прага тех высот, где, светлых долов радость,
Труд путника делить уже не смеет Младость,
Средь мрачной прелести нагорных диких мест,
При хладном блеске звезд, я спал...

Незримый крест

Воспоминаний злых и поздних сожалений,
Надменной юности беспечных преступлений,
Мой тяжкий крест влача, — то был мой горький сон, —
Язвим раскаянем и сердцем сокрушен,
Тропой обрывистой наверх Голгофы новой
Я шел. Закат угас, багряный и суровый,

И мглою пепельной, как прахом урн, замёл
Нагую крутизну и безотрадный дол...
Усталый, я достиг вершины каменистой —
И видел древний храм. Зари венец огнистый
Далеко обнимал вечерний небосклон
За лесом сумрачным рассеянных колонн.
На ветхом мраморе ступёней величавых,
Где воздвигал один между столпов безглавых
Свой хмурый архитрав дряхлеющий колосс,
Под бледным саваном белеющих волос
Полураздраною прикрыта власяницей,
Сидела пифия и мстящею десницей,
Начертан на столпе, мой суд и приговор
Указывала мне... И, боязливый взор
Подъемля к письменам, прочел я: САВТОН ГНОФИ.
— «Такою ли тебя, на этой ли Голгофе»,
Я с плачем восстенал, «о, Мудрость, нахожу?
Себя ли до конца познанем осужу?
Затем ли с детских лет я, тайн твоих ревнитель
Душой алкающей сию взыскал обитель?...
Медностропильный твой мне снился храм. Вясь
По млечным мраморам, сплела живая вязь —
С лилеей амарант, нарцисс, и маки сонны,
И крокос солнечный, и розы благовонны.
Средь сеней лавровых и храмовых колонн
Пророков светлый сонм и вдохновенных жен
Скитался, упоен безмолвным созерцаньем,
Иль оглашал холмы воздушных лир бряцаньем,
Иль с шепотом листвы и тишиной небес
Сливал гармонии восторженных словес.
Являл полубогов крылатый строй движений,
И в ясном взоре блеск недольних отражений,
И, на челе забыт, недольней тайны свет;
На их устах блуждал вещательный привет,
Луч незакатных зорь в улыбке сокровенной;
И каждый, полн в себе мечты проникновенной,
Сиял, как духи сфер, что горний свой закон
Блюдут, погружены в астральный светлый сон,
И все, блаженные, вокруг солнечной подруги
Свершали, хор светил, мистические круги.
И ты, владычица, как юность, ты цвела!
Ты вещей Дафною и дубом увила
Руно золотых кудрей, отраду Дионеи.
Риз испещренных блеск перепоясав, змеи
Смарагдно искрились. Лег на устах пэан.
Взор созерцал Олимп, и Ночь, и Океан!

Звучал треножник твой, семи согласный струнам.
Ты руку левую простерла к вечным рунам,
Десной сжимая мак и сея фимиам;
И рок письмен гласил: «Познай себя ты сам»;
И в дыме жертвенном царил победным ликом
Подобный богу Дня; и, в торжестве великом,
Хор, прорицая, пел: «Се Человекобог!
Кто зрел его, в себе творит ему чертог!
Кто вышел в путь, дойдет до светлого порога;
Кто познаёт себя, в себе познаёт БОГА!...»
Прекрасный, гордый сон! Где храм? Где вещий пир?
Развей фимиам! Распался в прах кумир!
Как путник, много лет вздыхавший об отчизне,
Гость поздний, в дом родной пришел я к мертвой тризне,
И урну хладную прижал к своей груди —
Сам мертв, сам тлен и прах...»

И ниц я пал... «Иди!»

Дохнуло надо мной, как бледный вздох надежды...
«О, Мудрость! где же путь?» — к волне святой одежды
Устами жадными прильнув, я лепетал...
И ясно внял: «Иди!» — и смолк, и трепетал...
Неизреченное уста ее шептали, —
Глаза ж — глаза змеи — в душе моей читали...

Я, смутен, встал от сна и гребнем гор пошел,
При хладном блеске звезд. Путь выше, выше вел...
Но рдеет слева свет, и месяц круторогий
Взошел и отдался змеящейся дорогой
В провале черной мглы, по зыби тусклых вод...
Тропа вилась к зубцам белеющих высот,
И вниз ветвилась. И, приведен к распутию,
Глядел я в дол, влеком мерцающею мутью...
Волцями шелестит, сверкая, чешуя...
Взор, схвачен, узнаёт два зрящих острия...
Обеты бледные, в устах заклатья тают, —
Глаза ж — глаза змеи — в душе моей читают...

КУМЫ

Мизена гордого и миловидных Бай,
Где пленных Нереид объемлет тесный рай,
Милей мне древние, пророческие Кумы.

Там величавые в душе питал я думы,
Стоя на высоте священного кремля.
Сухим чапыжником оделася земля,
И малые следы напоминают стены;
Но море, но берега не знают перемены.

Там — скал Гаэтских тень, тут — Искии шатер
На двух краях небес стрегут морской простор,
Где, не стесненная объятием залива,
Волна подымается, вольна и горделива.
И, сумрачный предел с пучиною деля,
Вокруг лежат во мгле Флегрейские поля:
Там, среди рощ глухих, зияют Орка своды;
Там Ахерусии недвижимые воды.

И солнца за морем пылающий заход
Путь стелет медяной чрез бездну темных вод;
И, умирая, вал у ног вздыхает мерно;
И веет из-за гор дыханием Аверна;
И чует мысль, смутясь, Аида близкий хлад, —
Как в день, когда судьбам внимал Анхисиад,
И демона вотще Сивилла отрясала,
И гласом неземным пещеру потрясала.

ТЕРПАНДР **

Змееволосой Распри демон
Отряс стопламенный пожар —
И гибнет холмный Лакедемон
Лютейшею из горьких кар.

Как быстрый яд, сердца объемлет
Братоубийственный Раздор,
И на себя мечи подымлет,
В безумьи, многочадный Дор.

Как умолить Пощаду неба?
Мужей уврачевать сердца? —
Пытает старость деву Феба,
И дева требует — певца...

К царям текут во злобе ярой,
Как разделившийся Скамандр...
И с седмиструнную кифарой
Встает лесбийский гость — Терпандр.

*

Он ударил в мощны струны —
И сердца пронзает хлад...
Мещет звонкие перуны,
Строит души в мерный лад.

Славит он обычай отчий,
Стыд и доблесть, ряд и строй;
Правит град, как фивский зодчий,
Властно-движущей игрой.

Он поет — и сонм окружный
Водит в круге звучных чар,
И пятой, и грудью дружной
Вторит песни млад и стар.

Он поет — и в чинном ходе
Старцы, светлые, идут;
Руки в братском хороводе
Вои воям подают.

И припевы соглашает
С вражьим станом вражий стан,
И раздолье оглашает
Очистительный пэан.

И, ликующее вече
Множа пляской легких Ор,
Резвых дев звенит далече
Черетом венчанный хор.

Жадным пламеням алтарным
Уготованы тельцы,
И по капищам янтарным
Вьются свежие венцы.

ОРФЕЙ

Не Судьба — незрячий пастырь — властным посохом, Орфей! —
Боги путь твой указали промыслительной рукой,
И склонили путь рыданий к безнадежным глубинам,
И живым увидеть оком дали тихой Смерти дол.
И томительной неволи, умолительный певец,
Вечны створы бледноликий пред тобой разверз Аид!

Даровали мудро боги невредиму быть певцу
В преисподней, скрытой милой цветоносною землей.
В сумрак бездны, над которой наш беспечный хор скользит,
Он доверчиво нисходит к рою зыблемых теней.
Видит ловчий лет Эринний на пахучий крови след,
Видит пленных вечный ужас в медяных тюрьмах Горгон.
И, с Харитой неразлучен, ** уклонясь от многих рук,
К нам восходит и заводит победительный пэан.

ДНИ НЕДЕЛИ

Обычай приурочивать дни к семи светилам, именуемым планетами (Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну), возник у Египтян, но существует у всех людей.

Дион Кассий

Силой звездных чар, от века,
В дни трудов и в дни торжеств,
Посещают человека
Семь таинственных божеств.

И ведут чредой священной
Тот же стройный, светлый ход,
Как впервые в храм вселенной
Совершился их приход.

И в веселый миг начальный
Круг заводит Солнцебог,
Как впервые мрак печальный
Только он рассеять мог.

И за ним, с улыбкой ясной, —
Сребролукая Луна,
Как впервые в мир прекрасный
Брату вслед пришла она:

Да наставит троглодита
Пользе стрел, труду ловить...
Ах! и кровь людей пролита,
И пылает пламя битв!

Стал он жить добычей бранной,
Дик и зол, как хищный барс: **
И за мирною Дианой
Мчится вслед кровавый Марс.

Но зерно и в снежном гробе
Греет зимний Водолей:
Жизнь смеется мертвой злобе,
Жизнь выводит злак полей.

С ним — торговли труд полезный;
Нет друзей, и нет врагов:
Быстрый, хитрый, всем любезный,
В мир летит гонец богов.

А за Гермием, с державой,
Зевс нисходит с высоты —
Образ вечной, величавой,
Неприступной Красоты.

Но высокого искусства
Людям тяжек чистый клад;
Их изнеженные чувства
Новых требуют услад:

И, полна богатств и лени,
Стала жизнь безумный пир,
И царицу наслаждений —
Афродиту видит мир.

Но опасен непрестанный
Праздник: алчность и разврат,
И сосед с враждою бранной
Опьяненных сторожат...

И умолкли звуки жизни,
И развеян прах из урн:
На безмолвной, долгой тризне
Пировать идет Сатурн.

И сидит старик, и — взоры
В дальний мрак вперяя — ждет:
Скоро ль новый блеск Авроры
Солнцебога приведет.

МИСТЕРИИ ПОЭТА

... dem die ewigen Melodien
Durch die Glieder sich bewegen...
Goethe, Faust II.

Phoebus adest: sonuere lyrae,
sonuere pharetrae.

Ovid.

В дальнем вихре тайных звуков, в стройной мере частых кликов
Свой поход и приближенье открывает Аполлон.
Струн бряцанье, звон кимвалов, лад и выступь мощных хоров
Песнопевцу возвещают бога песней: гость грядет!

И, как чуткий воин, внемля трубы строя, зовы боя,
И воспрянул, и трепещет, полн смятенья, полн отваги, —
Так, священный гул слышав, потрясен, певец не знает:
Он ли членов быстрым ростом перешел природы грани,
Иль им некий бог владеет и исполнил мышцы силой?
И родили ль плечи пару непокорных звучных крыльев,
Иль объят он звучной бурей и восторгнут от земли?

Как Арей, и яр, и мощен, на военный труд веселый
Он летит — и внемлет ближе трубы строя, зыки боя...
Он вождя любую волю совершит, неударжимый:
Повелит ли Муз владыка петь ему советы вышних,
Гесперид ли сны золотые, или думы Прометея,
Афродиты ли небесной, Геи ль творческие тайны,
Песни ль Парок, иль Сивиллы роковые прорицанья...

Вот он, вот, среди Муз, на грифах, златокудрый, светлоризый!
Вот каких он хочет песней! Говори, открой уста!
И, полна движеньем стройным, грудь певца звучит согласно;
Мощной мере горних хоров вторит отклик уст земных...

Но еще, средь гласов многих, слов неясных дар случайный
Ловит ухо, повторяют несвободных уст отзывы.
Миг — и ближе реют звуки. Полновнятные глаголы
Силу новую приемлют в дружном, стройном сочетаньи.
Красоту родят, как древле, гармонические волны
И лелеют дивный образ: он выходит, он яснее...
Сладкой мукой грудь томится в напряженьи нестерпимом:
Так натянут лук упругий, и чреват стрелой крылатой,
И едва выносит бремя, а стрелок все, целя, медлит —
Направляет каленую, напрягает тетиву.
Миг — и песнь, отзывом полным повторя внушенья бога,
С уст гремящих неудержно, совершенная, слетает,
Как стрела слетает метко, потряса звенящий лук.

ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Но когда с нечистым сердцем князя Муз певец встречает —
Откровенья ль искушая недоверчивою мыслью,
Иль тая корысть земную, иль, при дальнем зове, бледен,
В робком сердце, малодушный, не нашед отважной страсти:
Сердцеведец, негодуя, пролетает, звучный, мимо;
Постыжен, певец напрасно гостя молит о возврате;
Струн бряцанье, гул кимвалов замирают в отдаленьи;
Лишь немногих кликов отзвук, уловлен, поет в ушах...
Вызвать чары горних звуков ищет он бессильной лирой,
Но небес не воскрешает косных струн неверный звон.
Он сидит в досаде хладной, хитроумно вымышляя,
И свой вымысл мнит подобным Аполлоновым речам.
И на площадь выступает, мнимый Феба прорицатель —
И соперник тайный Феба; но личину видит всякий —
И богов, и смертных хохот судит Марсиеву песнь.

К ФАНТАЗИИ

О, Фантазия! ты скупцу подобна,
Что, лепты скопив, их растит лихвою,
Малый меди вес обращая мудро
В золота груды.

Так и ты растишь многовстречной Жизни
Опытную дань в мир без мер и граней;
В нем размерный строй Пиерид водитель
Зиждет согласный.

Сила над волной родников обильных,
Цепи ты плетешь из твоих сокровищ,
Вязью золотой ты любимцу вяжешь
Крылья желаний.

Все, что Жизнь сулит на пути далеком,
В руки ты даешь — и весы бросаешь:
«Ты забудь о той! ты в моих забудься
Легких объятьях!»

Поступью чужой ты на ложе всходишь;
Но скользит с главы многоцветных пэплос:
Гневен, он бежит... Ах! чем ты нежнее,
Он неудержней!...

Кроткие, тебе всех милей поэты;
Жарче их любовь, но больней измена:
И меня сковать ты, Сирена, хочешь
Песнью коварной:

«О, не доверяй оснащенным доскам,
Ни пустынных волн раменам упругим:
К берегу не плыви, чьи тебя вспоили
Воды живые!

«Видит взор отсель той страны святыни:
Днями и людьми древний блеск повержен,
Арки терн глушит, держит плющ колонны
Цепкою лапой.

«Мраморы богов, с искаженным ликом,
С бледностью ланит, а не краской жизни, —
Пленные толпы — в безалтарных сенях
Гордо стеснились.

«Плещет ли тебе голубая влага
Зовом нежных волн? О, не верь блуднице.
Прижимая стан, она гибко новый
Берег объемлет.

«Старому ж клялась сладкозвучной клятвой —
Лишь его любить, и брала залогом —
В пестрых поясах, на скалах прибрежных —
Желтые храмы...

«Льстивые уста!... Но запомни слово:
Темен будет смысл их немых гармоний,
Коль не я тебе передам их речи.
Будем же дружны!»

— «О, Фантазия! я тебе ль не верен?
Но не мнишь ли ты, будто я не волен?
В край богов пойду без тебя насытить
Алчные очи!

«Кликну Фебов клич по пещерам горным,
Над ключами вод, в кипарисных рощах:
Голос подадут, боязливо прячась,
Вечные нимфы.

«Выглянут, смеясь, из-за веток темных,
Луг мой окружат одичалым роем,
Много скажут тайн, заведут и пляски
Лунною ночью.

«Ты же, крадучись, вся — любовь и ревность,
По моим следам ты скитаться будешь,
Скована навек талисманом звонким —
Лирой моею!»

САФО

В. С. С.

Дев Кастальских дар — золотые струны
Стройте без меня, Лесбиянки-девы,
И венчайте пир: я с кудрей слагаю
Тяжкие розы!

Слышите ль у скал Амфитриты стоны?
Так средь звонких чаш и фиалок мирных
Стонет дух Сафо; как Эол полнощный,
Мчится далече.

Бурная, мой плач возлюбила сладкий —
И зовет Сафд, и зовет богиня:
С ней иду поднять к Афродите звездной **
Долгие пени.

Звать иду назад, на пустынном берегу,
Невозвратных дней золотое солнце
И ночным валам поверять с рыданьем
Имя Фаона.

ПЭСТУМСКИЙ ХРАМ

Твоей святыни древний порог узрев,
Вожатым Музам, и совершительным
Судьбам, и Счастьем Дня, и Солнцу,
Гений Эллады, творю обеты!

Тобой созданный вижу сих глыб упор,
Подъявший мощно славу надстолпия,
Как лира — гимн Терпандра! Вижу
Камней созвучье! Благоговейно

Вхожу с молитвой: вечно живете вы
В ограде тесной, вы, к полоненному
Столпов двойным венцом Олимпу
Лик возносившие лучезарний!

Святей молитва в храмах оставленных,
И глас твой громче, царь Посидон, звучит
Из-за пустыни травянистой
В гордом безлюдьи твоих святилищ!

Сих плит истлевших золототенные
Несли ступени многую дань морей:
Дары пловцов, тобой спасенных,
Ценных сосудов литде бремя.

Блужданий долгих из киммерийских волн
Обретши пристань, пред алтари твои
С чем приступлю — певец смиренный?
С древним напевом ожившей лиры.

МОЛИТВА КАМИЛЛА **

О, боги! вражье мертвое воинство,
Тут — жен молящих, там — проклинающих,
На выях преклоненных — ига,
Царственных Вей погребальный пламень, —

И заклегтавшей, оболочившей вдруг
Шелом мой крылья багряновейные —
Победы мощной крылья вижу, —
Боги, тягчимый чрезмерным счастьем!...

Вы льстили падшим; их упитали вы
На снесь железу: и преждевременно
Врагом венчаный храм обрызган —
Жертвой стотельчей вождя и Рима!

К престолом новым из ненавистных стен
В одежде снежной вас путеводит хор:
Грядите в Рим святой!... Но, горе! —
Тенью ваш сонм упредила Ревность!

Стремится в туче Страшная, чей удел —
Свергать вершины уединенные,
Равнять дубы с кустом ползучим, —
Вот Немезида! вот Мечь Победы!

Грозящей Девы предотвратив удар,
Летите сами вы, милосердые,
На стан победный с отчей карой,
Сами взыщите возмездье славы!

Когда ж великих ждет скорбь великая, —
Вождя разите, но пощадите Рим:
Да примет он вселенной скипетр, —
Мне же не молкнет хвала вселенной!

Да поминают имя Камиллово
Квириты, славя отчии подвиги!...
Но если Рим меня забудет, —
Боги, казните неблагодарность!

ДОВОЛЬНО!

Satis vixi vel vitae vel gloriae.

C. Iulius Caesar

Ты сердцу близко, Солнце вечернее,
Не славой нимба, краше полуденной,
Но тем, что кóней огнегривых
К Ночи стремишь в неудержном беге.

«Помедли», молит тучка багряная;
«Помедли», долы молят червлёные:
Мир, отягчен лучистым златом,
Боготворит твой покой победный.

И горы рдеют, как алтари твои;
И рдеет море влажными розами,
Сретая кóней огнегривых:
Ты ж их стремишь в неудержном беге.

И мещешь в мир твой пламя венцов твоих,
И мещешь в мир твой пурпур одежд твоих:
Венец венцов тебе довлеет —
Счастия легкий венец: «Довольно».

THALASSIA **

На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской Царь-девицы.
Лермонтов

БОГИНИ

Она глядит в просветы пиний,
Она сияет меж олив —
И гонит звонко яхонт синий,
Вспенясь, в ликующий залив.

Ткань Ореад — лазурный дым
Окутал кряж лилово-серый;
Она ж играет перед ним
С пенорожденною Киферой.

Богиням храм меж сих дерев,
Над синевой неизреченной, —
Мне снится — блещет, иссеченный
Под гимны ионийских дев.

НЕПОГОДНАЯ НОЧЬ

За серооблачными мглами
Блуждает молний тусклый бег.
Как птица белая, крылами
Бьет Непогода в темный брег.

Слепит и кажет день мгновенный,
Как в истощенные бразды
Всей хлынут ширью светлопенной
Широкодольные гряды.

Над мѡлом, гребней пережатных
Стоит прибой седым бугром;
И вторит, в реве вод обратных,
Громам пучины горний гром.

МАДОННА

Седой пожар над хлябью рева...
Клубится к небу влажный дым...
Но Твой утес встает, о, Дева,
Из лютых бездн, несокрушим!

Всю ночь, стена, набегом бури
Опустошались берега.
Сияний облачных в лазури
Омытой тонут жемчуга.

А волны злобные, надмясь,
Под темной бронзой звучных брѡней,
Мерно-ударною погоней
Летят, вспеняясь и дымясь...

Но Твой, о Дева, столп надежный
В их адской мгле, как страж, стоит;
И мрамор Твой в лазури нежной
Летучей радугой повит!

ВЕЧЕРНИЕ ДАЛИ

Как огневая колесница,
Сквозя чрез облачную стень,
Мчит над морями беглый день
Солнцедоспешная Зарница.

То в лоно темных вод излом
Пламенноствольных копий мечет;
То в горнем зареве крылом,
Как огневейный дух, трепещет...

Там — дали новые чудес,
Где из кудели легкорунной
Нависший дождь и проблеск лунный
Прядут эфир золотых завес.

Прозрачных струй дымится пряжа —
Вечерних марево Наяд...
Из волн, под озареньем кряжа,
Восходит пышностенный град...

ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ

Луч тронул гребни. В берег бьет,
Тоскуя, вал нетерпеливый...
Туч свето-отканый намет
Луна разъемлет... Мрак ревнивый

Навис над вспыхнувшим серебром...
Стихий слиянных пир созвучный!
Все — блеск, движенье, плеск и гром...
А — соглядатай, дух разлучный,

Тящий в тучах зоркий страх, —
Пред Ясноликою Зарница
Мелькнет — ты скажешь: горний прах
Взмела богини колесница.

ПОЛНОЛУНИЕ

Лишь черный хрящ в росе алмазной,
Да цепи скал, да зыби блеск...
Ревучий сбег, гремучий плеск,
Прибоя плеск однообразный...

Над морем полная луна
На пепле сизом небосклона;
И с преисполненного лона
Катится сонная волна —

И на зеркало влаги встречной
Роняет изумруд лучей...
Вдали ж не сякнет искротечный,
Бело-расплавленный ручей...

Стихий текучих колыбель,
То — мир безжизненно-астральный?
Или потоп первоначальный —
Земли младенческой купель?

ВСТРЕЧА

За мысом занялася мгла;
Чуть рдея, путь дымится млечный
На поле звезд, остроконечный,
Рисует парус тень крыла.

И прегражден наш бег раздольный,
И вещей ужас грудь теснит,
Меж тем как полог треугольный
Полнеба тихо полонит,

Безвучной тайной рея мимо...
Недвижен кормщик на корме...
Миг — и, луной вослед сребримо,
Ветрило тонет в полутьме...

От мыса путь огнится встречный,
И дале Тень, и выше твердь...
О, вёсел плеск! О, пояс млечный!
О, блеск живой!... О, Жизнь! О, Смерть!...

СФИНКС ГЛЯДИТ

Как замок медный, где Даная
Приемлет Зевса дождь золотой, —
Гора зардела медяная
Под огнезрачную фатой.

Не дева негой бледной млеет
Под ливнем пламенным небес —
Зыбь хрисолитная светлеет
В эфире солнечных завес.

Как сизый пепл, над влагой рея,
Ночь сторожит огнистый день,
Где — стройный Сфинкс — легла Капрея,
Как тайны изваянной тень.

Хладеет Иския. Но плавит
Огнь поздний мощно медь зыбей,
И брег в смарагдном блеске славит
Волны багряный гименей.

И Сфинкс глядит, и простирает
Тень лап в мерцанье Нереид...
И все бледнеет, умирает, —
И все мертво... И Сфинкс глядит...

ЗЕРКАЛО ЭРОСА

While fast together, alive from the abyss
Clung the soul-wrung implacable close
kiss.

D.-G. Rossetti

Грозная туча
Над мраком синим
Вечерних волн...
И туча нисходит,
И волны чернеют...
И в дымной мгле
Грозят, полу-зримы,
Утесы Смерти.

Куда, куда
По сизым грядам,
Пугливый рой
Доверчивых крыл?

Куда влечет
Ладью за ладьей
Из мрака волн
Златистый призыв?

*

Отблеск умильный
Зари вечерней
Под бровью туч...
И остров вершинный
Плывет в озареньи —
Эфирный дом
Надежд светлоликих,
Элизий плена.

Одни, садов
Под черной листвою,
Рука с рукой,
С устами уста,
Роптанье волн
Мы ловим вдали,
Зари в очах
Златистый восторг!...

*

Нам снится:
Мирообъятным
Лоном любви —
То море внизу
И облак тьмы,
Ветрила трепет,
Злато зари —
И среброризый,
Брежущий брег —
Мы держим, бессмертные боги...

Нам снится:
Жертва и боги,
Чуждый тот мир
И дольний тот сон
Замкнув в груди,
Лобзанья мукой
Слиты на миг,
Глядим в немую
Вечность очей —
Бессмертную, вечную вечность...

*

Рука с рукой,
С устами уста,
Каплю за каплей пьем
Сладостной муки сон...
А над нами, вещая
О роке, ропщет
Стройная ночь кипарисов.

В ЧЕЛНЕ ПО МОРЮ

I

Помнишь, как над бездной моря
В легкопарусном челне
Мы носились, с ветром споря,
По ликующей волне?

Как на нас, грозя, стенами
Мчались воды, вспенены?
Как лазурные под нами
Разверзались глубины?

Бурно грудь порыв отваги
Напрягал, как паруса.
Песнь твоя мятежной влаги
Побеждала голоса.

Все рвалось, и все летело —
Вал и брызги, ветер и челн;
А спокойный кормчий смело
Правил путь через гребни волн...

Над пучиной буйной страсти
Ныне так же мы скользим;
Вверя жребий чуждой власти,
Так же властвуем над ним.

И взыгравшей светлой бури
Нам угрозы не страшны;
И волнуемой лазури
Вожделенны глубины.

II

Между двух мерцаний бледных
Тихо зыблется наш челн:
Тлеют севы звезд победных;
Тлеет пепл вечерних волн.

Над лиловой гладью, мимо,
Ночь плывет, свой лик та́я,
И журчит, ладьей гонима,
Переливная струя.

Сон пустыни... Мгла покоя...
А с туманных берегов
Долетают звуки боя,
Спор неведомых врагов.

Гром набега... Гул погони...
Кинув синие луга, —
Знаю — то морские кони
Потрясают берега...

Дальний ропот океана
Чутко внемлет тишина...
Нас несет Левиафана
Укрощенного спина!

Силе страшно-благодарной
Ты доверилась со мной,
И стремишься над бездонной,
Беспощадной глубиной.

III

Час истомы, час отлива...
Поздно. Пристань далека.
По излучине залива
Два зажглися маяка.

Мы ж от искры путеводной
Своенравно держим прочь —
И дерзаем бег свободный
В неразгаданную ночь...

Поздно. Скоро месяц встанет
Встретить челн из дальней мглы,
И желанный брег оглянет,
И попутные валы.

Но лишь омут звезд трепещет
В тайне тверди, в тайне волн;
Да, браздя пучину, мещет
Брызги тлеющие челн.

Фосфорические блески
В переливах без числа
Ткут живые арабески
Вкруг подвижного весла...

Свет предлунный пламенеет;
Ярче искрится зенит...
Брег угаданный темнеет, —
Брег таинственный манит...

ПРИЛИВ *

Марии Михайловне Замятниной

Предтеча резвая прилива —
Покроет влага гладь песков,
Неудержима и бурлива,
Зерцалом светлых облаков —
И медлит миг — и вспять, пуглива,

Отхлынет, с громом злой гряды
Звенящих струй мешая речи...
Гряда идет, а ей чрез плечи,
Нетерпеливы и седы,
Растут вспененные ряды.

И, веселяся, Старец-Море
На чад, бегущих в бурном споре,
Глядит, сребрясь, издалика.
А вокруг, в затопленном просторе,
Смесь, лучатся облака.

НА СКЛОНЕ

Овцы бродят подо мною,
Щиплют зимний злак стремнин.
С Атлантической волною
Из обрывистых глубин

Веет солью. Твердь яснее
Робкой лаской меж камней.
Даль туманная синееет;
Чайка искрится по ней...

Горько, Мать-Земля, и сладко
Мне на грудь твою прилечь!
Сладко Время, как загадка
Разделения и встреч.

С тихим солнцем и могилой
Жизнь мила, как этот склон, —
Сон неведения милый
И предчувствий первый сон!

СТУПЕНИ ВОЛИ

Воля! хищницею нищей —
Рыжей птицей стен рудых —
Ты гоняешься за пищей
В смутной бездне вод седых.

Стаей чаек окликаешь
Ты пустынные скалы,
И на косный брег толкаешь
Неистомные валы.

И, туманная, синеешь
Предо мной и надо мной;
И в груди моей земной,
Неземная, пламенеешь!

Одиночество творишь
Ты единством волн безбрежных,
И из уст моих мятежных:
«Так, да будет!» — говоришь.

МГЛА

Снежный саван пал на обрывы скал,
И по тернам нагорным — снег.
И в безднах из мглы чуть брезжут валы,
Опеняя незримый брег.

И глубинная мгла до Земли досягла,
И Твердь низошла к Земле.
И, как остров — один меж близких пучин, —
Она тонет в единой мгле.

Океан и Твердь — как рожденье и смерть;
И Земля — о, горький сон!...
И ветра вой, — и в безднах прибой, —
И по тернам нагорным — стон...

И реет порой, как духов рой,
Стая чаек через туман;
И садится на брег, и — как свеянный снег —
На родимый падет Океан.

ГОЛОС МОРЯ

В белосумрачном рассвете —
Словно гул колоколов...
Узнаю тебя в привете,
Океан, твоих валов!

Твой ли зов я слышу, Море?
Твой ли, Вечность, этот зов?
Место есть в глубоком хоре
Стонам смертных голосов.

Дальний звон над ложем реет...
На устах горит: «Иду!...»
С каждым смутным вздохом веет
В белом сумраке: «Я жду...»

ВЕНЕЦ ЗЕМЛИ

Пьяный плющ и терен дикий,
И под чащей — скал отвес,
Стремь — и океан великий
До безбрежности небес...

Так Земля в венце терновом,
Скрытом силой плющевдй,
Мерит с каждым солнцем новым
Даль пучины роковой.

Там, за гранью, солнце тонет,
Звезды ходят — вечно те ж...
Вал дробится, берег стонет —
И венки, как вечность, свеж.

Солнце тонет, мир покорен —
Звезды те ж выводит твердь...
Жизнь венчает дикий тѐрен,
Пьяный плющ венчает смерть.

ОРЕАДЫ

Sie dürfen früh des ewigen Lichts ge-
niesen,

Das später sich zu uns hernieder wendet.

Goethe, Faust II

НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ

В час, когда к браздам Титана, вслед колесам золотым,
Дол, курильница тумана, благодарный стелет дым
И, покорствуя, приемлет синей ночи тихий дар,
А с востока даль объемлет сребропламенный пожар —

И, царя, луна восходит в блеске дивном из-за гор
И в ущелия низводит чародейственный дозор,
И в очах вскипают слезы, и, проснувшись с луной,
Реют видящие грезы над почившею страной, —

Еслиб сил стихийных крылья были смертному даны
И по воле, без усилья, уносили в те страны,
Где забвенье, где блаженство тайный голос нам сулит,
Где сияет совершенство, где желанье не долит, —

К дальним плыл бы я вершинам — тучкой в лунных перлах туч, —
Где, по девственным стремнинам, рдеет запоздалый луч,
К лону снежной багряницы золотой бы стружкой льнул,
Бег вечерней колесницы упредил и обманул...

Всю бы ночь, всезрящим духом, чужд алканий, чужд оков,
Я ловил бесплотным ухом содроганье ледников,
Водопадов дольний грохот, громы тяжкие лавин,
Горных эхо долгий хохот в звучном сумраке теснин;

В очарованной неволе все б глядел, как вечным сном
Спит царица на престоле в покрывале ледяном;
Как луна, зардев, садится за туманной пеленой;
Как венец алмазный льдится, обнят звездной глубиной.

Я бы стлался змием дымным по извилам пропастей;
Я б смеялся диким скимном в зевы алчущих пастей;
На груди чудовищ белых грудь крепил и охлаждал;
От созвездий оробелых золотой бы вести ждал—

И когда в святыне зрящей дрогнет вспыхнувший эфир
И по лестнице горящей вниз метнется трубный клир, —
Я б чело моей царицы дымкой облачной обвил,
Я бы первый луч денницы, упредив, благословил!

СТРЕМЬ

Как горный стрелок,
В обходах ловчих,
Угорьем, ущельем,
Через дебрь и кручь,
Кружит — и внезапно
Висит над обрывом,
В убежище серны, —
И яром под ним
Краснеет бор!

И кражем идет,
Где чахнет хвойник,
Где пажити блекнут;
Меж диких скал
И омутов черных,
По теменям горным,
Он рыщет и топчет
Первины снегов
Под небом тьмы!

*

И сходит к зеленым
Пастбищам долу,
И злачным разлогом,
С ключом студеным,
Резвый, сбегает, —
Забыв о бездне...

И вдруг —
Над зевом пустым,
На стремном краю,
Стоит — не дышит,
И мерит кружащимся взором
Во мгле глубинной
Дольние дали...

Сияют глубоко
Очи — озера,
И в небо глядятся;
И вниз с уступов
Прядают, блеща,
Живые воды...
А там —
Змеистым серебром
Мерцает река;
И сходит ледяной
С поднёбесья полог на доли...
Глядит, вздвися,
Путник — не дышит...

ПРЕД ГРОЗОЙ

На сереберверхий свой шатер
Дух гор наваял пепл суровый,
И скорби мрак черно-лиловый
До их подножия простер.

Как смерти зрак, встает над долом
Гора под ризой грозовой,
И вторит рокот гробовой
Громов прерывистым глаголам.

И ужас высей снеговых
Внезапной бледностью бледнеет,
И дол, приникнув, цепенеет
При вспышках молний змеевых.

ДОЛ

Мгла сеет дождь. Путь бледный долог...
Угрюмых скал рудой орел —
Я б взлетел за низкий полог,
Застлавший бледный, долгий дол!

На узкий гроб — как саван плотный,
На душный склеп — как тяжкий кров,
Налегший разорвал покров! —
И мне мерцал бы снег бесплотный
Вечерних неземных шатров...

РАЗРЫВ

Как в лен жреца, как в биссос белый,
В свой девственный одеян снег,
Незыблем он — окаменелый
Земли от дольного побег!

Дерзни восстать земли престолом!
Крылатый напряги порыв!
Верь духу — и с зеленым долом
Свой белый торжествуй разрыв!

ДВА ВЗОРА

Высот недвижные озёра —
Отверстые зеницы гор —
Мглой неразгаданного взора
Небес глубокий мерят взор.

Ты скажешь: в ясные глядится
С улыбкой дикою Сатир, —
Он, тайну Мойр шепнувший в мир, **
Что жребий лучший — не родиться.

ДУХИ И ДУШИ

И милость радуги сияет
Над озаренной высотой,
И растворенной красотой
Ткань влаги тонкой напояет.

И с круч смарагдных дым прозрачный
Висит и веет, и лучи
Робеют в дол добрызнуть мрачный,
Где, рай покинув огнезрачный,
Седые прядают ключи.

ВОЗВРАТ

С престола ледяных громад,
Родных высот изгнанник вольный,
Спрядает светлый водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.

А облако, назад — горе —
Путеводимое любовью,
Как агнец, жертвенною кровью
На снежном рдеет алтаре.

ПРОСТИ!

«Иди, скиталец бесприютный!»
— «Прости ж!..» И гаснет эхо гор...
А в очи мне из бездны смутной
Глядит, как взор безумья мутный, —
Как смерть, зияющий — укор...

И в бездне мчатся, как Мэнады,
Разлуки жадные струи...
И горы белые мои —
Как лунный сон... И нет отрады,
Ни мира сердцу...

ВЕЧНОСТЬ И МИГ

Играет луч, на гранях гор алея;
Лучится дум крылатая беспечность...
Не кровью ль истекает сердце, млея?...

Мгновенью ль улыбнулась, рдея, Вечность?
Лобзаньем ли прильнуло к ней Мгновенье?...
Но всходит выше роковая млечность.

Пугливый дух приник в благоговенье:
Гость бледный входит в льдистый дом к Бессмертью,
И синей мглой в снегах легло Забвенье...

Молчанье! Вечность там, одна со Смертью!

НА ВЫСОТЕ

Мне ужас памятен громад оледенелых,
Подобный хаосу валов оцепенелых,
Вблизи нависнувшей над пропастью скалы,
И дали, полные отяжелевшей мглы,
И облак солнечный над пеленой тумана,
И главы гор по ней, как рифы океана,
И в аметистово-прозрачной глубине
Озер подводных ртуть, сверкающих на дне,
И золото снегов на пиках крутобоких,
И высей тихий блеск, и тень долин глубоких...
И миг мне памятен: как самоцветный лал,
В разлив расплавленный диск лучезарный пал
И в пурпурных волнах, как слиток раскаленный,
Тонул и выплывал над далью потопленной,
И в плавном торжестве роскошно догорал,
Доколе острова темнеющий коралл,
Как пристань, ждущая божественной галеры,
Над ней не распростер прохладные пещеры
И день, как лиры вздох, за рифом не угас...

Сестра моей Звезды была со мной в тот час
Над бездной, в вышине, одна — с вечерней славой;
Заветов пламенных грозою величавой
Меня обвеяла, и прорицала мне
О жизни, тонущей в пурпуровом огне,
О крыльях, реющих за грезой надзвездной,
О славе золотой, пылающей над бездной,
О цели творческой священных берегов.
И зевом гибели, пред вечностью снегов,
Грозящей я клялся, и повторял обеты:
Исполнив меру мышц, достичь победной меты;
Молвы враждебной суд, как суд друзей, презреть —
И, крайнее дерзнув, единою гореть
Мечтой излюбленной и волей вдохновенной
В надежде золотой, в надежде дерзновенной!

АЛЬПИЙСКИЙ РОГ

Средь гор глухих я встретил пастуха,
Трубившего в альпийский длинный рог.
Приятно песнь его лилась; но, зычный,
Был лишь орудьем рог, дабы в горах
Пленительное эхо пробуждать.
И всякий раз, когда пережидал
Его пастух, извлекши мало звуков,
Оно носилось меж теснин таким
Неизреченно-сладостным созвучьем,
Что мнилось: незримый духов хор,
На неземных орудьях, переводит
Наречием небес язык земли.

И думал я: «О, гений! как сей рог,
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах.
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит».
И из-за гор звучал отзывный глас:
«Природа — символ, как сей рог. Она
Звучит для отзыва; и отзыв — Бог.
Блажен, кто слышит песнь, и слышит отзыв».

СОНЕТЫ

НА МИГ

День пурпур царственный дает вершине снежной
На миг: да возвестит божественный восход!
На миг сзывает он из синевы безбрежной
Златистых облаков вечерний хоровод.

На миг растит зима цветок снежинки нежной,
И зиждет радуга кристально-яркий свод,
И метеор браздит полнощный небосвод,
И молний пламенник взгорается, мятежный...

И ты, поэт, на миг земле печальной дан!
Но миру должнему тобою мир явленный
Мы зрели, вечностью мгновенной сияян, —

О, Пушкин! чистый ключ, огнем запечатленный
Мечей, ревнующих к сынам юдольных стран! —
И плачем вечно мы в тоске неутоленной...

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда Харит наперсник дерзновенный
Вдруг обнажит лик вечной Красоты, —
Его мечте не веря вдохновенной,
Нежданный лик смущенно видишь ты...

Но побежден спор косной слепоты,
И вот — слеза, и трепет вдруг мгновенный,
И памяти ты внемлешь сокровенной:
«Художник прав: я зрел сии черты!»

Звучите нам, небесные залого!
Что зрели мы — еще блаженны боги, —
Художества, напоминайте нам!

О, Музыка! в тоске земной разлуки,
Живей сестер влечешь ты к дивным снам:
И тайной Рок связал немые звуки.

ПОЛЕТ

Из чуткой тьмы пещер, расторгнув медь оков,
Стремится Музыка, обвита бурной тучей...
Ей вслед — погони вихрь, гул бездн, и звон подков,
И светоч пламенный, как метеор летучий...

Ты, Муза вещая! Мчит по громам созвучий
Крылатый конь тебя! По грядам облаков,
Чрез ночь немых судеб и звездный сон веков,
Твой факел кажет путь и сеет след горячий.

Простри же руку мне! Дай мне покинуть брег
Ничтожества, сует, страстей, самообманов!
Дай разделить певцу надвременный твой бег!...

То — Прометеев вопль, иль брань воздушных станов?
Где я?... Вкруг туч пожар — мрак бездн — и крыльев снег, —
И мышцы гордые напрягших мощь Титанов...

СНЫ

«Проснись, пора домой!» — сказал мне голос мирный.
В забвеньи полусна покинул я ночлег;
Но к Утренней Звезде летя чрез понт эфирный,
Вспомнил синий Понт, златистый дальний брег...

И берега я достиг. Равниною сафирной
Ладья готовилась стремить скользящий бег:
Сонм светлый покидал, в венцах, с игрою лирной,
Для горьких снов Земли обитель горних нег.

Тоскующий порыв умчал меня назад, —
Я Землю вновь узрел, с отрадой слез обильных:
Был тих прекрасный мир, и пламенел закат.

Но жизнь минувшая спалà меж плит могильных,
И пуст был чуждый мир... С востока веял хлад:
Туда меня влекло желанье крыльев сильных...

УВЛЕЧЕНИЕ

Где цепью розовой, в сияющей дали,
Тянулись облака и в море отражались,
Лазурные валы, горя, преображались
И ризу пурпура прозрачного влекли.

Мы ж к пламенным волнам — стремясь — не приближались:
Они бежали нас; чем дале мы гребли,
Пространства бледные за нами умножались,
Где тень и отблеск волн ночной узор плели.

Мы тень с собой несли — и гналися за светом...
Но вдруг опомнились: исчез лукавый сон, —
Внезапно день потух, и потемнело море.

Вставал далекий берег суровым силуэтом,
И безразличен был поблекший небосклон, —
И сердце — гордое свое ласкало горе.

ЛЮБОВЬ

Мы — два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!

Мы — два коня, чьи держит удила
Одна рука, — одна язвит их шпора;
Два ока мы единственного зора,
Мечты одной два трепетных крыла.

Мы — двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почитет Красота.

Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.
Мы — две руки единого креста.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СОНЕТЫ

Италия, тебе славянский стих
Звучит, стеснен в доспех твоих созвучий!
Стих родины отзывчивой и певучей,
Прими его — дар от даров твоих!

АДРИАТИКА

Над серой бездной вод означилась луна,
И дали жидкий блеск, и струй металл текущий...
Ветр мечет мертвый лист по отмели зыбучей,
Где начертал отлив немые письма.

Воюет, ропща, мель седая глубина —
И шлет вспененный вал — и изумруд кипучий
В прозрачный жидет свод — и бурю ревучей
Падет — и вспять скользит — и вновь идет, гневна.

Свой щит оранжевый над влагой воздымая,
Длил парус искру дня: угасла и она...
За гулким зовом волн зияет ночь немая...

Мы жили: полон дух, и полны времена!
И вновь к тебе летим, к тебе — две чайки, — Майя! —
Где плещет ночь и день зеленая волна.

БАРКАРОЛА

Над лунной негой волн, в ладье, под тайной маски,
Моя Печаль поет при плеске баркарол,
И лютни звон струит свой палевый Пактол
В опаловую даль, где, млея, тонут краски...

Моя Печаль молчит, бледна от нег и пляски;
Ей плещет буйный хор с ликующих гондол;
Жестокость в кудри ей, с извивом жадной ласки,
Вплетает алых роз стожалый ореол.

Но Жалость юная с подругой делит розы,
Багрит венец лилей и льет с улыбкой слезы...
А с берега, мертвый взор вперив на дальний челн,

Тень, погребальные влачащая одежды,
Белеет, — и на зов покинутой Надежды,
«Прости!» — звучит ответ над лунной дремой волн.

ЛАГУНА

Над бледным саваном недвижимой лагуны,
Мрача покой небес и млечный кругозор,
На брег отчаянья дерев нагой позор
Зовет уснувший гром и летних гроз перуны.

Угрозой черною над краем черной дюны
Стоит зима дубов, и в страхе ловит взор
Окостенелых мышц чудовищный узор,
Ожесточения страдальческие руны...

Чуть плещет низкий вал в прибрежном тростнике.
Вися над бездной, челн колеблет вдалеке
Свой образ, вод стеклом незримым отраженный.

И, тенью царственной означив небосклон,
Встает туманный град в дали замороженной,
Как гордой памяти неусыпимый сон...

LA PINETA

Покорный день сходил из облаков усталых;
И, как сомкнутые покорные уста,
Была беззвучна даль, и никла немота
Зеленохвойных чащ и немощь листьев увялых.

И кроткою лилась истомой теплота
На нищий блеск дубов, на купы пиний малых;
И влажная земля, под тленьем куц опалых,
Была, как Смерть и Сев, смиренна и свята...

Таким явился мне, о, мертвая Равенна!
Твой лес прославленный, — ты, в лепоте святынь,
Под золотом мозаик хранительных забвенна!

И был таков твой сон и скорбь твоих пустынь,
Где веет кротко Смерть, под миром крыл лелея
Мерцающую Жизнь, как бледный огонь елея.

«ВЕЧЕРЯ», ЛЕОНАРДО

*Александре Васильевне Гольштейн **

Гость Севера! когда твоя дорога
Ведет к вратам единственного града,
Где блещет храм, чья снежная громада
Эфирней гор встает у их порога,

Но Красота смиренствует, убога,
Средь нищих стен, как бледная лампада:
Туда иди из мраморного сада
И гостем будь за вечерю Бога!

Дерзай! Здесь мира скорбь, и желчь потира!
Ты зришь ли луч под тайной бранных линий?
И вызов Зла смятенным чадам Мира?

Из тесных окон светит вечер синий:
Се, Красота из синего эфира,
Тиха, нисходит в жертвенный триклиний.

IL GIGANTE **

Средь стогн прославленных, где Беатриче Дант,
Увидев: «Incipit», воскликнул, «Vita Nova», —
Наг, юноша-пастух, готов на жребий зова,
Стоит с пращой, себя почуявший Гигант.

Лев молодой пустынь, где держит твердь Атлант.
Он мерит оком степь, и мерит жертву лова...
Таким его извел — из идола чужого —
Сверхчеловечества немой иерофант!

Мыщ мужеских узлы, рук тяжесть необорных,
И выя по главе, и крепость ног упорных,
Весь скимна-отрока еще нестройный вид, —

Все в нем залог: и глаз мечи, что медля метят,
И мудрость ждущих уст — они судьбам ответят! —
Бог — дух на льва челе... О, верь праще, Давид!

«MAGNIFICAT», БОТТИЧЕЛЛИ **

Как бледная рука, приемля рок мечей,
И жребий жертвенный, и вышней воли цепи,
Чертит: «Се аз, раба» — и горних велелепий
Не зрит Венчанная, склонив печаль очей:

Так ты живописал бессмертных боль лучей,
И долу взор стремил, и средь безводной степи
Пленили сени чар и призрачный ручей
Твой дух мятущийся, о, Сандро Филиппеи!

И Смерть ты лобызал, и рвал цветущий Тлен!
С улыбкой страстною Весна сходила в доли:
Желаний вечность — взор, уста — истомный плен...

Но снились явственней забвенные глаголы,
Оливы горние, и Свет, в ночи явлен,
И поцелуй небес, — и тень Савонаролы...

MARIS STELLA

У гордых берегов полуденной земли,
Когда звезда любви сияла с небосклона,
Тебе, царица волн, небесная Диона,
Звучало кормчего хвалебное «Внемли!» —

Где из туманных бездн и меркнувшей дали,
Чрез лунные бразды сафирового лона,
Горя средь новых звезд, звезда морей — Мадонна —
К отрадной пристани приводит корабли.

И в час, когда валы в вечерней блещут славе,
С утесов голубых ее встречает «Ave»,
И сходит влажный гимн на тень небесных роз.

И, угадав сквозь сон восход ее заветный,
Я внемлю, с пеньем волн, из кущ лилейных грез,
Как Angelus парит в лазури предрассветной.

ВЕЧНА

Округлых облаков лилейные толпы,
И млея, и клубясь над гладью моря дальней,
Роняют в светлый сон голубизны кристальной
Блестящих отсветов недвижные столпы.

Далече стелет челн лазурные тропы;
Белеет анемон, и дышит цвет миндальный,
И легкий пар таит волной фаты венчальной
Весны полуденной неслышные стопы.

И часто с кряжа гор — ущелий гость бездомный —
Брега окликнет гром, — и льется теплый дождь,
И жаркая земля вздыхает грудью томной.

И в рощах флейты глас поет — желаний вождь,
С тоской разымчивой — протяжный — неразлучен...
И сладостный призыв мятежно-однозвучен...

LA SUPERBA

Тень реет. В глубине, за рощей горных пиний,
Залива гневный блеск под грозовым крылом,
И зыбкой чешуи изменчивым стеклом —
Туч отраженный мрак, и волн отлив павлиний...

А на краю земли, в красе надменных линий,
Восточный стражник — мыс подьмет свой шелом, **
И синие хребты властительным челом
Из влажной бирюзы встают до тучи синей.

Лазурный дух морей, безвестных гость дорог —
Вдали корабль; пред ним — серп лунный, вождь эфирный...
Уж день переступил предельных скал порог.

Но горном тлеющим, в излучине сафирной,
В уступах, на чертог нагромоздив чертог,
Все рдеет Генуи амфитеатр порфирный.

КИПАРИС

Очей глубокий мрак жена, под мраком риз
Недвижная в немом величии котурна,
Вперила в ночь ветвей, где в нише блещет урна;
Ласкает беглый день во мху разбитый фриз...

Так на развалинах святой земли Сатурна,
Смуглея меж олив, как средь богинь Парис,
Благоуханный мрак возносит кипарис;
С ним глубь небес ярка, и даль холмов — скульптурна.

Древа теней, чей сон питает Асфодел!
Им любо грезить Ман мерцающий предел,
Нарциссам темных вод, над зеркалом их лона —

Иль, гибкий зыбля ствол у прага древних вилл,
Как иглостолпный сонм провидящих Сивилл,
Внушать священный ритм стремленьям Аквилона.

ЛУННЫЙ ПЛЕН

Идет богиня в лучезарной стòле,
Влача в волнах край столы сребротканой
Взор полонен текучею Дианой,
И спит мечта в магической неволе.

Я все б глядел, с усладой неустанной,
Как мнет Эол серебряное поле,
Как зыбь ползет и стелется на воле,
Змеиняя, средь зелени туманной...

Но светлых вод милей мне холмы эти,
И мрак надежный лиственного крова,
И древней рощи усыпленный лепет;

Милей просветов окрыленных трепет
Меж чутких кущ, и призрачного лова
В тени олив раскинутые сети.

SPECULUM DIANAЕ **

Ивану Михайловичу Гревсу

Вот зеркало Дианы. Тесно круг
Магический дубрав и пастбищ горных
Сомкнул свой плен над чашей вод озерных.
Богиня здесь, в нагой толпе подруг,

Купается, иль бегом ног проворных,
Играючи, днесветлый топчет луг,
Иль, лань спугнув меж кипарисов черных,
Лук емлет свой и напрягает туг;

Иль, загрустив над серебром пучины
Глухих морей, придет сюда, клоня
Над влагой лик божественной кручины.

И рано здесь жар остывает дня;
И Рима дщерь смолистые лучины
Сюда несет обетного огня.

L'ARCO MUTO **

Наяды ли воззвали этот свод
Из лунных струй? Иль рухнули чертоги
Полубогов, и древние пороги
Меж мертвых скал покрыла тайна вод?

Не бойся тьмы: недолог переход.
Сияет ночь за бровью свода... Ноги
Кропит росой алмазной хоровод,
Влекущий сеть серебряной дороги.

Как стройный вздох, «Иди!» звучит напев...
Опасен глас сереброногих дев,
Гекаты луч и марева Протея!

Не верь пучин играющим богам,
Когда манит Тритонов Галатея,
Рога ревут, и вторит свод рогам!

СУБИАКО

Громады скал грозят со всех сторон;
В гробах теснин гремит поток кипучий.
Средь сих дубрав, о, Пан, стоял твой трон!
Твоя свирель будила дол дремучий!

Умолкнул Пан: за ним пришел Нерон, —
И встал сей свод, лозой увит ползучей.
Млеко Мэнад, Горгоны кровью жгучей
Вспоенный бог, за Паном умер он...

И Бенедикт, обрев приют скалистый,
Елей молитв возжег в пещере мгlistой:
И новый Бог стал богом этих мест.

Вотще грозил полнощный голос Пана,
И зверь блуждал, рыкаяючи, окрест,
Открытый нам виденьем Иоанна.

МОНАСТЫРЬ В СУБИАКО

За мной — вершин лиловый океан;
И крест, и дверь — в конце тропы нагорной,
Где каменных дубов сомкнутый стан
Над кручей скал листвою поникнул черной.

Как стая змей, корней извив упорный
Проник утес в отверстия старых ран:
Их сеть тверда, как их оплот опорный;
Их сень вотще колеблет ураган.

Вхожу. Со стен святые смотрят тени;
Ведут во мглу подземную ступени;
Вот жертвенник: над ним — пещерный свод.

Вот вертоград: нависли скал угрозы;
Их будит гром незримых дольних вод;
А вокруг горят мистические розы.

КОЛИЗЕЙ **

Как тяжкий гулок свод, и мрак угрюм и густ!...
Вхожу: луна сребрит истлевшие громады.
Как впадины очей потухнувших, аркады
Глядят окрест. Все спит. Простор арены пуст...

И мнится: древний род Неронов и Локуст
Наполнил чуткий мрак... Теснятся мириады.
Незримо — зоркие, на мне лежат их взгляды.
Беззвучный слышен плеск, и клик безгласных уст...

Что жадным трепетом, как в дни кровавых оргий,
Волнует их прилив под бледною луной?
Куда вперен их взор? Что движет их восторги?...

На светлом поприще чья тень передо мной?...
Взгляну ль назад, тоской и ужасом объятый?...
Крест виден на тени, и на кресте — Распятый...

LA STANZA DELLA DISPUTA **

Есть в Вечном городе, друзья, чертог один,
Где вечные звучат с поблекших фресок споры:
Там ищут Истины мыслители Афин;
Там молят Истины святых Отцов соборы.

Им внемлют Вещие с таинственных вершин:
Вот Справедливая мечем решит раздоры;
Вот учит Мудрая «познанию причин»;
Но к тайне Божества летят Небесной взоры.

И дева светлая — одна из их числа —
Царит на троне туч, и Дафною священной
Чело возвышенных прозрений обвила...

Ты, ты, Пoesия! Ты с лирой вдохновенной
Одна взяла в удел могучих два крыла,
Чтоб к Истине парить дорогой дерзновенной!

СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА **

Горе сердца и взор! Се, Вечности символ —
И в вихре творческом две краты зрим Могущий;
И жизнеструйный перст; и лик жены грядущей
В пареньи Вещего; и рай; и семя зол;

И из гремящих уст семи судеб глагол;
И отклик зрящих дев на голос, их зовущий;
И тел, и вздохов ритм, и сёмьи, в скорби ждущей,
Потомка тайного неискупленный ствол...

В глубь храмины взгляни! Там серп и жатва сева!
Там цеп, и прах цепа! Там клик и трубы гнева,
И многий вопль святых: «О, воскресни на суд!» —

И длань Разящего смягчающая Дева,
И вихорь тел... И храм исполнь громов и рева —
Явленной музыки колеблемый сосуд.

СИРАКУЗЫ **

Фиалкокудрые, — близ мест, где, убелив,
Как пеной, яхонт волн, всплывают Сиракузы
Над морем греческим, — изгнанье разделив
Любовью стремною гонимой Арефузы, —

Под сребродымным сном светлеющих олив
Родимый пели хор дорические Музы, —
И мощь Афин влекла Обиды бранной узы,
Потупив горький взор на роковой залив...

Синеет понт густой; ливийский день палит.
С тобой ли, Феокрит, возлечь на луг медвяный,
Где пряный фимиам в тени гробниц разлит?

Тебя ль, перун-Пиндар? — Лизем обуянный
Эсхил, тебя ль воззвать, сошед на мрамор плит,
Где ты плясал, взяв тирс, вокруг фимелы ряной?

ТАОРМИНА **

За мглой Авзонии восток небес алей;
Янтарный всходит дым над снеговерхой Этной;
Снег рдеет и горит, и пурпур огнецветный
Течет с ее главы, как царственный елей,

На склоны тихие дубрав, на мир полей
И рощей масличных, и берег предрассветный,
Где скоро смутный понт голубизной просветной
Сверкнет в развалинах священных пропилей.

В обломках спит театр, оркестра онемела;
Но вечно курится в снегах твоя фимела,
Грядый в востоке дня и торжестве святынь!

И с твоего кремля, как древле, Мельпомена
Зрит, Эвий, скорбная, волшебный пустынь
И Тартар, дышащий под вертоградом плена!

НОСТАЛГИЯ

Подруга, — тонут дни! Где ожерелье
Сафирных тех, тех аметистных гор?
Прекрасное немило новоселье.
Гимн отзвучал: зачем увенчан хор?...

О, розы пены в пляске нежных Ор!
За пиром Муз в пустынной нашей келье —
Близ волн морских вечернее похмелье!
Далеких волн опаловый простор!...

И горних роз воскресшая победа!
И ты, звезда зари! ты, рдяный град —
Парений даль, маяк золотого бреда!

О, свет любви, ему же нет преград,
И в лоно жизни зрящая беседа,
Как лунный луч в подводный бледный сад!

ПАРИЖСКИЕ ЭПИГРАММЫ

*Ивану Михайловичу Грессу
(1891)*

СТРАННИК И СТАТУИ

«Дети Красоты невинной!
В снежной Скифии, у нас,
Только вьюги ночи длинной
Долго, долго рушат вас.
Здесь на вас, — бегите Галлов! —
В бунте новом опьянев,
Чернь рушителей-вандалов
Изливает буйный гнев.»
— «Славны, странник, эти раны:
На живых то гнев живых!
Ах! мы вечно бездыханны
В саркофагах снеговых!»

ВАНДОМСКАЯ КОЛОННА

С трепетом, трофей Вандома,
Внемлю вечный твой язык:
Он гремит во славу грома,
Славу славит медный зык!

ГРОБНИЦА НАПОЛЕОНА

«Этот гроб велеречивый,
О, герой! не преклонит
Суд племен разноречивый,
Славы спор — и Эвменид!...»
— «Жив и мертв, подъямлю клик:
Вы — ничтожны, я — велик!»

ПАНТЕОН

Всем богам вы храм создали,
Был один живущий Бог:
Трижды вшедшего в чертог
Трижды вы Его изгнали.

СКИФ ПЛЯШЕТ*

Стена Вольности и Прав
Диким скифам не по нраву
Гильотин учил вас праву.
Хаос волен, хаос прав!

В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы:
Ваши веки — только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

Здесь гремят тройным аккордом
Прав великих имена...
О, счастливая страна!
Что носил я в сердце гордом,
Носит каждая стена.

SUUM CUIQUE

Имя Братства и Свободы
Чтут начертано народы:
Галл — на храмах и дворцах,
Бритт — в законах, мы — в сердцах.

IURA MORTUORUM

Вот — кладбище, и у входа:
«Братство, Равенство, Свобода...»
Здесь учися Данте сам
Силе двёрных эпитаграмм!

IURA VIVORUM

«Братство, Равенство, Свобода» —
Гордо блещут с арки входа.
— «Что за мрачные дома?»
— «Наша, сударь, здесь — тюрьма...»

ПАНАЦЕЯ

Кто — скорбит по езуите,
Кто — зовет в страну царей:
Галлы, Галлы, призовите
Чужеземных матерей!

РАБ И СВОБОДЬ

С Греком Галл несхож — и сходен
Эллин вольностью создан:
Галл — все Галл, пока свободен, —
Эллин он, коль обуздан.

«A TOUTES LES GLOIRES DE LA FRANCE»

Галл над портиком Версальским
Начертал: «Всем Славам Галльским...»
Горделивей нет речей;
Но мне мил их звук высокий:
Чужестранцу лавр мечей
Ненавистен одинокий.

ТЕМНЫЕ МУЗЫ

Прочь от жизни обиходной
Гонит Муз полет свободный
К Сфинксам ночи модный бес;
Кладязь символа холодный
Учит нас красе небес;
Мил нам солнца лик подземный,
Милы зовы глуби стремной.

HORROR VACUI

Беспредельный, безнадежный,
В мире мрак, и мрак в груди;
Неисследный, неизбежный —
Позади и впереди...

Дружен скептик в общей доле
С вызывателем теней,
В мире с мистиком атей:
«Населяйте мрак по воле —
Пустота всего страшней!»

CAVEANT CONSULES

Мудрецы многосердечья,
Всех времен, сердец и стран
Разумею мы наречья —
И поймем тебя, тиран!...
Так, в бездушии лицемерном,
Так, в безверьи многоверном.
Возрастает меж гробов
Поколение рабов.

BELUARUM DISCIPLINA

У Природы вымогает
Неги новые Разврат,
И Жестокость помогает,
Где ее изнемогает
В пресыщеньи алчный брат.

Вы, правители, в боязни
Всенародной неприязни
Роковой услышать глас, —
Дайте зрелищ лютой казни —
И толпа возлюбит вас!...

«Казнь завтра — злым ко страху!...»
Бешен был сей пир добра:
Чернь с полночи до утра
Жадно выла, видя плаху,
В ожиданьи топора...

БУЛЬВАР

Ночь — роящиеся станы —
Озаренные платаны —
Шелка шелест — чаши звон —
Отзвук плесков — отзвук пляски —
Ртов картавящих жаргон —
И на лицах рыжих жен
Намалеванные маски...

LE NU DANS L'ART

Прометею подражай,
Друг нагих Харит — Художник!
Как божественный безбожник,
Тело нам изображай!
Сердцем чистый, дерзновенный,
Старца дар богоявленный
К вечным Формам приближай!

LE NU AU SALON

За нагой и горделивой
Дафной — Феб... А вы куда?...
Прочь, ревнивцев рой блудливый!
Прочь, вы, твари похотливой
Козлоногие стада!

ЛАБИРИНТ

Сколько Зверю в снедь предал
Ты Земли кровавых даней,
Человеческих блужданий
Серокаменный дедал!

ПАРИЖ С ВЫСОТЫ

Тот не любит Человека,
Сердце — город, кто тебя
Озирает не любя, —
О, горящее от века!
Неопально-пылкий тёрн!
Страстных руд плавильный горн!

КУЛЬТ НЕМЕЗИДЫ

Нравам света служит совесть,
Лишь условно чтима честь;
Но одна святыня есть:
Об отчизне падшей повесть,
За отчизну гнев и месть!
Все заветы лживы, спорны:
Святы лишь отчизны тёрны!

GALLUS

Долги дни, глашатай света!
Мир от темных сил блюди;
Упреждай лучи рассвета;
Бодрствуй сам — и нас буди!

ЕПИМЕТРОН

ДВА ХУДОЖНИКА

Марии Михайловне Замятниной

Милы мне, чуткий друг, в мечтательном Пуссэне:
Веселья звонкие в пустынности лугов;
В прозрачных сумерках скитания богов;
Над легкой радостью — задумчивые сени;

Неведомой зарей затеплен край небес —
И луч, сочащийся под лиственные своды,
И ожидание пленительных чудес
 В улыбке вечереющей природы.

Как дали тонкие, чарует Клод-Лоррэн
И зеленью морей влечет, как песнь Сирен,
В плен ясных гаваней, где спят чужие воды,
Под стройные столпы и мраморные своды
И мачты, свившие на отдых паруса,
Меж тем как чистый серп прорезал небеса.

ДИСТИХИ

VESTE DETRACTA

Грации, вами клянусь: милей Красота без одежды!
Полный гармоний без рифм стих обнаженный милей!

ДЕНЬ И НОЧЬ

Ἦ φύσι, παμμήτερα θεά!

Нумп. Orph.

Времени двух близнецов родила Природа-Всематерь:
Сын огневласый был День, дочь синекудрая — Ночь.
В юноше первая встреча зажгла к задумчивой деве,
К пылкому брату в сестре скоро-растущую страсть.
Трепетно дети летят в объятии смешанном слиться:
Во-время стала меж них ужаса полная мать.
«Брак», вопиет, «преступный ценой искупите жизни:
Ваше бессмертье возьмет, дети, ваш горестный сын —
Сумерки! Вижу его сомнительный лик, содрогаясь, —
С матерью схож и с отцом, яркой их прелести чужд...»
Так вопиет — вотще... И, гневясь, встал древний родитель
(Старец, переживать любит он чуждую смерть):
«Жизни одной вы хотите? Одной и смерти? Возьмите ж
Каждый равную часть жизни и смерти одной!...»
Горе! С тех пор, только близится День, разгораясь, к Ночи —
Звездная дева бледна и бездыханна пред ним!
Вновь оживая, подымет фату, и грядет, — он пылает...
Миг — и в объятьях ее хладный до срока мертвец!

LAETA

*Алексею Михайловичу Дмитревскому**
(1892)

Roma, fave : tibi surgit opus.
Propert.
Tristia miscentur laetis.
Ovid.

I

В Рим свои Tristia слал с берегов Понтийских Овидий;
К Понту из Рима я шлю — Laeta: бессмертным хвала!...
Pluvius Римское поле благословил, и враждебный
Март опрокинул на нас все водоемы небес.
Друг! но сияет во мне глубокое небо, и Солнце
С гордой квадриги на мир мечет золотые лучи!
Рим — всех богов жилищем клянусь! — мне по сёрдцу обитель:
Цели достигнув святой, здесь я, паломник, блажен.
Здесь мне сладок ночлег; но сладостней здесь пробуждение:
Жажду жить, созерцать, и познавать, и творить.
Здесь бы поставил я прочный алтарь усталым Пенатам —
Странник бездомный! — и вот подпись на том и печать:
Вечный очаг Всебогини, Всематери, — вечный Всебога, —
Сей Пантеон! Шлю его, друг, не случайно тебе!
Вспомнил я в нем и почтил нашей юности светлую веру:
Держит над юношей власть дивный, таинственный Пан!
Все нам являло живого, сокрытого; небо пустело,
Но раздавалась в лесах дальняя бога свирель...
Деспот незримый, в соборе богов он жил и с трапёзы
Всех кумиров вкушал в храме всебожья — всебог.
Кру́гом был вечного дом под шатром золотой полусферы:
Кру́гом — владенье земли под полусферой небес.
В око разверстого свода днем Зевс, озирая кумиры,
Сам его дом озарял с невозмутимых вершин.
Гаснули своды — в отверстый зенит нисходила Селена:
Гротом счастливейших Нимф мнил он создание людей...
Ныне — чужие кругом алтари. «Победитель Природы»,
Юной Мадонны у ног юный почил Рафаэль.
Дух победил, и вселился во храм. Но древние камни
Древней Природе поют тот же немой дифирамб!

Нет изваяний, ни бронз; вот морщины, вот раны: но старец —
Храм, как незрячий Гомер, вечною дышит весной.
Нет покровов, но те же черты, то же солнце, — и громче
Древней Природе звучит, строже немой дифирамб!...
Многих поклонник богов, я сам, язычник беспечный,
Мой побежденный Олимп мирно с победным слиал.
Многих богов Рим почтил, всех прияв во священные нищи;
Многих почтили богов Анджело и Рафаэль.
Что тосковать нам о том, что с вершин Индийских на тиграх
Уж не сойдет Дионис меж исступленных Мэнад?
Не умирает Рим — не умрут ни гений, ни боги:
Будут нам боги еще, будет еще красота!
— «Станный! ужель за Альпийской стеной не довольно почтенным
Паркам расспросом пустым ты, как дитя, досаждал?
Темную будущность там заклинай и надейся по воле:
Здесь настоящим живи! здесь созерцай и молись!
Счастливы истинно ты пред многими в Гипербореях:
Стольких познал ты богов, столько ты зрел красоты!
Но пока, приютясь у подножия Collis Hortorum,
Ты праздномысля сидишь, — от Эфиопов святых
С пира вернулся Зевес, и послал нам перун благосклонный,
И несказанно лазурь вешней грозой прояснил.
Весело ныне в Музее бродить, где, как плектрон незримый,
Стройно движет тебя статуй бесчисленных ритм;
Иль, обходя святой Палатин и прославленный Форум,
Из величавых гробов звать величавую жизнь...»
Так говорил Гений Места. Но я отвечивал: «Ныне
Времени и гениям знать: добрый Гомер устарел.
Время взирать на мир с просвещенною мысли свободой:
Друг, стремись усвоить разум ученых мужей!
Знай же: не свят Эфиопский народ; не чтут они Зевса;
Не Океан — их предел, и не поток — Океан...
Думаю: Плувий-Юпитер увидел Рим потопленный
И мутно-желтой волной рвущийся Тибр из оков,
И разгневился на туч, на ветров ненужную ревность,
И, враждебный стране, сдержан астральный Овен.
Что ж до богов бессмертных и Муз, — ты прав. Но сегодня
Свежей упиться весной дальний Яникул зовет:
Видеть у ног я хочу семь холмов за Тибром священным
И простершийся град от оснований Петра.
Темный колеблется там кипарис, как сходящая дева;
Там изваянную ветвь лавр горделиво несет;
Меры полна, в небесах стелет пиния облак округлый;
Знойной каникулы ждут шелестной пальмы листья.
Станом лазурных шатров облегли Рим эфирные горы;
В недолговечных венцах снежные блещут зубцы.

Гостя Яникул зовет; друг зовет послание: Гермий!
Ты в добрый час дай письму бурный увидеть Эвксин!
Ты же — бог ли, богиня ль — услышь, о, великий! моленье
И наложи на него сам, Гений Места, печать!
Мертвые знаки проникни божественной силой и дружбы
Бледный привет оживи отблеском этого дня!...»
Так молясь, я чертил: «На брѣг Понтийский из Рима
Laeta...» Радуйся, друг, так же, как радуюсь я!

II

Рим вожделенный узрев, я пел тебе первые Laeta;
В Рим осенний возврат вешнюю песнь воскресил.
Ибо недавно еще я по взморию Партепоеи,
Нимфы почившей, внимал жалобам дев-Нереид,
И богомольно срывал над святой Посилипа могилой,
Тень призывая певца, свежий Вергилиев лавр.
Дивный предел! Там, пред домом моим, как остров блаженных,
Млеют в лазурном плену тени Капрейских вершин;
Там, как влюбленный Нарцисс, меж ветвей, отягченных плодами,
С горного ложа глядит в тихие воды Суррент;
Там в безлюдьи живом, пред Везувия синим восклоном,
Гостя приветно зовут тесные дома Помпей...
Светлые дни там текли: их не жаль в излюбленном Риме:
Родине верен, я Рим родиной новою чту.
Где нам отечество, друг? Скажи, гражданин мой оседлый,
Гостю далеких чужбин: где нам родимый предел?
Там ли, где отчий наш дом, наша первая память, дряхлеет?
Там ли, где отчий наш сад некогда темный шумел?
Там ли, где кости отца в заглохшей тлеют могиле, —
Где нас в покорной тоске ждет престарелая мать?
Или в пустыне, куда наш орел занесли легионы?
Иль где гражданственный мир плугом измерил поля?
Родина ль чистой душе — беспредельное, верное небо?
Родина ль гордой душе — море, сей узник — Титан?
Иль не отчизна избранных — Идей бестелесных обитель?
Или не Рим золотой — мой нареченный предел?...
Так! я ныне познал возвращенной мне родины счастье, —
С ним — и жидкительный труд; с ним — и целительный мир.
Тихо по солнечным стогнам; под золотом спят кипарисы;
Песню под рокот струны нищий заводит слепец.

Муза, сопутствуй: схоластика ждет Капитолий ученый!
 Долог мне путь до кремля от преторьянских бойниц...
 Вот и Траянов колосс, и колонн безглавых граниты!
 Остов в отверстом гробу — Форум лежит подо мной.
 Мощи мраморной славы! Помост лицедейства кровавый!
 Прах безглагольных давно, велеречивых личин!
 Вот — путь Побед, и Свободы амвон, и святыня Согласья!
 Вот — Самовластья врата! Вот — Раболепия столп!
 Белые кости базилик... останки портиков стройных...
 Три несравненных столпа Кастор с Поллуксом хранят!...
 Там — Палатин; там — Титов триумф; там — свод Константина;
 Мощь Колоссеума — там: здесь — Табуларий, и восход.
 На Капитолий крутой я всхожу: вот и конь Антонина;
 Вещих меж свитков меня ждет молчаливый фиас...
 Так я живу, — и вседневный мой труд — блуждать и дивиться,
 И, дивясь, блуждать — пир моих сплетшихся Муз:
 В гробы стучится одна; красотой облекает другая,
 Тленья сорвавши покров, — жизнью восставшую жизнь...
 Весело мне!... Но не часто ли, друг, что высоко и дивно,
 Мы превозносим и чтим, сердцем иное любя? —
 Помню: мы краем высот подымались в гору; Кампанья
 В пурпуре светлом легла морем пустынным у ног.
 Некая весь белелась по ней... — мы Рим признали:
 Купол великий парил, малую весь осенив.
 Нет! клянусь, не таков был сей Рим, когда с гор нисходили
 Варвары, робко дивясь блеску державных твердынь!
 Ныне — пустыня, и весь... Я, от спутников скрыв свои слезы,
 Благоговейно познал, как ты мне дорог, мой Рим!
 Вечный, великий, святой! храни свои нищие ризы!
 В нищем смиреньи святей, ближе великое нам!...
 Так под тенью Петра вновь шатер пилигримов раскинуть:
 Друг! не пора ль и тебе посох паломника взять?
 Жизни начавшийся год освяти богомольным обетом;
 Цепи разлуки разбив, наших Пенатов почти!

III

В Риме ль о Понте вздыхать? Из Рима ли к берегу Понта —
 О, перемена времен! — *Tristia, Tristia* слать?
 Ты не пришел на мой зов, Киммериец хмурый! И зимний
 Австр из туманных пучин нас в твой Боспор не примчит...

День свой забывчивый смех гонит грустной улыбкой заката;
Длинные тени легли по оdoжденным лугам;
В темной одежде Земля скорбит о небесном ущербе, —
Я ж об ущербе надежд, я о разлуке скорблю!

.

ГНОМА

Все песнопевцам от Муз: и наставничий жезл, и, с цевницей, —
Строгий учительный стих — медная мысли скрижаль.

ЭНТЕЛЕХИЯ

Влагу не дай мне пролить чрез край преисполненный, Муза!
Полнит обильная Мысль Формы размеренной грань.
С Мерой дружна Красота; но Мысль преследует Вечность:
Ты же вместить мне велишь Вечность в предел Красоты!

МИСТИКА **

В ясном сиянии дня незримы бледные звезды:
Долу таинственной тьма — ярче светила небес. *

ЭПИФАНИЯ

Ты, Безмятежность и Ясность, глубокая, тихая Радость,
Освобожденных небес верная сердцу Лазурь, —
Вновь осенила свой мир округленною, светлою кущей,
Вновь уверяешь людей: «К лучшему движется мир!» —
Снова влечешь и миришь, окрыляешь, благовествуешь:
«Красен и свят и един Богом задуманный мир!...»

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ

Благословенный день, залог величавой надежды!
Волю народу ты дал, родине дал ты народ.

ТИХИЙ ФИАС

С маской трагической мы заедино мыслить привыкли
Бурю страстных речей, кровь на железе мечей.
Древний фиас Мельпомены, ступень у фимелы пришельцам
Дай! Герои встают; проникновенно глядят;
Красноречивые губы, безмолвно — страдальные, сжаты;
Тайный свершается рок в запечатленных сердцах.
Бремя груди тесной — тяжелую силу — Титаны
Вылили в ярое борьбе: внуки выносят в себе.

ДЕМОН

Ваши на сводах небес бремена престольные, боги!
Твой, их превыше, висит трон своевластный, Судьба!
Все вы, что вне человека, одержите, вечные силы.
Дух же таинственно вы предали в чуждую власть.
В духе людском недвижно царит обитатель незримый,
Чьим послушный толчкам слепо бредет человек.
К лучшему знает он путь, и путь он знает в погибель;
Но не противься ему: он седмерицею мстит.

«ЛАЗАРЕ, ГРЯДИ ВОН!»

Кличь себя сам, и немолчно зови, доколе, далекий
Из заповедных глубин: «Вот я!» — услышишь ответ.

САМОИСКАНИЕ

Ищет себя, умирая, зерно — и находит, утратив:
Вот твой, Природа, закон! вот твой завет, Человек!...
Музыке темной внемлет Поэт — и не знает покоя,
Слыша ясней и ясней звук предреченных речей.

ПОДРАЖАНИЕ ПРИРОДЕ

Ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν.

Stoa.

Жить с Природою в лад ревнуешь ты? Будь, как Природа!
Черпай из полноты; из полноты расточай.
Высшее присно твори бытие, беззаботен о цели, —
И в созиданья игре присно рушителем будь.
Не вспоминай. Разлуку люби, и Смерть, и Начало.
Не уставай зачинать; не преставай умирать.
Все живое в духе носи и солнечно милуй:
Все в себе возлюби — и ничего не жалей.
Будь без пристрастья. Будь хаос и строй, и пьяный избыток.
Будь, как Природа! Будь все!... Или — пребудь Человек!

ДЕРЕВО ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Софии Ильичичне Алымовой

Будь справедлив, веледушен, и будь благодарен! Харитам
Трем три ветви святы в солнечных сеньях души.
Мужество, ты! — ты, Милость! — ты, Жизненность, верная сила! —
Корнем ветвиться тройным в ночь всеединого Я.

TAT TWAM ASI **

Александрѣ Васильевне Гольштейн

В страждущем страдаешь ты сам: вмести сораспяться живому.
В страждущем страдаешь ты сам: мужествуй, милуй, живи.

СФИНКС

**O voi, ch'avete gl'intelletti sani,
Mirate la dottrina, che s'asconde
Sotto'l velame degli versi strani.**

Dante, Inf. IX

Как переклик подъемяют журавли,
Простершись подоблачной станицей, —
И стон висит над наготой земли:

Стенали мы, влачась вереницей,
Средь гор глухих обречь себе гроба,
Под скорбною согбенны власяницей.

Мужей и жен, владыку и раба
Равняла Смерть, над ловом душ витая,
И в сеть одну влекущая Судьба.

Так мотыльков мятущаяся стая
Летит в ночи на светоч огневой
И пламень пьет, в лучах палящих тая.

Затем что все мы, пленены молвой:
«Встал древний Сфинкс губить вопросом новым», —
Шли волею на подвиг роковой

(Коль демона покорствовать оковам,
Который в нас, и вольным быть — одно)...
Так шествуя, в хвалении суровом

Мы слили плач, — ущелий гулких дно
Нам вторило немолкнувшим рыданьем, —
И пели мы непетое давно:

«О, вечный Сфинкс! когда б нам оправданьем
Был пред тобой духовный лютый глад,
Обманутый истомным ожиданьем, —

«Ты б пощадил... Но что твоих пощад
Нам был бы дар, когда бы язвой жгучей
В нас вечно жил тобою влитый яд?...

«Се жертва: встань, пожри! Рок неминучий
Согласные сретаем. Ибо чей
Не смеркнет дух пред руною певучей?

«И где маяк в ночи твоих речей?...
Идем — очей твоих во хлад безвольный
Да погрузим последний взор очей!...

«Тебя мы любим, Сфинкс! Мы — крин юдольный,
Ты — знойный луч. Пройди меж чад весны,
Как серп огня дубравой густосмольной!

«Тобой лишь нам земные дни красны.
Ты, вечный, жив: тобой живут надежды,
Тобой в ночи цветут нам веры сны.

Пожри слепцов: им сны сомкнули вежды!...
И смерть твоей утратой лишь горька:
Зане земля и твердь — твои одежды»...

Так пел наш глад. И смертная тоска
Легла на грудь. Еще, как вран, над бездной
Кружил отзыв... И, вот, издалека,

Как бледный луч над хлябью беззвездной,
К нам долетел, в дух мертвый жизнь ляя,
Глас радости — душ братских глас любезный:

Притекших прежде пела гимн семья...
И, взорами друг друга вопрошая,
Молчали мы, надежду затая,

Вперед стопой крылатой поспешая...
И внятен стал той песни чудный склад,
И так звучал, погорье оглашая:

«Тобой, о, Сфинкс! пакирожденных чад
Прими восторг и пирный клик запева,
Забвенья лотос, утоливший глад!

«Ты нас изъял из гибельного зева;
Ты нам отверз на мир твой очеса;
Дыханьем уст твоих мы дышим, дева!

«Нам дух пьянит недольняя роса...
Иль первых лет то сладостные слёзы?...
А в очи нам смеются небеса!...

«Вы, рдяные, из груди рвитесь, розы!
Ты ж, о, Любовь! о, новое вино!
Мчи вешние над полным сердцем грозы!...

«Где ты? где я? Не все ли мы — одно?...
О, тайна тайн! ее ж открыло в боли
Сердец, тобой опустошенных, дно»...

Как узники, из мрачных стен неволи
Ведомые на милость, шепчут: «Казнь!...
Увы, не ждет година лютой доли!...»

И встречных лиц веселую приязнь,
И светлый стан за сети мнят обмана,
И из надежд вновь черпают боязнь:

Так с крутизны на ликованье стана
Глядели мы... Они ж на встречу шли,
И в персях их зияла кровью рана.

И, язвы нам являя издали:
«Вот стигмы Сфинкса!» в радости зывали:
«Днесь, братья, мир и вас мы обрели!»

И нас в уста любовно целовали,
И вязью роз альпийских и хвои
Подгорных пихт чело нам увивали;

И вниз вели, где тяжкие струи
Спят омутом пред сумрачной пещерой
И крадут блеск мгновенной чешуи.

Нас укрепить они алкали верой;
Но полый дол в сомкнувшихся горах,
Мрак озера, базальт утесов серый

И мох скупой — все в нас растило страх...
Они же: «Здесь его напечатлень!» —
Кричали нам, и лобызали прах.

И виден был в пещерном углублень,
Где до песков пясть Зверя дотягла,
Ужасный след... И ждали мы в томлень...

И, вот, жива под сводом стала мгла,
И львицы тень, грозящей прыгнуть, разом
Означилась и стройно возлегла...

Ты, кто моим напечатлеть рассказом
Мнишь тайны сей явление в уме,
Плен уст моих прости и смутный разум!

Когда твой дух очами зрел во тьме
Те образы, что за телами реют,
Как волн бразды, сопутные корме,

И смолкших струн отгулом вечным веют:
Их полый взор ты знал, безликий лик —
И дрожь, когда в корнях волосы хладенют.

Нам память говорит; лишь ей — язык.
Но что наш клик тебе напомнить может,
Зев ужаса, стоустый, смутный клик?

Так зуб тоски унылой сердце гложет,
Когда заря, как похоронный звон,
Гласит, мертва, что солнце изнеможет;

Встает, мрача землистый небосклон,
Затменное и в пепле тлеет око
Слепого дня; его ж встречает стон

Живых; вся тварь бежит, таяся рока,
В притоны тьмы, — лишь Человек лица
Не отвратит от мертвого востока,

Сам — пыль и пепл: но Гелий без венца
И тлен небес зрочки испуга чарой
Властительной влекут... Так Зверь сердца,

Испепеляя, влек! И лапой ярой
Он прах взметал... Но был безжизнен хлад
Черт девственных под тусклою тиарой, —

Прекрасных черт, когда б не горький яд
Бескровных уст, и чуждое обличье,
И тень ланит, и, в сумраке лампад,

Мощам, в гробах темнеющим, величье
Недвижностью подобное, и свет
Внутри впавших глаз в мерцающем двуличье,

Внутри видящих загадочное Нет
С далеким Да в боренье и слиянье —
Двух вечностей истомный пересвет, —

Когда бы девы зрак не одеянье
Тьмы близкой был и вещью тоской
Не обличал грозящее зиянье, —

Прекрасен был бы сумрачный покой
Черт неземных, извечных и забвенных...
И, возрясь в них, мы тяжкою рекой

Текли на свет сих взоров сокровенных,
К сим мертвенным влекомые устам
Желанием лобзаний дерзновенных,

Подобясь дубов сухим листам,
Что вихрь костра в расщепы скал вдыхает
К зажженным в ночь осеннюю кустам

Терновника, пред свод, где отдыхает
В тепле пастух... И, вот, уж страха нет
В моей груди; и сякнет, и стихает

Родник живого Я... И близко Нет
Двух вечных глаз зияет надо мною
Могилою надежд... И меркнет свет...

И новый свет нахлынувшей волною
Мой дух воззвал, и зрящая среда
Слепительной разверзлась глубиною.

И в оный миг, как творческого Да
Я грудью меч вдыхал молниегранный,
Уста ожгло прикосновеньем льда

Лобзанье мертвых уст; и долгой раной
Плуг роковой кровавую меж двух
Сосцов бразду мне взрыл в груди раздранной

От выи вниз, — и, мнилось, в боли дух
С божественных высот к земле и ночи,
Как семя, вергнут, пал... И свет потух...

И снова Да тех глаз мне светит в очи,
И дышит грудь, и грудь палит любовь
Вселенская в едином средоточьи;

И льнет к устам уст мертвых лед; и кровь
Из сердца бьет под плугом ласки львиной,
Что́ через всю грудь взрезает накрест новь.

И вширь объял я милостью единой
Творенья гроб, творенья колыбель...
И дух иссяк, и стал я темной глиной...

И с третьим Да вернулся дух в скудель;
Я ветхого прияла пепел урна;
Крещения свершилася купель...

Век золотой и вертоград Сатурна
Будившие в отзвуках вещей лир,
Скажите вы, была ли твердь лазурна,

Святые Музы! сколь был красен мир,
Когда сев роз мне встал из крови черной
И в сретенье запечатленный клир

Пел: «Слава в вышних! Мир земле покорной,
Мир агнцам, вшедшим дверью верных стад!»
О, препояшьте силой животворной

Залетных грез Эдема лирный лад,
Вы, Музы! Прочь с очей певца повязки!
Дней девственных явите, девы, сад,

Коль вечно вам цветут тех радуг краски!...
И я воспел: «Творенья! люблю нам
Нестись вокруг солнц, собратьям звездной пляски, —

«Божественным вверяя сердце снам!
Нетяжко мчать и вам, горам тяжелым,
Вихрь вечный вслед эфирным быстринам!»

Зане дух пел во мне; и, что глаголом
Не изъяснить, глаголами уста.
И ныне, знай, не резвым произволом

Бездомных крыл зовет меня мечта
В родимый рай и первую обитель,
Но онога блаженства немота.

И сердце, чувств таинственных ревнитель, —
Уст пленных страж стыдливый: я предам
Свое в чужом вольней, как чуждый зритель.

Лил голосистый ливень. Вслед стадам
Коз молниенных кидались скимны — громы.
Их играм вторил грот, где спал Адам.

И Жизнь, склонясь, разъемлет облак дрёмы:
«Ко мне, Адам! и так, со мной, дремли!...
Развязан плен избыточной истомы:

«Дух сладкий легок»... — «О, жена! внемли.
Через небеса небес гремит Осанна!»
— «Из недр благоухает грудь земли...

«Молись Адам!...» И, с жертвой туч слиянна,
Струится бурно жертва легких слёз...
А твердь, луной днесветлой осиянна,

Уже почиет от восторга гроз.
Последних туч рдеют, рвутся ткани;
Алмазный дождь роняет негя лоз;

Загрезил соловей; стадаются лани;
И лижут лев и змий единых Двух
Простерты с благословеньем длани.

Двух барсов стан сребристый, снежный пух
Двух кроликов, двух горлиц благосклонно
С подругою божественный пастух,

Воссев над влагой, гладит. — Ясно лоно
Глубоких вод. Спят лотосы... — «Что нет,
Адам, тех звезд на поле небосклона?

«В сиянии сокровенные, привет!» —
И, се, любви желаньем притяженный,
Мгновенных звезд цветет и блекнет свет...

Еще слепит их слава взор смеженный...
Пал долу взор — там горний тих эфир,
И зрит чета свой облик отраженный.

И, как в зеркальной вечности Надир
Глядит в Зенит зеницею Зенита, —
В единых Двух себе дивится мир...

О, нежностью зардевшая ланита!
Подъятый, встреченный, слиянный взгляд!
О, воля двух, в единой воле слита!

О, полный край! О, вечно сытый глад!
И вы, любви всечувственной объятья,
Вселенский трепет девственных услад!...

Мы ж вопрошали: «Не идти ль нам, братья,
Гортань увлажить мира — дождь пролить
На засуху старинного заклатья?»

Но как таящим радость любо длить
Тоску друзей и медлить светлой вестью,
Чтоб алчных глад обильней утопить, —

Изволилось: мир ждущий братней мезью
Томя, пребыть до утра вкупе там,
Хоть сердце поспешало к благовестию.

Увенчаны, по светлым высотам
Блуждали мы; пророческие речи
Дух поверял неведущим устам.

Тайн явственных общеньем были встречи;
Иные нам открылись имена;
Предслышал слух; глаз прозревал далече;

Вселенского мы были грезой сна...
И ты рвала рукой прекрасной, Лия, **
Цветы лугов, где шла с тобой Весна!

Тебя, Рахиль, увидел издали я,
Чьих дар очей — дивиться, уст — молчать.
Глядела возле в небеса Мария.

И ты, любовь горевшая вещать,
Святыне уст вверяла, Магдалина,
Умильного лобзания печать!

И хорами, и плясками долина
Святилась. Серна круч и дебрей волк,
Не трепеща, шли в табор властелина, —

И в яром сердце хищный зов умолк;
И голубей белела в небе стая,
И нес «Едино Я» хоругвью полк.

Но свет тучней; и тень высот густая
Уж до подножий Сфинкса дотягла.
Ключи бегут, Пактолами блистая;

От дольных волн ночная всходит мгла.
И сонм детей венки благоуханный,
Играя, сплел вокруг Сфинксова чела.

Так он лежал над влагой, увенчанный,
В закате дня, и праздничным челом
Мерцал в струях померкших грезой странной.

Пел тихий свет вечерний наш псалом;
И пал один от стаи голубиной
Пред Сфинксом — света горнего послон.

Голубка вслед примчалась... И единый
Зев ужаса исторгся, слитный, вновь:
Луч крови брызнул из-под лапы львиной...

Порхает, бьется вкруг в тоске любовь —
И пястью Зверь покрыл голубку... Алость
Слепит... Весь дол в крови... И солнце — кровь...

Растерзан он. Она все бьется... Малость
Двух малых жертв отравленной язвит...
Как дикий вихрь, объемлет сердце жалость...

И тает Сфинкс во мгле — и, страшный вид! —
Ты восстаешь, ты, Жалость! Лютым тёрном,
В кровавых каплях, мертвый лоб увит...

Ты выходцем могилы непокорным,
Зарытая, встаешь! В глухом плену —
Давящем, узком, плотном, душном, чёрном —

Проснулась ты, и билась, и ко сну
С проклятием вернулась... И вампиром
Воскресла — с нами праздновать весну,

Забытая любви беспечным пиром, —
Дабы призрак твоих болящих ран
Мы роковым обóжили кумиром!...

Был лик борьбой отчаянья раздран;
Висела плоть, разлучена с костями;
К груди прильнув, терзал голодный вран

Снедь черную, зиявшую пастьями
Под вретищем... Она ж рвала волосы
И в грудь впивалась дикими ногтями,

И с пальцев кровь лилась. Святой красоты
Мерк в искаженьи слепок величавый;
А очи — что в разгаре ловчем псы,

Распалены потехою кровавой, —
Алканьем острым пристальных огней
Свой поглощали лов тысячеглавый.

И сонм стоял, грудь обнажив, пред ней;
И раной уст из ран их, припадая,
Она пила — жадней, жадней, жадней...

И, под лобзаньем алым увядая,
Они клонились... Кровию истечь
Был страстных рок, — вампира упреждая

Желаньем уст. Уединенным меч
Был суд. Те на пути к вершине Лобной
Ниц пали под крестом. Иных обречь

Себя волнам звал демон. Пламень злобный
Снедал воздвигших на себя раздор,
Той, Одержимой, бешенству подобный.

И в сердце всех на всех горит укор...
Уж ненависть под ночью брови жалит...
Зовет на суд Того слепцов собор,

Чье Имя жизнь в бореньи смертном хвалит...
Кровавых жертв взалкал сердец раскол...
Уж волк на серну пасть, щетинясь, скалит;

На горлицу из облак бьет сокол...
И мир — добыча змеевласых Фурий,
И райский луч отмщен геенной зол!...

Я прочь пошел, больного пса понурей,
Не глядя вслед, на зов лучей из мглы, —
Крутимый лист его спалившей бурей,

Беглец в степи влачащий кандалы,
Погони дичь... Навстречу мне паренье
Склоняли в дол голодные орлы.

Ты был мой вождь, великое Презренье!
На миг тобой дух встал и цел, и зряч!
Внушило ты последнее боренье,

Блудущий жертв на пир меча палач!
Ты был мой вождь из горестной юдоли,
Чей эхо вслед взрывало лютый плач!

«Тень по пятам! Беги ее неволи!» —
Так гнал меня спасающий твой страх,
Последний ключ жизнетворящей воли.

Тебя вдохнув, дышать не хочет прах;
Не жаждет грудь, вкусив твоей полыни,
О, вожделенный дар в земных дарах!

Один я был в гробах твоей пустыни;
И мир был я, и мир судить я смел.
Я, замкнутый кольцом твоей твердыни,

Не вспоминать, не видеть разумел...
Вечерний луч ласкал луга нагорий;
Свирели глас звал, таял и немел —

Молитвен, как напев святых теорий,
Таинствен, как дубравы вещей гул,
Пленителен, как дали теплых взморий...

То молк в горах, то ближе он тянул...
Луч вверх скользил, за мною догорая...
Шел отрок-поводырь и в трости дул.

На посох странных немощь опирая
Свою и старца, за вождем надежд
У стремного явилась дева края.

Мне снятся тень ее склоненных вежд,
Чела покой высокий, уст унылых
Печать, и бледный лик, и ночь одежд.

И как луна в дали небес застылых
Стоит, бледна, и туч края белит,
А мрак уснул под сенью среброкрылых:

На рунах тех, в которых время длит
Истому дней и скорбь земного склона,
Меж ведущих седин сиял, разлит,

Отсветный мир иного небосклона
Над бровью пришлеца. И молвил он:
«Дитя слепого старца, Антигона!» —

Я мнил: мой дух объял высокий сон... —
«Кто звал меня? И чей до нас восходит
Глухой мольбой страданья многий стон?»

И темный рок очей она возводит,
Вперяет вдаль покорный рок очей...
Еще душа моя, тоскуя, бродит

Меж арф ночных звучавших мне речей...
Вещала: «Сонм я вижу разноликий,
Погоню псов и пламени бичей.

«Отверста грудь их; в сердце ужас дикий;
На их челе безумия печать;
Их гонит месть Эриннии великой.

«Они бегут, как зверь, его ж кончать
Презрел ловец, постигнув смертным жалом.
Но ты смотри; мне надлежит молчать...»

И темным окружилась покрывалом...
Я ж братий сонм, влекущийся из врат
Ночных теснин, узрел в соборе малом.

И первые: «Утешен будь, о, брат!»
Взывали мне: «Марà нас обольщает,
И грезим мы сей мир кровавых страд!

«Но лживый сон не век отягощает
Покорный дух: бьет в брег свой Океян
И близкую свободу возвещает.

«Смерть — жизнь, жизнь — смерть; и жизнь, и смерть — обман.
Проникни плен; но верь надеждам гроба.
Познай: ты спишь, — и смейся боли ран!»

Ведомых вслед на тех воздвиглась злоба:
«Зачем очей мы угасили свет?
И древней тьмы прияла нас утроба?

«Не видеть был, не ведать наш завет:
Но мир все в нас. О, вечное боренье!
Кричим: тебя, ужасный призрак, нет! —

«Вотще! Ночь — свет... Безвеких глаз впереенье
В недвижный смотрит день... И все светлей
Бесплотное, безжалостное зренье!...»

А их вожди: «Ты благостный елей
Нас в мир нести почто учила, Лия?
Приди, на сих целительный пролей!

«Не милосердием сердца чужие
Уврачевать! Но мы росую дел
Должны гасить о главах многих змия...»

Их ближними дух ярости владел:
«Добро, рабы, тлетворной слуги Девы,
Ее ж истлеть дыханьем ваш удел!

«Как саранча, пожрем мы ваши севы,
И змия сев земли взлелеет новь!
Мы смертию насытим Смерти зевы,

«И жизни пить дадим живую кровь!
На Зла престол мы сядем, торжествуя,
В месть, что на казнь нас предала любовь!...»

Я ж, взор водя, не обретал, тоскуя,
Возлюбленных и верных и святых...
И, се, с вершин нисходит «Аллилуйя...»

На миг чрез дверь туманов золотых
Мне лунный серп явился тенью бледной
И агнцев снег на гребне гор крутых.

Без пастыря, тропую неисследной,
Нес кровию запечатленный лик
К восточному склоненью гимн победный.

Мой дрогнул дух, и долу я поник,
И ждал суда, как колос жатвы серпной...
И слышу: «Встань!...» То вещей был старик.

«Рун Сфинксовых толковник страсотерпный,
Слепец святой!» к нему воззав, я рек:
«Будь зрячим вождь в напасти неисчерпной!

«Прозри нам свет за тайной темных век!
Глад древней тьмы ты древле усыпивший
Единым разрешеньем: Человек!

«О, ты, до дна земли потир испивший,
Ты, рок греха подъявший без вины
И волею невольный искупивший!

«Всечеловек!... Вотще ль, твои сыны,
Погибнем здесь?... Но дух уже предчует:
Восстанем мы, тобой исцелены!

«Твой лик один недуг сердец врачует,
Твой глас один страстей утишит спор!
Свой темный грех раскаянье бичует,

«И на себя подымется укор...
Тебя зовем, спасенья мистагога,
Тебя — судью — на суд и приговор:

«Где к родникам чистительным дорога?
Где рдяный терн горящего куста?...
Эдип, Эдип, тень страждущего бога!...»

И тот: «Блюди, кто превозмог, уста!
Благоговей в огне молитв бесгласных!
Владычица грядет в сии места.

«Благоговей! Из Эвменид ужасных,
Богинь благих, восстала днесь одна —
Отвеять прах от жатвы зерен класных.

«Но всех, увы! душа заражена
Проклятием старинных преступлений, —
И месть на всех, и вот — на всех она!

«О, чахлый плод жестоких поколений!
Поила ль вас, разлившиися, река
Любви живой, как жаждущих оленей?

«От ваших жал, род змей, она горька!
Отравую своей ваш дух болеет!
Чья грудь тесна, тому любовь тяжка.

«Где пламень — свет. Кто любит, не жалеет.
Страданья нет: все — пламень и роса!
И счастья нет: любовь одна довлеет!...»

«Но вещей страх подъямет волоса...
Она грядет: луч тает, догорая,
И с нею ночь грядет на небеса...

«Ты здесь: внемли! Тебе молюсь, Благая!
Коль некогда в обители твоей,
Ведом судьбой, я сел, ярем слагая

«Проклятия и долгих, долгих дней;
Коль древняя искуплена обида
Всей жизнью, всей казнию моей, —

«Не изливай, о, Жалость-Эвменида!
На светоч их твоих елеев месть:
Их тлеет лен огнем Иапетида!

«Дай им в сердца приять спасенья весть!
Днесь сердцу Сфинкс поет загадку мира:
Дай в их сердцах разгадку им обрести!...»

И я возрел... Из бледного потира
Святых небес лиется звездный свет,
И кроткие сияют очи мира...

И мир окресть, и Мстительницы нет...
Но тот же Сфинкс, как темная икона,
У ног царя... И на его хребет

Слепец воссел... Как отголосок звона
Из тайны волн, звучит его глагол:
«Дитя слепца и жертва, Антигона!

«Будь темным вождем, да узрим бледный дол,
Отцу — сестра, и деве Ночи — дева!
Но вы, чей дух пленен юдолью зол,

«Склонить на мир спешите ловчих гнева!
В дом Эвменид держите правый путь
На верный зов утешного напева!

«Мой поводырь пред вами будет дуть.
Уж он в пути: чуть внятн глас свирели...
Не мыслите до утра отдохнуть!

«Но посох ваш к очистительной купели
В терпении несите на восток:
Се, кормчих звезд горят над вами цели.

«В огнях зари вы узрите поток
И медный праг в расселине дремучей;
И будет вам последний труд жесток.

«Вкруг — лютый терн. Но где к воде текучей
Нисходят агнцы в пору новых лун,
Видна тропа меж заросли колючей.

«Обильные волокна снежных рун
Хранят шипов неумолимых ости:
Сберите шерсть для жертвы, как вещун

«Вожатых сил и дышащие трости
Наставят вас. Чтò в дар земля возьмет,
То даст сама, молитвенные гости, —

«И ветвие маслин, и дикий мед, —
Да справите Благим по чину справы.
Когда ж вода боль персных язв уймет,

«Не глядя вслед, соседственной дубравы
Взыщите мрак. Там сон на вас дохнет,
Как смерть — глубок. Но вы проснетесь здравы.

«Впервые жизнь свободно грудь вдохнет,
Пощажена земной алчбы погоней!
Впервые дух от воли отдохнет!

«Железом окружен незримых броней,
Целеньями таинственных охран,
Безжалостней, чем жизнь, и непреклонней,

«Чем смерть, живет, кто от Любви избран:
Зане в тайник горящий сердца снидет
Кровавое напечатленье ран.

«И ваших стигм взор чуждый не увидит;
Но дух, сам связань и тюремщик свой,
Себя в одном себе возненавидит...» —

И, вот, я жив, и говорю с тобой.

BPATA

Я зрел Врата, куда Земля и Твердь
И все, что днесь, — грядет дорогой верной, —
Врата надежд, которым имя — Смерть.

И зрел немой узор скрижали дверной;
И зрел трех жен, они же ночь и день
На-стороже во храмине пещерной.

Одна, склонясь на вратную ступень,
(В тени дубрав так светит цвет лилейный) —
Над снегом риз двух рук — двух остий — тень

Воздела вслед молитве тиховойной,
Двух отсветов Эдема, двух светил
Лазоревых стремя благоговейный

На руны взор. «Что дух благовестил
Твоим очам?» — уста б не умолчали:
На слеп очаг святых лучей светил...

Как черный ил иссякнувшей печали —
Был взгляд другой. Став на мои в упор,
Ее глаза моих не замечали.

Уже дерзнуть я мыслил разговор
И горьких уст изведать скорбны чары
Она ж, гневна, в меднолитой затвор

Воспрянула стучась, — и взвыли, яры,
Поколебав окрепу и замок,
Отчаянья призывные удары...

И к третьей — той, что роз плела венки,
Меня повлек, грудь сладостно волнуя,
Благих очей победно — тихий рок.

«Кто ты, что жизнь в цепь красоты связуя,
От тайны Врат сидишь отвращена,
У прага тьмы мощь света торжествуя?» —

Я спросил. И, вскинув взор, она
Простерла мне, взяв с лона, плод гранатный:
И с глаз моих упала пелена.

И я: «Твоей святыней благодатной
Прозревшему лик вечный твой — внимли:
В чем ключ письмен, и разум меди вратной?»

Но Вещая: «Что видишь там, вдали?»
— «Зрю некий вихрь», я молвил, «по долине
И пламенник, мерцающий в пыли».

Она ж: «То — мир, — один из тем, — пучине
Врат обречен; померкшая звезда;
Свет, тонущий в первоначальной тине.

«Сойди ты в дебрь, где черная вода;
Брось плод в струи, — и узришь невредимый,
Что отразит прозрачная среда...»

Я отошел, скорбя, — как от родимой
Отходит сын; и бросил плод в струи,
Уснувшие средь дебри нелюдимой.

Как тают белым под зельем чешуи,
Так ясных вод разверзлося зеркало.
Там очи въявь увидели мои,

Что мысль, смутясь, — что сердце б отрицало!
Людских племен был погребальный ход,
Что вдалеке, как некий вихрь, мерцало.

Чужой земли богоподобный род,
Исполнь венцов могущества и славы,
Был отражен затишьем чистых вод.

Смерть смутная обвеяла их главы;
Сомкнутых вежд из первозданной мглы
Я различал затворы величавы.

Они неслись, как спящие орлы
На хищный бред из горного притона, —
Немых громов потухшие хвалы!

Как бурный дух, мощь мчалась легиона
К пещере Врат; являл за ликом лик
Кристалльный сон недвижимого лона.

Грозой чела цвет гордой силы ник
Без подвига под игом Адрастеи;
На их устах мятежный стынул клик.

Младенцы вслед неслись; клубились змеи,
Задушены объятjem детских рук.
Лобзали чад безгласных Ниобеи.

Был напряжен тугим нацелом лук;
Пасли персты по струнам сладким барды,
И дев в венцах блуждал по лютне звук.

Львы прядали в цепях, и тигр, и парды;
С куреньями несомы алтари
Я зрел, дивясь, и в алавастрах нарды.

И в золоте тиар несли цари,
Обожены, златое бремя крылий —
И золото оков — мзду бранной при.

И с колесниц творцы кровавых былей,
Бразды собрав дыбящихся коней,
Роняли дар победных изобилий, —

И их венцов над полчищем теней
Златился лавр. И Амазоны — девы
Скакали вслед, степных зарниц вольней.

И вещей НORN угрюмые напевы
Забыть не мог ужасный рот Сивилл,
И сон их зрел судьбины мстящей гневны.

Влюбленный сонм в последней страсти свил
Со станом стан нерасторжимой лаской
И алчных уст последний глад ловил.

Как облака волшебной реют пляской
Над озером: что миг, то сменена
Игрой игра, тень тенью, краска краской,

И в озеро глядит через них луна, —
Так хоровод изменчивых явлений
Прозрачных вод рождала глубина.

То был ли сон охот, и бег оленей,
И пышный бег стопарусных триэр?
В безбрежности чреватых отдалений

Рос ликом рой и облачных химер...
И — бледный вождь — кометою туманной
Неслась вперед — астральных чадо сфер —

Богини тень прекрасной, бездыханной,
Чей саван был, прозрачный у чела,
Из мглы соткан и хляби первозданной

На юный лик седая муть легла,
И тиною хаоса мрак победный
За ней густел. Свой мир она влекла

К слепой мете и зову двери медной;
И на челе, средь гаснущих венцов,
Мерцал звезды потусклой светоч бледный.

Свой мир она покрыла, — как птенцов
Сбирает мать охватом крыл орлиных, —
Густой волной клубящихся концов

Риз призрачных, как полог ночи — длинных...
И — ждущей тьмы пленительный залог —
Цвет, сорванный в лазоревых долинах,

У Вечности скрестившихся дорог, —
В ее руке белел нарцисс горящий...
И взор тоски на роковой порог

Я обратил, молясь Животворящей, —
Той, что венок плела багряных роз, —
Связующей, Венчающей, Дарящей!...

Пряма стоит... Зрак неземной возрос,
Отражен прозорительным зеркалом...
И как Заря глядит над мрежей рос

На бледный лик под звездным покрывалом, —
Утешным так сияючи лицом,
Дар золотой: змею, хвост алчным жалом

Являющую, сомкнутую кольцом, —
Разлуки дар, знак вечного начала, —
С торжественным победных роз венцом,

Простерла той, что буря смерти мчала...
Миг — и к устам бескровным льнут уста,
Перст обручен, чело любовь венчала!...

И вечные разъемлются Врата...
Как горный ток в бездонный крутень ринет
Пещерного, зияющего рта, —

Иль вихорь смерч крутящийся надвинет,
И, разрешась, в опустошенный дол
Пучинный змий всей тяжкой тучей хлынет, —

Так поглощен был сонм... Как глыбный мол
Волн космами зарыт; но пали горы
Ревучие, — неколебим и гол

Лежит праг бурь: незыблемые створы
Пугали так, из клубов мглы грозя,
Вновь тайною запечатленной взоры.

Вся мдрокон застлалася стезя,
Где пронеслось стихийное движенье;
И было зреть трех жен очам нельзя.

Прозрачных рук молящее сложенье,
Единое, являло предо мной
Жены слепой умильное служенье.

Гнев стиснутый я зрел руки иной:
Он ударял, — млат злобы безнадежной,
Проклятий млат, — по двери медяной.

И тихий перст я зрел десницы нежной:
Чертил он рок неустрашимых рун
Над таинством скрижали неизбежной.

След огненный текучий вел перун
Над таинством скрижали безглагольной...
И сердце «Жизнь» прочло, слепой вещун

Своих надежд!... Горел внизу продольной
Черты отвес, прямую разделив,
И круг над ней, в себе — себе довольный...

Так! «Жизнь» вещал, власть круга дивно слив
Со властью двух крестных черт победной,
Египетский святой иероглиф!... **

Мой разум смолк у грани заповедной...

МИРЫ ВОЗМОЖНОГО

*Памяти погибшего **
(1890)

**E se pensassi, come al vostro guizzo
Guizza dentro allo specchio vostra image,
Cio che par duro ti parebbe vizzo.**

Dante, Purg. XXV

«Скажи, мой вождь! Бежав земного плена
И странствий и страстей подъяв немало,
Искуплена ль душа от власти тлена?»

И дух в ответ: «Глянуть в сии зеркала
Ей надлежит, да упадут пред оком
Последние земныя покрывала.

«Последним будет ей тот взгляд уроком.
Возри ж и ты; насытись правды медом,
Будь напоен ее полынным соком!...»

Темнело зеркало подобно водам;
Но зыбкое в нем брезжило движенье:
Влеком был взор его растущим ходом.

И спутник мне: «Вотще сие брожение
Познать ты хочешь ошупью догадок:
Возможного ты видишь отраженье.

«Как муть раствора даст сухой осадок,
Миров возможных реянье готовит
Необходимый сущего порядок.

«Что плоти взор напрасно долу ловит,
То видит дух, в сие восшедший место;
И видящий уже не прекословит.

«Но не страшись! В день оный будет вместо
Квашни бродящей дар святого хлеба:
Божественной встает закваской тесто».

Я различал в зеркале своды неба;
Неверный свет блуждал на их просторе:
То не был свет Луны, ни слава Феба.

Я землю различал, и злое море;
Но зыбкие мешались их равнины,
И воды шли, стеля далече горе.

И вспять катились, обмелев; низины
Преобращались, корчась, в плоскогорье,
И горбились холмов крутые спины.

И в ложе новых пойм втеснялось взморье;
И выдыхали трещины земные
Огонь — воды рушительной подспорье.

И облаки ходили проливные,
И пламень хищный влага прогоняла,
И вновь цвели пожарища лесные.

Природа непрестанно изменяла
Неверный лик, колеблемый и смутный,
И сила силу скупко вытесняла.

И в оной хляби, мреющей и мутной,
Я гибель многую прозрел, встревожен,
Неживших душ и жизни бесприютной.

«Увы!» я молвил: «каждый миг возможен
Возврат хадса и конец живущим».
И дух: «Взгляни, как человек ничтожен».

Светлело. Мир я зрел ко мне бегущим.
Отчетливей стеснялись кругозоры,
Как пред летящим вниз иль с гор идущим.

Свет привлекал доверчивые взоры —
Чтоб их измучить. Милые изломы
Являли предо мной родные горы.

Геенских сил потухшие разгромы;
Сугробом пепла скрытые руины;
С утесов гордых стертые Содомы;

Ползущей лавой чадные долины;
Гор облик, искажен провалом новым
И новою громадою лавины;

Грунт, под горячим дышащий покровом,
Как в пене конь, когда ездок усталый
Даст искромечущим остыть подковам, —

Таков был ныне край Помоны алой,
Родимых лоз и миртов и маслины!
Живых не зрел свидетель запоздалый...

Но развивались явственной картины
Дальнейших мест, где жатву вечной Жницы
Еще застал для горшей я кручины.

Увы, сколь многих жертв узнал я лица!
Я зрел их сонм, обвалом заключенный
В ущелий безысходные темницы.

Как рой теней, скитаньям обреченный,
Вдоль шатких стен искал он слепо двери —
И гроб обрел под глыбой отсеченной.

Спасенных горсть — не жалость о потере,
Гнал дикий страх под скал нависших своды:
Ползущих ниц давил обвал в пещере.

Других застигнул быстрый час невзгоды
На крутизнах, обглоданных обрывом;
Их бездна обняла, как остров — воды.

Как овцы, в стаде скучены пугливом,
Они стеклись; теснил бессильных сильный
На ломкий край толчком себялюбивым:

Пока с высот поток лавины пыльной
Иль скал обрыв с подточенной основы
Всех не свергали в бездны мрак могильный.

Жестокий свет, очей палач суровый!
Я видел казней горшие восторги
И жалких общин образ видел новый:

Презрев со Смертью неотступной торги,
Неистовой тут предавались страсти,
По жизни правя тризну низких оргий...

Как удрученный зрелищем напасти
Исследовать беду, опомнясь, хочет
И служит вновь ума холодной власти, —

Так думал я: «Мечта меня морочит!
Чей злой конец, постыден и ужасен,
Передо мной? Кого мой сон порочит?

«О, нет! Удел сих доблестных прекрасен:
Их имя молвят с тихим умиленьем;
Невинен был их день, и вечер ясен».

Но спутник мне: «Еще ль ты полн сомненьем?
Из зерен жизни дикий колос всходит,
Взрощен слепых Причин слепым сцепленьем.

«Но как садовник часто сад обходит —
Ветвь отсечет, шестом поддержит стволы
И черенком дичок облагородит:

«Так духам Целей, чьи горят престолы
В зарях эонов, сей завет положен:
В благую гавань править мир тяжёлый.

«Распутья есть, где путь и путь возможен:
Там их рукой ко свету рок направлен;
Без них — победа тьмы. Твой сон не ложен.

«Вот человек, себе лишь предоставлен!
Вот мир, своей доверенный судьбине!
Скользит, кому хранитель не приставлен».

От уст вождя к погибельной теснине
Я взор склонил: в окружности широкой
Людей, увы, не видно было ныне!

Лишь в полумраке пропасти глубокой,
Над черным устьем глубочайшей щели,
Полз остальной от пагубы жестокой.

Его колени, кровь лия, слабели;
Он был паденья жертва роковая;
Сомкнуты, новых бездн глаза не зрели.

Я ж, за него крушась и изнывая,
Летел к нему, столь жалостью влекомый,
Как бы страдала плоть моя живая.

И были мне таинственно знакомы
Сей лик, и плащ, и ратный сряд Дамаска...
Томился он — и я пил оцт истомы.

Мучительная медлила развязка...
Разверз он очи в ужасе; но, верно,
Моих ланит была бледнее краска...

Он на меня глядел в тоске безмерной;
Я ж чувствовал, что мыслит он, безгласный:
И сердце сжал мне ужас суеверный...

Внезапно, торжествующий и ясный,
Нам муж предстал: отважным серны следом
Он нисходил по крутизне опасной.

Спасенья светлый вождь, он был мне ведом:
Он некогда, наставник неизвестный,
Мне привитал с блаженным детским бредом.

Он юноше являлся, благовестный,
В часы, когда звучит Ave Maria
И золотом пылает свод небесный.

В слезах и песнях слив хвалы святые,
В сияньи алом гор, за звонким стадом,
Мы покидали темени крутые.

И долго мне, объяту дольним хладом,
С высот светил он, чистый и далёкий...
Но синева долин звала к усладам...

Возвышенные тяготят уроки;
Приязнь теряет неподкупно-правый,
На чьих устах — безмолвные упрёки...

Я слезы лил, увидя, раб лукавый,
По долгом сне порочных нег и лени,
Святого друга образ величавый...

Он руку дал страдальцу — и колени
Его окрепли... Он восходит, сильный...
Являет путь природные ступени...

И уж достигнут бездны край могильный;
И прейдены пустынных скал пороги:
Тропой отлогой манит дол умильный.

Шел без опор излуками дороги
Муж, упредив вождя: покатым склоном
Легко несли его, окрепнув, ноги.

Он на пути властительным поклоном
Ответствовал поклонам низким встречных;
И мой дворец предстал в саду зелёном.

Там провождала бег часов беспечных
На мраморе террас, толпа, пируя,
За чашею веселий скоротечных.

Мнил каждый гость, разнузданно ликуя,
Себя владыкой; но поводья власти
Одна жена держала, торжествуя.

Я знал ее! Пред нею в бурной страсти
Я рабствовал... Но видел ныне, хладен,
Ее красу в далеком безучастьи.

К иной жене мой взор, смущен и жаден,
Летел и узнавал сей лик печальный;
Вливал он в сердце скорбь — и был отраден.

Я вспомнил наш союз порою дальней, —
Мой краткий жар и возникавший холод,
Предупрежденный песнью погребальной.

Я вспомнил новой страсти жалкий голод,
К блуднице той уже меня стремивший,
Когда на гроб тяжелый падал молот.

Глядели с ней на пир, ее томивший,
Два отрока, обняв ее колени,
Пугливо лик на лоно к ней склонивши.

И вот взошел на гладкие ступени
С покорным другом человек спасенный:
И встали все почтительно с сидений.

Он оглядел гостей собор смущенный,
Как семьянин, в дому нежданно маски
И бубнов звон заставший ночью сонной.

Но пред женой с детьми стыдливой краски
Не победил и, как бы сожалея,
К ней протянул объятья робкой ласки.

Жена стояла, подойти не смея,
Противоречьем связана стремлений;
А дети шли, потупясь и робея.

Он их благословил; я ж смысл явлений
Постиг, его признав отцом — супругом:
Палач он был и жертва вожделений.

Он от жены, окованной испугом,
Лик отвратил, и женщина предстала,
К которой он горел любви недугом.

Она с усмешкой дерзкой ожидала —
И, бросив на пол кубок недопитый,
Лобзая и смеясь, к нему припала.

И на парчу скамей и бархат рытый
Он сел за стол, с подругой гордой рядом,
Ее рукой блистающей обвитый;

И властным знаком и привычным взглядом
Велел жене, недвижно-безотрадной,
Пришельцев чинным потчевать обрядом.

Склоняясь под далматикой нарядной,
Она несет на блюде драгоценном
В рогах туриных нектар виноградный.

Но дар он отстранил перстом надменным,
Улыбчиво подругу озирая, —
Простерла руку та за Вакхом пенным.

Тогда жена, обидою сгорая,
Хватает рог — и выплеснула полый,
Победный лик соперницы марая.

Сорвав с бедра владыки меч тяжёлый,
Одна являла ярый гнев Мэнады,
Другая — бледный бунт и вызов голый.

Был кравчим — рушать жирных яств громады —
Отточен нож: в нем, движима раздором
Жена искала мстительной ограды.

Но грозовым домовладыки взором
Застигнута, их распря цепенеет;
Кивает он рабов ливийским сворам.

Склоняя взор, собрание немеет;
Воспрянуло толпой недоумелой
И радость новизны явить не смеет.

Чуть тронута рабов рукой несмелой,
Их госпожа владычно отстраняет;
И мечет ожерелье с груди белой,

И с диадимой браный плат роняет,
И, в лоскутах одежд, простоволоса,
С помоста в сад безумный бег склоняет.

За нею дети рвутся вниз с откоса:
Так немощным крылом орлята плещут,
Орлице вслед стремясь лететь с утёса.

Вотще зовет их мать. Победой блещут
Соперницы приветствуемой очи...
Но светлый гость восстал — и все трепещут...

Как опекун со свитком полномочий,
Он отроков из рук рабов приемлет...
А на пути — отец, мрачнее ночи...

И держит руку гостя: гость не внемлет...
И выпускает быстрый плащ десница...
И вот, детей, рыдая, мать объемлет.

Как отвращает журавлей станица
От Севера, на Юг собравшись, строи:
Так все четыре отвратили лица.

И дрогнули в тот миг добра устои
В душе владыки. Новый гнев питая,
Он преступленьем гнал Эринний рои.

Он повелел — и, резво вылетая
И след обнюхав, за густые дубы
Помчалась псов натравленная стая.

Но прежде чем вонзились злые зубы
В тела гонимой по лугу добычи,
На пасти вождь свой плащ накинул грубый.

Бежали мать и дети. Алча дичи,
Терзали псы тенета плотной ткани,
Во тьме виясь; и, чуя запах птичий,

Ослеплены, загрызли гурт фазаний;
И пред террасу, как палач, вернулись,
Свершивший долг свирепых истязаний;

И прыгали, насыщены, и гнулись...
И видя кровь и пыл животных ярый
И клочья ткани, гости содрогнулись —

И, смущены концом кровавым свары,
Прощались, с безучастьем осторожным,
С безмолвным осужденьем дикой кары...

Как море пред ударом неотложным,
Когда дымятся пенные прибой
И воздух полон криком птиц тревожным;

Оболокли свинцом одеты вди
И хлябь, и твердь; из черных волн, могутный,
Темней, темней на слой, на сизый, слди

Толкает ветер; курясь, по туче мутной
Клубится мрак — и блещет искрой белой
Пугливый вылет чайки бесприютной, —

Владыки лик, зловещий, потемнелый,
Дышал грозой... За чашей праздною сидя,
Наложницы не зрел он оробелой...

Как пир пустел и день угас — не видя,
Так он сидел... И — диво! — смутой равной
Я с ним болел, стыдясь и ненавидя...

И на кумир Венеры своенравной
С улыбкой показав, жена коснулась
Его стопы с вином стопой заздравной.

И он отверг вино. И усмехнулась
Жена с презреньем... Встал он, негодуя;
В тяжелом взоре ненависть проснулась...

Она стояла, в нем врага почуя,
Пряма, смела... Он, наступая строго,
Перст протянул, на выход указуя...

Жена, ступив на лестницу чертога,
Берет убор, соперницей гонимой
Раскинутый у гордого порога,

И, над уздрочьем и диадимой
Глумясь, кидает псам: от сна, несыты,
Вскочив, ярятся псы над пищей мнимой...

А он стоит над ней... Ища защиты,
Она воздела руки... и — кинжалом
Пронзенная — катясь, пятнает плиты...

Он труп столкнул, как тать, и взором впалым
Двор оглядел, и оглядел террасу,
И камни вытер оксамитом алым.

Стремятся псы к облиту кровью мясу,
Но, став, главы закидывают, воя:
Я, мнилось, внял протяжному их гласу...

Он, бледен, травит их, меж ними стѡя:
Псы ж не идут на труп и вероломно
Зовут людей, тоскливо землю роя...

Как бы осилен тяжестью огромной,
Он пал на труп, и глаз недвижных жало
В меня из глубины вонзилось тёмной.

Лицо сознания ужас отражало...
И я тот страх познал, и то же горе:
Мой волос встал, и сердце задрожало...

И я, с догадкой роковою в споре,
Как призрака почуявший явленье, —
Глаза сомкнул — и вновь раскрыл их вскоре...

Предчувствия смертельное томленье —
Оно сбылось!... — я сам, я был убийцей!
Мой был тот лик! мое то преступленье!...

Вождь поддержал меня своей десницей;
Сокрыл лице я; мрак я звал кромешный;
Я жаждал искупить мой грех сторицей!

И дух: «О, плачь! Плачь, в скорби безутешной!
Рыдай, и рви власы, и смой проклятья
С души, без грешных дел в возможном грешной!

«Мне суд и месть! Здесь нет лицепрятья!
Тут всем манэ-факел! Тут всем равенство!
Тут падший и спасенный — снова братья!

«Чье внешнее случайно совершенство,
Презрен пред тем, кто был любви радетьель,
Но в миг страстей забыл ее главенство.

«Вознаградив страданьем добродетель,
Сей тихо плачет о забвенном кладе,
Несломленной судьбы своей свидетель, —

«И вновь подьмет лик, дивясь награде
За жар любви: на высь святых нагорий,
Для новых, чистых дней в блаженном граде,

«Равно зовут его багряны зори!»

EVIA

ИМЕНИ ТВОЕМУ

Зрящие мгновения в глубины роковые; — выступи пляски улыбчивой, — легкая, на краю зеленом; — безумье прекрасное жизни: вот, Господь мой и Бог мой, душа моя, — пламенник, огнем снедаемый во славу Твою!

„* «Пламенники» *

Взгляды,
Что, канув,
Назад не вернутся —
Поведать дно
Вихрю души, —
Она ж схватилась,
Прильнула
К лозе висячей,
Что шепчется с Ужасом, —
Это — ты!

Жизни
Прекрасной
Святое безумье,
Меж бездн и бездн
Реющий рай,
Над мраком облак
Расцветший,
Бег пляски звонкой
По стремям улыбчивым, —
Это — ты!

Вот душа моя,
Дионис!
Тебе горит
Мой пламенник!
Ты веешь —
И он сгорает!

СВЕТОЧ

Αἰθόμενα δὲ δῆς ὑπὸ ξανθαῖα πεύκαις.
Pindar. Dithyr.

Пламеней,
Песнь без удил,
Отклик светил,
В дебри ночей
Око очей,
Светоч хвалы,
Ярость смолы!
Быстр —
Вихорь бичей,
Золот-ручей!
Яр —
Соком ключей
Брызжущий грозд,
Огненный сistr
Реющих звезд!
Бога пожар!

Смей!
Гривы твои —
Облако змей!
Мрежи теней —
Путы твои!
Эхо твои —
Севы огней,
Искристый дождь!
Рдеющий бор,
Веющий хор,
Полымя вой,

Зарево гор —
Нива твоя,
Серп огневой!
Пажить твоя,
Конь буревой!
Туча и столп!
Жезл и змея!
Солнечный вождь
Пламенных толп!

Вея, немей!
Эхо дубрав,
Отзвуки гор —
Племя Мэнад —
Спят, раскидав
Тирсы и змей...
Вещие спят...
Дышащих дрём
Ты не буди!
Чутких истом
Мимо иди!

Загляни,
Бегом луча
Взоры влача
По ступеням,
В ночь пропастей!
Братским огням
Чутких небес
Знамя вестей,
Отклик чудес
Ты возметни!
Пламя меча
К ним протяни.
Свой ты теням,
Солнцам — ты свой
Эвой!

Раздирай
Ризу ночей,
И озирай
Бездну и твердь!
С ветром играй!
Смеркнув в дыму,
Вдруг пожирай
Беглую тьму!

Смертию смерть,
Бог, поборай!
И до зари,
Феникс, гори!
К ней, пир очей,
Крылья лучей,
К ней простирай!
В ней догорай!...
С ней умирай, —
Рай!...

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Οὗτός ἐστι τῆς παλιγγενεσίας ὁ θεός
(ὁ Διδύραμβος).

Hermias

Строфа 1

Встань, Дифирамб! Не сякнуть
Ключи жизни!
Встань! Не вянет
Венец Геи!
Играет Феникс
Над пальмой столпной;
И Вечность — Пастух
Свирелью вечернею
Овец светорунных
Пажити синей
Не закликает
В ограду Смерти...
Смерти?...
Но не умрете вы,
Не прозябнув
Для жатвы Божьей
На ниве Ночи родимой,
Звездные севы!

Антистрофа 1

О, Дионис! не сам ли
Ты — Смерть, Светоч
Двоезарный,
Теней Солнце?
Где ветвь Древа?
Где корень темный?
Растешь ли ты в День,
Иль в Ночь, Свет полунощный?
О, топчущий гроздь
День — Виноградарь!
Багрец заката —
И пурпур утра, —
Эвий!...
Семя, уснувшее
В колыбели
Чреватой Смерти, —
Гимн, плуща силой увитый,
Пой, змеекудрий!

Строфа 2

Пустынны,
О, Дионис! твои холмы.
Огнем одождает
Священных земель
Рудобурые пажити
Небес воспаленное око.
Умолкнул Тмол.
Стремнин Парнаских
Ели молодые не страждут
От жен-огненосиц,
Раскинувших по ветру
Кудрей амбросийных смоль.
Где гроб сокровенный твой,
Бог погребенный?
Но не сдержит Воскресшего
Темный гроб!

Антистрофа 2

Наяды
Где твои? Амадриады?
Меж плясок дельфинов
Не шествуешь ты
Синевою волнуемой
К венцам островов — звезд пучины;
И мраморы
Голубозарных,
Лирозвучных утесов
Глядят — мавзолеи
Некрóполя влажного —
В грозно-синюю ночь морей...
Увей кипарисов ночь
Почками розы!
Незакатное Солнце пой,
Дифирамб!

Строфа 3

Взрадуйся, Мошь-Океан
Восшуми, възиграй,
Суровоокий,
Старец глубинный,
Океан!
Ты, свои дали и тайны
И дива и дали разверзший
Очам соколиным
И сердцу хмурому
И рыщущим пàрусам
Позднего племени
Чад Прометеевых, —
Океан!...
Не пел Нереид сонм
Аргонавтам полунощным,
Не пел им Орфей сладкогласный
Чья лира созвездий
Чуждые хоры,
Неслышима, движет
Над чуткими, бдящими мачтами...

Рока песнь
Твои верные,
Прометей,
За кормой неудержною
Заводят, рыдая,
Океаниды пустынные, —
Да — бури вещунья —
Хохочет чайка...

Антистрофа 3

Взрадуйся, новая Жизнь!
Возъиграй, взбушуй!
Идет, неведом,
Миру рожденный
Дионис!
Нет противленья незримым
Тирсам ликующей силы!
Нет миру пощады!
А вы, в узилище
Граней томимые,
Полною грудью
Бога вдохнете вы —
Им гореть!
Кто дышит тобой, бог,
Не тяжки тому горные
Громады, ни влаги, почившей
В торжественном полдне,
Стакло голубое!
Кто дышит тобой, бог,
В алтаре многокрылом творения
Он — крыло!
В буре братских сил,
Окрест солнц,
Мчит он жертву горящую
Земли страдальной!...
Легкий подъемлет он твой ярем! —
Но кто угадает
Личину бога?...

Строфа 4

Встань, бог Дифирамб, дохни
По тучам вешним!
Клубные, столпные,
толпы столпились,
Тяжкие влагой...
Дунь на яблонь трепетом,
Отряси бел цвет,
Снегом душистым вей!
Пахни на льды горные
Теплом — бурей!

Антистрофа 4

Воскреси, Земли Восторг,
В отпавшем сердце!
Первенец Матери,
Встань, жизнещедрый
Дух боговещий,
Встань, Избытка царский сын!
Лесы темные
Древнюю песнь поют:
Поет Душа многая
Душе древней!...

Эпод

Мы хоровод ведем, вещую песнь поем —
Песнь твою, сердце земли родной!
Ширь всеобъятная, воля безвольная,
Неудержной души простор,
Непочатая, сила заветная, —
Ты — сырой ли Земли тоска,
Али темных дубрав, ветра ли буйного,
Али речных быстрин, али морских глубин,
Али тесна тебе вся поднебесная,
Сердце, сердце земли родной?...

ЦАРИ **

Вас ждут венцы
Тяжкого золота:
И ваши руки
Дерзнут поднять их,
Главы — нести их,
О, тернием духа венчанные,
Цари грядущего,
Вы, жизнь подъявшие
Без алчбы!

Вам суждены
Новые подвиги
Старинной славы,
И колесницы,
И лавр последний,
От воли земной искупленные
И волю впрягшие
В упряг ристалищный
Игр земных!

*

Над кубками тяжкого золота поникли вы челом венчанным —
семь на пире; кубок восьмой, пред местом праздным, — нетро-
нут, — уготован гостю, свят богу.

Поник головой Тидей и видит — не вино недопитое на дне чаши,
а кровь алую; Капаней — оцт; желчь — Этеокл; Гиппомедон —
кровь черную, густую; Парфенопей — полынь; Амфиарай — воду
ключевую, студеную; черную желчь — Адраст.

Пьет Тидей, и говорит: «Упоен! Довольно!»

Пьет Капаней, и молвит: «На тучу наступил огненосец — и
ужален».

Пьют другие — и не смолвились словом.

Входит в чертог Мелами, и возрадовались мужи на старца, и
вскричали: «Привет, ухо чуткое! Радуйся, боговещий!»

Говорит Адраст: «Счастлив ты, что не венец золотой на челе
твоем, а золотой вкруг чела облак».

И Амфиарай: «Тебе пить кубок, уготованный гостю, святой богу».

Поднял Меламп кубок восьмой, — и вот, облако золотое над
кубком, и кубок держит Дионис влажноокий!

И взыграли сердца мужей, и вскипели кубки вином божественным, и сени дубов тканью зелено-солнечной протянулись над столом пирным, и темью меж древних стволов глянули очи дубрав глубоких.

Улыбается бог: «Гостей привел я к вам на пир».

Зарычал Этеокл: «Нет места на пире».

Парфенопей сказал: «Мы сняли личины».

«У нас мечи!» воскликнул Тидей.

И Гиппомедон: «Падет, кто видел нас без личин!»

Примолвил Амфиарай: «Или возьмет наши личины».

Семь царей стоят в венцах древних: и восклицают семь царей: «Сразимся, цари гробниц!»

И срывают семь царей ветвие дуба золотое: и семь царей посыпали головы солью, и прославили бога Диониса.

И сбросили личины семь царей.

И убил Тидея Меланипп, Капанея — Полифонт, Этеокла — Мегарей, Гиппомедона — Гипербий, Парфенопея — Актор, Амфиарая — Периклимен, Адраста — Меланипп.

И надел личину Тидея Меланипп; и личину Капанея — Полифонт; и личину Этеокла — Мегарей; и личину Гиппомедона — Гипербий; и личину Парфенопея — Актор; и личину Амфиарая — Периклимен; и личину Адраста — Менекей.

И прославили бога Диониса.

НАПОЛЕОН

Ты сам упоил
Разымчивым нектаром
Мойр, обступивших
Ложе родившей,
Арей — Дионис!
И стражей — змей
Ты в колыбель
Вложил младенца.
Медом вскормил его,
Млекою вспоил Земли
В пещере тайной.
И повязью пурпурной
Очи затмил ему,
И юношу ринул
В бой мужей —

Слепца, полубога, провидца:
Да крови не видит,
Не видит Керы,
Не видит бездны,
Ах! и не видит
Цветов умильных
Свой светоч ты
Пред ним возжег
Звездой вожатой —
И краем бездн
Ведомый шел
Тропою верной;
Тропою легкой
Шел по змеям
Эринний спящих.
Незримой чашей
Ты укреплял
Усталого;
Незримой флейтой
Будил уснувшего.
Послушный шел он
Звезде вожатой,
По венцам, по крови —
Слепец, полубог, звездовидец, —
И шумели над ним
Крылами славы
Победа-Дева
И Дева-Обида...
А ты глядел,
Веселяся сердцем,
На полубога,
Игрой со львом
Играя львиной...
И вдруг
Свой светоч —
Задул, —
Играя,
О, лев! о, бог!
Один,
На холодной скале,
Очнулся сновидец
В ночи беззвездной, —
И глухо под ним
Океаниды глубокие,
Стеная, пели
Древние узы...

ГИППА

Ἡ Ἴππα, τοῦ παντὸς ὄσα ψυχὴ —
λίχνον ἐπὶ κεφαλῆς θεμένη καὶ δράκοντι
αὐτὸ περιστέψασα — ὑποδέχεται Διό-
νυσον.

Procl. in Tim.

Das Göttliche kommt auf leichten Füßen.

Fr. Nietzsche

ГИППА

Я колыбель, я колыбель-кошницу
На голове, Гиппа, несу.
Кольцами змей я колыбель венчала:
В ней опочит рожденный бог.

Я колыбель, Гиппа — душа дыханий,
Я колыбель богу несу.
Ты в колыбель, бог, низойди, рожденный!
И на главе моей почий!

Кольцами змей я колыбель-кошницу,
Кольцами змей вокруг увила.
Стёблем цветка я поднялась из сердца
Темной земли — тебя приять!

О, Дионис! отчих из чресл рожденный!
Ты в колыбель, бог, низойди!
Се, я из тьмы, Гиппа — душа, возникла
Стёблем цветка — нести свой цвет!...

ХОР

Трепет бежит в жилах Земли родимой;
Взвильсь орлы; вспухли валы;
Ропщут дубы; с эхом играют громаы;
Солнце светлей; звучней ключи.

ГИППА

Сходит... Эвой!... Трепетных молний очи
В очи глядят... Обволокли
Тучей чело... Над головою змеи
Звоном поют... Главу тягчит...

Бог, пощади! Бог, ты нисходишь тяжкий!
Я ли снесу, я ли вмещу
Бремя твое, твой золотой избыток?...
Но низойди! Эван! Эвой!...

ХОР

Он низошел, Гиппа — душа дыханий,
И на тебе, легкий, почил!
Стебель застыл, светлый цветок лелея...
Тих пред тобой прозрачный мир.

Вольный зефир с нежным цветком играет...
О, как легко, Гиппа, легко!
Ты ли несешь? Он ли несет?... Вместила ль
Бога душа? Душа ли — бог?...

Ты колыбель, Гиппа — душа дыханий,
Ты колыбель бога несешь!
Молви: куда? Легкая, ты не волишь:
Бог окрыляет вещей путь.

ТИШИНА

ΕΙΡΗΝΗ.

Имя Мэнады Мира на вакхических
вазах.

Подъем и роздых волн, безличье, безмятежность,
Усталость белая и белая безбрежность,
В тумане чайки крик, в жемчужной зыби — грусть;
Вселенской маске Я прощающее *Пуст*;

В личине Я — Не-Я (и Я ему уликой!),
Двойник Я сущего и призрак бледнолицый;
Бог, мертвый в гробе Я до третьего утра;
Покой пролитых слез; крест Зла, и крест Добра:
Вы, символы судьбы, стоящей на пороге
Могил живущего, начертанные в Боге,
Ткачем во Времени закинутый узор,
Дыханья легкие! — вы умирите спор
Казнящей жалости, плененного порыва,
Глухих раскаяний и буйного разрыва, —
Правд скорбных веянья и мудрой тишины,
Вы, отрешенные, не влящие сны!...
Но, утешитель-бог, сам над душой глубокой
Носиться, Дионис, ты будешь, влажноокий, —
Ответствовать уча певучий хоровод, —
В дубраве ль сплетшийся вокруг ясной тайны вод
Или кольцом колонн объят в круженьи зыбком, —
Улыбками — небес разгаданным улыбкам!

SUSPIRIA *

Δακρύα μὲν σέθεν ἔστι πολυτλήμον γένος
ἀνδρῶν.
Orph.

ПЕСНЬ РАЗЛУКИ

Муза!
Песнь Любви —
И Разлуки, Муза!
Земную песнь —
Не на струнах золотых воспой,
Их же строил счастливый бог,
Хоровод предводя богинь!
Пой, безутешная,
Чайкой нестройною,
Что над морем усталым,
Тоскуя, реет
И в зыби сеет
Алчные стоны!

Муза!
Смерти песнь —
И Любви бессмертных
Алканий песнь —
Не на флейтах унылых пой,
Им же вторит, плющом венчан,
Вкруг фимелы священный хор:
Пой, безотзывная,
С листьями поздними,
Что, с покорной дубравы
Свежая, веет
И долу сеет
Ветер веселый!

Муза!
Рок Любви
И Разлуки в сердце
Неутолимом рок —
Пой, — Разлуки вселенской песнь!
И как, во мшистой глуши
Свѣдчатой рощи,
Осколкам бога
Плющ с повиликой
Да терен дикий
Ткут одноканый
Саван зеленый, —
Глубокогрудая Муза! обвей
Тоскою песни
Обломки мира!

SUSPIRIA

I

НОЧЬ

Non mi destar!

Michel Angelo Buonarroti

Вся золотом мерцающим долина
Озарена:
Как тяжкий щит ночного исполина,
Встает луна.

И снова миг у Вечности, у тѣмной,
Отъемлет Свет;
И Мать-Ночь ему, в тоске истомной:
«Мне мира нет!...»

— «Я вышел в путь; поют в колчане тесном
Мои огни:
Дай расточить их во поле небесном —
И вновь усни!»

— «Чуть за морем сойдешь ты, бранник бледный,
В эфирный гроб, —
Дрожь чутких сфер и ржанье груди медной
И медный топ

«Уже вестят Заре неусыпимой
Багряных врат, —
Что он грядет во славе нестерпимой,
Мой сын, твой брат!

«Бегу его, — но меч крылатый брызжет, —
Уж он в груди! —
И все, что он зачал, и все, что выжжет,
Поет: 'Гряди!'

«И я молю, любовь палима:
'Мертви меня!
Огня хочю! Хочю неуголимо,
Мой сын, огня!

«Рази же! Грудь отверста копьям ярым!
Ее мертви!
Но сам — дыши божественным пожаром!
Но сам — живи!

«Один — живи!...' Увы мне! Лук незримый
Уж напряжен...
Стрела летит... Мой бог неборимый,
Мой бог — сражен!...»

Твой сын угас!... Истома скорби дремлет...
«О, не буди!» —
И снова миг у Ночи Свет отъемлет...
«Иль — победи!...»

II

ВРЕМЯ

Смерть и Время царят на земле:
Ты владыками их не зови!

Вл. Соловьев

И в оный миг над золотой долиной
Плыла луна...
Душа скорбит, — с собой самой, единой,
Разлучена!

Устала ты, невольница Мгновенья,
Себя рождать,
Свой призрак звать из темного забвенья,
Свободы ждать, —

И воскресать, и разгораясь, реять,
И прозирать, —
Отгулы сфер в отзывах струн лелеять, —
И замирать...

Прекрасное, стоит Мгновенье. Вечность
Хранят уста.
Безгласное, твой взор один — вся Вечность,
Вся Красота!

И к призраку подъямлю трижды длани,
И, трижды, он,
Как тонкий хлад, бежит моих желаний, —
Как чуткий сон...

И Ткач все тклет; и Демон от погони
Не опочит.
Как мертвый вихрь, несут нас глухо кони —
Нас Время мчит.

Глядеть назад с бегущей колесницы —
Живых удел,
Где плачет свет неведомой денницы
На Асфодел.

Надежда нам и Смерть поют: «Забвенья!
Не сожалей!» —
«Вспомни все, и воскреси Мгновенье!» —
Цветы полей.

И, разлучен, единой молит встречи
Единый лик...
И шепчет вслед непонятые речи
Души двойник.

ПСИХЕЯ**

Γῆς παῖς εἰμι καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεν
 τος, —
 δίψῃ δ' εἰμι αὖθι καὶ ἀπόλλυμαι, ἀλλὰ
 δότ' αἶψα
 ψυχρὸν ὕδωρ προρέον τῆς Μνημοσύνης
 ἀπὸ λίμνης.
 Orph.

Мне снилися: утесами задвинут,
 Темничный дол;
 И ночь небес; и — вёснами покинут —
 Безлистный ствол;

И узница под ним, слепой темницей
 Окружена;
 И сонм людей, идущих вереницей
 Через двери сна.

Была ль мне мать, жена ль она, сестра ли,
 Была ли дочь, —
 Ах! было мне не вспомнить — и печали
 Не превозмочь!

И скорбного влекла к ней безглагольно
 Любви тоска:
 Так сладостно была мне и так больно
 Она близка.

Я спросить горел — о чем?... Немела
 Пред Роком речь...
 Мой взор назвал, чего и мысль не смела.
 И мысль наречь...

«Да» бедных уст молил я упреждая:
 «Со мной иди!...»
 — «Когда ты тот, кого ищу блуждая, —
 О, изведи!...»

И каждого я звал из шедших мимо:
«Не ты ли, брат,
Ту изведешь, что́ здесь в цепях томима,
Из горьких врат?»

И с лестью «брат» я говорил притворной:
Зане́ был я,
Кто мимо шел — и чей был взор укорный
Мой судия.

И все прошли... Одна из тверди зрящей
Звезда моя
Глядела в дол: и луч животворящий —
Был судия.

И я к жене: «Твой друг, твой отчужденный,
Забывтый — я!...»
Мне чуждый взор, мне взор непробужденный
Был судия...

*

И снилось мне: вдруг свет взыграл великий —
И я рыдал...
Кто были три, что́ отвратили лики, —
Я угадал.

Тебя назвал мой ужас, Немезида!
Надежда, ты
Стояла с ним, чьего, как солнце, вида,
Чьей красоты

Мой темный дух, его лучей молящий,
Снести не мог:
То Эрос был, — алтарь любви палящей,
И жрец, и бог.

Пожар смолы воздвигнутой десницей
Он колыхал;
И мотылек — все отвратили лица —
Вблизи порхал...

Уж он в перстах божественных... Привольно
Ему гореть!...
Так сладко зреть мне было казнь, — так больно!...
«Метнись — и встречу!

«Испей! истай!...» И что влекло — пахнуло...
Как два крыла,
Душа в груди забилась... и вдохнула...
И — умерла!...

IV

PIETÀ **

Алканьям звезд из темных недр эфира
Дано мерцать:
Да — прах земли — вместим Разлуку Мира
Мы созерцать, —

Вселенская Изиды, вождь алканий,
Любовь! тебя
Да познаём в путях твоих исканий,
С тобой скорбя,

Ища с тобой растерзанного Бога
Нетленный след...
Ах! разлучен в нецельных светов много
Единый Свет!

О, сistr миров, и плектрон воздыханий!
Вся Красота,
Одна Душа бесчисленных дыханий —
Pietà, Pietà!..

От века Он, безжизненный, — на лоне
Тоски твоей,
О, Темная на звездном небосклоне!
О, Мать Скорбей!

И я, тень сна, Титанов буйных племя,
Их пепл живой, —
Несу в груди божественное семя, —
Я, Матерь, твой!

Услышь (— и здесь Его свершились муки,
И умер Он! —)
Мой страстный вопль разрыва и разлуки,
Мой смертный стон!

ЖЕРТВА

Когда двух воль возносят окрыленья
Единый стон,
И снится двум, в юдоли Разделенья,
Единый сон, —

Двум алчущим — над звездами Разлуки —
Единый лик, —
Коль из двух душ исторгся смертной муки
Единый крик:

Се, Он воскрес! — в их жертвенные слёзы
Глядит заря...
Се, в мирт одет и в утренние розы
Гроб алтаря...

И пригвожден (о, чудо снисхожденья!)
На крест небес,
Умерший в них (о, солнце возрожденья!) —
Он в них воскрес!...

Свершилась двух недостижимых встреча,
И дольний плен,
Твой плен, Любовь, одной Любви предтеча, —
Преодолен!

О, Кана душ! О, в гробе разлученья —
Слиянье двух!
Но к алтарям горящим отреченья
Зовет вас Дух!

На подвиг вам божественного дара
Вся мощь дана:
Обретшие! вселенского пожара
Вы — семена!

Дар золотой в Его бросайте море
Своих колец:
Он сохранит в пурпуровом просторе
Залог сердец...

Вы плачете?... Мужайтесь совлечься
Тяжелых туч!
Гроза грядет... О, радуйтесь облечься
В единый луч!

VI

ТЕБЕ БЛАГОДАРИМ

Бог страждущий, чьей страстной Чаши жаждем,
По Ком горим!
Зане в Тебе, зане с Тобою страждем, —
Благодарим!

Зато что Твой, и в ризе страсотерпной,
Прекрасен мир;
Зато что Жизнь из чаши неисчерпной
Пьет Твой Потир;

Зато что Ночь во все концы пронзают
Лучи Креста,
Зато что все зовут и всех лобзают
Твои Уста:

Мы, что из солнц Разлуки совлеченный
Твой Крест творим, —
Тебя, с Собой на Древе разлученный,
Благодарим!

За боль любви, за плач благодаренья,
За ночь потерь,
За первый крик, и смертный оцт боренья,
И смерти дверь, —

Зане прибой мятежный умирает
У кротких Ног, —
Зане из бездн Страданье прозирает,
Что с нами Бог, —

Зане Тебя, по Ком в разлуке страждем,
Разлукой зрим, —
Бог жаждущих, чьей страстной Чаши жаждем, —
Благодарим!

ГОСТЬ

Вертоград мой на горе зеленой,
В нем хожу под листвою золотою.
Море ль голубеет пред очами?
Застят оку милостные слезы.
Где росой умильной слезы канут,
Загорятся маки на поляне,
Алой кровью брызнут анемоны.
Кто в мой сад стучится? Пред оградой
Кличет кто меня? кто именует?
«В добрый час, будь гостем, странник милый!
Не тебя ль и ждал я, брат прекрасный?
Не тебя ль желал в разлуке темной?
Ах, душа разлукою болеет —
И не ведает, по ком тоскует!»
— «Не на час меня зови ты гостем,
Не на срочную прими годину;
Ты не ставь мне трапезы гостиной,
Ложка не стели в дому высоком:
В золотом могилу вертограде
Постели под звездным кипарисом.»
Стал трех Дев я кликать из чертога:
«Ты, Печаль! ты, Милость! ты, Отрада!
Юношу дарами встретьте, Девы!
Выносите воду ключевую,
Белый лен и мира дорогие,
Плач по госте правьте погребальный!»
Наверху горы моей зеленой
Я изрыл могилу на поляне:
Все б глядели на нее светила.
Хладное облобызал я тело;
Схоронил возлюбленное тело.
О полудни на холме на рыхлом
Выростал росточек кипарисный,
Потянулся к небу ветвьем темным;

Древом червленеет на закате,
К ночи сень в поднёбесье возносит, —
В сенях темных просветились звезды.

Вертоград мой на горе высокой,
В нем сижу под звездным кипарисом —
Слез не лью, утешный. Шепчут ветви;
Звезды внемлют. Тихи ветви; звезды
Им поют. Дрожат, как струны, корни
В голос им. Гора звучит созвучно
Небесам... И снова шепчут ветви...
Звезды гаснут. Край небес светлеет.
Из-за края моря брызжет солнце...
Гостя лик сияет пред очами...
Смотрит в очи милостное Солнце...

ПОЭТ И ЧЕРНЬ
НИЦШЕ И ДИОНИС
КОПЬЕ АФИНЫ

СТАТЬИ 1904 г.

ПОЭТ И ЧЕРНЬ *

I

Стихотворение Пушкина «Чернь» первоначально было озаглавлено «Ямб». Ближайшим образом Пушкин мог ознакомиться с природою «иамба» из творений Андрея Шенье. Едва ли это переименование сделало стихотворение более вразумительным. Подлинное заглавие определяет «род», образец которого хотел дать поэт-художник. «Род» предустановляет пафос и обуславливает выбор слов («печной горшок», «метла», «скопцы»...). Если бы мы не забыли, что Пушкин выступает здесь в маске Архилоха и говорит в желчных иамбах («will speak daggers»), в древних иамбах, которые презирают быть справедливыми, — мы не стали бы с его Поэтом отождествлять его самого, беспристрастного, милостного, его, который

сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены.

II

Пушкинский Иамб впервые выразил всю трагику разрыва между художником нового времени и народом: явление новое и неслыханное, потому что в борьбу вступили рапсод и толпа, протагонист дифирамба и хор — элементы немислимые в разделении.

Или Поэт здесь — «пророк», — один из искони народоборствующих налагателей воплощенной в них воли на воли чужие? Напротив. Чернь ждет от Поэта повелений, и ему нечего повелеть ей, кроме благоговейного безмолвия мистерий. «Favete linguis». Или даже прямо: «Удалитесь, непосвященные» (эпиграф Иамба). «Двери, двери!» — как говорилось в орфическом чине тайных служений.

Трагична правота обеих спорящих сторон и взаимная несправедливость обеих. Трагичен этот хор — «Чернь», бьющий себя в грудь и требующий духовного хлеба от гения. Трагичен и гений, которому нечего дать его обступившим. Но он не Тот, Кто сказал: «Жаль мне народа, потому что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть». Он говорит: «Какое дело до вас — мне?» Он не знает себя, и менее всего принадлежит себе, — он, говорящий «я».

III

В эпохи народного, «большого» искусства поэт — учитель. Он учителствует музыкой и мифом. Если бы Сократ предупредил всю жизнь тайный голос, повелевший ему — слишком поздно! — заниматься музыкой, — он стал бы впрямь и вполне «сподвижником лебедей в священстве Аполлона», как означает он в Платоновом «Федоне» свое божественное посланничество, — и чаша с ядом народной мести не была бы им выпита. Ища осмыслить смутно прозренную измену его стихии народной, духу музыки и духу мифа, — сограждане обвинили его в упразднении старых и введении новых божеств: они говорили на своем языке, который уже не был языком Сократа, и не находили в слове средства осознать и исчерпать всю великую, трагическую и творческую вину пророка, который был топором, подсекшим мифородные корни эллинской души. Он именно бессилён был ввести новые богопочитания; он не был подобен древнему Эпимениду. Если бы мифотворческая сила Греции не иссякла в Сократе, если бы она еще дышала в нем, как она снова дышит в Платоне, срок эллинского цветения был бы продлен — и, быть может, лучом более стало бы в спектре человеческого духа.

«Гомер и Гесиод научили эллинов богам», говорит «отец истории»; и Гомера же с Гесиодом обвиняет в лжеучении о богах странствующий рапсод — «философ» Ксенофан. Греческие лирики и трагики VII, VI, V веков столь же приемники и вместе преобразователи народного миропонимания и богочувствования, как Дант, последний представитель истинно «большого», истинно мифотворческого искусства в области слова. В отдаленных веках, предшествовавших самому Гомеру, мерещились эллинам легендарные образы пророков, сильных «властно-движущей игрой». Греческая мысль постулировала в прошлом сказочные жизни Орфея, Лина, Мусэя, чтобы в них чтить родоначальников духовного зиждительства и устроительного ритма.

IV

Трагичен себя не опознавший гений, которому нечего дать толпе, потому что для новых откровений (а говорить ему дано только новое) дух влечет его сначала уединиться с его богом. В пустынной тишине, в тайной смене ненужных, непонятных толпе видений и звуков должен он ожидать «вевания тонкого холода» и «эпифании» бога. Он должен воссесть на недоступный треножник, чтобы потом уже, прозрев иным прозрением, «приносить дрожащим людям молитвы с горней вышины»... И Поэт удаляется — «для звуков сладких и молитв». Раскол совершился.

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

Отсюда — уединение художника, — основной факт новейшей истории духа, — и последствия этого факта: тяготение искусства к эзотерической обособленности, утончение, изысканность «сладких звуков» и отрешенность, углубленность пустынных «молитв». Толпа вынуждала Поэта к воздействию на нее: его действием был его отказ от действия, новое действие в потенции. Его сосредоточение в себе было пассивным самоутверждением действительного начала, в ответ на активность самоутверждения, в лице Черни, начала страдательного и косного. Гордость Поэта будет искуплена страданием отъединенности; но его верность духу скажется в укрепительном подвиге тайного, «умного» делания.

V

Раскол был состоянием ущерба и аномалии для обоих разлученных начал. Уже у Лермонтова слышится энергический, но бессильный ропот на роковое разделение.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Тютчев был у нас первою жертвою непоправимо совершившегося. Толпа не расслышала сладчайших звуков, углубленнейших молитв.

Дивное отмщение тяготело над обеими враждующими сторонами. Его можно определить именем: афасия. Обильная, прямая, открытая поэтическая речь, которой невольно заслушивались, когда она свободно лилась из уст Пушкина, — умолкла. Как электрическая искра, слово возможно только в сообщении противоположных полюсов единого творчества: художника и народа. К чему и служило бы в разделении слово, это средство и символ вселенского единомыслия? Толпа утратила свой орган слова — певца. Певец отринул слово обще-и внешне-вразумительное и искал своего, *внутреннего* слова. Уже Поэт пушкинского Иамба

по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.

Почему его напевы были отрывочны и бессвязны, когда художническая работа — работа высшего сосредоточения и сочетания? Очевидно, он был поглощен внутренними звуками, не обретавшими отзыва в слове. Новейшие поэты не устают прославлять безмолвие. И Тютчев пел о молчании вдохновеннее всех. «Молчи, скрывайся и таи...» — вот новое знамя, им поднятое. Более того: главнейший подвиг Тютчева — подвиг поэтического молчания. Оттого так мало его стихов, и его немногие слова многозначительны и загадочны, как некие тайные знамения великой и несказанной музыки духа. Наступила пора, когда «мысль изреченная» стала «ложью».

VI

Те из певцов, которые не убоились лжи слова, стали изменниками духа и не удовлетворили толпы, как не оправдались они и пред своим внутренним судом. Верны своей святыне остались дерзнувшие творить свое отрешенное слово. Дух, погруженный в подслушивание и транс тайного откровения, не мог сообщаться с миром иначе, чем пророчествующая Пифия. Слово стало только указанием, только намеком, только символом; ибо только такое слово не было ложью. Но эти «знаки глухонемых демонов» были зарницами, смутно уловляемыми и толпой. Символы стали тусклыми зарницами, мгновенными пересветами еще далекой и немой грозы, вестями грядущего соединения взаимно ищущих полюсов единой силы.

Откуда же взялись эти новые старые слова? Откуда вырос этот лес символов, глядящих на нас родными ведущими глазами (как сказал Бодлэр)? Они были искони заложены народом в душу его певцов, как некие изначальные формы и категории, в которых единственно могло вместиться всякое новое прозрение.

VII

Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намек и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине. Он — органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада, — и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегии, притчи или сравнения. Аллегория — учение; символ — ознаменование. Аллегория — иносказание; символ — указание. Аллегория логически ограничена и внутренне неподвижна: символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается.

Но если символы несказанны и неизъяснимы и мы беспомощны пред их целостным тайным смыслом, то они обнаруживают одну сторону своей природы пред историком: он открывает их в окаменелостях стародавнего верования и обоготворения, забытого мифа и оставленного культа. Так пшеничные зерна фараоновых житниц уцелели до наших солнц под покровами мумий. «Символы — рудименты», говорит Липперт. И символы — энергии. Исследуемые в своих исторических судьбах, они доселе неотразимы и действительны сосредоточенным в них обаянием древнейшего богочувствования.

Если музыку метко назвали бессознательным упражнением в счете и счислении, то творчество поэта — и поэта-символиста по преимуществу — можно назвать бессознательным погружением в стихию фольклора. Атавистически воспринимает и копит он в себе запас живой старины, который окрашивает все его представления, все сочетания его идей, все его изобретения в образе и выражении.

Символы — переживания забытого и утерянного достояния народной души. Но они органически срослись с нею в ее росте и своих перерождениях: психологически необходимые, они метафизически истинны. И если мы поддаемся их внушению, если наша душа еще дрожит созвучно их эоловой арфе, — они живы и живут.

VIII

Что познание — воспоминание, как учит Платон, оправдывается на поэте, поскольку он, будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем и тем самым — орган народного воспоминания. Чрез него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности. Как истинный стих предугавлен стихией языка, * так истинный поэтический образ предопределен психеей народа.

В отъединении созревают в душе поэта семена давнего сева. По мере того как бледнеют и исчезают следы поздних воздействий его отеснявшей среды, яснее и определяется в изначальном впечатлении его «наследье родовое». Созданное им внутреннее слово узнается народной душой, как нечто свое, — постигается темным инстинктом забытого родства. Поэт хочет быть одиноким и отрешенным, но его внутренняя свобода есть внутренняя необходимость возврата и приобщения к родимой стихии. Он изобретает новое — и обретает древнее. Все дальше влекут его марева неизведанных кругозоров; но, совершив круг, он уже приближается к родным местам.

IX

Истинный символизм должен примирить Поэта и Чернь в большом, всенародном искусстве. Минует срок отъединения. Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое. Из символа выростет искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского. Разве христианская душа нашего народа, проникновенно и мифически названного богоносцем, не узнает себя в мифотворческих стихах Тютчева? —

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя...

Только народный миф творит народную песню и храмовую фреску, хоровые действия трагедии и мистерии. Мифу принадлежит господство над миром. Художник, разрешитель уз, новый демиург, наследник творящей матери, склонит послушный мир под свое легкое иго. Ибо миф — постулат мирского сознания, и мифа требовала от Поэта не знавшая сама, чего она хочет, Чернь. Важного, верного, необходимого алкала она: только вымысл мифический — произвольный вымысел и вернейший «стымы низких истин». К символу же миф относится, как дуб к желудю. И «ключи тайн», вверенные художнику, — прежде всего ключи от заповедных тайников души народной.

НИЦШЕ И ДИОНИС *

I

Есть древний миф. Когда богатыри эллинские делили добычу и плен Трои, — темный жребий выметнул Эврипил, предводитель фессалийских воинств. Ярая Кассандра ринула к ногам победителей, с порога пылающих сокровищниц царских, славную, издревле замкнутую скриню, работу Гефэста. Сам Зевс дал ее некогда старому Дардану, строителю Трои, в дар — залогом божественного отчества. Промыслом тайного бога досталась ветхая святыня бранною мздой фессалийцу. Напрасно убеждают Эврипила товарищи-вожди стеречься козней неистовой пророчицы: лучше повергнуть ему свой дар на дно Скамандра. Но Эврипил горит изведать таинственный жребий, уносит ковчег — и, разверзнув, видит при отблесках пожара — не брадатого мужа в гробу, увенчанного раскидистыми ветвями, — деревянный, смоковничный идол царя Диониса в стародавней раке. Едва глянул герой на образ бога, как разум его помутился.

Такою возникает пред нами священная повесть, кратко рассказанная Павсанием. Наше воображение влечется последовать за Эврипилом по горящим тропам его дионисийского безумия. Но миф, не замеченный древними поэтами, безмолвствует. Мы слышим только, что царь временами приходит в себя и в эти промежутки здравого разума уплывает от берегов испепеленного Илиона и держит путь — не в родную Фессалию, а в Кирру, дельфийскую гавань, — искать врачевания у Аполлонова треножника. Пифия обещает ему искупление и новую родину на берегах, где он встретит чужеземное жертвоприношение и поставит ковчег. Ветер приносит мореходцев к побережью Ахаии. В окрестностях Патр Эврипил выходит на сушу и видит юношу и деву, ведомых на жертву к алтарю Артемиды Трикларии. Так узнает он предвозвещенное ему место упокоения; и жители той страны, в свою очередь, угадывают в нем обетованного им избавителя от повинности человеческих жертв, которого они ждут, по слову оракула, в лице чужого царя, несущего в ковчеге неведомого им бога, он же упразднит кровавое служение дикой богине. Эврипил исцеляется от своего священного недуга, замещает жестокие жертвы милостивыми во имя бога, им возвещенного, и, учредив почитание Диониса, умирает, становясь героем-покровителем освобожденного народа.

Эта древняя храмовая легенда кажется нам мифическим отображением судьбы Фридриха Ницше. Так же завоевывал он, сжигая древние твердыни, с другими сильными духа Красоту, Елену эллинов, и улучил роковую святыню. Так же обезумел он от своего таинственного обретения и прозрения. Так же проповедал Диониса, — и искал защиты от Диониса в силе Аполлоновой. Так же отменил новым богопознанием человеческие жертвы старым кумирам узко понятого, извне налагаемого долга и снял иго уныния и отчаяния, тяготевшее над сердцами. Как оный герой, он был безумцем при жизни и благодетельствует освобожденному им человечеству — истинный герой нового мира — из недр земли.

Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его пророческое безумие. Как падение «вод многих», прошумело в устах его Дионисово имя. Обаяние Дионисово сделало его властителем наших дум и ковачем грядущего. Дрогнули глухие чары навождения душевного — колдовской полон душ потусклых. Зазеленели луга под весенним веянием бога; сердца разгорелись; напряглись мышцы высокой воли. Значительным и вещим стал мимолетный, и каждое дыхание улегченным и полным, и усиленным каждое биение сердца. Ярче, глубже, изобильнее, проникновеннее глянула в душу жизнь. Вселенная задрожала отгулами, как готические столпы трубных ствольных связок и устремительные стрельчатые сплетения от вздохов невидимого органа. Мы почувствовали себя и нашу землю и наше солнце восхищенными вихрем мировой пляски (— «the Earth dancing about the Sun», как пел Шелли). Мы хлебнули мирового божественного вина, и стали сновидцами. Спящие в нас возможности человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе Сверхчеловека — о воплощении в нас воскресшего Диониса.

В душах забрезжило исполнение завета:

Кто дышит тобой, бог,
Не тяжки тому горные
Громады, ни влаги, почившей
В торжественном полдне,
Стакло голубое!
Кто дышит тобой, бог, —
В алтаре многокрылом творения
Он — крыло!
В буре братских сил,
Окрест солнц,
Мчит он жертву горящую
Земли страдальной...

(«Кормчие Звезды»)

Есть гении пафоса, как есть гении добра. Не открывая ничего существенно нового, они заставляют ощутить мир по новому. К ним принадлежит Ницше. Он разрешил похоронную тоску пессимизма в пламя героической тризны, в Фениксов костер мирового трагизма. Он возвратил жизни ее трагического бога... «Incipit Tragoedia!»

II

Чтобы вооружить Ницше на этот подвиг жизни, две разноликих Мойры при рождении наделили его двойственными дарами. Эта роковая двойственность может быть определена как противоположность духовного зрения и духовного слуха.

Ницше должен был обладать острыми глазами, различающими бледные черты первоначальных писем в испещренном поверху поздней рукой палимпсесте заветных преданий. Его небольшие изящные уши — предмет его тщеславия — должны были быть вещими ушами, исполненными «шумом и звоном», как слух пушкинского Пророка, чуткими к сокровенной музыке мировой души.

Ницше был филолог, как определяет его Владимир Соловьев. Чтобы обрести Диониса, он должен был скитаться по Элизии языческих теней и беседовать с эллинами по-эллински, как умел тот, чьи многие страницы кажутся переводом из Платона, владевшего, как говорили древние, речью богов. Он должен был, вслед за горными путниками науки, совершить подъем, на котором мы застаем современное изучение греческого мира. Нужно было, чтобы Германн раскрыл нам язык, Отфрид Мюллер — дух, жизнь — Август Бек, Велькер — душу дионисийского народа. Нужно было, чтобы будущий автор «Рождения Трагедии» имел наставником Ричля и критически анатомировал Диогена Лаэртия или поэму о состязании Гомера и Гесиода.

Ницше был оргиастом музыкальных упоений: это была его другая душа. Незадолго до смерти Сократу снилось, будто божественный голос увещавал его заниматься музыкой: Ницше — философ исполнил дивный завет. Должно было ему стать участником Вагнера сонма, посвященного служению Муз и Диониса, и музыкально усвоить воспринятое Вагнером наследие Бетховена, его пророческую милость, его Прометеев огненосный полый тирс: его героический и трагический пафос. Должно было, чтобы Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в «восторге и исступлении» великого мистагога будущего Заратустры — Достоевского, — открылся в музыке, немом искусстве глухого Бетховена, величайшего провозвестника оргийных таинств духа.

И должно было также, чтобы состояние умов эпохи, когда явился Ницше, соответствовало этой двойственности его природы: чтобы его критическая зоркость, его зрительное стремление к ясности классической и к пластической четкости закалились в позитивном холоде научного духа времени; чтобы его оргиастическое выхождение из себя встретило привитую умам пессимизмом Шопенгауэра древнеиндийскую философию, с ее верою в призрачность индивидуального раскола и тоскою разлучения, созданного маревом явлений, — философию, раскрывшую исследователю духа трагедии существо Диониса, как начало, разрушающее чары «индивидуации».

Аполлинийские — оформливающие, скрепляющие и центростремительные — элементы личных предрасположений и влияний внешних были необходимы гению Ницше как грани, чтобы очертить беспредельность музыкальной, разрешающей и центробежной стихии Дионисовой. Но двойственность его даров, или — как сказал бы он сам — «добродетелей», должна была привести их ко взаимной распре и обусловить собой его роковой внутренней разлад.

Только при условии некоторой внутренней антиномии возможна та игра в самораздвоение, о которой так часто говорит он, — игра в самоискание, самоподстерегание, самоускользание, живое ощущение своих внутренних блужданий в себе самом и встреч с собою самим, почти зрительное видение безысходных путей и неизследимых тайников душевного лабиринта.

III

Дионис есть божественное всеединство Сущего в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во вселикое, призрачно колеблющееся между возникновением и исчезновением, Ничто ($\mu\lambda\ \delta\nu$) мира. Бога страдающего извечная жертва и восстание вечное — такова религиозная идея Дионисова оргазма.

«Сын божий», преемник отчего престола, растерзанный Титанами в колыбели времен; он же в лике «героя», — богочеловек, во времени родившийся от земной матери; «новый Дионис», таинственное явление которого было единственным возможным чаянием утешительного богонисхождения для не знавшего Надежды эллина, — вот столь родственный нашему религиозному миропониманию бог античных философов и теологов. В общенародном, натуралистически окрашенном веровании, он — бог умирания мученического, и сокровенной жизни в чреватых недрах смерти, и ликующего возврата из сени смертной, «возрождения», «палингенесии».

Непосредственно доступна и обще-человечески близка нам мистика Дионисова богочитания, равная себе в эзотерических и всенародных его формах. Она вмещает Диониса — жертву, Диониса воскресшего, Диониса — утешителя в круг единого целостного переживания и в каждый миг истинного экстаза отображает всю тайну вечности в живом зеркале внутреннего, сверхличного события испущенной души. Здесь Дионис — вечное чудо мирового сердца в сердце человеческом, неистомного в своем пламенном биении, в содраганиях пронзающей боли и нечаянной радости, в замираниях тоски смертельной и возрождающихся восторгах последнего исполнения.

Дионисийское начало, антиномичное по своей природе, может быть многообразно описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается только в переживании, и напрасно было бы искать его постижения — исследуя, что образует его живой состав. Дионис приемлет и вместе отрицает всякий предикат; в его понятии *а не-а*, в его культе жертва и жрец объединяются как тождество. Одно дионисийское как являет внутреннему опыту его сущность, не сводимую к словесному истолкованию, как существо красоты или поэзии. В этом пафосе боговмещения, полярности живых сил разрешаются в освободительных грозах. Здесь сущее переливается чрез край явления. Здесь бог, взыгравший во чреве раздельного небытия, своим ростом в нем разбивает его грани.

Вселенская жизнь в целом и жизнь природы, несомненно, дионисийны.

Оргийное безумие в вине,
Оно весь мир, смеясь, колышет;
Но в трезвости и мирной тишине
Порою то ж безумье дышит.
Оно молчит в нависнувших ветвях
И сторожит в пещере жадной.

(Ф. Сологуб)

Равно дионисийны пляски дубравных сатиров и недвижимое безмолвие потерявшей во внутреннем созерцании и ощущении бога мэнлады. Но состояние человеческой души может быть таковым только при условии выхода, испупления из граней эмпирического я, при условии приобщения к единству я вселенского в его влении и страдании, полноте и разрыве, дыхании и воздыхании. В этом священном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества и преизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге, — не исчерпывая всем этим бесчисленных радуг, кото-

рыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней дионисийского луча.

Музыкальная душа Ницше знала это «как». Но его другая душа искала вызвать из этого моря, где, по выражению Леопарди, «сладко крушение», ясное видение, некоторое зрительное что, потом удержать, пленить его, придать ему логическую определенность и длительную устойчивость, как бы окаменить его.

Психология дионисийского экстаза так обильна содержанием, что зачерпнувший хотя бы каплю этой «миры объемлющей влаги» уходит утоленный. Ницше плавал в морях этой живой влаги — и не захотел «сладкого крушения». Выплыть захотел он на твердый берег и с берега глядеть на волнение пурпурной пучины. Познал божественный хмель стихии и потерю личного я в этом хмелю — и удовлетворялся своим познанием. Не сошел в глубинные пещеры — встретить бога своего в сумраке. Отвратился от религиозной тайны своих, только эстетических, упоений.

Знаменательно, что в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, претерпевающего страдание (Διονύσου πάθη). Он знал восторги оргийности, но не знал плача и стенаний страстного служения, каким горестные жены вызывали из недр земных пострадавшего и умершего сына Диева. Эллина, по Ницше, были «пессимистами» из полноты своей жизненности; их любовь к трагическому — «amor fati» — была их сила, переливающаяся через край; саморазрушение было исходом из блаженной муки переполнения. Дионис — символ этого избытка и чрезмерности, этого исступления от наплыва живых энергий. Такова узкая концепция Ницше. Нет сомнения, что Дионис — бог богатства преизбыточного, что свой избыток творит он упоением гибели. Но избыток жизни или умирание исторически и философски составляет prius в его религиозной идее, подлежит спору. Трагедия возникла из оргий бога, растерзываемого испуганными. Откуда испугание? Оно тесно связано с культом душ и с первобытными тризнами. Торжество тризны — жертвенное служение мертвым — сопровождалось разнузданием половых страстей. Смерть или жизнь перевешивала на зыблемых чашах обоюдно перенагруженных весов? Но Дионис все же был, в глазах тех древних людей, не богом диких свадеб и совокупления, но богом мертвых и сени смертной и, отдаваясь сам на растерзание и увлекая за собою в ночь бесчисленные жертвы, вносил смерть в ликование живых. И в смерти улыбался улыбкой ликующего возврата, божественный свидетель неистребимой радующей силы. Он был благовестием радостной смерти, таящей в себе обеты иной жизни там, внизу, и обновленных упоений жизни здесь, на земле. Бог страдающий, бог ликующий — эти два лика изначала были в нем нераздельно и неслиянно зримы.

Страшно видеть, что только в пору своего уже наступившего душевного омрачения Ницше прозревает в Дионисе бога страда-

ющего, — как бы бессознательно и вместе пророчественно, — во всяком случае, вне и вопреки всей связи своего законченного и проповеданного учения. В одном письме он называет себя «расплетым Дионисом». Это запоздалое и нечаянное признание родства между дионисийством и так ожесточенно отвергаемым дотоле христианством потрясает душу подобно звонкому голосу тютчевского жаворонка, неожиданному и ужасному, как смех безумия, — в ненастный и темный, поздний час...

IV

Вдохновленный дионисийским хмелем Ницше сознавал, что для просветления лика земного (ибо не меньшего он волил) наше сердце должно измениться, внутри нас должна совершиться какая-то глубокая перемена, преображение всего душевного склада, перестройка всего созвучия наших чувствований, — перерождение, подобное состоянию, означаемому в евангельском подлиннике словом «метанойя», оно же — условие прозрения «царства небес» на земле. И вот, он провозглашает два положения, мистические по своей сущности, противорелигиозные по произвольному применению и истолкованию, которое дал им он сам, или его антидионисийский двойник.

В области учения о познании он провозгласил, что то, что утверждает себя как истина объективно-обязательная, может быть отрицаемо в силу автономии истины субъективной, истины внутреннего воления. Но средство нашего самоутверждения за пределами нашего я есть вера; и положение Ницше, рассматриваемое под религиозным углом зрения есть принцип веры. В области учения о нравственности он выступил с проповедью, что жить должно вне или по ту сторону «добра и зла»: что, в аспекте религиозном, совпадает с принципом святости и свободы мистической, как выразила его христианская этика перенесением нравственного критерия из мира эмпирического в область умопостигаемого изволения, — а древне-индийская мудрость — эсотерическим разрешением «пробужденного» от всех оценок и норм житейской морали. Однако Ницше не останавливается на этом; но, непоследовательно подставляя на место формул «по ту сторону объективной истины» и «по ту сторону добра и зла» — формулу: «сообразно тому, что усиливает жизнь вида» («was lebensfördernd ist»), — отказывается от дионисийского как в пользу определенного и недионисийского *что* и тем обличает в себе богоборца, восставшего на своего же бога.

Служитель бога-«Разрешителя», Ницше, едва освободив волю от цепей внешнего долга, вновь подчиняет ее верховенству опреде-

ленной общей нормы, биологическому императиву. Амoralист объявляет себя «имморалистом», т.-е. опять-таки моралистом в принципе. И служитель «жизни», осудивший в современном человеке «человека теоретического», не устает говорить о «познании» и зовет своих последователей «познающими». Принцип веры обращается в вызов истине из неверия. И этот скепсис, — правда, далеко не до конца проведенный в его применениях и последствиях, — мы признали бы надрывом крайнего позитивизма, если бы он не был прежде всего воспитательною хитростью и дальним расчетом законодателя: Ницше ссорит нас с очевидностью не для того, чтобы заменить ее иною, яснейшею для духовного взора, но чтобы создать в нас очаги слепого сопротивления гнетущим нас силам, которое представляется ему благоприятным условием в эволюции человеческого вида. Рассудочность и расчет подрывают в корне первоначальное проникновение и вдохновенный порыв. Но было бы опрометчиво, на основании этих обвинений, признать Ницше ложным пророком: ибо пред нами учительный пример пророка Ионы.

Ученый — Ницше, «Ницше-филолог», остается искателем «познаний» и не перестает углубляться в творения греческих умозрителей и французских моралистов. Он должен был бы пребыть с Трагедией и Музыкой. Но из дикого рая его бога зовет его в чуждый, недоникийский мир его другая душа, — не душа оргиаста и всечеловека, но душа, влюбленная в законченную ясность прекрасных граней, в гордое совершенство воплощения заключенной в себе частной идеи. Его пленил —

дельфийский идол: лик молодой
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Подобно тому как в музыке все развитие Ницше тяготело прочь от гармонии, где празднует свой темный праздник многоголосая доникийская стихия, к аполлинийски очерченной и просвеченной мелодии, являвшейся ему в последнюю пору благороднейшим, «аристократическим» началом этого искусства, — подобно тому как его эстетика все более делается эстетикой вкуса, стиля, меры, утонченности и кристаллизации, — так в сфере нравственного идеала неотразимо привлекают его пафос преодоления и ясного господства над творчески-стихийными движениями духа, красота «рожденной хаосом звезды, движущейся в ритмической пляске», властительно-надменный образ мудрого античного тирана, великодушная жестокость «средиземной культуры», идея «воли к могуществу».

В какие дали сухих солнечных пустынь заходит Ницше, отклоняясь от влажно оттененных путей своего бога, сказывается в пси-

хологических мотивах его вражды к христианству, которое, в изначальном образе своего отношения к жизни, есть пронзенный любовью оргазм души, себя потерявшей, чтобы себя обрести вне себя, переплескивающейся в отцовское лоно Единого, — нисийский белый рай полевых лилий и пурпурный виноградник жертвенных гроздий, экстаз младенчески-блаженного прозрения в истину Отца в небе и в действительность неба на вставшей по новому пред взором земле. Известно, что Дионисова религия была в греческом мире религией демократической по преимуществу: именно на демократическую стихию христианства направляет Ницше всю силу своего нападения. Здесь — даже зоркость историка изменяет ему: дионисийская идея была в той же мере внутренне-освободительной силой и своего рода «моралью рабов», как и христианство, — и столь же мало, как и христианство, закваской возмущения общественного и «мятежа рабов».

V

В учении о «Сверхчеловеке», преподанном из уст «дионисийского» Заратустры («des dionysischen Unholds»), роковая двойственность в отношении Ницше к Дионису созревает до кризиса и разрешается определенным поворотом к антидионисийскому полюсу, завершающимся конечною выработкой учения о «воле к могуществу».

Следя за ростом идеи сверхчеловечества в замысле философа, мы опять делаемся свидетелями постепенной замены дионисийского как антидионисийским *что*. Первоначально Ницше вращается в круге представлений о «смерти старого Бога» («der alte Gott ist todt») и о богопреемстве человеческого я. То, что с босяцким самодовольством выговаривал Штирнер, исходя из тождественной посылки, Ницше колеблется изречь: порой мы встречаем в его текстах точки — там, где связь мысли подсказывает: «я — бог». Итак, это положение было для него неизреченным и мистическим: еще владел им Дионис. Ибо религия Диониса — религия мистическая, и душа мистики — обожествление человека, — чрез благодатное ли приближение Божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или чрез внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность я, на «Самого» в я («Атман» браманской философии). Дионисийское исступление уже есть человекообожествление, и одержимый богом — уже сверхчеловек (правда, не в том смысле, в каком употребил слово «Ueberschensch» его творец — Гете). Но Ницше ипостазирует сверхчеловеческое как в некоторое *что*, придает своей фикции произвольно определенные черты

и, впадая в тон и стиль мессианизма, возвещает пришествие Сверхчеловека.

Бесконечны ступени богопроникновенности, велики возможности духа, и неугасимы исконные надежды на просветление лика человеческого и на совершенного человека, эту путеводную звезду всех исканий, постулат самопознания, завет христианства. Но в мысли Ницше, по мере того как его духовное зрение сосредоточивается на образе Сверхчеловека, образ этот все более отчуждается от тех мистических корней, из которых возник он впервые в созерцаниях дионисийского мыслителя. Ницше идет еще дальше и понижает экстатическое и вдохновенное видение до чаяния некоторого идеального подбора, долженствующего увенчать человеческую расу последним завершительным звеном биологической эволюции.

Как всякое вдохновенное состояние, состояние дионисийское бескорыстно и бесцельно; «божественное приближается легкою стопою», по слову самого Ницше. Не так учит он о сверхчеловеке. Философ-законодатель не устает увещавать человечество к напряжению и усилению в выработке своего верховного типа, своего окончательного образа. Жизнь человеческого рода должна быть непрерывным устремлением к одной цели, все туже натягиваемой тетивой одного титанического лука. Дионисийское состояние безвольно: человеческая воля, по Ницше, должна стать неистонным подвигом преодоления. Дионисийское состояние разрешает душу и, приемля аскетический восторг, не знает аскезы: разрушитель старых скрижалей, требуя, чтобы человек непрестанно волил превзойти самого себя, снова воздвигает идеал аскетический. Ничто не может быть более противным дионисийскому духу, как выведение порыва к сверхчеловеческому из воли к могуществу: дионисийское могущество чудесно и безлично, — могущество, по Ницше, механически-вещественно и эгоистически-насильственно. Дионисийское состояние знает единый свой, безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо: каждое мгновение для Ницше восходящая и посредствующая ступень, шаг приближения к великой грядущей године.

Дионисийское состояние есть выхождение из времени и погружение в безвременное. Дух Ницше весь обращен к будущему; он весь в темнице времен. С трагической силою повествует он, как открылась ему тайна круговорота жизни и вечного возврата вещей, этот догмат древней философии (Froehliche Wissenschaft, § 341): «Разве бы ты не бросился наземь и не скрежетал бы зубами, и не проклинал бы демона, нашептавшего тебе это познание?» Но его мощная душа, почти раздавленная бременем постижения, что ничего не будет нового в бесчисленных повторениях того же мира и того же индивидуума, ничего нового — «до этой самой паутины и этого лунного просвета в листве», — воспрянув сверхчеловеческим усилием воли, собравшейся для своего конечного само-

утверждения, кончает гимном и благодарением неотвратимому року. Этот экстаз счастья, очевидно, — надрыв духа; это познание, — очевидно, — вывод логический; это понятие мира, — очевидно, — механическое понятие. И этическое применение догмата о круговом возврате — императив наивысшего усилия и наивысшего достижения — есть вынужденная силою вещей и роковою угрозой отмстительного повторения последняя самозащита. Восторг вечного возрождения, глубоко-дионисийский по своей природе, омрачен первым отчаянием и мертв неверием в Дионисово чудо, которое упраздняет старое и новое и все в каждое мгновение творит извечным и первоявленным вместе. Кажется, что трагическое восприятие идеи вечного возврата было в душе Ницше последнею и болезненною вспышкой дионисийского исступления. Эта вспышка ослепила ужасным светом многострадальную душу и, отгорев, повергла ее в безрассветную, глухонемую ночь.

VI

«Так бывает», говорит ослепленный солнечным восходом Фауст, «когда тоскующая надежда, достигнув цели своего высочайшего устремления, видит врата исполнения распахнутыми настезь: пламенный избыток вырывается из вечных недр, и мы стоим пораженные... Живительный светоч хотели мы возжечь — нас опламеняет море огня! Любовь ли, ненависть ли то, что нас обмыкает пыланием, равно чудовищное в сменах боли и радости? — так что мы вновь потупляем очи к земле, ища сокрыться под младенческим покрывалом». — Ницше увидел Диониса — и отшатнулся от Диониса, как Фауст отвращается от воссиявшего светила, чтобы любоваться на его отражения в радугах водопада.

Трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога, которого сам открыл миру.

Он понял дионисийское начало как эстетическое, и жизнь — как «эстетический феномен». Но то начало, прежде всего, — начало религиозное, и радуги жизненного водопада, к которым обращено лицо Ницше, суть преломления божественного Солнца. Если дионисийский хмель жизни только эстетический феномен, человечество — сонм «ремесленников Диониса», как древность называла актеров. Психологическая загадка лицедейства недаром всегда глубоко занимала дионисийского философа. И, конечно, божественно окрылена и опрозрачена жизнь и верен своему непреходящему я глубокий дух, если в нас живо сознание, что мы только играючи носим временные личины, облекшись в случайные формы нашей индивидуации («упадхи» — по учению индусов). Однако первоначально

«ремесленники Диониса» были его священнослужителями и жрецами, более того — его ипостасями и «вакхами»; и истинно дионисийское миропонимание требует, чтобы наша личина была в сознании нашем ликом самого многоликого бога и чтобы наше лицедейство у его космического алтаря было священным действием и жертвенным служением.

Как Эврипил фессалиец, Ницше восхотел глазами увидеть бога — и, приняв его зрительным восприятием красоты, впал в сети, растянутые провидящими силами. Эврипил должен был бы приять ковчег — как святыню, и свой жребий — как посланничество богоносца; он должен был бы начать с молитвы у пророческого треножника и исполнить ему заповеданное, не искушая тайного бога, — и он не впал бы в роковое безумие. Но он самовольно взглянул на таинственный кумир и сделался благовестителем в силу божественного принуждения; его отношение к Дионису было противоборством неверия, не покорностью веры. Те же черты проникновения в божественное и сопротивления ему определяют судьбу Ницше.

Как мифический Ликург, «на богов небожителей руки поднявший» (Ил. VI, 131), Ликург, безумием и мученической смертью наказанный за преследование «неистового Диониса», Ницше был богоборцем и жертвою богоборства.

Но особенность Дионисовой религии составляет отождествление жертвы с богом и жреца с богом. Типы богоборцев в круге дионисийских мифов сами приемлют Дионисов облик. Страдая, они мистически воспроизводят страдания от них пострадавшего. И — как Иаков богоборец улучил благословление — так Ницше принял страдальное впечатление страдающего бога, им проповеданного и отринутого. Пророк и противник Диониса в своих возгораниях и муках, своей вине и своей гибели, он являет трагические черты божества, которое в веровании эллинов само сызнова переживало вселенское мученичество под героическими личинами смертных.

КОПЬЕ АФИНЫ *

Нам, как маяк, давно поставила
Афина строгая — копье.

Валерий Брюсов («Тезей»)

I

Ошибочно думают о новых исканиях в области художественного творчества те, которые объединяют их в понятии малого искусства, изначала и по существу рассчитанного на постижение немногих, в противоположность искусству большому, обращенному к толпе. Как между отдельными стадиями эпохи этих исканий и отдельными ее представителями, так и в самом понятии малого искусства необходимы точные различия.

Большого, всенародного искусства нет для современного человека, — быть может, потому, что нет самого современного человека, как сущего, т.е. достигшего некоторого статического типа бытия: есть тип динамический, потенциальный и текучий, всецело принадлежащий потоку возникновения, генезиса, становления. Между тем большое, или всенародное, искусство нам было доселе известно только как отражение народного бытия, в смысле статического момента в процессе эволюции, — как творческое истолкование уже созданного, как творчество вторичное. В нем художник — не зачинатель, а завершитель; орган непосредственного народного самосознания, он не имеет иной задачи, кроме раскрытия самоутверждения народного, когда это самоутверждение, в определенном цикле развития, уже закончилось, и доколе оно еще не разложилось.

Потому эпохи истинного большого искусства, при высоком уровне народной культуры, так редки и так кратковечны; зато монументальное бессмертие обеспечено его произведениям, часто вне прямой зависимости от гения отцов их. Ибо, когда заговорит музыка соборной души, не скоро замирают ее отзвуки в соборной

душе изменившихся поколений; да и самый язык соборной души всегда существенно один, как голоса стихий — гул горного обвала, рев водопада или набат морского прибора.

Статический и соборный характер этих эпох делает их по преимуществу эпохами стилиа, который обычно впечатлевается на памятниках вполне самостоятельного и в себе законченного зодчества и определяет, в сфере повседневной жизни, единство форм художества домашнего, чему примером может служить искусство древнейшей утвари и античных ваз строгого образца.

II

Эпохи становления суть, по необходимости, эпохи малого искусства; но это понятие должно быть принято как чисто отрицательное, образованное путем исключения всего того, что не есть большое искусство. На самом же деле оно охватывает, по крайней мере, три типа искусства, имеющие между собою более черт различия, нежели сходства.

И, прежде всего, — так как становление немислимо без некоторого синтеза его моментов в представлении относительного бытия, — *есть* тип малого искусства, так относящийся к душе современности в ее динамическом аспекте, как большое искусство относится к душе соборной в ее аспекте статическом. Этот тип, в отличие от искусства всенародного, может быть назван искусством демотическим, — термин, в ином смысле употребленный Геннекенем в применении к роману, обнимающему целокупность явлений общественной или народной жизни данного времени.

Различие обусловлено, с одной стороны, состоянием коллективной души, которую демотическое искусство находит разделенной в себе и нецельной, не сущей, а становящейся или внутренне не определившейся, с другой — сознательностью синтетической деятельности художника, ищущего обратить становление в некий образ бытия, тогда как творец искусства всенародного — иератического искусства древности или романско-готического искусства средних веков, — говоря себя, непосредственно говорит народную душу. Сходство же этого типа с искусством всенародным — в том, что предметом его служит коллективная, а не личная душа, и что творческий гений говорит в нем ко всем и о всех.

Великий русский роман с «Евгения Онегина», как и обще-европейский роман с «Дон-Кихота», пошел по пути этого типа. Формы, привитые Риму Грецией, — римский портик и вся почти поэзия римлян, — не могли создать там искусства всенародного и сделались элементами искусства демотического.

Два другие типа малого искусства имеют общую основу дифференциацию, как формальное начало становления. Это — преобладающие и отличительные типы эпох быстрого поступательного движения народных культур. Они обусловлены обособлением отдельных культурных групп и личностей с одной стороны, отдельных видов и моментов художественного творчества — с другой. Мы различаем их, как искусство интимное и искусство келейное. При всей общности выше-указанных черт, оба эти типа тем противоположны друг другу, что первый утверждает начало дифференциации, второй идеально преодолевает его.

Интимное искусство есть искусство наиболее важное с точки зрения художественной τέχνη. Это преимущественно «искусство для искусства». Оно выделяет артиста, и вырабатывает виртуоза. Оно предъявляет запрос на утонченность и вкус. Прозрения и открытия чисто эстетического порядка совершаются в его замкнутом круге. В нем живописец впервые только живописец, как Веласкес, музыкант — только музыкант, как Моцарт. Оно центрировано; пассивно по отношению к общим целям культурно-исторического движения; наконец, аналитично по методу, в противоположность большому искусству, существенно синтетическому. Поскольку мыслимы статические типы обособления, интимное искусство, как, например, аристократическое искусство XVIII века, может достигать того единства стиля, которое составляет преимущественную принадлежность большого искусства, и заражать им неопределенно широкие круги: так, мы имеем право говорить о стиле XVIII века вообще.

Искусство келейное, напротив, центрировано в своем глубочайшем устремлении, активно, и снова синтетично. Если интимное искусство очерчивает себя волшебным кругом, келейное хочет овладеть магическим жезлом. Его замкнутость — вынужденная замкнутость самозащиты и сосредоточения: творческая монада нового брожения обороняет себя непроницаемой броней, как бы уходит в свою раковину, и так копит в себе свою эксплозивную энергию. Это — катакомбное творчество «пустынников духа».

Интимное искусство — искусство чистого, беспримесного созерцания; келейное — искусство метафизического изволения. Созерцание того устремлено на внешнее и частное, этого — на внутреннее и общее. В том торжествует личность и произвол ее; в этом, как в искусстве всенародном, опять побеждает сверхличное. Его представители, все, в большей или меньшей степени, являют черты лермонтовского Пророка. Символом его мистической души мог бы служить текст Данта: «Немного извне доступно было взору; но через то звезды я видел и ясными, и крупными необычно». Его пси-

хология — психология молитвенного делания, родная созерцаниям браманов, знавших, что из энергии молитвенной таинственно и действенно возникает, доколе она длится, божество молитвы, Брахманаспати. Его религия — воля, или — что то же — вера, того темного порыва, который подобен содроганиям зачатой жизни в материнском чреве, несущем в себе новую душу. Художник этого типа искусства, сознательно или бессознательно, живет убеждением, что «нужен одинокий пыл неразделенного порыва», — что «из искры тлеющей летит пожар на неудержных крыльях», — что «самые тихие слова — самые могущественные», как дух шепнул Заратустре.

IV

Творцы художественных произведений того или другого типа искусства не необходимо, впрочем, соответствуют, складом своей личности и характером своих стремлений, объективным признакам этого типа. Так, Достоевский, создания которого принадлежат главным образом искусству демотическому, представляет отличительные особенности художника келейного, как и Дант, чья «Божественная Комедия» должна быть однако отнесена к сфере большого искусства. Творения Бетховена, хотя и несомненно «пустынного духа», тем не менее обнаруживают, подобно творениям Шекспира, значительную степень приближения к идеалу искусства всенародного, — как музыка вообще, эта «текущая архитектура» в нашем лишенном зодчества веке, — единственное искусство нового мира, о котором можно условно сказать, что пафос искусства всенародного еще жив среди нас.

Отсюда — внутреннее противоречие и как бы трагическая антиномия Девятой Симфонии Бетховена, — этой двойной измены творца ее и двойной жертвы: ибо она — измена самой музыке, как сфере частной и обособленной, и принесение ее неизрекаемых таинств в жертву Слову как общевразумительному символу вселенского единомыслия, — измена личности и отречение от ее высочайших притязаний во имя любви и правды вселенской.

V

Четыре типа искусства, в том порядке, в каком они выше охарактеризованы, представляют собою восходящую градацию индиви-

дуальной свободы художника. В искусстве всенародном, я творца как бы погружено в Нирвану я народного. Искусство демократическое, хотя и обусловленное началом индивидуации, все же существенно ограничивает свободу творческого порыва. В интимном искусстве личность развивается вольно и безудержно; здесь впервые художник говорит себе: «Wage du zu träumen und zu irren». Наконец, в искусстве келейном «безвольный произвол» гения переступает пределы эмпирического дерзновения (по существу аналитического) и достигает свободы внутренней, или пророческой. Но эта, последняя, эманципация личного порыва есть, вместе с тем его безусловное отрешение от всего лично-волевого.

Здесь свобода переходит в необходимость, произвол делается безвольным, пророческое дерзновение обращается в подчинение пророческое. Келейный художник уже не говорит: «Дерзай мечтать и заблуждаться»; он может сказать еще: «Мечтать дерзай»; но на высших ступенях своего служения он знает одно: «Дерзай», — и не ведает сам, где межа, разделяющая его произвол и его покорность. Ибо его мечта уже не просто аполлинийская сонная греза, но вещь аполлинийское сновидение; и к нему особенно применимо изречение Ганса Закса (в «Мейстерзингерах» Вагнера), которое Ницше прилагает к поэтическому творчеству вообще:

Единый памятуй завет:
Сновидцем быть рожден поэт.
В миг грезы сонной, в зрящий миг,
Дух истину свою постиг;
И все искусство стройных слов —
Истолкованье вещей снов.

Так и на примере Бетховена мы видели, что крайнее дерзновение индивидуального духа переходит в свою противоположность: в отрицание индивидуума ради идеи вселенской. Вот связь, которая логически приводит искусство келейное в преддверие всенародного, под условием гармонии между влечением творческой монады и самоопределением соборным.

Но возможна ли эта гармония?

VI

В статье «Поэт и Чернь» мы искали показать, что внутреннее слово, которое открывается в искусстве келейном в те переходные эпохи, когда «мысль изреченная» становится «ложью», — силою внутренней необходимости совпадает с символом всенародным и

вселенским. Но, между тем как поэт обращается к символам, искони заложенным в его духе народом, — не отчужден ли уже духовно сам народ от того, что составляло его древнее достояние? И не будет ли гений напоминать тому о его божественности, кто уже только «себя забывший и забытый бог»?

Здесь дерзновением было бы предрешать исход возможностей. Здесь возникает лик исторической Ананке, древней Необходимости. Молчанием и покорностью подобает чтить Адрастею. И, тем не менее, позволительно сеятелю, по слову Шиллера, с надеждой верить земле золотое семя и, утешаясь, ждать весенних всходов. Позволительно ему разделять и суеверие этих строк, — уповая на *subtile virus caelitum*:

В ночи, когда со звезд Провидцы и Поэты
В кристаллы вечных Форм низводят тонкий Яд,
Их тайновеянья сообщницы — Планеты
Над миром спящим ворожат.
И в дрожи тел слепых, и в ошупи объятий
Духотворящих сил бежит астральный ток,
И новая Душа из хаоса зачатий
Пускает в старый мир росток.
И новая Душа, прибоем поколений
Подмыв обрывы Тайн, по знаку звездных Числ,
В наследьи творческом непонятых велений
Родной разгадывает смысл.
И в кельях башенных отстоянные яды
Преображают плоть, и претворяют кровь...
Кто, сея, проводил дождливые Плеяды, —
Их, серп точа, не встретит вновь.
(«Cor Ardens»)

VII

Утверждая безусловную свободу художественного творчества, мы — индивидуалисты в сфере эстетической. Возвышая его до теургического воления, мы находим в самой свободе его — ее метафизические границы. Такою гранью является сверхличное.

Кто волит своего я, тот знает, что не обрел его. *Fio, ergo non sum*. Я становлюсь: итак, не есмь. Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умерщвляющих один другого. Где — я? Вот вопрос, который ставит древнее и вещее «Познай

самого себя», начертанное на дельфийском храме подле другого таинственного изречения: «*Ты еси*» (*εἶ*).

Не нужно быть чрезмерно пристрастным к метафизическому образу мышления, чтобы обличить жизнь, как становление и, следовательно, небытие; чтобы осмыслить свое эмпирическое существование как мэон (не-сущее); чтобы осознать, что синтетическое условие становления есть бытие и что существует для ищущего, подобно математическому пределу бесконечно приближающихся величин, некоторое *Я* во мне; как постулат моего не *я*, или *я* — мэона.

Кто проникся этим пафосом самоискания, тот уже не знает личного произвола: он погружается в целое и всеобщее. По мере того как наше искусство, переступая пределы интимного, будет переходить в келейное, оно будет становиться сверхличным. Признаки дифференциации и индивидуации будут преодолены. И мы стоим на пороге этого преодоления.

Пылающее воление излучается любовью и ненавистью. Не на дальнее ли должен быть устремлен этот Эрос целого и всеобщего? Конечно, да. Но кто — дальний? Он — в близких нам, он — в отдаленнейших потомках наших, он — в нас самих. Только по недоразумению можно противопоставлять евангельскую любовь к ближнему, эту неумолимую и не знающую матери и братьев любовь, ницшеанской любви к тому, кто дальше всего от нас. Дальний есть сущий в нас и в близких, и сущее во всем. Относиться к сущему в других, как к сущему в себе, — вот заповедь. Любить ближнего, как себя, и ненавидеть его, как себя, — одно и то же, при условии различения между сущим, как предметом любви, и мэоном, как предметом преодоления.

Несправедливо обвинять так настроенных в принципиальной защите личного или социального эгоизма, и индифферентизма общественного. Они волят не своего и частного, а общего и сверхличного; и ничто из общего и соборного не может быть им чуждо. Правда, они неподкупны в своих оценках: они знают цену хлеба, и знают цену Слова. Но разве должно не знать последней, чтобы пожалеть народ, не евший целых три дня?

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ВТОРАЯ КНИГА ЛИРИКИ *



Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. С фотографии начала XX века. Автограф Л.Д.З. из неоконченного романа «Пламенники».



Лидия Д. Зиновьева лет четырнадцати.

ПОЭТЫ ДУХА

Снега, зарей одеты
В пустынях высоты,
Мы — Вечности обеты
В лазури Красоты.

Мы — всплески рдяной пены
Над бледностью морей.
Покинь земные плены,
Воссядь среди царей!

Не мни: мы, в небе тая,
С землей разлучены: —
Ведет тропа святая
В заоблачные сны.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность! купелью кристальной
Ты твердь улегчила — и тонет
Луна в среброзарности сизой.
Прозрачность! ты лунною ризой
Скользнула на влажные лона;
Пленила дыхания мая
И звук отдаленного лая
И призраки тихого звона.
Что полночь в твой сумрак уронит,
В бездонности тонет зеркальной.

Прозрачность! колдуешь ты с солнцем,
Сквозной раскаленностью тонкой
Лелея пожар летучий;
Колыша под влагой зыбучей,
Во мгле голубых отдалений,
По мхам малахитным узоры;
Граня снеговерхие горы
Над смутностью дольных селений;
Простор раздражая звонкий
Под дальним осенним солнцем.

Прозрачность! воздушною лаской
Ты спишь на челе Джоконды,
Дыша покрывалом стыдливым.
Прильнула к устам молчаливым —
И вечностью веешь случайной;
Таящейся таешь улыбкой,
Порхаешь крылатостью зыбкой,
Бессмертною, двойственной тайной.
Прозрачность! божественной маской
Ты реешь в улыбке Джоконды.

Прозрачность! улыбчивой сказкой
Соделай видения жизни,
Сквозным — покрывало Майи!
Яви нам бледные раи
За листвою кущ осенних;
За радугой легкой — обеты;
Вечерние скорбные светы
За цветом садов весенних!
Прозрачность! божественной маской
Утишь изволения жизни.

НЕБО ЖИВЕТ

Сумеречно слепнут
Луг и лес и нива;
Облачные дива
Лунной силой крепнут.

Крепнут силой лунной
Неба паутины,
И затоны — тины
Полны светорунной.

Накренились горы
К голубым расколам.
Мгла владеет долом,
В небе реют взоры.

Крыльев лебединых
Взмахом Греза реет
Там, где вечереет
На летучих льдинах;

Лебедью садится
У краев уклонных;
В черноту бездонных
Кладязей глядится, —

В глубь, где ночь пустила
Синею излукой
Парус крутолукий
Бледного светила.

ДОЛИНА — ХРАМ

Звезда зажглась над сизой пеленой
Вечерних гор. Стран утренних вершины
Встают, в снегах, убелены луной.
Колокола поют на дне долины.

Отгулы полногласны. Мглой дыша,
Тускнеет луг. Священный сумрак веет.
И дольняя звучащая душа,
И тишина высот — благоговеет.

ДУША СУМЕРЕК

В прозрачный, сумеречно-светлый час,
В полутени сквозных ветвей,
Она являет свой лик и проходит мимо нас —
Невзначай, — и замрет соловей,
И клики веселий умолкнут во мгле лугов
На легкий миг — в жемчужный час, час мечты,
Когда медленней дышат цветы —
И она, улыбаясь, проходит мимо нас
Через тишину... Тишина таит богов.

О тишина! тайна богов! о полутень!
О робкий дар!
Улыбка распутий! крылатая вечность скрестившихся чар!
Меж тем, что — Ночь, и тем, что — День,
Рей, молчаливая! медли, благая!
Ты, что держишь в руке из двух пламеней звездных весы!
Теплится золото чаши в огнях заревой полосы;
Чаша ночи восточной звездой занялась в поднебесье! —
О равновесье! —
Миг — и одна низойдет, и внесется другая...

О тишина! тайна богов! о полутень!
Меж тем, что — Ночь, и тем, что — День,
Бессмертный лик остановив,
Мглою и мерцаньем повеи чело
В час, как отсветом ночи небес светло
Влажное стекло
В сумраке сонном ив!

FIO, ERGO NON SUM

Жизнь — истома и метанье,
Жизнь — витанье
Тени бедной
Над плитой забытых рун;

В глубине ночных лагун
Отблеск бледный,
Трепетанье
Бликов белых,
Струйных лун;
Жизнь — полночное роптанье,
Жизнь — шептанье
Онемелых, чутких струн...

Погребенного восстанье
Кто содеет
Ясным зовом?
Кто владеет
Властным словом?
Где я? где я?
По себе я
Возалкал!
Я — на дне своих зеркал.
Я — пред ликом чародея
Ряд встающих двойников,
Бег предлунных облаков.

ТЕМЬ

О темная Земля!
Ты любишь Солнце; Солнцем ты любима.
Меч Херувима
Испепелил одежды
Твои, вдова Эдема: дар надежды,
Дух умоля,
Ты сберегла, опальная Земля!

Дан Солнцам свет,
И темь — Землям. И Дух везде, страдальный.
Но Мрак печальный
Утешен озареньем;
И страждет Свет, своим светясь гореньем.
Ах, дара нет
Тому, кто — дар! И кто осветит — Свет?

Алчба лучей; алчба
Исполниться; и сирый плач вдовицы,
И страсть юницы,
И материнства муки —
Тебе даны с заветами Разлуки!
Тебе — гробà
И колыбель! тебе — небес алчба!

Твои, о Мать, сыны —
С тобой в тоске на небо мызираем
За чуждым раем;
Как ты, живем надеждой,
И наги мы под солнечной одеждой;
Как ты — темны,
Твой зрящий сон мы зрим, твои сыны!

Но Небом был зачат
Наш темный род — Титанов падших племя.
И Солнца семя,
Прозябнув в нас, осветит
Твой лик, о Мать!... Ах, если Свет, что светит, —
В себе распят, —
Пусть Дух распнет нас, кем твой свет зачат!

ОТЗЫВЫ

«Тайный!» — звала моя сила: «Откликнись, если ты сущий!»
Некто: «Откликнись, коль ты — сущий!» — отвечивал мне.

И повторил мне: «Ты — сущий!...» И звал я, радостный: «Вот я!»
Радостный, кто-то воззвал: «Вот я!» — и смолкнул. Я ждал.

Гнев мой вскричал: «Тебя нет!» — «Тебя нет!» прогремел мне незри-
И презреньем отзыв запечатлел: «Тебя нет!...» [мый

«Маску сними!» — мой вызов кричал; и требовал кто-то:
«Маску сними!» — от меня. Полночь ждала. Я немел.

«Горе! я кличу себя!» — обрело отчаянье голос:
И, безнадежный, сказал кто-то: «Я кличу себя!...»

БЕСКОНЕЧНОЕ

G. Leopardi

Всегда любил я холм пустынный этот
И изгороди тёрен, отеснивший
Пред взором край последних отдалений.
Я там сижу, гляжу — и беспредельность
Пространств за терном тесным, и безмолвий
Нечеловеческих покой сверхмирный
Впечатлеваю в дух, — и к сердцу близко
Приступит ужас... Слышу: ветер шуршащий
Отронул заросль, — и сличаю в мыслях
Ту тишину глубокого покоя
И этот голос, — и вспомню вечность,
И мертвые века, и время наше,
Живущий век, и звук его... Так помысл
В неизмеримости плывет — и тонет,
И сладко мне крушенье в этом море.

СЛОКИ

I

Кто скажет: «Здесь огонь» — о пепле холодном
Иль о древах сырых, сложенных в кладу?
Горит огонь; и, движась, движет сила;
И волит воля; и где воля — действие.

Познай себя, кто говорит: «Я — сущий»;
Познай себя — и нарекись: «Деянье».
Нет Человека; бытие — в покое;
И кто сказал: «Я есмь», — покой отринул.

Познай себя. Свершается свершитель,
И делается делатель. Ты — будешь.
«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».
Се, действие — жертва. Все горит. Безмолвствуй.

II

Познай Рожденья таинство. Движенье
Родит движенье: что родить Покою?
Тому, что — круг, исхода нет из круга.
Алчба — зачатъе; и чревато — Действо.

Познай себя, от Действия рожденный!
Огнем огонь зачат. Умрет зачавший.
Жрец отчий — ты, о жертва жертвы отчей!
Се, жертва — Семя. Все горит. Безмолвствуй.

III

И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий — Любовь; Любовь — убийство.
«Отколе жертва?» — Ты и Я — отколе?
Все — жрец, и жертва. Все горит. Безмолвствуй.

КРЕСТ ЗЛА

Сказания простого
Как смысл вместят уста?
Вблизи креста Христова
Стояли два креста.

Как изрекут, о братья,
Уста соблазна весть?
И Грех — алтарь распятия,
И Зла Голгофа есть!...

Вблизи креста Христова —
Два жертвенных креста:
Свет таинства простого
Как изъяснят уста?

ПЕРСЕФОНА

Свершился год —
И небо синей,
И с темного лона
Я встаю,
И Матери — Гее
Венец вию,
И веду хоровод
Весенних дней,
О смертный род! —
Царица теней,
Персефона.

Кто мудр, назови
Мной Меня. Кто мудрее,
Что одна Я — пойми,
И двух прими, —
Но третью Меня зови.

Весна,
Я встаю
На пажить твою,
О смертный род, —
Из темного лона!
И светлых дней
Веду хоровод,
И Мною твердь
Сияет ясней, —
Царица теней,
Богиня Сна
Весна —
И Смерть —
Персефона.

ДВЕ ЛЮБВИ

Таился я росинкой малой;
Но первый луч застиг меня,
Восхитил, жадный, в облак алый, —
И мертв я был в лазури дня.

Под небом гром мятежный грянул,
Я слышал зов тоски земной, —
Воскрес — и хладной каплей канул
На дол, отображенный мной.

И миг — я жил, и Мать на лоно
Меня приемлет, где в ночи
Поют мне песнь родного звона
Неотлучимые ключи.

ДРИАДЫ *

О души дремные безропотных дерев,
 Нам сестры темные — Дриады!
Обличья зыбкие зеленооких дев,
 Зеленовейные прохлады,
Ковчеги легких душ, святилища дерев!

Живые облаки неузнанных божеств
 Средь обезбоженной природы!
Над сонмом без венков, над миром без торжеств
 Листвы пророчественной своды
Вы немо зыблете, о скинии божеств!

Прислушайся, один, в смарагдной тишине
 К пустынным шелестам Дриады!
Открой уста души — и пей, как в смутном сне,
 Наитье сумрачной отрады!
Ты, вещей, — не один в безлюдной тишине!

С тобой, вне времени, пределов и пространств,
 Плывет и жизнью нежной дышит
Душа под космами таинственных убранств
 И, упоенная, колышет
Всея чуткой ошущью свой сон в струях пространств.

Ни граней, ни годин, ни ликом «Ты» и «Я»
 Она божественно не знает,
И цельным нектар пьет из сердца бытия,
 И никого не вспоминает.
И в нераздельности не знает «Ты» ни «Я».

Истома знойных гроз, и сладкий ветер Весны,
И вздохи Осени печальной
Ей снятся в ней самой — потерянные сны
Пустой бездонности зеркальной, —
И душу сонную лелеет ветер Весны...

Так Древо тайное растет душой одной
Из влажной Вечности глубокой,
Одетое миров всечувственной весной,
Вселенской листвой звездноокой:
Се, Древо Жизни так цветет душой одной.

Восходят силы в нем в мерцающую сень
Из лона Вечности обильной,
И силы встречные струятся в сон и тень
На лоно Вечности могильной, —
Где корни звездную распростирают сень.

Глядятся Жизнь и Смерть очами всех огней
В озера Вечности двуликой;
И корни — свет ветвей, и ветви — сон корней,
И все одержит ствол великий, —
Одна душа горит душами всех огней.

ПАН И ПСИХЕЯ *

Я видел: лилею в глубоких лесах
Взлелеял Пан.
Я слышал Психею в лесных голосах:
Ей вторил Пан.

Я ухом приник: она брала
Его свирель,
Дышала в тростник — и новой жила
Тоской свирель.

И Пан сводил на дивный лад
Былой. напев,
И робкой будил песнью Дриад,
Дремотных дев.

УВЕНЧАННЫЕ

Мне грежутся тропы
Молитвенных теорий
И смятые нагорий
Священные луга;
И легкие стопы
Пророческих веселий,
Дыханием свирелей
Возвеянные ноги —
За черные пороги
Летящие снега.

Мне грежутся уста
Немого умиленья;
Любви напечатленья,
Неведомой досель;
Смарагдные места
Таинственных радений;
Древа боговидений;
Холмы лобзаний зёмных,
И пламень врат тюремных,
И боговещий хмель!

Мне грежутся чела,
Венчаннные цветами;
Вновь гордые, цветами
Увитые чела;
Святые вновь чела
Прекрасных поколений!
Их сонм — как сонм олений
У струй, в огнях денницы!
Их очи — как зеницы
Воззревшего орла!

ВОЗЗРЕВШИЕ

От персти взятым бреньем
Сгорела слепота:
На дальнее прозреньем
Врачует Красота.

Пора птенцам, Орлица,
Очами пить эфир
Яви теням — их лица,
И странным мира — мир!

Весенним увенчаньем
Вам никлых уврачить,
Молчанию Молчаньем
Возревших научить, —

О вы, чья медом диким
Душа упоена,
Единым и Вселиким —
Без имени — полна!

Благословляю, други,
Дней ваших хоровод
И столпных сеней дуги
Вкруг ясной тайны вод,

Голгофы храмовые —
Первины холмных глав, —
И действия лицевые
В удолиях дубрав,

Мысы рассветных гимнов,
И башни в поле звезд,
Скиты скитальных скимнов,
И скалы орлих гнезд!

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Милые братия!
Смеркнет сегодня
Солнце закатное
В дымных зарях:
Но при дверях

*«Лето Господне
Благоприятное!»*
Пламень обета
На алтарях,
Братья Рассвета!

Неба зачатия,
Дух умоля,
В древнее чрево
Примет Земля.
Море ли пенится?
Дрогнула мгла;
Сине расцвечены
Горные стекла.
День — за просвеченной
Стекла светозрачнее —
Острой горой.
Листвою Древо
Жизни оденется,
Юной корой.

Сердце изменится.
Взор удаленнее,
Песнь умиленнее
В тонкой тиши.
Пещь распаленнее —
Огонь убеленнее:
Вейся прозрачнее,
Пламень души!

РАДУГИ

Рокоты лирные,
Спектры созвучные,
Славят, ответные,
Вас, огnezвучные
Струны всемирные,
Вас, семицветные
Арки эфирные,
Ярко-просветные!

Реяний знаменья,
Веяний вестницы,
Райского камня
Легкие лестницы, —
Вас, нисхождения
Отцветы бледные,
И восхождения
Двери победные!
Духа и брения
Звения брачные,
Сны предварения,
Сны огнезрачные, —
Вас, семицветные
Дуги заветные,
Радуги мирные,
Кольца обетные!

Неба лазурного
Тонкие зарева,
Дымные марева
Сумрака бурного
Влажным горением
Вы напоете;
Вы растворением
Светлой прозрачности
В молниевой мрачности
Сладко сияете.
Рая павлинами
Вы взлетаете;
Горы с долинами
Вы сочетаете;
Вздохами таете
В горних селениях,
В буйных стремлениях
Дольними чадами
Над водопадами
Вы расцветаете.

О мимолетные,
Души бесплотные,
Мир улегчите вы,
Мир научите вы,
Как растворяется
Тайна в явлении,

Как претворяется
Тень разделения,
Как умиряется
Рознь семилучная,
Как оперяется
Жертва разлучная;
Как однозвучная
Вдруг озаряется
Жизнь наша бедная;
Греза победная
Высью несслеженной
В ткани разреженной
Как воцаряется,
Как сиротливое
Ей уверяется
Сердце тоскливое;
Как отворяется
Крыша тюремная;
Жажда надземная
Как одаряется!

Своды кристальные
Стройных обитателей,
Смелых зиждителей
Замыслы дальные,
Взоры чаруйте нам,
Сердце врачуйте нам,
Тайну поведайте
Солнца прекрасного,
Заповедь ясного
Сна заповедайте:
Как улыбается
Светлость под тучами;
Как нагибается
Легкость над кручами;
Как упиваются
Светами зыбкими,
Осияваются
Цвета улыбками
Мглы окрыленные;
Как очищаются
Сумраки красками,
Как освещаются
Проливней плясками
Склоны зеленые.

ХМЕЛЬ*

— «Ах, это было пьянство белого луча!» — «Хмель, это — тайная душа нашей жизни. Мир — хмель божества».

* * «Пламенники»

Не извечно, верь, из чаш сафирных
Боги неба пили нектар нег:
Буен был разгул пиров предмирных,
Первых волн слепой разбег.

Наши солнца — тихое похмелье,
И на дне алеет их хрусталь:
Легче хмель, согласнее веселье,
И задумчивей печаль...

Но и древле распрей мир, и ныне
Мир разлук, — семи разлук свирель,
Пьяный сон луча в его пустыне, —
Вечно прозрачный хмель.

ПРИШЛЕЦ

С. А. Котляревскому

Предреченный утешитель,
Где ж он, где, Сивилла? — «Оглянись:
За тобой вершитель, разрешитель».
— Кто ты, чуждый? — «Дионис».

— Крест ли ты — иль тирс — возносишь?
— «Пышный тирс и крест — несут тебя».
— Ты чего от сердца властно просишь?
— «Что сердцам даю: себя».

— Отойди: нам жребий битвы
Выпал черный. — «Я вам бранный хмель».
— Нас сзывает благовест молитвы.
— «С ним поет моя свирель».

— Что твой знак? — «Прозренья глаза,
Дальность слуха, крыленье ног;
Угль, воскресший радугой алмаза;
В чреве Я взыгравший бог».

ЦАРСТВО ПРОЗРАЧНОСТИ

I

АЛМАЗ

Когда, сердца пронзив; Прозрачность
Исполнит солнцем темных нас,
Мы возблестим, как угля мрачность,
Преображенная в алмаз.

Взыграв игрою встреч небесных,
Ответный крик твоих лучей,
О Свет, мы будем в гранях тесных.
Ты сам — и цель твоих мечей!

Всепроницаемой святыней
Луча божественное Да,
Стань в сердце жертвенном твердыней,
Солнцедробящая звезда!

II

РУБИН

Рдей, царь-рубин, рудой любовью,
Прозрачности живая кровь!
Затем, что жертвенною кровью
Взойдет божественная новь.

О, рок жреца! победа! слава!
Луч алый! пышность багреца!
Но лютый терн — твоя оправа,
Слеза небесного венца.

Ты красной волей ярко-властен,
О жизни замкнутый пожар!
Как солнце пагубное, страстен;
Как Да пылающее, яр.

III

ИЗУМРУД

Твоих лучей живые силы
В прозрачных светах не замрут,
Пока луга весны нам милы,
О ненаглядный изумруд!

Зелено-искристый и нежный,
Змий — царь зачатий Красоты,
Обет чудес в дали безбрежной,
Зов верный творческой мечты!

Земли божественная злачность,
Ее рождающее Да,
О просветленной светозрачность,
Ты будешь наш всегда, всегда!

IV

САФИР

И ты, глубокий, радуй очи,
О сине-блещущий сафир,
В полудне моря свет полночи,
Небес сгустившийся эфир!

В прозрачной мгле и тайне влажной
Нежгучих пламеней пожар,
Завет ты налагаешь важный
Бессмертной властью мудрых чар.

О камень-волхв, о Да иное,
Чем наших уст неверных Да!
Ты на земле — все неземное,
Ты — вечный синий путь... куда?

V

АМЕТИСТ

И ты, как вздох молитв утешных,
Млей тенью сладкой, аметист!
Мерцай струями дум безгрешных,
Смиренномудр, и благ, и чист!

Умильный свет пред ночью близкой,
Глубоких звезд намеков немой,
Нисходишь ты до сферы низкой,
Одет прозрачностью и тьмой,

Из стран, где сумрак твой основой
Верховной блещет стен святых,
И Да поешь надежде новой,
И нас преображаешь, тих.

VI

ИСКУШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ

Когда нас окрылит Прозрачность,
Всех бездн зияющая мрачность
Обнимет радужную кручь —
И, к ним склоняясь, Седмизрачность
Возжаждет слиться в белый луч.

Но ты удержишь духом сильных,
О высей яркая среда,
Где слепнет власть очей могильных
И в преломлениях умильных
Поет всерадостное Да!

II

ДВА ГОЛОСА

И горлиц рокот
Мне ворковал:
Но прерывал
Их орлий клёкот.

И неги лепет
Меня ласкал:
Но звезд сверкал
Ревнивый трепет.

И взгляд разлуки
Меня держал:
Но челн бежал
За мыс излуки...

О яблонь в доле
Весенний цвет! —
О снежный свет
В небесном поле!...

ЛЕМАН *

Вечера павлины
Небеса рядили.
Двое нисходили
Из глухой долины.

Из глухих скитаний
Озеро манило.
Плесь наводнило
Пламя трепетаний.

Там Судьба застигла
Двух, себя обретших.
На зарях рассветших.
Оснежились иглы.

Чайка расплескалась;
Парус мрел далеко;
С рокотами рока
Озеро ласкалось.

Горные горбины
Сумраки повили...
Там остановили
Беглецов судьбины:

Ветра голосами
Смерть — иль жизнь — вестили;
Ужасая, льстили
Шаткими весами.

Им в тоске покорной
Сердце внемля — ждало:
Да и Нет рыдало
Над пучиной черной.

Сестры ночи ткали;
И на скал устои
Чередой прибои
Да и Нет плескали.

Руки рук искали
На краю могилы.
Вал за валом силы
Темные толкали, —

Волей всеодержной
Нудили разлуку
И хватали руку
Из руки удержной,

И две груди тесных
Разделить грозили...
Меч их отразили
Копья сил небесных!

Жизни нерасцветшей
Завязь поглотило,
Парус распустило
Над себя обретшей

Вновь любовью робкой
Вечное Начало —
И двоих промчало
Над пучиной топкой!

И два сердца жили
Под лучом Пощады...
А на скал громады
Сумраки снежили...

МАДОННА ВЫСОТ

Долго мы брели по кручам,
Пробирались по лесам, —
Ты да я, — не веря тучам,
Веря синим небесам.

Вот и выси, где Мадонна
В глубь разверстую глядит,
В глубь, что Ей с полу-восклона
Светлым облаком кадит, —

Где свой край благословляет
До равнинной полосы,
Что в прозрачность удаляет
Кряжей тающих мысы.

И пред Нею — блеск озерный,
Грады, реки и луга,
И скалы страны нагорной,
И верховные снега...

В солнце сосны. Ветр колыхает
Связку роз у чистых ног...
В сени смольной Роза дышит...
В Боге мир, и в сердце — Бог!

Les Voirons

ЛИЛИЯ

Под Тибуром, в плющах руин,
Твой луч я встретил
И стебель долгий — и один
Тебя заметил.

И грезой, после многих лет,
Зову, печален,
Твой в полдень мне рассветший свет,
Звезда развалин!

Встань, на лазури стройных скал
Души, белея,
И зыбля девственный фиал,
Моя лилея!

РАСКАЯНИЕ

Мой демон! ныне ль я отринут?
Мой страж, я пал, тобой покинут!
Мой страж, меня ты не стерег —
И враг пришел и превозмог!...

О, нет, мой демон! Боль позора
Родит притворный гнев укора!
Я внял твой зов, — прийти ж не мог,
Зане был наг и был убог.

Давно ль тебе, невинен, волен,
Как фарисей — самодоволен,
Давал я гордый мой зарок —
На вечный срок?... На вечный срок!

Так торжествует, сбросив цепи,
Беглец, достигший вольной степи:
Но ждет его звенящих ног
Застенка злейшего порог.

ЯСНОСТЬ *

Вл. С. Калабину

Ясно сегодня на сердце, на свете!
Песням природы, в согласном привете
Внемлю я чуткой душой:
Внемлю раздумью и шопоту бора,
Речи безмолвной небесного взора,
Плеску реки голубой.

Смолкли, уснули, тревожны, угрюмы,
Старые Сфинксы — вечные думы;
Двигутся хоры пленительных грез;
Нет своей радости, нет своих слез.

Радости чуждой, чуждой печали
Сердце послушно. Ясны,
Взорам доверчивым въяве предстали
Воображенья волшебные дали,
Сердце манящие сны.

ПОЛНОТА

Душа, — когда ее края
Исполнит солнечная сила, —
Глубокий полдень затая,
Не знает действенного пыла.

Ревнив божественный покой.
Как свет — безмолвие обильных.
Как солнце — их любовь: какой
Мил солнцу цвет лугов умильных?

Безбрачной волей красоты
Кто пьян, как оный нищий скряга,
Почий, как в чаше полноты
Миры объемлющая влага.

СИНЕВА МОРЕЙ

О, пир очей! О, созерцаний
Олимп! О, гордый кругозор
Морей — от розовых Аврор
До замирающих мерцаний!

О, пир очей на высотах!
В сафирных чашах их напиток!
Их упоений на устах
Неизреченный нем избыток.

Как оторву я жадный плен
От нектара лазури сладкой?
Я гасну, голубых Сирен
Певучей ослеплен загадкой.

ТЫ — МОРЕ

Ты — море. Лоб твой напухает,
Как вал крутой, и пепл огней
С высот грозящих отряхает,
Как вал косматый, — пыль гребней.

И светлых глаз темна мятежность
Вольнолюбивой глубиной,
И шеи непокорной нежность
Упругой клонится волной.

Ты вся — стремленье, трепет страстный,
Певучий плеск, глубинный звон,
Восторга вихорь самовластный,
Порыва полоненный стон.

Вся волит глубь твоя незримо,
Вся бьет несменно в берег свой,
Одним всецелым умирима
И безусловной синевой.

ЗОЛОТОЕ СЧАСТЬЕ *

Я блуждал в саду блаженных
И, влюбленных дев увидя:
«С чем сравнимо ваше счастье?»
Их спросил; они ж, потупясь:
«С розой утренней!» — шепнули.

Я спросил детей счастливых:
«С чем сравнимо ваше счастье?»
Очи тихие воскинув,
Дети молвили: «С небесной
Безмятежною лазурью».

Вопросил я светлых духов:
«С чем сравнимо ваше счастье,
Непорочные, святые?»
Возлетая, пели духи:
«С белизною стройных лилий».

И, склонясь с участием, Муза:
«Друг, и ты в саду блаженных?
С чем твое сравнимо счастье:
С небом ясным, розой алой
Иль лилеей белоснежной?»

Я ж: «Мое не схоже счастье»,
Ей отвечивал: «ни с розой
Нежной, ни с лилеей снежной,
Ни с безоблачною лазурью:
Золотой мне жребий выпал.

«Горячо и горделиво
В сердце блещет солнце счастья,
Мещет вокруг лучи златые,
Как волосы златой Венеры,
Как моей царицы кудри!»

Улыбнулась нежно Муза:
«Дважды ты блажен и трижды,
Как блажен лишь Феб единый,
Лучезарный и влюбленный,
Строя лиру золотую».

ПЕСНИ ДАФНИСА *

I

ЦИКАДЫ

Цикады, цикады!
Луга палящего,
Кузницы жаркой
Вы ковачи!
Молотобойные,
Скрежетопильные,
Звонко-гремучие
Вы ковачи!
Любят вас Музы:
Пением в узы
Солнечной дремы,
Пьяной истомы
Куйте лучи —
В час, когда Дафнис не спит, а Пан грезит под облаком зноя!

Цикады, цикады!
Моря слепающего,
Мглы среброзаркой
Плавьте мечи!
Серебро в знойные
Горны плавильные
Сыпьте в кипучие,
Плавьте в печи!

Сѐребра белы:
Куйте мне стрелы
Томных пыланий,
Пьяных желаний,
О, ковачи, —
Под теревинфом смолистым, где сонно раскинулась Хлоя!...

Цикады, цикады!
Полдня калящего,
Кузницы яркой
Вы ковачи!
Молоты стройные,
Скрежеты сильные,
Зноя трескучие
Вы трубачи!
Музам вы любы:
Куйте мне в трубы
Сладостной славы
Сѐребра сплавы,
Злата лучи —
Под теревинфом победы, где с Дафнисом — томная Хлоя!

II

ИСПЫТАНИЕ

«Что блаженней? Упоений
Раздвигать цветущий полог, —
Истощив ли наслажденья,
Отягченную ногою
Попирать порог увялый?»

«Что блаженней? В нежных взорах
Дерзких ласк читать призывы —
Или видеть очи милой,
Утомленные тобою,
Без огня и без желаний?»

Так Эрот, мой искуситель,
Испытал меня коварно,
Осчастливленного милой;
Я ж, подругой умудренный,
Избежал сетей лукавых:

«Вожделенней, сын Киприды,
В угашенных взорах милой,
Без восторга, без призывов, —
Воспалять лобзаньем новым
Жадной страсти едкий пламень...

«Ах, с порога совершений
Вожделенней возвратиться
К испугленным ненасытным!...»
И, смеясь, Эрот воскликнул:
«Друг, вернись: ты их достоин!»

III

ВЕСНА

Мы были дети —
Я, как она.
Улыбок сети
Плела Весна
По влажным лонам
И по затонам
Ручьев, в тиши,
И по притонам
Лесной глуши.
Мы были рыбки,
Сребристо-зыбки,
В сетях Весны.

Мы у Весны
Одной учились,
И нам лучились
Простые сны.
Гнездились птицы —
Дивились мы;
Как стад ягницы,
Резвились мы.
Лепили пчелы
Свои соты —
И нам цветы
Копили доли.

Но от венков
Нас звали козы
Туда, где грозы
Мглой облаков
Шли, склоны кроя.
Из тростников
Певунье зноя —
Цикаде Хлоя
Плела затвор;
И был не тесен
Дыханью песен
Стволин простор.

Мы у Весны
Одной учились,
И обличились
Нам сердца сны
В лугах Весны...
Мы были дети,
Когда нам сети
Сплели Весны
Живой улыбки...
Мы были рыбки
В сетях Весны!
Нам снились сны...

IV

ГРОЗА

Ты помнишь луч
По благоуханной увлажненной зелени,
И дальнего грома «прости» благосклонное,
И крупные слезы Дриады смеющейся,
Полновеские капли, звончатые,
И буйство роз
В твоих кудрях?

О, флейты любви!
Вы куда, куда ведете,
К стремнинам каким?...

Младенческой
Рукою венки отрясала ты, резвою
Рукою венки отрясала развеянный
И капли играли с улыбкой ланит твоих,
И крупные капли, алмазные
Ласкали печаль
Твоих ресниц...

V

АПОЛЛОН ВЛЮБЛЕННЫЙ

Зовом Пановой свирели
Лес весенний оглашен;
Очарованные трели
Эхо мчит на Геликон.

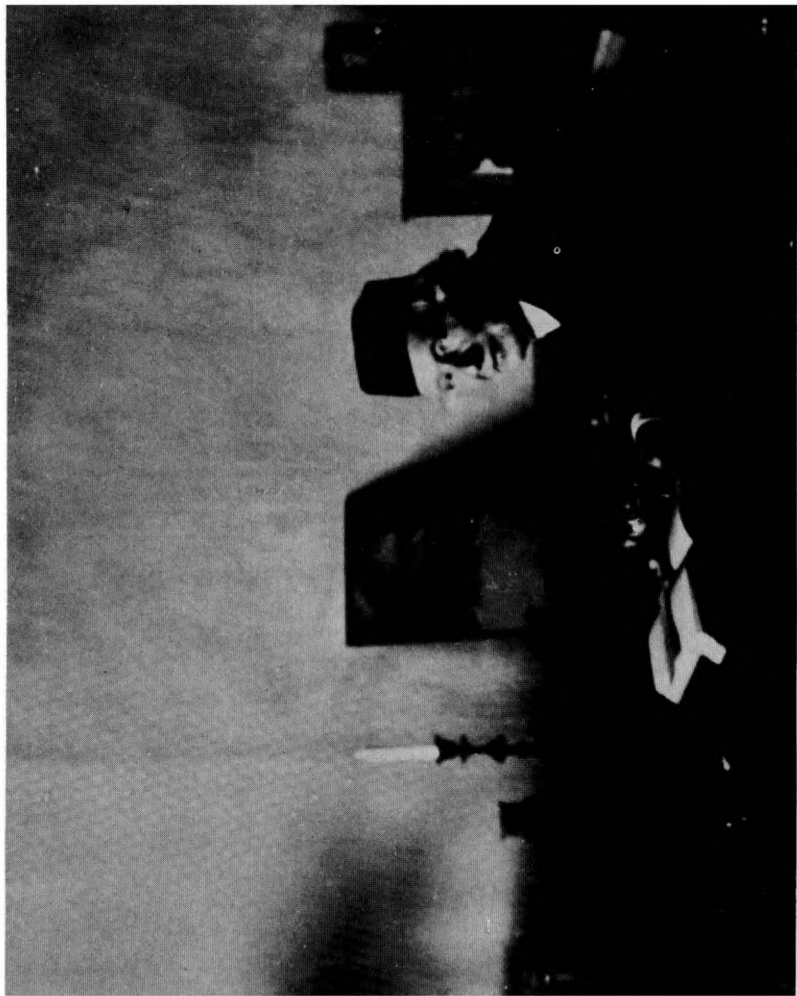
И влюбленный пламень взора
Златокудрым сыном Латò
Средь божественного хора
Устремил на Эратò.

Внемля Панову напеву,
От возвышенных подруг
Он уводит тайно деву
На цветущий вешний луг.

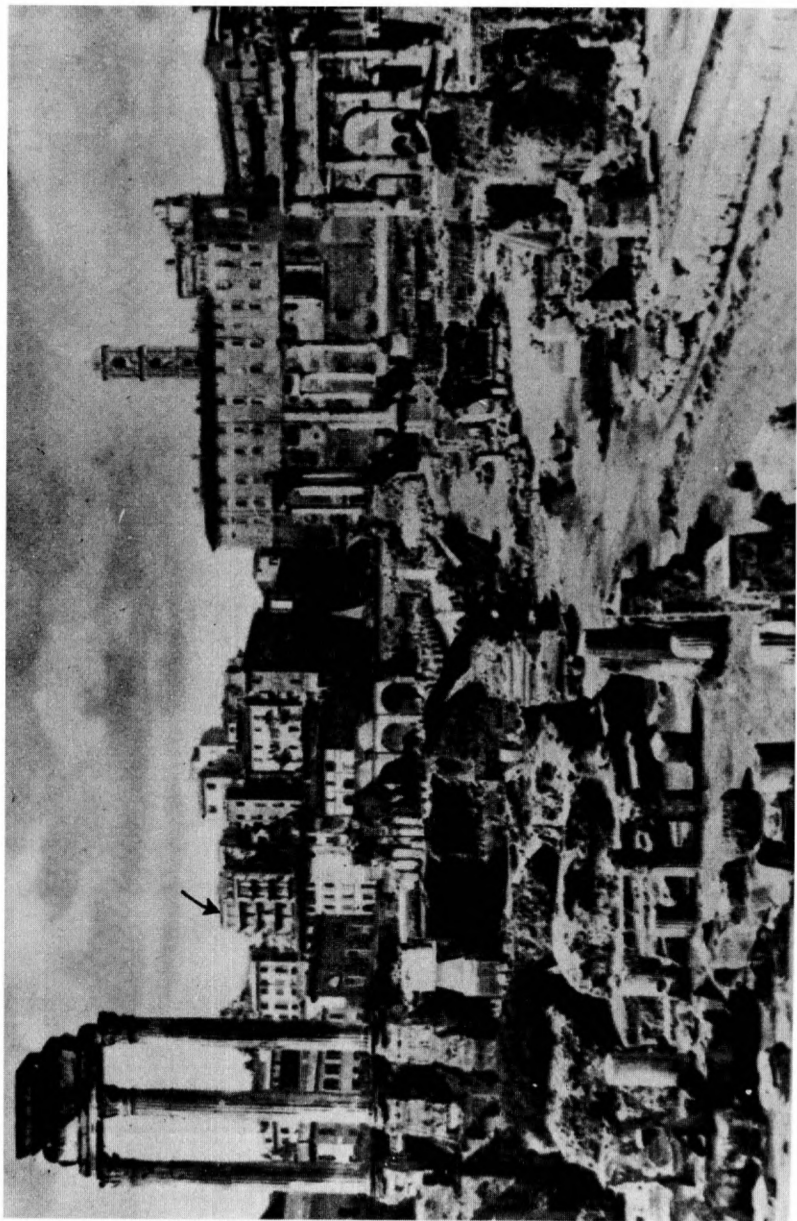
И, влеком стремленьем томным
С ней блуждает, молчалив,
По ущелиям укромным,
В чащах миртов и олив.

И послушную склоняет
В тихой роще на траву,
И на грудь ее роняет
Отягченную главу.

И на лире неразлучной
Пламень свой поет она;
И подымлет стон созвучный
Аполлонова струна.



Вячеслав Иванов. На столе портрет Л.Д.З. Павия, конец 1932 г.



Вид на Капитолий с Форума. Дом, где жила Вячеслав Иванов от 1936 до 1940 г. отмечен стрелкою.

И под рокот песни сладкой,
Робость нежную тая,
Обступает их украдкой
Трех нагих Харит семья;

И на прерванные ласки,
Улыбаяся, глядит,
И под меру стройной пляски
Устыженным говорит:

«Струн влюбленных слышит пени
Граций легкий хоровод.
Ищет тайны, ищет тени
И безмолвных встреч Эрот.

«Нег порою скоротечной
Тайну сладостную крой;
Помяная пыл сердечный,
Золотую лиру строй!»

LA LUNA SONNAMBULA

Луна течет во сне. О, не дыши — молчи!
Пусть дышат и дрожат и шепчутся лучи,
Пусть ищут и зовут и в дреме легкоперстой,
Как сон, касаются души твоей отверстой.

Спит непробудно мир и лунный ловит сон:
Луна зовет; Луну — зовет Эндимион
Во сне... Пусть соловей один поет разлуку:
Он не разбудит чар; он спит и внемлет звуку.

Полна всечувственным исканьем тишина.
Молчи: в душе дрожит Эолова струна,
Отзывная Луне, — к ней чутко простирает
Прерывный, бледный стон, тоскует, замирает...

Как эхо близкое, душа, отлучена,
Таится... Близится, и льнет, и льнет Луна:
И, ей отронута, душа звенит и млеет
И сонный поцелуй, бессонная, лелеет.

ЦВЕТЫ

Н. Е. Пояркову

Зачем вы так унылы,
Цветы моей мечты?
— «Затем мы так унылы,
Что мы — цветы могилы».

И вы, лугов цветы,
Зачем вы так унылы?
Цветите нам, цветы,
Улыбкой красоты!

— «Не тронь нас. Мы унылы:
Мы ваших весн цветы,
Вам на гробах лишь милы,
Мы вам — цветы могилы.

«Мы будем вновь святы
Сынам расцветшей силы,
Что встанут увиты
Венками красоты!»

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ *

Мира день шестой — тогда и ныне,
И не создан человек досель.
День седьмой — в почившей святыне
Вечного всезрящий хмель.

Избранным дано вкушать мгновенья
От его высоких благостынь:
Но, что в небе — вёсен дуновенье,
Долу — осеней полынь.

Исполненья осени победной —
Лишь плоды стесненности долин.
Собирай же свой избыток бедный,
Вертограда властелин!

«Ты богат», — поет багрец прощальный;
«Ты счастлив», — поет кристальный луч...
И торопит жизни пир печальный
Свежий гонщик черных туч.

НЕДВИЖНОЕ

Минувшее меркнет и стынет,
Иль светится маревом дальным;
Наплывом пахучим нахлынет,
Напевом домчится печальным.

За островом остров — в туманах:
Там призраки пленные плачут...
За островом остров — в туманах
Нам дали свиданий означат.

Недвижное ждет нас уныло;
И, круг завершая пловучий,
Мы снова, — где встанет, что было, —
Причалим под ивой плакучей.

ОСЕНЬЮ

Ал. Н. Чеботаревской *

Рощи холмов, багрецом испещренные,
Синие, хмурые горы вдали...
В желтой глуши на шипы изощренные
Дикие вьются хмели.

Луч кочевой серебром загорается...
Словно в гробу, остывая, Земля
Пышною скорбию солнц убирается...
Стройно дрожат тополя.

Ветра порывы... Безмолвия звонкие...
Катится белым забвеньем река...
Ты повилики закинула тонкие
В чуткие сны тростника.

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСЕНЬ

Где огневой поры
Червленец любезный?
О, золотой игры
Конец железный!

Дол потемнел и смур.
Как оружия, ржавы
С холма, где стебель бур,
Я вижу дубравы.

Легли весны бойцы
В сече бесполезной.
Где хмель и где венцы
На тризне железной?

Как харалужный строй,
Утесов отвесы,
Грозя, мелькнут порой
Из-за хмурой завесы.

ЭПОД

Лист, глух, истлел. Средь почернелых тростников
Болот могильная вода.
Там смерть живых и там отживших навсегда
В дубовой роще стариков.

Грабитель — ветер ходит в их хоромаш, нищ
Их корчей костенеет крик.
По бору сосен перезвон и переклик...
Луч — вспышка дымных пожаращ.

И важны сосны, как на валком корабле
Матросы в чернокосмый шквал.
И ластится, как ворог — муж, свинцовый вал
Со взморья к стынущей земле.

И снег, внезапно, колыбельный, — как покой,
Как отдых легкий после бурь!
И тихий свет, в отливах фольги... И лазурь
Играет с черною рекой...

То — там. А здесь — длиннее тень маслин и, срок
Недолог солнц на дне долин.
Мир разнолик, но час один; и срок один
Нам, чадам дня, отчислил Рок.

ТРАМОНТАНА

Если влажный воздух густ
Над поморием счастливым,
Над ленивым, горделивым, —
Дхну я буйным острым хладом
Из теснинных гулких уст;
Я низвергнусь по оливам
Светлосклонным водопадом,
Синеву неся заливам,
Расчищая небеса;
Взвею веяньем гульливим
Над раздольем волн измятым,
Всклочу зыбь руном мохнатым...
Пойте, сосен голоса,
По утесам оснеженным
Над полуднем остуженным!
Накреньяйтесь, паруса!

ОБНОВЛЕНИЕ

Вл. Н. Ивановскому *

Братия, едина только вечность,
И в земном не верьте одному!
Множественна дольняя конечность.
Дня равна и ночи быстротечность:
Ночь — за днем, но свет сменяет тьму.

Юность — новь; и кто изменчив — молод.
Знайте мед и горечь — умирать!
Вечно жив, в ком вечен жизни голод.
Зверь и змей линияют в жар и холод:
О, учитесь Фениксом сгорать!

Дух себе лишь верный не стареет,
Но, как солнце древнее всех утр,
Неподвижно-юным вечереет.
Диск горит, меж тем как нив не греет
Седины воздушной перламутр.

НАРЦИСС

помпейская бронза

Кто ты, прекрасный? В лесах, как Сатир одинокий, ты бродишь,
Сам же не чадо дубрав: так благороден твой лик.

Прелесть движений пристойных, убранный обуви пышность —
Все говорит мне: ты — сын вышних иль смертных царей.

Чутко, свой шаг удержав, ты последовал тайному звуку
Стройным склоненьем главы, мерным движеньем перста:

Пана ли внял ты свирель, иль Эхо влюбленные стоны?
Говор ли резвых Наяд? шопот ли робких Дриад?

Праздную руку, едва оперев о бедро, прихотливо
Легким наплечным руном ты перевил, как Лиэй:

Дивный, не сам ли ты Вакх, лелеемый нимфами Низы,
Ловчий, ленивец нагой, нежных любимец богинь?

Или ты — гордый Нарцисс, упоенный мечтой одинокой,
В томном блуждающий сне, тайной гармонии полн?

К нимфе зовущей иди, ты доселе себя не познавший,
Но не гляди, наклонясь, в зеркало сонной волны!

Ах, если ты не Нарцисс, то свой лик отраженный увидев,
О незнакомец, — дрожу, — новый ты станешь Нарцисс.

С ПУТИ

Прежде чем парус направить в лазурную Парфенопею,
Шлем из Панорма тебе добрую, странники, весть.

Путеводимы везде благосклонными явно богами,
Остров Тринакрии мы, тихо дивясь, обошли.

Дружные волны несли наш корабль меж Харибдой и Скиллой;
В горном жилище своем нам не грозил Полифем.

Этною неизмеримой подавленный, зыбля темницу,
Снова с Зевесом ведет древнюю распря Тифон:

Мы ж невредимы не раз приближались к безднам, откуда
Пламенем дышит Гигант, пламя лиет и гремит...

Но что великого мы, но что прекрасного зрели, —
Эта ль табличка вместит? Будь же здоров — и прости!

ХУДОЖНИК И ПОЭТ

Светел, мир отразив, как волна, бескорыстный художник.
В зыблемый образ глядясь, счастлив поэт: он Нарцисс.

Грустно-блажен художник-поэт! Он — небо и воды:
Ловит, влюбленный, свой лик, видит прозрачность и — мир.

ПУШКИН У ОНЕГИНА

А. Ф. Онегину

Здесь, во святилище заветном,
Здесь, над мощами красоты,
Цветут пред ликом безответным
Молитвой верною цветы.

И верь: не раз в сию обитель
Он сам таинственно слетал,
С кем ты, поклонник, ты, хранитель
Себя на вечность сочетал.

И чует гость благоговейный,
Как будто здесь едва затих
Последний отзвук сладковейный,
Последний недопетый стих.

Онегин! долы презирая,
Ты жребий светлых улучил:
Ты на Фаворе, в куще рая,
С преображенным опочил.

СОВРЕМЕННОКИ

I

VALERIO VATI

S

Здесь вал, мутясь, непокоривой
У ног мятежится тоской:
А там на мыс — уж белогривый
Высоко прынул конь морской.

Тебе несущ подснежник ранний
Я с воскресающих полей, —
А ты мне: «Милый, чу, в тумане —
Перекликанье журавлей!»

II

ЕМУ ЖЕ

Твой правый стих, твой стих победный,
Как неуклонный наш язык,
Облекся наготою медной,
Незыблем, как латинский зык!

В нем слышу клетк орлов на кручах
И ночи шелестный Аверн,
И зов мятежный мачт скрипучих,
И молвь Субур, и хрип таверн.

Взлетит и прянет зверь крылатый.
Как оный идол медяной
Пред венетийскою палатой —
Лик благовестия земной.

Твой зорек стих, как око рыси,
И сам ты — духа страж, Линкей,
Елену уследивший с выси,
Мир расточающий пред ней.

Ты — мышц восторг и вызов буйный,
Языкова прозябший хмель.
Своей отравы огнеструйной
Ты сам не разгадал досель.

Твоя тоска, твое зыванье —
Свист тирса, — тирсоносца ж нет...
Тебе в Иакхе целованье,
И в Дионисе мой привет.

III

SOLE SATO

S

Cui palmamque fero sacramque laurum?
Balmonti, tibi: nam quod incohasti
Spirat molle melos novisque multis
Bacchatum modulans Camena carmen
Devinxit numeris modisque saeculum
Sensumque edocuit vaga intimum aevi.

КОЧЕВНИКИ КРАСОТЫ

Кочевники Красоты — вы, художники.
* * * «Планенники»

Вам — пращуров деревья
И кладбищ теснота!
Нам вольные кочевья
Судила Красота.

Вседневная измена,
Вседневный новый стан:
Безвыходного плена
Блуждающий обман.

О, верьте далее чуду
И сказке всех завес,
Всех весен изумруду,
Всей широте небес!

Художники, пасите
Грез ваших табуны;
Минуя, всколосите —
И киньте — целины!

И с вашего раздолья
Низриньтесь вихрем орд
На нивы подневолья,
Где раб упрягом горд.

Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!

BEETHOVENIANA

Снилось мне: сквозит завеса
Меж землей и лицом небес.
Небо — влажный взор Зевеса,
И прозрачный грустит Зевес.

Я прочел в склоненном взоре
Голубеющую печаль.
Вспухнет вал — и рухнет — в море;
Наших весен ему не жаль.

Возгрустил пустынный неба,
Что ответный, отсветный лик —
Ах! лишь омутом Эреба
Повторенный его двойник...

Вечных сфер святой порядок
И весь лик золотых Идей
Яркой красочностью радуг
Льнули к ночи его бровей, —

Обвивали, разведали
Ясной солнечностью печаль;
Нерожденных солнц вставали
За негаданной далью даль.

Но печаль гасила краски...
И взвенел, одичав, тимпан;
Взвыл кимвал: Сатирам пляски
Повелел хохотливый Пан.

Их вскружился вихорь зыбкий,
Надрывалась дуда звончей, —
И божественной улыбкой
Прояснилась печаль очей.

III

ПЕЧАЛЬ ПОЛДНЯ

Я — Полдня вещего крылатая Печаль.
Я грезой нисхожу к виденьям сонным Пана:
И отлетевшего ему чего-то жаль,
И безотзывное — в Элизии тумана.

Я, похоронною лазурью осиянна,
Шепчу в безмолвии, что совершилась даль.
Я — Полдня белого небесная Печаль,
Я — Исполнения глубокая Осанна.

Из золотых котлов торжественной рекой
Я знойных чар лию серебряные сплавы
На моря синего струящийся покой,
На снежной вечности сверкающие главы,
На красные скалы, где солнечные славы
Слагаешь ты, поэт, пронзен моей тоской.

«ПРЕКРАСНОЕ — МИЛО»

Триптих

I

Нет, никогда тебя не волил Человек
С той страстной алчностью, какой ты нас пленила,
Колдунья-Красота! И жду — великий век
В твой оттиск выльется из мощного горнила.

Не столько выпила пучина светлых рек,
Как древних чаяний душа похоронила.
Все изменило нам... Но ты — не изменила!
Тобой прозябло вновь, что Рока серп пресек.

И вот, ты близишься по лону влаги зыбкой
Стыдливою Мечтой, с младенческой улыбкой,
И Жизни ты бежишь и властвуешь над ней!

Дух познает свой сон, и снов своих царицей —
Тебя, чьих уст нет уст умильней и властней,
И пламенной твоей взлетает колесницей.

II

С отцом Семелиным Гармонии краса
Сочетавалась; им Музы пели: «Мило —
Одно Прекрасное; что не Краса — немило».
Той речи вторили бессмертных голоса.

Зовя из синих волн чужие небеса,
О Красота, сама держала ты кормило,
Что сонм полубогов таинственно стремил
Увидеть и пленить Колхиды чудеса.

Небесная, склонись над мировым кормилом!
Твое, одно твое содей дай сердцу милым!
Пой с островов Мечты Порыва парусам!

Под свод темниц сойди с печалью звездной Музы,
И в гаванях учи доступным чудесам,
Сестра, делящая с Землей порыв и узы!

III

Не мни, что Красота напрасная сияет
В приютах, где ничей ее не славит взгляд,
Что, угасив ее, ничтожество зияет,
Как гасит спуд свечу, и склеп скупой — свой клад.

Чей образ отрока над влагой обаяет?
Чьим отраженьем дух в создание Музы рад?
Не солнце радугой прозрачность напояет —
Глядится Вседуша в расцветший водопад.

Средь синеструйных скал и чар отсветных грота, —
Где в окрыленной мгле, что зыблет волн дремота,
Дробится, преломлен, подводный солнца сноп, —

Спит Галатhea — луч на рифе мадрепора,
А к ней — живой утес с брадами трав — Циклоп
Стремит горящий вздох единственного взора.

АЛКАНИЕ

Дух пламенный, алкаючи, вращает
В поднёбесьи свой солнцевидный глаз;
Горит он всем исполниться зараз,
И целого, нецельный, не вмещает, —

Вновь извергая вон, что поглощает, —
Смарагд роняя, чтоб схватить алмаз:
Так из пучин индийских водолаз
Случайный перл, исторгнув, похищает.

Спеша и задыхаясь, и дробя
Единое, забвенью и изменам
Мы рабствуем, и любим, полюбя,

Не духа вечностью, но духа пленом.
Мы нищими по россыпям пройдем,
И что́ нас ищет глухо — не найдем.

«TRANSCENDE TE IPSUM»

Два жала есть у царственного змия;
У ангела Порывов — два крыла.
К распутию душа твоя пришла:
Вождь сей тропы — Рахиль; и оной — Лия.

Как двум вожжам послушны удила,
Так ей — дела, а той — мечты благие.
Ей Отречение имя, — чьи дела;
Той — Отрешенье. Вечная София —

Обеим свет. Одна зовет: «Прейди
Себя, — себя объемя в беспредельном».
Рахиль: «Себя прежди — в себя сойди».

И любит отчужденного в Одном,
А Лия — отчужденного в Раздельном.
И обе склонены над темным дном.

ПУСТЫННИК ДУХА

К картине О. Редона *

Орел стремнин, угрюм и огнеок,
Печальник духа, — ты, чей дух печален,
Чей лик сгорел у вещей наковален,
Где ковача ковал вселенной Рок!

С гор снеговых, в предозаренный срок,
Нисходишь ты, змеей Любви ужален, —
Взалкав сердец... Как пленный дол умален
Пред углием пустынных глаз, пророк!

Что ты несешь Земле с высот пространных?
Ты Мести ль мечник, с молнией лезвий бранных?
Что в левой указывает перст десной?

Копье-ль?... Нет, — жезл, расцвеченный весной!
Прозябший тирс! Процветший посох странных
Всей щедростью, всей благостью земной!

КТО?

Триптих

I

Кто видит непрозябший сев, и злачность
Степей сухих, и за личиной — лик,
И в камне — ключ? Кто держит власть улик —
Изобличить явленья многозначность?

Пустых зеркал стооумная мрачность
В ста бликах пьет дня первый робкий блик,
В ста откликах рассветный множит клик.
Глядится Бог в свой мир, и мир — прозрачность.

Кто песнь сестры послушит за холмом?
Кто скрип челна чрез волн пустынный рокот?
Кто, на горе стоящий, — орлий клёкот

И рев тельцов долины под ярмом?
Кого коснутся горна дуновенья,
Где рок кует уз адамантных звенья?

II

Кто, нищий, лик подъямет изможденный,
Как царь, перепоясанный у бедр
Мечом державств? Кто царь — и нищ? Кто щедр,
Как Солнце-царь, один непобежденный?

Кто выйдет в мир, как царь, освобожденный
Из вражеских шатров, где был он — кедр
Средь душных туч, или глубинных недр
Родник глухой, скалами прегражденный?

Кто вблить предъизбран, — не вождельть?
Кто похищает, что — его от века?
Пустынный, кто возмог себе довлеть?

Людей ловец, кто волит — человека?
Кто в день седьмой послушит зов «Умри»?
Чу, в небе клекот орлий: «Где цари?»

III

Кто выйдет в мир, как тихое дитя
Играть с детьми идет по придорожью?
Кто, как дитя, идет по лугу Божью?
С кем по лугам идет Весна, цветя?

Чей — в тусклый мир, с его тоской и ложью —
Глядится взор, доверчиво светя?
Чей внемлет дух, далече улетя,
Стоустому, беспечный, многобожью?

Кто любит так рубины, как цветы?
Так золото, как плавники заката?
Так сновиденья жизни, как мечты?

Добро, как мать? Прохожего, как брата?
Кто по свету блуждает как дитя,
Цветы собирая и венки плетя?

GLI SPIRITI DEL VISO

Есть духи глаз. С куста не каждый цвет
Они вплетут в венки своих избраний;
И сорванный с их памятию ранней
Сплетается. И суд их: *Да, иль: Нет.*

Хоть преломлен в их зрящих чашах свет,
Но чист кристалл эфиросных граней.
Они — глядят: молчанье — их завет.
Но в глубях дали грезят даль пространней.

Они — как горный вокруг души туман.
В их снах правдив явления обман.
И мне вестят их арфы у порога,

Что радостен в росах и солнце луг;
Что звездный свод — созвучье всех разлук;
Что мир — обличье страждущего Бога.

ПОДРАЖАНИЯ ПЛАТОНУ

Трип их

I

Сереброкрылые, пред скорою кончиной
Подъемлют лебеди дотоль им чуждый глас
И сладостно поют над влажною равниной,
Поют, блаженные, что близок воли час,

Что бога своего узрят чрез миг единый,
Едва земного дня последний луч угас...
Пророкам Феба верь! верь песни лебединой:
Удел отрадный ждет за гранью жизни нас!

Сподвижник лебедей в священстве Аполлона,
Я ль не возрадуюсь, грядя к нему на лоно,
Не воспою его, восторженный пророк?

Прославим Вещего, пока година наша,
И словом мудрости исполним краткий срок:
Еще смертельная, о други, медлит чаша!

II

В зрачках земных зажжен свет солнц богоявленный,
Да видим славу дня и звездный хор ночей,
И в строгой прелести возвышенных речей
Да любомудрствуем о красоте вселенной.

Мудрец познал, один, дар целостный очей:
Он, пристальный, вперясь в устав светил нетленный,
Мятежный дух мирит и разрешает пленный, —
И, сын горящих сфер, он — отклик их лучей.

В разумном рвении дружась с Музой красной, —
Да жизнь соделаем гармонией согласной, —
С певучим голосом нам боги дали слух.

И, вольной Музы друг, биению сердца верный,
Нас окрыляет ритм и движет властно дух
Харитой светлую и стройностью размерной.

III

«Солон»! воскликнул жрец: «Щадят вас дивно годы!
Вы — дети, Эллины, и старца нет меж вас!
Беспечные, вам чужд времен могильный глас:
Их память стёр огонь, и след их смыли воды.

«Когда ж сбывал потоп и пламень мира гас,
Вы возраждалися, сменив погибших роды,
Без муз и без письмен, сев молодой свободы...
Но вечно Нил святой спасал в Египте нас.

«Мы сохранили вам заветные скрижали.
В законах доблести отцы твои мужали.
О гость, то был земли прекраснейший народ!

«Он сверг с племен ярмо надменной Атлантиды.
О гость! она цвела, — а ныне хоровод
Над ней пустынные ведут Океаниды».

ТОВАРИЩАМ

I

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

Е. С. Кругликовой

Кто знает край, где свой — всех стран школяр?
Где молодость стопой стремится спешной,
С огнем в очах, чела мечтой безгрешной
И криком уст, — а уличный фигляр

Толпу зевак собрал игрой потешной? —
Где вам венки, поэт, трибун, маляр,
В дыму и визгах дев? — где мрак кромешный
Дант юный числил, — мыслил Абеляр? —

Где речь вольна, и гении косматы? —
Где чаще все, родных степей Сарматы,
Проходит сонм ваш, распрей обуян? —

Где ткет любовь меж мраморных Диан
На солнце ткань, — и Рима казематы
Черны в луне?... То — град твой, Юлиан!

II

DEM WELTVERBESSERER

А. С. Яценку

Ты — что поток, чей буйственный задор
Бежит в снегах. Как сталь студеной влаги,
Тягчится, потемнев, твой жесткий взор
В борении мыслительной отваги,

Когда средь нас иль на поле бумаги
Ты ринешься в миропобедный спор...
Миг — и в лазури тонет кругозор,
Пасутся овцы, за звездой маги

Идут, и ты несешь венки олив
И миру мир... с ярмом, о деспот-мистик,
Казацкой вольницы и казуистик

Равно дитя, — все в русском сердце слив!...
Верней оракул всех характеристик:
Льдом не застынь, кто холодно бурлив!

III

ПЕРЕВОДЧИКУ

Будь жаворонок нив и пажитей — Вергилий,
Иль альбатрос Бодлэр, иль соловей Верлэн
Твоей ловитвою, — все в чужеземный плен
Не заманить тебе птиц вольных без усилий,

Мой милый птицелов, — и, верно, без насилий
Не обойдешься ты, поэт, и без измен,
Хотя б ты другом был всех девяти Камен,
И зла ботаником, и пастырем идиллий.

Затем, что стих чужой — что скользкий бог Протей:
Не улучшить его охватом ни отвагой.
Ты держишь рыбий хвост, а он текучей влагой

Струится и бежит из немощных сетей.
С Протеем будь Протей, вторь каждой маске — маской!
Милей досужий люд своей забавить сказкой.

IV

LA FAILLITE DE LA SCIENCE

Вл. Н. Ивановскому *

Беспечный ученик скептического Юма!
Питали злобой Гоббс и подозреньем Кант
Твой непосредный ум: но в школе всех Ведант
Твоя душа, поэт, не сделалась угрюма.

Боюся: цеховой не станешь ты педант.
Что перелетная взлюбила ныне дума?
Уже наставник твой — не Юм, — «суровый Дант»!
Ты с корабля наук бежишь, как мышь из трюма.

В ковчеге ль Ноевом всех факультетов течь
Открылась, и в нее живая хлещет влага?
Скажи, агностик мой, предтеча всех предтеч:

Куда ученая потянется ватага?
Ужели на Парнас?... Затем что знанья — нет!
Ты бросил в знанье сеть, и выловил — сонет.

V

АСПЕКТЫ

Вл. Н. Ивановскому *

Не Ding-an-sich и не Явление, вы,
О царство третье, легкие Аспекты,
Вы, лилии моей невинной секты,
Не догматы учительной Совы,

Но лишь зениц возревших интеллекты,
Вы, духи глаз (сказал бы Дант), — увы,
Не теоремы темной головы,
Vlaque или блажь, аффекты иль дефекты

Мышления, и «примысл» или миф,
О спектры душ! — все ж, сверстник мой старинный,
Вас не отверг познания критик чинный

В те дни, когда плясал в Париже Скиф
И прорицал, мятежным Ваххом болен,
Что нет межей, что хаос прав и волен.

КАССАНДРЕ *

Пусть говорят: «Святыня — не от Жизни»:
Блюди елей у брачного чертога!
Жених грядет: пожди еще немного,
И уличной не внемли укоризне.

То — странники в неузнанной отчизне;
Сжигая храмы, мнят, что жгут в них бога,
И веселятся на багровой тризне.
Но ты блюди елей свой у порога!

Блуждает Жизнь извивами Мэандра,
А Море ждет в недвижимом сосуде.
На пепле Трои восстает Кассандра.

Святой елей, рушенья в дымной груди,
Ты новая затеплишь Александра
И возвестишь о Фениксовом чуде.

КАРМИЛ *

Из мест, где знойный сон чужого небосклона,
Как новых гроздий сок, дух помутив, томил
Тоской разымчивой, — ты странно сердцу мил,
Косматый, дикий страж эдема-Эздрелона,

Алтарь пророчества, утесистый Кармил,
Стол солнечный, где взор до сказочного склона
К Европе, по браздам лазоревого лона,
Напутствует плуги пустынные кормил!

Ваала-Солнца кремль и крепость Илии,
У чьих обрывных круч сияет Галилея,
Как благодатных рос избранница — лилея,

И пальмы зыблются, и тонут колеи
В песках помория, и трогает Помона
Разлог Киссонских струй пред снежностью Гермона!

IV

ГАНИМЕД

ГАНИМЕД

Пусти! меня
Ты держишь зачем
Охватом сильным?
Ты кто, незримый,
За мной шумящий
Бурей крыльев?
Пусти на волю!
А, ты — орел,
Сильный!
Растерзай эту грудь,
Прекрасный сильный,
Когтями острыми!
Но могучие лапы
Тесно нежат,
Подъемлют,
Подъемлют...
Орел, орел!
Как весело мне
Лететь над долом!
Куда ты внесешь меня,
Сильный орел?

ХОР ДОЛИНЫ

О, Ганимед! в добычу
Птице Зевса, тайный наш цвет, был ты Весной взлелеян!
Небу первина Дола,
Цвет наш — плачьте, души дубрав! — сорван влюбленным небом!

ГАНИМЕД

Сильный орел, довольно
Игр высоких!
Долу мощь твою, страшный, ринь!
Дохнул холод...
Тосклив и тесен
Воздушный плен!
Пусти на волю,
В дол родимый!...
Темны снега,
Душно в небе...
Могилой дол
Уходит бездонный...
Орел! Орел!... —
И я в могилу
Лечу, низринут!...

ХОР ВЫСОТ

О Ганимед, лелеет
В жадных лапах клекущий вор, милый, твой сон лилейный!
Облак весны глубокой,
Не лобзать нам, отрок, тебя, снежных полей Мэнадам!

ГАНИМЕД

Где я?... где мы,
Солнцеокий,
Тихокрылый?
В золоте, золоте
Морей всеодержных
С тобой тону я,
Черный челн!
Из кубков избытка
Пену впиваю
Пламеней легких...
Тонким огнем
Пьянею...
Мне снился дол...
Долу заснул я,
Проснулся в небе —
И таю в неге
Жадного неба...

Где дол родимый,
Огневержец?
Златые руна
Застлали, заткали
Тропы забытые:
Нет возврата!
Дай мне взглянуть
На темную землю,
На тесную землю,
Мой орел! —
Взглянуть — и в лобзаны
Неба, ревнивец,
Истаять!...

ГЕЛИАДЫ

три гелиады

Девы Солнца, Гелиады,
Над зеленым Эриданом,
Мы под пологом багряным
Вечереющей зари,
На могильном на кургане
Слезы льем — нам нет отрады!
Будут в чистом Эридане
Наши слезы — янтари.

Наш отец, на колеснице
Рыжеконной, скрылся, злобен,
Там, где океан подобен
Тяжкой крови черных ран.
Вечер, в дымной багрянице
Край закатный застигает;
Мрачным заревом пылает
Светлоструйный Эридан.

И пылают Солнца гневны,
И не молкнут, Гелиады,
Погребальные напевы
В рае солнечных полей.
С той години, как — умильной
Пеней — из земли могильной
Трем нам встали три прохлады
Белolistных тополей.

Три сестры под тополями
Мы тоскуем, Гелиады,
Каплют слезы белых сеней,
Застывают в янтари...
Он сгорел — нам нет отрады! —
Скошен он, как цвет весенний!
Мы рыдаем над полями
Умирающей зари!

ОДНА ГЕЛИАДА

Чу, в заревом огне
Замер отзывный стон —
Протяжный, унылый...
То — лебедь над влажной могилой,
Над Эриданом,
В зареве рдяном,
Кикнос пел белоснежный сон.

ТРИ ГЕЛИАДЫ

Встарь бывало: от зари
До зари
В облаках, не умирая,
Трепетали дива рая.

Кочевых садов краса
В небеса
Осыпала розы алы;
Полночь искрила опалы.

Неземной сменяла день
Полутень
Теплых трепетов янтарных,
Отголосков светозарных.

И скитались в ночи
Все лучи;
И сияли, с небом слиты,
Крайних холмов хрисолиты.

Рдела пурпура дуга,
И рога
Сонных юниц златорунных
Отрясали далее лунных
Беловейные снега.

Ныне, — что бежит нас прочь
Смертных ночь?
Как от раскаленной печи.
Блеск клубится, блеск зловещий.

Осенил ослушных дев
Отчий гнев!
Звезды копья мести метят,
Луны рдяные не светят.
Будь же нами вечно пет,
Вешний цвет,
В солнце яркое влюбленный,
Солнца яростью спаленный!...
Гелиадам мира нет!

Три сестры, под тополями,
Слезы льем о светлом брате:
Слезы каплют белых сень,
Застывают в янтари...
Плачьте, девы, об утрате!
Он сгорел, как цвет весений!
Плач творите над полями
Дымно-меркнувшей зари!

ПЕРВАЯ ГЕЛИАДА

Оттого что я вперяла
В сон небесный взгляд прилежный,
Оттого что воспаряла
За мечтой недольних стран:

ВТОРАЯ ГЕЛИАДА

Оттого что я кормила
В сердце замысел мятежный
И, завидуя, стремилась
Взор на быстрый Эридан:

ТРЕТЬЯ ГЕЛИАДА

Оттого что я хотела
Встретить жребий неизбежный
И из тесных уз летела
За безбрежный океан:

ТРИ ГЕЛИАДЬ

Оттого под тополями
Плач творим мы, Гелиады,
И из белых юных сеней
Каплют слезы — янтари!
Оттого — нам нет отрады! —
Скошен он, как цвет весенний:
Плачьте, сестры, над полями
Неусыпными Зари!

ПЕРВАЯ ГЕЛИАДА

«Брат!» я пела: «Будь прекрасен».

ВТОРАЯ ГЕЛИАДА

Я: — «Дерзай!»

ТРЕТЬЯ ГЕЛИАДА

А я: — «Погибни!»

ПЕРВАЯ ГЕЛИАДА

Я сказала: «Будь бессмертен!»

ВТОРАЯ ГЕЛИАДА

Я: — «Бессмертье — дерзновенье».

ТРЕТЬЯ ГЕЛИАДА

Я: — «Бессмертен полный миг».

ПЕРВАЯ ГЕЛИАДА

Он погиб — и был прекрасен!

ВТОРАЯ ГЕЛИАДА

Он погиб чрез дерзновенье!

ТРЕТЬЯ ГЕЛИАДА

Тот бессмертен, кто погиб.

ТРИ ГЕЛИАДЫ

О, Фэтон!
Пели тебе
Песни Сирен:
Веруй в свой сон!
Вверься Судьбе!
Будь дерзновен!

Мы — три сестры,
Мы — три судьбы,
О Фэтон!
Властен призыв,
Верен порыв,
Вечен твой сон!

ПЕРВАЯ ГЕЛИАДА

Он был прекрасен, отрок гордый,
Сын Солнца, юный Солнцебог,
Когда схватил рукою твердой
Величья роковой залог, —

Когда бразды своей державы
Восхитил у зардевших Ор, —
А кони бились о заставы,
Почуя пламенный простор!

И, пущены, взнеслись, заржали,
Покинув алую тюрьму,
И с медным топотом бежали,
Послушны легкому ярму!

И Нереид влюбленных стая
Метнулась — стая голубиц,
В лазури волн кружась и тая,
Пред славой огневержных спиц!

Дрожа, в эфир священной Ночи
Мчит Фосфор луч своей звезды, —
А он по миру водит очи,
Держа, бестрепетный, бразды!

ВТОРАЯ ГЕЛИАДА

И, оглянув свой мир просторный,
Возрел к верховному огню —
И повернул с округи торной
Бурь огнемощных четверню.

И вспыхнувшими целинами,
Топча лучистых жатв снопы,
Взлетел за пламенными снами
На непочатые тропы.

Стремит, пронзен восторга дрожью,
К мете прямой зрачки орла, —
А кони рады бездорожью,
Грызут тугие удила.

Зияя, дхнул эфир глубокий;
Хлябь шевельнулась; тускло жив
Возрился хаос огнеокий
На гостя сонмом смутных див.

Лев рдеет; враг стрелу спускает;
Бык прянул; ищет Скорпион:
А он очей не опускает,
Вожжей не выпускает он!

ТРЕТЬЯ ГЕЛИАДА

Вотще!... Столикою погоней,
Змеиным трепетом бичей
Безумит Ужас, гонит кдней
Под свод крутящихся смерчей.

Весь лютый лес навстречу двинул,
Бразды бессильные урвал,
Свил свитком твердь — и буйных ринул
В бездн поглощающий провал.

И, прянув, челн свой мечет низко
Их буря, склоном сфер скользя:
К земле палимой реет близко
Блужданий солнечных стезя.

Растет пустыня; рдеют боры;
Понт ропщет; за костром костер
Куруется, где сияли горы...
Но Зевс по тверди мрак простер —

Дробит перуном колесницу,
И упряг жаркий разнуздан,
И опаленного возницу
Холодный принял Эридан.

ТРИ ГЕЛИАДЫ

Девы Солнца, Гелиады,
Над глубоким Эриданом,
Мы под пологом багряным
Дымно меркнувшей Зари,
На кургане на прибрежном
Плач творим — нам нет отрады!...
Ах! пред темным Неизбежным
Дерзновенья — алтари!

Рок — творить нам, Гелиадам,
Плач надгробный над порывом
Огнекрылым, дерзновеньем
Огнеликим Красоты!
Рок — стремиться Солнца чадам
За божественным призывом,
Мановеньем, дуновеньем —
В край надзвездный, край Мечты!

Ты явись из вечной ночи —
Над пустым ли над курганом,
Над святым ли Эриданом!
Брат, явись!... И ты встаешь
Над водами, в ризе бледной, —
Но восторг безумит очи, —
Но лучей венец победный
Светит... Призрак, ты зовешь?

Ты зовешь? Восхити нас, милый!
Поглоти своей могилой!...
Жертва! вновь твой лик венчает,
Бледный, бледных молний тень!...
Ах, нас корни не пускают,
Руки ветви распускают...
Облачает, разлучает
Белолиственная сень!...

ОРФЕЙ РАСТЕРЗАННЫЙ

ОКЕАНИДЫ

Мы — девы морские, Орфей, Орфей!
Мы — дети тоски и глухих скорбей!
Мы — Хаоса души! Сойди заглянуть
Ночных очей в пустую муть!

Мы — смута и стоны, Орфей, Орфей!
Мы пут препоны, тугу цепей
Хотим стряхнуть! Сойди зачерпнуть,
Захлебнуть нашу горечь в земную грудь!

Мы телами сплелись, Орфей, Орфей!
Волосами свились, как поле змей!
Тоска нам гложет белу грудь —
Грудь хочет, не может со дна вздохнуть!

В белу грудь мы бьем, Орфей, Орфей!
Мы: Забудь — поем — о тюрьме своей!
Отдай нам, смертный, земную грудь —
Твой плен размыкать и разметнуть!

Размыкать, что жило собой, Орфей,
Себя что мнило тюрьмой своей!
Дай перси земные — к ним прильнуть,
Дай в очи дневные всей тьмой взглянуть!

ОРФЕЙ

Вонмите, девы ночного моря,
Мои напевы! Творите строй!
Уймите гневны глухого горя!
Смирите ревы! Усни прибой!

Страшнее смуты, душнее путы —
Слепая вечность отца ночей:
Вы — быстротечность его минуты,
Вы — проблеск лютой ночных очей.

Но Хаос нудит мольбой святою
В семь пленов Муза, и зиждет мир *
Дугой союза: и красотою
Прозрачной будет всех граней мир. *

Созвучье браней — созвучье граней
Один Вселикий во всем велик!
Молчите, клики! Луч блещет ранний!
Лучите лики! Где луч, там лик!

ОКЕАНИДЫ

Чу, гребни-ль отронул Люцифер ясный?
Чей луч проник до моих глубин?
О властного строя певец прекрасный,
Сойди на кручи склоненных спин!

И вал расступчивый, вал непокорный
Тебя, о звук золотой зари,
Взлелеет, лобзая, над ночью черной:
Гряди по мне и меня мири!

И главы змей моих не ужалят
Твоей ноги, огнезвучный День!
Мириады уст тебя восхвалят,
Впивая следов твоих огнетень!

ОРФЕЙ

Миротворите звон волненья!
К вам путь ему заря мостит,
Кого безмолвьем исполненья
Мир, осветлен, благовестит!

Его пришел я лирой славить;
И сам ли путь я упрежду,
Который мне дано исправить
По мне грядущему? — Я жду...

Я жду. Исполнишь кровью. Брызни,
Луч, жрец предвечного огня!
И лик твой жертвенный — меня
Венчай во исполненье Жизни!

Что ты, что пророчишь, лебедь белый,
Песнь подьемля пеней оробелой,
Белопенный лебедь красоты?
Вижу, вижу светочи дубравы!
Мне об них прошелестели травы,
И, клонясь, поведали цветы.

Близок сонм их ярый. Тирсы остры,
И горят неистовые сестры
Жертвы плоть лобзать, пронзать, терзать...
Ах, они от полноты вкусили!
Их дожди свершений оросили:
Бог ведет их — бога развязать!

Я ж не сниду на живые лона,
Солнце склона — встретить луч восклона,
Не пройду спасительной тропой.
Опеньяйте жертвенник великий,
Волны! Дивен жребий мой двуликий:
Солнце ночи, темною музыкой
Дня завет в разрывах тьмы воспой!

ОКЕАНИДЫ

Тише, тише, сестры — светы!
Сестры — светы тихих лон!
Ризой светлой вы одеты:
Бликий, близкий светел он.
Светлых дев тебе приветы,
Светлоризый Аполлон!

ОРФЕЙ

В миг роковой
Услышь мой жертвенный завет:
Из волн
Встань свет!...
(Солнце Восходит)
Мир — полн!

МЭНАДЫ

Мир полн... Мир полн...
Вир волн! вир волн!
Ты не свой, ты не свой,
Орфей!... Эвой!

Мы Титаны. Он младенец. Вот он в зеркало взглянул:
В ясном зеркале за морем лик его, делясь, блеснул!
Мы подкрались, улучили полноты верховной миг,
Бога с богом разлучили, растерзали вечный лик,

И гармоний возмущенных вопиет из крови стон:
Вновь из волн поработенных красным солнцем встанет он.
Строя семя, искра бога сердце будет вновь томить,
От порога до порога к невозможному стремить.

И когда чудесной властью исполнение вдруг прильет,
Сердце вновь изменит счастьем, нектар цельный разольет.
Вскрикнут струны искупленья, смолкнут жалобой живой...
Вновь разрыв, и иступленья, и расстерзан Вакх! Эвой!

V

ФУГА *

Пышные угрозы
Сулицы тугой,
Осыпая розы,
Гонят сонм нагой;
Машут девы-птицы
Тирсами в погоне;
С гор Сатиры скачут
В резвости вакхальной.

Вейтесь плющ и лозы!
Вижу сонм другой:
Спугнутых Мэнад
Ввысь Сатиры гонят,
И под их ногой
Умирают розы.
Плющ и виноград
Тирсы тяжело клонят...
Беглые зарницы
Тускло в сонном лоне
Лунной мглы маячат:
Промелькнут на юг
С севера небес —
И на полдень вдруг
В заводи зеркальной,
Дрогнув, свет блеснет...

К солнцу рвется сад,
Где свой сев уронят
Духи вешних чар,
Страстной пылью вея:
Тесен вертоград,
Стебли стебли клонят...

Творческий пожар
В вечность мчит Идея.
И за кругом круг
Солнечных чудес
Следом жарких дуг
Обращают, блеща,
Сферы — и клубятся
Сны миров толпою;
В вечность не уснет
Огнеокий бред...

Взвейте светоч яр!
В славу Прометея
Смоляной пожар,
По ветру лелея,
В бешенстве погони
Мчат Афин эфебы
Через уснувший луг,
Через священный лес...
В сумраках округ,
День мгновенный мѣща,
Зарева дробятся...

Гулкою тропою
Мчат любимцы Гебы
Дар святой, и в пене
Огненосцы — кони...
Свет умрет, гоним, —
Вспыхнет свет за ним
В солнцееокой смене...
Кто из вас спасет
Веющее знамя,
Прометея пламя
К мѣте донесет,
Сверстники побед?

ТЕМНИЦА *

Кипарисов строй зубчатый —
Стражей черных копия.
Твердь сечет луны серпчатой
Крутокормая ладья.

Медной грудью сонно дышит
Зыби тусклой пелена;
Чутких игол не колышет
Голубая тишина.

Душен свет благоуханный,
Ночь недвижна и нема;
Бледнолицой, бездыханной
Прочь бегут и день и тьма.

Мне два кладезя — два взора —
Тьму таят, и солнце дней.
К ним тянусь я из дозора
Мертвой светлости моей.

Рока кладязи, две бездны,
Уронил на ваше дно
Я любви залог железный —
Пленной вечности звено.

Вы кольцо мое таите:
Что ж замершие уста
Влагой жизни не поите?...
Тьма ли в вас, как свет, пуста?...

«Милый, милый!...» О, родная!
Я поверил, я приник:
Вижу — блещет глубь ночная,
Зыблет смутно мой двойник.

Мне ж замкнут тайник бездонный,
Мне не пить глубоких волн...
В небе кормщик неуклонный,
Стоя, правит бледный челн...

НА ЧУЖБИНЕ *

Мое томление, светила темной ночи,
Вы видите! В стране родной,
Когда я возводил с земной надеждой очи
На вас, цари судьбы земной?

Житейское оставив попеченье
О вечном, о достойном вас
Я с вами говорил. А ныне, в заточенье,
Вопрос единый к вам: придет ли воли час?

Гляжу на вас с тоскою суеверной —
И детски жду:
Услышанных молитв увижу ль признак верный —
Падучую звезду?

ГОРНАЯ ВЕСНА

Л. Д. И — вой

I

Весна вошла в скит белый гор,
В глухих снегах легла.
Весь наг и черен мой бугор.
Из глуби дышит мгла.

Жизнь затаил прозрачный лес...
О, робкий переклик!
О, за туманностью завес
Пленительность улик!

О, переклик певучих душ,
Протяжный, томный свист!...
И пусть дубов рыжеет сушь, —
Вот, вот младенец-лист!

Теснясь, пронзают перегной
Мечи стеблистых трав...
Снег сизый стынет: день за мной
Потух в зубцах дубрав.

II

Вы, розы вознесения,
Сияйте предо мной!
Клубится мгла весенняя
Глубинной пеленой.

Вас сладко дремноокая
Не возмутит Весна:
На вас зима глубокая
Недвижна и ясна.

Плывет пыланье темное
В медлительной крови,
А сердце неистомное
Стучит, стучит: живи!

Душа скорбит усталая,
В ней кладези черней...
Открыла снежность талая
Оплечия корней.

III

В вас, сосенки зеленые,
Хмель бродит бдящих сил!
А кущи оголенные,
Как выходцы могил,

Сереющими тенями
Прямы стоят и ждут,
Что зорями весенними
Судьбины напрядут, —

Что власти чудотворные
Навеют в пустынь гор, —
К весне небес, покорные
На тайный приговор,

Простерлися, — готовые
Шумя зазеленеть
И славить солнца новые, —
И в смерти костенеть...

IV

«Кто снег мой лижет?
Чья воля движет
Мою истому?
Вы сгиньте, обманы!
Укройте, туманы,
Храните глубокую дрему!»

V

Всклубясь, межегория зыбкий
Туман застилает, как дым,
Просвечен весенней улыбкой
И полднем небес молодым, —

Как будто волшбой беловойной
Свидетеля тайны слепит,
А долу котел чародейный
В парах густоструйных кипит.

VI

Вздыбились космы снеговые
В медяном мареве гребней,
Как гривы бурно-огневые
Далече пышащих коней.

Грозь, мерцает призрак горный
Через сизый пепл и мрак завес.
Чуть зрим во мгле предел озёрный,
Как бы за ним Аид воскрес,

Как бы за вставшей Персефоной
В лугах с подснежником весны —
Погнал свой упряг медноконный
Царь преисподней глубины.

VII

И в тень удолий, опечалены,
Нисходим от прозрачных нег...
Вдруг, южным просветом ужалены,
Измлели зимы, стаял снег...

За дебрью синь сквозит глубинная,
И смолю зноя пышет ель.
Сплетенья вязов паутинные
Небесный умиряют хмель.

Пары жемчужные, лилейные
Клубятся, сизы и белые...
Кружите, силы световейные!
Круглитесь, ясные стволы!

Вторжений солнечных над гранию.
На рубеже лучей и зим
Взыграем мы с весною раннею
И огонь небес отобразим!

Сплетем в венки плющи пурпурные
Что по корням ползут, виясь!
Восславим пленности лазурные —
Глубокой Смерти ипостась!

Юра

VI

ХОРЫ МИСТЕРИЙ

I

ХВАЛЕНИЕ ДУХОВ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИХ *

Хвалите Бога, силы сфер!
Хвалите Бога, души недр!
Бессонный ключ в ночи пещер!
На высотах шумящий кедр!

Хвалите Бога, бурь уста!
Ревучий дождь и бьющий град!
И радуг Милости врата!
И Мира влажный вертоград!

И гор незыблемый порыв!
И лет приземный пленных крыл!
И все, что Бог избрал, открыл!
И все, что, возлюбив, сокрыл!

Вал, гром, и трус, и плач и стон,
И рык и рев, и песнь и речь,
Душ легких лепет, струнный звон,
Звук — отзвук, систр, и серп, и меч!

И каждый вздох, и каждый глаз!
И каждый глад, и каждый труд!
В луче проснувшийся алмаз!
Во мраке — сила тайных руд!

В эфире пламенном орлы!
И рыбы струй, где пьет луна!
Святилища чреватой мглы!
Геенны недр, и перлы дна!

Славь Бога, Солнце! пой, Луна!
Звезд зримый и незримый клир!
Пространства, — вы! вы, — времена,
Что, разлучив, сомкнули мир!

И золотой Избытка смех,
И рдяный плод, и пьяный грозд,
И дня сверкающий доспех,
И лунный лён, и полог звезд, —

Хвалите Бога! — как роса,
Как венчики цветов в росе:
В росинке каждой — небеса,
В душе единой — души все!

И каждый брызг над глубиной,
И каждый облак высоты,
И каждый луч в листве лесной,
В живом смарагде красоты, —

Хвалите Бога! — Жизнь и Смерть,
Прибой и остов корабля,
Богострадальная Земля,
И боговидящая Твердь!...

Пустыня-мать! твои уста —
Стенаньем львов, дыханьем трав
И вещим ропотом дубрав —
Зовут лобзание Христа!

II

ХВАЛЕНИЕ ДУХОВ-ИСПРАВИТЕЛЕЙ

Хвалите Бога, слуги кар, —
Пила и жернов, млат и горн!
В огнях Сахар озёра мар!
Грай-ворон туч, — и кручь, и тёрн!

Пуц безысходных глушь и темь!
Сугробов безотзывных ночь! —
Над краем, где разверста стремь,
Рука, простертая — помочь!

О тень руки в перчатке сеч!
Грозящих проблески кольчуг!
Взнесенный чьей-то мезтью меч!
Слез чьих-то выпавший жемчуг!

Из тьмы зовущая рука!
Далекий огонек болот!
Непроходимая река!
В мятущейся пучине плот!

И вы, о демоны ушей,
Шептаний дремные мечты,
И зуб полуночных мышей,
И зов полдневной пустоты!

Цепы Господнего гумна!
Трясины мест, где гать зыбка!
Сыпучий хряц, где глубь темна!
Лед талый, где тропа топка!

Вы, свечи глаз во мгле лесной!
И тихих рысканье зверей!
И гроботеса стук ночной
У счастья запертых дверей!

Топор дубравной целины!
Предчувствий тесная тоска!
Благоуханный вихрь весны
Над зябнущим, чья грудь узка!

Вы, что мостом могильных плит
Творите лестницы святынь!
Вы, что в ковши, где мед разлит
Укора каплете полынь!

Туман унынья, чья роса
Трезвит надменья буйный хмель!
Попутный ветер, паруса
Надежды гонящий на мель!

Вы, пастыря железный жезл!
Овчарки божиих овец!
Крушители могущих чресл!
Опустошители сердец!...

Хвалите Бога, о рабы,
Снов горьких, лов Его сетей,
Слепцы пылающих путей,
Костры гасимые Алчбы!

III

ХВАЛЕНИЕ ДУХОВ-БЛАГОВЕСТИТЕЛЕЙ

Хвалите, лилии небес,
Затворный пойте вертоград!
Храните, лилии оград,
Замкнутый вертоград чудес!

Растите, вестницы чудес,
Обетования долин!
Где небом дышит сельный крин,
Разоблачится сад небес!

Благовестители чудес,
Несите лилии в перстах,
Несите Имя на устах
Сладчайшее лилей небес!

Музык сладчайшее небес
Благоухание Души,
Что Розой зыблется в тиши
Неотцветающих чудес!

ПРИМЕЧАНИЕ О ДИФИРАМБЕ

Стихотворения, соединенные в IV-м отделе этой книги («Ганимед», «Гелиады» и «Орфей»), задуманы в духе античных дифирамбов, предназначенных для музыкального исполнения в масках и обстановке трагической сцены.

Открытие в египетских папирусах Британского музея, в 1896 году, между гимнами Бакхилида группы стихотворений, известных древности (как это выдает одна случайная на них ссылка) за «дифирамбы», — существенно изменило наше дотоле неполное и противоречивое представление об этом роде древней поэзии. Неожиданно встретили мы в этих остатках дионисической лирики строфическое строение, отсутствие которого уже с Пиндара являлось обычным признаком дифирамба. Ни одной из внутренних особенностей так называемого «нового дифирамба», нам сравнительно более знакомого, мы не находим в воскресших песнопениях начала V века. Наконец, в одном стихотворении названной группы — перед нами образчик сценического диалога, начатки которого в древнейшем дифирамбе так важно установить для уразумения свидетельств о происхождении трагедии из дионисических хоров.

Мы сочли уместным обратить внимание читателей ниже сообщаемым переводом на этот исключительный по своему историко-литературному значению памятник. Как бы ни ставился вопрос о происхождении греческой трагедии, в форме Бакхилидова «Тезея» нельзя не видеть звена, соединяющего трагедию с первоначальным дионисическим хоровым «действом». Повидимому, первоначальный культовой дифирамб, выделив из себя трагедию, продолжал утверждаться в своей лирической особенности и породил параллельную трагедии форму, образец которой перед нами.

Эта параллельная форма (независимо от возможностей соревнующего подражания) сохраняет исконные, родовые черты трагедии и, конечно, прежде всего ту из них, которая в глазах древних являлась решающей в вопросе о принадлежности произведения трагической или, что то же, дионисической Музе: дифирамб дионисичен по духу.

В самом деле, с тою же автономностью непосредственного чувства, с какою мы субъективно решаем, «поэтично» или нет то или другое поэтическое по форме произведение, — древние утверждали, что одна трагедия (хотя бы и не затрагивавшая прямо дионисического мифа), как, например, Эсхилова «Семь против Фив», — «полна Диониса», а другая — «ничего Дионисова» в себе не содержит. Это различие кажется отголоском эпохи, когда дифирамб и трагедия начали расширять ограниченный культом круг своего содержания путем перенесения Дионисовых черт на новых героев, возникавших как бы масками или ипостасями божественного героя трагических пассий.

В нашем дифирамбе никем не узнанный Тезей, сын выступающего перед зрителями Эгея, приближается, еще не видимый, как готовое встать солнце, наполняя театр тем характеристическим для древней Мельпомены ожиданием, тем смятенным и жутким предчувствием назревающего рока, которое мы равно находим в «Семи против Фив» и «Персах», в «Ресосе» и «Эдипе-Царе». Тезей приближается, как сам Дионис, двуликий, могущий явиться благотворящим или губительным, — приближается для торжеств и славы или для бедствий, как его страдающий первообраз. В соседнем дифирамбе Бакхилида, «Тезей и Отроки», дионисические черты сверхчеловеческого Тезеева облика еще более явны.

Общее впечатление или ничтожно, или музыкально по преимуществу. Все внешнее только намечено, чтобы открыть простор внутренней дионисической музыке. Из лона этой музыки ясно поднимаются голоса трагического страха перед героем, как носителем рока, и трагического страха за его судьбу родственного тому «сострадаанию», о котором говорит Аристотель в своем определении трагедии: ибо в праздничных торжественных Афинах ждут Тезей предуготованные ему роком опасности, как это ведомо и памятно было древнему зрителю. Эти музыкальные и трагические ощущения подчеркиваются словами: «Что-то будет? Чему дано свершиться?» — так напоминающими Эсхилово: «Плач сотворите, но благо да верх одержит!» (в «Агамемноне»).

Перевод дифирамба сделан «размером подлинника», причем под этим условным обозначением разумеется, что последовательность русских ударяемых и неударяемых слогов соответствует последовательности греческих тесисов и арсисов. В защиту принципа этой передачи можно указать его противникам на тот решающий факт, что перевод, сохранивший античный метр в вышеуказанном смысле, может быть *лет* под исконную меру древнего гимна. Так, помещенный нами в журнале Министерства Народного Просвещения за 1899 год и вышедший отдельным изданием перевод первой Пифийской Оды Пиндара соответствует музыкальным нотам к той же оде (как бы ни решался вопрос об их подлинности), по рукописи Мессинской библиотеки. Ритмические возможности нашего языка не-

обозримы; их осуществление зависит от личного искусства. Поэтический истолкователь чужого стихотворения, переменяющий его метр и ритм, подменяет иною, чуждою — его музыкальную душу.

ТЕЗЕЙ *

дифирамб Баххилида

ХОР

Провещай слово, святых Афин царь,
Роскошных Ибнян властодержец!
Продребезжала почтò трубы медь?
Песнь бранную зычно протрубила?
Али нашей земли концы
Обступил и ведет грозу сеч
Враждебных ратей вождь?
Аль, умыслив недоброе,
Грабят хищники пастухов стад,
Овец угоняют в плен?...
Что же сердце твое мятет, царь?
Вещай! Али вдосталь, под твоей рукой,
Нет надёжи — дружинников,
Юных, сильных витязей?
О, Пандиона чадо и Креусы!

ЦАРЬ ЭГЕЙ

Приспешил скорой стопой гонец, пеш,
Он долгий измерил путь Истмийский, —
Провозвестить несказанных дел весть,
Что некий соделал муж великий.
Исполин от его руки,
Колемателя суши сын, пал —
Насильник — Синис пал!
От губительной веприцы
Вызволил Кремионский лес он.
Скирон, беззаконник, мертв.
Уж не мерит с гостями тугих мышц
В борьбе Керкион. И молот выронил
Полипёмона сын — Прокопт.
Мощь мощнейший превозмог.
Что-то будет? Чему дано свершиться?

ХОР

И отколь сей богатырь, и кто он, —
Поведал ли вестник? Ратной справой
Вооружен ли, одержит полк мног
С нарядом воинским? Иль, скиталец
Бездоспешный, блуждает он,
Мнимый пришлым купцом, один, в край
Из края, чуждый гость?
А и сердцем бестрепетен,
И могутен плечми о тех мощь
Изведавший крепость мышц!
С ним подвигший его стоит бог
Промыслить отмщенье дел неправедных!
Но вседневных меж подвигов
Остеречься ль злой беды?
Время долго: всему свой час свершиться!

ЦАРЬ ЭГЕЙ

Со двумя гриднями держит путь муж,
Поведал гонец. Висит булатный
Заповедной кладенец с белых плеч;
В руке два копия о дрёвках гладких;
Да чеканки лаконские
На кудрях огневых шелом светл;
Хитон на персях рдян;
Плащ поверх, фессалийских рун.
А зеницы-что ярых жерл огонь,
Лемносских горнил ключи.
Первой младости цветом млад он;
По сёрдцу ему потех да игрищ хмель,
Те ли игры Ареевы,
Меднозычных битв пиры —
И взыскал он Афин пышнолюбивых.

СИМВОЛИКА
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАЧАЛ
КРИЗИС
ИНДИВИДУАЛИЗМА

СТАТЬИ 1905 г.

СИМВОЛИКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАЧАЛ *

Б. Н. Бугаеву

I

Восходящая, взвивающаяся линия, подъем порыва и преодоления, дорога нам как символ нашего лучшего самоутверждения, нашего «решения крепкого — к бытию высочайшему стремиться неустанно».

Du regst und rührst ein kräftiges Beschliessen,
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben,..

(Goethe, Faust, II, 1.)

Взмывший орел; прынувший вал; напряжение столпное, и башенный вызов; четырехгранный обелиск, устремленный к небесной монаде, — суживающийся в меру взлета и преломляющийся в верховной близости предельного; таинственные лестницы пирамид, с четырех концов земли возводящие к единой вершине; «sursum cogda» горных глав, — незыблемый побег земли от дольного, окаменелый снеговым осиянным престолом в отрешенном торжестве последнего достижения, — вот образы того «возвышенного», которое вызывает к погребенному я в нас: «Лазаре, гряди вон!» — и к ограниченному я в нас заветом Августина: «Прейди самого себя» («transcende te ipsum»). Ибо, как, по слову Языкова,

— гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним горит и блещет
Иного гения полет, —

так вид восхождения будит в наших темничных глубинах божественные эхо дерзновенной воли и окрыляет нас внушением нашего «забытого, себя забывшего» могущества.

И когда на высших ступенях восхождения совершается видимое изменение, претворение восходящего от земли и земле родного, тогда душу пронзает победное ликование, вещая радость запретельной свободы. Последний крик Тютчева, при зрелище радуги:

Она полнеба обхватила
И в высоте — *изнемогла*;

и при виде Монблана:

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая Гора,
Как *откровенье неземное*.

«Возвышенное» в эстетике, поскольку оно представлено восхождением, по существу своему выходит за пределы эстетики, как феномен религиозный. В нем скрыта символика теургической тайны и мистической антиномии, чья священная формула и таинственный иероглиф: «богоносец — богоборец». Не все благодатные дары нисходят к душе при одном условии ее светлой боговосприимчивости; другие требуют богоборческого почина; предлагая их, Божество шепчет душе: «приди и возьми!» Правое богоборство Израиля исторгает благословление. Возносящий жертву низводит божественное и становится богоносцем. Богоборческий и богоносный пафос восхождения разрешается в жертвенное свершение. Это — пафос трагедии; она же есть жертвенное действо.

В самом деле, подвиг восхождения — подвиг разлуки и расторжения, утраты и отдачи, отрешения от своего и от себя ради дотоле чуждого и ради себя иного.

Дерзны восстать земли престолом,
Крылатый напряги порыв,
Верь духу — и с зеленым долом
Свой белый торжествуй разрыв!
(«Кормчие Звезды»)

В этом подвиге — любовь к страданию, свободное самоутверждение страдания. Страдание же может быть вообще определено как оскудение и изнеможение чрез обособление. И само искупительное страдание за мир не что иное, как обособление жертвоприносимого, взявшего на себя *одного* грехи всего мира. В мире — круговая порука живых сил, — равно вины и благодати; жертва — расплата одного, собою одним, за вселенскую поруку. Кто от мира обособляется за мир, — за мир умирает; он должен изнемочь и умереть, как семя не прорастет, если не умрет... Восторгом жертвенного запечатления исполняет нас наша семицветная, над пышноцветной землей воздвигшаяся радуга, когда она

— полнеба обхватила
И в высоте — *изнемогла*.

Восхождение — символ того трагического, которое начинается, когда один из участвующих в хороводе Дионисовом выделяется из дифирамбического сонма. Из безличной стихии оргийного дифирамба подымается возвышенный образ трагического героя, выявляясь в своей личной особенности, — героя, осужденного на гибель за это свое выделение и обличие. Ибо жертвенным служением изначала был дифирамб, и выступающий на середину круга — жертва.

Во всяком восхождении — «incipit Tragoedia». Трагедия же знаменует внешнюю гибель и внутреннее торжество человеческого самоутверждения. Идея трагедии — вместе идея героизма и идея человечества; и слово этой двойственной идеи — богоборство.

Как начало существенно трагическое, восхождение по преимуществу человечно. Его одушевляют воля и алчба невозможного. Из избытка своей безграничности Божественное пожелало невозможного. И невозможное совершилось: Божественное забыло себя и опозналось раздельным в мире граней. Кто выведет его из граней? Тот же извечный Эрос Невозможного, божественнейшее наследие и печать человеческого духа.

II

Но отрешенный, белый разрыв с зеленым долом — еще не красота. Божественное благо, и нисходит, радуясь, долу. Достигнув заоблачных тронов, Красота обращает лик назад — и улыбается земле.

И между тем как, полусонный,
Наш дольний мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полуденной почил:
Горе, как божества родные,
Над усыпленную землей
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

(Тютчев)

Здесь впечатление красоты достигнуто столь же примирением, сколь противоположением, небесного и дольного, улыбчивым сорадованием и содружеством разделенного родного. И не даром, по Теогнису, Музы воспели, что «прекрасное мило», когда небожители

низошли на свадебный пир Кадма и Гармонии: так пели Музы, и боги вторили, радуясь, за ними о милости прекрасного.

«Когда могущество становится милостивым и нисходит в зримое, — Красотой зову я такое нисхождение», — говорит Заратустра*.

Склонение вознесшейся линии впервые низводит на нас очарование прекрасного. Прекрасен нагнувшийся венчиком к земле цветок, и Нарцисс прекрасен над зеркалом влаги. Прекрасны наклон древесных ветвей и наитие летнего ливня из нависшей тучи. И ночь прекрасна осенением многоочитой тайны.

Нас пленяет зрелище подъема, разрешающегося в нисхождение. Вселенским благовестием красоты целует и милует нас небосклон, и мирит и уверяет радуга. Купол и дуга устрояют душу. Все взоры, горя, обращаются к заходящему солнцу; но уже восход зачинает тайно восторги заката.

Гармоничны треугольный тимпан — «орел» (*ἀέτωμα*) — греческого портика и пирамидальные группы Рафаэля. Солнечными игристыми брызгами ниспадают, разрешившись в искристых scherzi, на землю звездные adagio Бетховена. Волнистыми колебаниями восклонов и падений пьянят хороводы Наяд и ритмы Муз.

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной, —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

(Тютчев)

Нисхождение — символ дара. Прекрасен нисходящий с высоты дароносец небесной влаги: таким, среди античных мраморов, предстоит нам бородатый Дионис, в широкой столе, возносящий рукой плоскую чашу, — влажный бог, оживляющий и животворящий землю амбросийным хмелем, веселящий вином сердца людей... «И только дар мил. Только для дара стоит жить»...

Смех, эта «радость преодоления», — убийство, или земная пощада. Улыбка — пощада окрыленная. Улыбчива милостивая Красота.

Восхождение — разрыв и разлука; нисхождение — возврат и благовестие победы. То — «слава в вышних»; это — «на земле-мир». Восхождение — Нет Земле; нисхождение — «кроткий луч таинственного Да».

Мы, земнородные, можем воспринимать Красоту только в категориях красоты земной. Душа Земли — наша Красота. Итак, нет

для нас красоты, если нарушена заповедь: «Верным пребудь Земле».

Оттого наше восприятие прекрасного слáгается одновременно из восприятия открыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли. Эти восторги в нас — как бы дыхание самой Матери, воздыхающей к Небу и снова вбирающей в свою грудь Небо. Тяжки ее вздохи, и легки выдыхания. Легка Красота. «Легкою стопой приближается божественное»...

И в наши мгновения восторгов красоты, мы знаем:

Крылья души над Землей поднимаются,
Но не покинут Земли...

(Вл. Соловьев)

Так Красота, всякий раз снова нисходя на землю с дарами Неба, знаменует вечное обручение Духа с Душою Мира, являясь пред нами непрестанно обновляющимся прообразом и обетованием вселенского Преображения.

Я ношу кольцо,
И мое лицо —
Кроткий луч таинственного Да.

(«Кормчие Звезды»)

Явственно внутреннее тожество красоты и добра. Ибо скрытое начало добра — то же, что начало красоты; имя ему — нисхождение. Дух подымается из граней личного, чтобы низойти в сферу того личного, которое лежит уже вне тесного я. Божественное солнце как бы притягивает вверх влагу чувства, чтобы оросить ее истаявшим облаком землю. Это восхождение и нисхождение — психологическая основа добра; только справедливость направляется по горизонтальной * линии, линии равенства, которую она излюбила.

В нисхождении, этом принципе красоты и добра вместе, нет гордости. Напротив, восхождение, взятое как отвлеченное начало, имеет в себе что-то горделивое и жестокое. Доброе чувство и к сильнейшему и высшему — все же нисхождение. Тем и прекрасна добротa, направленная на могущество, что она все же нисхождение и предполагает предварительным условием возвышение слабейшего в сферу, высочайшую могущества. Allegretto Седьмой Симфонии Бетховена и из детских глаз исторгнет слезы. Но что это allegretto? Плач ли то Бога над миром? Или — человека над Богом?

Красота христианства — красота нисхождения. Христианская идея дала человеку прекраснейшие слезы: слезы человека над Богом. Прекрасен плач мироносиц...

Эти восхождение и нисхождение — лестница, приснившаяся Иакову, и то взаимное тайнодеяние встречных духов, двигателей

и живителей земной и горней сферы, обменивающихся водоносами мировой влаги, — которое Фауст созерцает в сокровенном начертании Макрокосма: «как силы небесные восходят и нисходят, простирая друг другу золотые бады!»

Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen,
Und sich die goldnen Eimer reichen!

III

Но не всегда нисхождение — милость мира, благодатный возврат и радостное воссоединение. Есть нисхождение, как разрыв. Есть «упоение на краю мрачной бездны»: его знал Пушкин в миги своих запредельных проникновений...

Взоры, что, канув, назад не вернутся —
Поведать дно
Вихрю души
(Она ж схватилась, прильнула
К лозе висячей,
Что шепчется с Ужасом!) —
Это ты!...

(«Кормчие Звезды»)

Кто? — Дионис, бог нисхождения, как разрыва, Дионис — жертва божественная, — отрок, заглянувший в темное зеркало и растерзанный внезапно обставшими младенца Титанами.

И в бездне мчатся, как Мэнады,
Разлуки жадные струи...
И горы белые мои —
Как лунный сон...

(Ibidem.)

Туда, за низвергающимися, кипящими в бездонности силами, в пропасть, зияющую мутным взором безумья!...

Следом! следом! следом! —

(В. Брюсов, «Видение Крыльев»)

вот — чарующее внушение и властный голос бездны...

Таково, после «возвышенного», в выше определенном смысле, и после «прекрасного», принцип которого — милость нисхождения, — третья, демоническая, начало наших эстетических волнений:

имя ему — хаотическое. Его образы — оборвавшийся, прядущий в глубь ключ и рушащийся водопад, магия провалов и темных колодцев, чудовищные тайны подземных и подводных глубин, ларвы лабиринтных блужданий, молнийные личины смесившихся в буре стихий. Это царство не золотосолнечных и алмазно-белых подъемов в лазурь и не розовых и изумрудных возвратов к земле, но темного пурпура преисподней.

Всякое переживание эстетического порядка исторгает дух из граней личного. Восторг восхождения утверждает сверхличное. Нисхождение, как принцип художественного вдохновения (по словоупотреблению Пушкина), обращает дух ко внеличному. Хаотическое, раскрывающееся в психологической категории испуга, — безлично. Оно окончательно упраздняет все грани.

Это царство не знает межей и пределов. Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна покрывает жадное рушенье вод.

В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола. Если мужественно восхождение, и нисхождение отвечает началу женскому, если там лучится Аполлон и здесь улыбается Афродита, — то хаотическая сфера — область двуполого, мужеженского Диониса. В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий.

Эта область поистине берег «по ту сторону добра и зла». Она демонична демонизмом стихий, но не зла. Это — плодотворное лоно, а не дьявольское окостенение. Дьявол разводит свои костры в ледяных теснинах, и сжигая — завидует горящему, и не может сам отогреться у его пламеней.

Ужас нисхождения в хаотическое зовет нас могущественнейшим из зовов, повелительнейшим из внушений: он зовет нас — потерять самих себя.

Мы — Хаоса души. Сойди заглянуть

Ночных очей в пустую муть!...

Отдай нам, смертный, земную грудь —

Твой плен размыкать и разметнуть!

(«Прозрачность»)

И могущественнейшее из искусств — Музыка — властительно поет нам этими голосами ночных Сирен глубины, — чтобы потом вознести нас по произволу из своих пучин (как «хаос рождает звезду») взвивающейся линией возвышенного и возратить очищенными и усиленными земле благим нисхождением Красоты. Как Антей изнемогает отъединением от земли, так мы оскудели бы конечным отрешением от «древнего», от «родимого» хаоса. Где-то, глубоко, глубоко под нами, «поют нам песнь родного звона неотлучимые ключи»...

Полночь и День знают свой час:
(Бальмонт)

ритм природы не может не быть ритмом нашей жизни. Все наше строительство — только перестроение граней. Все грани становятся ложными. Но живому — нет грани. «Хаос волен, хаос прав!»...

Выше возноси веющее знамя, Эксельсиор! Толпа внизу будет кричать тебе вслед: «Отступник! изменник! беглец!» За тобой твоя святая тропа, открытая дерзновенным. И знамя водружено... —

Но когда чудесной властью исполнение вдруг прильет,
Сердце вновь изменит счастьем, нектар цельный разольет.
Вскрикнут струны искупленья, смолкнут жалобой живой...
Вновь разрыв и иступленья, и растерзан Вах! Эвой!...

(«Прозрачность»)

Для наших земных перспектив нисхождение есть поглощение частного общим. Нужен и свят первый миг дионисийских очищений: соединение с низшим, глубинным богом, говорящим Да Природе, как она есть. Все нужно принять в себя, как оно есть в великом целом, и весь мир заключить в сердце. Источник всей силы и всей жизни это временное освобождение от себя и раскрытие души живым струям, бьющим из самых недр мира. Тогда только человек, утративший свою личную волю, себя потерявший, находит свое предвечное истинное воление и делается страдательным орудием живущего в нем бога, — его носитель, тирсоносец, богоносец. Тогда впервые говорит он свое правое Да своему сокровенному богу, свое сверхличное Да — уже не миру, а сверхмирному, тогда впервые волит творчески: ибо волить творчески, значит волить безвольно.

В образе «пенорожденной» Афродиты древнее проникновение совместило все три начала прекрасного. Из пенящегося хаоса возникает, как вырастающий к небу мировой цветок, богиня, — «Афрогена», «Анадиомена». Пучиной рожденная, подьмется — и уже объемент небо, — «Урания», «Астерия». И, «златотронная», уже к земле склонила милостивый лик; «улыбчивая», близится легкой стопой к смертным... И влюбленный мир славословит, коленопреклоненный, божественное нисхождение «Всенародной» (Πάνδημος).

КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА *

I

Триста лет исполнилось дивному творению Сервантеса*. Триста лет странствует по свету Дон-Кихот. Три века не увядает слава и не прекращается светлое мученичество одного из первых «героев нашего времени», — того, кто доныне плоть от плоти нашей и кость от костей наших.

Тургенев был поражен совпадением, оказавшимся хронологической ошибкой. Он думал, что год появления первой части «Дон-Кихота» был вместе годом первого издания Шекспирова «Гамлета». Мы знаем теперь, что трагедия вышла в свет, по-видимому, уже в 1602 году. Зато вся группа глубокомысленнейших созданий Шекспира («Гамлет», «Макбет», «Лир») в их совокупности возвращает наше воспоминание как-раз к эпохе обнародования Сервантесовой поэмы. Если нам нельзя непосредственно приобщить имя датского принца к юбилею ламанчского рыцаря, пусть этим именем будет Лир или Макбет. Весь сонм великих теней с нами, на знаменательной годовщине нового творчества.

Эти вечные типы человека глядят не только в вечность. Есть у них, разлученных от нас тремя столетиями, особенный, проникновенный взгляд и на нас. Есть у них и промеж себя взаимно обмененный взгляд таинственного постижения. Они поднялись из небытия под общим знаком. Их связывает между собою нечто пророчественно-общее.

Впервые во всемирной истории они явили духу запросы нового индивидуализма и лежащую в основе его трагическую антиномию. А через двести лет после них перестал быть только индивидуумом в плане наших земных восприятий — тот, чье творчество уже намечает исход (или возврат) из героического обособления в хорошую соборность духовной свободы, — зачинатель действий всенародных, Шиллер... Сервантес, Шекспир, Шиллер — вот звездное

сочетание на нашем горизонте: пусть разгадают знамение астрологи духа!

Но прежде всего пусть научатся живущие достойно, как встарь, почитать и осмыслить живую связь нашу с отцами, — тайну отечества в аспекте единства и преемства. И будущая демократия поймет, что, как в древности, ее надежнейшею основой будет почитание тех, кто, став во времени «старшими», стали «большими» в силе (*maiores, christiores*).

Если бы культ мертвых не был только тенью и бледным пережитком былой полноты религиозного сознания, то в этом году, обильном новыми всходами старинных засево добра и зла, справляли бы мы не одни священные поминки. Над полем братской тризны сошлись бы в облаке неоплаканые тени Мукдена и Цусимы с героями Крыма... И если бы зодчие и ремесленники духа, отложив свои циркули и молоты, собрались на годовщину духа, — какие нимбы поднялись бы пред ними, какие лики!... Но «вечная память» звучит нам, как удары молота, заколачивающего гроб, — не как первый колыбельный крик новорожденной силы, умножившей силу души соборной.

«Кто не забыл, не отдает»: но душа наша неместительна, и сердце тесно. Мы отроднились. Потому ли, что возмнили быть родоначальниками нового рода? Или просто потому, что выраждаемся?...

II

Трагедия «Гамлет» изображает произвольный протест своеобразной личности против внешнего, хотя и добровольно признанного, императива. В оценке вещей Гамлет по существу согласен с теми требованиями нравственного миропорядка, которые он как бы слышит непосредственно из уст внемирной справедливости, подземной Дики древних. Он не только различает зло от добра: кто видит яснее его, что мир во зле лежит? Но новая душа человечества, в его груди пустившая свой росток в старый мир, живет и движется уже не в той плоскости, в какой дотоле боролись на земле Ормузд и Ариман.

Если бы он понял себя, то увидел бы, что не душа его «расколота», а раскололись в ней прежние скрижали с начертаниями заповедей старого действия. Месть насильственно возложена на него, как неудобноносимое бремя; не действие само по себе невыносимо ему в акте мести, а заповедь древнего действия. Он мучится муками рождения: новое действие хочет в нем родиться, и не может.

Он изменяет себе: губит свой темный, несказавшийся порыв, и гибнет сам.

В каждой трагедии явно или затаенно присутствует дух богоборства (т.е. замены, в плане религиозного и вселенского самоопределения личности, отношений согласия и зависимости — отношениями противоборства). Не действенно, а в бессознательных и умопостигаемых глубинах своих Гамлет борется. Не с миром борется, а с тенями, — с тенью любимого отца; в нем — с собою другим, с собою древним. Не может побороть теней, или своего же двойника, и обращается на себя, на свое истинное я, отступник себя самого, своя собственная жертва... Эллинский Орест также стоял на трагическом распутье и должен был выбирать между двумя правдами, или, если угодно, двумя неправдами: но обе были объективны. Не его я преследовало его, после решенного им выбора, в образе Эринний, а дух матери, принесенной им в жертву за предпочтенного отца. Гамлет — жертва своего же я.

Раньше категорический императив являлся в аспекте объективно-вселенском. Отныне он предстал духу в субъективно-вселенской своей ипостаси. Прежде человек знал, что должен поступать так, чтобы его действие совпадало с естественно желательной и им естественно признаваемой нормой всеобщего поведения; нравственность сводилась к заповеди: «как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними». Для новой души то же начало принимает уже иное обличие: действуй так, чтобы волевой мотив твоего действия совпадал с признаваемой тобою нормой всеобщего изволения. Только в таком (субъективном и волевом) истолковании, при таком опосредствовании формальной этики психологическим моментом, заповедь долга *может совпасть* с заповедью любви («любви ближнего своего, как самого себя»); ибо здесь речь идет уже не о внешней норме, но о норме волевого устремления и, когда утверждается, как нечто желательное, тожество изволения, не предрешается действие, в котором оно долженствует воплотиться. Индивидуализму дан самую моралью царственный простор; личность провозглашена самоцелью, и провозглашено право каждой личности на значение самоцели. Служи духу, или твоему истинному я в себе, с тою верностью, какой ты желал бы от каждого в его служении духу, в нем обитающему, — и пусть различествуют пути служения и формы его: дух дышит, где хочет.

Таковы правые основы индивидуализма, — правые, поскольку они еще в гармонии с началом вселенским. Но страшна свобода: где ручательство, что она не сделает освободившегося отступником от целого, и не заблудится ли он в пустыне своего отъединения? И Гамлет колеблется у поворота на неизведанный, неисхоженный путь, и возвращается на путь старый и торный. За ним встанут другие, более смелые, и долго будут влачиться, блуждая и томясь духовною жадью, по мрачной пустыне.

III

В противоположность Гамлету, Дон-Кихот кажется олицетворением действенного пафоса соборности. Как Гамлет, он поборник начал нравственного миропорядка, затемненных и попираемых действительностью, но в формах борьбы раскольник и отщепенец. И он, как Гамлет, носитель *своих* скрижалей. Только не новые и еще не выступившие письма силится он разобрать на них: нет, ясно начертаны в его сознании старые письма, отвергнутые миром. Повидимому, не новое действие рождается в нем, а старое воскресает. Но в бессознательной своей глубине и он несет росток новой души. Ново дерзновение противопоставить действительности истину своего мироутверждения. Если мир не таков, каким он должен быть, как постулат духа, — тем хуже для мира, да и нет вовсе такого мира. Дон-Кихот *не принимает* мира, подобно Ивану Карамазову: факт духа новый и дотоле неслыханный. Борется с миром на жизнь и на смерть — и вместе отрицает его. Чары волшебников обратили всю вселенную в одну иллюзию. Вначале герой прозревает колдовское навождение только в отдельных несоответствиях искомого и обретаемого; потом кольцо чародейства почти смыкается вокруг одинокой души сплошной темницей обмана. Мир, уже весь целиком, одна злая мара. Но в плену темной волшбы жива неистребимая душа. Его Дульсинья существует воистину: что за дело, что Красота несет искаженную личину призрачного вещества? Он осужден на рыцарство безнадежных поисков и безысходных странствий; но его рыцарство будет без страха и упрека.

Так, бунт против мира, впервые провозглашенный этим новым Прометеем «печального образа», наложил свои стигмы на многострадальную тень героя из Ламанчи. Отныне на знамени индивидуализма начертан тот вызов объективно-обязательной истине, то утверждение «нас возвышающего обмана», драгоценнейшего «тьмы низких истин», которым дышит еще своеобразная гносеология Ницше: истинно то, что «усиливает жизнь»: всякая другая истина есть (т.е. «да будет») — ложь.

IV

В Макбете и Лире едва-ли возможно найти черты, исключительно отличающие новую душу: те же типы и участи мыслимы и в человечестве древнем. Тем не менее, обе трагические тени знаменательно сопутствуют Гамлету и Дон-Кихоту, поскольку последние

обозначают утверждение в поэтическом творчестве нового индивидуализма: они пророчески намечают его двойственное предопределение — исчерпать в духе весь трагизм голода и весь трагизм избытка.

Вина Макбета лежит в нецельности его узурпаторского самоутверждения. Он крадет победу, потому что не в силах объявить себя мерою вещей. Он бледнеет пред тенью своей жертвы, богоборцевор. Напротив, в Лире индивидуализм обострен до последнего совлечения с автономного, своеначального индивидуума всех признаков, могущих оправдать его державное значение какою бы то ни было связью с началом соборным или общественным. Личность не только заявляет себя самовластной, но и желает быть таковою во всеобщем признании лишь в силу одной своей внутренней мощи. Преклонение других пред величием одного только тогда отвечает последним притязанием этого одного, когда оно вполне безкорыстно и ничем внешним не обусловлено, ничем не ограничено в своей наружной свободе, кроме внутренней закономерности тяготения слабейшего к сильному. Глубочайший пафос Лира является в этом смысле апофеозом героической гордости.

Герой расточает, благодетельствуя, свои дары и силы, раздаривает всего себя до конечного обнищания и оскудения. Подобно заходящему солнцу, он хотел бы разбросать все свое золото, весь пурпур. Но в ответ его богоравной щедрости все долины должны закутиться перед ним благодарными алтарями. Люди хватают дары — и отвращаются от оскудевшего...

«Макбет» — трагедия голода и нищеты, «Лир» — изобилия и расточительности. Тот — планета, восхотевшая засветиться заемным светом; этот — солнце, истекающее всею своей божественной кровью, не вынесшее своего тяжелого золотого избытка. Эти два пафоса — два основных трагических мотива индивидуализма: им ответят в веках голод Байронова Каина и страдальный избыток «богача Заратустры», — богоборство обиды и богоборство исполнения.

V

Триста лет тому назад индивидуализм, расцветший уже с начала эпохи Возрождения, нашел в себе внутренние силы, чтобы создать глубокие и вечные типы новой души. Мы не забываем ни предшественников Шекспира, ни Боккачио и других, принадлежащих более ранней поре в летописях поэзии, представителей зачавшегося движения: но с такою глубиной и исчерпывающей полнотой инди-

видуализм еще не говорил о своих внутренних законах, с такою неподкупностью не очертил себе сам круг своей новой правды и не отграничил ее от неизбежной своей неправды — до появления типов, вспоминаемых нами в их трехвековую годовщину.

С тех пор все, что истинно властвовало над думами людей, было лишь новым раскрытием того же индивидуализма. В мире прошли тени Дон-Жуана, Фауста, нового Прометейя, Вертера, Карла Мора, Ренэ, Манфреда, Чайльд-Гарольда, Лары — и стольких других, до новоявленного Заратустры. И индивидуализм не только не исчерпал своего пафоса, но притязает и в будущем стать последним словом наших исканий. В самом деле, разве свобода личности не понимается ныне в самом широком смысле, как венец общественности? Даже социализм стремится свести свой баланс при минимуме ее ограничения. Слово «анархия» приобретает магическую силу над умами. Этика, ради индивидуализма, испытывает с опасностью жизни крайние пределы своей растяжимости. Свобода творчества в принципе признана всеми. О религии мы хотим слышать только в сочетании ее с началом свободы, как вероисповедной, так и внутренней, мистической... И, несмотря на все это, какой-то перелом совершился в нашей душе, какой-то еще темный поворот к полюсу собранности...

Заратустра! Не в ницшеанском-ли пророчествовании о Сверхчеловеке индивидуализм достиг своих заоблачных вершин и облекся в иератическое одеяние как бы религиозной безусловности? Мнится, вся языческая божественность сосредоточилась отныне в полном властном я, — этом вместилище, носителе, едином творце и владыке мира, новом подобии древнего великого Пана. «Все — Пан», говорил умиряющее язычество; «все — я», говорит индивидуализм, — «я — Пан»... Но времена исполнились, и грезится, будто таинственный голос гор снова оплакивает «смерть великого Пана».

Умер гордый индивидуализм? Но никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким одушевлением, как в наши дни, никогда так ревниво не отстаивались права ее на глубочайшее, утонченнейшее самоутверждение... Именно глубина наша и утонченность наша кажутся симптомами истощения индивидуализма.

И умирающее язычество стояло за своих богов с тою ревностью, какой не знала беспечная пора, согретая их живым присутствием. Беспечны сыны чертога брачного... И умирающее язычество защищалось углублением и утончением первоначальной веры. Напрасно.

Индивидуализм «убил старого бога», и обожествил Сверхчеловека. Сверхчеловек убил индивидуализм... Индивидуализм предполагает самодовлеющую полноту человеческой личности; а мы возлюбили — Сверхчеловека. Вкус к сверхчеловеческому убил в нас вкус к державному утверждению в себе человека. Мессианисты религиозны, мессианисты-общественники, мессианисты-богоборцы, — уже все мы равно живем хоровым духом и соборным упованием.

VI

Сверхчеловеческое — уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и даже религиозное. Сверхчеловек — Атлант, подпирающий небо, несущий на своих плечах тяготу мира. Еще не пришел он, — а все мы уже давно понесли в духе тяготу мира, и потеряли вкус к частному. Мы стали звездочетами вечности, — а индивидуум живет свой век, не загадывая вперед, не перенося своего центра тяжести вовне себя.

Или же ловим мы бабочек — «миги», — любовники и пожиратели «мгновенностей». Былое эпикурейство говорило: «carpe diem», — «лови день». В погоне за мгновениями личность раздроблена и рассеяна. Целный индивидуум собирает золото своих полдней, и жизнь отливает из них в тяжелый слиток; а наша жизнь разрежена в ткань мимолетных видений. Слиток дней полновесен и непроницаем; ткань мгновений просвечена потустороннею тайной.

Миг — брат вечности. Мгновение, как вечность, глядит взором глубины. Мы полюбили наклоняться над безднами и терять себя. Мгновение метафизично; в нем сверкает бабочка — Психея: наш индивидуализм стал бесплотным, а подлинное самоутверждение индивидуума — воплощение. Он хочет попить твердую землю, а не скользить над «прозрачностью».

Поистине мы только дифференцировались, и нашу дифференциацию принимаем за индивидуализм **. Но принцип дифференциации мы обратили и на самих себя. Наше я превратилось в чистое становление, т.е. небытие. Поиски иного я разрушили в нас неустанными преодолениями и отрицаниями всякое личное я. Мы скорее священнослужители и тирсоносцы «во имя» индивидуализма, чем его субъекты. Вольно ли или невольно, мы только — служим. Например, в качестве «эстетов» — красоте, как чему-то владычному и повелительному, как некоему императиву. Мы любопытны, тревожны и — зрячи: индивидуализм имеет силу слепоты. Жадные, мы хотим «всем исполниться зараз»: так далеки мы от пафоса индивидуализма, — пафоса разборчивости, отвержения и односторонности.

VII

«Умчался век эпических поэм»... Еще Байрон мог писать поэмы все же эпические. Еще он был достаточно непосредствен, чтобы создать своего «Дон-Жуана». И наш Пушкин еще мог. Индивидуализм — аристократизм; но аристократия отжила. И прежде чем восторжествовать, как общественный строй, демократия уже одержала победу над душой переходных поколений.

Ослабел аппетит к владению и владычеству, как таковому. Мы еще деспотичны; но этот атавизм старинных тиранов, больших или малых, прячется в нас от нас самих и сам себя отрицает своим вырождением и измельчением. Едва ли мы годимся даже в Нероны; разве еще в Элагабалы, лжеслужители какого-нибудь Лжесолнца, чтоб изнывать в опостылевших негах, как тот вспоминающий свое «предсуществование» (*la vie antérieure*) герой Бодлэра, или «император» Стефана Георге. И если есть среди нас сильные духом и истинные тираны, необходимо напечатлевается на них знак и образ «Великого Инквизитора»; но дух «Великого Инквизитора» уже не дух индивидуализма, а соборной солидарности.

«Умчался век эпических поэм», век Дон-Жуана, — потому что ослабел аппетит к случайному и внешне-исключительному, — ко всему, причудливо вырванному из общей связи явлений; и, как о том свидетельствует вся область поэтической фикции в широком смысле, ослабела любовь к приключению, к игре положений, к авантюризму *an und für sich*, к событию как *contingence* — «*die Lust zu fabuliren*» в фантазии и действительности. Внешне-индивидуальное в повествовании вытеснено типическим; лишь внутренне-индивидуальное занимает нас; но и оно — как материал, обогащающий наш совместный опыт, — и его мы принимаем, обобщая, как нечто потенциально-типическое. Что бы мы ни пережили, нам нечего рассказать о себе лично: доверчивый челнок нашего эпоса должен быть поглощен Сциллой социологии или Харибдой психологии, — одним из двух чудовищных желудков, назначенных отправлять функцию пищеварения в коллективном организме нашей теоретической и демократической культуры.

Индивидуализм Фауста и авантюризм Вильгельма Мейстера кончатся поворотом к общественной деятельности; и пафос личности, рыдающий в глубоких звуках Девятой Симфонии Бетховена, находит разрешение своей лихорадочной агонии томлений, вызовов, исканий, падений, обманутых надежд и конечных отречений — в торжестве соборности. Роптать ли нам, если всю кровь и весь сок наших переживаний сила вещей делает достоянием и опытом вселенским, и даже одинокий и неразделенный порыв наш учитывается круговой порукой жизни?... Конечно, не закон жизни изменился, а мы прозрели на закон жизни: но, раз прозрели, — уже не те, какими были в слепоте нашей. Индивидуализм — феномен субъективного сознания.

Умчался век эпоса: пусть же зачнется хоровой дифирамб. Горек наш запов: плач самоотрекающегося и еще не отрешенного духа. Кто не хочет петь хоровую песнь, пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить отъединенным не сможет.

VIII

Индивидуализм, в своей современной, невольной и несознательной метаморфозе, усваивает черты соборности: знак, что в лаборатории жизни вырабатывается некоторый синтез личного начала и начала соборного. Мы угадываем символ этого синтеза в многозначительном и разнозначном, влекущем и пугающем, провозглашаемом как разрешение и все же неопределенном, как загадка, — слове: «анархия».

Не та анархия может притязать на значение этого синтеза, которая подставляет в социологический план жизни новые формы, оставляя в силе старые сущности (будь то функция власти при нейтрализации ее органов, или принцип обязательства, налагаемого участием в кооперации). Анархия, изначально связывающая свои пути и цели с планом внешнего общественного строительства, в самых корнях извращает свою идею. Социальный процесс может тяготеть и должен приближаться к пределу минимального ограничения личной свободы: анархическая идея по существу отрицает всякое ограничение.

Вас дух влечет, — громами брани
Колепля мира *стройный* плен,
Вещать, что нет живому *грани*,
Что древний бунт не одолен.

(«Кормчие Звезды»)

Истинная анархия есть безумие, разрешающее основную дилемму жизни; «сытость или свобода» — решительным избранием «свободы». Ее верные будут бежать довольства и питаться растертыми в руках колосьями не ими вспаханных полей, помогая работающим на одной ниве и насыщая свой голод на другой.

Анархия, если она не хочет извратиться, должна самоопределяться как факт в плане духа. На роду написано ей претерпение гонений; но сама она должна быть чиста от преследований и насилия. Ее истиннейшая область — область пророчесвенная: она соберет безумцев, не знающих *имени*, которое их связало и сблизило в общины таинственным сродством взаимно разделенного восторга и вешего соизволения. В таких общинах, которые будут как бы не от мира, чтобы преемственно продолжить древнюю войну с миром, приютится индивидуализм, не находящий себе места в мире.

Они зачнут новый дифирамб, и из нового хора (как было в дифирамбе древнем) выступит трагический герой. Ведь и трагизму суждено уйти прочь от мира. Отныне он чуждается явления, отвращается от обнаружения. Трагедия происходит в глубинах духа. Новый сонм старинной Мельпомены встает с устами страдаль-

чески-сжатыми, — почти бездейственный, почти безмолвный. Нет исхода их титаническому порыву в яркой борьбе; в запечатленных сердцах совершается тайный рок...

IX

Не умирают боги иначе, как для воскресения; и преображенные смертию — воскресают. Воскреснет и великий Пан. И демоническое в индивидуализме, конечно, воскреснет в иные времена. Глубоко заложена в человеческой душе потребность фетишизма: как не проявиться ей и в будущем увенчании и обоготворении отдельного человека? Так, и в грядущем возможен и вероятен цельный и своеначальный индивидуализм. Но он будет именно цельным и демоническим, — не разложенным тою примесью чувствования и попечения соборного, каким является он в его современном изнеможении.

Мы же стоим под знаком соборности, и не даром поминаем ныне Сервантеса и Шиллера. Мы были бы нецельны, как Макбет, и бессильны, как Лир, если бы еще мнили, что возможно для нас личное самоутверждение, вне его соподчинения вселенской правде, или иная свобода, кроме той, которая составляет служение Духу. Итак, будем утверждать вселенское изволение нашего я тем глубоко несогласием и бестрепетным вызовом дурной и обманной действительности, с каким противостал ей Дон-Кихот. Нам не к лицу демоническая маска; она смешнее, нежели шлем Мамбрина, на любом из нас, который только «Alonso el bueno». Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко добрыми — в душе. Пример памятен: лютейший в речах из наших братьев, завещавший нам кодекс «имморализма» — «Imitatio Caesaris Borgiae», — и ставший жертвой нового Сфинкса, который пришел загадать загадку *сердцу*, жертвой сострадания, как Иван Карамазов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ, ПРИМЕЧАНИЯ,
СОКРАЩЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На полях своих старых книг Вячеслав Иванов порою делал записи карандашом. Записи эти отмечают опечатки и пропуски, но встречаются и такие, что вносят некоторые изменения в словесный состав произведений. Все книги с авторскими пометками хранятся в римском семейном архиве Ивановых. Текст этих правленных книг является окончательным. Его и воспроизводит настоящее издание. Разночтения всюду указываются.

Пять книг лирики, составленных самим В.И., печатаются доточно в хронологическом порядке их написания. Вопрос о распределении статей сложнее. Когда материал из афоризмов и статей, рассеянных по периодической печати нарастал до размеров книги, то В.И. в книгу его и объединял. Так появлялись «Опыты философские, эстетические и критические»: в 1909 г. — «По Звездам»; в 1916 г. — «Борозды и Межи» и в 1918 г. — «Родное и Вселенское». Отклики эти на запросы духа и вопросы дня написаны по разным поводам, в разное время, о разных предметах знания и веры. Разумеется: совокупность этих откликов (как творчество всякого большого мастера) являет собою *единое Сообщение*; но случается, что тексты, друг с другом тематически несвязанные, соседствуют, а тексты, друг друга восполняющие, находятся в разных сборниках. Статьи В.И. характера философского (подобно всем философским размышлениям и построениям) являются рефлексиями на акты сознания, в данном случае — рефлексиями на непосредственные, словесно-ритмические знаменования душевных состояний и духовных постижений. По отношению к стихам такие идеологические статьи (ср. Введение стр. 116) представляют собою как-бы их интерпретации; таким интерпретациям естественно следовать за соответственными художественными произведениями. Поэтому мы после книг лирики приводим эстетические и философские статьи, им современные; а из статей критических и литературных составляем отдельный том.

Книги лирики и Трагедии с их спутницами-статьями образуют три первые тома собрания сочинений В.И.; в последнем из них будет помещен алфавитный указатель всех стихотворений по первой строке ко всем трем томам. Статьи по вопросам литературы, филологические исследования, переводы классиков, фрагменты неоконченных произведений, шуточные «Лепты» войдут в последние тома.

Из лиц, упоминаемых в текстах первого тома, примечания отмечают только те имена, которые в последующих томах не повторяются. Исключительно этим определяется их выбор.

В.И. всегда писал по старой орфографии; она заменена новой, но особенности его правописания сохранены.

Приносим горячую благодарность Доктору фил. Ирине Михайловне Посновой, отцу протоиерею Антонию Ильцу и отцу протоиерею Кириллу Козину за ценные советы при окончательном установлении текста и за существенную помощь при правке корректур.

О. Д.

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания, сделанные Вячеславом Ивановым к поэме «Младенчество», к книге лирики «Корниче Звезды» и к статье «Кризис Индивидуализма», а также его переводы Эпиграфов к стихам «Корничих Звезд» помещены отдельно и отмечены двумя звездочками в тексте.

ВВЕДЕНИЕ

Стр.

- 7 Псалом 151, 1-2. В переводе семидесяти толковников этот псалом добавлен к Псалтирю.
- 8 Вячеслав Иванов. «Автобиографическое Письмо» С. А. Венгеру. X: «Русская Литература XX века» под редакцией С. А. Венгерова. Москва 1917. Книга 8. Стр. 86.
- 8 АП, стр. 86.
- 8 АП, стр. 87.
- 9 АП, стр. 87.
- 9 АП, стр. 88.
- 9 АП, стр. 88.
- 9 «Борозды и Межи». (Опыты эстетические и критические). Москва 1916. Изд. «Мусагет», стр. 37.
- 11 АП, стр. 89.
- 12 «Man fühlt, dass Sie mit der Sprache gerungen haben. Warum haben Sie nicht lateinisch geschrieben?» В.И. любил рассказывать про Моммзена и повторять по немецки, запомнившиеся навсегда слова учителя.
- 13 АП, стр. 91.
- 15 Стихи и рассказ записаны со слов В.И.
- 16 АП, стр. 86.
- 18 «Нежная Тайна». С. Петербург 1912. Изд. «Оры». Стр. 60.
- 19 Л. Д. Зиновьева-Аннибал. «Трагический Зверинец». Изд. «Оры». СПб. 1907. Стр. 18.
- 21 Письмо Л.Д.З. 1893 г. хранится в семейном архиве Ивановых.
- 27 БМ, стр. 47.
- 28 АП, стр. 93.
- 29 «Достоевский и роман-трагедия». — «Русская Мысль», апрель 1914 г. Вошло в БМ, стр. 36.
- 30 АП, стр. 93.
- 30 Известный стих Пушкина.
- 31 АП, стр. 94.
- 31 АП, стр. 85.
- 31 АП, стр. 85-86.
- 32 АП, стр. 89.
- 32 «Персона» — здесь в смысле показной наигранной личности, а не в античном смысле — личины, маски. (ср. К. Юнг. «Психологические типы». Цюрих. Изд. «Мусагет» МСМХХІХ).
- 34 По инициативе Владимира Соловьева в печати появились след. стихи: «Тризна Диониса» в «Космополисе», 1898 г. «Дни Недели» и сонеты «На

- Миг», «Воспоминание», «Полет» и «Сны» — в «Вестнике Европы» за годы 1898 и 1899. Все эти стихи вошли потом в «Кормчие Звезды». Исключением является «Первая Пифийская ода Пиндара», переведенная размером подлинника. Она вышла отдельным изданием. СПб. 1899. (Извл. из Журнала Мин. Народного Просвещения за 1899 г.). Переиздана ода не была.
- 36 Доклад, написанный 14 декабря 1910 г. и прочитанный на торжественном заседании московского Религиозно-Философского Общества, посвященном памяти Владимира Соловьева, 10 февраля 1911 г., был опубликован в сборнике «Путь» (Сборник первый. Москва 1911, стр. 32 сл.) под заглавием — «О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания». Статья эта вошла в БМ, стр. 96 — 115 под заглавием — «Религиозное дело Вл. Соловьева».
 - 37 Письмо Л.Д.З. — хранится в римском архиве Ивановых. См. прим. к стр. 21.
 - 40 Сообщение о «пустыньке» воспроизводит рассказ самого В.И. Запись его рассказа была сделана еще при жизни В.И. и ему показана автором «Введения». В.И. признал записи этой верность. В своей речи о Соловьеве на заседании религиозно-философского Общества он систематизировал и сформулировал то «солилоквию» в пустыньке.
 - 42 КЗ, см. стр. 515.
 - 44 Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. «Переписка из двух Углов». Петербург 1921. Изд. «Алконост», стр. 12.
 - 46 Ф. Ф. Зелинский. «Вячеслав Иванов». — «Русская Литература XX века под редакцией Венгерова. Москва. Изд. «Мир». Кн. VIII. Стр. 109.
 - 46 «Ницше и Дионис», стр. 719.
 - 56 «Огненная смерть» (Flammentod) и «Умри и стань» (Stirb und werde) — слова Гёте из стихотворения «Sellige Sehnsucht». (Блаженная тоска). В.И. часто повторял эти таинственные стихи своего любимого поэта.
 - 57 Перевод В.И.
 - 57 ♀ — египетский иероглиф, означающий Жизнь.
 - 59 Редактором «Нового Пути» был Д. С. Мережковский. В 1905 г. редактором журнала стал Николай А. Бердяев, который его переименовал. Ежемесячник продолжал выходить под заглавием — «Вопросы Жизни».
 - 61 «Эллинская религия страдающего бога», стр. — 6; 92; 214. (Цитируется по корректурному экземпляру из архива Ивановых).
 - 61 ПЗ, стр. 9-10.
 - 62 Эрсб, стр. 209-228.
 - 63 Из всех стихотворений «Прозрачности» только семь были написаны не летом 1904 г. Они будут указаны в примечаниях к этой книге лирики.
 - 64 «О Дионисе и культуре» (Спорады) в «По Звездам», 357 и 358.
 - 65 «И сладко мне крушение в этом море». В.И. перевел стихотворение Леопарди и, под заглавием «Бесконечное» поместил его в «Прозрачность» (стр. 743).
 - 65 ср. Эрсб, стр. 63; 99; 110-113.
 - 65 ПЗ, стр. 365.
 - 66 Эрсб, стр. 20.
 - 67 ПЗ, стр. 18.
 - 75 Ю. Балтрушайтис. «Лилия и Серп». Париж 1948 г. Стихотворение было написано 30.5.1918 г.
 - 75 «Римский Дневник 1944 г.» Стихотворение написано 3 января. См. «Свет Вечерний». Оксфорд 1962. Стр. 114.
 - 76 Андрей Белый. «Воспоминания о Блоке». В журнале «Эпопея» № 1, Апрель 1922 г. Москва-Берлин. Изд. «Геликон». Стр. 256.
 - 77 Так писал В.И. весной 1905 г. В своей статье «Русская Идея» 1909 г. он дословно повторяет, ранее сказанное («По Звездам», стр. 311 и 312).

В 1930 г., просматривая текст для перевода на немецкий яз., он уточняет: «... едва ли кто знал в нашем обществе об этих исканиях старинных чернокнижников кроме двух поэтов... «Die Russische Idee». Tübingen. Mohr (Paul Siebeck). 1930.

- 79 Зинаида Гиппиус рассказывает в своих очерках «Живые Лица» (Прага. «Пламя» 1925 г. I, стр. 90), что Брюсов написал эти, столь для него характерные стихи, в поисках, на перегонки с нею, рифмы к слову *истина*, которое считалось словом «одиноким».

Неколебимой истине
Не верю я давно.
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и Дьявола
Равно прославлю я.

- 80 Андрей Белый. «Воспоминания о Блоке» — «Эпопея» I.
- 81 «Тантал» (трагедия). «Северные Цветы» 1905. Москва. Изд. «Скорпион». Генри фон Гейзелер перевел трагедию на немецкий яз. размером подлинника в 1908 г. Перевод появился в печати через 32 года. Wenceslas Iwanow. «Tantalos». Deutsch von Henry v. Heiseler. K. Rausch Verlag. 1940. Dessau.
- 81 Ф. Ф. Зелинский. «Вячеслав Иванов». — «Русская Литература XX века» под редакцией С. А. Венгерова. Книга 8. Москва 1917 г. Изд. «Мир».
- 85 В.И. приводит слова эти в виде автоцитаты в статье «Русская Идея» 1909. Стихи, написанные в 1904 г. вошли в СА.
- 85 «Дневник Императора Николая II». Книгоиздательство «Слово». Берлин 1923 г. Стр. 185.
- 86 «Поэт и Чернь». Стр. 713.
- 86 «Поэт и Чернь». Стр. 712.
- 86 Л. Зиновьева-Аннибал. «Кольца». Москва. «Скорпион». 1904. Стр. 19, 20.
- 87 «Кольца». Стр. 176, 178.
- 91 «О русской Идее» (публичная лекция) — «Золотое Руно» 1909. I, II-III В том-же году статья появилась в ПЗ (309-337). Стихи, (стр. 112) вошедшие в СА, были написаны под новый 1906 год.
- 92 Н. Бердяев. «Ивановские Среды» — «Русская Литература XX века». Кн. 8. Стр. 97-100.
- 93 Н. Бердяев. Там же.
- 93 В Петербурге в виде единственного исключения должности генерал-губернатора и градоначальника соединялись в одном лице.
- 94 «Эпопея» (журнал) 1922. 2.
- 94 «Кризис Индивидуализма», стр. 831.
- 95 «Ты Еси» — «Золотое Руно». 1907. VII-VIII-IX. Статья вошла в ПЗ, стр. 425-434.
- 95 «Копье Афины», стр. 733.
- 96 «Вагнер и Дионисово Действо» — («Весы». 1905. II) — ПЗ, стр. 69.
- 97 «Новые Маски» («Весы». 1904. VII). — ПЗ, стр. 57.
- 97 «Эрос». СПб. 1907. Изд. «Оры». — СА I. Стр. 187-212.
- 101 Л. Зиновьева-Аннибал. «Тридцать три Урода» (повесть). С. Петербург. Изд. «Оры». 1907.
- 101 Сергей Городецкий. «Яр». С. Петербург. Изд. «Оры». 1907.
- 102 Non ha l'ottimo artista... ... В.И. любил этот сонет Микель-Анджело к Виттории Колонне и не раз ссылался на него в своих писаниях и речах. Цитируя («Границы Искусства» — БМ, стр. 200), первые его четыре строки, он дает точный их перевод в прозе: «Наилучший художник не имеет такого замысла, какого не внесла бы в пределы своей поверхности любая единственная глыба мрамора, и лишь до граней этого мрамора»

мора достигает рука, водимая гением.» — В 1925 г. В. Э. Мейерхольд задумал издать по русски все сонеты Микель-Анджело и обратился к В.И. с предложением заняться переводом их в стихах, на что В.И. с радостью согласился. — Вот начало сонета МА. к Виттории Колонне:

Нет замысла, какого б не вместила
Любая глыба мрамора. Творец,
Вяля совершенства образец,
В ней открывает, что она таила.

В.И., отвлеченный другими работами заказа не выполнил: перевел два сонета, которые особенно любил, набросал три других — и только. Мейерхольду ничего не послал. Два законченных сонета через сорок пять лет появились в «Новом Журнале». Кн. 100. Сентябрь 1970. Нью-Йорк.

- 102 Л. Зиновьева-Аннибал. «Медвежата». В сборнике рассказов «Трагический Зверинец». Изд. «Оры» СПб. Стр. 10.
- 102 «Золотые Завесы». Впервые в: — «Цветник Ор. Кошница первая.» Изд-во «Оры» СПб. 1907.
- 104 Л.Д.З. посвятила Маргарите В. Сабашниковой рассказ «Медвежата».
- 106 «башо» — *bachot* — : в просторечии по французски так называется аттестат зрелости.
- 107 Доклад Александра Блока был напечатан в «Аполлоне». Май-июнь 1910 г. под заглавием: — «О современном состоянии русского символизма».
- 111 О «тайнодействии символа» и «тайнодействии жизни» см. «Границы Искусства». Впервые: — «Труды и Дни», VII. Изд. «Мусагет». Москва, 1913 г. Вошла в БМ.
- 111 В статье «Символизм» (в Итальянской Энциклопедии «Треккани») В.И. говорит, что термины «вечный символизм» и «декоративный символизм» введены Charles Maurras' ом. «Декоративный символизм» В.И. называет *идеалистическим, субъективным*.
- 112 «Две стихии в современном символизме». Публичная лекция. Впервые опубликована в «Золотом Руне», 1908. III-IV, V. Вошла в ПЗ.
- 114 Стенограмма этой речи 1914 г. появилась в журнале «Заветы» 1914 г. Кн. II, отд. 2. Из речи заимствован «Экскурс о Секте и Догмате», включенный в БМ.
- 115 Статья «Символизм» в Ит. Энци. «Треккани» была написана по итальянски самим В.И. Ср. примечание к стр. 111. «Simbolismo». Enciclopedia Italiana Treccani.
- 116 М. С. Альтман «Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым» (Баку 1921 г.) В: — «Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. Тарту 1968. Стр. 306.
- 117 АП, стр. 94.
- 118 «Повечерье» — лирический цикл, написанный в Загорье появился впервые в: — «Весы», 1908, IV. Вошел в СА.
- 119 Ср. со стр. 169.
- 121 КАНЦОНА I состоит из 9 отдельных канцон. Она является частью «четвертой книги» СА — «Любовь и Смерть», которую В.И. определяет: «канцоны и сонеты, посвященные имени Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал († 17 октября 1907 г.)». «Книгою» этой, содержащей 74 стихотворения, начинается второй том СА.
- 122 «Спор» — поэма в девяти сонетах (из книги «Любовь и Смерть»); впервые — «Весы», 1909, II. Поэма вошла во второй том СА.
- 124 Федор Степун. «Вячеслав Иванов». Статья появилась в журнале «Современные Записки» I-XII. Париж 1936. Степун включил ее в свою книгу «Встречи». Мюнхен 1962. «Товарищество Зарубежных Писателей». Раньше чем по русски статья (с несколько иным началом) вышла в «Hochland» по немецки и в «Il Convegno» по итальянски. О Федоре Степуне (1884-1965), философе и писателе см. III том.
- 125 Стихотворение озаглавлено «Подстерегателью». Посвящение — «В. В. Хлебникову.» Входит в цикл «Пристрастия» первого тома СА.

125 Георгий Адамович. «Вячеслав Иванов и Лев Шестов». В книге «Одиночество и свобода». Нью-Йорк. Изд. «Имени Чехова» 1955, стр. 254. Георгий Викторович Адамович — поэт, видный представитель литературы и литературоведения за рубежом; родился в Москве, в 1894 г.

126 В комментариях к сочинениям А. А. Ахматовой (Международное Литературное Содружество. Мюнхен 1968. Том второй. Стр. 431) читаем: «В письме к А. А. Ахматовой А. Раннит сообщил о своем разговоре с Вяч. И. Ивановым. В.И. говорил о том, что рассказ Георгия Иванова (в «Петербургских Зимах») о выступлении Ахматовой в «башне» у Вяч. Иванова и о его, Вяч. Иванова, реакции на это выступление — совершенно фантастичен.» (Об Алексисе Ранните — поэте и литературоведе см. III том). А. Раннит был в Риме у В.И. за несколько месяцев до его смерти. Письмо Раннита к Ахматовой датировано 1962 годом. После ухода Раннита я, (присутствовавшая на том разговоре) спросила В.И. что он в сущности отрицает — ведь было-же то чтение. В.И. нахмурился: — «Что было? Ничего особенного: пришла молодая женщина. Прочла свои стихи. Хорошие. Я не ожидал. Восхитился. Ей сказал. Я продолжила спрашивать: — «А что стихи ее — событие в русской литературе, что сама она станет знаменитостью — разве этого предсказано не было?» В.И. отозвался нехотя: — «Предсказано? Появление настоящего поэта — всегда событие». И вдруг В.И. вскинулся, возмущился: — «Инсинуации! Никогда Гумилев не относился презрительно к творчеству Ахматовой. Вздор! Он сам ее привел. Потом они вместе создавали акмеизм».

Если б вопрос о «выступлении» Ахматовой на «башне» сводился только к проницательной оценке В.И. новых стихов, то вопрос такой и подымать не стоило бы: ведь в том, что «мудрец на башне» в стихах все видел «сразу и насквозь», кажется, никто не сомневался. Но В.И. обиделся за Гумилева, обиделся на то, что ему приписывали «Петербургские Зимы» по отношению к Ахматовой: Георгий Иванов сообщал, что Гумилев «смотрел на ее стихи как на причуду 'жены поэта'. Когда их хвалят, он насмешливо улыбается — 'Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает'.» (Георгий Иванов. «Петербургские Зимы». Париж 1928, стр. 66 и 67). Вопрос здесь возникающий, это — вопрос об отношении В.И. к акмеистам. К сожалению по сей день еще раздаются голоса, утверждающие его «вражду» к представителям акмеизма. Так, в значительной, интереснейшей книге «Воспоминаний» Надежда Мандельштам (Нью-Йорк 1970. Изд. «Имени Чехова», стр. 161) пишет: «ИХ (Ахматову, Гумилева и Мандельштама) враждебно встретили и Вячеслав Иванов со всем своим окружением и горьковский круг. (...) Поэтому борьба с ними всегда велась на уничтожение и разворачивалась гораздо острее чем с другими поэтами. О.М. всегда говорил, что большевики берегут только тех, кого им с рук на руки передали символисты. (?) По отношению к акмеистам этот акт совершен не был. И левовцы и остатки символистов (?) в советское время (??) одинаково направляли основной свой удар на последних акмеистов — Ахматову и Мандельштама». Обвинения эти своей совершенной несосветимостью и недопустимостью опровергают сами себя.

Выяснять взаимоотношения символистов и акмеистов здесь, конечно, не место. Но одного не следует забывать: как бы ни отзывался В.И. на акмеизм в период его возникновения, он всю жизнь свою непосредственно, неизменно любил трех главных представителей этого литературного направления. Угадав сразу Ахматову, он впоследствии радовался ее духовному росту и поэтическому усовершению. Мандельштама он не только признавал поэтом подлинным, но питал к нему, хрупкому, горящему, большую, почти отеческую нежность. А Гумилева, не говоря уже о высокой оценке его творчества, В.И. горячо любил, порою бывал в него восторженно влюблен, в его безумную дерзость, в его рыцарское бесстрашие. Когда Гумилев рассказывал ему о своих абиссинских походах на львов и леопардов, В.И. слушал его, замирая от волнения, как дети слушают сказки. А военные доблести Гумилева, его два георгиевских креста вызывали в душе В.И. «восторг и умиление». Даже в старости ему

бывало «весело» вспоминать о тех подвигах вопреки всему печальному ужасному.

Возможно, что в будущем какие-нибудь «воспоминания», или, по открытии архивов, какие-нибудь письма и обнаружат (восходящие к десятилетим годам) отрицательные суждения В.И. о направлении, или об отдельных стихотворениях акмеистов; но отсюда уж никак нельзя будет сделать вывода о желании направить «удар на последних акмеистов» в «советское время». Иначе — что же придется приписать самому О.М.? В своих «Листках из Дневника» А. Ахматова сообщает: «В начале 20-ых годов (1922) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати («Русское Искусство» № 1, 2-3). Этого мы с ним никогда не обсуждали.» (Сочинения А. А. Ахматовой М.Л.С. 1968, том второй. Стр. 185). А ведь Ахматову с Мандельштамом связывала глубокая, верная, никогда не затневавшаяся дружба — к тому же оба они были акмеистами, и все же «нападение», и «нападение резкое» случилось открыто, «в печати», да еще в 20-ых годах, т.е. «в советское время».

- 126 Георгий Адамович. «Одиночество и Свобода», стр. 259.
- 126 Стихотворение это озаглавлено «Хоромное Действо» и посвящено дочери В.И. — Лидии Ивановой. Она играла Менгу; Вера — Евзевия. Стихи начинаются обращением к Лидии: «Менга, с честью вчера / Ты носила свой повойник! / А прекрасная сестра / Впрямь была святой разбойник.»
- 127 Евгений Зиссо-Боровский. «Башенный Театр». — «Аполлон» № 8. Май-Июнь 1910 г.
- 127 Cor Ardens. Москва. Изд. «Скорпион» 1911 (2 тома)
- 128 Johannes von Guenter. «Alexander Blok». München. Willi Weismann Verlag. 1948. S. 8, 19.
- 128 АП, стр. 95.
- 129 Портрет был написан Маргаритой Сабашниковой-Волошиной после смерти Л.Д. по воспоминаниям и фотографиям. Художница была ученицею Репина.
- 129 Об изменении «средоточия сознания» В.И. говорил, пытаясь проникнуть в «душевное изменение», происшедшее у Достоевского на эшафоте. Впервые: публичная лекция в Петербургском Литературном Обществе. Она появилась в «Русской Мысли» 1911 г., май-июнь. Вошла под заглавием «Достоевский и Роман-Трагедия» в БМ. (ср. стр. 39).
- 131 Стихотворение «На Кладбище» написано в Петербурге в феврале 1914 г. Впервые появилось в «Сирине» СПб. 1914. Потом в О. S. P. VII. 1957. Вошло в «Свет Вечерний».
- 132 Роя и Антирройя — см. Сон Мелампа в СА, стр. 98-105.
- 133 «Спорады» в ПЗ, (стр. 365). «Спорады» впервые — «Золотое Руно», 1908, XI-XII.
- 133 «Древний Ужас» (Terror antiquus) — «Золотое Руно» 1909, IV. Вошло в ПЗ.
- 133 АП, стр. 81.
- 134 Стихи к «Ее Дочери» В.И. писал и при жизни Лидии, и после ее смерти. В СА появились стихи 1906 г.; в «Нежной Тайне» — 1912 г. Стихи, написанные за годы 1914-1917 публиковались лишь в периодической печати; они вошли в посмертное издание — «Свет Вечерний».
- 135 «Rosarium» в СА; составляет «пятую книгу».
- 135 «Древний Ужас». ПЗ, стр. 394.
- 137 «Поэт и Чернь». Стр. 713. Ср. примечания к стр. 709.
- 139 Перифраза Гётовских изречений в стихах.
- 139 «Духи глаз». Ср «Gli spiriti del viso» — Прозрачность», 785.
- 140 Николай Бердяев. «Самопознание» (Опыт Философской автобиографии), Париж 1949. Имка-Пресс. Стр. 207-208.
- 141 «Младенчество». См примечание к стр. 230.
- 142 «Борозды и Межи». (Опыты эстетические и критические) Москва 1916. Изд. «Мусaget».

- 143 «Человек». Париж 1939. «Дом Книги».
- 148 «Fecerunt igitur civitates duas amores duo; terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei; caelestem vero amor Dei ad contemptum sui».
- 149 «Венок Сонетов» из книги «Любовь и Смерть». Впервые — «Аполлон» № 5. Вошел «Венок» в СА II. вместе со всею книгой «Любовь и «Смерть».
- 151 «Прозрачность», 780.
- 152 (Конец Эпилога). «Хоровожатый (хорег) жизни» — буквальный перевод с греческого «жизни Подателю» в молитве Духу Святому. (прим. В.И.).
- 152 Комментарии В.И. к мелопее «Человек», стр. 109. — авторский перевод соответственных строк из «позднейшего размышления о существе гуманизма» («Docta Pietas» In 'Il Convegno', 1934. XII. p. 323. По немецки в «Corona», J. VII. Heft I. S. 105.)
- 152 Знаменитый стих А. С. Пушкина.
- 154 «Лик и Личины России» в сборнике статей «Родное и Вселенское» Москва 1918.
- 154 Комментарии к «Человеку», стр. 107.
- 157 «Кручи». В журнале «Записки Мечтателей», № 1. Петербург 1919. «Алконост». Стр. 103-118.
- 157 «Байронизм как событие в жизни русского духа» в «Родное и Вселенское». Стр. 35.
- 158 «Лик и Личины России», стр. 126.
- 159 «Легион и Соборность» в «Родное и Вселенское». Стр. 45.
- 159 там-же.
- 161 Александр Блок. «О современном состоянии русского символизма». В журнале «Аполлон», 1910, май-июнь.
- 163 С. М. Алянский. «Встречи с Блоком» в журнале «Новый Мир». Москва 1967. Июнь № 6. Стр. 159-207. В возникшем издательстве «Алконост» В.И. за годы 1918, 1919 и 1920 напечатал «Младенчество», Трагедию «Прометей», «Переписку из двух Углов»; а в «Записках Мечтателей» появились некоторые стихи его и статья «Кручи».
- 164 Никита Струве. «Восемь часов с Анной Ахматовой». В: — Анна Ахматова. Сочинения. Мюнхен 1968. Международное Литературное Содружество, Том второй. Приложение четвертое. Цитированным словам Ахматовой (стр. 340) предшествовало несколько ее суждений, такую оценку стихов В.И. отнюдь не обещавших: — «Волошин, Кузмин, Вячеслав Иванов — все они для нас больше не существуют. Недавно я взяла Сог Argens и нашла, что нечитаемо. (...) Даже удивительно, все объемлющий ум, а теперь читать трудно. Конечно, некоторые вещи — ничего. А вот, как они называются, да, Зимние Сонеты, это — да.» Н. Струве предложил объяснение: — «Не думаете ли вы, что это потому, что они пережиты, а не надуманы». — «Пережить, возразила она, это недостаточно, а вот, что он мог в 1919 году, когда мы все молчали, претворить свои чувства в искусство, вот это что-то значит».
- 165 «Как командор ходил по строчкам» — определение Андрея Белого.
- 166 «Lettre à Charles Du Bos» — «Correspondance d'un coin à l'autre», «своеобразное повторение вечного и протейческого спора между реализмом и номинализмом».
- 166 Шарль Дю-Бос прочел «Переписку из двух Углов», появившуюся по-немецки в журнале «Kreatur». Через друзей он узнал, что В.И. живет в Павии; узнал он также, что он перешел в католичество. В начале 1930 г. Дю-Бос послал В.И. письмо; он предлагал напечатать «Переписку» в своем журнале «Vigile» и просил В.И. прислать ему несколько слов с указанием как он в настоящее время относится к своему прежнему тексту, которому исполнилось десять лет. В этом письме Дю-Бос оценивает «Переписку» как важное «свидетельство о современном, основном противоречии, определяющем водораздел между стремлением спасти thesaurus и жаждой tabula rasa.»

- 166 Ernst Robert Curtius: «Deutscher Geist in Gefahr», Stuttgart-Berlin, 1932.
- 166 Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. «Переписка из двух Углов». Петербург 1921. «Алконост». Письма II и IV.
- 167 Письма III, V, VII.
- 167 Письмо IX.
- 168 Письмо VII.
- 168 «Не вас зову». В стихотворении «Деревья» (Свет Вечерний, 53) поэт обращается к Памяти: «Тебя зову, а не Воспоминанья».
- 168 «Кассандра во мне никогда не выдерживала до конца своей роли» — последние слова статьи «Кручи» в журнале «Записки Мечтателей» № 1. Петербург 1919. «Алконост».
- 168 Весь цикл сонетов «De Profundis amavi» — вошел в «Свет Вечерний», стр. 102-106.
- 168 «Сомнение» — «Свет Вечерний», стр. 40.
- 170 Проф., доктор филологии, Моисей Семенович Альтман — поэт, лингвист, филолог, литературовед, видный представитель советской науки, в годы своего студенчества в Бакинском Университете вел дневник бесед со своим учителем по филологии и литературоведению — Вячеславом Ивановичем Ивановым. Он пишет 10 октября 1921 г.: «В.И. с дочерью и сыном живут в небольшой, загроможденной вещами комнате при университете. Раз туда заглянул поэт Сергей Городецкий, живший в 1921 г. в Баку, и, не застав хозяина, оставил записку:
 Вошел. Поправил керосинку.
 Вдохнул души твоей пылинку
 И, хаоса любимый сын,
 Прославил комнату-овин.»
- М. С. Альтман. «Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым». — «Труды по русской и славянской филологии». XI. Литературоведение. Тарту 1968. Стр. 318.
- 170 «Дионис и Прадионисийство». Баку. 1923 г. 2-ая Гос. Типография.
- 171 Н. В. Котрелев. «Вяч. Иванов — профессор бакинского университета». «Труды по русской и славянской филологии» XI. Литературоведение. Тарту 1968. Стр. 328.
- 172 По поводу этих стихов Котрелев пишет (там-же): «Память А. О. и С. А. Маковельских сохранила голиардические стихи Е. И. Байбакова, университетского остряка, на защиту Вяч. Иванова; стихи эти весьма любопытны; в них в шуточной форме излагаются основные тезисы оппонентов (2-3 строфы — возражения А. О. Маковельского, 5 — самого Байбакова, 7 — Л. Г. Лопатинского, 4, 6, 8 — ответы В. И. Иванова).» Проф. Л. А. Ишков был ректором Университета.
- 172 А. С. Маковельский. «АзГУ им. В. И. Ленина. Первое десятилетие 1919-1929». Баку. Изд. АзГУ 1930.
- 172 Н. В. Котрелев. «В.И. — проф. бак. ун.» (вышецитированная статья). Примечания, стр. 337. Сообщения Котрелева исчерпывающе документированы.
- 172 Там же: Заключительные слова статьи. Стр. 335.
- 174 «Письмо к Дю Босу» Lettre à Charles Du Bos. «Correspondance d'un coin à l'autre». Paris 1931. P. 169: «Car l'heure est venue de se décider pour ou contre Celui qui est l'unique objet des haines des apôtres de la Haine. (..). Que chacun opte donc pour l'une ou l'autre des deux cités en guerre».
- 174 Там-же — стр. 175 и 176.
- 175 Университетское Collegio это основал в 1564 г. San Carlo Borromeo. Здание построил Тебальдо Пеллегрини (1527-1596). В.И. был приглашен в Колледжио тогдашним ректором, человеком инициативным и изысканным, большой духовной культуры. Имя его — Don Leopoldo Riboldi. В.И. и Рибольди сразу стали друзьями. Но уже через год Дон Леопольдо отказался от ректорства и переехал в Милан. Через несколько лет он вошел в

орден доминиканцев под именем Джузеппе-Мария. По выполнении ряда ответственных поручений, он поселился в монастыре при Миланской церкви Santa Maria delle Grazie, где находится «Тайная Вечеря» Леонардо. После войны ревностно, упорно, плодотворно долгими годами Рибольди организовывал, администрировал работы по реконструкции и реставрации этого, бомбами разрушенного храма, одного из славнейших памятников Ренессанса. В монастыре Санта Мария делле Грацие Padre Giuseppe-Maria и скончался в день св. Доминика, 4-ого августа 1966 г.

- 176 «Docta Pietas» (Lettera ad Alessandro Pellegrini) — «Il Convegno», Milano 1934. p. 323. О проф. Александре Пеллегрини см. примечания к тому III настоящего изд.
- 176 О пребывании В.И. в «Борромео» и о «диспуте» с Бенедетто Кроче появился в печати ряд «Воспоминаний». Из них наиболее интересны: (1) глава в книге Tommaso Gallarati Scotti : «Interpretazioni e Memorie» — «Disputa al Borromeo.» Mondadori, Milano 1965 и (2) Cesare Angelini : «Venceslao Ivanov al Borromeo.» в Corriere della Sera 9 мая 1966. Benedetto Croce (1866-1952) — большой итальянский философ. Как мыслитель он играл в Италии руководящую роль в течение всей первой половины XX века. На русский язык (и на все европейские языки) главные книги его были переведены вскоре по их появлении на его родине. Они, особенно его «Эстетика, как наука о выражении и общая лингвистика» «Estetica, come scienza dell'espressione e linguistica generale» (1902), вызывали среди русской интеллигенции много споров и толков. Рьяный антифашист, Бенедетто Кроче был лидером либеральной партии и видным общественным деятелем.
- 176 Wjatscheslaw Iwanow. «Dostojewskij». Mohr. (Paul Siebeck). Tübingen 1932.
- 178 М. С. Альтман «Из бесед с поэтом В. И. Ивановым». (см. прим. к стр. 170). Стр. 311.
- 178 О песенке хромоножки В.И. не раз говорил и писал. В 1911 г. он прочел публичную лекцию в «Петербургском Литературном Обществе» — «Достоевский и Роман-трагедия», которая появилась в «Русской Мысли» за май-июнь того-же года. В 1914 г. В.И. произнес речь в «Московском Религиозно-Философском Обществе» об «Основном мифе в романе «Бесы». Речь эта была напечатана в апрельской книге «Русской Мысли» в том же 1914 г. Обе статьи вошли в БМ, где на стр. 58-72 толкуется смысл этой песенки.
- 180 «Ты Еси» — «Золотое Руно». 1907. VII-VIII-IX. Статья вошла в ПЗ.
- 182 Речь 1914 года, вышеупомянутая. См. прим. к стр. 178.
- 183 «Психея-Скиталица». Стихотворение написано 17 декабря 1914 г. Было впервые напечатано в «Русской Мысли» за 1916 г. в цикле «Мой Дом» под № 1. «Психея-Мстительница». Стихотворение было написано в ночь на 3-ее января 1915 г. в Москве. Было напечатано в том же цикле — «Мой Дом» под № 2. Оба стихотворения вошли в книгу лирики «Свет Вечерний».
- 183 «Прометей» (Трагедия). Трагедия эта была приготовлена к печати еще в 1915 г.; но появилась она лишь в 1919 г. Петербург. «Алконост». Для этого издания В.И. написал большое предисловие, всецело интерпретирующее трагедию.
- 184 О Пандоре, «кроме ее качества раздавательницы соблазнительных даров и кроме рассказа об участии многих богов в ее сотворении, древний мир ничего не знает». (В.И. из «Предисловия» к «Прометею»). Стр. XIII.)
- 186 «Здесь автор трагедии, удаляясь от Эсхила, мятежный Титан которого прикован к скале Кавказа за 'чрезмерное человеколюбие', побудившее его отдать людям украденный у богов огонь, — приближается к примитивной Гесиодовой версии, согласно коей похититель навлекает на себя небесный гнев не самим похищением, но коварным обманом при первом жертвоприношении, совершенном с помощью огня». («Прометей»). Предисловие, стр. XIX).

- 192 «О существе трагедии». — «Труды и Дни» Изд. «Мусажет». Москва 1912. № 6. Статья вошла в БМ. (233-256). Цитата на стр. 239.
- 192 там же. Стр. 237.
- 193 «Прометей». Предисловие, стр. XVIII.
- 194 Anima — «Corona». Mai 1935. R. Oldenburg. München-Berlin. S. 373-389. В 1947 г. философ Семен Л. Франк перевел «Анима» для антологии по «новой русской религиозной мысли», которую он редактировал. Не зная русского оригинала стихов, напечатанных по немецки, Франк опустил всё «Лирическое Intermezzo» с песнями Психеи. Антология вышла после смерти Франка (1950 г.) — С. Л. Франк «Из истории русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го века». Антология. Стр. 181-191.
- 194 В своей книге «Самопознание» Николай Бердяев пишет о В.И.: «Он был всем: консерватором и анархистом, националистом и коммунистом (?) Он стал фашистом в Италии...» (?) — Николай Бердяев. «Самопознание». Париж. Имка-Пресс. 1949, стр. 166. Следует проверять подобные сообщения.
- 195 Зинаида Гиппиус. «Поэт и Тарпейская Скала» (о Вяч. И. Иванове). Париж. «Иллюстрированная Россия» от 1 января 1938 г.
- 195 о «журчливом садике» см. стихотворение на стр. 200.
- 197 Филипп де Режи родился в Saint-Pierre-de-Mézoargues, близ Тараскона, 8 июня 1897 г. Верный традиции своей семьи (среди его предков был и поныне во Франции высокопочтимый святой — иезуит Saint Jean François Régis) Филипп уже в 1914 г. решил стать иезуитом. В 1926 г. он был рукоположен во священники. Движимый жаждою сближения Церквей, он ревностно принимается за изучение русского языка. Через два года язык им был вполне усвоен, но в Россию поехать не удалось. В 1934 г. отца Филиппа назначают ректором Русской Католической Семинарии в Риме. Когда Муссолини заставил Италию вступить в войну, отец Филипп уехал во Францию, где, спасая евреев и не-евреев от нацистов, пробыл до их падения. После войны его опять вызывают в Рим на прежнюю должность. В 1948 г. он уезжает в Южную Америку, объезжает ее города, строит церкви, устраивает приходы, пишет в разных журналах письма и статьи об экуменизме, всюду старается вносить согласие и мир. Он умер в Буенос Айресе 19 февраля 1955 г.
- 197 Отец Иосиф Швейгль — специалист по вопросам литургики. При Ватиканской типографии работал над оформлением книг Священного Писания, там издаваемых. Изредка посещал он В.И. на Монте Тарпео, но дружеские близкие отношения между ним и В.И. установились в сороковые года, когда В.И. писал введения и комментарии — сперва к Деяниям и Посланиям св. Апостолов и к Апокалипсису, потом — к Псалтирю, а отец Швейгль покорно и усердно приносил ему на дом все нужные книги. Австриец по рождению, рано вошедший в «Общество Иисуса», он избрал духовной родиной своей родину Отцов Восточной Церкви. Добросовестный эрудит, человек ученый, он был скромен и смиренен до неправдоподобия. Он родился в 1894 г. Скончался в 1964 г. в Бенедиктинском монастыре Гроттаферрата.
- 199 Алексис Раннит — «О Вячеславе Иванове и его 'Свете Вечернем' (Заметки из критического Дневника).» — «Новый Журнал». Кн. 77. Сентябрь 1964. Нью-Йорк. Стр. 74-94. Приведенные слова на стр. 94.
- 201 Андрей Яковлевич Белобородов родился в Туле 16 декабря 1886 г. По отделу архитектуры он блестяще кончил курс в Петербургской Императорской Академии Художеств с высшим отличием — «поездки в Рим». Но то был 1915-ый год, шла война, поездка оказалась мечтой. В России молодой архитектор, еще до окончания Академии, получал ответственные заказы. Он строил дом Бобринских на Неве, принимал участие в отделке парадного зала Аничковского дворца, а главное: — ему было всецело поручено перестроить целый корпус старого дворца Юсуповых в Петербурге. Особое внимание хозяина, кн. Ф. Юсупова было обращено на погреб для угля, превращенный в огромную подземную столовую с при-

- мыкающим к ней роскошным «кабинетом». 16 декабря 1916 г. Юсупов настоятельно попросил архитектора, чтобы столовая была закончена к вечеру этого дня. К полуночи все было готово. Белобородов не знал, что ранним утром 17 дек. в этой комнате будет убит Распутин. (Интересные воспоминания А. Белобородова появились в «Новом Журнале». Кн. 70. Дек. 1962 г. Нью-Йорк.) Наконец, в 1921 г. А.Б. начинает свою деятельность за границей. Не имея возможности, как иностранец, свободно работать в области архитектуры (он все-же построил замок Caulaincourt во Франции и виллу Сандоза в Риме), он совершенствуется как живописец, пишет портреты городков и вилл Италии, имеет громадный успех в разных странах. J. L. Vaudoier и Henri de Régnier сравнивают его с Каналетто и Пиранезе. Но особенность его творчества в том, что оно являет собою встречу, симбиоз Петербурга с Римом и Венецией. Общая любовь к Италии сблизила его с В.И. Они познакомились в 1925 г. После возвращения в Рим В.И., куда и А.Б. окончательно переселился в 1934 г., они часто бывали друг у друга и вели долгие, интересные беседы на темы художественного творчества и синтеза искусств. В.И. любил произведения своего друга. А.Б. умер в Риме в феврале 1965 г. Картины А.Б. хранятся в Музеях и частных коллекциях Америки, разных стран Европы и в «Русском Музее» Ленинграда.
- 201 В пятидесятых годах вокруг авентинского жилища В.И. со всех сторон понастроились дома, и от чудесного вида не осталось почти ничего. Скрылись — и купол св. Петра, и обелиск Тутмеса. Но случилось это после ухода В.И. из жизни.
- 207 В Баку В.И. все еще склонялся к заглавию «Арион» для своей новой книги лирики (см. М. Альтман «Беседы с В.И.», стр. 313), хотя он уже до того, в Москве подумывал о другом наименовании — «Чистилище».
- 208 «Свет Вечерний» Oxford, at the Clarendon Press. 1962.
- 211 Автограф этого стихотворения открывает книгу.
- 212 «Мысли о Поэзии» — «Новый Журнал». Кн. 69. Сентябрь 1962 г. Нью-Йорк.
- 212 «О новейших теоретических исканиях в области художественного слова». — «Научные известия» 2. Москва 1922.
- 214 Ludens coram Eo omni tempore, ludens in orbe terrarum et deliciae meae esse cum filiis hominum. Proverb. 8, 30-31.
- 217 Венделин Яворка род. в Словакии 15 окт. 1882 г. Стал священником в 1915 г. Был ректором Русской Католической Семинарии от 1929 до 1934 г. В самом конце июня 1941 г. он передал В.И. заказ написание Введений и комментарий к Деяниям и Посланиям Апостольским и к Апокалипсису. Передача заказа была последней встречей Яворка с В.И. Яворка вскоре уехал из Рима. Священником Яворка бывал в Шанхае, Харбине и Украине. При Сталине его заключили в концлагерь. Освобожден он был после смерти Сталина. Тогда он вернулся на родину, где работал и откуда не уезжал до смерти, наступившей 24 марта 1966 г.
- 217 Деяния св. Апостолов, Послания св. Апостолов, Откровение св. Иоанна. Рим. Ватиканская Типография 1946.
- 218 «Мысли о Поэзии». Стр. 77.
- 218 Терцины «Ferega Turris» были написаны в Риме, 20 июля 1937 г. Вошли в «Свет Вечерний».
- 221 В.И. решил, что роман будет состоять из двенадцати книг. Книги — из неравного числа глав. («книжки» и «главы») следует понимать в средневековом смысле этих слов).
- 221 Ephrem de Brunier (отец Эфрем) род. во Франции, в Вендоме (Vendôme) 22 февраля 1873 г. После пострижения в монахи он удалился в бенедиктинский монастырь — знаменитый Maredsous. В 1912 г. его вызывают в Рим, где он становится «духовным отцом» в греческой Семинарии при монастыре бенедиктинцев. В 1913 г. отец Эфрем уезжает из Вечного Города, но через шесть лет, в 1919 г. возвращается туда, в тот-же монастырь, на ту-же должность. Рим он не покидает до самой смерти; но с В.И.

- встречи в 1928 г. были последними. Когда в 1929 г., после лета, проведенного в Швейцарии, В.И. приехал в Рим осенью, он узнал, что отец Эфрем незадолго до того скончался и похоронен в могиле бенедиктинского монастыря на Верано. Через двадцать лет, по просьбе монахов-бенедиктинцев в ту же их могилу было положено тело умершего в июле 1949 года В.И.
- 222 «Моление св. Вячеславу» было написано в Сочи 4 марта 1917 г. Четвертое марта — день св. Вячеслава. В день этот 1866 г. шестнадцатидневного Вячеслава крестили в церкви св. Георгия. («Я у Георгия крещен» — «Младенчество», XVII). «Моление св. Вячеславу» вошло в статью «Духовный лик славянства». Статья эта является воспроизведением речи, произнесенной В.И. на публичном совещании славянских организаций 15 окт. 1917 г. в Москве. Она завершает сборник статей — «Родное и Вселенское». Москва 1918. Изд. Лемана и Сахарова). Стихотворение — на стр. 204.
- 223 «Друг» — это Карл Мут (Karl Muth), издатель журнала «Hochland».
- 224 Письмо к Муту появилось в печати под заглавием — «Ein Echo» в журнале «Mesa» Autumn 1946; New York.
- 224 Статья «Мысли о Поэзии» — «Новый Журнал» кн. 69, стр. 89-90. Статья была написана в 1938 г. В 1943 г. В.И. ее дополнил и уточнил. «Н.Ж.» опубликовал последний окончательный текст. Но, приведенные (на стр. 224-ой Введения) определения В.И. сформулировал в 1938 г. и ни одного слова в тексте том не изменил.
- 225 Venceslao Ivanov «Forma formans e forma formata». — «L'Estetica e la poetica in Russia». A cura di Ettore Lo Gatto. Firenze 1947. Sansoni».
- 226 Venceslao Ivanov. «Lermontov.» — «I protagonisti della letteratura russa». A cura di Ettore Lo Gatto. Milano. Bompiani 1958. Dal XVIII al XX sec. Обе статьи («форма форманс и форма формата» и «Лермонтов») были написаны по заказу Этторе Ло Гатто. О проф. Этторе Ло Гатто см. том. III этого издания.
- 227 О «духовной прибыльности» говорил св. Серафим в «Беседе с Мотовиловым»: — «В стяжании Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской (...) Стяжание все равно что приобретение (...) Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия (...) Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный...»
- 227 Псалтирь (на славянском и русском языках) Рим. Ватиканская Типография. 1950.

МЛАДЕНЧЕСТВО

- 230 Вячеслав Иванов. «Младенчество». Петербург 1918 «Алконост». Вступление и строфы I-XLV написаны в Риме, от 10 апреля по 23 мая 1913 г.; строфы XLVI-XLVIII — в Москве, 28/15 августа 1918 г.
- 235 Генриета — имя первой жены Ивана Тихоновича Иванова. Она часто приходила к «Александрине» (Александре Д. Преображенской) жаловаться на несносный характер мужа. Генриета в кого-то влюбилась и ушла из дома, бросив мужа и детей. Вскоре затем где-то умерла. После ее смерти Иван Тихонович Иванов («вдовый Генриетин супруг») стал посещать А.Д.П.
- 238 К сожалению ни этой светописи, ни других фотографий А. Д. Ивановой не дошло. Они погибли при переездах. Возможно, что в архиве Дмитриевских и сохранились какие-нибудь ее портреты; но архив их еще не найден.
- 241 Вячеславу, как в то время всем детям, которых «отлучали от груди», указали — когда он, голодный, тянулся к матери — на дерево с повешенным на него красным лоскутом и сказали, что вот там высоко сидит его алый Лель, дававший молоко: улетела птичка. Вячеслав всю жизнь помнил ту боль первой утраты. Или это ему только чудилось, и помнил он материнский о том рассказ?

ПРИМЕЧАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

- 243 *Sieur Homais* — знаменитый вольнодумец-аптекарь из романа Флобера «Госпожа Бовари».
- 247 «Картины Света» — старинный альманах.
- 247 «Ангел-Михаил» — Микель-Анджело.
- 253 Псалом 151, 1-2.
(см. прим. к стр. 7. О.Д.).

ПОВЕСТЬ О СВЕТОМИРЕ ЦАРЕВИЧЕ

- 257 Повесть издается впервые. См. Введение стр. 221-224. Первая книга была написана осенью 1928 г. в Риме. Вторая — в Павии, закончена 16 июня 1929 г. Первые десять глав третьей книги написаны в Павии. В Риме закончены: главы XI-XV третьей книги — на Монте Тарпео; XVI и XVII главы ее — на Авентине. К четвертой книге В.И. приступил после окончания «Римского Дневника 1944 г.» — в феврале 1945 г. В 1948 г. начал писать книгу пятую и писал ее до последнего дня своей жизни.
- 279 Первые четыре строки Отрадиной песни были начальными строками стихотворения, написанного в Москве в ночь на 10-ое января 1915 г. В предпоследней (третьей) строфе той пьесы обозначен образ «Владычицы Дебренской». Он оттуда и взят.
- 284 Песня о «земном рае» была написана в Споторно, на берегу Средиземного моря 1-ого января 1929 г. Мы приехали туда в последний день 1928 г. Ночью поднялась буря. Утром она дико разыгралась. Я не решалась предложить В.И. выйти из дома. Но он сам сказал: «Пойдем к морю». Мы шли вдоль пляжа вдвоем (Лидия и Дима проводили Рождественские каникулы в горах Швейцарии). Кругом никого. Казалось, что бешенный вихрь вот-вот подымет и унесет и нас, и все деревья. Море и ветер состоялись в реве и грохоте. Мы молчали. Вдруг В.И. стал бормотать: — стихи. Я вслушивалась изо всех сил, но улавливала лишь отдельные слова... Вечером того же дня В.И. прочел мне песню Отрады о «Рае затворенном». По просьбе Джовани Папини В.И. сам перевел стихи о рае для его журналу — «Frontespizio», где они и появились в сентябре 1930 г. В 1934 г. перевод В.И. был напечатан среди других его стихотворений в «Il Convegno», в № 8-12, посвященном творчеству В.И. Для итальянского издания автор сделал примечание: «In molti antichi canti popolari russi il Paradiso viene personificato, e vi si danno dialoghi tra il Paradiso e gli uomini». (Во многих старинных, народных русских песнях Рай олицетворяется, и приводятся разговоры между Раем и людьми). По русски стих о Рае публикуется впервые.
- 299 Когда В.И. десятого января 1915 г. писал стих о «Владычице Дебренской», он о существовании Отрады и не подозревал. (см. Введение, стр. 220). Стих этот никогда, ни на каком языке напечатан не был.
- 309 Колыбельная песнь Отрады была написана в Павии, в январе 1932 г. В.И., живший в «Борромео», пришел ко мне в гости с только что появившимся, своим немецким «Достоевским». Прервав веселую беседу, я на несколько минут оставила его одного, выйдя из комнаты по хозяйственным делам. Когда я вернулась, он встретил меня словами: — «А я песенку сочинил»; и он показал мне «Колыбельную», написанную карандашом на случайном клочке бумаги, лежавшем на столе. Сергей Маковский процитировал эти стихи в статье — «Вячеслав Иванов». (Сергей Маковский «Портреты Современников». Изд. имени Чехова. Нью-Йорк 1955, стр. 303).

- 379 Иоан 9, 1-3.
 388 Пс. 29, 12.
 393 «Криница» — СА I, стр. 76 и 77.
 395 Филип. 1, 21.
 396 Матф. 11, 29-30.
 403 1 Иоан. 4, 8.
 408 «Хваление духов благословляющих» — «Прозрачность», 812-813 (строфы — 1, 2, 4, 7, 9, 12).
 409 Пс. 56, 8-9. Девятый стих в славянском переводе читается: — «Восстани слава моя, восстани псалтирю и гусли: восстану рано.» В примечании сказано: «восстану рано — дословно: разбудю зарю, т.е. встану столь рано, что мое пение разбудит зарю, чтобы и она славила Бога.» (Псалтирь. Изд. Ват. Тип. Рим, 1950, стр. 171).
 415 «Заря-Заряница» — СА I. 131-132.
 417 1 Петр. 5, 8.
 461 Рим. 8, 19-23.
 464 Деян. 5, 1-10.
 464 Деян. 5. 15.
 464 1 Иоанн. 5, 16.
 469 См. примечания к стр. 497.
 478 Иоан. 12, 24.
 481 Пс. 118, 18-19.
 481 Пс. 123, 5-7.
 482 Матф. 12, 17; 19-20.
 482 Числа, 20, 24.
 483 Втор. 32, 48-52.
 483 Числа, 12, 2-13.
 490 «Стих о святой Горе» — «Кормчие Звезды», 557-558.
 493 Песнь Отрады — вся. См. — Книга вторая. Гл. 2. 16 — «... Только не всю я тебе песню спела: она длинная, а с тебя довольно».
 497 Песню Светомира-виноградаря В.И. написал в Сочи, в октябре 1916 г. но не всю ее он написал в Сочи; тогда, в 1916 г. он о Светомире многого не знал еще. (см. Введение, стр. 220). В Сочи были написаны первые пять строф и строфа последняя. Шестую и седьмую строфы В.И. добавил в Риме, осенью 1929 г.: (от строки — «Золотая медуница» до — «Втуне с иноком осталась»).
- 500 Народная песнь.
 501 Отрадина песнь о «Земном Рае». См. стр. 284.
 505 Рим. 8, 19.
 505 Иоан 8, 32.
 505 Дочь В.И. — Лидию, девочку глубоко религиозную, в гимназии подружки дразнили вопросом: «Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который Сам поднять не может». За разрешением вопроса Лидия обратилась к отцу. Он сразу ответил: «Камень этот — человек».
- 507 1 Иоан. 4, 12.
 508 1 Иоан. 5, 18.
 508 Иоан. 17, 21.
 508 Деян., 2, 2.
 508 1 Иоан. 10, 7.
 509 Заключительные слова мелопеи В.И. — «Человек».

КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ

- 515 Книга Лирики «Кормчие Звезды» появилась в 1903 г. Но отпечатана она была уже к концу 1902 г. В некоторых, еще существующих экземплярах (один из них принадлежал автору) первая заглавная страница отмечает дату публикации — С. Петербург 1902. Вторая заглавная страница во всем подобна первой за исключением этой даты: — С. Петербург 1903. Рукописи стихотворений (если они не погибли) покоятся в неоткрытых архивах СССР. Поэтому в настоящее время ни разночтений, ни исчерпывающей датировки для большинства стихотворений, обнимающих период от конца восьмидесятых годов прошлого века до начала XX века, установить невозможно. Мы ограничиваемся указанием того, что точно знаем. (о «Кормчих Звездах» см. Введение, стр. 42-59).
- 519 Стихотворение «Персть» написано весной 1895 г., когда (после римской встречи с Лидией Зиновьевой) В.И. счастливый, но терзаемый раскаяньем, не раз один ходил на кладбище «Верано».
- 523 «Покорность» написана в Берлине осенью 1890 г. (Введение 52-53).
- 548 «Пламенники» — заглавие неоконченного романа Л. Зиновьевой-Аннибал.
- 557 «Стих о святой Горе» по свидетельству автора был написан в конце 1900 г. Эпиграф — «Трудная работа Господня» — («слова Соловьева на смертном одре») взят из статьи С. Трубецкого в «Вестнике Европы» 1900.9. 420.
- 595 «Прилив» написан в Корнуоле. Мария Михайловна Змятнина (1865-1919) — близкий друг В.И. О ней см. Введение, стр. 41-42.
- 615 Александра Васильевна Гольштейн относилась к Лидии Зиновьевой с материнской нежностью. Она была лет на 15 ее старше. С нею у В.И. установились дружеские отношения во время его с Лидией пребывания в Париже. Женщина А. В. Гольштейн была интереснейшая: убежденная буддистка (она пекла по праздникам буддийские просфиры), Александра Васильевна была деятельной светской дамой; принимала она у себя аристократический «бомонд» и артистическую богему Парижа. После переезда В.И. в Россию они больше не встречались и не переписывались. В 1937 г. она через мужа своей дочери, посетившего В.И. на Монте Тарпео, послала ему привет. Обрадованный В.И. ответил ей большим письмом. Но дошло оно до Парижа уже после смерти А.В.Г., случившейся на ее восьмидесятиседьмом году.
- 619 Иван Михайлович Гревс (1860-1941), проф. Петербургского университета по истории Средних Веков. О нем см. III-ий том наст. изд. Об его первых встречах с В.И. — Введение, стр. 21-22 и 27-28.
- 627 «Скиф пляшет». Вместо этой эпиграммы сперва была напечатана другая под заглавием — «Qui pro quo». Первые экземпляры КЗ уже появились с этим пятистишием на соответственной (219-ой стр.), когда цензура потребовала его изъятия.
- «Братство, Равенство, Свобода» —
Эти пугала царей —
Стерегут права народа
У Христовых алтарей...
Ты ведь царь, о, Назарей!
- В.И. спешно написал новую эпиграмму — «Скиф пляшет», заменив ею прежний текст. (В архиве В.И. имеется экземпляр КЗ с первичной эпиграммой). Сам В.И. радовался такой перемене. Строку из «Скиф пляшет» — «Где заносят непогоды безымянные гроба» — он не раз цитировал потом в своих статьях и вспомнил о пляшущем в Париже скифе, прорицающем, что «хаос прав и волен», в сонете — «Аспекты» («Прозрачность», 789). В.И. часто говорил, что цензура порою бывает благодетельна.
- 636 Laeta написана в 1892 г. Алексей Михайлович Дмитриевский (1865-1934), брат первой жены В.И., его любимейший друг. См. Введение стр. 9, 10, 11, 177, 178.

- 640 «Мистика». Приводим текст надписи, о которой говорит В.И. в примечании своем к этому двустишию:

Lumina si quaeris, Benedicte, quid eiſgis antra?
Quaesiti ſervant luminis antra nihil.
Sed perge in tenebris radiorum quaerere lucem,
Non niſi ab obſcura ſidera nocte micant.

- 668 «Миры Возможного». Стихи эти посвящены «спятым погибшего». То был молодой ученый, спокойный, уравновешенный, который неожиданно убил другого человека и себя. В.И. глубоко потрясло случившееся; он вдруг почувствовал себя виновным, хотя молодого человека того он почти не знал и ко всей драме никак причастен не был. Чувство ответственности и вины всё обострялось, нарастало, становилось мучительным кошмаром. Чтоб избавиться от кошмара поэт заговорил о нем в дантовских терцинах. Рассказав страшный сон, покаявшись в небывшем преступлении, он услышал ответ «духа»:

..... «О плачь! Плачь в скорби безутешной!
Рыдай, и рви влася, и смой проклятья
С души, без грешных дел в возможном грешной!

В «Мирах Возможных» — грешен. Таково было событие внутреннего опыта. Но что это значит? Критическая мысль естественно направилась на рассмотрение тех непосредственных данных сознания. Проблема «миров возможного» перешла в проблему возможности их осуществления и возможности катартики, в исследование личины-маски в античной трагедии и «вакхов» как ипостасей. А непосредственное мучительное переживание страшной вины *возможной* перешло в переживание «реальной» вины за другого по слову Достоевского — «каждый за всех и за все виноват». И со временем ощущение вины стало одним из факторов осуществления августинова призыва: — *Transcende te ipsum*, описанного в четвертой части мелопеи «Человек» (см. Введение, стр. 150-152). Оно устремило В.И. к углубленному раздумью над идеями соборности и монантропизма. Терцины «Миры Возможного» были написаны в Берлине, в 1890 году. И может показаться странным, что совпадают они по дате и по месту с возникновением других стихов — «Покорность» (КЗ, 523), утверждающих: — «Дано нам быть в любви и в смерти одиноким». Но оба эти противоположные высказывания являются лишь выражениями одного и того-же духовного состояния: «покорность» (здесь в сущности — уныние) от предельной отъединенности, «целлюлярности» (даже в том, что кажется любовью) и боль разрыва хранительных покровов личности, боль беспомощного погружения ее в страшный мир чужого ужаса без предварительного обретения опоры вне ее самой, без опыта — «ты-еси» — в подлинной любви.

- 695 «Суспирия». см. введение стр. 54-59.

ПРИМЕЧАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

- 517 «Я служу... Адрастее». «Чтить Адрастею» значило у древних «блести уста» (срв. «положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих»). «Поклоняющиеся Адрастее мудры», говорят Океаниды в Эсхиловом «Прометее». По стоикам и орфикам, Адрастия — неизбежная, неотвратимая Судьба, мировая Необходимость. (В первоначальном напечатанном тексте примечаний за первыми словами — «Я служу ... Адрастее» непосредственно следовало: «Поклоняющиеся Адрастее мудры»... Промежуточные слова являются позднейшей вставкой сделанной В.И. на полях. О.Д.)
- 537 «И в плоть стремится жизнь чрез огнеструйный перст». Образ внушен «Сотворением Адама» Микель-Анджело.

- 575 ТЕРПАНДР — в византийских пересказах из потерянных книг истории Диодора читаем (Diod. VIII, 28 = Tzetz. hist. I, 385):
 Когда Лакедемоняне подъяли межусобья,
 Оракул был, что граждане к согласью обратятся,
 Коли Терпандр Мифимнский им съиграет на кифаре.
 И, мелос некий им съиграв, Терпандр, искусный лирник,
 Вернул мятежных дружеству и строю — песнью строя,
 Как повествует Диодор. И, обратившись, мужи,
 Обняв друг друга, плакали, любовно целовали.
 «Седмиструнная» кифара считалась изобретением Терпандра. — «Фивский зодчий» — Амфион. — «Чертом венчаный» — см. O. Müller, die Dorier, II, 334. — Оры (Дика, Эвномия и Ирина) покровительствуют и гражданскому строению.
- 577 «И с Харитой неразлучен». Хариты, спутницы Гекаты и Гермеса, не чужды хтонической сфере.
- 578 «Дик и зол, как хищный барс»: ср. как барс пустынный, зол и дик (Лермонтов).
- 583 «К Афродите звездной». Об Афродите Ἀστερία см. Welcker, griech. Götterlehre, I, 673.
- 584 МОЛИТВА КАМИЛЛА. — См. Plut. Cam. 5; Liv. V, 21, 14 sq.
- 586 THALASSIA. — Первое стихотворение описывает Cap Martin; шесть следующих (стр. 587-590) Ривьеру di Ponente; «Сфинкс глядит» — Неаполитанский залив; «В Челне по Морю, I» — Тирренское море, «II» и «III» — океан у берегов Бретани. Последние стихотворения (стр. 595-598) внушены природою Северного Корнуоля.
- 603 «Он тайну Мойр шепнувший в мир». Автор имеет в виду известный рассказ Аристотеля у Плутарха ad Apoll. 27, о Силене (он же, по позднейшим представлениям, — Сатир), пойманном Мидасом и против воли открывшем царю, что наилучший жребий — не родиться на свет, а следующий за ним — вскоре по рождении умереть.
- 615 IL GIGANTE — народное прозвище знаменитого «Давида». Известно, что молодой Микель-Анджело изваял его из куска мрамора, уже обсеченного для другой статуи.
- 616 MAGNIFICAT. — Этот сонет, как и предыдущий, посвящен впечатлению Флоренции. — «Рок мечей» — Septem Dolores. — «Се, аз, раба» («Ecce Ancilla Domini») — неточность: Богоматерь чертит именно «Magnificat» («Величит душа моя Господа»). — Последний терцет намекает на «Поклонение Пастырей» Лондонской Национальной Галлерей. Все в этой, едва ли не последней, картине Боттичелли — и, яснее всего, сделанная на ней самим художником надпись — свидетельствует о мистическом омрачении его души в последние годы жизни, обусловленном трагическим концом Савонаролы.
- 618 «Восточный стражник — мыс» — Porto Fino, напоминающий своею формою коринфский шлем.
- 619 SPECULUM DIANAE — древнее народное название озера Неми близ Рима (Serv. Aen. VII, 515). Там сосредоточивался культ Дианы Арицинской (Nemorensis) и в Августовские Иды совершался обряд, о котором упоминают последние стихи.
- 619 L'ARCO MUTO — древние руины близ Porto d'Anzio.
- 621 КОЛИЗЕЙ. — Когда, при папах, Коллизей еще был целью крестных ходов и местом молитвы, на нераскопанной арене был водружен, по рассказу очевидцев, крест.
- 621 LA STANZA DELLA DISPUTA. — Сонет называет фрески Рафаэля: «Disputa del S. Sacramento» и «Афинская школа», на стенах ватиканской Camera della Segnatura, — «Iustitia», «Philosophia», «Theologia» «Poesis» на ее плафоне.
- 622 СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА. — В сонете последовательно упоминаются фрески Микель-Анджело: «Сотворение Солнца и Луны», «Сотворение Адама», «Пророки», «Сивиллы», «Предки Христовы», «Страшный Суд».

- 622 СИРАКУЗЫ. — «Фиалкокудрые» — эпитет Муз у Пиндара. — *Аретуза* — нимфа сиракузского источника — бежала из Пелопоннеса под воды Ионического моря, преследуемая влюбленным в нее потоком — Алфеем, — миф, в новой литературе прославленный Шелли.
- 623 ТАОРМИНА. — Об отождествлении Диониса с Солнцем см. Lobeck, *Aglaophamus*, 296. 498; Weicker, *gr. Götterl.* I, 411 Sam Wide, *Iakonische Culte*, 161.
- 636 ЛАЕТА. — Характеристика Пантеона более верна духу древнего пантеизма, нежели историческому значению памятника. — «Вечною дышит весной» — ср. «semper florentis Homer!» (*Lucret.* I, 124, по Эннию). — «Бог ли, богиня ль» — древняя молитвенная формула. — «Рим золотой» — *aurea Roma*. — «Вот путь побед» и т.д.: разумеется *Via Sacra, Rostra, aedes Concordiae*, арка Септимия Севера, колонна Фоки. — Гипербола «весь» была бы чрезмерной, если бы речь шла не об иллюзии перспективы; и слова «храни свои нищие ризы», могли бы показаться излишними, если бы дело разрушения Рима мертвых торжествующею пошлостью живых не продолжалось донине. — «О небесном ущербе» — «*caelestia damna*» Горация.
- 640 МИСТИКА. — Чрез несколько лет по написании этого двустихия автор нашел ту же мысль, выраженную тем же образом, в латинском стихотворном хвалении св. Бенедикту, начертанном на стенах монастыря *Sacro Speso* в Субиако (ср. сонет на стр. 620).
- 642 ТАТ ТВАМ АСИ (Упанишады) значит: «Это (именно, каждый отдельный индивидуум) — ты (сам)».
- 652 *Рахиль и Лия* — символы деятельной и созерцательной жизни у Данта (по Фоме Аквинскому) и во всем искусстве Средневековья и Возрождения.
- 667 «Египетский святой иероглиф» — *сгух ansata (ankh)*.
- 689 ЦАРИ. — Имена Царей подсказаны мифом о Семи против Фив, а символика действия преимущественно культом Дианы *Nemorensis* обильно освещенным в книге Frazer' а «*The golden Bough*» (ср. *Renan, le Prêtre de Nemi*).
- 700 ПСИХЕЯ. — Образы Психеи, прикованной к безлистному дереву, и Психеи-Мотылька, сжигаемого Эросом на пламени факела, в присутствии Немезиды и Надежды, причем все трое из сострадания отвращают лица от зрелища казни, — внушены древними пластическими изображениями (см. *Collignon, Psyché*).
- 702 ПІЕТА. — «Тень сна» — слова Пиндара (Пиф. VIII, 95). — По орфическому мифу, люди возникли из праха Титанов, испепеленных Зевсом за растерзание и пожрание Диониса. «Темная» — один из эпитетов Изиды. — Изида ищет тела Озириса, разорванного на части, как был растерзан и Дионис, и отождествленного Греками с их Дионисом. — Как изображения Изиды с Горосом на руках напоминают художественный тип Мадонны с Младенцем, так тип «*Pietà*» намечен древними в изображениях Эос и Кефалоса, и Ниобеи (*Stark, Niobe 203, Taf. V*).

ПЕРЕВОДЫ ЭПИГРАФОВ

- 513 Заглавная страница. — «Немного извне (пещеры) доступно было взору; но чрез то звезды я видел ясными и крупными необычно». Дант.
- 516 «Ты будишь и живишь решение крепкое: безостановочно к бытию высочайшему стремиться.» Гете (о Земле).
- 517 «И обвевала ее, и окрест дышала красота». Гимн к Деметре.
- 518 «Любовь, что движет Солнце и другие звезды». Дант.
- 521 «Велика тех любовь, кто любят во грехе и страхе». Байрон.
- 521 «На полпути земного бытия». Дант («Ад», перевод Н. Голованова).
- 524 «Предчуй! Ты обретен! Верь взору нового дня». Гете.

- 526 «Изначальнее благостроения — безначалие».
- 536 «Вспомни, что ты жив, — и иди».
- 539 «А виноградник (Диониса) был угрюм, и мрачен виноград, и как бы пла-
кало гроздие». Гимерий.
- 550 «Зовите Матерью Землю». Додонский оракул. — «Все это — члены Пана». Орфический гимн.
- 563 «Ах! и земля не остужает любви!» Гете.
- 566 «Судьбы согласного ведут, и несогласного влекут». Сенека.
- 569 «И яблоки золотые прекрасные от звучноголосых Гесперид». Орфический стих.
- 572 «Вот божественнейшее: Познай самого себя». (Гноти савтѳн — надпись Дельфийского храма). Гераклит. — «Углубленному в эти думы и потерянному в размышлениях ночи и дни, предстало мне заповеданное Дельфийским богом уразумение, чтобы сам себя познал дух и почувствовал себя единым с мыслью божественной, какое постижение исполняет его радостью ненасытимою». Цицерон.
- 579 «В его членах движутся мелодии вечные». Гете. «Феб здесь: звон издали лиры, звякнули колчань». Овидий.
- 585 «Довольно жил я — в меру ли жизни, в меру ли славы». Цезарь.
- 591 «Доколь они были тесно вместе, живые над бездной, уста их единились в исторгнутом из души, неумолимо-слитом лобзании». Россетти.
- 599 «Рано дано им насладиться вечным светом; к нам же нисходит он после». Гете.
- 635 «О, Природа, богиня Всематерь!» Орфический гимн.
- 636 «Благослови, Рим: тебе слагается песнь!» Проперций. — «С печальным мешается радостное». Овидий.
- 642 «Согласно с природою жить». Стоики.
- 644 «О, вы, чей разум здрав, учение зрите, скрытое под покрывалом стихов странных». Дант.
- 668 «Если ты подумашь, как при вашем движении движется в зеркале ваш образ, — то, что мнится трудным, покажется тебе легким». Дант.
- 682 «И факел, пылающий под русыми елями». Пиндар.
- 684 «Сей (Дионис-Дифирамб) есть бог возрождения». Гермас-Неоплатоник.
- 692 «Гиппа, душа вселенская, колыбель возложив на главу и змеями увенчав колыбель-кошницу, принимает Диониса. Прокл-Неоплатоник. — «Божественное грядет легкой стопой». Ницше.
- 696 «Слезы твои — многострадальный род людской». Орфический стих.
- 697 «Не буди меня». Надпись Микель-Анджело к статуе «Ночь».
- 700 «Я — дочь земли и звездного неба, но иссохла от жажды и погибаю; дайте мне тотчас напиться воды студеной, истекающей из озера Памяти». Надпись на золотой пластинке, сопровождавшей покойника в гроб, по обычаю орфиков (Inscr. Gr. Sic. It. 638).

ПОЭТ И ЧЕРНЬ

- 709 Статья «Поэт и Чернь» — впервые — «Весы» 1904. III. Вошла в ПЗ, стр. 33-43.
- 713 К этим словам В. И. прибавил на полях — «по Шопенгауэру».

НИЦШЕ И ДИОНИС

- 715 Статья «Ницше и Дионис» — впервые — «Весы» 1904. V. Вошла в ПЗ, стр. 1-21.

КОПЬЕ АФИНЫ

- 727 Впервые — «Весы» 1904. X. Статья вошла в ПЗ, стр. 43-53.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

- 735 «Прозрачность» — вторая книга Лирики. Москва. Издат. «Скорпион». 1904. О «Прозрачности» см. Введение, стр. 63-69.
- 746 «Дриады» — «Новый Путь». 1904, № 2.
- 747 «Пан и Психея» — «Новый Путь» 1904, № 2.
- 753 «Хмель» — «Новый Путь» 1904, № 2.
- 757 «Леман». Лето 1903 г. Ивановы проводили в Шатлене на берегу Лемана. Лидия ждала ребенка. Как-то вечером В.И. с нею долго бродили по холмам. И уже возвращались домой — «Двое нисходили из глухой долины» — к озеру, когда Лидия вдруг почувствовала, что теряет ребенка. Она потом была тяжело, смертельно больна; ее чудом удалось спасти. «И два сердца жили под лучом Пошады...» Младенцу не суждено было родиться — «Жизни нерасцветшей завязь поглотило».
- 761 «Ясность». Стихотворение написано в 1882 году. Вячеслав посвятил его шестнадцатилетнему своему однокласснику Вл. Калабину, от которого в первый раз в жизни своей получил признание: — «Ты — поэт». (О Калабине см. Введение, стр. 31-32).
- 763 «Золотое Счастье». Стихотворение написано в Риме в марте 1895 г., после встречи тогдашней с Лидией.
- 764 «Песни Дафниса». Весь этот цикл в пять песен написан, как и «Золотое Счастье» в Риме, в марте 1895 г.
- 770 «Седьмой День» — «Новый Путь», 1904, № 2.
- 771 «Осенью». Стихотворение посвящено Александре Николаевне Чеботаревской (1869-1925), литературному критику и переводчице. Она была сестрой Анастасии, жены Федора Сологуба. (Об Александре Чебот. см. второй том). Познакомилась она с В.И. в Париже в 1903 г., когда он читал там лекции о религии Диониса. Гостила у Ивановых в Шатлене. Она вспоминает о возникновении стихотворения, ей посвященного: «Однажды, на прогулке, я нарвала массу цветов повилики. Их набрался такой ворох, что я, не зная, куда их девать, бросила цветы в воду, и они поплыли, и так как по берегу росли высокие тростники, обвилились вокруг них, и получилась очень красивая картина повилики в тростниках. В.И., увидев, что я бросила цветы в воду, вскрикнул. Но потом, когда повилики застряли в тростниках, он остановился, задумчиво любуясь ими. Это было под вечер. А на второе утро В.И. прочел своей жене и мне написанное им стихотворение.» (Записано Альтманом). — «Ты повилики закинула тонкие в чуткие сны тростника».
- 774 «Обновление». Стихи посвящены Владимиру Николаевичу Ивановскому (1867-1931), философу, проф. Казанского университета. В годы 1903, 1904 он часто бывал у В.И. в Шатлене. Они много спорили. В двух, тоже ему посвященных сонетах, В.И. дает его остроумную характеристику: по-

- клонник строжайшей, беспощадной логики, проф. Ивановский пришел к крайнему скептицизму и агностицизму, к признанию «крушения всех наук». Но от мрачности его спасала страстная влюбленность в поэзию. — «Ты бросил в знание сеть, и выловил — сонет.» В Ивановском, чрез чинную диалектику, В.И. слышал клочкотанье русского хаоса. И свои стихи к нему (стр. 789) В.И. кончает воспоминанием о «пляшущем» в Париже «Скифе» (КЗ, 627).
- 781 В «Прозрачности» (изд. 1904 г.) В.И. на стр. 100 сделал пометку карандашом. Было — «Как гасит светоч спуд, и склеп скупой — свой клад». Он поправил: — «Как гасит *спуд* свечу, и склеп скупой — свой клад». (см. последнюю строку на стр. 781).
- 783 О Редон (Odilon Redon — 1840-1916) — значительный французский художник, которым увлекались символисты.
- 789 «La Fallite de la Science». Вл. Н. Ивановский (см. прим. к стр. 774).
- 789 «Аспекты». См. прим. к стр. 774.
- 790 «Кассандре». Стихотворение это было написано и передано Александре Ник. Чеботаревской в Национальной Библиотеке Парижа. В.И. был тогда с ней едва знаком. Она была удивлена и поражена именем Кассандры. Дома ее дразнили, называя «греческим козлом», чего В.И. никак знать не мог. Меткое прозвище — *Кассандра* — осталось за нею навсегда в семье Ивановых.
- 790 «Кармил» — Альманах «Гриф». Москва 1904.
- 805 «Фуга» — Альманах «Гриф». Москва 1904.
- 806 «Темница» — Альманах «Гриф». Москва 1904.
- 807 «На Чужбине» — Альманах «Гриф». Москва 1904.
- 812 «Хваление духов благословляющих» — «Северные Цветы». Третий альманах «Скорпиона» 1903. Москва.
- 818 «Тезей» Дифиранб Бакхилида. (поправки карандашом на полях).
- | | <i>Прежний текст</i> | <i>Исправленный текст</i> | |
|-----|---|---|--|
| 819 | 8 сверху
12 сверху
16 сверху | Иль, умыслив недоброе
круг твоих рамен,
Эгей | Аль, умыслив недоброе
под твоей рукой,
Царь Эгей |
| | 16 снизу
10 снизу
7 снизу
5 снизу
4 снизу | Эгей
сверх кудрей огневых
Очи польмия ... лют
юности цветом юн он;
вихрь, | Царь Эгей
На кудрях огневых
А зеницы — что ... огонь
младости цветом млад он;
хмель, |

СИМВОЛИКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАЧАЛ

- 823 Статья «Символика эстетических Начал», появившаяся впервые в «Весах» 1905. V., ставит вопрос о восхождении и нисхождении. В «Весах» она была озаглавлена — «О Нисхождении». К вопросу этому В.И. возвращается всякий раз при исследовании процессов художественного творчества и духовной жизни.
- 827 В первоначальном тексте вместо «горизонтальной» стояло — «продольной»./Поправка карандашом на полях/.

КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА

- 831 Впервые — «Вопросы Жизни», 1905. IX. Статья вошла в ПЗ стр. 86-102.

ПРИМЕЧАНИЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

837 Именно принципу дифференциации, не истинного индивидуализма служит то гибридное возрождение штирнерианства (ошибочно смешивающее себя нередко с ницшеанством), которое, отменяя соборность, как императив, и обоготворяя уединенное я («den Einzigen»), в то же время зовет индивидуумы к общению социальной кооперации (напр., в классовой борьбе). Здесь дух атеизма (не всякая атеистическая доктрина атеистична по духу) является во всей мертвенной наготе своих притязаний — «устроиться без Бога» (непрерменно — «устроиться!»). Но как ни демонична закуска этого учения, она еще не создает той демонической психологии личности, которая характеризует цельный индивидуализм уединения.

СОКРАЩЕНИЯ

АП	Автобиографическое Письмо
КЗ	Кормчие Звезды
Пр	Прозрачность
Эрсб	Эллинская религия страдающего бога
Эр	Эрос
ЗЗ	Золотые Завесы
ПЗ	По Звездам
СА	Cor Ardens
НТ	Нежная Тайна
БМ	Борозды и Межи
РВ	Родное и Вселенское
ДП	Дионис и Прадионисийство
СВ	Свет Вечерний
ВИ	Вячеслав Иванов
ЛДЗ	Лидия Димитриевна Зиновьева-Аннибал
O.S.P.	Oxford Slavonic Papers

ОГЛАВЛЕНИЕ СТИХОВ

КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ

	СТРАН.
Посвящение	514
Proemion	515
ПОРЫВ И ГРАНИ	517-537
Красота	517
Пробуждение	518
Дух	518
Персть	519
Волпощение	519
В Колизее	521
La Selva Oscura	521
Песнь Потомков Каиновых	522
Покорность	523
Утренняя Звезда	524
Звездное Небо	525
Океаниды	526
Ночь в Пустыне	527
Missa Solemnis, Бетховена	534
Sogno Angelico	535
Творчество	536
ДИОНИСУ	539-551
Виноградник Диониса	539
Аскет	539
Неведомому Богу	540
Музыка	542
Рокоборец	543-546
I. Поединок	543
II. Alma Dea	544
III. Тризна	545
Красная Осень	546
Листопад	547
Пламенники	548
Земля	550
РАЙСКАЯ МАТЬ	553-558
Днепровье	553
Зарница	554
Под Древом Кипарисным	555
Милость Мира	555
Русский Ум	556
Ночной Звон	556
Стих о Святой Горе	557
ЦВЕТЫ СУМЕРЕК	560-568
Усталость	560
Зеркало Чайния	561
Себя Забывшие	561
Отречение	563

	Лунные Розы	563
	Вожатый	566
	Вечные Дары	568
	Вечная Память	568
ГЕСПЕРИДЫ		570-585
	Голоса	570
	Тризна Диониса	571
	Eritis sicut Dei	572
	Кумы	574
	Терпандр	575
	Орфей	577
	Дни Недели	577
	Мистерии Поэта	579
	Epirrhema	580
	К Фантазии	580
	Сафо	582
	Пэстумский Храм	583
	Молитва Камилла	584
	Довольно!	585
THALASSIA		587-598
	Богини	587
	Непогодная Ночь	587
	Мадонна	588
	Вечерние Дали	588
	Явление Луны	589
	Полнолуние	589
	Встреча	590
	Сфинкс глядит	590
	Зеркало Эроса	591
	В Челне по Морю I—III	593-595
	Прилив	595
	На Склоне	596
	Ступени Воли	596
	Мгла	597
	Голос моря	597
	Венец Земли	598
ОРЕАДЫ		600-606
	На Крыльях Зари	600
	Стремь	601
	Пред Грозой	602
	Дол	603
	Разрыв	603
	Два Взора	603
	Духи и Души	604
	Возврат	604
	Прости!	604
	Вечность и Миг	605
	На Высоте	605
	Альпийский Рог	606
СОНЕТЫ		608-611
	На Миг	608
	Воспоминание	608
	Полет	609
	Сны	609
	Увлечение	610
	Любовь	610

ИТАЛЬЯНСКИЕ СОНЕТЫ	613-624
Адриатика	613
Баркарола	613
Лагуна	614
La Pineta	614
«Вечеря», Леонардо	615
Il Gigante	615
«Magnificat», Боттичелли	616
Maris Stella	616
Весна	617
La Superba	617
Кипарис	618
Лунный Плен	618
Speculum Dianae	619
L'Arco Muto	619
Субиако	620
Монастырь в Субиако	620
Колизей	621
La Stanza della Disputa	621
Сикстинская Капелла	622
Сиракузы	622
Таормина	623
Носталгия	623
ПАРИЖСКИЕ ЭПИГРАММЫ	626-633
Странник и Статуи	626
Вандомская Колонна	626
Гробница Наполеона	627
Пантеон	627
Скиф пляшет	627
Liberté, Egalité, Fraternité	628
Suum Cuique	628
Jura Mortuorum	628
Jura Vivorum	628
Панацея	628
Раб и Свободы	629
«A toutes les Gloires de la France»	629
Темные Музы	629
Horror Vacui	629
Caveant Consules	630
Beluarum Disciplina	630
Бульвар	631
Le Nu dans l'Art	631
Le Nu au Salon	631
Лабиринт	631
Париж с Высоты	632
Культ Немезиды	632
Gallus	632
Epimetron. — Два Художника	632
ДИСТИХИ	635-642
Veste Detracta	635
День и Ночь	635
Laeta, I—III	636-640
Гнома	640
Энтелехия	640
Мистика	640
Эпифания	640
Девятнадцатое Февраля	641
Тихий Фисс	641
Демон	641

	«Лазаре, гряди вон!»	641
	Самоискание	642
	Подражание Природе	642
	Дерево Добродетелей	642
	Tat Twam Asi	642
СФИНКС		644-660
ВРАТА		662-667
МИРЫ ВОЗМОЖНОГО		669-679
EVIA		681-694
	Имени Твоему	681
	Светоч	682
	Возрождение	684
	Цари	689
	Наполеон	690
	Гиппа	692
	Тишина	693
SUSPIRIA		696-706
	Песнь Разлуки	696
	Suspiria	697-705
	I. Ночь	697
	II. Время	698
	III. Психея	700
	IV. Pietà	702
	V. Жертва	703
	VI. Тебе благодарим	704
	Гость	705

ПРОЗРАЧНОСТЬ

I.

Поэты Духа	737
Прозрачность	737
Небо живет	738
Долина — храм	739
Душа сумерек	740
Flo, ergo pop sum	740
Тень	741
Отзывы	742
Бесконечное	743
Слоки	743
Крест зла	744
Персефона	745
Две любви	745
Дриады	746
Пан и Психея	747
Увенчанные	748
Возрешие	748
Лето Господне	749
Радуги	750
Хмель	753
Пришлец	753
Царство Прозрачности. I. Алмаз	754
II. Рубин	754
III. Изумруд	755
IV. Сафир	755
V. Аметист	756
VI. Искушение прозрачности	756

II.

Два голоса	757
Леман	757
Мадонна высот	759
Лилия	760
Раскаяние	760
Ясность	761
Полнота	761
Синева морей	762
Ты — море	762
Золотое счастье	763
Песни Дафниса. I. Цикады	764
II. Испытание	765
III. Весна	766
IV. Гроза	767
V. Аполлон влюбленный	768
La lupa sonnambula	769
Цветы	770
Седьмой день	770
Недвижное	771
Осенью	771
Железная осень	772

Эпод	772
Трамонтана	773
Обновление	774
Нарцисс	774
С пути	775
Художник и поэт	775
Пушкин у Онегина	776
Современники. I. Valerio vati	776
II. Ему же	777
III. Sole sato	777
Кочевники Красоты	778
Beethoveniana	778

III. СОНЕТЫ.

Печаль полдня	780
«Прекрасное — мило». Триптих	780
Алкание	782
«Transcende te ipsum»	782
Пустынник духа	783
Кто? Триптих	784
Gli spiriti del viso	785
Подражания Платону. Триптих	786
Товарищам. I. Латинский квартал	787
II. Dem Weltverbesserer	788
III. Переводчику	788
IV. La failлите de la science	789
V. Аспекты	789
Кассандре	790
Кармил	791

IV.

Ганимед	792
Гелиады	794
Орфей растерзанный	801

V.

Фуга	805
Темница	806
На чужбине	807
Горная весна I—VI	808

VI. ХОРЫ МИСТЕРИЙ.

Хваление духов благословляющих	812
Хваление духов исправителей	813
Хваление духов благовестителей	815

ПРИМЕЧАНИЕ О ДИФИРАМБЕ.

Примечание о дифирамбе	816
Тезей. Дифирамб Бакхилида	818

